ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ



ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ

ПОВЕСТЬ О ХОДЖЕ НАСРЕДДИНЕ

В ДВУХ КНИГАХ

ИВАН НИКУЛИН — РУССКИЙ МАТРОС

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1971

Р 2
С 60

Послесловие
Дм. ***МОЛДАВСКОГО***

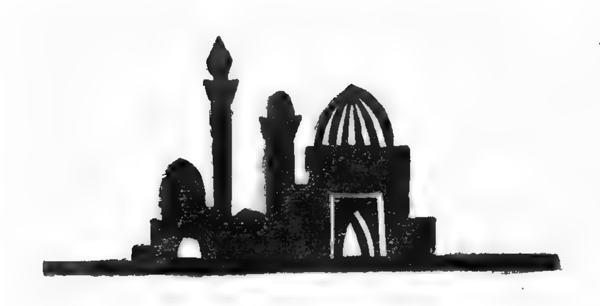
Оформление художника
А. КОВАЛЕВА

7-3-2
52—71

Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу.

В нем были многие и многие черты Ходжи Насреддина — беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость, — и когда я писал эту книгу, не один раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо.

Он похоронен в Канибадаме. Я посетил недавно его могилу; дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца...



ПОВЕСТЬ О ХОДЖЕ НАСРЕДДИНЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ



И сказал ему я: «Для радости тех, что живут со мною на земле, я напишу книгу, — пусть на ее листы не дуют холодные ветры времени, пусть светлая весна моих стихов никогда не сменяется унылой осенью забвенья!..». И — посмотри! — еще розы в саду не осыпались, и я еще хожу без клюки, а книга «Гюлистан», что значит «Цветник роз», уже написана мною, и ты читаешь ее...

Саади

Эту историю передал нам Абу-Омар-Ахмед-ибн-Мухаммед со слов Мухаммеда-ибн-Али-Рифаа, ссылавшегося на Али-ибн-Абд-аль-Азиза, который ссылался на Абу-Убейда-аль-Хасима-ибн-Селяма, говорившего со слов своих наставников, а последний из них опирается на Омара-ибн-аль-Хаттаба и сына его Абд-Аллаха, — да будет доволен аллах ими обоими!

Ибн-Хазм, «Ожерелье голубки»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою.

Триста восемьдесят восьмая ночь Шахразады

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тридцать пятый год своей жизни Ходжа Насреддин встретил в пути.

Больше десяти лет провел он в изгнании, странствуя из города в город, из одной страны в другую, пересекая моря и пустыни, ночуя как придется — на голой земле у скудного пастушеского костра или в тесном караван-сарае, где в пыльной темноте до утра вздыхают и чешутся верблюды и глухо позвякивают бубенцами, или в чадной, закопченной чайхане, среди лежащих вповалку водоносов, нищих, погонщиков и прочего бедного люда, с наступлением рассвета наполняющего своими пронзительными криками базарные площади и узкие улички городов. Нередко удавалось ему ночевать и на мягких шелковых подушках в гареме какого-нибудь иранского вельможи, который как раз в эту ночь ходил с отрядом стражников по всем чайханам и караван-сараям, разыскивая бродягу и богохульника Ходжу Насреддина, чтобы посадить его на кол... Через решетку окна виднелась узкая полоска неба, бледнели звезды, предутренний ветерок легко и нежно шумел по листве, на подоконнике начинали ворковать и чистить перья веселые горлинки. И Ходжа Насреддин, целуя утомленную красавицу, говорил:

— Пора. Прощай, моя несравненная жемчужина, и не забывай меня.

— Подожди! — отвечала она, смыкая прекрасные руки на его шее. — Разве ты уходишь совсем? Но почему? Послушай, сегодня вечером, когда стемнеет, я опять пришлю за тобой старуху.

— Нет. Я уже давно забыл то время, когда проводил две ночи подряд под одной крышей. Надо ехать, я очень спешу.

— Ехать? Разве у тебя есть какие-нибудь неотложные дела в другом городе? Куда ты собираешься ехать?

— Не знаю. Но уже светает, уже открылись городские ворота и двинулись в путь первые караваны. Ты слышишь — звенят бубенцы верблюдов!.. Когда до меня доносится этот звук, то словно джинны вселяются в мои ноги, и я не могу усидеть на месте!

— Уходи, если так! — сердито говорила красавица, тщетно пытаясь скрыть слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. — Но скажи мне хоть свое имя на прощание.

— Ты хочешь знать мое имя? Слушай, ты провела ночь с Ходжой Насреддином! Я Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, тот самый, о котором ежедневно кричат глашатаи на всех площадях и базарах, обещая большую награду за его голову. Вчера обещали три тысячи туманов, и я подумал даже — не продать ли мне самому свою собственную голову за такую хорошую цену. Ты смеешься, моя звездочка, ну, дай мне скорее в последний раз твои губы. Если бы я мог, то подарил бы тебе изумруд, но у меня нет изумруда, — возьми вот этот простой белый камешек на память!

Он натягивал свой рваный халат, прожженный во многих местах искрами дорожных костров, и удалялся потихоньку. За дверью громко храпел ленивый, глупый евнух в чалме и мягких туфлях с загнутыми кверху носами — нерадивый страж главного во дворце сокровища, доверенного ему. Дальше, врастяжку на коврах и кошмах, храпели стражники, положив головы на свои обнаженные ятаганы. Ходжа Насреддин прокрадывался на цыпочках мимо, и всегда благополучно, словно бы становился на это время невидимым.

И опять звенела, дымилась белая каменистая дорога под бойкими копытами его ишака. Над миром в синем небе сияло солнце; Ходжа Насреддин мог не щурясь смотреть на него. Росистые поля и бесплодные пустыни, где белеют полузанесенные песком верблюжьи кости, зеленые сады и пенистые реки, хмурые горы и зеленые пастбища слышали песню Ходжи Насреддина. Он уезжал все дальше и дальше, не оглядываясь назад, не жалея об оставленном и не опасаясь того, что ждет впереди.

А в покинутом городе навсегда оставалась жить память о нем.

Вельможи и муллы бледнели от ярости, слыша его имя; водоносы, погонщики, ткачи, медники и седельники, собираясь по вечерам в чайханах, рассказывали друг другу смешные истории о его приключениях, из которых он всегда выходил победителем; томная красавица в гареме часто смотрела на белый камешек и прятала его в перламутровый ларчик, услышав шаги своего господина.

— Уф! — говорил толстый вельможа и, пыхтя и сопя, начинал стаскивать свой парчовый халат. — Мы все вконец измучились с этим проклятым бродягой Ходжой Насреддином: он возмутил и взбаламутил все государство! Я получил сегодня письмо от моего старинного друга, уважаемого правителя Хорасанской округи. Подумать только — едва этот бродяга Ходжа Насреддин появился в его городе, как сразу же кузнецы перестали платить налоги, а содержатели харчевен отказались бесплатно кормить стражников. Мало того — этот вор, осквернитель ислама и сын греха, осмелился забраться в гарем хорасанского правителя и обесчестить его любимую жену! Поистине, мир еще не видывал подобного преступника! Жалею, что этот презренный оборванец не попытался проникнуть в мой гарем, а то бы его голова давным-давно торчала на шесте посредине главной площади!

Красавица молчала, затаенно улыбалась, — ей было и смешно и грустно. А дорога все звенела, дымилась под копытами ишака. И звучала песня Ходжи Насреддина. За десять лет он побывал всюду: в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде, он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память.

Теперь он возвращался в свой родной город, в Бухару-и-Шериф, в Благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Присоединившись к большому купеческому каравану, Ходжа Насреддин пересек бухарскую границу и на восьмой день пути увидел вдали в пыльной мгле знакомые минареты великого, славного города.

Хрипло закричали измученные жаждой и зноем караванщики, верблюды прибавили шагу: солнце уже садилось, и надо было спешить, чтобы войти в Бухару раньше, чем закроют городские ворота. Ходжа Насреддин ехал в самом хвосте каравана, окутанный густым тяжелым облаком пыли; это была родная, священная пыль; ему казалось, что она пахнет лучше, чем пыль других, далеких земель. Чихая и откашливаясь, он говорил своему ишаку:

— Ну вот мы наконец дома. Клянусь аллахом, нас ожидают здесь удача и счастье.

Караван подошел к городской стене как раз в ту минуту, когда стражники запирали ворота. «Подождите, во имя аллаха!» — закричал караван-баши, показывая издали золотую монету. Но ворота уже сомкнулись, с лязгом упали засовы, и часовые стали на башнях около пушек. Потянуло прохладным ветром, в туманном небе погас розовый отблеск, и ясно обозначился тонкий серп молодого месяца, и в сумеречной тишине со всех бесчисленных минаретов понеслись высокие, протяжные и печальные голоса муэдзинов, призывавших мусульман к вечерней молитве.

Купцы и караванщики стали на колени, а Ходжа Насреддин со своим ишаком отошел потихоньку в сторону.

— Этим купцам есть за что благодарить аллаха; они сегодня пообедали и теперь собираются ужинать. А мы с тобой, мой верный ишак, не обедали и не будем ужинать; если аллах желает получить нашу благодарность, то пусть пошлет мне миску плова, а тебе — сноп клевера!

Он привязал ишака к придорожному дереву, а сам лег рядом, прямо на землю, положив под голову камень. Глазам его открылись в темно-прозрачном небе сияющие сплетения звезд, и каждое созвездие было знакомо ему: так часто за десять лет он видел над собой открытое небо! И он всегда думал, что эти часы безмолвного мудрого созерцания делают его богаче самых богатых, и хотя богатый ест на золотых блюдах, но зато и ночевать он должен непременно под крышей, и ему не дано в полночь, когда все затихает, почувствовать полет земли сквозь голубой и прохладный звездный туман...

Между тем в караван-сараях и чайханах, примыкавших снаружи к зубчатой городской стене, загорелись костры под большими котлами, и жалобно заблеяли бараны, которых потащили на убой. Но опытный Ходжа Насред-

дин предусмотрительно устроился на ночлег с наветренной стороны, чтобы запах пищи не дразнил и не беспокоил его. Зная бухарские порядки, он решил поберечь последние деньги, чтобы заплатить утром пошлину у городских ворот.

Он долго ворочался, а сон все не шел к нему, и причиной бессонницы был вовсе не голод. Ходжу Насреддина томили и мучили горькие мысли, даже звездное небо не могло сегодня утешить его.

Он любил свою родину, и не было в мире большей любви у этого хитрого весельчака с черной бородкой на медно-загорелом лице и лукавыми искрами в ясных глазах. Чем дальше от Бухары скитался он в заплатанном халате, засаленной тюбетейке и порванных сапогах, тем сильнее он любил Бухару и тосковал по ней. В своем изгнании он все время помнил узкие улички, где арба, проезжая, боронит по обе стороны глиняные заборы; он помнил высокие минареты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние священные карагачи с чернеющими на сучьях огромными гнездами аистов; он помнил дымные чайханы над арыками, в тени лепечущих тополей, дым и чад харчевен, пеструю сутолоку базаров; он помнил горы и реки своей родины, ее селения, поля, пастбища и пустыни, и когда в Багдаде или в Дамаске он встречал соотечественника и узнавал его по узору на тюбетейке и по особому покрою халата, сердце Ходжи Насреддина замирало и дыхание стеснялось.

Вернувшись, он увидел свою родину еще более несчастной, чем в те дни, когда покинул ее. Старого эмира давно похоронили. Новый эмир за восемь лет сумел вконец разорить Бухару. Ходжа Насреддин увидел разрушенные мосты на дорогах, убогие посевы ячменя и пшеницы, сухие арыки, дно которых потрескалось от жары. Поля дичали, зарастали бурьяном и колючкой, сады погибали от жажды, у крестьян не было ни хлеба, ни скота, нищие вереницами сидели вдоль дорог, вымаливая подаяние у таких же нищих, как сами. Новый эмир поставил во всех селениях отряды стражников и приказал жителям бесплатно кормить их, заложил множество новых мечетей и приказал жителям достраивать их, — он был очень набожен, новый эмир, и дважды в год обязательно ездил на поклонение праху святейшего и несравненного шейха Богаэддина, гробница которого высилась близ Бухары.

В дополнение к прежним четырем налогам он ввел еще три, установил плату за проезд через каждый мост, повысил торговые и судебные пошлины, начеканил фальшивых денег... Приходили в упадок ремесла, разрушалась торговля: невесело встретила Ходжу Насреддина его любимая родина.

...Рано утром со всех минаретов опять запели муэдзины; ворота открылись, и караван, сопровождаемый глухим звоном бубенцов, медленно вошел в город.

За воротами караван остановился: дорогу преградили стражники. Их было великое множество — обутых и босых, одетых и полуголых, еще не успевших разбогатеть на эмирской службе. Они толкались, кричали, спорили, заранее распределяя между собой наживу. Наконец из чайханы вышел сборщик пошлин — тучный и сонный, в шелковом халате с засаленными рукавами, в туфлях на босу ногу, со следами невоздержанности и порока на оплывшем лице. Окинув жадным взглядом купцов, он сказал:

— Приветствую вас, купцы, желаю вам удачи в торговых делах. И знайте, что есть повеление эмира избивать палками до смерти каждого, кто утаит хоть самую малость товара!

Купцы, охваченные смущением и страхом, молча поглаживали свои крашеные бороды. Сборщик повернулся к стражникам, которые от нетерпения давно уже приплясывали на месте, и пошевелил толстыми пальцами. Это был знак. Стражники с гиком и воем кинулись к верблюдам. В давке и спешке они перерубали саблями волосяные арканы, звучно вспарывали тюки, выбрасывали на дорогу парчу, шелк, бархат, ящики с перцем, чаем и амброй, кувшины с драгоценным розовым маслом и тибетскими лекарствами.

От ужаса купцы лишились языка. Через две минуты осмотр окончился. Стражники выстроились позади своего начальника. Халаты их топорщились и отдувались. Начался сбор пошлин за товары и за въезд в город. У Ходжи Насреддина товаров не было; с него полагалась пошлина только за въезд.

— Откуда ты пришел и зачем? — спросил сборщик. Писец обмакнул в чернильницу гусиное перо и приготовился записать ответ Ходжи Насреддина.

— Я приехал из Испагани, о пресветлый господин. Здесь, в Бухаре, живут мои родственники.

— Так, — сказал сборщик. — Ты едешь в гости к своим родственникам. Значит, ты должен заплатить гостевую пошлину.

— Но я еду к своим родственникам не в гости, — возразил Ходжа Насреддин. — Я еду по важному делу.

— По делу! — вскричал сборщик, и в глазах его мелькнул блеск. — Значит, ты едешь в гости и одновременно по делу! Плати гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвуй на украшение мечетей во славу аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников.

«Лучше бы он сохранил меня сейчас, а от разбойников я бы как-нибудь и сам уберегся», — подумал Ходжа Насреддин, но промолчал: он успел подсчитать, что в этой беседе каждое слово обходится ему больше чем в десять таньга. Он развязал пояс и под хищными пристальными взглядами стражников начал отсчитывать пошлину за въезд в город, гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвование на украшение мечетей. Сборщик грозно покосился на стражников, они отвернулись. Писец, уткнувшись в книгу, быстро заскрипел пером.

Ходжа Насреддин расплатился, хотел уходить, но сборщик заметил, что в его поясе осталось еще несколько монет.

— Подожди, — остановил он Ходжу Насреддина. — А кто же будет платить пошлину за твоего ишака? Если ты едешь в гости к родственникам, значит и твой ишак едет в гости к родственникам.

— Ты прав, о мудрый начальник, — смиренно ответил Ходжа Насреддин, снова развязывая пояс. — У моего ишака в Бухаре действительно великое множество родственников, иначе наш эмир с такими порядками давным-давно полетел бы с трона, а ты, о почтенный, за свою жадность попал бы на кол!

Прежде чем сборщик опомнился, Ходжа Насреддин вскочил на ишака и, пустив его во весь опор, исчез в ближайшем переулке. «Скорее, скорее! — говорил он. — Прибавь ходу, мой верный ишак, прибавь ходу, иначе твой хозяин заплатит еще одну пошлину — собственной головой!»

Ишак у Ходжи Насреддина был очень умный, все понимал: он слышал своими длинными ушами гул и смятение у городских ворот, крики стражников и, не разбирая дороги, мчался так, что Ходжа Насреддин, обхватив обеими руками его шею и высоко подобрав ноги, едва

держался в седле. За ним с хриплым лаем неслась целая свора собак; встречные жались к заборам и смотрели вслед, покачивая головами.

Тем временем у городских ворот стражники обшарили всю толпу, разыскивая дерзкого вольнодумца. Купцы, ухмыляясь, шептали друг другу:

— Вот ответ, который сделал бы честь даже самому Ходже Насреддину!..

К полудню весь город знал об этом ответе; продавцы на базаре рассказывали шепотом покупателям, а те передавали дальше, и все говорили при этом: «Вот слова, достойные самого Ходжи Насреддина!».

И никто не знал, что эти слова принадлежали Ходже Насреддину, что он сам, знаменитый и несравненный Ходжа Насреддин, бродит сейчас по городу, голодный, без гроша в кармане, разыскивая родственников или старых друзей, которые бы накормили его и приютили на первое время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он не нашел в Бухаре ни родственников, ни старых друзей. Он не нашел даже отчего дома, в котором родился и вырос, играя в тенистом саду, где в осенние прозрачные дни шелестела под ветром желтеющая листва, спелые плоды с глухим, словно бы отдаленным стуком падали на землю, тонкими голосами свистели птицы, солнечные пятна трепетали на благоуханной траве, гудели трудолюбивые пчелы, собирая последнюю дань с увядающих цветов, затаенно журчала в арыке вода, рассказывая мальчику свои бесконечные непонятные сказки... Теперь на этом месте был пустырь: бугры, рытвины, цепкий чертополох, закопченные кирпичи, оплывающие остатки стен, куски истлевших камышовых циновок; ни одной птицы, ни одной пчелы не увидел здесь Ходжа Насреддин! Только из-под камней, о которые он споткнулся, вытекла вдруг маслянистая длинная струя и, тускло блеснув на солнце, скрылась опять под камнями, — это была змея, одинокий и страшный житель пустынных мест, навсегда покинутых человеком.

Потупившись, Ходжа Насреддин долго стоял в молчании; горе сжимало его сердце.

Он услышал за спиной дребезжащий кашель и обернулся.

По тропинке шел через пустырь какой-то старик, согбенный нуждой и заботами. Ходжа Насреддин остановил его:

— Мир тебе, старец, да пошлет тебе аллах еще много лет здоровья и благоденствия. Скажи, чей дом стоял раньше на этом пустыре?

— Здесь стоял дом седельника Шир-Мамеда, — ответил старик. — Я когда-то очень хорошо знал его. Этот Шир-Мамед был отцом знаменитого Ходжи Насреддина, о котором ты, путник, наверное, слышал немало.

— Да, я слышал кое-что. Но скажи, куда девался этот седельник Шир-Мамед, отец знаменитого Ходжи Насреддина, куда девалась его семья?

— Тише, сын мой. В Бухаре тысячи и тысячи шпионов — они могут услышать нас, и тогда мы не оберемся беды. Ты, наверное, приехал издалека и не знаешь, что в нашем городе строго запрещено упоминать имя Ходжи Насреддина, за это сажают в тюрьму. Наклонись ко мне ближе, и я расскажу.

Ходжа Насреддин, скрывая волнение, низко пригнулся к нему.

— Это было еще при старом эмире, — начал старик. — Через полтора года после изгнания Ходжи Насреддина по базару разнесся слух, что он вернулся, тайно проживает в Бухаре и сочиняет про эмира насмешливые песни. Этот слух дошел до эмирского дворца, стражники кинулись искать Ходжу Насреддина, но найти не могли. Тогда эмир повелел схватить отца Ходжи Насреддина, двух братьев, дядю, всех дальних родственников, друзей и пытать до тех пор, пока они не скажут, где скрывается Ходжа Насреддин. Слава аллаху, он послал им столько мужества и твердости, что они смогли промолчать, и наш Ходжа Насреддин не попался в руки эмиру. Но его отец, седельник Шир-Мамед, заболел после пыток и вскоре умер, а все родственники и друзья покинули Бухару, скрываясь от эмирского гнева, и никто не знает, где они сейчас. И тогда эмир приказал разрушить их жилища и выкорчевать сады, дабы истребить в Бухаре самую память о Ходже Насреддине.

— За что же их пытали? — воскликнул Ходжа Насреддин; слезы текли по его лицу, но старик видел плохо и не замечал этих слез. — За что их пытали? Ведь

Ходжи Насреддина в то время не было в Бухаре, я это очень хорошо знаю!

— Никто этого не знает! — ответил старик. — Ходжа Насреддин появляется, где захочет, и исчезает, когда захочет. Он везде и нигде, наш несравненный Ходжа Насреддин!

С этими словами старик, охая и кашляя, побрел дальше, а Ходжа Насреддин, закрыв лицо руками, подошел к своему ишаку.

Он обнял ишака, прижался мокрым лицом к его теплой, пахучей шее: «Ты видишь, мой добрый, мой верный друг, — говорил Ходжа Насреддин, — у меня не осталось никого из близких, только ты постоянный и неизменный товарищ в моих скитаниях». И словно чувствуя горе своего хозяина, ишак стоял смирно, не шевелясь, и даже перестал жевать колючку, которая так и осталась висеть у него на губах.

Но через час Ходжа Насреддин укрепил свое сердце, слезы высохли на его лице. «Ничего! — вскричал он, сильно хлопнув ишака по спине. — Ничего! Меня еще не забыли в Бухаре, меня знают и помнят в Бухаре, и мы сумеем найти здесь друзей! И теперь уж мы сочиним про эмира такую песню, что он лопнет от злости на своем троне, и его вонючие кишки прилипнут к разукрашенным стенам дворца! Вперед, мой верный ишак, вперед!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Был послеполуденный душный и тихий час. Дорожная пыль, камни, глиняные заборы и стены — все раскалилось, дышало ленивым жаром, и пот на лице Ходжи Насреддина высыхал раньше, чем он успевал его вытереть.

Ходжа Насреддин с волнением узнавал знакомые улицы, чайханы и минареты. Ничто не изменилось за десять лет в Бухаре, все так же облезшие собаки дремали у водоемов, и стройная женщина, изогнувшись и придерживая смуглой рукой с накрашенными ногтями свою чадру, погружала в темную воду узкий звенящий кувшин. И все так же наглухо были заперты ворота знаменитой медрессе Мир-Араб, где под тяжелыми сводами келий ученые улемы и мударрисы, давно позабывшие цвет весенней листвы, запах солнца и говор воды, сочиняют с горящими

мрачным пламенем глазами толстые книги во славу аллаха, доказывая необходимость уничтожения до седьмого колена всех, не исповедующих ислама. Ходжа Насреддин ударил ишака пятками, проезжая это страшное место.

Но где же все-таки пообедать? Ходжа Насреддин в третий раз со вчерашнего дня перевязал свой пояс.

— Надо что-то придумать, — сказал он. — Остановимся, мой верный ишак, и подумаем. А вот, кстати, чайхана!

Разнуздав ишака, он пустил его собирать недоеденный клевер у коновязи, а сам, подобрав полы халата, уселся перед арыком, в котором, булькая и пенясь на заворотах, шла густая от глины вода. «Куда, зачем и откуда течет эта вода — она не знает и не думает об этом, — горестно размышлял Ходжа Насреддин. — Я тоже не знаю ни своего пути, ни отдыха, ни дома. Зачем я пришел в Бухару? Куда я уйду завтра? И где же раздобыть полтаньга на обед? Неужели я опять останусь голодным? Проклятый сборщик пошлин, он ограбил меня дочиста и еще имел бесстыдство толковать мне о разбойниках!»

В эту минуту он вдруг увидел виновника своих несчастий. К чайхане подъехал сам сборщик пошлин. Два стражника вели под уздцы арабского жеребца, гнедого красавца с благородным и страстным огнем в темных глазах. Он, пригибая шею, нетерпеливо перебирал тонкими ногами, как будто ему было противно нести на себе жирную тушу сборщика.

Стражники почтительно сгрузили своего начальника, и он вошел в чайхану, где трепещущий от раболепия чайханщик усадил его на шелковые подушки, заварил ему отдельно самого лучшего чаю и подал тонкую пиалу китайской работы. «Неплохо встречают его за мои деньги!» — подумал Ходжа Насреддин.

Сборщик налился чаем до самого горла и вскоре задремал на подушках, наполнив чайхану сопением, храпом и причмокиваниями. Все остальные гости перешли в разговорах на шепот, боясь потревожить его сон. Стражники сели над ним — один справа, а другой слева — и отгоняли веточками назойливых мух, пока не убедились, что сборщик уснул крепко; тогда они перемигнулись, разнуздали коня, бросили ему сноп клевера и, захватив с собою кальян, ушли в глубь чайханы, в темноту, откуда через минуту на Ходжу Насреддина потянуло сладким запахом

гашиша: стражники на свободе предавались пороку. «Ну, а мне пора убираться! — решил Ходжа Насреддин, вспомнив утреннее приключение у городских ворот и опасаясь, что стражники, не ровен час, узнают его. — Но где же все-таки достану я полтаньга? О всемогущая судьба, столько раз выручавшая Ходжу Насреддина, обрати на него свой благосклонный взор!»

В это время его окликнули:

— Эй ты, оборванец!

Он обернулся и увидел на дороге крытую, богато разукрашенную арбу, откуда, раздвинув занавески, выглядывал человек в большой чалме и дорогом халате.

И раньше чем этот человек — богатый купец или вельможа — произнес следующее слово, Ходжа Насреддин уже знал, что его призыв к счастью не остался без ответа: счастье, как всегда, обратило к нему в трудную минуту свой благосклонный взор.

— Мне нравится этот жеребец, — надменно сказал богач, глядя поверх Ходжи Насреддина и любуясь гнедым арабским красавцем. — Скажи мне, продается ли этот жеребец?

— В мире нет такого коня, который бы не продавался, — уклончиво ответил Ходжа Насреддин.

— У тебя в кармане, наверное, не очень много денег, — продолжал богач. — Слушай внимательно. Я не знаю, чей это жеребец, откуда он и кому принадлежал раньше. Я не спрашиваю тебя об этом. С меня достаточно того, что, судя по твоей запыленной одежде, ты приехал в Бухару издалека. С меня этого достаточно. Ты понял?

Ходжа Насреддин, охваченный ликованием и восхищением, кивнул головой: он сразу понял все и даже гораздо больше, чем хотел ему сказать богач. Он думал только об одном: чтобы какая-нибудь глупая муха не заползла в ноздрю или в гортань сборщику пошлин и не разбудила его. О стражниках он беспокоился меньше: они продолжали с увлечением предаваться пороку, о чем свидетельствовали клубы густого зеленого дыма, валившего из темноты.

— Но ты сам понимаешь, — надменно и важно продолжал богач, — что тебе в твоем рваном халате не подобает ездить на таком коне. Это даже было бы опасным для тебя, потому что каждый задал бы себе вопрос: «Откуда взялся у этого нищего такой прекрасный жеребец?» — и ты мог бы легко угодить в тюрьму.

— Ты прав, о высокорожденный! — смиренно ответил Ходжа Насреддин. — Конь действительно слишком хорош для меня. Я в своем рваном халате всю жизнь езжу на ишаке и даже не осмеливаюсь подумать о том, чтобы сесть на такого коня.

Ответ его понравился богачу.

— Это хорошо, что ты при своей бедности не ослеплен гордостью: бедняк должен быть смиренен и скромен, ибо пышные цветы присущи благородному миндалю, но не присущи степной убогой колючке. Теперь ответь мне — хочешь ли ты получить вот этот кошелек? Здесь ровно триста таньга серебром.

— Еще бы! — воскликнул Ходжа Насреддин, внутренне холодея, потому что зловредная муха все-таки заползла в ноздрю сборщика пошлин: он чихнул и зашевелился. — Еще бы! Кто откажется получить триста таньга серебром? Ведь это все равно что найти кошелек на дороге!

— Ну, положим, на дороге ты нашел совсем другое, — ответил богач, тонко улыбнувшись. — Но то, что ты нашел на дороге, я согласен обменять на серебро. Получи свои триста таньга.

Он протянул Ходже Насреддину увесистый кошелек и подал знак своему слуге, который, почесывая нагайкой спину, молча прислушивался к разговору. Слуга направился к жеребцу. Ходжа Насреддин успел заметить, что слуга, судя по усмешке на его плоской рябой роже и по беспокойным глазам, — отъявленный плут, вполне достойный своего господина. «Три плута на одной дороге — это слишком много, одному пора убираться!» — решил Ходжа Насреддин. Восхваляя благочестие и щедрость богача, он вскочил на ишака и так сильно ударил его пятками, что ишак, несмотря на всю свою леность, взял сразу в галоп.

Обернувшись, Ходжа Насреддин увидел, что рябой слуга привязывает к арбе гнедого арабского жеребца.

Обернувшись еще раз, он увидел, что богач и сборщик пошлин дерут друг друга за бороды, а стражники тщетно стараются разнять их.

Разумный не вмешивается в чужую ссору. Ходжа Насреддин крутил и вилял по всем переулкам, пока не почувствовал себя в безопасности. Он натянул поводья, сдерживая галоп ишака.

— Подожди, подожди, — начал он. — Теперь нам спешить некуда...

Вдруг он услышал вблизи тревожный, перебивчатый цокот копыт.

— Эге! Вперед, мой верный ишак, вперед, выручай! — крикнул Ходжа Насреддин, но было уже поздно: из-за поворота на дорогу выскочил всадник.

Это был рябой слуга. Он скакал на лошади, выпряженной из арбы. Болтая ногами, он промчался мимо Ходжи Насреддина и, круто осадив лошадь, поставил ее поперек дороги.

— Пропусти, добрый человек, — кротко сказал Ходжа Насреддин. — На таких узких дорогах нужно ездить вдоль, а не поперек.

— Ага! — ответил слуга со злорадством в голосе. — Ну, теперь тебе не миновать подземной тюрьмы! Знаешь ли ты, что этот вельможа, владелец жеребца, вырвал у моего господина полбороды, а мой господин разбил ему до крови нос. Завтра же тебя потащат на эмирский суд. Поистине, участь твоя горькая, о человек!

— Что ты говоришь?! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Из-за чего же могли так сильно поссориться эти почтенные люди? Но зачем ты остановил меня — я не могу быть судьей в их споре! Пускай уж они сами разбираются как-нибудь!

— Довольно болтать! — сказал слуга. — Заворачивай обратно. Придется тебе ответить за этого жеребца.

— Какой жеребец?

— Ты еще спрашиваешь?! Тот самый, за которого ты получил от моего господина кошелек серебра.

— Клянусь аллахом, ты ошибаешься, — ответил Ходжа Насреддин. — Жеребец здесь совсем ни при чем. Посуди сам — ты ведь слышал весь разговор. Твой господин, человек щедрый и благочестивый, желая помочь бедняку, спросил: хочу ли я получить триста таньга серебром? — и я ответил, что, конечно, хочу. И он дал мне триста таньга, да продлит аллах дни его жизни! Но предварительно он решил испытать мою скромность и мое смирение, дабы убедиться, что я заслуживаю награды. Он сказал: «Я не спрашиваю, чей это жеребец и откуда он», — желая проверить, не назову ли я себя из ложной гордости хозяином этого жеребца. Я промолчал, и щедрый, благочестивый купец остался доволен этим. Потом он сказал, что такой жеребец был бы слишком хорош для

меня, я с ним вполне согласился, и он опять остался доволен. Затем он сказал, что я нашел на дороге то, что может быть обменено на серебро, намекая этим на мое усердие и твердость в исламе, которые я обрел в своих скитаниях по святым местам. И он тогда наградил меня, дабы этим благочестивым делом заранее облегчить себе переход в рай по загробному мосту, что легче волоса и тоньше острия меча, как говорит священный Коран. В первой же молитве я сообщу аллаху о благочестивом поступке твоего господина, дабы аллах заранее приготовил для него перила на этом мосту.

Слуга задумался, потом сказал с хитрой усмешкой, от которой Ходже Насреддину стало как-то не по себе:

— Ты прав, о путник! И как это я сразу не догадался, что твой разговор с моим хозяином имеет столь добродетельный смысл! Но если уж ты решил помочь моему господину в переходе по загробному мосту, то лучше, чтобы перила были с двух сторон. Оно выйдет крепче и надежнее. Я тоже с удовольствием помолился бы за моего господина, чтобы аллах поставил перила и с другой стороны.

— Так помолись! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Кто мешает тебе? Ты даже обязан это сделать. Разве не повелевает Коран рабам и слугам ежедневно молиться за своих господ, не требуя особой награды...

— Заворачивай ишака! — грубо сказал слуга и, тронув лошадь, прижал Ходжу Насреддина к забору. — Ну, живее, не заставляй меня терять попусту время!

— Подожди, — торопливо прервал его Ходжа Насреддин. — Я еще не все сказал. Я собирался прочесть молитву в триста слов, по числу таньга, полученных мною. Но теперь я думаю, что можно обойтись молитвой в двести пятьдесят слов. Перила с моей стороны будут только чуть-чуть потоньше и покороче. А ты прочтешь молитву в пятьдесят слов, и премудрый аллах сумеет из тех же бревен выкроить перила на твою сторону.

— Как же так? — возразил слуга. — Значит, мои перила будут в пять раз короче твоих?

— Но зато они будут в самом опасном месте! — с живостью добавил Ходжа Насреддин.

— Нет! Я не согласен на такие коротенькие перила! — решительно сказал слуга. — Значит, часть моста будет не огороженной! Я весь бледнею и покрываюсь холодным потом при мысли о страшной опасности,

угрожающей моему господину! Я полагаю, что мы оба должны прочесть молитвы по сто пятьдесят слов, чтобы перила были с обеих сторон одинаковыми. Ну, пусть они будут тоненькие, зато с двух сторон. А если ты не согласен, то я в этом вижу злой умысел против моего господина — значит, ты хочешь, чтобы он свалился с моста! И я сейчас позову людей, и ты прямым ходом отправишься в подземную тюрьму!

— Тоненькие перила! — в ярости вскричал Ходжа Насреддин, чувствуя как бы слабое пошевеливанье кошелька в своем поясе. — По-твоему, достаточно огородить этот мост прутиками! Пойми же, что перила с одной стороны должны быть непременно толще и крепче, дабы купцу было за что ухватиться, если он оступится и будет падать!

— Сама истина говорит твоими устами! — радостно воскликнул слуга. — Пусть они будут толще с моей стороны, а я уж не пожалею труда и прочту молитву в двести слов!

— А в триста не хочешь? — злобно сказал Ходжа Насреддин.

Они долго спорили на дороге. Редкие прохожие, слышавшие обрывки разговора, почтительно кланялись, принимая Ходжу Насреддина и рябого слугу за благочестивых поломников, возвращающихся с поклонения святым местам.

Когда они расставались, кошелек Ходжи Насреддина был легче наполовину: они договорились, что мост, ведущий в рай, должен быть огорожен для купца с двух сторон совершенно одинаковыми по длине и прочности перилами.

— Прощай, путник, — сказал слуга. — Сегодня мы с тобой совершили благочестивое дело.

— Прощай, добрый, преданный и добродетельный слуга, столь пекущийся о спасении души своего хозяина. Скажу еще, что в споре ты не уступишь, наверное, даже самому Ходже Насреддину.

— Почему ты вспомнил о нем? — насторожился слуга.

— Да так. Пришлось к слову, — ответил Ходжа Насреддин, подумав про себя: «Эге!.. Да это, кажется, не простая птица!».

— Может быть, ты приходишься ему каким-нибудь дальним родственником? — спросил слуга. — Или знаешь кого-нибудь из его родственников?

— Нет, я никогда не встречался с ним. И я никого не знаю из его родственников.

— Скажу тебе на ухо, — слуга наклонился в седле: — я прихожусь родственником Ходже Насреддину. Я его двоюродный брат. Мы вместе провели детские годы.

Ходжа Насреддин, окончательно укрепившись в своих подозрениях, ничего не ответил. Слуга нагнулся к нему с другой стороны:

— Его отец, два брата и дядя погибли. Ты, наверное, слышал, путник?

Ходжа Насреддин молчал.

— Какое зверство со стороны эмира! — воскликнул слуга лицемерным голосом.

Но Ходжа Насреддин молчал.

— Все бухарские визири — дураки! — сказал вдруг слуга, трепеща от нетерпения и алчности, ибо за поимку вольнодумцев полагалась от казны большая награда.

Но Ходжа Насреддин упорно молчал.

— И сам наш пресветлый эмир тоже дурак! — сказал слуга. — И еще неизвестно, есть ли на небе аллах или его вовсе не существует.

Но Ходжа Насреддин молчал, хотя ядовитый ответ давно висел на самом кончике его языка. Слуга, обманувшийся в своих надеждах, с проклятием ударил лошадь нагайкой и в два прыжка исчез за поворотом. Все затихло. Только пыль, взметенная копытами, вилась и золотилась в неподвижном воздухе, пронизанная косыми лучами.

«Ну вот, нашелся все-таки родственничек, — насмешливо думал Ходжа Насреддин. — Старик не солгал мне: шпионов действительно развелось в Бухаре больше, чем мух, и надо быть осторожнее, ибо старинная поговорка гласит, что провинившийся язык отрубают вместе с головой».

Так ехал он долго, то омрачаясь при мысли о своем опустевшем наполовину кошельке, то улыбаясь при воспоминании о драке сборщика пошлин с надменным богачом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Достигнув противоположной части города, он остановился, поручил своего ишака заботам чайханщика, а сам, не теряя времени, отправился в харчевню.

Там было тесно, дымно и чадно, стоял шум и гам, жарко пылали печи, и пламя их озаряло потных, оголенных до пояса поваров. Они спешили, кричали, толкая друг друга и раздавая подзатыльники поварятам, которые с безумными глазами метались по всей харчевне, увеличивая давку, галдеж и сутолоку. Булькали огромные котлы, накрытые деревянными пляшущими кругами, сытный пар сгущался под потолком, где с гудением вились рои бесчисленных мух. В сизом чаду яростно шипело, брызгалось масло, светились стенки накаленных жаровен, и жир, капая с вертелов на угли, горел синим душным огнем. Здесь готовили плов, жарили шашлык, варили требуху, пекли пирожки, начиненные луком, перцем, мясом и курдючным салом, которое, растопившись в печи, проступало насквозь через тесто и кипело мелкими пузырьками. Ходжа Насреддин с большим трудом отыскал место и втиснулся так плотно, что люди, которых сдавил он своей спиной и боками, крякнули. Но никто не обиделся и не сказал Ходже Насреддину ни слова, а сам он и подавно не обижался. Он всегда любил жаркую давку базарных харчевен, весь этот нестройный гомон, шутки, смех, крики, толкотню, дружное сопение, жевание и чавканье сотен людей, которым после целого дня тяжелой работы некогда разбираться в кушаньях: несокрушимые челюсти все перемелют — и жилы, и хрящи, а луженое брюхо все примет, только подавай, чтобы много было и дешево! Ходжа Насреддин тоже умел закусить основательно: он съел без передышки три миски лапши, три миски плова и еще напоследок два десятка пирожков, которые доедал через силу, верный своему правилу никогда ничего не оставлять в миске, раз деньги все равно заплачены.

Потом он полез к выходу и когда, работая изо всех сил локтями, выбрался наконец на воздух, то был весь мокрый. Члены его ослабли и растомились, как будто он только что побывал в бане, в руках у дюжего мойщика. Вялым шагом, отяжелев от еды и жары, наскоро добрался он до чайханы, а добравшись — заказал себе чаю и блаженно растянулся на кошмах. Веки его смыкались, в голове плыли тихие, приятные мысли: «У меня сейчас много денег; хорошо бы пустить их в оборот и открыть какую-нибудь мастерскую — горшечную или седельную; я ведь знаю эти ремесла. Хватит мне, в самом деле, скитаться. Разве я хуже и глупее других, разве у меня не

может быть доброй, красивой жены, разве не может быть у меня сына, которого носил бы я на руках? Клянусь бородой пророка, из этого горластого мальчишки выйдет отъявленный плут, я уж постараюсь передать ему свою мудрость! Да, решено: Ходжа Насреддин меняет свою беспокойную жизнь. Для начала я должен купить горшечную или седельную мастерскую...».

Он занялся подсчетами. Хорошая мастерская стоила самое меньшее триста таньга, у него же было сто пятьдесят. С проклятиями он вспоминал рябого слугу: «Да поразит аллах слепотой этого разбойника, он отнял у меня как раз ту половину, которой недостает сейчас для начала!».

И удача опять поспешила на помощь ему. «Двадцать таньга!» — вдруг сказал кто-то, и вслед за этими словами Ходжа Насреддин услышал стук костей, брошенных на медный поднос.

На краю помоста, у самой коновязи, где был привязан ишак, сидели плотным кольцом люди, а чайханщик стоял над ними, заглядывая сверху через головы.

«Игра! — догадался Ходжа Насреддин, приподнимаясь на локте. — Надо посмотреть хоть издали. Сам я, конечно, играть не буду: я не такой дурак! Но почему не посмотреть умному человеку на дураков?»

Он встал и подошел к играющим.

— Глупые люди! — шепотом сказал он чайханщику. — Они рискуют последним в надежде приобрести большее. И разве Магомет не запретил мусульманам денежных игр? Слава богу, я избавлен от этой пагубной страсти... Как везет, однако, этому рыжему игроку: он выигрывает четвертый раз подряд... Смотри, смотри — он в пятый раз выиграл! О безумец! Он обольщен ложным призраком богатства, между тем нищета уже вырыла яму на его пути. Что?.. Он в шестой раз выиграл!.. Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Смотри, он ставит опять! Поистине, нет предела человеческому легкомыслию; не может же он подряд выигрывать! Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье! Следовало бы проучить этого рыжего. Ну, пусть он только выиграет в седьмой раз, тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр и давно бы запретил их на месте эмира!..

Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл.

Ходжа Насреддин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо.

— Я хочу сыграть с тобой, — сказал он счастливцу, взял кости и быстро, опытным глазом, проверил их со всех сторон.

— Сколько? — спросил рыжий глухим голосом. Его била мелкая дрожь — он торопился, желая взять как можно больше от своего мимолетного счастья.

Ходжа Насреддин в ответ вынул кошелек, отложил на всякий случай в карман двадцать пять таньга, остальное высыпал. Серебро зазвенело и запело на медном подносе. Игроки встретили ставку легким взволнованным гулом: начиналась большая игра.

Рыжий взял кости и долго тряс, не решаясь метнуть. Все затаили дыхание, даже ишак вытянул морду и насторожил уши. Слышался только стук костей в кулаке рыжего игрока — больше ничего. И от этого сухого стука вступала в живот и в ноги Ходжи Насреддина истомная слабость. А рыжий все тряс, придерживая рукав халата, и не мог решиться.

Наконец он метнул. Игроки подались вперед и сейчас же откинулись, вздохнув все разом, единой грудью. Рыжий побледнел и застонал сквозь сжатые зубы.

На костях было всего три очка — верный проигрыш, ибо двойка выбрасывается так же редко, как и двенадцать, а все остальное годилось Ходже Насреддину.

Встряхивая в кулаке кости, он мысленно благодарил судьбу, столь благосклонную к нему в этот день. Но он позабыл, что судьба своенравна и непостоянна и может с легкостью изменить, если ей слишком надоедают. Она решила проучить самоуверенного Ходжу Насреддина и своим орудием избрала ишака, вернее — его хвост, украшенный на конце колючками и репьями. Повернувшись задом к играющим, ишак взмахнул хвостом, задел по руке своего хозяина, кости выскочили, и в тот же миг рыжий игрок с коротким, придушенным воплем упал на поднос, накрыв собою деньги.

Ходжа Насреддин выбросил два очка.

Долго сидел он, окаменев, беззвучно шевеля губами, — все качалось и плыло перед его остановившимся взором, и странный звон стоял в его ушах.

Вдруг он вскочил, схватил палку и начал дубасить ишака, бегая за ним вокруг коновязи.

— Проклятый ишак, о сын греха, о вонючая тварь и позор всего живущего на земле! — кричал Ходжа Насреддин. — Мало того, что ты играешь в кости на деньги своего хозяина, но ты еще и проигрываешь! Да облезет твоя подлая шкура, да пошлет тебе всемогущий аллах яму на пути, чтобы ты поломал свои ноги; когда же ты наконец издохнешь и я избавлюсь от созерцания твоей гнусной морды?!.

Ишак ревел, игроки хохотали, и громче всех — рыжий, окончательно поверивший в свое счастье.

— Сыграем еще, — сказал он, когда Ходжа Насреддин, утомившись и запыхавшись, отбросил палку. — Сыграем еще: у тебя осталось двадцать пять таньга.

При этом он выставил вперед левую ногу и слегка пошевеливал ею в знак пренебрежения к Ходже Насреддину.

— Что ж, сыграем! — ответил Ходжа Насреддин, решив, что теперь уж все равно: там, где потеряны сто двадцать таньга, нет смысла жалеть последние двадцать пять.

Он метнул небрежно, не глядя, — и выиграл.

— На все! — предложил рыжий, бросив на поднос свой проигрыш.

И Ходжа Насреддин выиграл опять.

Но рыжий не хотел поверить, что счастье повернулось спиной к нему:

— На все!

Так сказал он семь раз подряд и все семь раз проиграл. Поднос был полон денег. Игроки замерли, — только блеск в глазах свидетельствовал о внутреннем огне, пожиравшем их.

— Ты не можешь выигрывать подряд, если сам шайтан не помогает тебе! — вскричал рыжий. — Ты должен когда-нибудь проиграть! Здесь на подносе твоих денег тысяча шестьсот таньга! Согласен ли ты метнуть еще раз на все? Вот деньги, которые я приготовил, чтобы купить завтра на базаре товар для моей лавки, — я ставлю эти деньги против тебя!

Он достал маленький запасной кошелек, набитый золотом.

— Клади на поднос свое золото! — вскричал разгорячившийся Ходжа Насреддин.

Никогда еще в этой чайхане не было такой большой игры. Чайханщик забыл о своих давно вскипевших

кумганах, игроки дышали тяжело и прерывисто. Первым бросил кости рыжий и сразу зажмурился, — он боялся взглянуть.

— Одиннадцать! — закричали все хором. Ходжа Насреддин понял, что погиб: спасти его могли только двенадцать.

— Одиннадцать! Одиннадцать! — твердил в неистовой радости рыжий игрок. — Ты видишь — у меня одиннадцать! Ты проиграл! Ты проиграл!

Ходжа Насреддин, холодея, взял кости и уже приготовился их метнуть, но вдруг остановился.

— Повернись-ка задом! — сказал он ишаку. — Ты сумел проиграть на трех очках, сумей же теперь выиграть на одиннадцати, иначе я немедля отведу тебя на живодерню!

Он взял в левую руку хвост ишака и ударил себя этим хвостом по правой руке, в которой были зажаты кости.

Всеобщий вопль потряс чайхану, а сам чайханщик схватился за сердце и в изнеможении опустился на пол.

На костях было двенадцать очков.

Глаза рыжего выкатились из орбит, остекленели на бледном лице. Он медленно встал и, восклицая: «О, горе мне, горе!» — вышел, пошатываясь, из чайханы.

И говорят, что с тех пор его не видели больше в городе: он убежал в пустыню и там, страшный, заросший весь диким волосом, бродил в песках и колючем кустарнике, беспрестанно восклицая: «О, горе мне, горе!» — пока наконец не был съеден шакалами. И никто не пожалел о нем, потому что он был человек жестокий и несправедливый и причинил много зла, обыгрывая доверчивых простаков.

А Ходжа Насреддин, уложив в переметные сумки выигранное богатство, обнял ишака, крепко поцеловал в теплый нос и угостил вкусными, свежими лепешками, чему ишак немало удивился, потому что всего за пять минут перед этим получил от своего хозяина совсем другое.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Памятуя мудрое правило, что лучше держаться подальше от людей, знающих, где лежат твои деньги, Ходжа Насреддин не стал задерживаться в чайхане и поехал на базарную площадь. Время от времени он оглядывался —

не следят ли за ним, ибо на лицах игроков да и самого чайханщика не лежала печать добродетели.

Ехать ему было радостно. Теперь он сможет купить любую мастерскую, две мастерские, три мастерские. Так и решил он сделать. «Я куплю четыре мастерские: гончарную, седельную, портновскую и сапожную и посажу в каждую по два мастера, а сам буду только получать деньги. Через два года я разбогатею, куплю дом с фонтанами в саду, повешу везде золотые клетки с певчими птицами, у меня будет две или даже три жены и по три сына от каждой...»

Он с головой погрузился в сладостную реку мечтаний. Между тем ишак, не чувствуя поводьев, воспользовался задумчивостью хозяина и, встретив на пути мостик, не пошел по нему, подобно всем другим ишакам, а свернул в сторону и, разбежавшись, прыгнул прямо через канаву. «И когда мои дети вырастут, я соберу их и скажу... — думал в это время Ходжа Насреддин. — Но почему я лечу по воздуху? Неужели аллах решил превратить меня в ангела и приделал мне крылья?»

В ту же секунду искры, посыпавшиеся из глаз, убедили Ходжу Насреддина, что крыльев у него нет. Вылетев из седла, он шлепнулся на дорогу, сажени на две впереди ишака.

Когда он с кряхтеньем и охами встал, весь перепачканный пылью, ишак, ласково пошевеливая ушами и сохраняя на морде самое невинное выражение, подошел к нему, как бы приглашая снова занять место в седле.

— О ты, посланный мне в наказание за мои грехи и за грехи моего отца, деда и прадеда, ибо, клянусь правотой ислама, несправедливо было бы столь тяжко наказывать человека за одни только собственные его грехи! — начал Ходжа Насреддин дрожащим от негодования голосом. — О ты, презренная помесь паука и гиены! О ты, который...

Но тут он осекся, заметив каких-то людей, сидевших неподалеку в тени полуразрушенного забора.

Проклятия замерли на губах Ходжи Насреддина.

Он понимал, что человек, попавший на виду у других в смешное и непочтенное положение, должен сам смеяться громче всех над собой.

Хожда Насреддин подмигнул сидящим и широко улыбнулся, показав сразу все свои зубы.

— Эге! — сказал он громко и весело. — Вот это я славно полетел! Скажите, сколько раз я перевернулся, а

то я сам не успел сосчитать. Ах ты шалунишка! — продолжал он, добродушно похлопывая ишака ладонью, в то время как руки чесались хорошенько отдуть его плетью, — ах ты шалунишка! Он у меня такой: чуть зазеваешься, и он обязательно уж что-нибудь сотворит!

Ходжа Насреддин залился веселым смехом, но с удивлением заметил, что никто не вторит ему. Все продолжали сидеть с опущенными головами и омраченными лицами, а женщины, державшие на руках младенцев, тихо плакали.

«Здесь что-то не так», — сказал себе Ходжа Насреддин и подошел ближе.

— Послушай, почтенный старец, — обратился он к седобородому старику с изможденным лицом, — поведай мне, что случилось? Почему я не вижу улыбок, не слышу смеха, почему плачут женщины? Зачем вы сидите здесь на дороге в пыли и жаре, разве не лучше сидеть дома в прохладе?

— Дома хорошо сидеть тому, у кого есть дом, — скорбно ответил старик. — Ах, прохожий, не спрашивай — горе велико, а помочь ты все равно не сможешь. Вот я, старый, дряхлый, молю сейчас бога, чтобы он поскорее послал мне смерть.

— К чему такие слова! — укоризненно сказал Ходжа Насреддин. — Человек никогда не должен думать об этом. Поведай мне свое горе и не смотри, что я беден с виду. Может быть, я сумею помочь тебе.

— Мой рассказ будет кратким. Всего час назад по нашей улице прошел ростовщик Джафар в сопровождении двух эмирских стражников. А я должник ростовщика Джафара, и завтра утром истекает срок моего долга. И вот я изгнан из своего дома, в котором прожил всю жизнь, и нет больше у меня семьи и нет угла, где бы мог я преклонить голову... А все имущество мое — дом, сад, скот и виноградники — будет продано завтра Джафаром.

Слезы показались на глазах старика, голос дрожал.

— И много ты ему должен? — спросил Ходжа Насреддин.

— Очень много, прохожий. Я должен ему двести пятьдесят таньга.

— Двести пятьдесят таньга! — воскликнул Ходжа Насреддин. — И человек желает себе смерти из-за каких-то двухсот пятидесяти таньга! Ну, ну, стой смирно, — добавил он, обращаясь к ишаку и развязывая переметную сумку. — Вот тебе, почтенный старец, двести пятьдесят

таньга, отдай их этому ростовщику, выгони его пинками из своего дома и доживай свои дни в покое и благоденствии.

Услышав звон серебра, все встрепенулись, а старик не мог вымолвить слова и только глазами, в которых сверкали слезы, благодарил Ходжу Насреддина.

— Вот видишь, а ты еще не хотел рассказывать о своем горе, — сказал Ходжа Насреддин, отсчитывая последнюю монету и думая про себя: «Ничего, вместо восьми мастеров я найму только семь, с меня и этого хватит!».

Вдруг женщина, сидевшая рядом со стариком, бросилась в ноги Ходже Насреддину и протянула к нему с громким плачем своего ребенка.

— Посмотри! — сказала она сквозь рыдания. — Он болен, губы его пересохли и лицо пылает. И он умрет теперь, мой бедный мальчик, где-нибудь на дороге, ибо меня выгнали из моего дома.

Ходжа Насреддин взглянул на исхудавшее, бледное личико ребенка, на его прозрачные руки, потом обвел взглядом лица сидящих. И когда он вгляделся в эти лица, иссеченные морщинами, измятые страданием, и увидел глаза, потускневшие от бесконечных слез, — словно горячий нож вонзился в его сердце, мгновенная судорога перехватила горло, кровь жаркой волной бросилась в лицо. Он отвернулся.

— Я вдова, — продолжала женщина. — Мой муж, умерший полгода назад, был должен ростовщику двести таньга, и по закону долг перешел на меня.

— Мальчик в самом деле болен, — сказал Ходжа Насреддин. — И вовсе не следует держать его на солнцепеке, ибо солнечные лучи сгущают кровь в жилах, как говорит об этом Авиценна, что, конечно, не полезно мальчику. Вот тебе двести таньга, возвращайся скорее домой, положи ему примочку на лоб; вот тебе еще пятьдесят таньга, чтобы ты могла позвать лекаря и купить лекарства.

Про себя подумал: «Можно отлично обойтись и шестью мастерами».

Но в ноги ему рухнул огромного роста бородатый каменщик, семью которого завтра должны были продать в рабство за долг ростовщику Джафару в четыреста таньга... «Пять мастеров, конечно, маловато», — подумал Ходжа Насреддин, развязывая свою сумку. Не успел он ее завязать, как еще две женщины упали на колени перед ним, и рассказы их были столь жалобны, что Ходжа Насреддин, не колеблясь, наделил их деньгами, достаточными

для расплаты с ростовщиком. Увидев, что оставшихся денег едва-едва хватит на содержание трех мастеров, он решил, что в таком случае не стоит и связываться с мастерскими, и щедрой рукой принялся раздавать деньги остальным должникам ростовщика Джафара.

В сумке осталось не больше пятисот таньга. И тогда Ходжа Насреддин заметил в стороне еще одного человека, который не обратился за помощью, хотя на лице его было ясно написано горе.

— Эй ты, послушай! — позвал Ходжа Насреддин. — Зачем ты сидишь здесь? Ведь за тобою нет долга ростовщику?

— Я должен ему, — глухо сказал человек. — Завтра я сам пойду в цепях на невольничий рынок.

— Почему же ты молчал до сих пор?

— О щедрый, благодетельный путник, я не знаю, кто ты. Святой ли Богаэддин, вышедший из своей гробницы, чтобы помочь беднякам, или сам Гарун-аль-Рашид? Я не обратился к тебе только потому, что и без меня ты уже очень сильно потратился, а я должен больше всех — пятьсот таньга, и я боялся, что если ты дашь мне, то не хватит старикам и женщинам.

— Ты справедлив, благороден и совестлив, — сказал растроганный Ходжа Насреддин. — Но я тоже справедлив, благороден и совестлив, и, клянусь, ты не пойдешь завтра в цепях на невольничий рынок. Держи полу!

Он высыпал из переметной сумки все деньги до последней таньга. Тогда человек, придерживая левой рукой полу халата, обнял правой рукой Ходжу Насреддина и припал в слезах к его груди.

Ходжа Насреддин обвел взглядом всех спасенных людей, увидел улыбки, румянец на лицах, блеск в глазах.

— А ты в самом деле здорово полетел со своего ишака, — сказал вдруг огромный бородатый каменщик, захохотав, и все разом захохотали — мужчины грубыми голосами, а женщины — тонкими, и заулыбались дети, протягивая ручонки к Ходже Насреддину, а сам он смеялся громче всех.

— О! — говорил он, корчась от смеха. — Вы еще не знаете, какой это ишак! Это такой проклятый ишак!..

— Нет! — перебила женщина с больным ребенком на руках. — Не говори так про своего ишака. Это самый умный, самый благородный, самый драгоценный в мире ишак, равных ему никогда еще не было и не будет. Я со-

гласна всю жизнь ухаживать за ним, кормить его отборным зерном, никогда не утруждать работой, чистить скребницей, расчесывать хвост ему гребнем. Ведь если бы этот несравненный и подобный цветущей розе ишак, наполненный одними лишь добродетелями, не прыгнул через канаву и не выбросил тебя из седла, о путник, явившийся перед нами, как солнце во мгле, — ты проехал бы мимо, не заметив нас, а мы не посмели бы остановить тебя!

— Она права, — глубокомысленно заметил старик. — Мы во многом обязаны своим спасением этому ишаку, который поистине украшает собою мир и выделяется как алмаз среди всех других ишаков.

Все начали громко восхвалять ишака и наперебой совали ему лепешки, жареную кукурузу, сушеные абрикосы и персики. Ишак, отмахиваясь хвостом от назойливых мух, невозмутимо и важно принимал подношения, однако заморгал все-таки глазами при виде плетки, которую исподтишка показывал ему Ходжа Насреддин.

Но время шло своим чередом, удлинились тени, краснолапые аисты, крича и хлопая крыльями, опускались в гнезда, откуда навстречу им тянулись жадно раскрытые клювы птенцов.

Ходжа Насреддин начал прощаться.

Все кланялись и благодарили его:

— Спасибо тебе. Ты понял наше горе.

— Еще бы мне не понять, — ответил он, — если я сам не далее как сегодня потерял четыре мастерских, где у меня работали восемь искуснейших мастеров, дом и сад, в котором били фонтаны и висели на деревьях золотые клетки с певчими птицами. Еще бы мне не понять!

Старик прошамкал своим беззубым ртом:

— Мне нечем отблагодарить тебя, путник. Вот единственное, что захватил я, покидая дом. Это Коран, священная книга; возьми ее, и да будет она тебе путеводным огнем в житейском море.

Ходжа Насреддин относился к священным книгам без всякого почтения, но, не желая обидеть старика, взял Коран, уложил в переметную сумку и вскочил в седло.

— Имя, имя! — закричали все хором. — Скажи нам свое имя, чтобы мы знали, кого благодарить в молитвах.

— Зачем вам знать мое имя? Истинная добродетель не нуждается в славе, что же касается молитв, то у аллаха есть много ангелов, извещающих его о благочестивых

поступках... Если же ангелы ленивы и нерадивы и спят где-нибудь на мягких облаках, вместо того чтобы вести счет всем благочестивым и всем богохульным делам на земле, то молитвы ваши все равно не помогут, ибо аллах был бы просто глуп, если бы верил людям на слово, не требуя подтверждения от доверенных лиц.

Одна из женщин вдруг тихо ахнула, за ней — вторая, потом старик, встрепенувшись, уставился во все глаза на Ходжу Насреддина. Но Ходжа Насреддин торопился и ничего не заметил.

— Прощайте. Да пребудут мир и благоденствие над вами.

Сопровождаемый благословениями, он скрылся за поворотом дороги.

Оставшиеся молчали, в глазах у всех светилась одна мысль.

Молчание нарушил старик. Он сказал проникновенно и торжественно:

— Только один человек во всем мире может совершить такой поступок, и только один человек в мире умеет так разговаривать, и только один человек в мире носит в себе такую душу, свет и тепло которой обогревают всех несчастных и обездоленных, и этот человек — он, наш...

— Молчи! — быстро перебил второй. — Или ты забыл, что заборы имеют глаза, камни имеют уши, и многие сотни собак кинулись бы по его следу.

— Ты прав, — добавил третий. — Мы должны молчать, ибо он ходит сейчас по канату, и достаточно малейшего толчка, чтобы погубить его.

— Пусть мне лучше вырвут язык, чем я произнесу где-нибудь вслух его имя! — сказала женщина с больным ребенком на руках.

— Я буду молчать, — воскликнула вторая женщина, — ибо я согласна скорее умереть сама, чем подарить ему нечаянно веревку!

Так сказали все, кроме бородатого и могучего каменщика, который не отличался остротой ума и, прислушиваясь к разговорам, никак не мог понять, почему собаки должны бегать по следам этого путника, если он не мясник и не продавец вареной требухи; если же этот путник канатоходец, то почему имя его так запретно для произнесения вслух, и почему женщина согласна скорее умереть, чем подарить своему спасителю веревку, столь необходимую в его ремесле? Здесь каменщик совсем уж за-

путался, сильно засопел, шумно вздохнул и решил больше не думать, опасаясь сойти с ума.

Ходжа Насреддин уехал тем временем далеко, а перед его глазами все стояли изможденные лица бедняков; он вспоминал больного ребенка, лихорадочный румянец на его щеках и запекшиеся в жару губы; вспоминал седины старика, выброшенного из родного дома, — и ярость поднималась из глубины его сердца.

Он не мог усидеть в седле, спрыгнул и пошел рядом с ишаком, отшвыривая пинками попадавшиеся под ноги камни.

— Ну, подожди, ростовщик, подожди! — шептал он, и зловещий огонь разгорался в его черных глазах. — Мы встретимся, и твоя участь будет горька! И ты, эмир, — продолжал он, — трепещи и бледней, эмир, ибо я, Ходжа Насреддин, в Бухаре! О презренные пиявки, сосущие кровь из моего несчастного народа, о жадные гиены и вонючие шакалы, не вечно вам блаженствовать и не вечно народу мучиться! Что же касается тебя, ростовщик Джафар, то пусть на веки веков покроется мое имя позором, если я не расквитаюсь с тобой за все горе, которое причиняешь ты беднякам!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Даже для Ходжи Насреддина, повидавшего в жизни многое, этот день — первый день пребывания на родине — был слишком беспокоен и богат приключениями. Ходжа Насреддин устал и стремился укрыться куда-нибудь в тихое место на отдых.

— Нет! — вздохнул он, увидев издали множество людей, столпившихся вокруг водоема. — Видно, мне сегодня не суждено отдохнуть! Вон опять что-то случилось!

Водоем лежал в стороне от большой дороги, и Ходжа Насреддин мог бы проехать мимо, но не таков был наш Ходжа Насреддин, чтобы упустить случай вмешаться в спор, скандал или драку.

Ишак, в совершенстве изучивший за долгие годы характер своего господина, повернул, не дожидаясь приказаний, к водоему.

— Что случилось? Кого убили? Кого обокрали? — закричал Ходжа Насреддин, направив ишака в самую гущу народа. — А ну-ка, расступитесь! Дорогу! Дорогу!

Когда он пробрался сквозь толпу и подъехал к самому краю большого, покрытого зеленоватой плесенью водоема, то увидал необычайное. В трех шагах от берега тонул человек. Он то выныривал, то опять погружался, пуская со дна большие пузыри.

На берегу суетилось множество людей; они тянулись к тонущему, стараясь ухватить его за халат, но руки их не доставали на каких-нибудь пол-аршина.

— Давай руку! Давай! Давай! — кричали они.

Тонущий словно бы не слышал. Он не подавал им руки, продолжая равномерно погружаться и снова выныривать. В соответствии с его странствиями на дно и обратно по водоему расходились ленивые волны и с тихим плеском лизали берег.

— Странно! — сказал Ходжа Насреддин, наблюдая. — Очень странно! Какая может быть причина этому? Почему он не протягивает руки? Может быть, он искусный водолаз и ныряет на спор, но почему тогда он в халате?

Ходжа Насреддин задумался. Пока он думал, тонущий успел вынырнуть раза четыре, причем с каждым разом пребывал на дне все дольше и дольше.

— Очень странно! — повторил Ходжа Насреддин, спешиваясь. — Обожди здесь, — обратился он к ишаку, — а я подойду взглянуть поближе.

Тонущий в это время погрузился глубоко и не показывался так долго, что некоторые на берегу начали уже творить заупокойные молитвы. Но вдруг он показался опять.

— Давай руку! Давай! Давай! — закричали люди, протягивая к нему руки, но он, посмотрев белыми глазами и не протянув руки, опять пошел безмолвно и плавно ко дну.

— Ах вы недогадливые чудаки! — сказал Ходжа Насреддин. — Разве не видите вы по дорогому халату и по шелковой чалме, что этот человек — мулла или богатый вельможа? И неужели вы до сих пор не изучили характера мулл и вельмож и не знаете, каким способом надо вытаскивать их из воды?

— Вытаскивай скорее, если ты знаешь! — закричали в толпе. — Спасай его, он показался. Вытаскивай!

— Подождите, — ответил Ходжа Насреддин. — Я не закончил еще своей речи. Где, спрашиваю я вас, встречали вы муллу или вельможу, который когда-нибудь что-нибудь кому-нибудь давал? Запомните, о невежды: муллы

и вельможи никогда ничего не дают, они только берут. И спасать их из воды надо соответственно их характеру. Вот, смотрите!

— Но ты уже опоздал! — кричали из толпы. — Он уже не вынырнет больше.

— Вы думаете, что водяные духи так легко примут к себе муллу или вельможу? Вы ошибаетесь. Водяные духи постараются всеми силами избавиться от него.

Ходжа Насреддин присел на корточки и стал терпеливо ждать, наблюдая за пузырями, что восходили со дна и плыли к берегу, подгоняемые легким ветром.

Наконец что-то темное стало подниматься из глубины. Тонущий показался на поверхности — в последний раз, если бы не Ходжа Насреддин.

— На! — крикнул Ходжа Насреддин, сунув ему руку. — На!

Тонущий судорожно вцепился в протянутую руку. Ходжа Насреддин поморщился от боли.

И потом на берегу долго не могли разжать пальцев спасенного.

Несколько минут лежал он без движения, окутанный водорослями и облепленный зловонной тиной, скрывавшей черты его лица. Потом изо рта, из носа, из ушей у него хлынула вода.

— Сумка! Где моя сумка? — простонал он и не успокоился до тех пор, пока не нащупал на боку сумку. Тогда он стряхнул с себя водоросли и полой халата вытер тину с лица. И Ходжа Насреддин отшатнулся: настолько безобразно было это лицо с плоским перешибленным носом и вывернутыми ноздрями, с бельмом на правом глазу. Вдобавок он был еще и горбат.

— Кто мой спаситель? — спросил он скрипучим голосом, обводя столпившихся людей своим единственным оком.

— Вот он! — загудели все, выталкивая вперед Ходжу Насреддина.

— Подойди сюда, я вознагражу тебя. — Спасенный запустил руку в свою сумку, где еще хлюпала вода, и достал горсть мокрого серебра. — Впрочем, в том, что ты меня вытащил, нет ничего особенного и удивительного, я, пожалуй, и сам бы выплыл, — продолжал он сварливым голосом.

Пока он говорил, горсть его — от слабости ли, а может быть, и по другой причине — постепенно разжималась, и

деньги с тихим звоном текли сквозь пальцы обратно в сумку. Наконец в руке осталась одна монета — полтаньга; он со вздохом протянул монету Ходже Насреддину:

— Вот тебе деньги. Пойди на базар и купи миску плова.

— Здесь не хватит на миску плова, — сказал Ходжа Насреддин.

— Ничего, ничего. А ты возьми плов без мяса.

— Теперь вам понятно, — обратился Ходжа Насреддин к остальным, — что я спасал его действительно в полном соответствии с его характером.

Он направился к своему ишаку.

На пути остановил его человек — высокий, тощий, жилистый, угрюмого и неприветливого вида, с руками, черными от угля и копоти, с кузнечными клещами за поясом.

— Что тебе, кузнец? — спросил Ходжа Насреддин.

— Знаешь ли ты, — ответил кузнец, смерив Ходжу Насреддина с ног до головы недобрым взглядом, — знаешь ли ты, кого спас в самую последнюю минуту, после которой его никто бы уже не спас? И знаешь ли ты, сколько слез прольется теперь из-за твоего поступка и сколько людей потеряют свои дома, поля и виноградники и пойдут на невольничий рынок, а потом — в цепях — по Большой Хивинской дороге?

Ходжа Насреддин воззрился на него с удивлением:

— Я не понимаю тебя, кузнец! Разве достойно человека и мусульманина пройти мимо тонущего, не протянув ему руку помощи?

— Что же, по-твоему, надо спасать от гибели всех ядовитых змей, всех гиен и каждую ехидну? — воскликнул кузнец и вдруг, сообразив что-то, добавил: — Да здешний ли ты?

— Нет! Я приехал издалека.

— Значит, ты не знаешь, что спасенный тобой человек — злодей и кровопийца, и каждый третий человек в Бухаре стонет и плачет из-за него!

Страшная догадка мелькнула в голове Ходжи Насреддина.

— Кузнец! — сказал он дрогнувшим голосом, боясь поверить в свою догадку. — Скажи мне имя спасенного мною!

— Ты спас ростовщика Джафара, да будет он проклят и в этой и в будущей жизни, и да поразят гнойные

язвы все его племя до четырнадцатого колена! — ответил кузнец.

— Как! — вскричал Ходжа Насреддин. — Что ты говоришь, кузнец! О горе мне, о позор на мою голову! Неужели я своими руками вытащил из воды эту змею! Поистине, нет искупления такому греху! О горе, о позор и несчастье!

Его раскаяние тронуло кузнеца, он немного смягчился:

— Успокойся, путник, теперь уж ничего не поделаешь. И надо же было тебе подъехать как раз в эту минуту к водоему. И почему твой ишак не заупрямился где-нибудь и не задержался в дороге! За это время ростовщик как раз успел бы потонуть.

— Этот ишак! — сказал Ходжа Насреддин. — Если он и задерживается в дороге, то для того только, чтобы очистить от денег мои переметные сумки: ему, видишь ли, тяжело возить их с деньгами. А уж если мне предстоит опозорить себя спасением ростовщика, то можешь не сомневаться: этот ишак доставит на место как раз вовремя!

— Да! — сказал кузнец. — Но сделанного не воротишь. Не загонять же теперь ростовщика обратно в пруд!

Ходжа Насреддин встрепенулся.

— Я совершил нехорошее дело, но я же исправлю его! Слушай, кузнец! Клянусь, что ростовщик Джафар будет утоплен мною. Клянусь бородой моего отца, что он будет утоплен мною в этом же самом пруду! Запомни мою клятву, кузнец! Я никогда еще не говорил на ветер. Ростовщик будет утоплен! И когда ты об этом услышишь на базаре, знай, что я искупил свою вину перед жителями Благородной Бухары!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На город уже опускались сумерки, когда Ходжа Насреддин добрался до базарной площади.

Зажигались яркие костры в чайханах, и скоро вся площадь опоясалась огнями. Завтра предстоял большой базар — и один за другим шли мягкой поступью верблюжьи караваны, исчезали в темноте, а воздух был все еще полон мерным, медным и печальным звоном бубенцов; и когда затихали в отдалении бубенцы одного каравана, им на смену начинали стонать бубенцы другого, вступающего на площадь, и это было нескончаемо, словно сама темнота

над площадью тихо звенела, дрожала, переполнившись звуками, принесенными сюда со всех концов мира. Здесь, невидимые, стонали бубенцы — индийские и афганские, аравийские, иранские и египетские; Ходжа Насреддин все слушал и слушал и готов был слушать без конца. Рядом в чайхане ударил, загудел бубен, ему ответили струны дутара. И невидимый певец высоко — под самые звезды — поднял звенящий, напряженный голос: он пел о своей возлюбленной, он жаловался на нее.

Под эту песню пошел Ходжа Насреддин искать ночлега.

— У нас на двоих с ишаком есть полтаньга, — сказал он чайханщику.

— Можешь переночевать на кошме за полтаньга, — ответил чайханщик. — Одеяла не получишь.

— А где мне привязать ишака?

— Вот еще, буду я заботиться о твоем ишаке.

Коновязи около чайханы не было. Ходжа Насреддин заметил какую-то железную скобу, торчавшую из-под помоста. К этой скобе он и привязал ишака, не потрудившись посмотреть, к чему же приделана скоба, потом вошел в чайхану и улегся: он очень устал.

Сквозь дрему он услышал вдруг свое имя. Он приоткрыл глаза.

Неподалеку сидели, собравшись в кружок, и пили чай какие-то люди, приехавшие на базар, — погонщик, пастух и два ремесленника. Один из них вполголоса говорил:

— Рассказывают еще так о Ходже Насреддине: однажды в Багдаде шел он по базару и вдруг услышал шум и крик, доносившийся из харчевни. Наш Ходжа Насреддин, как вам известно, человек любопытный — он заглянул в харчевню. И видит, что толстый, красномордый харчевник трясет за шиворот какого-то нищего и требует денег, а нищий не хочет платить.

«Что за шум? — спрашивает наш Ходжа Насреддин. — Что вы не поделили?»

«Вот этот бродяга, — закричал в ответ харчевник, — этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас в мою харчевню, да отсохнут все его внутренности, вынул из-за пазухи лепешку и долго держал ее над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. Потом этот нищий сожрал лепешку, а теперь не хочет платить, да выпадут все его зубы и облезет кожа!»

«Это правда?» — строго спросил наш Ходжа Насреддин у нищего, который не мог от страха вымолвить слова и только кивнул в ответ головой.

«Нехорошо, — сказал Ходжа Насреддин. — Очень нехорошо пользоваться бесплатно чужим добром».

«Ты слышишь, оборванец, что тебе говорит этот почтенный и достойный человек!» — обрадовался харчевник.

«У тебя есть деньги?» — обратился Ходжа Насреддин к нищему. Тот молча достал из кармана последние медяки. Харчевник уже протянул свою жирную лапу за ними.

«Подожди, о почтенный! — остановил его Ходжа Насреддин. — Давай-ка сначала сюда твое ухо».

И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом харчевника. А потом, вернув деньги нищему, сказал:

«Иди с миром, бедный человек!»

«Как! — закричал харчевник. — Но я не получил платы!»

«Он заплатил тебе полностью, и вы в расчете, — ответил наш Ходжа Насреддин. — Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги».

Все в чайхане так и покатились со смеху. Один поспешно предупредил:

— Тише. А то сразу догадаются, что мы говорим о Ходже Насреддине.

«Откуда они только знают? — улыбался про себя Ходжа Насреддин. — Это, правда, было не в Багдаде, а в Стамбуле, но все равно — откуда они знают?»

Начал вполголоса рассказывать второй — в одежде пастуха и в цветной чалме, что выдавало в нем жителя Бадахшана:

— Рассказывают еще и так. Однажды Ходжа Насреддин шел мимо огорода муллы. Мулла как раз собирал в мешок тыквы и по жадности нагрузил мешок так, что не мог даже и поднять его, не только нести. Вот стоит он и думает: «Как же мне доставить мешок домой?». Увидел прохожего и обрадовался:

«Послушай, сын мой. Не возьмешься ли ты донести до моего дома этот мешок?»

А у Ходжи Насреддина как раз не было денег.

«А сколько ты мне заплатишь?» — спросил он муллу.

«О сын мой! На что тебе деньги? Пока ты будешь нести тыквы, я по дороге поведаю тебе три премудрости, и они сделают тебя счастливым на всю жизнь».

«Интересно, какие премудрости обещает открыть мне мулла?» — думает про себя наш Ходжа Насреддин.

Его разобрало любопытство. Он взвалил на плечи мешок и понес. А дорога круто поднималась в гору и шла над обрывом. Когда Ходжа Насреддин остановился отдохнуть, мулла сказал с таинственным и важным видом:

«Слушай первую премудрость, и большей не было в мире никогда со времен Адама, и если ты постигнешь всю глубину ее, то это будет равносильно познанию тайного смысла букв — Алиф, Лам, Ра, которыми Магомет, пророк и учитель наш, открывает вторую суру Корана. Слушай внимательно: если кто-нибудь тебе скажет, что ходить пешком лучше, чем ездить верхом, ты не верь этому человеку. Запомни мои слова и думай над ними неотступно днем и ночью — и тогда ты постигнешь заключающуюся в них премудрость. Но эта премудрость — ничто в сравнении со второй премудростью, которую я тебе поведаю вон у того дерева. Видишь — во-он впереди!»

«Ладно! — думает про себя Ходжа Насреддин. — Погоди, мулла!»

Обливаясь потом, он дотащил мешок до дерева.

Мулла поднял палец:

«Открой свои уши и внимай, ибо вторая премудрость включает в себя весь Коран и половину шариата и еще одну четверть книги Тариката. И постигший эту премудрость никогда не собьется с пути добродетели и никогда не оступится на дороге истины. Постарайся же, о сын мой, понять эту премудрость и радуйся, что получил ее бесплатно. Вторая премудрость гласит: если тебе кто-нибудь скажет, что бедному легче жить, чем богатому, ты не верь этому человеку. Но даже и эта вторая премудрость — ничто рядом с третьей, сияние которой можно сравнить только с ослепительным блеском солнца и глубину которой можно сравнить только с глубиной океана. Третью премудрость я поведаю тебе у ворот моего дома. Идем скорее, ибо я уже отдохнул».

«Подожди, мулла! — отвечает наш Ходжа Насреддин. — Я наперед знаю твою третью премудрость. Ты хочешь у ворот своего дома сказать мне, что умный человек всегда может заставить глупца бесплатно тащить мешок с тыквами».

Пораженный мулла отшатнулся. Ходжа Насреддин слово в слово угадал его третью премудрость.

«Но послушай теперь, мулла, мою одну-единственную премудрость, которая стоит всех твоих, — продолжал Ходжа Насреддин. — И моя премудрость, клянусь Магометом, столь ослепительна и столь глубока, что включает в себя весь ислам с Кораном, шариатом, книгой Тариката и всеми другими книгами, и всю буддийскую веру, и всю иудейскую веру, и все христианские заблуждения. Нет, никогда не было и не будет впредь премудрости более достоверной, чем та, которую я поведаю тебе сейчас, о мулла! Но приготовься, чтобы не поразила тебя слишком эта премудрость, ибо от нее легко потерять рассудок — настолько она поразительна, ослепительна и необъятна. Подготовь же свой рассудок, мулла, и слушай: если кто-нибудь скажет тебе, что эти вот самые тыквы не разбились — плюнь в лицо тому человеку, назови его лжецом и прогони из дома!»

С этими словами Ходжа Насреддин поднял мешок и бросил вниз с крутого обрыва.

Тыквы сыпались из мешка, прыгали и звучно раскалывались, налетая на камни.

«О, горе мне! О, великий убыток и разорение!» — закричал мулла.

И начал он кричать, причитать, царапать лицо и всем своим видом вполне походил на безумного.

«Вот видишь! — поучительно молвил Ходжа Насреддин. — Ведь я предупреждал, что от моей премудрости рассудок твой может легко помутиться!»

Слушавшие залились веселым смехом.

Ходжа Насреддин, лежа в углу на пыльной, блохастой кошме, думал:

«Они и это узнали! Но откуда? Ведь нас было только двое над обрывом, и я никому не рассказывал. Вероятно, рассказал сам мулла, догадавшись впоследствии, кто тащил его тыквы».

Начал третий рассказчик:

— Однажды Ходжа Насреддин возвращался из города в турецкую деревню, где тогда жил; почувствовав себя утомленным, он лег отдохнуть на берегу речки — и незаметно уснул, овеваемый благоуханным дыханием весеннего ветерка. И приснилось ему, что он умер. «Если я мертв, — решил про себя наш Ходжа Насреддин, — то я не должен шевелиться и не должен открывать глаза». Так и лежал он долгое время без движения на мягкой траве и нашел, что быть мертвым не так уж плохо:

лежи себе да лежи безо всяких забот и хлопот, что неотступно преследуют нас в нашем земном, бренном существовании.

Мимо шли какие-то путники, увидели Ходжу Насреддина.

«Смотрите! — сказал один. — Это мусульманин».

«Он мертв», — добавил второй.

«Надо отнести его в ближайшую деревню, чтобы его там обмыли и похоронили достойно», — предложил третий, назвав как раз ту самую деревню, куда направлялся Ходжа Насреддин.

Путники срубили несколько молодых деревьев, устроили носилки и взвалили на них Ходжу Насреддина.

Они долго несли его, а он лежал без движения, не открывая глаз, как и подобает мертвецу, душа которого стучится уже в двери рая.

Вдруг носилки остановились. Путники начали спорить — где брод. Один звал направо, второй налево, третий предлагал идти через речку напрямик.

Ходжа Насреддин приоткрыл чуть-чуть один глаз и увидел, что путники стоят перед самым глубоким, быстрым и опасным местом реки, где уже не раз тонули неосторожные. «О себе самом я не беспокоюсь, — подумал Ходжа Насреддин. — Я все равно мертв, и мне безразлично теперь, где лежать — в могиле или на речном дне. Но этих путников следует предупредить, иначе они из-за своего внимания ко мне могут лишиться жизни, что было бы с моей стороны чистейшей неблагодарностью».

Он приподнялся на носилках и, указывая рукой в сторону брода, произнес слабым голосом:

«О путники, когда я был жив, то всегда переходил эту речку вон у тех тополей».

И он опять закрыл глаза. Путники, поблагодарив Ходжу Насреддина за указание, потащили носилки дальше, читая громко молитвы о спасении его души.

Пока слушавшие да и сам рассказчик хохотали, подталкивая друг друга локтями, Ходжа Насреддин с неудовольствием бормотал:

— Все переврали. Во-первых, мне не приснилось, что я умер. Не такой уж я дурак, чтобы не отличить самого себя живого от самого себя мертвого. Я даже хорошо помню, что меня все время кусала блоха и мне отчаянно хотелось почесаться, — разве это не доказывает

с полной очевидностью, что я был действительно жив, ибо в противоположном случае я, конечно, не мог бы чувствовать укусов блохи. Просто я устал, и мне не хотелось идти, а эти путники были ребята здоровые: что им стоило сделать небольшой крюк и отнести меня в деревню? Но когда они решили переходить реку там, где глубина была в три человеческих роста, я их остановил, заботясь, впрочем, не столько о своей семье, ибо у меня ее нет, сколько об их семьях. И сейчас же я испробовал горького плода неблагодарности: вместо того чтобы сказать мне спасибо за своевременное предупреждение, они вытряхнули меня из носилок, бросились на меня с кулаками — и наверняка сильно бы избили меня, если бы не резвость моих ног!.. Удивляюсь, до чего могут люди исказить и переврать действительно случившееся.

Между тем четвертый начал свой рассказ:

— И говорят еще о Ходже Насреддине такое. Он, Ходжа Насреддин, жил около полугода в одной деревне и весьма прославился между жителями находчивостью в ответах и остротою своего ума...

Ходжа Насреддин насторожился. Где слышал он этот голос — негромкий, но внятный, с едва заметной хрипотцой? И совсем недавно... Может быть, даже сегодня... Но как ни старался, вспомнить не мог.

Рассказчик продолжал:

— Губернатор той области направил однажды в деревню, где жил Ходжа Насреддин, одного из своих слонов на постой и прокормление от жителей. Слон был неописуемо прожорлив. Он съедал за одни сутки пятьдесят мер ячменя, пятьдесят мер джугары, пятьдесят мер кукурузы и сто снопов свежего клевера. Через две недели жители деревни скормили слону все свои запасы, разорились и впали в уныние. И решили наконец послать Ходжу Насреддина к самому губернатору с просьбой, чтобы слона убрали из деревни...

И вот они пошли к Ходже Насреддину, стали его просить, он согласился, оседлал своего ишака, который, как это известно всему миру, своим упрямством, злонравием и леностью подобен шакалу, пауку, гадюке и лягушке, слитым воедино, и, оседлав его, отправился к губернатору, причем не забыл уговориться заранее с жителями о плате за свое дело, и плату назначил столь большую, что многие были вынуждены продать свои дома и остались нищими по милости Ходжи Насреддина.

— Кгм! — донеслось из угла. Это Ходжа Насреддин, ворочавшийся и подпрыгивавший на кошме, с трудом удерживал клокочущую в груди ярость.

Рассказчик продолжал:

— И он, Ходжа Насреддин, пришел во дворец и долго стоял в толпе слуг и приживалов, ожидая, когда сиятельный губернатор, блистающий великолепием и мощью, подобно солнцу, соблаговолит обратить к нему свой пресветлый взор, изливающий на одних — счастье, а на других — гибель. И когда губернатор, сверкающий среди окружавших его, как серебристая луна среди звезд или стройный благоуханный кипарис среди низкорослого кустарника, соблаговолил осчастливить Ходжу Насреддина и обратил к нему свой лик, на котором благородство и мудрость сочетались, как рубин и алмаз в одном перстне, когда, говорю я, губернатор обратил к нему свой лик, то от страха и удивления перед таким великолепием колени Ходжи Насреддина затряслись, как шакалий хвост, и кровь стала медленнее ходить в жилах, он весь покрылся потом и сделался бледен как мел.

— Кгм! — донеслось из угла, но рассказчик не обратил на это внимания и продолжал:

«Что ты хочешь?» — спросил губернатор благородным и звучным голосом, напоминающим рыкание льва.

Ходжа Насреддин от страха едва владел языком; голос его звучал визгливо, как лай зловонной гиены.

«О владыка! — ответил Ходжа Насреддин. — О свет нашей области, и солнце ее, и луна ее, и податель счастья и радости всему живущему в нашей области, выслушай своего презренного раба, недостойного даже вытирать своей бородой порог твоего дворца. Ты, о сиятельный, милостиво соизволил поместить у нас в деревне одного из твоих слонов на постой и прокормление от жителей. Так вот мы немного недовольны».

Губернатор грозно сдвинул брови и стал подобен громоносящей туче, а Ходжа Насреддин склонился перед ним до земли, как тростник перед бурей.

«Чем же вы недовольны? — спросил губернатор. — Да говори скорее! Или язык твой присох к твоей грязной и подлой гортани?!»

«А... ва... ва... — залепетал трусливый Ходжа Насреддин. — Мы недовольны, пресветлый повелитель, тем, что слон один-одинешенек и очень скучает. Бедное жи-

вотное совсем истомилось, и все жители, глядя на его тоску, истомились и извелись. Вот меня и послали к тебе, о благороднейший из благородных, украшающий собою землю, просить, чтобы соизволил ты оказать нам еще одну милость и прислал бы к слону слониху на постой и прокормление от жителей».

Губернатор остался премного доволен такой просьбой и приказал ее сейчас же исполнить, причем в знак своей милости к Ходже Насреддину позволил ему поцеловать свой сапог, что Ходжа Насреддин немедленно выполнил с усердием столь великим, что сапог губернатора порыжел, а губы Ходжи Насреддина почернели...

Но в этот миг рассказчик был прерван громовым голосом самого Ходжи Насреддина.

— Ты лжешь! — вскричал Ходжа Насреддин. — Ты лжешь, о бесстыдный, сам похожий на помесь шакала, паука, гадюки и лягушки! Это твои губы, грязный, шелудивый пес, и язык твой, и все внутренности черны от лизания сапог властелинов! Но Ходжа Насреддин никогда и нигде еще не склонялся перед властелинами! Ты клевещешь на Ходжу Насреддина! Не слушайте его, о мусульмане, гоните его, как лжеца и очернителя белизны, и пусть презрение будет его уделом. О мусульмане, отвратите от него глаза и сердца ваши!

Он кинулся вперед, чтобы собственноручно расправиться с клеветником, и вдруг остановился, узнав рябое, плоское лицо и желтые беспокойные глаза. Это был тот самый слуга, который спорил с ним в переулке из-за длины перил на загробном мосту.

— Ага! — вскричал Ходжа Насреддин. — Я узнал тебя, о преданный и благочестивый слуга своего господина! И теперь я знаю, что у тебя есть еще один хозяин, имя которого держишь ты втайне! А скажи-ка, сколько платит тебе эмир за поношение в чайханах Ходжи Насреддина? Сколько платят тебе за доносы, сколько платят с головы каждого преданного тобой, и казненного, и брошенного в подземную тюрьму, и закованного в цепи, и проданного в рабство? Я узнал тебя, эмирский шпион и доносчик!

Шпион, до сих пор стоявший неподвижно, глядя со страхом на Ходжу Насреддина, вдруг ударил в ладоши и закричал тонким голосом:

— Стража, сюда!

Ходжа Насреддин услышал, как бежит в темноте стража, гремят копья, звенят щиты. Не теряя времени, он прыгнул в сторону, сбив на землю рябого шпиона, преграждавшего путь.

Но здесь он услышал топот стражников, бежавших с другого конца площади.

Куда бы ни бросался он — повсюду натыкался на стражу. И была минута, когда он думал, что уже не вырвется.

— Горе мне! Я попался! — громким голосом закричал он. — Прощай, мой верный ишак!

Но здесь произошло неожиданное и удивительное событие, память о котором до сих пор жива в Бухаре и никогда не умрет, ибо велико было смятение и велики разрушения.

Ишак, услышав горестные возгласы своего хозяина, направился к нему, но следом потащился из-под помоста огромный барабан. Ходжа Насреддин, не разобрав в темноте, привязал ишака к железной скобе барабана, которым чайханщик созывал по большим праздникам гостей в свою чайхану. Барабан зацепился за камень и грохнул; ишак оглянулся, а барабан грохнул еще — и тогда ишак, вообразив, что это злые духи, расправившись с Ходжой Насреддином, подбираются теперь и к его серой шкуре, в ужасе заревел, поднял хвост и кинулся бежать через площадь.

— Проклятие! Мой барабан! — завопил чайханщик, кидаясь в погоню.

Тщетно! Ишак мчался как ветер, как буря, но чем быстрее он мчался, тем яростнее, ужаснее и оглушительнее грохотал сзади барабан, подпрыгивая на камнях и кочках. Люди в чайханах всполошились, начали тревожно перекликаться, спрашивать — почему так гудит в неположенный час барабан, что случилось?

А в это время на площадь как раз вступали последние пятьдесят верблюдов, груженные посудой и листовой медью. Увидев несущееся на них в темноте что-то страшное, ревущее, круглое, прыгающее и грохочущее, верблюды обезумели от ужаса и бросились врассыпную, роняя посуду и гремящую медь.

Через минуту вся площадь и все прилегающие улицы были охвачены великим ужасом и небывалым смятением: грохот, звон, гром, ржание, рев, лай, вой, треск и дребезжание — все это сливалось в какой-то адский гул, и

никто не мог ничего понять; многие сотни верблюдов, лошадей, ишаков, сорвавшихся с привязи, носились во мраке, гремя по разбросанным всюду медным листам, а погонщики вопили и метались, размахивая факелами. От страшного шума люди просыпались, вскакивали и полуголые бежали, сами не зная куда, наталкиваясь друг на друга, оглашая темноту криками отчаяния и скорби, так как думали, что настал конец света. Заорали и захлопали крыльями петухи. Смятение росло, охватывая весь огромный город до самых окраин, — и вот ударили пушки на городской стене, ибо городская стража решила, что в Бухару ворвался неприятель, и ударили пушки во дворце, ибо дворцовая стража решила, что начался бунт; со всех бесчисленных минаретов понеслись надрывные, тревожные голоса муэдзинов, — все перемешалось, и никто не знал, куда бежать и что делать! А в самой кромешной гуще, ловко увертываясь от обезумевших лошадей и верблюдов, бегал Ходжа Насреддин, преследуя по грохоту барабана своего ишака, но так и не мог поймать, пока не оборвалась веревка и барабан не отлетел в сторону, под ноги верблюдам, которые ринулись от него, сокрушая с треском навесы, сараи, чайханы и лавки.

Долго бы пришлось Ходже Насреддину ловить ишака, если бы они не столкнулись случайно нос к носу. Ишак был весь в мыле и дрожал.

— Пойдем, пойдем скорее, здесь что-то чересчур шумно для нас, — сказал Ходжа Насреддин, утаскивая за собой ишака. — Удивительно, чтó может натворить в большом городе один маленький ишак, если к нему привязать барабан! Полюбуйся, что ты наделал! Правда, ты спас меня от стражников, но я все-таки жалею бедных жителей Бухары: им хватит теперь разбираться до утра. Где же найти нам тихий, уединенный уголок?

Ходжа Насреддин решил переночевать на кладбище, справедливо рассудив, что какое бы ни поднялось смятение, усопшие все равно не будут бегать, вопить, кричать и размахивать факелами.

Так Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, закончил, вполне достойно своего титула, первый день пребывания в родном городе. Привязав к одному из надгробий ишака, он удобно устроился на могиле и скоро уснул. А в городе еще долго продолжалось смятение — шум, гул, крики, звон и пушечная пальба.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Но как только забрезжил рассвет, потускнели звезды и выступили из темноты неясные очертания предметов, на площадь вышли многие сотни метельщиков, мусорщиков, плотников и глинобитчиков; они дружно взялись за работу: подняли опрокинутые навесы, починили мосты, заделали проломы в заборах, собрали все щепки и черепки, — и первые лучи солнца уже не застали в Бухаре никаких следов ночного смятения.

И начался базар.

Когда Ходжа Насреддин, хорошо выспавшийся в тени могильного памятника, приехал на площадь, она уже вся гудела, волновалась и двигалась, затопленная из конца в конец разноплеменной, разноязычной, многоцветной толпой. «Дорогу! Дорогу!» — кричал Ходжа Насреддин, но даже сам с трудом различал свой голос в тысячах других голосов, ибо кричали все: купцы, погонщики, водоносы, цирюльники, бродячие дервиши, нищие, базарные зубодеры, потрясавшие ржавыми и страшными орудиями своего ремесла. Разноцветные халаты, чалмы, попоны, ковры, китайская речь, арабская, индусская, монгольская и еще множество всяких наречий — все это слилось воедино, качалось, двигалось, гудело, и поднималась пыль, и замутилось небо, а на площадь бесконечными потоками прибывали новые сотни людей, раскладывали товары и присоединяли свои голоса к общему реву. Гончары выбивали палочками звонкую дробь на своих горшках и хватали прохожих за полы халатов, уговаривая послушать и, пленившись чистотою звона, купить; в чеканном ряду нестерпимо для глаз сияла медь, воздух стонал от говора маленьких молоточков, которыми мастера выбивали узоры на подносах и кувшинах, расхваливая громкими голосами свое искусство и понося искусство соседей. Ювелиры плавили в маленьких горнах серебро, тянули золото, шлифовали на кожаных кругах драгоценные индийские самоцветы, легкий ветер порой доносил сюда густую волну благоуханий из соседнего ряда, где торговали духами, розовым маслом, амброй, мускусом и различными пряностями; в сторону уходил нескончаемый ковровый ряд — пестрый, узорный, цветастый, разукрашенный персидскими, дамасскими, текинскими коврами, кашгарскими паласами, цветными попонами, дорогими и дешевыми, для простых коней и для благородных.

Потом Ходжа Насреддин миновал шелковый ряд, седельный, оружейный и красильный ряды, невольничий рынок, шерстобитный двор — и все это было только началом базара, а дальше тянулись еще сотни различных рядов; и чем глубже в толпу пробивался на своем ишаке Ходжа Насреддин, тем оглушительнее вопили, кричали, спорили, торговались вокруг; да, это был все тот же базар, знаменитый и несравненный бухарский базар, равного которому не имели в то время ни Дамаск, ни самый Багдад!

Но вот ряды кончились, и глазам Ходжи Насреддина открылся эмирский дворец, обнесенный высокой стеной с бойницами и зубчатым верхом. Четыре башни по углам были искусно облицованы разноцветной мозаикой, над которой долгие годы трудились арабские и иранские мастера.

Перед воротами дворца раскинулся пестрый табор. В тени изодранных навесов лежали и сидели на камышовых цыновках люди, истомленные духотой, — одинокие и со своими семьями; женщины укачивали младенцев, варили пищу в котлах, штопали рваные халаты и одеяла; всюду бегали полуголые ребятишки, кричали, дрались и падали, весьма непочтительно обращая ко дворцу ту часть тела, которая неприлична для созерцания. Мужчины спали, или занимались различными домашними делами, или беседовали между собой, усевшись вокруг чайников. «Эге! Да эти люди живут здесь не первый день!» — подумал Ходжа Насреддин.

Его внимание привлекли двое: плешивый и бородатый. Они, повернувшись спинами друг к другу, лежали прямо на голой земле, каждый под своим навесом, а между ними была привязана к тополевому колышку белая коза, до того тощая, что ее ребра грозили прорвать облезшую шкуру. Она с жалобным блеянием глодала колышек, объеденный уже до половины.

Ходжа Насреддин был очень любопытен и не мог удержаться от вопроса:

— Мир вам, жители Благородной Бухары! Скажите мне, давно ли вы перешли в цыганское сословие?

— Не смейся над нами, о путник! — ответил бородатый. — Мы не цыгане, мы такие же добрые мусульмане, как ты сам.

— Почему же вы не сидите дома, если вы добрые мусульмане? Чего вы ждете здесь перед дворцом?

— Мы ждем справедливого и многомилостивого суда

эмира, нашего владыки, повелителя и господина, затмевающего своим блеском самое солнце.

— Так! — сказал Ходжа Насреддин, не скрывая насмешки. — И давно вы ждете справедливого и многомилостивого суда эмира, вашего владыки, повелителя и господина, затмевающего своим блеском самое солнце?

— Мы ждем уже шестую неделю, о путник! — вмешался плешивый. — Вот этот бородатый сутяга — да покарает его аллах, да подстелет шайтан свой хвост на его ложе! — этот бородатый сутяга — мой старший брат. Наш отец умер и оставил нам скромное наследство, мы разделили все, кроме козы. Пусть эмир рассудит, кому из нас она должна принадлежать.

— Но где же остальное имущество, доставшееся вам в наследство?

— Мы все обратили в деньги: ведь сочинителям жалоб надо платить, и писцам, принимающим жалобы, тоже надо платить, и стражникам надо платить, и еще многим.

Плешивый вдруг сорвался с места, бросился навстречу грязному босому дервишу в остроконечной шапке и с черной выдолбленной тыквой на боку:

— Помолись, святой человек! Помолись, чтобы суд окончился в мою пользу!

Дервиш взял деньги, начал молиться. И каждый раз, когда он произносил заключительные слова молитвы, плешивый бросал в его тыкву новую монету и заставлял повторять все сызнова.

Бородатый с беспокойством приподнялся, обшарил глазами толпу. После недолгих поисков он заметил второго дервиша, еще более грязного, оборванного и, следовательно, еще более святого. Этот дервиш потребовал непомерные деньги, бородатый начал торговаться, но дервиш, покопавшись под своей шапкой, достал оттуда целую горсть крупных вшей, и бородатый, удостоверившись в его святости, согласился. Поглядывая с торжеством на своего младшего брата, он отсчитал деньги. Дервиш, опустившись на колени, начал громко молиться, перекрывая своим басом тонкий голос первого дервиша. Тогда плешивый, обеспокоившись, добавил денег своему дервишу, а бородатый — своему, и оба дервиша, стараясь превзойти друг друга, закричали и завопили так громко, что аллах, наверное, приказал ангелам закрыть окна в своих чертогах, опасаясь оглохнуть. Коза, обгладывая тополевый колышек, блеяла жалобно и протяжно.

Плешивый бросил ей полснопа клевера, но бородатый закричал:

— Убери свой грязный, вонючий клевер от моей козы!

Он отшвырнул клевер далеко в сторону и поставил перед козой горшок с отрубями.

— Нет! — злобно завопил плешивый брат. — Моя коза не будет есть твои отруби!

Горшок полетел вслед за клевером, разбился, отруби перемешались с дорожной пылью, а братья в яростной схватке катались уже по земле, осыпая друг друга ударами и проклятиями.

— Два дурака дерутся, два жулика молятся, а коза тем временем подохла с голода, — сказал, покачав головой, Ходжа Насреддин. — Эй вы, добродетельные и любящие братья, взгляните сюда! Аллах по-своему рассудил ваш спор и забрал козу себе!

Братья, опомнившись, отпустили друг друга и долго стояли с окровавленными лицами, разглядывая издохшую козу. Наконец плешивый сказал:

— Надо снять шкуру.

— Я сниму шкуру! — быстро отозвался бородатый.

— Почему же ты? — спросил второй; плешь его побагровела от ярости.

— Коза моя, значит и шкура моя!

— Нет, моя!

Ходжа Насреддин не успел вставить слова, как братья опять катались по земле, и ничего нельзя было разобрать в этом хрипящем клубке, только на мгновение высунулся грязный кулак с зажатым в нем пучком черных волос, из чего Ходжа Насреддин заключил, что старший брат лишился значительной части своей бороды.

Безнадежно махнув рукой, Ходжа Насреддин поехал дальше.

Навстречу ему попался кузнец с клещами за поясом — тот самый, с которым Ходжа Насреддин разговаривал вчера у водоема.

— Здравствуй, кузнец! — радостно закричал Ходжа Насреддин. — Вот мы и встретились, хоть я и не успел еще выполнить своей клятвы. Что ты здесь делаешь, кузнец, разве и ты пришел на эмирский суд?

— Только будет ли польза от этого суда? — угрюмо ответил кузнец. — Я пришел с жалобой от кузнечного ряда. Нам дали пятнадцать стражников, чтобы мы кор-

мили их три месяца, но прошел уже целый год, а мы все кормим и кормим и терпим большие убытки.

— А я пришел от красильного ряда, — вмешался какой-то человек со следами краски на руках, с лицом, позеленевшим от ядовитых паров, которые вдыхал он ежедневно от восхода и до заката. — Я принес такую же точно жалобу. К нам поставили на прокормление двадцать пять стражников, торговля наша разрушилась, доходы наши пришли в упадок. Может быть, эмир смилуется и освободит нас от этого нестерпимого ярма.

— И за что только вы ополчились на бедных стражников! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Право же, они не самые худшие и прожорливые среди жителей Бухары. Вы безропотно кормите самого эмира, всех его визирей и сановников, кормите две тысячи мулл и шесть тысяч дервишей, почему же несчастные стражники должны голодать? И разве не знаете вы поговорки: там, где нашел себе пропитание один шакал, сейчас же заводится еще десяток. Я не понимаю вашего недовольства, о кузнец и красильщик!

— Тише! — сказал кузнец оглядываясь.

Красильщик смотрел на Ходжу Насреддина с упреком:

— Ты опасный человек, путник, и слова твои не добродетельны. Но эмир наш мудр и многомилостив...

Он не договорил, потому что завыли трубы, ударили барабаны, весь пестрый табор всколыхнулся, пришел в движение — и тяжело открылись окованные медью ворота дворца.

— Эмир! Эмир! — понеслись крики, и народ со всех концов хлынул ко дворцу, чтобы взглянуть на своего повелителя.

Ходжа Насреддин занял самое удобное место в первых рядах.

Сначала из ворот выбежали глашатаи:

— Дорогу эмиру! Дорогу светлейшему эмиру! Дорогу повелителю правоверных!

Следом за ними выскочила стража, колотя палками направо и налево, по головам и спинам любопытных, придвинувшихся слишком близко; в толпе образовался широкий проход, и вышли тогда музыканты с барабанами, флейтами, бубнами и карнаями; за ними следовала свита — в шелках и золоте, с кривыми саблями в бархатных ножнах, усыпанных драгоценными камнями; потом

провели двух слонов с высокими султанами на головах; наконец вынесли пышно разукрашенные носилки, в которых под тяжелым парчовым балдахином возлежал сам великий эмир.

Толпа зарокотала, загудела навстречу ему; словно бы ветер прошел по всей площади, и народ распростерся ниц, как этого требовал эмирский указ, повелевавший верноподданным смотреть на своего владыку с подобострастием и обязательно снизу вверх. Перед носилками бежали слуги, расстилая ковры на пути; справа от носилок шел дворцовый мухобой с опахалом из конских хвостов на плече, а слева степенно и важно шагал эмирский кальянщик с турецким золотым кальяном в руках. Шествие замыкала стража в медных шлемах, со щитами, копьями, самострелами и саблями наголо; в самом хвосте везли две маленькие пушки. Все это освещалось ярким полуденным солнцем — оно зажгло драгоценные камни, горело на золотых и серебряных украшениях, жарким блеском отражалось в медных щитах и шлемах, сияло на белой стали обнаженных клинков... Но в огромной, распростертой ниц толпе не было ни драгоценных камней, ни золота, ни серебра, ни даже меди — ничего, что могло бы, радуя сердца, гореть и сиять под солнцем, — только лохмотья, нищета, голод; и когда пышная эмирская процессия двигалась через море грязного, темного, забитого и оборванного народа, похоже было, что тянут сквозь жалкое рубище тонкую и единственную золотую нить.

Высокий, устланный коврами помост, откуда надлежало эмиру излить на преданный ему народ свою милость, был уже оцеплен со всех сторон стражниками, а внизу на лобном месте хлопотали палачи, готовясь к исполнению эмирской воли: испытывали гибкость прутьев и крепость палок, вымачивали в тазах многохвостые сыромятные плети, ставили виселицы, точили топоры и укрепляли в земле заостренные колья. Распоряжался начальник дворцовой стражи Арсланбек, прославившийся свирепостью далеко за пределами Бухары; он был красен лицом, грузен телом и черен волосом, борода покрывала всю его грудь и опускалась на живот, голос его был подобен верблюжьему реву.

Он щедро раздавал зуботычины, пинки, но вдруг весь изогнулся и задрожал в подобострастии.

Носилки, плавно колыхаясь, поднялись на помост, и эмир, откинув балдахин, явил народу свое лицо.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он был не очень уж красив с виду, пресветлый эмир; лицо его, которое придворные поэты всегда сравнивали в своих стихах с полной серебристой луной, гораздо более напоминало перезрелую, вялую дыню. Когда эмир, поддерживаемый визирями, встал с носилок, чтобы пересесть на золоченый трон, Ходжа Насреддин убедился, что и стан его, вопреки единодушному утверждению придворных поэтов, далеко не подобен стройному кипарису: туловище эмира было тучным и грузным, руки — короткими, а ноги — столь кривыми, что даже халат не мог скрыть их уродства.

Визири заняли свои места с правой стороны, муллы и сановники — с левой, писцы со своими книгами и чернильницами разместились внизу, придворные поэты выстроились полукругом позади трона, глядя в затылок эмиру преданными глазами. Дворцовый мухобой взмахнул опахалом. Кальянщик сунул в рот своему господину золотой чубук. Толпа вокруг помоста затаила дыхание. Ходжа Насреддин, приподнявшись в седле и вытянув шею, весь обратился в слух.

Эмир сонно кивнул головой. Стражники расступились, пропуская плешивого и бородатого, дождавшихся наконец своей очереди. Братья подползли на коленях к помосту, коснулись губами ковра, свисавшего до земли.

— Встаньте! — приказал великий визирь Бахтияр. Братья встали, не осмеливаясь отряхнуть пыль со своих халатов. Их языки заплетались от страха, речь была непонятна и сбивчива. Но Бахтияр был многоопытный визирь и понял все с полуслова.

— Где ваша коза? — нетерпеливо прервал он братьев.

Плешивый ответил ему:

— Она умерла, о высокорожденный визирь! Аллах взял нашу козу к себе. Но кому же из нас должна теперь принадлежать ее шкура?

Бахтияр повернулся к эмиру:

— Каково будет твое решение, о мудрейший из повелителей?

Эмир протяжно зевнул и с видом полного безразличия закрыл глаза. Бахтияр почтительно склонил голову, отягощенную белой чалмой:

— Я прочел решение на твоем лице, о владыка!.. Слушайте, — обратился он к братьям; они опустились на ко-

лени, готовясь поблагодарить эмира за мудрость, справедливость и милосердие. Бахтияр объявил приговор; писцы заскрипели перьями, записывая его слова в толстые книги. — Повелитель правоверных и солнце вселенной, наш великий эмир, да пребудет над ним благословение аллаха, рассудить соизволил, что если козу взял к себе аллах, то шкура ее по справедливости должна принадлежать наместнику аллаха на земле, то есть великому эмиру, для чего надлежит снять с козы шкуру, высушить и обработать ее, и принести во дворец, и сдать в казну.

Братья в растерянности переглянулись, по толпе пробежал легкий шепот. Бахтияр продолжал раздельно и громко:

— Кроме того, надлежит взыскать с тяжущихся судебную пошлину в размере двухсот таньга, и дворцовую пошлину в размере полутораста таньга, и налог на содержание писцов в размере пятидесяти таньга, и пожертвование на украшение мечетей, — и все это надлежит взыскать с с них немедленно деньгами, или одеждой, или прочим имуществом.

И еще не успел он закончить, как стражники по знаку Арсланбека кинулись к братьям, оттащили в сторону, развязали их пояса и вывернули карманы, сорвали халаты, стащили сапоги и вытолкали в шею, босых и полуголых, едва прикрывающих жалкой одеждой свой срам.

Все это произошло в полминуты. Сразу же после объявления приговора весь хор придворных поэтов пришел в движение и начал славословие на разные голоса:

— О мудрый эмир, о мудрейший из мудрых, о умудренный мудростью мудрых, о над мудрыми мудрый эмир!..

Так они восклицали долго, вытягивая шеи по направлению к трону; каждый старался, чтобы эмир отличил его голос из всех других голосов. А простые люди, толпившиеся вокруг помоста, молчали, с жалостью глядя на братьев.

— Ну вот, — заметил благочестивым тоном Ходжа Насреддин, обращаясь к несчастным, которые громко рыдали в объятиях друг друга. — Вы все-таки не зря просидели шесть недель на площади. Наконец-то вы дождались справедливого и всемилостивого решения, ибо известно всем, что в мире нет никого мудрее и милосерднее нашего эмира, а если кто-нибудь сомневается в этом, — и он обвел глазами своих соседей в толпе, — то недолго

крикнуть стражников, и они предадут нечестивца в руки палачей, и уж тем ничего не стоит разъяснить человеку всю гибельность его заблуждений. Ступайте с миром домой, о братья; если впредь у вас случится спор из-за курицы — приходите снова на эмирский суд, но предварительно не забудьте продать свои дома, виноградники и поля, ибо иначе вы не сможете уплатить всех пошлин.

— О, лучше бы нам умереть вместе с нашей козой! — воскликнули братья, роняя крупные слезы.

— Вы думаете, там, на небе, мало своих дураков? — ответил Ходжа Насреддин. — Достойные доверия люди говорили мне, что нынче и ад и рай набиты дураками до отказа — больше туда не пускают. Я предсказываю вам бессмертие, братья, и уходите скорей отсюда, потому что стражники начали уже поглядывать в нашу сторону, а я не могу рассчитывать на бессмертие, подобно вам.

Братья ушли, громко рыдая, царапая лица и посыпая головы желтой дорожной пылью.

Перед эмирским судом предстал кузнец. Он изложил глухим и угрюмым голосом свою жалобу. Великий визирь Бахтияр повернулся к эмиру:

— Каково будет твое решение, о повелитель?

Эмир спал, приоткрыв рот и похрапывая. Но Бахтияр нисколько не смутился:

— О владыка! Я читаю решение на твоем лице!

И торжественно возгласил:

— Во имя аллаха милостивого и милосердного: повелитель правоверных и наш владыка эмир, в неустанной заботе о своих подданных, оказал им великую милость и благоволение, поставив на прокормление к ним верных стражников его, эмирской, службы, и тем самым даровал жителям Благородной Бухары почетную возможность возблагодарить своего эмира, и благодарить его каждодневно и ежечасно, каковой чести не удостоено от своих правителей население иных, сопредельных с нашим, государств. Однако кузнечный ряд не отличился благочестием среди прочих. Напротив того: кузнец Юсуп, позабыв о замогильных страданиях и волосяном мосту для грешников, дерзко отверз свои уста для выражения неблагодарности, каковую и осмелился принести к стопам нашего повелителя и господина, пресветлого эмира, затмевающего своим блеском самое солнце. Войдя в рассуждение этого, наш пресветлый эмир рассудить соизволил: даровать кузнецу Юсупу двести плетей, дабы внушить ему слова покаяния, без чего тщет-

но пришлось бы ему ожидать, чтобы перед ним открылись райские врата. Всему же кузнечному ряду пресветлый эмир вновь оказывает снисхождение и милость и повелевает поставить еще двадцать стражников на прокормление, дабы не лишать кузнецов радостной возможности каждодневно и ежечасно восхвалять его мудрость и милосердие. Таково решение эмира, да продлит аллах его дни на благо всем верноподданным!

Весь хор придворных льстецов снова пришел в движение и загудел на разные голоса, прославляя эмира. Стража тем временем схватила кузнеца Юсупа и потащила к лобному месту, где палачи с мерзкими кровожадными улыбками уже взвешивали в руках тяжелые плети.

Кузнец лег ничком на циновку; свистнула, опустилась плеть, спина кузнеца окрасилась кровью.

Палачи били его жестоко, взлохматили всю кожу на спине и просекли до самых костей мясо, но так и не смогли услышать от кузнеца не только вопля, но хотя бы стона. Когда он встал, то все заметили на губах его черную пену: он грыз землю во время порки, чтобы не кричать.

— Этот кузнец не из таких, что легко забывают, — сказал Ходжа Насреддин. — Он будет теперь до конца своих дней помнить эмирскую милость. Чего же ты стоишь, красильщик, иди, сейчас твоя очередь.

Красильщик плюнул и, не оглядываясь, пошел прочь из толпы.

Великий визирь быстро закончил еще несколько дел, причем из каждого дела неукоснительно извлекал пользу для эмирской казны, каковым умением и был он знаменит среди прочих сановников.

Палачи работали на лобном месте без передышки. Оттуда неслись вопли и крики. Великий визирь посылал к палачам все новых и новых грешников, и они уже образовали длинную очередь — старики, женщины и даже десятилетний мальчик, изобличенный в дерзком и вольнодумном увлажнении земли перед эмирским дворцом. Он дрожал и плакал, размазывая слезы по лицу. Ходжа Насреддин смотрел на него с жалостью и негодованием в сердце.

— Поистине, он опасный преступник, этот мальчик! — громко рассуждал Ходжа Насреддин. — И нельзя достаточно восхвалить предусмотрительность эмира, оберегающего свой трон от подобных врагов, которые тем более

опасны, что прикрывают молодостью лет подозрительное направление своих мыслей. Не далее как сегодня я видел еще одного преступника, худшего и ужаснейшего в сравнении с этим. Тот преступник — ну, что бы вы могли подумать? — он совершил еще большее под самой стеной дворца! Любое наказание было бы слишком легким за подобную дерзость, разве вот посадить его на кол. Я только боюсь, что кол прошел бы через этого преступника насквозь, как вертел через цыпленка, ибо ему, преступнику, исполнилось всего-навсего четыре года. Но это, конечно, как я уже говорил, не может служить оправданием.

Так он говорил, стараясь походить на муллу, произносящего проповедь; и голос его и слова были благонамеренны, но люди, имеющие уши, слышали, понимали и прятали в бороды затаенные недобрые усмешки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вдруг Ходжа Насреддин заметил, что толпа поредела. Многие торопливо расходились, даже разбегались. «Уж не подбираются ли ко мне стражники?» — подумал он с беспокойством.

Он сразу все понял, когда увидел приближающегося ростовщика. За ним, под охраной стражников, шли дряхлый седобородый старик в халате, перепачканном глиной, и закутанная в покрывало женщина, вернее — девушка, совсем еще молодая, как это установил Ходжа Насреддин, вглядевшись опытным глазом в ее походку.

— А где же Закир, Джура, Мухаммед и Садык? — спросил скрипучим голосом ростовщик, обводя людей своим единственным оком; второе же было тускло и неподвижно, затянутое бельмом. — Они только что были здесь, я заметил еще издали. Скоро наступит срок их долгам, напрасно они бегают и скрываются. В нужный день я все равно их найду.

Прихрамывая, он потащил свой горб дальше.

— Смотрите, смотрите, этот паук повел на эмирский суд горшечника Нияза и его дочку!

— Он не дал горшечнику даже одного дня отсрочки!

— Будь он проклят, этот ростовщик. Через две недели срок уплаты моего долга!

— А мой срок через неделю.

— Смотрите, все разбегаются перед ним и прячутся, как будто он разносит проказу или холеру!

— Он хуже прокаженного, этот ростовщик!

Душу Ходжи Насреддина терзало горькое раскаяние. Он повторял свою клятву: «Я утоплю его в том же самом пруду!».

Арсланбек пропустил ростовщика вне очереди. За ростовщиком к помосту подошли горшечник и его дочь, стали на колени, поцеловали бахрому ковра.

— Мир тебе, почтенный Джафар! — приветливо сказал великий визирь. — Какое дело привело тебя сюда? Изложи свое дело великому эмиру, припадая к его стопам.

— О великий владыка, господин мой! — начал Джафар, обращаясь к эмиру, который кивнул сквозь дрему и опять захрапел и засвистел носом. — Я пришел просить у тебя справедливости. Вот этот человек, по имени Нияз и по занятиям горшечник, должен мне сто таньга и еще триста таньга процентов на этот долг. Сегодня утром наступил срок уплаты, но горшечник ничего не уплатил мне. Рассуди нас, о мудрый эмир, солнце вселенной!

Писцы записали в книги жалобу ростовщика, после чего великий визирь обратился к горшечнику:

— Горшечник, тебя спрашивает великий эмир. Признаешь ли ты этот долг? Может быть, ты оспариваешь день и час?

— Нет, — слабым голосом ответил горшечник, и его седая голова поникла. — Нет, мудрейший и справедливейший визирь, я ничего не оспариваю — ни долга, ни дня, ни часа. Я только прошу отсрочки на один месяц и прибегаю к великодушию и милости нашего эмира.

— Позволь, о владыка, объявить решение, которое я прочел на твоем лице, — сказал Бахтияр. — Во имя аллаха милостивого и милосердного: по закону, если кто-нибудь не уплатит в срок своего долга, то поступает со всей семьей в рабство к тому, кому должен, и пребывает в рабстве до тех пор, пока не уплатит долга с процентами за все время, включая сюда также и время, проведенное в рабстве.

Голова горшечника опускалась все ниже и вдруг затряслась, многие в толпе отвернулись, подавляя тяжелые вздохи.

Плечи девушки дрогнули: она плакала под своим покрывалом.

Ходжа Насреддин в сотый раз повторил про себя: «Он будет утоплен, этот безжалостный истязатель бедняков!».

— Но милость нашего повелителя эмира и великодушие его безграничны! — продолжал между тем Бахтияр, возвысив голос. Толпа затихла. Старый горшечник поднял голову, лицо его просветлилось надеждой.

— Хотя срок уплаты долга уже миновал, но эмир дарует горшечнику Ниязу отсрочку — один час. Если же по истечении этого часа горшечник Нияз пренебрежет установлениями веры и не уплатит всего долга с процентами, следует поступить по закону, как уже было сказано. Иди, горшечник, и да пребудет над тобою впредь милость эмира.

Бахтияр умолк, и тогда пришел в движение и загудел хор льстецов, толпившихся позади трона:

— О справедливый, затмевающий своей справедливостью самое справедливость, о милосердный и мудрый, о великодушный эмир, о украшение земли и слава неба, наш пресветлый эмир!

На этот раз льстецы превзошли самих себя и славословили столь громко, что даже разбудили эмира, который, недовольно поморщившись, приказал им замолчать. Они умолкли, и весь народ на площади молчал, и вдруг в этой тишине раздался могучий, терзающий уши рев.

Это ревел ишак Ходжи Насреддина. То ли наскучило ему стоять на одном месте, то ли заметил он где-нибудь длинноухого собрата и решил с ним поздороваться, но он ревел, приподняв хвост, вытянув морду с желтыми оскаленными зубами, ревел оглушительно, неудержимо, и если останавливался на мгновение, то затем только, чтобы, передохнув, открыть свою пасть еще шире и зареветь, заскрипеть еще громче.

Эмир заткнул уши. Стражники бросились в толпу. Но Ходжа Насреддин был уже далеко. Он тащил упиравшегося ишака и во всеуслышание ругал его:

— Чему ты обрадовался, проклятый ишак! Неужели ты не можешь потише восхвалять милосердие и мудрость эмира! Или, может быть, ты надеешься получить за свое усердие должность главного придворного льстеца?

Толпа громким хохотом встречала его слова, расступалась перед ним и опять смыкалась перед стражниками, которым так и не удалось догнать Ходжу Насреддина, положить его за дерзкое возмущение спокойствия под плети и отобрать в эмирскую казну ишака.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ну вот, суд закончился, и теперь моя власть над вами безгранична, — говорил ростовщик Джафар горшечнику Ниязу и его дочке Гюльджан, когда после объявления приговора они втроем покинули место судилища. — Красавица, с тех пор как я случайно увидел тебя, я лишился сна и покоя. Покажи мне свое лицо. Сегодня, ровно через час, ты войдешь в мой дом. И если ты будешь благосклонна ко мне, я дам твоему отцу легкую работу и хорошую пищу; если же ты будешь упрямиться, тогда, клянусь светом очей моих, я буду кормить его сырыми бобами, заставлю таскать камни и продам хивинцам, жестокость которых в обращении с невольниками общеизвестна. Не упрямься же и покажи мне свое лицо, о прекрасная Гюльджан!

Сладострастными крючковатыми пальцами он приподнял ее покрывало. Гневным движением она отбросила его руку. Лицо Гюльджан оставалось открытым только одно мгновение, но и этого было достаточно, чтобы Ходжа Насреддин, проезжавший мимо на своем ишаке, успел подсмотреть. И красота девушки была столь удивительной и необычайной, что Ходжа Насреддин едва не лишился чувств: мир померк перед его глазами, сердце перестало биться — он побледнел, покачнулся в седле и, потрясенный, закрыл ладонью глаза. Любовь сразила его мгновенно, подобно молнии.

Прошло немало времени, прежде чем он опомнился.

— И эта хромая, горбатая, кривая обезьяна осмеливается посягать на такую еще небывалую в мире красоту! — воскликнул он. — Зачем, зачем я вытащил его вчера из воды; и вот мое дело уже обратилось против меня! Но посмотрим, посмотрим еще, грязный ростовщик! Ты еще не хозяин над горшечником и его дочерью, они имеют еще целый час отсрочки, а Ходжа Насреддин за один час может сделать столько, сколько другой человек не сделает за целый год!

Между тем ростовщик, достав из своей сумки солнечные деревянные часы, отметил время.

— Жди меня здесь, горшечник, под этим деревом. Я вернусь через час, и не пытайся скрыться, ибо я все равно разыщу тебя даже на дне морском и поступлю с тобой, как с бежавшим невольником. А ты, прекрасная

Гюльджан, подумай над моими словами: от твоей благодарности зависит теперь судьба твоего отца.

И с торжествующей усмешкой на своей гнусной роже он отправился в ювелирный ряд за украшениями для новой наложницы.

Горшечник, согбенный горем, и дочка его остались в тени придорожного дерева. Подошел Ходжа Насреддин:

— Горшечник, я слышал приговор. Тебя постигла беда, но, может быть, я сумею помочь тебе?

— Нет, добрый человек, — ответил горшечник с отчаянием в голосе. — Я вижу по твоим заплатам, что ты не обладаешь богатством. Мне ведь нужно достать целых четыреста таньга! У меня нет таких богатых знакомых, все мои друзья бедны, разорены поборами и налогами.

— У меня тоже нет богатых друзей в Бухаре, но я все-таки попробую достать деньги, — перебил Ходжа Насреддин.

— Достать за один час четыреста таньга! — Старик с горькой усмешкой покачал седой головой. — Ты, наверное, смеешься надо мной, прохожий! В подобном деле мог бы достичь успеха разве только Ходжа Насреддин.

— О прохожий, спаси нас, спаси! — воскликнула Гюльджан, обнимая отца. Ходжа Насреддин взглянул на нее и увидел, что кисти рук ее совершенны; она ответила ему долгим взглядом, он уловил сквозь чадру влажный блеск ее глаз, полных мольбы и надежды. Кровь его вскипела, пробежала огнем по жилам, любовь его усилилась многократно. Он сказал горшечнику:

— Сиди здесь, старик, и жди меня, и пусть я буду самым презренным и последним из людей, если не достану до прихода ростовщика четырехсот таньга!

Вскочив на ишака, он исчез в базарной толпе...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На площади было гораздо тише и просторнее, чем утром, в часы торговой горячки, когда все бежали, кричали, спешили, боясь прозевать свою удачу. Близился полдень, и народ, спасаясь от зноя, расходился по чайханам, чтобы спокойно подсчитать прибыли и убытки. Солнце заливало площадь жарким светом, тени были короткими, резкими, словно высеченными в жесткой земле. В затененных местах всюду приютились нищие, а около

них прыгали с веселым чириканьем воробьи, подбирая крошки.

— Подай, добрый человек, во имя аллаха! — гнусавили нищие, показывая Ходже Насреддину свои уродства и язвы.

Он отвечал сердито:

— Уберите свои руки. Я ничуть не богаче вас и сам ищу, кто бы дал мне четыреста таньга.

Нищие, принимая эти слова за насмешку, осыпали Ходжу Насреддина руганью. Он не отвечал, погрузившись в раздумье.

Он выбрал в ряду чайхан самую большую и людную, где не было ни дорогих ковров, ни шелковых подушек, вошел и втащил за собой по ступенькам лестницы ишака, вместо того чтобы поставить у коновязи.

Ходжу Насреддина встретили удивленным молчанием, но он ничуть не смутился, достал из переметной сумки Коран, что подарил ему вчера на прощание старик, и, раскрыв, положил перед ишаком.

Все это он проделал неторопливо и спокойно, без улыбки на лице, как будто так и полагалось.

Люди в чайхане начали переглядываться.

Ишак стукнул копытом в деревянный гулкий настил.

— Уже? — спросил Ходжа Насреддин и перевернул страницу. — Ты делаешь заметные успехи.

Тогда встал со своего места пузатый добродушный чайханщик и подошел к Ходже Насреддину:

— Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу?

— Я учу этого ишака богословию, — невозмутимо ответил Ходжа Насреддин. — Мы уже заканчиваем Коран и скоро перейдем к шариату.

По чайхане пошел гул и шепот, многие встали, чтобы лучше видеть.

Глаза чайханщика округлились, рот приоткрылся. Еще никогда в жизни ему не приходилось видеть такого чуда. В это время ишак снова стукнул копытом.

— Хорошо, — похвалил Ходжа Насреддин, переворачивая страницу. — Очень хорошо! Еще немного усилий, и ты сможешь занять должность главного богослова в медрессе Мир-Араб. Вот только страницы он не умеет перелистывать сам, приходится ему помогать... Аллах снабдил его острым умом и замечательной памятью, но позабыл

снабдить его пальцами, — добавил Ходжа Насреддин, обратившись к чайханщику.

Люди в чайхане, побросав свои чайники, подошли ближе; не прошло и минуты, как вокруг Ходжи Насреддина собралась толпа.

— Этот ишак — не простой ишак! — объявил Ходжа Насреддин. — Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам»?. Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь аллахом: если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!».

— Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! — воскликнул чайханщик. — Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!

— Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, — ответил Ходжа Насреддин. — Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство — это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!

Чайхана едва не обрушилась от взрыва громового хохота, а сам чайханщик повалился в корчах на кошму и смеялся так, что все лицо его было мокрым от слез. Он был очень веселый и смешливый человек, этот чайханщик!

— Вы слышали! — кричал он, хрипя и задыхаясь. — Тогда пусть разбираются, кто из них лучше знал богословие! — И, наверное, он лопнул бы от смеха, если бы вдруг не осенила его догадка.

— Подождите! Подождите! — он замахал руками, призывая всех к вниманию. — Кто ты и откуда, о человек, обучающий богословию своего ишака? Да ты уж не сам ли Ходжа Насреддин?

— А что же удивительного в этом? Ты угадал, чайханщик! Я Ходжа Насреддин. Здравствуйте, жители Благородной Бухары!

Было всеобщее оцепенение, и длилось оно долго; вдруг чей-то ликующий голос прорвал тишину:

— Ходжа Насреддин!

— Ходжа Насреддин! — подхватил второй, за ним — третий, четвертый; и пошло по чайхане, по другим чайханам, по всему базару — везде гудело, повторялось и отдавалось:

— Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!

Люди бежали со всех концов к чайхане — узбеки, таджики, иранцы, туркмены, арабы, турки, грузины, армяне, татары — и, добежав, громкими криками приветствовали своего любимца, знаменитого хитреца и весельчака Ходжу Насреддина.

Толпа все увеличивалась.

Перед ишаком откуда-то появились торба с овсом, сноп клевера, ведро чистой холодной воды.

— Привет тебе, Ходжа Насреддин! — неслись крики. — Где ты странствовал? Скажи нам что-нибудь, Ходжа Насреддин!

Он подошел к самому краю помоста, низко поклонился народу:

— Приветствую вас, жители Бухары! Десять лет я был в разлуке с вами, и теперь мое сердце радуется встрече. Вы просите меня сказать что-нибудь — я лучше спою!

Он схватил большой глиняный горшок, выплеснул воду и, ударяя в него кулаком, как в бубен, громко запел:

Звени, горшок, и пой, горшок,
Достойно восхвали кумира!
Поведай миру, о горшок,
О славных милостях эмира!
Горшок звенит, гудит — и вот —
Он гневным голосом поет!
Он хриплым голосом поет,
Народ со всех концов зовет!
Послушайте его рассказ:
«Горшечник старый жил — Нияз,
Он глину мял, горшки лепил,
И он, конечно, беден был,
И денег — маленький горшок —
За долгий век скопить не мог.
Зато горбун Джафар не спит,
Горшки огромные хранит;
Зато эмирская казна

Доверху золотом полна, —
И стража во дворце не спит,
Горшки огромные хранит.
Но вот беда пришла, как вор,
К Ниязу старому во двор.
Его схватили и ведут
На площадь, на эмирский суд.
А сзади, с видом палача,
Идет Джафар, свой горб влача!».
Доколь неправду нам терпеть?
Горшок, скажи, горшок, ответь!
Правдив твой глиняный язык,
Скажи, в чем виноват старик?
Горшок поет, горшок звенит,
Горшок правдиво говорит:
«Старик виновен потому,
Что в сеть пришлось попасть ему.
И паутина паука
Закабалила старика!
Пришел на суд в слезах старик,
К ногам эмира он приник.
Он говорит: «Весь знает мир,
Как добр и благостен эмир,
Так пусть же милости его
Коснутся сердца моего!».
Эмир сказал: „Не плачь, Нияз,
Даю тебе отсрочки... час!
Недаром знает целый мир,
Как добр и благостен эмир!“».
Доколь неправду нам терпеть?
Горшок, скажи, горшок, ответь!
Горшок поет, горшок звенит,
Горшок правдиво говорит:
«Безумному подобен тот,
Кто от эмира правды ждет.
Эмирским милостям цена
Всегда одна, всегда одна!
Эмир — он что? — С дерьмом мешок,
И вместо головы — горшок!».
Горшок, скажи, горшок, ответь!
Доколь эмира нам терпеть?
Когда ж измученный народ
Покой и счастье обретет?
Горшок поет, горшок звенит,
Горшок правдиво говорит:
«Крепка, сильна эмира власть,
Но и ему придется пасть.
Исчезнут дни твоей тоски.
Идут года. И в должный срок
Он разлетится на куски,
Как этот глиняный горшок!».

Ходжа Насреддин поднял горшок высоко над головой и, швырнув, ударил сильно об землю; горшок звонко

лопнул, разлетелся на сотни мелких осколков. Напрягаясь и перекрывая голосом шум толпы, Ходжа Насреддин закричал:

— Так давайте вместе спасать горшечника Нияза от ростовщика и от эмирских милостей. Вы знаете Ходжу Насреддина, за ним долги не пропадают! Кто одолжит мне на короткий срок четыреста таньга?

Вперед выступил босой водонос:

— Ходжа Насреддин, откуда у нас деньги? Ведь мы платим большие налоги. Но вот у меня есть пояс, совсем почти новый; за него можно что-нибудь выручить.

Он бросил на помост к ногам Ходжи Насреддина свой пояс; гул и движение в толпе усилились, к ногам Ходжи Насреддина полетели тюбетейки, туфли, пояса, платки и даже халаты. Каждый считал честью для себя услужить Ходже Насреддину. Толстый чайханщик принес два самых красивых чайника, медный поднос и посмотрел на остальных с гордостью, ибо пожертвовал щедро. Куча вещей все росла и росла: Ходжа Насреддин кричал, надрываясь:

— Довольно, довольно, о щедрые жители Бухары! Довольно, слышите ли вы. Седельник, возьми обратно свое седло, — довольно, говорю я! Вы что — решили превратить Ходжу Насреддина в старьевщика? Я начинаю продажу! Вот пояс водоноса, кто купит его, тот никогда не будет испытывать жажды. Подходите, продаю дешево! Вот старые заплатанные туфли, они уже, наверное, побывали раза два в Мекке; тот, кто наденет их, как бы совершит паломничество! Есть ножи, тюбетейки, халаты, туфли! Берите, я продаю дешево и не торгуюсь, ибо время сейчас для меня дороже всего!

Но великий Бахтияр, в неусыпной заботе о верноподданных, постарался навести в Бухаре такие порядки, что ни один грош не мог задержаться в карманах жителей и переходил немедленно в эмирскую казну, — дабы жителям легче было ходить с неотягощенными карманами. Тщетно кричал Ходжа Насреддин, восхваляя свой товар, — покупателей не было.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В это время неподалеку проходил ростовщик Джафар, его сумку оттягивали золотые и серебряные украшения, купленные в ювелирном ряду для Гюльджан.

Хотя час отсрочки был уже на исходе и ростовщик спешил, охваченный сластолюбивым нетерпением, но алчность превозмогла в нем все другие чувства, когда он услышал голос Ходжи Насреддина, объявлявшего дешевую распродажу.

Ростовщик приблизился, его заметили, и толпа начала быстро редеть, ибо каждый третий человек из собравшихся был должен ему.

Ростовщик узнал Ходжу Насреддина:

— Это, кажется, ты здесь торгуешь, человек, вытащивший меня вчера из воды? Но откуда у тебя столько товара?

— Ты ведь сам дал мне вчера полтаньга, о почтенный Джафар, — ответил Ходжа Насреддин. — Я пустил в оборот эти деньги, и удача сопутствовала мне в торговле.

— Ты сумел наторговать такую кучу товара за одно утро? — воскликнул ростовщик с удивлением. — Мои деньги пошли на пользу тебе. Сколько же ты хочешь за всю эту кучу?

— Шестьсот таньга.

— Ты сошел с ума! И тебе не стыдно заламывать такую цену со своего благодетеля! Разве не мне обязан ты своим благополучием? Двести таньга — вот моя цена.

— Пятьсот, — ответил Ходжа Насреддин. — Из уважения к тебе почтенный Джафар, — пятьсот таньга!

— Неблагодарный! Разве не мне, повторяю, обязан ты своим благополучием?

— А разве не мне обязан ты, ростовщик, своей жизнью? — ответил Ходжа Насреддин, потеряв терпение. — Правда, ты дал мне за спасение свой жизни всего полтаньга, но она, твоя жизнь, и не стоит большего, я не в обиде! Если ты хочешь купить, то говори настоящую цену!

— Триста!

Ходжа Насреддин молчал.

Ростовщик долго копался, оценивая опытным глазом товар, и, когда убедился, что за все эти халаты, туфли и тюбетейки можно выручить самое меньшее семьсот таньга, решил накинуть:

— Триста пятьдесят.

— Четыреста.

— Триста семьдесят пять.

— Четыреста.

Ходжа Насреддин был непоколебим. Ростовщик уходил и опять возвращался, накидывая по одной таньга, наконец согласился. Они ударили по рукам. Ростовщик с причитаниями начал отсчитывать деньги:

— Клянусь аллахом, я переплатил вдвое за этот товар. Но такой уж у меня характер, что я всегда терплю большие убытки по собственной доброте.

— Фальшивая, — перебил Ходжа Насреддин, возвращая монету. — И здесь не четыреста таньга. Здесь триста восемьдесят, у тебя плохое зрение, почтенный Джафар.

Ростовщику пришлось добавить двадцать таньга и заменить фальшивую монету. Потом он за четверть таньга нанял носильщика и, нагрузив его, приказал следовать за собой. Бедный носильщик согнулся в три погибели и едва не падал под тяжестью ноши.

— Нам по дороге, — сказал Ходжа Насреддин. Ему не терпелось увидеть поскорее Гюльджан, и он все время прибавлял шагу. Ростовщик со своей хромой ногой отставал и шел позади.

— Куда ты так спешишь? — спросил ростовщик, вытирая пот рукавом халата.

— Туда же, куда и ты, — ответил Ходжа Насреддин, в его черных глазах блеснули лукавые искры. — Мы с тобой, почтенный Джафар, идем в одно и то же место и по одному и тому же делу.

— Но ты не знаешь моего дела, — сказал ростовщик. — Если бы ты знал, ты бы мне позавидовал.

Ходже Насреддину был ясен скрытый смысл этих слов, и он ответил с веселым смехом:

— Но если бы ты, ростовщик, знал мое дело, ты позавидовал бы мне в десять раз больше.

Ростовщик насупился: он уловил дерзость в ответе Ходжи Насреддина.

— Ты невоздержан на язык; подобный тебе должен трепетать, разговаривая с подобным мне. Не много найдется людей в Бухаре, которым бы я завидовал. Я богат, и желаниям моим нет преграды. Я пожелал самую прекрасную девушку в Бухаре, и сегодня она будет моей.

В это время навстречу им попался продавец вишен с плоской корзиной на голове. Ходжа Насреддин мимоходом взял из корзины одну вишню на длинном черенке и показал ее ростовщику:

— Выслушай меня, почтенный Джафар. Рассказывают, однажды шакал увидел высоко на дереве вишню.

И он сказал себе: «Во что бы то ни стало, но я съем эту вишню». И он полез на дерево, лез туда два часа и весь ободрался о сучья. И когда он уже приготовился полакомиться и широко разинул свою пасть, откуда-то налетел вдруг сокол, схватил вишню и унес. И потом шакал спускался на землю с дерева опять два часа, ободрался еще больше и, обливаясь горькими слезами, говорил: «Зачем я только полез за этой вишней, ибо давно всем известно, что вишни растут на деревьях не для шакалов».

— Ты глуп, — высокомерно сказал ростовщик. — В твоей сказке я не вижу смысла.

— Глубокий смысл познается не сразу, — ответил ему Ходжа Насреддин.

Вишня висела у него за ухом, черенок ее был засунут под тюбетейку. Дорога повернула. За поворотом сидели на камнях горшечник и его дочь.

Горшечник встал; глаза его, в которых все еще светилась надежда, погасли. Он решил, что чужеземцу не удалось достать денег. Гюльджан отвернулась с коротким стоном.

— Отец, мы погибли! — сказала она, и в ее голосе было столько страдания, что даже камень уронил бы слезу, но сердце ростовщика было жестче любого камня. Ничего, кроме злобного торжества и сластолюбия, не выражалось на его лице, когда он сказал:

— Горшечник, время истекло. Отныне ты мой невольник, а дочь твоя — рабыня и наложница.

Ему захотелось уязвить и унизить Ходжу Насреддина, он властно, по-хозяйски открыл лицо девушки:

— Посмотри, разве она не прекрасна? Сегодня я буду спать с нею. Скажи теперь, кто кому должен завидовать?

— Она действительно прекрасна! — сказал Ходжа Насреддин. — Но есть ли у тебя расписка горшечника?

— Конечно. Разве можно вести денежные дела без расписок: ведь все люди — мошенники и воры. Вот расписка, здесь обозначен и долг и срок уплаты, горшечник отпечатал внизу свой палец.

Он протянул расписку Ходже Насреддину.

— Расписка правильная, — подтвердил Ходжа Насреддин. — Получи же свои деньги по этой расписке. Остановитесь на одну минуту, почтенные! Будьте свидетелями, — добавил он, обращаясь к людям, проходившим мимо по дороге.

Он разорвал расписку пополам, еще четыре раза пополам и пустил обрывки по ветру. Потом он развязал свой пояс и вернул ростовщику все деньги, только что полученные от него же.

Горшечник и его дочь окаменели от неожиданности и счастья, а ростовщик от злобы. Свидетели перемигивались, радуясь посрамлению ненавистного ростовщика.

Ходжа Насреддин взял вишню, опустил ее в рот и, подмигнув ростовщику, громко причмокнул губами.

По уродливому телу ростовщика прошла медленная судорога, руки скрючились, единственное око злобно вращалось, горб задрожал.

Горшечник и Гюльджан просили Ходжу Насреддина:

— О прохожий, скажи нам свое имя, чтобы мы знали, за кого возносить нам молитвы!

— Да! — вторил ростовщик, брызгаясь слюной. — Скажи свое имя, чтобы я знал, кого проклинать!

Лицо Ходжи Насреддина светилось, он ответил звонким и твердым голосом:

— В Багдаде и в Тегеране, в Стамбуле и в Бухаре — всюду зовут меня одним именем — Ходжа Насреддин!

Ростовщик отшатнулся, побелел:

— Ходжа Насреддин!

И в ужасе кинулся прочь, подталкивая в спину своего носильщика.

Все же остальные кричали приветственно:

— Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!

Глаза Гюльджан сияли под чадрой; горшечник все еще не мог опомниться и поверить в свое спасение — он что-то бормотал, разводя в растерянности руками.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Эмирский суд продолжался. Палачи сменились несколько раз. Очередь ожидающих порки все увеличивалась. Двое осужденных корчились на кольях, один лежал обезглавленный на темной от крови земле. Но стоны и крики не достигали слуха дремлющего эмира, заглушаемые хором придворных льстецов, охрипших от усердия. В своих похвалах они не забывали великого визиря и других министров, и Арсланбека, и мухобоя, и кальянщика, справедливо полагая, что угождать надо на всякий

случай всем: одним — чтобы получить для себя пользу, другим — чтобы не причинили вреда.

Арсланбек давно с беспокойством прислушивался к странному гулу, доносившемуся издалека.

Он подозвал двух самых искусных и опытных шпионов:

— Идите и разузнайте, почему волнуется народ. Возвращайтесь немедля.

Шпионы ушли, один — переодетый в нищенские лохмотья, второй — в одежде странствующего дервиша.

Но раньше чем вернулись шпионы, прибежал, спотыкаясь и путаясь в полах своего халата, бледный ростовщик.

— Что случилось, почтенный Джафар? — спросил Арсланбек, меняясь в лице.

— Беда! — ответил трясущимися губами ростовщик. — О достопочтенный Арсланбек, случилась большая беда. В нашем городе появился Ходжа Насреддин. Я только что видел его и говорил с ним.

Глаза Арсланбека выкатились из орбит и замерли. Прогибая своей грузностью ступени лестницы, он вбежал на помост, пригнулся к уху дремлющего эмира.

Эмир вдруг подпрыгнул на троне так высоко, словно его ткнули шилом пониже спины.

— Ты лжешь! — закричал он, и лицо его исказилось страхом и яростью. — Этого не может быть! Калиф багдадский недавно писал мне, что отрубил ему голову! Султан турецкий писал, что посадил его на кол! Шах иранский собственноручно писал мне, что повесил его. Хан хивинский еще в прошлом году во всеуслышание объявил, что содрал с него кожу! Не мог же он, в самом деле, уйти невредимым из рук четырех государей, этот проклятый Ходжа Насреддин!

Визири и сановники побледнели, услышав имя Ходжи Насреддина. Мухобой, вздрогнув, уронил свое опахало, кальянщик поперхнулся дымом и закашлялся; льстивые языки поэтов присохли к зубам от страха.

— Он здесь! — повторил Арсланбек.

— Ты врешь! — вскричал эмир и царственной дланью влепил Арсланбеку увесистую пощечину. — Ты врешь! А если он действительно здесь, то как он мог проникнуть в Бухару, и куда годится вся твоя стража! Это он, значит, устроил на базаре такой переполох сегодня ночью! Он хотел взбунтовать народ против меня, а ты спал и ничего не слышал!

И эмир влепил Арсланбеку вторую пощечину.

Арсланбек низко поклонился, чмокнув на лету эмирскую руку:

— О повелитель, он здесь, в Бухаре. Разве ты не слышишь?

Далекий гул усиливался и нарастал, подобно надвигающемуся землетрясению, и вот толпа вокруг судилища, захваченная общим волнением, тоже начала гудеть, сначала неясно и глухо, а потом все громче, сильнее, и эмир почувствовал зыбкое колебание помоста и своего раззолоченного трона. В эту минуту из общего слитного гула, переходившего уже в мощный рев, вдруг всплыло, и повторилось, и отдалось многократно во всех концах:

— Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!

Стража бросилась с дымящимися фитилями к пушкам. Лицо эмира перекосилось от волнения.

— Кончайте! — закричал он. — Во дворец!

Подобрав полы парчового халата, он кинулся во дворец; за ним, спотыкаясь, бежали слуги с пустыми носилками на плечах. И, объятые смятением, мчались, толкаясь и обгоняя друг друга, теряя туфли и не останавливаясь, чтобы подобрать их, визири, палачи, музыканты, стражники, мухобой и кальянщик. Только слоны прошествовали с прежней важностью и неторопливостью, ибо они хотя и числились в эмирской свите, но не имели никаких причин бояться народа.

Тяжелые, окованные медью ворота дворца закрылись, пропустив эмира и его свиту.

А базарная площадь, затопленная народом, гудела, шумела и волновалась, повторяя все снова и снова имя Ходжи Насреддина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

> Вот любопытные происшествия; часть их случилась в моем присутствии, а часть рассказали мне люди, которым я доверяю.
>
> *Усама-ибн-Мункыз, «Книга назидания»*

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

С незапамятных времен бухарские гончары селились у восточных ворот вокруг большого глиняного бугра, и не смогли бы выбрать лучшего места: глина была здесь рядом, а водой в изобилии снабжал их арык, протекавший вдоль городской стены. Деды, прадéды и прапрадеды гончаров срыли бугор уже до половины: из глины строили они свои дома, из глины лепили горшки и в глину ложились, сопровождаемые горестными воплями родственников; и потом, через много лет, не раз, наверное, случалось, что какой-нибудь гончар, вылепив горшок или кувшин, и высушив на солнце, и обработав огнем, дивился небывалому по силе и чистоте звону горшка и не подозревал, что это далекий предок, заботясь о благосостоянии потомка и о сбыте его товара, облагородил глину частицей своего праха и заставил ее звенеть, подобно чистому серебру.

Здесь же стоял и дом горшечника Нияза — над самым арыком, в тени могучих древних карагачей; шелестела под ветром листва, журчала вода, и с утра до вечера слышались в маленьком садике песни прекрасной Гюльджан.

Ходжа Насреддин отказался поселиться в доме Нияза:

— Меня могут схватить в твоем доме, Нияз. Я буду ночевать неподалеку, я нашел тут одно безопасное место. А днем я буду приходить сюда и помогать тебе в работе.

Так он и делал: каждое утро еще до солнца он приходил к Ниязу и садился вместе со стариком за гончарный станок. В мире не было ремесла, которого бы не знал Ходжа Насреддин; гончарное ремесло знал он отлично, горшки получались у него звонкие, гладкие и обладали

способностью сохранять воду ледяной даже в самую сильную жару. Раньше старик, которому в последние годы все чаще и чаще изменяли глаза, едва успевал сделать за день пять или шесть горшков, а теперь вдоль забора всегда сушились на солнцепеке длинные ряды — тридцать, сорок, а часто пятьдесят горшков и кувшинов. В базарные дни старик возвращался с полным кошельком, в сумерки из его дома по всей улице разносился запах мясного плова.

Соседи радовались за старика и говорили:

— Наконец-то Ниязу повезло, и он расстался с бедностью; дай бог, чтобы навсегда!

— Говорят, он нанял в помощь себе работника. И говорят еще, что этот работник необычайно искусен в гончарном деле. И однажды я нарочно завернул к Ниязу, чтобы посмотреть на его помощника. Но едва я закрыл за собой калитку, как этот помощник встал, ушел и не показывался больше.

— Старик прячет своего помощника. Он боится, наверное, как бы кто-нибудь из нас не переманил к себе такого искусного мастера. Вот чудак! Разве мы, гончары, совсем уж лишены совести и осмелимся посягнуть на благополучие старика, нашедшего наконец свое счастье!

На том соседи и порешили, и никому, конечно, не пришло в голову, что помощником у старого Нияза работает сам Ходжа Насреддин. Все были твердо уверены, что Ходжи Насреддина давно уже нет в Бухаре; он сам распустил этот слух, дабы обмануть шпионов и уменьшить их усердие в поисках. И он достиг своей цели: через десять дней дополнительные заставы были сняты от всех городских ворот и ночные дозоры уже не беспокоили больше жителей Бухары блеском факелов и звоном оружия.

Однажды старый Нияз долго кряхтел и жался, глядя на Ходжу Насреддина, наконец сказал:

— Ты спас меня от рабства, Ходжа Насреддин, а дочь мою — от бесчестья. Ты работаешь вместе со мной и делаешь вдесятеро больше, чем я. Вот триста пятьдесят таньга чистого дохода, что выручил я от торговли горшками с тех пор, как ты начал помогать мне. Возьми эти деньги, они по праву принадлежат тебе.

Ходжа Насреддин остановил свой станок и воззрился на старика с удивлением:

— Ты, наверное, заболел, почтенный Нияз! Ты говоришь какие-то непонятные вещи. Ты здесь хозяин, а я твой

работник, и если ты дашь мне одну десятую часть доходов, тридцать пять таньга, то я буду премного доволен.

Он взял потертый кошелек Нияза, отсчитал тридцать пять таньга и положил в карман, остальное вернул старику. Но старик заупрямился и не хотел брать:

— Так нельзя, Ходжа Насреддин! Эти деньги принадлежат тебе! Если уж ты не хочешь взять всё, возьми тогда хоть половину.

Ходжа Насреддин рассердился:

— Спрячь свой кошелек, почтенный Нияз, и не нарушай, пожалуйста, земных порядков. Что это получится на земле, если все хозяева начнут делить доходы поровну со своими работниками? Тогда на земле не будет ни хозяев, ни работников, ни богатых, ни бедных, ни стражников, ни эмиров. Подумай сам: разве аллах потерпит такое нарушение порядка? Возьми же свой кошелек и спрячь его подальше, иначе ты своими безумными поступками можешь навлечь на людей гнев аллаха и погубить тем самым весь человеческий род на земле!

С этими словами Ходжа Насреддин опять закрутил ногой плоский гончарный круг.

— Отличный будет горшок! — говорил он, пришлепывая по мокрой глине ладонями. — Звонкий, как голова нашего эмира! Придется отнести этот горшок во дворец: пусть он хранится там на случай, если эмиру снимут голову.

— Смотри, Ходжа Насреддин, тебе самому снимут когда-нибудь голову за такие слова.

— Эге! Ты думаешь, это очень легко — снять Ходже Насреддину голову?

Я Ходжа Насреддин, сам себе господин,
И скажу — не совру — никогда не умру!
Пусть бухарский эмир говорит на весь мир,
Что смутьян я и вор, пусть готовит топор,
Но я Ходжа Насреддин, сам себе господин,
И скажу — не совру — никогда не умру!
Буду жить, буду петь и на солнце глядеть,
И кричать на весь мир — пусть подохнет эмир!
И султан с давних пор мне готовит топор,
Шах иранский — веревку, хан хивинский — костер.
Но я Ходжа Насреддин, сам себе господин,
И скажу — не совру — никогда не умру!
Нищий, босый и голый, я — бродяга веселый,
Буду жить, буду петь и на солнце глядеть,
Сын народа любимый и судьбою хранимый,
Я смеюсь над султаном, над эмиром и ханом!
Я Ходжа Насреддин, сам себе господин,
И скажу — не совру — никогда не умру!

За спиной Нияза в зелени виноградника показалось смеющееся лицо Гюльджан. Ходжа Насреддин прервал песню и начал обмениваться с Гюльджан веселыми, таинственными знаками.

— Куда ты смотришь? Что ты увидел там?—спросил Нияз.

— Я вижу райскую птицу, прекраснее которой нет в мире!

Старик кряхтя обернулся, но Гюльджан уже скрылась в зелени, и только ее серебристый смех доносился издалека. Старик долго щурил подслеповатые глаза и прикрывал их ладонью от яркого солнца, но так ничего и не увидел, кроме воробья, прыгающего по жердочкам.

— Опомнись, Ходжа Насреддин! Где увидел ты райскую птицу? Ведь это простой воробей!

Ходжа Насреддин смеялся, а Нияз только покачивал головой, не догадываясь о причинах такой веселости.

Вечером после ужина старик, проводив Ходжу Насреддина, взобрался на крышу и улегся там спать, овеваемый теплым ласковым ветерком. Вскоре он захрапел и засвистел носом, и тогда за низеньким забором раздался легкий кашель: это вернулся Ходжа Насреддин. «Спит»,— ответила ему шепотом Гюльджан. Он одним прыжком махнул через забор.

Они сели у водоема, в тени тополей, что тихо дремали, закутавшись в свои длинные зеленые халаты. Высоко в чистом небе стояла луна, все поголубело от ее света; чуть слышно звенел арык, то вспыхивая искрами и блестками, то снова теряясь в тени.

Гюльджан стояла перед Ходжой Насреддином, освещаемая полной луной, сама подобная полной луне, стройная и гибкая, опоясанная избытком своих волос. Он говорил ей тихим голосом:

— Я люблю тебя, царица души моей, ты моя первая и единственная любовь. Я твой раб и, если ты захочешь, сделаю все по твоему желанию! Вся моя жизнь была лишь ожиданием встречи с тобой; и вот я увидел тебя, и больше уже никогда не забуду, и жить без тебя не смогу!

— Ты, наверно, говоришь это не в первый раз,—сказала она ревниво.

— Я! — воскликнул он с негодованием в голосе.— Как ты могла подумать!

И голос его звучал так искренне, что она поверила, смягчилась и села рядом с ним на земляную скамью. Он

приник губами к ее губам и не отрывался так долго, что она задохнулась.

— Слушай, — сказала она потом. — Девушкам за поцелуи полагается дарить что-нибудь, а ты целуешь меня каждую ночь вот уже больше недели и хоть бы одну булавку подарил мне!

— У меня просто не было денег, — ответил он. — Но сегодня я получил плату от твоего отца, и завтра, Гюльджан, я принесу тебе богатый подарок. Что тебе хочется — бусы, или платок, или, может быть, кольцо с аметистовым камнем?

— Мне все равно, — прошептала она. — Мне все равно, дорогой Ходжа Насреддин, лишь бы получить этот подарок из твоих рук.

Звенела голубая вода в арыке, трепетали чистым и ясным светом звезды в прозрачном небе; Ходжа Насреддин придвинулся ближе к девушке, протянул руку к ее груди — и ладонь его наполнилась. Он замер, но вдруг из глаз его брызнули искры: щеку его обожгла увесистая пощечина. Он отшатнулся, загораживаясь на всякий случай локтем. Гюльджан встала; ее дыхание отяжелело от гнева.

— Я, кажется, слышал звук пощечины, — кротко сказал Ходжа Насреддин. — И зачем обязательно драться, если можно сказать словами?

— Словами! — перебила Гюльджан. — Мало того, что я, позабыв всякий стыд, открыла перед тобой лицо, но ты еще тянешь свои длинные руки куда не следует.

— А кто это определил, куда следует тянуть руки и куда не следует? — возразил Ходжа Насреддин в крайнем смущении и замешательстве. — Если бы ты читала книги мудрейшего ибн-Туфейля...

— Слава богу, — запальчиво перебила она, — слава богу, что я не читала этих распутных книг и блюду свою честь, как подобает порядочной девушке!

Она повернулась и ушла; заскрипела лесенка под ее легкой поступью, и скоро в щелях ставен, огораживающих балкон, засветился огонь.

«Я обидел ее, — размышлял Ходжа Насреддин. — Как же это я сплоховал? Ну ничего: зато я теперь знаю ее характер. Если она дала пощечину мне, значит она даст пощечину и всякому другому и будет надежной женой. Я согласен получить от нее до женитьбы еще десять раз

по десять пощечин, лишь бы после женитьбы она была так же щедра на эти пощечины для других!»

Он подошел на цыпочках к балкону, позвал тихим голосом:

— Гюльджан!

Она не ответила.

— Гюльджан!

Душистая темнота безмолвствовала. Ходжа Насреддин опечалился. Сдерживая голос, чтобы не разбудить старика, он запел:

Ты ресницами украла мое сердце.
    Ты осуждаешь меня, а сама воруешь ресницами.
И ты еще требуешь платы за то, что украла мое сердце!
О диво! О чудо! Да где же это видано?
    Когда и кто платил ворам?
Подари же мне бесплатно два или три поцелуя.
    Нет, мне этого мало!
Есть поцелуи, как горькая вода:
    Чем больше пьешь, тем больше жаждешь.
Ты закрыла передо мной свои двери —
    О, пусть лучше кровь моя вытечет на землю!
И где теперь я найду сон и успокоение?
    Может быть, ты научишь меня?
Вот какова моя печаль о твоих очах,
    Что мечут стрелы!
Вот какова моя печаль о твоих кудрях,
    Благоуханных как мускус!

Он пел, и хотя Гюльджан не показывалась и не отвечала, но он знал, что она внимательно слушает, и знал также, что ни одна женщина не может устоять перед такими словами. И он не ошибся: ставня слегка приоткрылась.

— Иди! — прошептала сверху Гюльджан. — Только потихоньку, чтобы отец не проснулся.

Он поднялся по лесенке, сел опять рядом с нею, и фитиль, плавающий в плошке с топленым бараньим салом, трещал и горел до рассвета; они говорили и не могли наговориться досыта; словом, все было так, как и должно быть и как это сказано у мудрейшего Абу-Мухаммеда Али-ибн-Хазма в книге «Ожерелье голубки», в главе «Слово о природе любви»:

«Любовь — да возвеличит ее аллах! — поначалу шутка, но в конце — дело важное. Ее свойства слишком тонки по своей возвышенности, чтобы их описать, и нельзя постигнуть ее истинной сущности иначе, как с трудом. Что же касается причины того, что любовь постоянно

в большинстве случаев возникает из-за красивой внешности, то вполне понятно, что душа прекрасна, и увлекается всем прекрасным, и питает склонность к совершенным образам. И, увидев какой-нибудь из них, душа начинает к нему приглядываться и, если различит за внешностью что-нибудь с собою сходное, вступает с ним в соединение, и возникает настоящая, подлинная любовь... Поистине, внешность дивным образом соединяет отдаленные частицы души!»

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Старик заворочался на крыше, заскрипел, закашлял и сиплым сонным голосом позвал Гюльджан, чтобы она дала ему холодной воды напиться. Она толкнула Ходжу Насреддина к двери; почти не касаясь ногами ступенек, он скатился по лестнице, прыгнул через забор, а спустя короткое время, умывшись в ближайшем арыке и утеревшись полой халата, уже стучался в калитку с другой стороны.

— Доброе утро, Ходжа Насреддин! — приветствовал его с крыши старик. — Как рано ты встаешь в последние дни. Когда только успеваешь ты высыпаться? Сейчас мы выпьем чаю и возьмемся, благословясь, за работу.

В полдень Ходжа Насреддин покинул старика и отправился на базар покупать подарок для Гюльджан. Как всегда, он надел из предосторожности цветную бадахшанскую чалму и прицепил фальшивую бороду; в этом наряде он был неузнаваем и мог свободно разгуливать по торговым рядам и чайханам, не опасаясь шпионов.

Он выбрал коралловое ожерелье, напоминавшее своим цветом губы его возлюбленной. Ювелир оказался человеком сговорчивым, и после какого-нибудь часа шума, криков и споров ожерелье перешло к Ходже Насреддину за тридцать таньга.

На обратном пути Ходжа Насреддин увидел около базарной мечети большую толпу. Люди теснились и лезли на плечи друг другу. Приблизившись, Ходжа Насреддин услышал резкий, пронзительный голос:

— Удостоверьтесь своими глазами, правоверные: он разбит параличом и лежит без движения уже десять лет! Члены его холодны и безжизненны. Смотрите, он даже не открывает глаз. Он прибыл издалека в наш город; добрые родственники и друзья привезли его, чтобы испытать последнее средство. Через неделю, в день празднова-

ния памяти святейшего и несравненнейшего шейха Богаэддина, он будет положен на ступени гробницы. Слепые, хромые и паралучные уже не раз исцелялись таким способом: помолимся же, о правоверные, чтобы святой шейх смилостивился над этим несчастным и ниспослал ему исцеление!

Собравшиеся сотворили молитву; после этого опять послышался резкий голос:

— Удостоверьтесь своими глазами, правоверные: он разбит параличом и лежит без движения уже десять лет!..

Ходжа Насреддин протискался в толпу, приподнялся на цыпочках и увидел длинного, костлявого муллу с маленькими злыми глазами и реденькой бороденкой. Он кричал, тыча пальцем вниз, себе под ноги, где на носилках лежал паралучный:

— Смотрите, смотрите, мусульмане, как он жалок и несчастен, но через неделю святой Богаэддин пошлет ему исцеление, и он вернется к жизни, этот человек!

Паралучный лежал с закрытыми глазами, сохраняя на лице скорбное и жалостное выражение. Ходжа Насреддин тихонько ахнул от неожиданности: эту рябую рожу с плоским носом он отличил бы из тысячи других, сомнения быть не могло! Слуга, по-видимому, заболел параличом уже давно, ибо от долгого лежания и безделья рожа его потолстела заметно.

С тех пор, сколько бы ни проходил Ходжа Насреддин мимо этой мечети, всегда он видел там муллу и паралучного, что лежал с жалобным выражением на рябой роже, которая толстела и наливалась жиром день ото дня.

Наступил праздник памяти святейшего шейха. Святой умер, по преданию, в мае, в ясный полдень, и хотя на небе не было ни одной тучки, но солнце померкло в час его смерти, земля дрогнула, и многие дома, где жили грешники, подверглись разрушению, а сами грешники погибли под развалинами. Так рассказывали муллы в мечетях, призывая мусульман обязательно посетить гробницу шейха и поклониться его праху, дабы не прослыть нечестивцами и не разделить участи упомянутых грешников.

Богомольцы двинулись на поклонение еще затемно, и когда взошло солнце, то вся огромная площадь вокруг гробницы была уже затоплена народом из конца в конец. Но потоки людей на дорогах не истощались; все шли босиком, как требовал того стародавний обычай; здесь среди

прочих были люди, пришедшие из отдаленных мест — особо благочестивые, или же, наоборот, сотворившие большой грех и надеявшиеся вымолить сегодня прощение. Мужья вели сюда бесплодных жен, матери несли больных детей, старики тащились кое-как на кривых костылях, прокаженные собрались поодаль и оттуда с надеждой смотрели на белый купол гробницы.

Богослужение не начиналось долго: ждали эмира. Под палящим солнцем, в давке и тесноте, люди стояли, плотно прижавшись друг к другу и не осмеливаясь присесть. Глаза людей горели жадным, неутолимым огнем: разуверившись в земном счастье, люди ждали сегодня чуда и вздрагивали от каждого громкого слова. Ожидание становилось непереносимым, два дервиша упали в корчах на землю и с воплями начали грызть ее, источая серую пену. Толпа всколыхнулась, заволновалась, во всех концах заплакали, закричали женщины, и в это время прокатился тысячеголосый рокот:

— Эмир! Эмир!

Дворцовая стража, усердно работая палками, расчищала дорогу в толпе, и по этой широкой дороге, застланной коврами, шел на поклонение святому праху эмир — босой, с опущенной головой, погруженный в благочестивые размышления и недоступный мирским звукам. За ним по пятам следовала в молчании свита, суетились слуги, свертывая ковры и занося их вперед.

В толпе у многих выступили на глазах слезы умиления.

Эмир поднялся на земляное возвышение, примыкавшее вплотную к стене гробницы. Ему подали молитвенный коврик, и он, поддерживаемый с обеих сторон визирями, стал на колени. Муллы в белых одеждах выстроились полукругом и запели, воздевая руки к замутившемуся от зноя небу. Богослужение началось.

Оно продолжалось бесконечно, перемежаемое проповедями. Ходжа Насреддин незаметно выбрался из толпы и направился к стоявшему в стороне небольшому сарайчику, где ждали своей очереди слепые, хромые и паралличные, которым сегодня было обещано исцеление.

Двери сарайчика были раскрыты настежь. Любопытные заглядывали внутрь и обменивались замечаниями. Муллы, наблюдавшие здесь, держали в руках большие медные подносы для сбора пожертвований. Старший мулла рассказывал:

— ...и с тех пор над священной Бухарой и над ее солнцеподобными эмирами вечно и нерушимо пребывает благословение святейшего шейха Богаэддина. И каждый год в этот день святой Богаэддин дает нам, смиренным служителям бога, силу творить чудеса. Все эти слепые, хромые, бесноватые и параличные ждут исцеления, и мы надеемся с помощью святого Богаэддина сегодня избавить их от страданий.

Словно бы в ответ ему, в сарайчике заплакали, завыли, застонали и заскрежетали зубами; возвысив голос, мулла продолжал:

— Жертвуйте, правоверные, на украшение мечетей, и ваши даяния зачтутся аллахом!

Ходжа Насреддин заглянул в сарайчик. У самого выхода лежал на своих носилках рябой, толстомордый слуга; за ним в полумраке виднелось еще множество людей с костылями, на носилках, в повязках. И вдруг от гробницы долетел голос самого главного ишана, только что закончившего проповедь:

— Слепого! Подведите ко мне слепого!

Муллы, оттолкнув Ходжу Насреддина, нырнули в душный полусумрак сарайчика и через минуту вывели оттуда слепого в жалком нищенском рубище. Он шел, ощупывая руками воздух и спотыкаясь о камни.

Он подошел к главному ишану, упал перед ним и коснулся губами ступеней гробницы; ишан возложил руки на его голову — и он исцелился мгновенно.

— Я вижу! Вижу! — закричал он высоким, дрожащим голосом. — О святейший Богаэддин, я вижу, я вижу! О небывалое исцеление, о великое чудо!

Толпа молящихся сгрудилась вокруг него, загудела; многие подходили к нему и спрашивали: «Скажи, какую руку я поднял — правую или левую?» — он отвечал без ошибки, и все удостоверились, что действительно он прозрел.

И тогда в толпу двинулся целый отряд мулл с медными подносами, взывая:

— Правоверные, вы своими глазами видели чудо; пожертвуйте на украшение мечетей!

Эмир первый бросил на поднос горсть золотых монет, за ним бросили по золотой монете все визири и сановники, а потом народ начал щедро сыпать серебро и медь; подносы наполнялись, и муллам трижды пришлось менять их.

Когда поток пожертвований уменьшился, из сарайчика вывели хромого, и он, коснувшись ступеней гробницы, исцелился так же мгновенно и, отшвырнув свои костыли, начал плясать, высоко подбрасывая ноги. И опять муллы с новыми подносами двинулись в толпу, взывая:

— Пожертвуйте, правоверные!

Седобородый мулла подошел к Ходже Насреддину, который сосредоточенно думал о чем-то, разглядывая стены сарайчика.

— О правоверный! Ты видел великое чудо. Пожертвуй, и даяние твое зачтется аллахом.

Ходжа Насреддин громко, чтобы слышали все окружающие, ответил:

— Ты называешь это чудом и просишь у меня денег. Во-первых, денег у меня нет, а во-вторых, известно ли тебе, мулла, что я сам — великий святой и могу сотворить еще не такое чудо!

— Ты богохульник! — закричал мулла в гневе. — Не слушайте его, мусульмане, это сам шайтан говорит его устами!

Ходжа Насреддин обратился к толпе:

— Мулла не верит, что я могу творить чудеса! Хорошо, я сейчас докажу! В этом сарайчике собраны слепые, хромые, немощные и параличниые, и я берусь исцелить их всех разом и при этом не буду прикасаться к ним. Я скажу только два слова — и они все исцелятся и побегут врассыпную так быстро, что даже лучший арабский конь не догонит их.

Стены сарайчика были тонкими, глина во многих местах дала глубокие трещины. Ходжа Насреддин выбрал в стене место, со всех сторон прорезанное трещинами, сильно нажал на него плечом. Глина поддалась с легким, зловещим треском. Он поднажал еще, огромный кусок стены рухнул с гулким шумом внутрь сарайчика; из черного зияющего отверстия повалила пыль.

— Землетрясение! Спасайтесь! — диким голосом вскрикнул Ходжа Насреддин и обрушил второй кусок глины.

В сарайчике на одно мгновение стало тихо, потом поднялась суматоха: рябой параличный слуга первым бросился к выходу, но застрял в дверях со своими носилками и загородил путь остальным — хромым, слепым и немощным, которые клубились сзади с криками и воем,

а когда Ходжа Насреддин обрушил в сарайчик третий пласт глины — они могучим напором вынесли рябого вместе с дверью и косяками и, позабыв про свои увечья, кинулись кто куда.

Толпа кричала, свистела, хохотала и улюлюкала. Перекрывая общий гул, звучал громкий голос Ходжи Насреддина:

— Вот видите, мусульмане, я был прав, говоря, что их всех можно исцелить одним словом!

И, не внимая больше проповедям, со всех сторон бежали любопытные и, узнав, валились от смеха на землю, передавали дальше рассказ о чудесном исцелении; тотчас же об этом узнали все собравшиеся, и когда главный ишан поднял руку, призывая к тишине, толпа ответила руганью, криком и свистом.

И опять, как тогда на площади, в толпе нарастало, и гудело, и отдавалось:

— Ходжа Насреддин! Он вернулся! Он здесь, наш Ходжа Насреддин!

Муллы, осыпаемые бранью и насмешками, побросали свои подносы и в страхе убежали из толпы.

Ходжа Насреддин был в это время уже далеко. Свою цветную чалму и фальшивую бороду он спрятал под халат, ибо сейчас не имел причин опасаться встречи со шпионами, которым было достаточно дела вокруг гробницы.

Он не заметил только, что за ним по пятам, скрываясь за углами домов и придорожными деревьями, следовал хромой ростовщик Джафар.

В безлюдном, пустынном переулке Ходжа Насреддин подошел к забору и, подтянувшись на руках, тихонько кашлянул. Послышались легкие шаги, женский голос ответил:

— Это ты, мой любимый!

Притаившийся за деревом ростовщик без труда узнал голос прекрасной Гюльджан. Потом он услышал шепот, сдержанный смех и звуки поцелуев. «Ты отнял ее у меня, чтобы воспользоваться самому», — думал ростовщик, обуреваемый злобной ревностью.

Простившись с Гюльджан, Ходжа Насреддин пошел дальше так быстро, что ростовщик уже не мог успеть за ним и скоро потерял его в путанице узких переходов. «Значит, я не получу награды за его поимку, — думал Джафар с огорчением. — Но зато!.. Берегись, Ходжа Насреддин, я приготовил тебе страшную месть!»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Эмирская казна понесла большие убытки. У гробницы святого Богаэддина не собрали и десятой части по сравнению с доходами прошлых лет. Кроме того, в народ были снова брошены семена дерзкого вольнодумия. Шпионы доносили, что слух о событиях вокруг гробницы достиг самых отдаленных уголков государства и пробудил уже отклики: в трех кишлаках жители отказались достраивать мечети, а в четвертом выгнали с позором своего муллу.

Эмир приказал великому визирю Бахтияру собрать диван — государственный совет. Диван собрался в дворцовом саду. Это был замечательный сад, один из прекраснейших в мире. Диковинные плоды зрели здесь на раскидистых, пышных деревьях — абрикосы камфарные, миндальные и хорасанские, сливы, инжир, померанцы и много других плодов, перечислить которые невозможно. Розы, фиалки, левкои и лаванда с анемонами росли целыми купами, наполняя воздух райским благоуханием; смеялись ромашки, и влюбленно смотрели на них нарциссы; плескались фонтаны, золотые рыбки стаями гуляли в мраморных бассейнах, и повсюду были развешаны серебряные клетки, в которых звенели, свистели и щебетали на разные голоса чужеземные птицы. Но визири, сановники, мудрецы и поэты равнодушно проходили мимо, не пленяясь этой волшебной красотой, ничего не видя и не слыша, ибо все мысли их были заняты заботами о собственном возвышении, о предохранении себя от ударов со стороны врагов и о нанесении в свою очередь таких же ударов, и в их жестких, высохших сердцах не оставалось уже места ни для чего другого, и если бы вдруг все цветы во всем мире завяли и все птицы на свете перестали петь — они бы не заметили этого, поглощенные своими честолюбивыми и алчными помыслами. С глазами, лишенными блеска, с поджатыми бескровными губами, они шли, шаркая туфлями, по песчаным дорожкам, поднимались в беседку, оплетенную пышной и темной листвой базилика, и, прислонив к стене свои посохи, разукрашенные бирюзой, занимали места на шелковых подушках. Склонив головы, отягощенные огромными белыми чалмами, они в безмолвии ждали повелителя. Когда он вошел — тяжелым шагом, ни на кого не глядя, с печатью мрачной задумчивости на лице, — все встали; склонились в покло-

нах почти до земли и так, не разгибаясь, стояли, пока он не подал им рукой короткого знака. Тогда они стали на колени, как этого требовал придворный обычай, и откинулись всем телом на пятки, касаясь при этом ковра пальцами опущенных рук; каждый из них старался угадать, на чью голову обрушится сегодня гнев эмира и какую пользу можно будет извлечь из этого для себя.

За спиной эмира выстроились полукругом в обычном порядке придворные поэты и тихонько покашливали, прочищая гортани. Самый искусный из них, носивший титул царя поэтов, повторял в памяти сочиненные сегодня утром стихи, готовясь произнести их перед эмиром, как бы в порыве сверхъестественного вдохновения.

Дворцовый мухобой и эмирский кальянщик заняли назначенные места.

— Кто повелитель Бухары? — начал эмир тихим голосом, заставившим всех содрогнуться. — Кто повелитель Бухары, мы вас спрашиваем, мы или он — этот проклятый богохульник Ходжа Насреддин?!

Он задохнулся на мгновение; справившись со своей яростью, грозно закончил:

— Эмир слушает вас! Говорите.

Над его головой качались опахала из конских хвостов; свита молчала, объятая страхом, визири незаметно подталкивали друг друга локтями.

— Он взбаламутил все государство! — снова начал эмир. — Он уже трижды успел возмутить спокойствие в нашей столице! Он лишил нас покоя и сна, а нашу казну лишил законных доходов! Он открыто призывает народ к возмущению и бунту! Как следует поступить с таким преступником? — мы вас спрашиваем.

Визири, сановники и мудрецы ответили в один голос:

— Он, бесспорно, заслуживает самой жестокой казни, о средоточие вселенной и убежище мира!

— Почему же он до сих пор еще жив? — спросил эмир. — Или нам, вашему повелителю, самое имя которого должны вы произносить с трепетом и благоговением и не иначе, как лежа ниц на земле, чего вы, кстати, не делаете по своей лености, дерзости и нерадивости, — или, повторяю, нам самому нужно идти на базар и ловить его, в то время как вы будете предаваться праздному чревоугодию и разврату в своих гаремах и вспоминать о своих обязанностях перед нами только в дни получения жалованья? Что ты ответишь нам, Бахтияр?

Услышав имя Бахтияра, все остальные облегченно вздохнули. По губам Арсланбека, у которого была с Бахтияром старинная вражда, скользнула злорадная усмешка. Бахтияр, сложив на животе руки, поклонился эмиру до земли.

— Да хранит аллах великого эмира от бед и несчастий! — начал он. — Преданность и заслуги ничтожного раба, который является лишь пылинкой в лучах величия эмира, известны эмиру. До моего назначения на должность великого визиря государственная казна пребывала всегда пустою. Но я назначил множество пошлин, установил плату за назначение на должность, я обложил налогами все в Бухаре, и ныне ни один житель не может даже чихнуть, без того чтобы не уплатить за это в казну. Кроме того, я наполовину уменьшил жалованье всем мелким чиновникам, солдатам и стражникам, возложив заботы о пропитании их на жителей Бухары, чем сберег эмирской казне, о повелитель, немалую толику. Но я еще не все сказал о моих заслугах: своими стараниями я достиг того, что у гробницы святейшего шейха Богаэддина вновь начали совершаться чудеса, что привлекло к этой гробнице многие тысячи паломников, и казна владыки нашего, перед которым все остальные государи мира не что иное, как прах, каждый год переполнялась пожертвованиями, и доходы умножились многократно...

— Где они, эти доходы? — перебил эмир. — Их отнял у нас Ходжа Насреддин. И мы спрашиваем тебя не о твоих заслугах — об этом мы слышали уже много раз. Ты лучше скажи: как поймать Ходжу Насреддина?

— О повелитель! — ответил Бахтияр. — В обязанности великого визиря не входит поимка преступников. Такие дела в нашем государстве поручены почтенному Арсланбеку, начальнику дворцовой стражи и войска.

С этими словами он еще раз до земли поклонился эмиру, посмотрев с торжеством и злорадством на Арсланбека.

— Говори! — приказал эмир.

Арсланбек встал, метнув на Бахтияра злобный взгляд. Он глубоко вздохнул, его черная борода всколыхнулась на брюхе.

— Да хранит аллах нашего солнцеподобного владыку от бед и несчастий, от болезней и огорчений! Мои заслуги известны эмиру. Когда хивинский хан пошел войной на Бухару, то эмиру, средоточию вселенной и тени аллаха

на земле, благоугодно было поручить мне главенство над бухарским войском. И я распорядился так, что мы без кровопролития победоносно отразили врага и все дело окончилось к нашему благу. А именно: от самой границы хивинской и в глубь нашей страны на многие дни перехода все города и селения были, по моему приказанию, превращены в развалины, посевы и сады истреблены, дороги и мосты разрушены. И когда хивинцы вступили на нашу землю и увидели одну пустыню без садов и без жизни, они сказали себе: «Не пойдем в Бухару, ибо там нечего есть и нечем поживиться». Они повернули обратно и ушли, осмеянные и поруганные! И наш владыка эмир признать тогда соизволил, что разорение страны своим же войском есть дело столь мудрое и полезное, что распорядился ничего не исправлять и оставить города, селения, поля и дороги в том же разрушенном виде, дабы и впредь чужеземные племена не дерзали вступать на нашу землю. Так я победил хивинцев. Кроме того, я завел в Бухаре многие тысячи шпионов...

— Замолчи, хвастун! — воскликнул эмир. — Почему же твои шпионы до сих пор не поймали Ходжу Насреддина?

Арсланбек долго молчал в замешательстве, наконец признался:

— О повелитель, я применял всякие способы, но мой разум бессилен против этого злодея и богохульника. Я думаю, повелитель, что следует спросить совета у мудрецов.

— Клянемся нашими предками, вы все достойны того, чтобы повесить вас на городской стене! — вспылил эмир и в раздражении отвесил мимоходом затрещину своему кальянщику, который как раз подсунулся в это время под его царственную длань. — Говори! — приказал он самому старому мудрецу, славившемуся среди прочих своей бородой, которой он мог дважды обвязаться, как поясом.

Мудрец встал и, сотворив молитву, огладил свою знаменитую бороду, что удалось ему сделать не сразу, а лишь постепенно, продергивая ее правой рукой сквозь пальцы левой руки.

— Да продлит бесконечно аллах сверкающие дни повелителя на благо и радость народу! — начал он. — Так как вышеназванный злодей и возмутитель Ходжа Насреддин является все же человеком, то можно заключить, что тело

его устроено так же, как и у всех остальных людей, то есть состоит из двухсот сорока костей и трехсот шестидесяти жил, управляющих легкими, печенью, сердцем, селезенкой и желчью. Основой всех жил является, как этому учат нас мудрые, сердечная жила, от которой расходятся все остальные, и это есть непреложная и святая истина, в противоположность еретическому учению нечестивого Абу-Исхака, осмеливающегося ложно утверждать, будто бы основой жизни человека является жила легочная. В соответствии с книгами мудрейшего Авиценны, благочестивейшего Мухаммед-аль-Расуля, греческого лекаря Гиппократа, а также Аверроэса из Кордовы, плодами размышлений которых питаемся мы до сих пор, а также в соответствии с учениями аль-Кенди, аль-Фараби и Абубацера-ибн-Туфейля, скажу и осмелюсь утверждать, что аллах создал Адама сложенным из четырех стихий — воды, земли, огня и воздуха, и сделал при этом так, чтобы у желтой желчи была природа огня, что мы и видим в действительности, ибо она горячая и сухая, у черной желчи — природа земли, ибо она холодная и сухая, у слюны — природа воды, ибо она холодная и влажная, у крови — природа воздуха, ибо она горячая и влажная. И если лишить человека какой-либо одной из этих заключающихся в нем жидкостей, то означенный человек неминуемо умрет, исходя из чего, я и полагаю, о пресветлый повелитель, что следует лишить означенного богохульника и возмутителя Ходжу Насреддина крови, что предпочтительнее всего сделать через отделение его головы от его туловища, ибо вместе с вытекающей кровью из тела человека улетучивается жизнь и не возвращается более. Вот мой совет, о пресветлый владыка и убежище мира!

Эмир выслушал все это со вниманием и, ничего не ответив, едва заметным движением бровей подал знак второму мудрецу, который хотя и уступал первому в длине своей бороды, но зато неизмеримо превосходил его размерами и пышностью чалмы, непомерная тяжесть коей искривила за многие годы вбок и вниз его шею, что придавало ему вид человека, вечно подглядывающего снизу вверх сквозь узкую щелку. Поклонившись эмиру, он сказал:

— О великий владыка, подобный солнцу блеском своим! Я не могу согласиться с этим способом избавления от Ходжи Насреддина, ибо известно, что не только кровь

необходима для жизни человека, но также и воздух, и если сдавить человеку горло веревкой и прекратить тем самым доступ воздуха в его легкие, то человек неминуемо умирает и не может уже воскреснуть потом...

— Так! — сказал эмир тихим голосом. — Вы совершенно правы, о мудрейшие из мудрых, и советы ваши, без сомнения, драгоценны для нас! Ну, как бы действительно избавились мы от Ходжи Насреддина, если бы вы не дали нам таких драгоценных советов!

Он остановился, не в силах совладать с охватившими его гневом и яростью; щеки его дрожали, ноздри раздувались, в глазах полыхали молнии. Но придворные льстецы — философы и стихотворцы, что стояли, выстроившись полукругом за эмирской спиной, — не видели грозного лица своего владыки и потому не уловили гнева и насмешки в его словах, обращенных к мудрецам, и, приняв эти слова за чистую монету, решили, что мудрецы действительно отличились перед эмиром, будут приближены к нему и осыпаны его милостями, почему и следует немедленно заручиться их благорасположением, дабы в дальнейшем извлечь из этого для себя пользу.

— О мудрейшие, о жемчужины, украшающие венец нашего пресветлого владыки, о мудрые, превзошедшие своей мудростью самую мудрость и умудренные мудростью наимудрейших!

Так они славословили, стараясь превзойти друг друга изысканностью и усердием и не замечая, что эмир, повернувшись, смотрит на них, содрогаясь от ярости, пронзительным взглядом, а вокруг воцарилась зловещая тишина.

— О светочи знаний и сосуды разума! — продолжали они, закрыв в самозабвении глаза и трепеща от сладостного раболепия. Но вдруг царь поэтов заметил взгляд эмира и сразу точно бы проглотил свой льстивый язык — и попятился, охваченный ужасом, а вслед за ним умолкли все остальные и задрожали, поняв свой промах, проистекший от чрезмерного желания восхвалить.

— О бездельники, о мошенники! — воскликнул эмир с негодованием. — Как будто мы сами не знаем, что если отрубить человеку голову или удавить его веревкой, то он уже не воскреснет больше! Но для этого нужно сначала поймать человека, вы же, бездельники, ленивцы, мошенники и глупцы, не сказали ни слова о том, как его поймать. Всех визирей, сановников, мудрецов и

стихотворцев, присутствующих здесь, мы лишаем жалованья до тех пор, пока не будет пойман Ходжа Насреддин. И приказываем объявить награду поймавшему его в три тысячи таньга! И еще предупреждаем, что, убедившись в вашей лености, тупости и нерадивости, мы выписали из Багдада к себе на службу нового мудреца, по имени Гуссейн Гуслия, служившего до сих пор у моего друга калифа багдадского. Он находится уже в пути, скоро прибудет, и тогда горе вам, о уминатели тюфяков, поглотители пищи и набиватели своих бездонных карманов! — продолжал он, распаляясь все больше и больше. — Гнать их! — закричал он стражникам. — Гнать их всех отсюда! Гнать в шею!

Стражники бросились к оцепеневшим придворным, хватали их без всякого разбора и почтения, тащили к двери и свергали оттуда вниз помимо лестницы, а внизу подхватывали их другие стражники, провожали подзатыльниками, затрещинами, тычками и пинками; придворные бежали, перегоняя друг друга; седой мудрец упал, запутавшись в своей бороде, а споткнувшись на него, рухнул и второй мудрец — головой прямо в колючий розовый куст и, ошеломленный падением, долго лежал там со своей искривленной шеей, словно бы подглядывая снизу вверх сквозь узкую щелку.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Эмир был мрачен и грозен до самого вечера. Прошла ночь, а утром объятые страхом придворные снова узрели темную печать гнева на его лице.

Тщетны были все усилия развлечь и развеселить его, тщетно в дыму благовонных курений изгибались перед ним танцовщицы с бубнами в руках, раскачивали полные бедра, блестели жемчугами зубов, обнажали, словно бы невзначай, свои смуглые груди, — он не поднимал тяжелого взора, и судорога пробегала по его лицу, приводя в трепет сердца придворных. Напрасны были все ухищрения шутов, акробатов, фокусников и индийских факиров, усыпляющих змей пением тростниковых свирелей.

Придворные перешептывались между собой:

— О проклятый Ходжа Насреддин, о сын греха! Сколько неприятностей мы терпим из-за него!

Все с надеждой обращали взоры к Арсланбеку.

Он собрал в караульном помещении наиболее искусных шпионов, среди которых был и рябой шпион, так чудесно исцеленный Ходжой Насреддином от паралича.

— Знайте же, — говорил Арсланбек, — что вы по приказанию нашего светлейшего эмира лишаетесь жалованья до тех пор, пока не будет пойман злодей Ходжа Насреддин! А если вы не выследите его, то лишитесь не только жалованья, но и голов, что я вам обещаю твердо. И, напротив того, приложивший все усердие и поймавший Ходжу Насреддина получит награду в три тысячи таньга, а сверх того получит еще повышение по службе: он будет назначен главным шпионом.

Шпионы немедля отправились на работу, переодетые дервишами, нищими, водоносами и торговцами, а рябой шпион, превосходивший остальных своею хитростью, взял коврик, бобы, четки, старинные книги и пошел на базар, на перекресток между ювелирным и мускусным рядами, где намеревался, изображая гадальщика, расспросить хорошенько женщин.

А часом позже на базарную площадь вышли сотни глашатаев, призывавших своими криками всех мусульман ко вниманию. Они возгласили эмирский фирман. Ходжа Насреддин объявлялся врагом эмира и осквернителем веры, жителям воспрещались всякие сношения с ним, а наипаче — укрывательство его, за что виновные будут подвергаться немедленно смерти. Тому же, кто предаст его в руки эмирской стражи, обещалась награда в три тысячи таньга и прочие милости.

Чайханщики, медники, кузнецы, ткачи, водоносы, погонщики перешептывались:

— Ну, эмиру придется ждать долго!

— Не таков наш Ходжа Насреддин, чтобы попасться!

— И не таковы жители Благородной Бухары, чтобы польститься на деньги и предать своего Ходжу Насреддина!

Но ростовщик Джафар, совершавший сегодня обычный поход по базару и терзавший своих должников, думал иначе. «Три тысячи таньга! — сокрушался он. — Вчера эти деньги были у меня почти что в кармане! Ходжа Насреддин опять придет к этой девушке, но я в одиночку не сумею поймать его, если же я скажу кому-нибудь, то у меня отобьют награду! Нет, я поступлю иначе!»

Он отправился во дворец.

Долго стучал он. Ему не открывали. Стражники не слышали: они оживленно беседовали, придумывая планы поимки Ходжи Насреддина.

— О доблестные воины, вы что, заснули там? — взывал отчаянным голосом ростовщик, гремя железным кольцом, но прошло много времени, прежде чем раздались шаги, лязг засовов — и калитка открылась.

Арсланбек, выслушав ростовщика, покачал головой:

— Почтенный Джафар, я не советую тебе ходить сегодня к эмиру. Он грозен и мрачен.

— У меня как раз есть отличное средство развеселить его, — возразил ростовщик. — О почтенный Арсланбек, оплот трона и усмиритель врагов, дело мое не терпит отлагательства. Пойди скажи эмиру, что я пришел развеять его печаль.

Эмир встретил ростовщика сумрачно:

— Говори, Джафар. Но если твоя новость не развеселит нас, ты получишь тут же на месте две сотни палок.

— О великий владыка, затмевающий блеском своим всех царей, предшествовавших, настоящих и будущих, — сказал ростовщик, — мне, ничтожному, известно, что в нашем городе живет одна девушка, которую смело назову перед лицом истины прекраснейшей из всех прекрасных.

Эмир оживился, поднял голову.

— О повелитель! — продолжал осмелевший ростовщик. — У меня нет слов, чтобы достойно восхвалить ее красоту. Она высокая ростом, прелестная, стройная и соразмерная, с сияющим лбом и румяным лицом, с глазами, напоминающими глаза газели, с бровями, подобными тонкому месяцу! Ее щеки — как анемоны, и рот — как сулейманова печать, и губы ее — как коралл, и зубы — как жемчуг, и грудь — как мрамор, украшенный двумя вишнями, и плечи...

Эмир остановил поток его красноречия:

— Если девушка действительно такова, как ты говоришь, то она достойна занять место в нашем гареме. Кто она?

— Девушка простого и незнатного рода, о повелитель. Это дочь одного горшечника, ничтожным именем которого я не осмелюсь оскорбить слух повелителя. Я могу указать ее дом, но будет ли за это награда преданному рабу эмира?

Эмир кивнул Бахтияру: к ногам ростовщика упал кошелек. Ростовщик схватил его, переменившись в лице от алчности.

— Если она окажется достойной твоих восхвалений, ты получишь еще столько же, — сказал эмир.

— Слава щедрости нашего владыки! — воскликнул ростовщик. — Но пусть повелитель спешит, ибо мне известно, что за этой серной охотятся!

Брови эмира сошлись, глубокая морщина рассекла переносицу:

— Кто?

— Ходжа Насреддин! — ответил ростовщик.

— Опять Ходжа Насреддин! И здесь Ходжа Насреддин! Он успевает всюду, этот Ходжа Насреддин, а вы, — и, покачнув трон, эмир резко повернулся к визирям, — вы всегда опаздываете, ничего не делаете и подвергаете посрамлению наше величие. Эй, Арсланбек! Чтоб эта девушка была немедленно доставлена сюда, во дворец, а если ты не приведешь ее, тебя встретит на обратном пути палач!

Не прошло и пяти минут, как из ворот дворца вышел, звеня оружием и сверкая на солнце щитами, большой отряд стражников, под командой самого Арсланбека, прицепившего к парчовому халату золоченую бляху в знак своей силы и власти.

Сбоку, прихрамывая и гнусно ковыляя, шел ростовщик; он поминутно отставал от стражников и нагонял их вприпрыжку. Народ сторонился, провожал ростовщика недобрыми взглядами, пытаясь угадать, какое новое злодейство он затеял.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ходжа Насреддин только что закончил девятый по счету горшок и, поставив его на солнце, взял из корыта большой ком глины для следующего, десятого горшка.

В калитку вдруг постучали — властно и громко. Соседи, часто забегавшие к Ниязу, чтобы занять луковицу или щепотку перца, стучали не так. Ходжа Насреддин и Нияз переглянулись тревожно, а калитка опять загудела под градом тяжелых ударов. На этот раз Ходжа Насреддин чутким ухом уловил звон железа и меди. «Стража», — шепнул он Ниязу. «Беги», — ответил Нияз. Ходжа Насреддин махнул через забор, а Нияз долго еще возился у калитки, чтобы дать ему время уйти подальше. Наконец откинул щеколду. В тот же миг из виноградника

брызнули во все стороны скворцы. Но у старого Нияза не было крыльев, он не мог улететь. Он побледнел, задрожал, согнулся в поклоне перед Арсланбеком.

— Твоему дому, горшечник, выпала великая честь, — сказал Арсланбек. — Повелитель правоверных и наместник аллаха на земле, наш господин и владыка, да продлятся его благословенные годы, сам великий эмир соизволил вспомнить твое ничтожное имя! До него дошло, что в твоем саду растет прекрасная роза, и он пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь?

Седая голова горшечника затряслась, свет померк перед его глазами. Глухо услышал он короткий, словно бы предсмертный, стон своей дочери, которую стражники вытащили из дома во двор. Ноги старика подломились в коленях, он упал на землю вниз лицом и больше не видел и не слышал уже ничего.

— Он лишился чувств от столь великого счастья, — пояснил Арсланбек своим стражникам. — Не трогайте его — пусть он очнется, а потом пусть придет во дворец, чтобы излить перед эмиром свою безграничную благодарность. Идемте.

Ходжа Насреддин в это время успел обежать кругом и вышел на ту же улицу с другой стороны. Он притаился за кустами. Отсюда он видел калитку дома Нияза, двух стражников у калитки и третьего человека, в котором, присмотревшись, узнал ростовщика Джафара. «Ага, хромая собака! Это, значит, ты привел сюда стражников, чтобы схватить меня! — думал он, все еще не догадываясь об истине. — Ну ладно, ищите! Придется вам уйти с пустыми руками!»

Нет! Они ушли не с пустыми руками! Похолодевший от ужаса Ходжа Насреддин видел, как вывели они из калитки его возлюбленную. Она пыталась вырваться, кричала надломленным голосом, стражники держали ее крепко, огородив двойным кольцом щитов.

Был июньский полдень — очень жарко, но Ходжу Насреддина бил озноб. А стражники приближались; дорога шла мимо тех кустов, за которыми притаился Ходжа Насреддин. Рассудок его помутился. Он вытащил из ножен кривой нож и припал к земле. Арсланбек шел впереди, сияя своей позолоченной бляхой, и ему первому вонзился бы в жирное горло под бороду этот нож. Но вдруг чья-то тяжелая рука легла на плечо Ходжи Насреддина, сильно придавила его к земле. Он вздрогнул, отпрянув, занес

руку с ножом — и опустил ее, увидев знакомое закопченное лицо кузнеца Юсупа.

— Лежи! — прошептал кузнец. — Лежи и не шевелись. Ты безумен: их двадцать человек, и все вооруженные, а ты один, и у тебя нет оружия; ты погибнешь сам и не спасешь ее; лежи, говорю я тебе!

Он держал Ходжу Насреддина прижатым к земле до тех пор, пока отряд стражников, сопровождавших Гюльджан, не скрылся за поворотом дороги.

— Зачем, зачем удержал ты меня! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Разве не лучше было бы мне лежать сейчас мертвым?!

— Рука против льва и кулак против меча — не дело разумных, — сурово ответил кузнец. — Я следил за этими стражниками от самого базара и успел вовремя, чтобы предотвратить твой безрассудный поступок. Не умереть должен ты ради нее, а бороться и спасти ее, что достойнее, хотя много труднее. И не теряй времени на горестные размышления, иди и действуй. У них сабли, щиты и копья, но тебя аллах снабдил могучим оружием — острым умом и хитростью, в которых с тобою не может сравниться никто.

Так он говорил; слова его были мужественны и тверды, как то железо, которое ковал он всю свою жизнь. Дрогнувшее сердце Ходжи Насреддина укрепилось, подобно железу, от этих слов.

— Спасибо тебе, кузнец! — сказал он. — Я не переживал еще минут тяжелее этих, но недостойно мне впадать в отчаяние. Я ухожу, кузнец, и обещаю тебе, что своим оружием я буду действовать доблестно!

Он шагнул из кустов на дорогу. В то же время на дорогу вышел из ближайшего дома ростовщик, который задержался, чтобы напомнить одному из гончаров о сроке уплаты.

Они столкнулись нос к носу. Ростовщик, побледнев, сейчас же юркнул обратно, захлопнул дверь и заложил ее засовом.

— Джафар, горе тебе, о порождение ехидны! — сказал Ходжа Насреддин. — Я все видел, все слышал, все знаю!

Была минута молчания, потом голос ростовщика ответил:

— Вишня не досталась шакалу. Но она не досталась и соколу. Вишней завладел лев!

— Посмотрим еще! — сказал Ходжа Насреддин. — А ты, Джафар, запомни мои слова: я вытащил тебя из воды, но, клянусь, ты будешь утоплен мною в том же самом пруду, тина облепит твое гнусное тело, водоросли задушат тебя!

Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. Он миновал дом Нияза, опасаясь, как бы ростовщик не подглядел и не донес потом на старика; обогнув улицу и, убедившись, что никто не следит, Ходжа Насреддин быстро пробежал заросший бурьяном пустырь и вернулся в дом Нияза через забор.

Старик лежал ничком на земле. Рядом тускло поблескивала кучка серебряных денег, оставленных Арсланбеком. Старик поднял навстречу Ходже Насреддину лицо, залитое слезами, измазанное пылью; губы его искривились, он хотел сказать что-то и не мог сказать, а когда взгляд его упал на платок, оброненный дочерью, он начал биться седой головой о жесткую землю и рвать бороду.

Ходже Насреддину пришлось немало повозиться с ним; наконец он усадил его на скамейку.

— Слушай, старик! — сказал он. — Ты не одинок в своем горе. Знаешь ли ты, что я любил ее и она меня тоже любила? И знаешь ли ты, что мы уговорились пожениться и я ждал только случая, когда мне удастся достать много денег и заплатить тебе богатый выкуп?

— Зачем мне выкуп? — ответил старик сквозь рыдания. — Разве я осмелился бы противоречить хоть в чем-нибудь моей голубке? Но поздно говорить об этом, все погибло, она уже в гареме, и сегодня вечером эмир будет обладать ею!.. О горе, о позор! — вскричал он. — Я пойду во дворец и упаду к его ногам, буду умолять его, вопить и кричать, и если только сердце в груди его не каменное...

Пошатываясь, он пошел неверными шагами к калитке.

— Остановись! — сказал Ходжа Насреддин. — Ты забыл, что эмиры устроены совсем иначе, чем остальные люди: у них совсем нет сердца, и бесполезно их умолять. У них можно только отнять, и я, Ходжа Насреддин, — ты слышишь, старик? — отниму Гюльджан у него!

— Он могуч, у него тысячи солдат, тысячи стражников и тысячи шпионов! Что можешь ты сделать против него?

— Я не знаю еще, что́ я сделаю. Но я знаю только одно: он не войдет к ней сегодня! И он не войдет к ней завтра. И он не войдет к ней послезавтра! И он никогда не войдет к ней и не будет обладать ею, это такая же истина, как то, что меня зовут всюду от Бухары до Багдада — Ходжа Насреддин! Уйми же свои слезы, старик, не вопи над самым моим ухом и не мешай мне думать!

Ходжа Насреддин думал недолго:

— Старик, где у тебя хранятся одежды твоей покойной жены?

— Они лежат там, в сундуке.

Ходжа Насреддин взял ключ, вошел в дом и вскоре вышел оттуда, переодетый женщиной. Его лицо скрывала чадра, густо сплетенная из черного конского волоса.

— Жди меня, старик, и сам не предпринимай ничего.

Он вывел из хлева своего ишака, оседлал его и покинул на долгие дни дом Нияза.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Перед тем как ввести Гюльджан в дворцовый сад к эмиру, Арсланбек вызвал из гарема старух и приказал им подготовить Гюльджан, чтобы эмирский взор насладился созерцанием ее совершенств. Старухи немедля взялись за привычное дело: они вымыли теплой водой заплаканное лицо Гюльджан, переодели ее в легкие шелка, насурьмили ей брови, нарумянили щеки, облили волосы розовым маслом, выкрасили ногти в красный цвет. Затем вызвали из гарема Его Великое Целомудрие, главного евнуха — человека, славившегося когда-то своим распутством на всю Бухару, призванного вследствие своих знаний и опыта на эмирскую службу, оскопленного придворным лекарем и поставленного потом на одну из самых высших должностей в государстве. Его обязанностью было неусыпно следить за ста шестьюдесятью эмирскими наложницами, дабы они всегда имели соблазнительный вид и могли пробуждать страсть в эмире. Должность эта становилась с каждым годом все труднее, потому что эмир пресыщался все больше, а силы его убывали. И главному евнуху не раз приходилось получать утром от своего повелителя вместо награды десяток плетей, что, впрочем, не было для евнуха

слишком мучительным наказанием, ибо он, подготовляя прекрасных наложниц ко встречам с эмиром, переносил каждый раз мучения несравненно ужаснейшие и вполне сходные с теми, что обещаны распутникам в аду, где упомянутые распутники осуждены находиться все время среди нагих гурий, будучи сами прикованы железными цепями к столбам.

Когда главный евнух увидел Гюльджан, то отступил, пораженный ее красотой.

— Она поистине прекрасна! — воскликнул он тонким голосом. — Ведите ее к эмиру, уберите ее прочь с моих глаз! — Он пошел быстрыми шагами назад, биясь головою о стены, громко скрежеща зубами и восклицая: — О, сколь мне тяжко, сколь горько!

— Это благоприятный признак, — сказали старухи. — Значит, наш повелитель будет доволен.

Бедную, безмолвную Гюльджан повели во дворцовый сад.

Эмир встал, подошел к ней, приподнял чадру.

Все визири, сановники и мудрецы закрыли глаза рукавами халатов.

Эмир долго не мог оторвать взгляда от ее прекрасного лица.

— Ростовщик не солгал нам! — сказал он громко. — Выдать ему награду втрое против обещанного.

Гюльджан увели. Эмир заметно повеселел.

— Он развлекся, он повеселел. Соловей его сердца склонился к розам ее лица! — шептались придворные. — Завтра утром он будет еще веселее! Слава аллаху, гроза пронеслась над нами, не поразив нас ни громом, ни молнией.

Придворные поэты, осмелев, выступили вперед и поочередно начали восхвалять эмира, сравнивая в стихах лицо его с полной луной, стан его — со стройным кипарисом, а царствование его — с полнолунием. Царь поэтов нашел наконец случай произнести, как бы в порыве вдохновения, свои стихи, которые со вчерашнего утра висели на кончике его языка.

Эмир бросил ему горсть мелких монет. И царь поэтов, ползая по ковру, собирал их, не забыв приложиться губами к эмирской туфле.

Милостиво засмеявшись, эмир сказал:

— Нам тоже пришли сейчас в голову стихи:

Когда мы вышли вечером в сад,
То луна, устыдившись ничтожества своего,
    спряталась в тучи,
И птицы все замолкли, и ветер затих,
А мы стояли — великий, славный, непобедимый,
    подобный солнцу и могучий...

Поэты все попадали на колени, крича: «О великий! Он затмил самого Рудеги!», а некоторые лежали ничком на ковре, как бы в беспамятстве.

В зал вошли танцовщицы, за ними — шуты, фокусники, факиры, и всех эмир вознаградил щедро.

— Я жалею только, — сказал он, — что не могу повелевать солнцу, иначе я приказал бы ему закатиться сегодня быстрее.

Придворные отвечали подобострастным смехом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Базар гудел и шумел, были самые горячие часы торговли, народ продавал, покупал и обменивал, а солнце поднималось все выше, сгоняя людей в густую, пахучую тень крытых рядов. В круглые окна тростниковых кровель отвесно падали яркие лучи полдня, стояли дымно-пыльными сквозными столбами, в их сиянии сверкала парча, блестел гладкий шелк, и мягким затаенным пламенем светился бархат; всюду мелькали, вспыхивая, чалмы, халаты, крашеные бороды; слепила глаза начищенная медь, с нею спорило и побеждало ее своим чистейшим блеском благородное золото, рассыпанное перед менялами на кожаных ковриках.

Ходжа Насреддин остановил ишака у той самой чайханы, с помоста которой месяц назад обратился к жителям Бухары с призывом спасти от эмирской милости горшечника Нияза. Не много времени прошло с тех пор, но Ходжа Насреддин успел крепко подружиться с пузатым чайханщиком Али, человеком прямым и честным, которому можно было довериться.

Улучив минуту, Ходжа Насреддин позвал:

— Али!

Чайханщик оглянулся, на лице его выразилось недоумение: голос, окликнувший его, был мужским, а перед собой видел он женщину.

— Это я, Али! — сказал Ходжа Насреддин, не поднимая чадры. — Ты узнал меня? И ради аллаха не таращи глаза — разве ты забыл о шпионах?

Али, оглянувшись, провел его в заднюю темную комнату, где хранились дрова и запасные чайники. Здесь было сыро, прохладно, шум базара слышался глухо.

— Али, возьми моего ишака, — сказал Ходжа Насреддин. — Корми его и держи всегда наготове! Он может понадобиться мне в любую минуту. И никому ни слова не говори обо мне.

— Но почему ты переоделся женщиной, Ходжа Насреддин? — спросил чайханщик, прикрывая плотнее дверь. — Куда ты направился?

— Я иду во дворец.

— Ты сошел с ума! — воскликнул чайханщик. — Ты хочешь сам положить голову прямо в пасть тигру!

— Так нужно, Али. Скоро ты узнаешь почему. И давай простимся на всякий случай — я иду на опасное дело.

Они крепко обнялись, у доброго чайханщика выступили слезы и покатились по круглым красным щекам. Он проводил Ходжу Насреддина и, подавляя тяжелые вздохи, колыхавшие его живот, вышел к своим гостям.

Тревога терзала сердце чайханщика, он был грустен, рассеян, гостям приходилось дважды и трижды звенеть крышками чайников, напоминая ему о своей неутоленной жажде. Сердцем чайханщик был там, у дворца, вместе со своим неугомонным другом.

Стражники не впустили Ходжу Насреддина.

— Я принесла несравненную амбру, мускус, розовое масло! — говорил Ходжа Насреддин, искусно подделывая свой голос под женский. — Пропустите меня в гарем, доблестные воины, я продам свой товар и поделюсь прибылью с вами.

— Иди, иди отсюда, женщина, торгуй где-нибудь на базаре, — грубо отвечали стражники.

Потерпев неудачу в своем предприятии, Ходжа Насреддин задумался и помрачнел. Времени у него было в обрез, солнце перешло уже за полуденную черту. Ходжа Насреддин обошел вокруг дворцовой стены. Камни лежали плотно, спаянные китайским раствором, ни одной дырки, ни одной щели не обнаружил в стене Ходжа Насреддин, а выходы арыков были забраны частыми чугунными решетками.

«Я должен попасть во дворец, — сказал себе Ходжа Насреддин. — Это мое непреклонное решение, и я его выполню! Если эмир отнял у меня мою невесту по небесному предопределению, то почему для меня не может быть предопределения проникнуть во дворец и вернуть ее? Я даже чувствую где-то в глубине души, что такое предопределение есть для меня!»

Он пошел на базар. Он верил, что если решение человека непреклонно и мужество неистощимо, — предопределение всегда придет на помощь к нему. Из тысячи встреч, разговоров и столкновений непременно будет одна такая встреча и одно такое столкновение, которые вкупе создадут благоприятный случай, и, умело воспользовавшись им, человек сможет опрокинуть все препятствия на пути к своей цели, выполнив тем самым предопределение. Где-нибудь на базаре Ходжу Насреддина ждал такой случай. Ходжа Насреддин верил в это непоколебимо и отправился на поиски его.

Ничто не ускользало от внимания Ходжи Насреддина — ни одно слово, ни одно лицо в шумной многотысячной толпе. Его ум, слух и зрение обострились и достигли той степени, когда человек с легкостью перешагивает границы, поставленные ему природой, и, конечно, одерживает победу, так как противники его остаются в то же самое время в своих обычных человеческих пределах.

На перекрестке ювелирного и мускусного рядов Ходжа Насреддин услышал сквозь шум и гул толпы чей-то вкрадчивый голос:

— Ты говоришь, что муж разлюбил тебя и не разделяет с тобой ложа. Твоему горю можно помочь. Но для этого мне нужно посоветоваться с Ходжой Насреддином. Ты слышала, конечно, что он находится в нашем городе; узнай, где он скрывается, скажи мне, и тогда мы с ним вернем тебе мужа.

Приблизившись, Ходжа Насреддин увидел рябого шпиона-гадальщика. Перед ним стояла женщина, держа в руке серебряную монету. Гадальщик, раскинув на коврике свои бобы, перелистывал старинную книгу.

— Если же ты не разыщешь Ходжу Насреддина, — говорил он, — тогда горе тебе, о женщина, и муж твой навсегда покинет тебя!

Ходжа Насреддин решил проучить гадальщика, — присел на корточки перед ковриком:

— Погадай мне, о мудрый провидец чужой судьбы.

Гадальщик раскинул бобы.

— О женщина! — вдруг воскликнул он, словно бы пораженный ужасом. — Горе тебе, женщина! Смерть уже занесла над тобой свою черную руку.

Вокруг собралось несколько любопытных.

— Я мог бы помочь тебе и отвести в сторону удар, но в одиночку я бессилен сделать это, — продолжал гадальщик. — Мне необходимо посоветоваться с Ходжой Насреддином. Если бы ты могла узнать, где он скрывается, и сказать мне, жизнь твоя была бы спасена.

— Хорошо. Я приведу к тебе Ходжу Насреддина.

— Ты приведешь его! — Гадальщик вздрогнул от радости. — Но когда?

— Я могу привести его хоть сейчас. Он совсем близко.

— Где он?

— Рядом. В двух шагах.

Глаза гадальщика вспыхнули алчным огнем.

— Я не вижу.

— Но ты ведь гадальщик. Неужели ты не можешь догадаться? Вот он!

Женщина резко откинула чадру, и гадальщик в изумлении отшатнулся, увидев перед собой лицо Ходжи Насреддина.

— Вот он! — повторил Ходжа Насреддин. — О чем же ты хотел посоветоваться? Ты все врешь, ты не гадальщик, ты эмирский шпион! Не верьте ему, мусульмане, он обманывает вас! Он сидит здесь, чтобы выследить Ходжу Насреддина!

Гадальщик озирался, шнырял глазами, но вблизи не увидел ни одного стражника. Со слезами на глазах и зубовным скрежетом он позволил Ходже Насреддину уйти. Толпа вокруг грозно роптала.

— Эмирский шпион! Грязная собака! — неслось отовсюду.

Трясущимися руками гадальщик свернул свой коврик и бросился со всех ног во дворец.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В караульном помещении было грязно, пыльно, вонюче и дымно. Стражники сидели на протертой кошме, служившей гнездовьем для блох, и мечтали, почесываясь, о поимке Ходжи Насреддина.

— Три тысячи таньга! — говорили они. — Подумать только — три тысячи таньга и должность главного шпиона!

— И ведь кому-нибудь выпадет на долю это счастье!

— Ах, если бы мне! — вздохнул толстый, ленивый стражник, самый глупый из всех, которого до сих пор не прогнали со службы только потому, что он наловчился глотать целиком сырые яйца, не повредив скорлупы, чем развлекал иногда светлейшего эмира, получая от него небольшие подачки, но зато впоследствии испытывая жесточайшие муки.

Рябой шпион ворвался в караульное помещение как вихрь:

— Он здесь! Ходжа Насреддин на базаре! Он переодет женщиной!

Стражники, на бегу хватая оружие, бросились к воротам.

Рябой шпион бежал за ними, крича:

— Награда моя! Вы слышите? Я первый увидел его! Награда моя!

Народ, завидев стражников, кинулся врассыпную. Началась давка. Базар охватило смятение. Стражники врезались с налету в толпу, самый усердный из них, мчавшийся впереди, схватил какую-то женщину и сорвал чадру, обнажив перед всеми ее лицо.

Женщина закричала пронзительно, ей ответил издалека столь же пронзительный женский вопль, вот закричала, вырываясь из рук стражников, третья женщина, четвертая, пятая... Через две минуты весь базар наполнился женским визгом, воплями, криками и рыданиями.

Толпа замерла, ошеломленная, оцепеневшая. Такого кощунства никогда еще не было в Бухаре. Многие побелели, иные побагровели: ни одно сердце не билось спокойно в эту минуту. Стражники продолжали бесчинствовать, хватали женщин, толкали, швыряли, били, срывали одежду.

— Спасите! Спасите! — кричали женщины.

Над толпой грозно поднялся голос кузнеца Юсупа:

— Мусульмане! Что вы смотрите? Мало того, что стражники обирают нас, они еще позорят наших жен среди бела дня!

— Спасите! — кричали женщины. — Спасите!

Толпа загудела, зашевелилась. Какой-то водонос услышал голос своей жены, бросился к ней, стражники оттолкнули его, но к нему на помощь подоспели два ткача и три медника и отбросили стражников. Началась драка.

Она разрасталась стремительно. Стражники размахивали саблями, а на них со всех сторон летели горшки, подносы, кувшины, чайники, подковы, поленья; стражники не успевали увертываться. Драка охватила весь базар.

Эмир в это время сладко почивал у себя во дворце.

Вдруг он вскочил, подбежал к окну, открыл его и в ужасе захлопнул опять.

Прибежал Бахтияр — бледный, с трясущимися губами.

— Что это? — бормотал эмир. — Что творится на площади? Где пушки? Где Арсланбек?

Вбежал Арсланбек, упал вниз лицом:

— Пусть повелитель прикажет рубить мою голову!

— Что это?! Что творится на площади?!

Арсланбек ответил, не поднимаясь:

— О владыка, подобный солнцу и затмевающий...

— Хватит! — Эмир в ярости топнул ногой. — Доскажешь потом! Что творится на площади?

— Ходжа Насреддин!.. Он переоделся женщиной. Это все из-за него, из-за Ходжи Насреддина! Прикажи, повелитель, отсечь мою голову!

Но до того ли было сейчас эмиру!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Сегодня Ходжа Насреддин берег каждую минуту своего времени. Поэтому он не стал задерживаться и, своротив мимоходом челюсть одному стражнику, сокрушив зубы второму и превратив в лепешку нос третьего, благополучно вернулся в чайхану своего друга Али. Здесь в задней комнате он скинул женскую одежду, увенчал свою голову цветной бадахшанской чалмой, прицепил фальшивую бороду и в таком виде уселся на самое высокое место в чайхане, откуда ему было удобно наблюдать побоище.

Стражники, теснимые со всех сторон народом, сопротивлялись яростно. Свалка завязалась возле самой чайханы, у ног Ходжи Насреддина; он не утерпел и вылил на стражника свой чайник, причем так ловко, что весь

кипяток угодил прямо за шиворот ленивому и толстому поглотителю сырых яиц. Стражник завыл, повалился на спину, болтая руками и ногами. Ходжа Насреддин, даже не взглянув на него, снова погрузился в раздумье.

Он услышал старческий, надтреснутый голос:

— Пропустите! Пропустите меня! Во имя аллаха, что здесь творится?

Неподалеку от чайханы, в самой гуще дерущихся, возвышался на верблюде горбоносый седобородый старик, по виду и одежде — араб; конец его чалмы был подвернут, что свидетельствовало о его учености. Перепуганный насмерть, он прижимался к верблюжьему горбу, а вокруг кипело побоище, кто-то тащил старика за ногу с верблюда и не отпускал, хотя старик неистово дергался, стараясь освободиться. Кругом кричали, хрипели и свирепо выли.

В поисках безопасного места старик кое-как пробился к чайхане. Озираясь и вздрагивая, он привязал верблюда рядом с ишаком Ходжи Насреддина и взошел на помост:

— Ради аллаха, что у вас творится здесь, в Бухаре?

— Базар, — кратко ответил Ходжа Насреддин.

— Что же, у вас, в Бухаре, всегда такие базары? И как же я теперь проберусь во дворец через это побоище?

Когда он произнес слова «во дворец», Ходжа Насреддин мгновенно понял, что встреча с этим стариком и есть как раз та единственная встреча, тот самый случай, с помощью которого можно выполнить задуманное: проникнуть в эмирский гарем и освободить Гюльджан.

Но торопливость, как известно, есть свойство дьявола, и, кроме того, всем памятны стихи мудрейшего шейха Саади Ширазского: «Только терпеливый закончит дело, торопливый же упадет». Ходжа Насреддин свернул ковер нетерпения и уложил его в сундук ожидания.

— О всемогущий аллах, о убежище верных, — вздыхал и охал старик. — Как же я проберусь теперь во дворец?

— Подожди здесь до завтра, — ответил Ходжа Насреддин.

— Я не могу! — воскликнул старик. — Меня ждут во дворце!

Ходжа Насреддин засмеялся:

— О почтенный и убеленный сединами старец, я не знаю твоего звания и твоего дела, но неужели ты

думаешь, что во дворце не смогут обойтись без тебя даже до завтра!.. Многие почтенные люди у нас в Бухаре не могут неделями попасть во дворец; почему же ты думаешь, что для тебя будет сделано исключение?

— Да будет известно тебе, — с важностью ответил старик, несколько уязвленный словами Ходжи Насреддина, — что я знаменитый мудрец, звездочет и лекарь и прибыл сюда из самого Багдада по приглашению эмира, дабы служить ему и помогать в управлении государством.

— О! — сказал Ходжа Насреддин, почтительно кланяясь, — привет тебе, мудрый старец. Мне приходилось бывать в Багдаде, и я знаю тамошних мудрецов. Скажи мне свое имя.

— Если ты был в Багдаде, то, конечно, слышал обо мне и о моих заслугах перед калифом, которому спас я от смерти любимого сына, о чем объявлено было по всему государству. Гуссейн Гуслия — мое имя.

— Гуссейн Гуслия! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Неужели ты и есть сам Гуссейн Гуслия!

Старик не смог скрыть улыбки, весьма довольный тем, что слава его разнеслась так далеко за пределы родного Багдада.

— Чему ты удивляешься, — продолжал старик. — Ну да, я и есть тот самый знаменитый Гуссейн Гуслия, великий мудрец, равного которому нет ни в мудрости, ни в умении вычислять звезды, ни в искусстве излечивать болезни. Но я совершенно лишен гордости и самодовольства — видишь, как просто я разговариваю с тобой, ничтожным.

Старик придвинул подушку, облокотился на нее, собравшись простереть далее свое снисхождение к собеседнику и подробно поведать ему о своей великой мудрости — в расчете, что собеседник, движимый тщеславием, начнет потом на всех перекрестках рассказывать о встрече со знаменитым мудрецом Гуссейном Гуслия, превозносить его мудрость и даже преувеличивать, дабы вызвать у слушателей еще больше почтения к нему, а тем самым и уважения к себе, — потому что именно так поступают всегда все люди, удостоившиеся внимания высоких особ. «И этим он будет способствовать умножению и укреплению моей славы среди простого народа, — думал Гуссейн Гуслия, — что тоже нелишне; разговоры в простом народе дойдут через шпионов и соглядатаев до слуха самого эмира и подтвердят перед ним мою мудрость, ибо под-

тверждение со стороны есть, бесспорно, самое лучшее подтверждение; и в конце концов из всего этого я смогу извлечь для себя пользу».

Дабы окончательно убедить собеседника в своей необыкновенной учености, мудрец начал рассказывать о созвездиях, о расположении их, поминутно ссылаясь при этом на великих мудрецов древности.

Ходжа Насреддин слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово.

— Нет, — сказал наконец Ходжа Насреддин. — Я все-таки не могу поверить! Неужели ты и есть тот самый Гуссейн Гуслия!

— Конечно! — воскликнул старик. — Что в этом удивительного?

Ходжа Насреддин опасливо отодвинулся. Затем воскликнул с тревогой и состраданием в голосе:

— О несчастный! Пропала твоя голова!

Старик поперхнулся, выронил чашку. Это было как в шахматной игре, в которой, кстати, лишь очень немногие могли бы потягаться с Ходжой Насреддином.

Вся важность и высокомерие слетели со старика мигом.

— Как? Что? Почему? — спрашивал он испуганно.

Ходжа Насреддин указал на площадь, где не совсем еще затихло побоище:

— Да ты разве не знаешь, что все это смятение из-за тебя?! До слуха сиятельного эмира дошло, что ты, выезжая из Багдада, всенародно поклялся проникнуть в эмирский гарем — о, горе тебе, Гуссейн Гуслия! — и обесчестить эмирских жен!

Челюсть мудреца отвисла, глаза побелели, он начал часто икать от страха...

— Я? — бормотал он. — Я — в гарем?..

— Ты поклялся в этом подножием трона аллаха. Так объявили сегодня глашатаи. И наш эмир велел схватить тебя, едва ты вступишь в город, и немедля отрубить тебе голову.

Мудрец застонал в изнеможении. Он никак не мог сообразить, кто из его врагов ухитрился нанести ему такой удар; в остальном же он не усомнился, ибо сам в придворной борьбе не раз сокрушал своих врагов подобными способами и с удовлетворением любовался потом их головами, торчащими на шестах.

— И вот сегодня, — продолжал Ходжа Насреддин, — шпионы донесли эмиру, что ты приехал, и он повелел схватить тебя. Стражники кинулись на базар, начали всюду искать тебя, перерывать лавки, и разрушилась торговля, и возмутилось спокойствие; по ошибке стражники схватили одного человека, похожего на тебя, и второпях отделили ему голову, а он оказался муллой, известным своим благочестием и добродетелями, паства его мечети вознегодовала — и посмотри, что творится теперь по твоей милости в Бухаре!

— О, я несчастный! — воскликнул мудрец в ужасе и отчаянии.

Он принялся горестно восклицать, стонать и жаловаться, из чего Ходжа Насреддин заключил, что достиг полного успеха в своем намерении.

Драка тем временем отодвинулась к воротам дворца, куда один за другим скрывались избитые и помятые стражники, растерявшие свое оружие. Базар гудел, волновался, но уже тише прежнего.

— В Багдад! — стеная, восклицал мудрец. — Обратно в Багдад!

— Но тебя схватят у городских ворот! — возразил Ходжа Насреддин.

— О горе! О великое бедствие! Аллах видит, что я невинен; никогда и никому я не давал столь дерзкой, столь нечестивой клятвы! Это мои враги оклеветали меня перед эмиром! Помоги мне, добрый мусульманин!

Ходжа Насреддин только этого и ждал, ибо не хотел первый предлагать мудрецу свою помощь, чтобы не возбудить в нем подозрений.

— Помочь? — сказал он. — Чем же я могу тебе помочь, не говоря уже о том, что я, как преданный и верный раб моего владыки, должен предать тебя без промедления в руки стражников.

Мудрец, икая и дрожа, устремил на Ходжу Насреддина умоляющий взгляд.

— Но ты говоришь, что тебя оклеветали невинно, — поспешил успокоить его Ходжа Насреддин. — Я верю тебе, потому что ты находишься в столь преклонном возрасте, когда в гареме нечего делать.

— Справедливо! — воскликнул старик. — Но существует ли для меня путь к спасению?

— Существует, — ответил Ходжа Насреддин, повел старика в темную заднюю комнату чайханы и там вручил

ему узел с женской одеждой. — Я купил это сегодня по случаю для моей жены и, если хочешь, могу обменять на твой халат и чалму. Под женским покрывалом ты укроешься от шпионов и стражников.

Старик с изъявлением восторга и благодарности схватил женскую одежду, натянул на себя. Ходжа Насреддин облачился в его белый халат, надел его чалму с подвернутым концом, опоясался широким поясом, покрытым изображением звезд. Старик предлагал обменять и своего верблюда на ишака, но Ходжа Насреддин не захотел расстаться со своим верным другом.

Ходжа Насреддин помог старику взобраться на верблюда:

— Да сохранит тебя аллах, о мудрец! Не забывай только, что со всеми ты должен говорить голосом тонким, как у женщины.

Старик погнал верблюда крупной рысью.

Глаза Ходжи Насреддина сияли. Путь во дворец был открыт!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Убедившись, что драка на площади затихает, сиятельный эмир решил выйти в большой зал к придворным. Он придал своему лицу выражение хотя и скорбное, но спокойное, дабы кто-нибудь из придворных не дерзнул вдруг подумать, что страх имеет доступ к царственному сердцу эмира.

Он вышел, и придворные замерли, трепеща перед мыслью, как бы эмир по их глазам и лицам не угадал, что они знают о подлинных его чувствах.

Эмир молчал, и придворные молчали; царствовало грозное молчание.

Наконец эмир нарушил его:

— Что вы скажете нам и что посоветуете? Уже не в первый раз мы спрашиваем вас об этом!

Никто не поднял головы, не ответил. Мгновенная молния передернула лицо эмира. И неизвестно, сколько голов, увенчанных чалмами и обрамленных седыми бородами, легли бы сегодня на плаху и сколько льстивых языков, прокушенных в предсмертной судороге насквозь, замолкли бы навсегда, высунувшись из посиневших уст, как бы дразня живых, напоминая им о полной призрачности их

благополучия, о тщете и суете их стремлений, хлопот и надежд!

Но все головы остались на плечах, и все языки остались пребывающими в готовности к немедленному льстивому действию — потому что вошел дворцовый надзиратель и возвестил:

— Хвала средоточию вселенной! К воротам дворца прибыл неизвестный человек, называющий себя Гуссейном Гуслия, мудрецом из Багдада. Он объявил, что имеет важное дело и должен немедленно предстать пред светлыми очами повелителя.

— Гуссейн Гуслия! — воскликнул эмир, оживившись. — Пропустите его! Зовите его сюда!

Мудрец не вошел, он вбежал, не скинув даже запыленных туфель, и распростерся ниц перед троном.

— Приветствую славного и великого эмира, солнце и луну вселенной, грозу и благо ее! Я спешил день и ночь, чтобы предупредить эмира о страшной опасности. Пусть эмир скажет, не входил ли он сегодня к женщине. Пусть эмир ответит своему ничтожнейшему рабу, я умоляю повелителя!..

— К женщине? — озадаченно переспросил эмир. — Сегодня?.. Нет... Мы собирались, но еще не входили.

Мудрец поднялся. Лицо его было бледным. Он ждал этого ответа в страшном волнении. Глубокий, длительный вздох облегчил его грудь, и румянец, медленно возвращаясь, начал окрашивать его щеки.

— Слава всемогущему аллаху! — воскликнул он. — Аллах не дал погаснуть светочу мудрости и милосердия! Да будет известно великому эмиру, что вчера ночью планеты и звезды расположились крайне неблагоприятно для него. И я, ничтожный и достойный лобызать лишь прах следов эмира, изучил и вычислил расположение планет и узнал, что пока не станут они в благоприятное и благоденственное сочетание, эмир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема. Слава аллаху, что я успел вовремя!

— Подожди, Гуссейн Гуслия, — остановил его эмир. — Ты говоришь что-то непонятное...

— Слава аллаху, что я успел вовремя! — продолжал восклицать мудрец (это был, конечно, Ходжа Насреддин). — Теперь я буду до конца дней моих гордиться тем, что помешал эмиру коснуться сегодня женщины и не допустил вселенную осиротеть.

Он воскликнул с такой радостью и горячностью, что эмир не мог не поверить ему.

— Когда я, ничтожный муравей, был озарен лучами величия эмира, соизволившего вспомнить мое недостойное имя, и получил повеление прибыть в Бухару на эмирскую службу, то я как бы погрузился в сладостное море небывалого счастья. И я, конечно, выполнил безо всяких задержек это повеление и выехал тотчас же, потратив только несколько дней на составление гороскопа эмира, дабы, будучи в пути, уже служить ему, наблюдая за движением планет и звезд, имеющих влияние на его судьбу. И вот вчера ночью, взглянув на небо, я увидел, что звезды расположились ужасно и зловеще для эмира, а именно: звезда Аль-Кальб, означающая жало, стала напротив звезды Аш-Шуала, которая означает сердце; далее увидел я три звезды Аль-Гафр, означающие покрывало женщины, две звезды Аль-Иклиль, означающие корону, и две звезды Аш-Шаратан, означающие рога. И было это во вторник — день планеты Марс, а день этот, в противоположность четвергу, указывает на смерть великих людей и весьма неблагоприятен для эмиров. Сопоставив все эти признаки, понял я, ничтожный звездочет, что жало смерти угрожает сердцу носящего корону, если он коснется покрывала женщины, и, дабы предупредить носящего корону, я спешил день и ночь, загнал до смерти двух верблюдов и вошел пешком в Бухару.

— О всемогущий аллах! — произнес пораженный эмир. — Неужели нам действительно угрожала такая страшная опасность! Но, может быть, ты просто перепутал, Гуссейн Гуслия?

— Я перепутал? — воскликнул мудрец. — Да будет известно эмиру, что нигде от Багдада и до Бухары нет никого, равного мне в мудрости, или в умении вычислять звезды, или излечивать болезни! Я не мог перепутать. Пусть владыка и сердце вселенной, великий эмир, спросит у своих мудрецов, правильно ли я обозначил звезды и справедливо ли истолковал их расположение в гороскопе.

Мудрец с искривленной шеей, повинуясь знаку эмира, выступил вперед:

— Несравненный собрат мой по мудрости Гуссейн Гуслия правильно назвал звезды, что доказывает познания его, усомниться в которых никто не осмелится. Но, — продолжал мудрец, и в голосе его Ходжа Насреддин

почувствовал коварство, — почему мудрейший Гуссейн Гуслия не назвал перед великим эмиром шестнадцатого стояния луны и созвездия, на которое это стояние приходится, ибо без этих обозначений неосновательным было бы утверждать, что вторник — день планеты Марс — точно указывает на смерть великих людей, в том числе и носящих корону, ибо планета Марс имеет дом в одном созвездии, возвышение в другом, падение в третьем и ущерб в четвертом, и в соответствии с этим планета Марс имеет четыре разных указания, а не одно только, как сказал нам почтеннейший и мудрейший Гуссейн Гуслия.

Мудрец умолк, и на губах его играла змеиная улыбка; придворные одобрительно зашептались, радуясь посрамлению вновь прибывшего. Оберегая свои доходы и высокое положение, они старались никого со стороны не допускать во дворец и в каждом новом человеке видели опасного соперника.

Но Ходжа Насреддин если уж за что-нибудь брался, то не отступал никогда. Кроме того, он насквозь видел и мудреца, и придворных, и самого эмира. Нисколько не смутившись, он снисходительно ответил:

— Может быть, мой почтенный и мудрый собрат несравненно превосходит меня в какой-либо другой области познаний, но что касается звезд, то он обнаруживает своими словами полное незнакомство с учением мудрейшего из всех мудрых ибн-Баджжа, который утверждает, что планета Марс, имея дом в созвездии Овна и Скорпиона, возвышение — в созвездии Козерога, падение — в созвездии Рака и ущерб — в созвездии Весов, тем не менее всегда присуща только дню вторнику, на который и оказывает свое влияние, пагубное для носящих короны.

Отвечая, Ходжа Насреддин ничуть не опасался быть уличенным в невежестве, ибо отлично знал, что в таких спорах побеждает всегда тот, у кого лучше привешен язык, а в этом с Ходжой Насреддином трудно было сравниться.

Он стоял, ожидая возражений мудреца и готовясь ответить достойно. Но мудрец не принял вызова. Он промолчал. Хотя он очень сильно подозревал Ходжу Насреддина в мошенничестве и невежестве, но подозрение не есть уверенность, можно и ошибиться; зато о своем крайнем невежестве мудрец знал точно и не

осмелился спорить. Таким образом, его попытка посрамить вновь прибывшего послужила к обратному. Придворные зашипели на мудреца, и он пояснил глазами, что противник слишком опасен, чтобы схватиться с ним открыто.

Все это, конечно, не ускользнуло от внимания Ходжи Насреддина. «Ну, подождите! — думал он. — Вы еще узнаете меня!»

Эмир погрузился в глубокое раздумье. Никто не шевелился из опасения помешать ему.

— Если все звезды названы и обозначены тобою правильно, Гуссейн Гуслия, — сказал эмир, — тогда действительно толкование твое справедливо. Мы только никак не можем понять, почему в наш гороскоп попали две звезды А́ш-Шаратан, означающие рога? Ты успел, поистине, вовремя, Гуссейн Гуслия! Только сегодня утром в наш гарем привели одну девушку, и мы собирались...

Ходжа Насреддин в притворном ужасе взмахнул руками.

— Извергни ее из своих мыслей, пресветлый эмир, извергни ее! — вскричал он, словно бы позабыв, что к эмиру нельзя обращаться прямо, но лишь косвенно, в третьем лице. При этом он рассчитал, что такое нарушение правил, вызванное как бы сильным душевным волнением, проистекающим из преданности эмиру и беспокойства за его жизнь, не только не будет поставлено в большую вину, но, наоборот, свидетельствуя об искренности чувств восклицающего, еще больше возвысит его в глазах эмира.

Он так просил и умолял эмира не прикасаться к девушке, дабы потом ему, Гуссейну Гуслия, не проливать реки слез и не надевать черные одежды горя, что эмир даже растрогался.

— Ну, успокойся, успокойся, Гуссейн Гуслия. Мы не враг нашему народу, чтобы оставить его осиротевшим и утопающим в скорби. Мы обещаем тебе, в заботе о нашей драгоценной жизни, не входить к этой девушке и вообще не входить в гарем, пока звезды не изменят своего расположения, о чем ты нам своевременно скажешь. Подойди ближе.

С этими словами он сделал знак своему кальянщику и потом собственноручно передал золотой чубук приезжему

мудрецу, что было великой честью и милостью. Преклонив колени и опустив глаза, мудрец принял эмирскую милость, причем по всему телу его прошла дрожь. («От восторга!» — как подумали придворные, снедаемые злобной завистью.)

— Мы объявляем нашу милость и благоволение мудрецу Гуссейну Гуслия, — сказал эмир, — и назначаем его самым главным мудрецом нашего государства, ибо его ученость, ум, а равно великая преданность нам достойны всяческого подражания.

Придворный летописец, обязанностью которого было записывать в хвалебных выражениях все поступки и слова эмира, дабы его величие не потускнело в будущих веках (о чем эмир заботился чрезвычайно), заскрипел тростниковым пером.

— Вам же, — продолжал эмир, обращаясь к придворным, — мы, наоборот, изъявляем свое неудовольствие, ибо вашему повелителю после всех неприятностей, причиненных Ходжой Насреддином, грозила еще и смерть, но вы даже не почесались! Посмотри на них, Гуссейн Гуслия, посмотри на этих болванов, на их морды, вполне подобные ишачьим! Поистине, еще ни один государь никогда не имел столь глупых и нерадивых визирей!

— Светлейший эмир совершенно прав, — сказал Ходжа Насреддин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. — Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости.

— Вот, вот! — обрадовался эмир. — Вот именно — не отмечены печатью мудрости!

— Скажу еще, — продолжал Ходжа Насреддин, — что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.

— Воры! — сказал эмир убежденно. — Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гуссейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и нощно! Нам приходится самолично следить за каждой мелочью во дворце, и каждый раз, проверяя дворцовое имущество, мы чего-нибудь недосчитываемся. Не далее как сегодня утром в саду мы позабыли наш новый шелковый пояс, а через полчаса его уж там не было!.. Кто-то из них успел... ты понимаешь, Гуссейн Гуслия!..

При этих словах мудрец с искривленной шеей как-то по-особенному кротко и постно потупил глаза. В другое

время это движение осталось бы незамеченным, но сегодня все чувства Ходжи Насреддина были обострены: он все замечал и сразу обо всем догадывался.

Он уверенно подошел к мудрецу, запустил руку к нему за пазуху и вытащил оттуда шелковый, богато расшитый пояс.

— Не об этом ли поясе сожалел великий эмир?

Изумление и ужас сковали придворных. Новый мудрец оказался действительно опасным соперником, и первый же, выступивший против него, был уже сокрушен им и повергнут в прах. У многих мудрецов, поэтов, сановников и визирей дрогнули сердца в этот миг.

— Клянусь аллахом, это тот самый пояс! — вскричал эмир. — Гуссейн Гуслия, ты воистину несравненный мудрец! Ага! — торжествующе обратился эмир к придворным, причем лицо его выражало самую искреннюю, живую радость. — Попались наконец! Теперь-то вы уж не сможете украсть у нас ни одной нитки; довольно мы натерпелись от вашего воровства! А этому презренному вору, дерзко похитившему наш пояс, выщипать все волосы на голове, подбородке и на теле, и дать ему по его подошвам сотню палок, и посадить его голого на осла лицом к хвосту, и возить его по городу, объявляя повсеместно, что он вор!

По знаку Арсланбека палачи накинулись на мудреца и вытолкнули за дверь; там, прямо на пороге, закипела работа; через две минуты палачи втолкнули мудреца обратно в зал, голого, лишенного даже волос, срамного донельзя. Тут всем стало ясно, что до сих пор только его борода и огромная чалма скрывала убожество ума и клеймо порока, лежавшее на его лице, что человек с таким шельмовским лицом не может быть никем иным, кроме как наиотъявленнейшим плутом и вором.

Эмир поморщился:

— Уберите!

Палачи потащили мудреца, и вскоре за окном послышались его вопли, сопровождаемые сочными ударами палок по пяткам.

Потом его посадили голого на осла, лицом к хвосту, и под ужасающий рев труб, под грохот барабанов повезли на базарную площадь.

Эмир долго беседовал с приезжим мудрецом. Придворные стояли не шевелясь, что было для них крайне

мучительно: жара усиливалась, потные спины под халатами чесались невыносимо. Великий визирь Бахтияр, больше всех опасавшийся нового мудреца, был занят мыслями о привлечении придворных на свою сторону, чтобы сокрушить с их помощью соперника; придворные же, заранее угадывая по многим признакам исход борьбы, рассчитывали, как бы повыгоднее отречься в решительную минуту от Бахтияра, предать его и тем самым войти в доверие и милость к новому мудрецу.

А эмир все расспрашивал о здоровье калифа, о багдадских новостях, о событиях в пути. Ходже Насреддину пришлось по-всякому изворачиваться. И все уже сошло благополучно, и эмир, утомленный беседой, приказал приготовить себе ложе для отдыха, но вдруг за открытыми окнами послышались голоса, чей-то вопль.

В зал быстрыми шагами вошел дворцовый надзиратель. Его лицо сияло радостью. Он объявил:

— Да будет известно великому повелителю, что богохульник и возмутитель спокойствия Ходжа Насреддин пойман и приведен во дворец!

Сразу же вслед за этими словами широко раскрылись ореховые резные двери. Стражники, торжествующе громыхая оружием, ввели горбоносого седобородого старика в женской одежде и повергли его на ковры перед троном.

Ходжа Насреддин похолодел, стены дворца словно бы покачнулись перед его глазами, лица придворных окутались зеленоватым туманом...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Багдадский мудрец, подлинный Гуссейн Гуслия, попался у самых ворот, за которыми уже видел он сквозь свое покрывало поля и дороги, разбегающиеся в разные стороны; каждая из них обещала ему избавление от страшной казни.

Но стражники, охранявшие в этот час городские ворота, окликнули:

— Куда едешь ты, женщина?

Мудрец ответил голосом молодого осипшего петуха:

— Я тороплюсь домой к мужу. Пропустите меня, доблестные воины.

Стражники переглянулись — голос показался им подозрительным. Один из них взял под уздцы верблюда,

— Где ты живешь?

— Вот здесь, неподалеку, — ответил мудрец еще тоньше. Но при этом чрезмерно задержал воздух в гортани и закашлялся с ужасным хрипом и одышкой.

Тогда стражники сорвали с него чадру. Ликование их было безгранично.

— Вот он! Вот он! — кричали они. — Давай вяжи! Хватай!

Потом они повели старика во дворец, всю дорогу беседовали о казни, ожидающей его, о трех тысячах таньга награды за его голову. Каждое слово стражников падало, как раскаленный уголь, на его сердце.

Он лежал перед троном, горько рыдая, умоляя о помиловании.

— Поднять его! — приказал эмир.

Стражники подняли старика. Из толпы придворных выступил Арсланбек:

— Пусть выслушает эмир слово преданного раба своего. Это не Ходжа Насреддин, это совсем другой человек: Ходже Насреддину нет еще и сорока лет, а это глубокий старик.

Стражники встревожились: награда уплывала у них из рук. Все остальные молчали в недоумении.

— Почему ты скрывался под женской одеждой? — грозно вопросил эмир.

— Я ехал во дворец к великому и всемилостивейшему эмиру, — ответил старик дрожа. — Но со мной повстречался какой-то человек, неизвестный мне, и сказал, что эмир еще до моего появления в Бухаре издал приказ, чтобы отрубить мне голову, и я, обуянный страхом, решил бежать под женской одеждой.

Эмир проницательно усмехнулся:

— С тобой повстречался человек... Неизвестный тебе. И ты сразу ему поверил?.. Удивительная история! За что же мы хотели отрубить тебе голову?

— За то, что я будто бы всенародно поклялся проникнуть в гарем великого эмира... Но, аллах свидетель, я никогда не думал об этом! Я уже стар, немощен и даже от собственного своего гарема давно отказался...

— Проникнуть в наш гарем? — переспросил эмир, поджав губы. По его лицу было видно, что этот старик становится ему все более и более подозрителен. — Кто ты и откуда ты?

— Я Гуссейн Гуслия, мудрец, звездочет и лекарь из Багдада, и приехал в Бухару по повелению и желанию великого эмира!..

— Значит, твое имя Гуссейн Гуслия! Ты лжешь в глаза нам, презренный старик! — загремел эмир с такой силой, что царь поэтов совсем некстати повалился на колени. — Ты лжешь! Вот Гуссейн Гуслия!

Ходжа Насреддин, повинуясь знаку эмира, бестрепетно вышел вперед и стал перед стариком, открыто и смело глядя прямо в лицо ему.

Старик изумился и попятился. Но тут же, овладев собой, закричал:

— Ага! Да ведь это тот самый человек, который, повстречавшись со мной на базаре, сказал, что эмир хочет отрубить мне голову!

— Что он говорит, Гуссейн Гуслия! — воскликнул эмир в полном недоумении.

— Какой он Гуссейн Гуслия! — завопил старик. — Это я Гуссейн Гуслия, я он просто обманщик! Он присвоил себе мое имя!

Ходжа Насреддин низко поклонился эмиру:

— Да простит мне великий владыка мое смелое слово, но бесстыдство этого старика не имеет пределов! Он говорит, что я присвоил себе его имя. Он, может быть, скажет, что этот халат я тоже присвоил?

— Конечно! — закричал старик. — Это мой халат!

— Может быть, и эта чалма твоя? — спросил Ходжа Насреддин с насмешкой в голосе.

— Ну да! Это моя чалма! Ты выменял у меня и халат и чалму на женскую одежду!

— Так! — сказал Ходжа Насреддин с еще большей насмешкой в голосе. — А вот этот пояс случайно не твой?

— Мой пояс! — запальчиво ответил старик.

Ходжа Насреддин повернулся к трону:

— Пресветлый владыка эмир воочию убедился, кого видит он перед собой. Сегодня этот лживый и презренный старик говорит, что я присвоил себе его имя, что этот халат — его халат, и чалма его, и пояс его, а завтра он скажет, что этот дворец — его дворец, и все государство — его государство и что настоящий эмир Бухары не наш великий и солнцеподобный владыка, восседающий сейчас перед нами на троне, а что настоящий эмир — это он, вот этот лживый, презренный старик! От него можно всего ожидать! Ведь он уже приехал в Бухару с намере-

нием войти в эмирский гарем, как в собственный свой гарем!..

— Ты прав, Гуссейн Гуслия, — сказал эмир. — Мы убедились, что этот старик — подозрительный и опасный человек, у него в голове черные мысли. И мы считаем, что нужно немедленно отделить его голову от его туловища.

Старик со стоном упал на колени, закрыл руками лицо.

Но Ходжа Насреддин не мог допустить, чтобы из-за него пошел на плаху человек, неповинный в тех преступлениях, которые ему приписывали, хотя бы то был и придворный мудрец, сам, конечно, погубивший многих и многих своим коварством.

Ходжа Насреддин поклонился эмиру:

— Да выслушает милостиво великий эмир мое слово. Отрубить голову ему никогда не поздно. Но сначала нужно узнать его подлинное имя и подлинные намерения, с которыми он прибыл в Бухару, дабы выяснить, нет ли у него сообщников и не гнусный ли он чернокнижник, решивший воспользоваться неблагоприятным расположением звезд и добыть прах от следов великого эмира, смешать этот прах с мозгами летучей мыши и затем подбросить в кальян эмиру, дабы причинить ему зло. Пусть великий эмир оставит его пока живым и отдаст мне, ибо обычных тюремщиков он может опутать своими злыми чарами, но перед моею мудростью они будут бессильны, так как мне известны все ухищрения чернокнижников и все способы уничтожения их колдовства. Я запру этого старика, произнесу над замком благочестивые молитвы, известные только мне одному, дабы не смог он силой колдовства открыть замок без ключа, и потом жестокими пытками я заставлю его сказать все!

— Ну что же, — ответил эмир. — Твои слова вполне разумны, Гуссейн Гуслия. Бери его и делай с ним, что захочешь, но только смотри, чтобы он не вырвался из-под замка.

— Я отвечаю головой перед великим эмиром.

Через полчаса Ходжа Насреддин — он же главный мудрец и звездочет эмира — проследовал в свое новое жилище, приготовленное в одной из башен дворцовой стены; за ним, сопровождаемый стражниками, следовал понурившийся преступник — подлинный Гуссейн Гуслия.

В башне, над жилищем Ходжи Насреддина, была маленькая круглая келья с чугунной решеткой в окне. Ходжа Насреддин отпер огромным ключом медный, позеленевший замок, открыл окованную железом дверь. Стражники втолкнули туда старика, бросив ему тощую охапку соломы. Ходжа Насреддин закрыл дверь и потом долго бормотал над медным замком, но так невнятно и быстро, что стражники не могли ничего разобрать, кроме часто повторяющегося призыва к аллаху...

Своим жилищем Ходжа Насреддин остался вполне доволен. Эмир прислал ему двенадцать одеял, восемь подушек, множество разной утвари, корзину с белыми свежими лепешками, мед в кувшине и много других яств со своего стола. Ходжа Насреддин очень устал и проголодался, но прежде чем сесть за трапезу, он взял шесть одеял, четыре подушки и понес все это наверх своему пленнику.

Старик сидел в углу на соломе и сверкал из темноты глазами, как разъяренный кот.

— Ну что же, Гуссейн Гуслия, — мирно сказал Ходжа Насреддин. — Мы с тобой неплохо устроимся в этой башне — я пониже, а ты повыше, как тебе и подобает по твоим годам и мудрости. Сколько здесь пыли! Я сейчас подмету.

Ходжа Насреддин спустился, принес кувшин с водой, веник, чисто вымел каменный пол, постелил одеяла, положил подушки, потом еще раз спустился, принес лепешки, мед, халву, фисташки и на глазах своего пленника честно разделил все пополам.

— Ты не умрешь с голоду, Гуссейн Гуслия, — говорил он. — Мы с тобой сумеем раздобыть пищу. Вот тебе кальян, а вот здесь я положил табак.

Устроив все это в маленькой келье так, что она имела вид едва ли не лучший, чем нижняя, Ходжа Насреддин ушел, заперев дверь на замок.

Старик остался один. Он был в полной растерянности. Он долго думал, соображая, прикидывая, но так и не смог ничего понять в происходящем. Одеяла были мягкими, и подушки удобными, и ни лепешки, ни мед, ни табак не содержали в себе отравы... Утомленный сегодняшними треволнениями, старик улегся спать, поручив свою дальнейшую судьбу аллаху.

В это время виновник всех его несчастий Ходжа Насреддин сидел в нижней келье перед окном, наблюдал

медленный переход сумерек в темноту и раздумывал о своей удивительной бурной жизни, о возлюбленной, которая теперь была здесь, рядом, но ничего еще пока не знала. В окно тянуло свежей прохладой, сплетались над городом, как серебряные нити, звенящие и печальные голоса муэдзинов; на темнем небе выступили звезды, сияли, горели и трепетали чистым, холодным, далеким огнем, и была там звезда Аш-Шуала, означающая сердце, и три звезды Аль-Гафр, означающие покрывало девушки, и две звезды Аш-Шаратан, означающие рога, и только зловещей звезды Аль-Кальб, означающей жало смерти, не было там, в синей высоте...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Слава живому, который не умирает!

«Тысяча и одна ночь»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Ходжа Насреддин вошел в доверие и милость к эмиру, стал его ближайшим советником во всех делах. Ходжа Насреддин решал, эмир подписывал, а великий визирь Бахтияр только прикладывал медную резную печать. «О великий аллах, да это что же творится в нашем государстве! — мысленно восклицал он, читая эмирские указы об отменах налогов, о бесплатном пользовании дорогами и мостами, об уменьшении базарных сборов. — Ведь так недолго совсем разорить казну! Этот новый мудрец, да прогниют насквозь его внутренности, разрушил в одну неделю все, над чем я трудился больше десяти лет!»

Однажды он осмелился доложить о своих сомнениях эмиру. Повелитель ответил:

— Что знаешь ты, ничтожный, и что понимаешь? Мы сами не меньше тебя скорбим об этих указах, опустошающих нашу казну, но что можем мы сделать, если так повелевают звезды! Утешься, Бахтияр, это на короткое время, пока звезды не станут в благоприятное сочетание. Объясни ему, Гуссейн Гуслия.

Ходжа Насреддин отвел великого визиря в сторону, усадил на подушки и долго объяснял, почему дополнительный налог на кузнецов, медников и оружейников следует немедленно отменить.

— Звезды Аль-Авва в созвездии Девы и Аль-Бальда в созвездии Стрельца противостоят звездам Сад-Була в созвездии Водолея, — говорил Ходжа Насреддин. — Ты понимаешь, о почтенный и сиятельнейший визирь, они противостоят и далеки от сочетания.

— Ну и что же, если они противостоят? — возразил Бахтияр. — Они и раньше противостояли, что, однако, ничуть не мешало нам исправно взыскивать налоги.

— Но ты позабыл о звезде Ак-Дабаран в созвездии Вола! — воскликнул Ходжа Насреддин. — О визирь, посмотри на небо, и ты убедишься!

— Зачем мне смотреть на небо! — ответил упрямый визирь. — Мое дело — следить за сохранностью и приумножением казны; я вижу, что с того дня, как появился ты во дворце, доходы казны уменьшились и приток налогов сократился. Сейчас как раз подошел срок взыскания налогов с городских ремесленников; объясни мне, почему мы не можем взыскать?

— Как почему? — воскликнул Ходжа Насреддин. — Да я же целый час толкую тебе об этом! Неужели ты до сих пор не понял, что на каждый из двенадцати знаков Зодиака выпадают два стояния луны с одной третью!..

— Но я должен взыскать налоги! — снова перебил визирь. — Ты понимаешь, налоги!

— Подожди, — остановил его Ходжа Насреддин. — Я еще не разъяснил тебе, что созвездие Ас-Сурейя и восемь звезд Ан-Наими...

Здесь Ходжа Насреддин пустился в столь туманные и пространные объяснения, что в голове у великого визиря загудело и в глазах помутилось. Он встал и вышел пошатываясь. А Ходжа Насреддин вернулся к эмиру:

— О повелитель! Старость хотя и покрыла серебром его голову, но обогатила ее лишь снаружи, не превратив в золото то, что находится внутри головы. Он не смог вместить в себя мою мудрость. Он ничего не понял, повелитель. О, если бы он обладал одною лишь тысячной долей того ума, которым обладает великий эмир, затмевающий самого Лухмана!

Эмир милостиво и самодовольно улыбнулся. Все эти дни Ходжа Насреддин с великим усердием внушал ему мысль о его несравненной мудрости и преуспел в своем намерении вполне. И теперь, когда он доказывал что-нибудь эмиру, тот слушал с глубокомысленным видом и не возражал, боясь обнаружить истинную глубину своего ума.

На следующий день Бахтияр говорил в кругу придворных:

— Новый мудрец, этот самый Гуссейн Гуслия, разорит нас всех! Все мы обогащаемся только в дни собирания

налогов, когда нам удается зачерпнуть из большой и полноводной реки, текущей в эмирскую казну. И вот пришло нам время зачерпнуть, но этот Гуссейн Гуслия мешает. Он ссылается на расположение звезд, но когда и кто слышал, чтобы звезды, управляемые аллахом, располагались бы в ущерб знатным и благородным людям, благоприятствуя в то же время каким-то презренным ремесленникам, которые — я уверен — бесстыдно прожирают сейчас свои заработки, вместо того чтобы отдать их нам! Когда и кто слышал о таком расположении звезд? Этого не сказано ни в одной книге, потому что такая книга если бы даже и появилась, то была бы немедленно сожжена, а человек, сочинивший ее, был бы проклят и предан казни, как величайший богохульник, еретик и злодей!

Придворные молчали, еще не зная, на чью сторону выгоднее им стать — на сторону Бахтияра или нового мудреца.

— Уже сейчас приток налогов уменьшается с каждым днем, — продолжал Бахтияр. — И недалеко то время, когда оскудеет казна, и мы, приближенные эмира, разоримся, и вместо парчовых халатов мы наденем простые, грубые, и вместо двадцати жен мы будем довольствоваться только двумя, и вместо серебряных блюд нам подадут глиняные, и вместо нежного, молодого барашка мы положим в плов жесткую говядину, пригодную лишь для собак и ремесленников! Вот что готовит нам новый мудрец Гуссейн Гуслия, и тот, кто этого не видит, тот слеп, и горе тому!

Так он говорил, стараясь возмутить придворных против нового мудреца.

Напрасны были его усилия.

Гуссейн Гуслия все более и более преуспевал в своем возвышении.

Особенно же отличился он в «день восхваления». По стародавнему обычаю все визири, вельможи, мудрецы и поэты ежемесячно соревновались перед лицом эмира в наилучшем восхвалении его. Победителю выдавалась награда.

Все высказали свои похвалы, но эмир остался недоволен.

— То же самое вы говорили нам и в прошлый раз, — сказал он. — И мы находим, что вы недостаточно усерд-

ны в славословии. Вы не желаете утруждать свой ум, но мы заставим вас потрудиться сегодня. Мы будем задавать вам вопросы, а вы должны отвечать, сочетая в своих ответах восхваление с правдоподобием.

Эмир спросил:

— Если мы, великий эмир бухарский, согласно вашим утверждениям, могуч и непобедим, то почему государи сопредельных мусульманских стран до сих пор не прислали к нам своих послов с богатыми подарками и с изъявлениями своей полной покорности нашему непреоборимому владычеству? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос.

Полная растерянность охватила придворных. Они бормотали что-то невнятное, всячески старались уклониться от прямого ответа. Один только Ходжа Насреддин сохранял уверенное спокойствие. Когда очередь дошла до него, он сказал:

— Да удостоятся мои жалкие слова внимания великого эмира. На вопрос нашего владыки ответить легко. Все прочие государи, управляющие сопредельными странами, пребывают в постоянном страхе и трепете перед всемогуществом нашего владыки. И рассуждают они таким образом: «Если пошлем мы великому, славному и могучему эмиру бухарскому богатые подарки, то он подумает, что земля наша очень богата, и, соблазнившись, придет со своим войском и заберет нашу землю. Если же, наоборот, мы пошлем ему подарки беднее, то он оскорбится и все равно двинет на нас свое войско. Он, эмир бухарский, велик, славен и могуч, и лучше всего не напоминать ему о нашем существовании». Вот как рассуждают прочие государи, и причину того, что они не присылают в Бухару послов с богатыми подарками, нужно искать в их беспрерывном трепете перед всемогуществом нашего владыки.

— Вот! — вскричал эмир, приведенный в полное восхищение ответом Ходжи Насреддина. — Вот как надо отвечать на вопросы эмира! Вы слышали? Учитесь, о болваны, подобные чурбакам! Поистине, Гуссейн Гуслия превосходит вас всех своею мудростью в десять раз! Объявляем ему свое благоволение.

Сейчас же дворцовый повар подбежал к Ходже Насреддину и набил ему полный рот халвой и леденцами. Щеки Ходжи Насреддина раздулись, он задыхался, густая сладкая слюна текла по его подбородку.

Эмир задал еще несколько столь же коварных вопросов. Ответы Ходжи Насреддина были каждый раз наилучшими.

— В чем состоит наипервейшая обязанность придворного? — спросил эмир.

Ходжа Насреддин ответил ему так:

— О великий и блистательный повелитель! Наипервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта, дабы последний приобрел необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и свое благоговение. Спинной хребет придворного должен обладать способностью изгибаться, а также извиваться во всех направлениях, в отличие от окостеневшего хребта какого-нибудь простолюдина, который даже и поклониться не умеет как следует.

— Вот именно! — вскричал восхищенный эмир. — Вот именно, в каждодневном упражнении спинного хребта! Вторично объявляем наше благоволение мудрецу Гуссейну Гуслия!

Ходже Насреддину во второй раз набили рот халвой и леденцами.

В этот день многие из придворных перешли от Бахтияра на сторону Ходжи Насреддина.

Вечером Бахтияр позвал к себе Арсланбека. Новый мудрец равно угрожал им обоим, и ради его сокрушения они позабыли на время старинную вражду.

— Хорошо бы подсыпать ему чего-нибудь в плов, — сказал Арсланбек, который был мастер на такие дела.

— А потом эмир снимет нам головы! — возразил Бахтияр. — Нет, почтенный Арсланбек, действовать нужно иначе. Мы должны всячески восхвалять и превозносить мудрость Гуссейна Гуслия и добиться того, чтобы в сердце эмира закралось сомнение — не превосходит ли в глазах придворных мудрость Гуссейна Гуслия его собственную, эмирскую мудрость. А мы будем неустанно восхвалять и превозносить Гуссейна Гуслия, и наступит день, когда эмир возревнует. И этот день для Гуссейна Гуслия будет последним в его возвышении и первым в его падении!

Но судьба заботливо оберегала Ходжу Насреддина и даже промахи его оборачивала на пользу ему.

Когда Бахтияр и Арсланбек, каждодневно и неумеренно восхваляя нового мудреца, почти добились соединен-

ными усилиями своей цели и эмир, пока еще тайно, но уже начал ревновать, случилось так, что Ходжа Насреддин промахнулся.

Они гуляли с эмиром в саду, вдыхая благоухание цветов и наслаждаясь пением птиц. Эмир был молчалив. В этом молчании Ходжа Насреддин чувствовал скрытую неприязнь, но причины понять не мог.

— А как твой пленник, этот самый старик? — спросил эмир. — Узнал ли ты, Гуссейн Гуслия, его настоящее имя и намерения, с которыми он прибыл в Бухару?

Ходжа Насреддин думал в это время о Гюльджан и ответил рассеянно.

— Да простит великий повелитель ничтожного раба своего. Я не мог добиться от этого старика ни одного слова. Он молчит как рыба.

— Но ты пробовал применить к нему пытку?

— О великий повелитель, еще бы! Позавчера я выламывал ему суставы, а вчера я целый день железными клещами расшатывал ему зубы.

— Это хорошая пытка, расшатывать зубы, — сказал эмир. — Странно, что он молчит. Может быть, прислать тебе на помощь искусного и опытного палача?

— О нет, пусть великий повелитель не утруждает себя заботами! Завтра я применю новую пытку — я буду пронзать язык и десны этого старика раскаленным шилом.

— Погоди, погоди! — воскликнул эмир, и лицо его просияло. — Но как он тогда сможет назвать свое имя, если ты пронзишь ему раскаленным шилом язык? Ты не подумал об этом, Гуссейн Гуслия, и не предусмотрел, но мы, великий эмир, подумали, предусмотрели и предотвратили твою ошибку, из чего видно, что хотя ты и несравненный мудрец, но наша мудрость многократно превосходит твою, в чем ты сейчас убедился.

Радостный, сияющий, эмир повелел немедленно созвать придворных, а когда они собрались, объявил им, что сегодня превзошел своею мудростью Гуссейна Гуслия, предотвратив ошибку, которую мудрец был готов совершить.

Придворный летописец старательно записал каждое слово эмира, дабы прославить мудрость его в последующих веках.

С этого дня ревность покинула сердце эмира.

Так благодаря случайному промаху Ходжа Насреддин разрушил коварные замыслы своих врагов.

Но бывали у него, и все чаще, ночные одинокие часы невыносимого томления. Полная луна стояла высоко над Бухарой; слабым сиянием светились изразцовые шапки бесчисленных минаретов, а мощные каменные подножия тонули в голубом дыму. Летел ветерок, прохладный над кровлями и душный внизу, где земля и стены, раскалившись днем, не остывали за ночь. Все вокруг спало — дворец, мечети, хижины, только сова тревожила пронзительными криками горячую дрему священного города. Ходжа Насреддин сидел у открытого окна. Сердцем он знал, что Гюльджан не спит, думает о нем, и, может быть, оба они смотрят сейчас на один и тот же минарет, но друг друга не видят, разделенные стенами, решетками, стражей, евнухами и старухами. Ходжа Насреддин сумел отомкнуть ворота дворца, но гарем по-прежнему был заперт наглухо, только случай мог открыть его перед Ходжой Насреддином. Он неутомимо искал этот случай. Тщетно!.. Он даже не смог до сих пор послать Гюльджан весточку о себе.

Он сидел у окна, целовал ветер и говорил ему: «Ну что тебе стоит! Залети на минутку в ее окно, коснись ее губ. Передай Гюльджан мой поцелуй и мой шепот, скажи, что я не забыл ее, что я спасу ее!» Ветер пролетал дальше, Ходжа Насреддин опять оставался наедине со своей тоской.

Наступал день, а с ним — обычные хлопоты и заботы. Опять нужно было идти в большой зал и там ждать выхода эмира, слушать льстивые слова придворных, отгадывать хитрые подкопы Бахтияра, ловить его взгляды, полные затаенного яда. Потом нужно было падать ниц перед эмиром, произносить ему восхваление, потом долгие часы сидеть с ним вдвоем, смотреть, скрывая отвращение, на его одутловатое, помятое лицо, слушать со вниманием его глупые речи, объяснять ему расположение звезд. Все это до того надоело и опротивело Ходже Насреддину, что он даже перестал придумывать для эмира новые доказательства, и все подряд — головную боль эмира, недостаток воды на полях, повышение цен на пшеницу, — все объяснял одними и теми же словами, ссылаясь на одни и те же звезды.

— Звезды Сад-ад-Забих, — говорил он скучным голосом, — противостоят созвездию Водолея, в то время как планета Меркурий стала слева от созвездия Скорпиона. Этим и объясняется сегодня бессонница повелителя.

— Звезды Сад-ад-Забих противостоят планете Меркурию, в то время как... Это надо запомнить... Повтори, Гуссейн Гуслия.

Памяти у великого эмира не было никакой. На следующий день разговор начинался снова:

— Падеж скота в горных местностях объясняется тем, о великий эмир, что звезды Сад-ад-Забих встали в сочетание с созвездием Водолея, в то время как планета Меркурий противостоит созвездию Скорпиона.

— Значит, звезды Сад-ад-Забих, — говорил эмир. — Это надо запомнить.

«Всемогущий аллах, до чего он глуп! — с тоской думал Ходжа Насреддин. — Он еще глупее калифа багдадского! До чего он мне надоел, и скоро ли я вырвусь отсюда!»

А эмир начинал новые речи:

— В нашем государстве, Гуссейн Гуслия, царят сейчас полный мир и успокоение. И даже ничего не слышно об этом нечестивце, о Ходже Насреддине. Куда бы он мог деваться и почему он молчит? Объясни нам, Гуссейн Гуслия.

— О всемогущий владыка, средоточие вселенной! Звезды Сад-ад-Забих... — начинал скучным и тягучим голосом Ходжа Насреддин и снова повторял все, сказанное уже много раз. — А кроме того, великий эмир, этот нечестивец Ходжа Насреддин бывал в Багдаде и, конечно, слышал о моей мудрости. Когда стало ему известно, что я приехал в Бухару, то он затаился, объятый страхом и трепетом, ибо он знает, что мне ничего не стоит его поймать.

— Поймать! Это было бы очень хорошо! Но каким способом думаешь ты поймать его?

— Я для этого выжду благоприятного сочетания звезд Сад-ад-Забих с планетой Юпитером.

— С планетой Юпитером, — повторял эмир. — Это надо запомнить. Знаешь ли, Гуссейн Гуслия, какая мудрая мысль осенила нас сегодня ночью? Мы подумали, что Бахтияра следует прогнать с его должности, а великим визирем поставить тебя.

И надо было падать ниц перед эмиром, восхвалять и благодарить его, а потом объяснять, что сейчас нельзя производить смену визирей, ибо звезды Сад-ад-Забих не благоприятствуют этому. «Скорее, скорее вырваться отсюда!» — восклицал мысленно Ходжа Насреддин.

Так, поджидая случая, Ходжа Насреддин влачил во дворце безрадостное, тоскливое существование. Его тянуло на базар, в толпу, в чайхану, в дымную харчевню; он отдал бы все эмирские яства за одну миску луковой, жгучей от перца похлебки из бараньих ног, за жилы и хрящи в базарном дешевом плове. Он обменял бы свой парчовый халат на любую рваную ветошь, — только бы вместо славословий и восхвалений услышать простую, безыскусную речь и громкий смех от чистого сердца.

Но судьба продолжала испытывать Ходжу Насреддина и не посылала благоприятного случая. Между тем эмир все чаще спрашивал, когда же наконец звезды позволят ему поднять царственной рукой покрывало новой наложницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Однажды эмир в неурочный час потребовал к себе багдадского мудреца. Было очень рано, весь дворец спал, слышался плеск дворцовых фонтанов, ворковали горлинки, шелестели крыльями. «Зачем я понадобился ему?» — недоумевал Ходжа Насреддин, поднимаясь по яшмовым ступеням в эмирскую опочивальню.

Навстречу ему неслышно, как тень, из опочивальни выскользнул Бахтияр. Они на ходу обменялись приветствиями. Ходжа Насреддин насторожился, предчувствуя какой-то подвох.

В опочивальне Ходжа Насреддин застал главного евнуха. Его Великое Целомудрие, жалобно стеная, лежал ниц перед эмирским ложем, а рядом на ковре валялись обломки пальмовой, отделанной золотом, трости.

Тяжелые бархатные занавеси отгораживали опочивальню от свежего утреннего ветра, от солнечных лучей и птичьего щебета. Она озарялась тусклым пламенем светильника, который хотя и сделан был из чистого золота, но чадил и вонял ничуть не меньше обыкновенного, глиняного. В углу дымила резная курильница, источая пряное и сладкое благоухание, бессильное, однако, заглушить чадный запах бараньего сала. Воздух в опочивальне был до того густым, что у Ходжи Насреддина защекотало в носу и запершило в горле.

Эмир сидел, выставив из-под шелкового одеяла волосатые ноги; Ходжа Насреддин заметил, что пятки у пове-

лителя были темно-желтые, словно бы он коптил их время от времени над свой индийской курильницей.

— Гуссейн Гуслия, мы находимся в сильнейшем расстройстве, — сказал эмир. — В этом повинен наш главный евнух, которого ты видишь перед собой.

— О великий повелитель! — вскричал Ходжа Насреддин холодея. — Неужели он осмелился?..

— Да нет! — Эмир, поморщившись, махнул рукой. — Ну как он может осмелиться, если мы, со свойственной нам мудростью, все предусмотрели и, раньше чем назначить его главным евнухом, позаботились обо всем. Совсем другое дело. Мы узнали сегодня, что вот этот негодяй, наш главный евнух, позабыв о великой милости, которую мы оказали ему, поставив его на одну из самых высших должностей в государстве, начал преступно пренебрегать своими обязанностями. Воспользовавшись тем, что мы в последнее время не посещаем наших наложниц, он осмелился на три дня покинуть гарем, чтобы предаться пагубному пороку, а именно — курению гашиша. И в гареме возмутился порядок и нарушилось спокойствие, и наши наложницы, лишенные надзора, передрались между собой, повырывали друг у друга волосы и поцарапали лица, чем был причинен нам, великому эмиру, несомненный ущерб, ибо женщина с исцарапанным лицом или редкими волосами не может считаться совершенной в наших глазах. Кроме того, случилось еще одно событие, повергшее нас в печаль и огорчение: наша новая наложница заболела и вот уже третий день не принимает пищи.

Ходжа Насреддин встрепенулся. Эмир движением руки остановил его:

— Подожди, мы еще не кончили говорить. Она заболела и может расстаться с жизнью. Если бы мы вошли к ней хотя один раз, то ее болезнь и даже смерть не так уж сильно огорчили бы наше сердце, но сейчас, ты понимаешь сам, Гуссейн Гуслия, мы весьма и весьма опечалены. Почему и решили мы, — продолжал эмир, повысив голос, — дабы впредь не подвергаться огорчениям и расстройствам, прогнать этого негодяя и распутника с его должности, лишить всех наших милостей и выдать ему двести плетей. Тебе же, о Гуссейн Гуслия, напротив того, решили мы оказать свою великую милость и назначить тебя на освободившуюся должность, то есть главным евнухом нашего гарема!

У Ходжи Насреддина подкосились ноги, остановилось дыхание, похолодели внутренности.

Эмир, сдвинув брови, грозно вопросил:

— Ты, кажется, намерен возразить нам, Гуссейн Гуслия? Может быть, суетные и мимолетные наслаждения ты предпочитаешь великому счастью служить нашей царственной особе? Ответь, если так!

Ходжа Насреддин уже овладел собой. Он поклонился эмиру:

— Да хранит аллах нашего великого повелителя. Милость эмира ко мне, ничтожному, безгранична. Великий владыка обладает волшебным свойством отгадывать самые тайные и сокровенные желания своих приближенных, что дает ему возможность непрерывно изливать на них свое благо. Сколько раз мечтал я, ничтожный, занять место этого ленивого и глупого человека, который лежит сейчас на ковре и стонет тонким голосом, приняв на себя справедливое наказание тростью; сколько раз я мечтал, но не осмеливался сказать о своем желании эмиру. Но вот сам великий повелитель...

— Так в чем же препятствие? — дружелюбно и радостно перебил эмир. — Сейчас мы позовем лекаря, он возьмет свои ножи, и ты удалишься с ним куда-нибудь в уединенное место, а мы тем временем прикажем Бахтияру написать указ о назначении тебя главным евнухом. Гей! — крикнул эмир и ударил в ладоши.

— Да преклонит повелитель свой слух к ничтожным словам моим, — торопливо сказал Ходжа Насреддин, поглядывая с опаской на дверь. — С великой радостью и готовностью я сейчас пошел бы с лекарем в уединенное место, но останавливает меня лишь забота о благоденствии повелителя. Мне после этого дела придется долго лежать в постели, а новая наложница повелителя за это время может умереть, и сердце эмира подернется черным туманом печали, самая масль о чем невыносима и нестерпима для меня. Почему я и думаю, что нужно сначала изгнать болезнь из тела наложницы, а уж потом я пойду к лекарю, дабы подготовить себя к занятию должности главного евнуха.

— Гм, — сказал эмир и с большим сомнением посмотрел на Ходжу Насреддина.

— О повелитель! Ведь она уже три дня не принимает пищи.

— Гм!.. — повторил эмир и обратился к лежавшему перед ним евнуху: — Ты, ничтожное порождение паука, отвечай нам: сильно ли заболела наша новая наложница и действительно ли нам надлежит тревожиться за ее жизнь.

Ходжа Насреддин чувствовал, как ползут по его спине струйки холодного пота. В страшной тревоге он ждал ответа.

Евнух сказал:

— О великий владыка, она стала худой и бледной, как молодая луна, лицо ее — как бы восковое, и пальцы холодные. Старухи говорят, что это весьма неблагоприятные признаки...

Эмир погрузился в раздумье. Ходжа Насреддин отодвинулся в тень и возблагодарил дымный полумрак, царивший в опочивальне и скрывавший бледность его лица.

— Да! — сказал эмир. — Если так, то она, пожалуй, и вправду умрет, чем весьма опечалит нас. Главное, что мы ни разу еще к ней не входили. Но уверен ли ты, Гуссейн Гуслия, что сможешь ее излечить?

— Великому повелителю точно известно, что от Бухары и до Багдада нет лекаря искуснее меня.

— Иди, Гуссейн Гуслия, и приготовь ей лекарство.

— Великий владыка, я должен сначала определить ее болезнь. А для этого я должен ее осмотреть.

— Осмотреть? — эмир усмехнулся. — Когда ты будешь главным евнухом, Гуссейн Гуслия, тогда успеешь насмотреться.

— О повелитель! — Ходжа Насреддин склонился до земли. — Я должен...

— Ничтожный раб! — вскричал эмир. — Известно ли тебе, что никто из смертных не имеет права, под страхом ужасной казни, видеть лица наших наложниц? Известно ли тебе это?

— Известно, о повелитель! — ответил Ходжа Насреддин. — Но я и не говорю о лице. Я никогда не осмелился бы взглянуть на ее лицо. Мне достаточно посмотреть на ее руку, ибо такой искусный лекарь, как я, может узнать любую болезнь по цвету ногтей.

— Руку? — переспросил эмир. — Что же ты сразу не сказал, Гуссейн Гуслия, и заставил нас попусту гневаться. Руку — это, конечно, можно. Мы сами пройдем с тобой в гарем; полагаем, что созерцание женской руки не повредит нам.

— Созерцание руки не может повредить великому повелителю, — ответил Ходжа Насреддин, рассудив, что увидеться с Гюльджан наедине ему все равно не удастся, и если уже свидетель неизбежен, то пусть лучше этим свидетелем будет сам эмир, дабы впоследствии в сердце его не закрались какие-нибудь подозрения.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Наконец, после стольких дней бесплодного ожидания, двери гарема открылись перед Ходжой Насреддином.

Стражники отступили, склонившись. Ходжа Насреддин поднялся вслед за эмиром по каменной лестнице, шагнул в калитку, увидел прекрасный сад: купы роз, левкои, гиацинты, фонтаны, бассейны из белого и черного мрамора, над которыми стоял легкий пар. На цветах, на траве, на листьях блестела и дрожала утренняя роса.

Бледность и краска поминутно менялась на лице Ходжи Насреддина. Евнух распахнул ореховые резные двери. Из темной глубины пахнуло густым настоем амбры, мускуса и розового масла. Это и был гарем — грустное обиталище прекрасных пленниц эмира.

Ходжа Насреддин старательно примечал все углы, переходы и повороты, чтобы потом в решительную минуту не запутаться, не погубить себя и Гюльджан. «Направо, — твердил он, — теперь налево. Здесь лестница. Здесь дежурит старуха. Теперь опять налево...» Переходы скупо освещались голубым, зеленым и розовым светом, пробивавшимся сквозь китайские разноцветные стекла. Евнух остановился перед низенькой дверью:

— Она здесь, повелитель.

Ходжа Насреддин вслед за эмиром переступил заветный порог. Это была маленькая комната, устланная и увешанная коврами. В нишах стояли перламутровые шкатулки с браслетами, серьгами, ожерельями, на стене висело большое серебряное зеркало. Бедной Гюльджан никогда не снилось такое богатство! Ходжа Насреддин затрепетал, увидев ее маленькие, расшитые жемчугом туфли. Она уже успела стоптать задники!.. Сколько силы понадобилось ему, чтобы не выдать своего волнения!

Евнух указал рукой на шелковую занавеску в углу. Там лежала Гюльджан. «Она спит», — сказал евнух шепотом.

Ходжу Насреддина била мелкая дрожь. Его возлюбленная была рядом. «Крепись, мужайся!» — говорил он себе.

Но как только приблизился он к занавеске, услышал вздохи спящей Гюльджан, увидел легкое колыханье шелка в изголовье — словно бы железными пальцами сдавили ему горло, слезы выступили у него на глазах и дыхание прервалось.

— Что ты медлишь, Гуссейн Гуслия? — спросил эмир.

— О повелитель, я прислушиваюсь к ее дыханию. Я стараюсь уловить сквозь эту занавеску биение сердца твоей наложницы. Как ее зовут?

— Ее зовут Гюльджан, — ответил эмир.

— Гюльджан, — окликнул Ходжа Насреддин.

Занавеска, мерно колыхавшаяся в изголовье, повисла недвижно. Гюльджан проснулась и замерла, не зная еще, во сне или наяву прозвучал этот дорогой, близкий голос.

— Гюльджан! — повторил Ходжа Насреддин. Она слабо вскрикнула. Ходжа Насреддин быстро сказал: — Мое имя — Гуссейн Гуслия. Я новый мудрец, звездочет и лекарь, прибывший из Багдада на службу к эмиру. Ты понимаешь, Гюльджан, я новый мудрец, звездочет и лекарь, по имени Гуссейн Гуслия.

Повернувшись к эмиру, Ходжа Насреддин добавил:

— Она почему-то испугалась, услышав мой голос. Наверное, этот евнух дурно обращался с нею в отсутствие повелителя.

Эмир, насупившись, посмотрел на евнуха. Тот затрясся и согнулся до земли, не смея сказать ни слова в свое оправдание.

— Гюльджан, тебе угрожает опасность, — сказал Ходжа Насреддин. — Но я спасу тебя, и ты должна верить мне, ибо мое искусство преодолевает все.

Он замолчал, ожидая ответа. Неужели Гюльджан не поняла, не догадалась? Но вот послышался ее голос:

— Я слышу тебя, Гуссейн Гуслия, мудрец из Багдада, я знаю тебя и верю тебе, о чем говорю здесь в присутствии повелителя, ноги которого я вижу сквозь щелку в моей занавеске.

Памятуя, что перед лицом эмира необходимо сохранять ученый и важный вид, Ходжа Насреддин строго сказал:

— Дай мне руку, дабы я по цвету ногтей мог определить твою болезнь.

Шелк всколыхнулся, раздвинулся. Ходжа Насреддин осторожно взял тонкую руку Гюльджан. Свои чувства он мог выразить только пожатием. Гюльджан слабо ответила ему. Он повернул ее руку ладонью вверх, рассматривал внимательно и долго. «Как она исхудала!» — думал он с болью в сердце. Эмир перегнулся через его плечо, засопел над самым ухом. Ходжа Насреддин показал ему ноготь мизинца Гюльджан и озабоченно покачал головой. Хотя ноготь на мизинце ничем не отличался от остальных ногтей, эмир тем не менее усмотрел в нем что-то особенное, поджал губы и ответил Ходже Насреддину многозначительным понимающим взглядом.

— Что у тебя болит? — спросил Ходжа Насреддин.

— Сердце, — ответила она одним вздохом. — У меня болит сердце от горя и тоски.

— В чем причина твоего горя?

— Я разлучена с тем, кого люблю.

Ходжа Насреддин прошептал эмиру:

— Она заболела оттого, что разлучена с повелителем.

Лицо эмира озарилось радостью. Он засопел еще сильнее.

— Я разлучена с моим любимым! — говорила Гюльджан. — И вот сейчас я чувствую, что мой возлюбленный здесь, рядом, но я не могу ни обнять, ни поцеловать его. О, скоро ли, скоро ли наступит день, когда он обнимет меня и приблизит к себе!..

— Всемогущий аллах! — воскликнул Ходжа Насреддин, прикидываясь изумленным. — Какую сильную страсть внушил ей повелитель за столь короткое время!..

Эмир пришел в совершенный восторг. Он даже не мог спокойно стоять на одном месте, начал переминаться и глупо хихикать в кулак.

— Гюльджан! — сказал Ходжа Насреддин. — Успокойся. Тот, кого ты любишь, слышит тебя.

— Да! да! — не выдержал эмир. — Он слышит, Гюльджан! Твой возлюбленный слышит тебя!

За занавеской раздался тихий смех, подобный журчанию воды. Ходжа Насреддин продолжал:

— Тебе угрожает опасность, Гюльджан, но не бойся. Я, знаменитый мудрец, звездочет и лекарь Гуссейн Гуслия, спасу тебя!

— Он спасет! — вторил восхищенный эмир. — Он обязательно спасет!

— Ты слышишь, что говорит повелитель, — закончил Ходжа Насреддин. — Ты должна верить мне, я избавлю тебя от опасности. День твоей радости близок. Повелитель не может сейчас войти к тебе, ибо я предупредил его, что звезды запрещают ему касаться покрывала женщины. Но звезды уже меняют свое расположение, ты понимаешь, Гюльджан. Скоро они станут в благоприятное сочетание, и ты обнимешь возлюбленного. День, в который я пришлю тебе лекарство, будет предшествовать твоей радости. Ты понимаешь, Гюльджан! Получив лекарство, ты должна быть готовой!

— Спасибо, спасибо тебе, Гуссейн Гуслия! — ответила она, смеясь и плача от радости. — Спасибо тебе, несравненный и мудрый исцелитель болезней. Мой возлюбленный рядом, я чувствую, как вместе, удар в удар, бьются наши сердца!..

Эмир и Ходжа Насреддин вышли.

У калитки нагнал их главный евнух.

— О повелитель! — вскричал он, падая на колени. — Воистину, такого искусного лекаря еще не видывал мир. Три дня она лежала без движения, а сейчас она вдруг покинула свое ложе, смеется и пляшет, и даже удостоила меня оплеухи, когда я приблизился к ней.

«Узнаю, — подумал Ходжа Насреддин. — Она всегда была очень быстрая на руку, моя Гюльджан!»

За утренней трапезой эмир осыпал всех придворных милостями, Ходже Насреддину он подарил два кошелька: большой — наполненный серебром, и поменьше — наполненный золотом.

— Какую, однако, страсть внушили мы ей! — говорил он посмеиваясь. — Признайся, Гуссейн Гуслия, тебе не часто приходилось видеть подобную страсть? А как дрожал ее голос, как она смеялась и плакала!.. То ли еще увидишь ты, Гуссейн Гуслия, когда займешь должность главного евнуха!

Шепот пошел по рядам склонившихся придворных. По лицу Бахтияра скользнула злорадная усмешка. Только сейчас Ходжа Насреддин понял, кто подсказал эмиру эту мысль — назначить его главным евнухом.

— Она уже выздоровела, — продолжал эмир, — и сейчас нет никаких причин медлить с твоим назначением. Сейчас мы с тобой, Гуссейн Гуслия, выпьем чаю, а потом ты можешь уединиться вместе с лекарем. Эй, ты! —

обратился он к лекарю. — Сходи за своими ножами. Бахтияр, подай мне указ.

Ходжа Насреддин подавился горячим чаем и закашлялся. Бахтияр с готовым указом в руках выступил вперед, трепеща от мстительного наслаждения. Эмиру подали перо, он расписался и вернул указ Бахтияру, который поспешно приложил медную резную печать.

Все это совершилось в одну минуту.

— Ты, кажется, лишился языка от столь великого счастья, о почтенный мудрец Гуссейн Гуслия! — с торжествующей улыбкой сказал Бахтияр. — Но придворный обычай требует, чтобы ты возблагодарил эмира.

Ходжа Насреддин преклонил колени перед эмиром.

— Наконец-то свершилась моя мечта! — говорил он. — И как я досадую на задержку, которая проистекает из необходимости приготовить лекарство для наложницы эмира, дабы закрепить ее исцеление, без чего болезнь опять вернется в ее тело.

— Разве приготовление лекарства занимает так много времени? — спросил, встревожившись, Бахтияр. — Лекарство можно приготовить в полчаса.

— Вот именно, — подтвердил эмир. — Полчаса, этого совершенно достаточно.

— О повелитель, все зависит от звезд Сад-ад-Забих, — ответил Ходжа Насреддин, пуская в ход последнее и самое сильное средство. — В зависимости от их сочетания мне понадобится от двух до пяти дней.

— Пять дней! — воскликнул Бахтияр. — О почтеннейший Гуссейн Гуслия, я никогда еще не слышал, чтобы на приготовление лекарства требовалось пять дней!

Ходжа Насреддин обратился к эмиру:

— Может быть, пресветлому владыке благоугодно будет поручить дальнейшее лечение новой наложницы не мне, а великому визирю Бахтияру? Пусть он попробует вылечить ее, но только я тогда не ручаюсь за ее жизнь.

— Что ты, что ты, Гуссейн Гуслия! — испугался эмир. — Бахтияр ничего не понимает в болезнях, да и вообще не очень крепок умом, о чем мы с тобой уже говорили, когда я предлагал тебе занять должность великого визиря.

По всему телу великого визиря прошла медленная судорога; он устремил на Ходжу Насреддина взгляд, полный неутолимой злобы.

— Иди и займись приготовлением лекарства, — закончил эмир. — Но пять дней — это очень долго, Гуссейн Гуслия. Может быть, ты сумеешь управиться побыстрее, ибо нам не терпится увидать тебя главным евнухом.

— Великий владыка, мне и самому не терпится! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Я постараюсь управиться побыстрее.

Пятясь и отвешивая бесчисленные поклоны, он удалился. Бахтияр проводил его взглядом, в котором сквозило явное сожаление, что враг и соперник уходит, не потеряв ничего против прежнего веса.

«О змея, о коварная гиена! — думал Ходжа Насреддин, поскрипывая зубами от ярости. — Но ты опоздал, Бахтияр, теперь ты ничего не успеешь сделать со мной, ибо я знаю то, что хотел узнать: все входы, переходы и выходы в эмирском гареме! О моя драгоценная Гюльджан, ты ухитрилась заболеть как раз вовремя и своей болезнью спасла Ходжу Насреддина от ножей дворцового лекаря. Впрочем, справедливо будет сказать, что хлопотала ты о себе!»

Он направился в свою башню. У ее подножия в тени сидели стражники и играли в кости; один из них, вконец уже проигравшийся, снимал сапоги, чтобы поставить на кон. Было очень жарко, но в башне, за толстыми стенами, царила сырая прохлада. Поднимаясь по узкой каменной лестнице, Ходжа Насреддин прошел мимо своей двери, прямо в верхнюю комнату, где содержался багдадский мудрец.

Старик за время своего плена необычайно оброс, облик его стал диким. Глаза его сверкали из-под нависших бровей. Он встретил Ходжу Насреддина проклятиями:

— Долго ли ты будешь держать меня взаперти, о сын греха, да упадет камень на твою голову и выйдет в подошву! О гнусный плут и обманщик, присвоивший себе мое имя, мой халат, мою чалму и мой пояс, да прогрызут тебя заживо могильные черви, да источат они твой желудок и твою печень!..

Ходжа Насреддин привык и не обижался:

— Почтенный Гуссейн Гуслия, на сегодня я придумал для тебя новую пытку, а именно: сдавливание твоей головы с помощью веревочной петли и палки. Внизу сидят стражники, ты должен кричать так, чтобы они слышали.

Старик подошел к зарешеченному окну и начал кричать скучным голосом:

— О всемогущий аллах! О, мучения мои нестерпимы! О, не сдавливай мне голову с помощью веревочной петли и палки! О, лучше смерть, чем такие муки!

— Подожди, почтенный Гуссейн Гуслия, — остановил его Ходжа Насреддин. — Ты кричишь лениво и без всякого старания, а стражники, не забывай, чрезвычайно опытны в подобных делах. Если они в твоих криках уловят притворство и донесут Арсланбеку, тогда ты попадешь в руки настоящего палача. Так лучше прояви должное усердие сейчас. Вот я покажу тебе, как нужно кричать.

Ходжа Насреддин подошел к окну, набрал полную грудь воздуха и вдруг завопил так, что старик, заткнув уши, шарахнулся в сторону.

— О потомок нечестивых! — воскликнул он. — Да где же мне взять такую глотку, чтобы крики мои были слышны на другом конце города!

— Это для тебя единственный способ избегнуть рук палача, — возразил Ходжа Насреддин.

Старику пришлось поднатужиться. Он кричал и вопил столь горестно, что стражники у подножия башни прервали на время игру и слушали с упоением.

После этого старик долго не мог откашляться и отдышаться.

— Ох! — говорил он. — Разве можно задавать такую работу моей старой гортани! Ну, доволен ли ты сегодня моими воплями, презренный оборванец, да посетит тебя Азраил?

— Вполне доволен, — ответил Ходжа Насреддин. — И вот сейчас, мудрейший Гуссейн Гуслия, ты получишь награду за свое усердие.

Он вытащил кошельки, пожалованные эмиром, высыпал деньги на поднос и разделил на две равные части. Старик не переставал ругаться и проклинать.

— За что ты ругаешь меня? — спокойно сказал Ходжа Насреддин. — Разве я опозорил чем-нибудь имя Гуссейна Гуслия? Или посрамил его ученость? Вот деньги, видишь? Эмир дал их Гуссейну Гуслия, знаменитому звездочету и лекарю, за то, что он вылечил девушку из гарема.

— Ты вылечил девушку? — старик задохнулся. — Но что ты понимаешь в болезнях, ты, невежда, плут и голодранец!

— Я ничего не понимаю в болезнях, зато понимаю в девушках, — ответил Ходжа Насреддин. — И будет справедливо поэтому разделить эмирский подарок пополам — тебе за то, что ты понимаешь, а мне за то, в чем я понимаю. Кроме того, должен сказать тебе, Гуссейн Гуслия, что я лечил ее не как-нибудь, но исследовав предварительно расположение звезд. Вчера ночью я увидел, что звезды Сад-ад-Сууд совпали со звездами Сад-аль-Ахбия, в то время как созвездие Скорпиона обратилось к созвездию Козерога.

— Что? — закричал старик и в негодовании принялся бегать по комнате. — О невежда, достойный лишь погонять ослов. Ты не знаешь даже того, что звезды Сад-ад-Сууд не могут совпасть со звездами Сад-аль-Ахбия, ибо и те и другие находятся в одном созвездии! И как ты мог увидеть в это время года созвездие Скорпиона? Я сам всю ночь смотрел на небо, там совпадали звезды Сад-Була и Ас-Симак, в то время как Аль-Джахба опускалась, ты слышишь, невежда? Никакого Скорпиона там нет сейчас!.. Ты перепутал, о погонщик ослов, взявшийся не за свое дело, ты принял за Скорпиона звезды Аль-Хака, которые противостоят сейчас звездам Аль-Бутейн!..

Негодуя и обличая Ходжу Насреддина в невежестве, он долго говорил об истинном расположении звезд. Ходжа Насреддин слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово, дабы потом не ошибиться, разговаривая с эмиром в присутствии мудрецов.

— О невежда, сын невежды, внук и правнук невежды! — продолжал старик. — Ты даже не знаешь, что сейчас, в девятнадцатое стояние луны, именуемое Аш-Шуала и приходящееся на знак Стрельца, человеческие судьбы определяются только звездами этого знака и никакими другими, о чем ясно сказано в книге мудрейшего Шихаб-ад-дина Махмуда ибн-Караджи...

«Шихаб-ад-дина Махмуда ибн-Караджи, — запоминал Ходжа Насреддин. — Завтра же в присутствии эмира уличу бородатого мудреца в незнании этой книги, дабы вселить в его сердце спасительный страх перед моей ученостью...»

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В доме у ростовщика Джафара стояли двенадцать запечатанных горшков, полных золота, ему же хотелось иметь непременно двадцать. Но судьба, словно бы нарочно,

с целью предостеречь неопытных и доверчивых простаков, отметила Джафара печатью необыкновенного шельмовства: ему приходилось употреблять много усилий, чтобы завлечь в свои сети новую жертву; горшки его наполнялись медленнее, чем он бы хотел. «Ах, если бы я мог избавиться от моего уродства! — мечтал он. — Тогда люди не разбегались бы, завидев меня, относились бы ко мне с доверием и не подозревали коварства в моих речах. И мне тогда было бы много легче обманывать, и мои доходы умножились бы несравненно».

Когда по городу разнесся слух, что новый эмирский мудрец Гуссейн Гуслия проявил необычайное искусство в исцелении болезней, ростовщик Джафар, захватив корзину с богатыми подарками, явился во дворец к Арсланбеку.

Арсланбек, заглянув в корзину, выразил полную готовность услужить:

— Ты пришел как раз вовремя, почтенный Джафар. Наш повелитель пребывает сегодня в счастливом расположении духа, я надеюсь, что он не откажет тебе.

Эмир выслушал ростовщика, принял подарок — золотую шахматную доску с белыми полями из слоновой кости — и приказал позвать мудреца.

— Гуссейн Гуслия, — сказал он, когда Ходжа Насреддин преклонил колени перед ним. — Вот этот человек, ростовщик Джафар, — наш преданный раб, имеющий заслуги перед нами. Повелеваем тебе немедленно исцелить его от горба, хромоты, бельма и прочих уродств.

И эмир отвернулся в знак того, что не желает слышать никаких возражений: Ходже Насреддину оставалось только поклониться и выйти. Следом выполз ростовщик, влача, подобно черепахе, свой горб.

— Пойдем же скорее, о мудрейший Гуссейн Гуслия! — говорил он, не узнавая под фальшивой бородой Ходжу Насреддина. — Пойдем скорее, солнце еще не зашло, и я успею исцелиться до ночи... Ты ведь слышал — эмир приказал тебе немедленно исцелить меня!

Ходжа Насреддин проклинал в душе и ростовщика, и эмира, и самого себя за то, что переусердствовал в превознесении своей мудрости. Ну как он выпутается теперь из этого дела? Ростовщик дергал Ходжу Насреддина за рукав, понуждая прибавить шагу. Улицы были пустынны, ноги Ходжи Насреддина утопали в горячей пыли. Он шел и думал: «Ну как я теперь выпутаюсь? — Вдруг он

остановился. — Кажется, мне пришло время сдержать мою клятву! — В одно мгновение он все рассчитал и взвесил. — Да, время пришло! Ростовщик, о безжалостный истязатель бедняков, сегодня ты будешь утоплен!». Он отвернулся, чтобы ростовщик не заметил блеска в его черных глазах.

Они свернули в переулок, где крутил по дороге ветер, взметая пыльные смерчи. Ростовщик открыл перед Ходжой Насреддином калитку своего дома. В глубине двора за низеньким забором, отделявшим женскую половину, Ходжа Насреддин заметил сквозь листву какое-то движение, уловил тихий шепот и смех. То были жены и наложницы, радовавшиеся приходу гостя; иных развлечений они не знали в своем плену. Ростовщик приостановился, грозно посмотрел — и все затихло... «Я освобожу вас сегодня, прекрасные пленницы!» — подумал Ходжа Насреддин.

Комната, в которую привел его ростовщик, не имела окон, а дверь запиралась тремя замками и еще какими-то засовами, тайна которых была известна только хозяину. Он долго возился, звеня отмычками, прежде чем засовы упали и дверь открылась. Именно здесь хранились горшки, здесь же ростовщик спал на досках, прикрывавших вход в подземелье.

— Разденься! — приказал Ходжа Насреддин. Ростовщик сбросил одежду. Нагота его была неописуемо безобразна. Ходжа Насреддин закрыл дверь и начал творить заклинания.

Тем временем во дворе собрались многочисленные родственники Джафара. Многие из них были должны ему и надеялись, что сегодня на радостях он простит долги. Напрасно они надеялись: ростовщик слышал через закрытую дверь голоса своих должников и злобно усмехался в душе. «Я скажу им сегодня, что прощаю долги, — думал он, — но расписок я им не верну, расписки останутся у меня. И они, успокоившись, начнут беспечную жизнь, а я ничего не скажу, я буду молчать, но втайне все время подсчитывать. И когда на каждую таньга долга нарастет еще десять таньга и сумма долга превысит стоимость домов, садов и виноградников, принадлежащих ныне моим должникам, я позову судью, откажусь от своего обещания, предъявлю расписки, продам все их имущество, оставлю их нищими и наполню золотом еще один горшок!» Так он мечтал, снедаемый неутолимым корыстолюбием.

— Встань и оденься! — сказал Ходжа Насреддин. — Сейчас мы пойдем к водоему святого Ахмеда, и ты окунешься в его священные воды. Это необходимо для твоего исцеления.

— Водоем святого Ахмеда! — испуганно воскликнул ростовщик. — Я уже тонул однажды в его водах. Запомни, о мудрейший Гуссейн Гуслия, что плавать я не умею.

— Ты должен на пути к водоему беспрерывно читать молитвы, — сказал Ходжа Насреддин. — И ты не должен думать о земных вещах. Кроме того, ты возьмешь кошелек с золотом и каждому встречному будешь дарить золотую монету.

Ростовщик стонал и охал, но выполнил все в точности. На пути встречались ему разные люди — ремесленники, нищие; меняясь в лице, он каждому дарил золотую монету. Сзади шли многочисленные родственники. Ходжа Насреддин нарочно позвал их посмотреть, дабы избегнуть впоследствии обвинения в преднамеренном утоплении ростовщика.

Солнце опускалось за кровли, деревья накрыли водоем своей тенью, звенели комары. Джафар вторично разделся, подошел к воде.

— Здесь очень глубоко, — сказал он жалобно. — Гуссейн Гуслия, ты не забыл? Ведь я не умею плавать.

Родственники наблюдали в безмолвии. Ростовщик, прикрывая ладонью свой срам и боязливо поджимаясь, обошел вокруг водоема, выбирая место помельче.

Но вот Джафар присел на корточки и, держась за нависшие кусты, опасливо попробовал воду ногой.

— Холодно, — пожаловался он; глаза его округлились.

— Ты слишком медлишь, — ответил Ходжа Насреддин, стараясь не смотреть на ростовщика, чтобы не допустить к своему сердцу неправедной жалости. Но он вспомнил страдания бедняков, разоренных Джафаром, запекшиеся губы больного ребенка, вспомнил слезы старого Нияза; лицо Ходжи Насреддина загорелось от гнева, он смело и открыто посмотрел ростовщику прямо в глаза.

— Ты слишком медлишь! — повторил он. — Если ты хочешь исцелиться, то полезай.

Ростовщик полез. Он лез очень медленно, и когда его ноги были по колено в воде, то животом он все еще лежал на берегу. Наконец — выпрямился. Глубина сразу же у

берега была по пояс ему. Всколыхнулись водоросли, щекоча холодными прикосновениями его тело. Зябко пошевеливая лопатками, он шагнул вперед и оглянулся. Сделал еще один шаг и оглянулся. В глазах его можно было прочесть немую мольбу. Ходжа Насреддин не внял этой мольбе. Пожалеть ростовщика значило бы обречь на дальнейшие страдания тысячи бедняков.

Вода покрыла горб ростовщика, но Ходжа Насреддин неумолимо загонял ростовщика все дальше в глубину.

— Еще, еще... Пусть вода коснется твоих ушей, иначе я не берусь исцелять. Ну, иди же смелее, почтенный Джафар! Смелее! Шагни еще! Ну еще немного!

— Элп! — вдруг сказал ростовщик и ушел под воду с головой.

— Элп! — повторил он, показываясь через секунду на поверхности.

— Он тонет! Он тонет! — закричали родственники. Поднялась суматоха и толкотня, ростовщику протягивали руки, палки; одни хотели помочь ему от чистого сердца, другие старались только для вида.

Ходжа Насреддин сразу определил, кто из этих людей и сколько должен. Сам он бегал, кричал и хлопотал больше всех:

— Давай! Ну давай же руку, почтенный Джафар! Ты слышишь, давай руку! Давай!

— Давай! Давай! — хором вторили родственники.

Ростовщик продолжал молча нырять, показываясь на поверхности все реже и реже. И здесь, в этих священных водах, он нашел бы свой конец, если бы не прибежал откуда-то босой водонос с пустым бурдюком за спиной.

— Ба! — воскликнул он, увидев тонущего. — Да ведь это ростовщик Джафар!

И, не раздумывая, прямо как был, в одежде, он прыгнул в воду, протянул руку, отрывисто крикнув:

— На!

Ростовщик уцепился и был благополучно вытащен.

Пока он, лежа на берегу, приходил в себя, водонос словоохотливо пояснял родственникам:

— Вы неправильно спасали его. Вы кричали «давай», в то время как нужно было кричать ему «на»! Вы знаете, конечно, что почтенный Джафар уже тонул однажды в этом священном водоеме и был спасен каким-то человеком, проезжавшим мимо на сером ишаке. Этот человек применил для спасения ростовщика именно

такой способ, а я запомнил. Сегодня эта наука мне пригодилась...

Ходжа Насреддин слушал, кусая губы. Выходило так, что он спас ростовщика дважды — один раз своими руками и второй — руками водоноса. «Нет, я все-таки утоплю его, хотя бы мне пришлось для этого прожить в Бухаре еще целый год», — думал он. Тем временем ростовщик отдышался и начал сварливо кричать:

— О Гуссейн Гуслия, ты взялся исцелить меня, а вместо этого чуть не утопил меня! Клянусь аллахом, никогда больше я не подойду к этому водоему ближе чем на сто шагов! И какой же ты мудрец, Гуссейн Гуслия, если не знаешь, как нужно спасать людей из воды; простой водонос превосходит тебя своим разумом! Подайте мой халат и мою чалму; идем, Гуссейн Гуслия; уже темнеет, а нам нужно завершить начатое. Водонос! — добавил ростовщик, поднимаясь. — Не забудь, что срок твоему долгу истекает через неделю. Но я хочу наградить тебя и поэтому прощаю тебе половину... то есть я хотел сказать — четверть... нет, одну десятую часть твоего долга. Это вполне достаточная награда, ибо я мог бы выплыть сам, без твоей помощи.

— О почтенный Джафар, — робко сказал водонос. — Ты не выплыл бы без моей помощи. Прости мне хотя бы четверть моего долга.

— Ага! Значит, ты спасал меня с корыстными целями! — закричал ростовщик. — Значит, в тебе говорили не чувства доброго мусульманина, но одно лишь корыстолюбие! За это, водонос, ты подлежишь наказанию. Из твоего долга я ничего не прощаю тебе!

Водонос, понурясь, отошел. Ходжа Насреддин с жалостью посмотрел на него, потом — с ненавистью и презрением — на Джафара.

— Гуссейн Гуслия, идем скорее, — торопил ростовщик. — О чем ты шепчешься там с этим корыстолюбивым водоносом?

— Подожди, — ответил Ходжа Насреддин. — Ты забыл, что должен дарить каждому встречному золотую монету. Почему ты ничего не дал водоносу?

— О, горе мне, о, разорение! — воскликнул ростовщик. — Этому презренному корыстолюбцу я должен еще давать деньги! — Он развязал кошелек, швырнул монету. — Пусть это будет последняя. Уже стемнело, и мы никого не встретим на обратном пути.

Но Ходжа Насреддин не зря шептался о чем-то с водоносом.

Двинулись в обратный путь — впереди ростовщик, за ним — Ходжа Насреддин, сзади — родственники. Но не прошли они и пятидесяти шагов, как навстречу им из переулка вышел водонос — тот самый, которого они только что оставили на берегу.

Ростовщик отвернулся, хотел пройти мимо. Ходжа Насреддин строгим голосом остановил его:

— Не забывай, Джафар: каждому встречному!

В ночном воздухе пронесся мучительный стон — это Джафар развязывал кошелек.

Получив монету, водонос исчез в темноте. Но через пятьдесят шагов — опять вышел навстречу. Ростовщик побелел и затрясся.

— Гуссейн Гуслия, — жалобно сказал он. — Посмотри, ведь это опять тот же самый...

— Каждому встречному, — повторил Ходжа Насреддин.

В тихом воздухе снова прозвучал стон — это Джафар развязывал кошелек.

Так было всю дорогу. Водонос через каждые пятьдесят шагов попадался навстречу. Он запыхался, дышал тяжело и прерывисто, по его лицу струился пот. Он ничего не понимал в происходящем. Он хватал монету и кидался опрометью в обход, чтобы через минуту опять выскочить откуда-нибудь из кустов на дорогу.

Ростовщик, спасая свои деньги, все убыстрял и убыстрял шаги, наконец кинулся бегом. Но разве мог он со своей хромотой перегнать водоноса, который, обезумев, мчался как вихрь, перемахивал через заборы; он ухитрился выскочить навстречу ростовщику не менее пятнадцати раз, и наконец, перед самым домом, он спрыгнул откуда-то с крыши и загородил собою калитку. Получив последнюю монету, он в изнеможении повалился на землю.

Ростовщик проскочил в калитку. За ним вошел Ходжа Насреддин. Ростовщик швырнул к его ногам пустой кошелек и закричал в бешенстве:

— Гуссейн Гуслия, мое исцеление обходится мне слишком дорого! Я уже потратил больше трех тысяч таньга на подарки, на милостыню и на этого проклятого водоноса!

— Успокойся! — ответил Ходжа Насреддин. — Через полчаса ты будешь вознагражден. Пусть посреди двора зажгут большой костер.

Пока слуги носили дрова и разжигали костер, Ходжа Насреддин думал о том, как бы одурачить ростовщика и взвалить на него всю вину за неудавшееся исцеление. Разные способы приходили ему в голову, но он отвергал их подряд, не признавая достойными. Костер между тем разгорался, языки пламени, слегка колеблемые ветром, поднялись высоко, озарив багряным блеском листву виноградника.

— Разденься, Джафар, и трижды обойди вокруг костра, — сказал Ходжа Насреддин. Он все еще не придумал достойного способа и выигрывал время. Лицо его было озабоченным.

Родственники наблюдали в безмолвии. Ростовщик ходил вокруг костра, словно обезьяна на цепи, болтая руками, свисавшими почти до колен.

Лицо Ходжи Насреддина вдруг прояснилось. Он облегченно вздохнул и, откинувшись, расправил плечи.

— Дайте мне одеяло! — сказал он звучным голосом. — Джафар и все остальные, подойдите ко мне!

Он выстроил родственников кольцом, а ростовщика посадил в середине на землю. Потом он обратился к ним со следующими словами:

— Сейчас я накрою Джафара этим одеялом и прочту молитву. А все вы, и Джафар в том числе, должны, закрыв глаза, повторять эту молитву за мной. И когда я сниму одеяло, Джафар будет уже исцелен. Но я должен предупредить вас об одном необычайно важном условии, и если кто-нибудь нарушит это условие, то Джафар останется неисцеленным. Слушайте внимательно и запоминайте.

Родственники молчали, готовые слушать и запоминать.

— Когда вы будете повторять за мною слова молитвы, — раздельно и громко сказал Ходжа Насреддин, — ни один из вас, ни тем более сам Джафар, не должен думать об обезьяне! Если кто-нибудь из вас начнет думать о ней или, что еще хуже, представлять ее себе в своем воображении — с хвостом, красным задом, отвратительной мордой и желтыми клыками, — тогда, конечно, никакого исцеления не будет и не может быть, ибо свершение благочестивого дела несовместимо с мыслями о столь гнусном существе, как обезьяна. Вы поняли меня?

— Поняли! — ответили родственники.

— Готовься, Джафар, закрой глаза! — торжественно сказал Ходжа Насреддин, накрывая ростовщика одеялом. — Теперь вы закройте глаза, — обратился он к родственникам. — И помните мое условие: не думать об обезьяне.

Он произнес нараспев первые слова молитвы:

— Мудрый аллах и всеведущий, силою священных знаков Алиф, Лам, Мим и Ра ниспошли исцеление ничтожному рабу твоему Джафару.

— Мудрый аллах и всеведущий, — вторил разноголосый хор родственников.

И вот на лице одного Ходжа Насреддин заметил тревогу и смущение; второй родственник начал кашлять, третий — путать слова, а четвертый — трясти головой, точно бы стараясь отогнать навязчивое видение. А через минуту и сам Джафар беспокойно заворочался под одеялом: обезьяна, отвратительная и невыразимо гнусная, с длинным хвостом и желтыми клыками, неотступно стояла перед его умственным взором и даже дразнилась, показывая ему попеременно то язык, то круглый красный зад, то есть места наиболее неприличные для созерцания мусульманина.

Ходжа Насреддин продолжал громко читать молитву, и вдруг остановился, как бы прислушиваясь. За ним умолкли родственники, некоторые попятились. Джафар заскрипел под одеялом зубами, ибо его обезьяна начала проделывать совсем уж непристойные штуки.

— Как! — громовым голосом воскликнул Ходжа Насреддин. — О нечестивцы и богохульники! Вы нарушили мой запрет, вы осмелились, читая молитву, думать о том, о чем я запретил вам думать! — Он сорвал одеяло и напустился на ростовщика: — Зачем ты позвал меня! Теперь я понимаю, что ты не хотел исцеляться! Ты хотел унизить мою мудрость, тебя подучили мои враги! Но берегись, Джафар! Завтра же обо всем будет известно эмиру! Я расскажу ему, что ты, читая молитву, нарочно с богохульными целями все время думал об обезьяне! Берегись, Джафар, и вы все берегитесь: это вам не пройдет даром, вы знаете, какое полагается наказание за богохульство!

А так как за богохульство действительно полагалось очень тяжелое наказание, то все родственники оцепенели от ужаса, а ростовщик начал что-то лепетать, стараясь

оправдаться. Но Ходжа Насреддин не слушал: он резко повернулся и ушел, хлопнув калиткой...

Вскоре взошла луна, залила всю Бухару мягким и теплым светом. А в доме ростовщика до поздней ночи слышались крики и брань: там разбирались, кто первый подумал об обезьяне...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Одурачив ростовщика, Ходжа Насреддин отправился во дворец.

Бухара засыпала, окончив дневные труды. Прохладный мрак стоял в переулках, под мостами звучно пела вода. Пахло сырой землей, кое-где ноги Ходжи Насреддина разъезжались по грязи: это значило, что здесь работал особенно усердный поливальщик, обильно увлажнивший дорогу, дабы порыв ночного ветра не поднял пыли и не потревожил сна уставших людей во дворах и на крышах. Сады, потонувшие в темноте, дышали поверх заборов ночной благоуханной свежестью. Далекие звезды подмигивали с высоты Ходже Насреддину, обещали ему удачу. «Да! — посмеивался он. — Мир устроен все-таки неплохо для того, кто носит на плечах голову, а не пустой горшок!»

По пути он завернул на базарную площадь, увидел яркие гостеприимные огни в чайхане своего друга Али. Ходжа Насреддин обогнул чайхану, постучал в дверь. Ему открыл сам хозяин. Они обнялись, вошли в темную комнату. За перегородкой слышались голоса, смех, звон посуды. Али запер дверь, зажег коптилку.

— Все готово, — сообщил он. — Я буду ждать Гюльджан в чайхане. Кузнец Юсуп приготовил ей безопасное убежище. Ишак день и ночь стоит оседланным, он здоров, исправно кушает и очень растолстел.

— Спасибо, Али. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь отблагодарить тебя.

— Удастся, — сказал чайханщик. — Тебе, Ходжа Насреддин, все удается, и не будем больше говорить о благодарности.

Они сели, начали шептаться. Чайханщик показал мужской халат, приготовленный для Гюльджан, большую чалму, чтобы скрыть ее косы.

Они договорились обо всем. Ходжа Насреддин уже собрался уходить, когда услышал за стеной знакомый голос. Это был голос рябого шпиона. Ходжа Насреддин приоткрыл дверь, выглянул.

Рябой шпион в богатом халате, в чалме, с фальшивой бородкой на лице сидел в кругу простолюдинов и важно разглагольствовал:

— Тот, кто все время выдавал себя перед вами за Ходжу Насреддина — вовсе не Ходжа Насреддин, а просто самозванец. Настоящий Ходжа Насреддин — это я! Но я давно отрекся от всех моих заблуждений, поняв их гибельность и нечестивость. И я, настоящий, подлинный Ходжа Насреддин, советую вам всем последовать моему примеру. Я понял наконец, что ислам — это единственная праведная вера, понял, что наш великий, солнцеподобный эмир действительно является наместником аллаха на земле, что доказуется его несравненной мудростью, его благочестием и милосердием. Это говорю вам я, подлинный и настоящий Ходжа Насреддин!

— Эге! — тихонько сказал Ходжа Насреддин, подтолкнув локтем чайханщика. — На какие штуки они пустились, думая, что меня нет в городе. Придется напомнить им о себе. Али, я оставлю пока у тебя свою фальшивую бороду, свой парчовый халат и чалму, а ты дай мне какую-нибудь ветошь.

Чайханщик подал ему халат, давно уж служивший подстилкой, — грязный, рваный и полный блох.

— Ты их нарочно разводишь? — спросил Ходжа Насреддин, натягивая халат. — Ты, наверное, собираешься открыть торговлю блошиным мясом. Но блохи съедят тебя раньше, Али.

С этими словами он вышел на улицу. Чайханщик вернулся к своим гостям, нетерпеливо ожидая, что произойдет дальше. Ждать ему пришлось недолго. Из переулка вышел Ходжа Насреддин — утомленной походкой человека, оставившего за собой целый день пути. Он поднялся в чайхану, сел в тени, потребовал чаю. Никто не обращал внимания на Ходжу Насреддина: мало ли разных людей ходит по бухарским дорогам!

Рябой шпион продолжал:

— Заблуждения мои были неисчислимы, но теперь я, Ходжа Насреддин, раскаялся и дал клятву быть всегда благочестивым, выполнять все предписания ислама, повиноваться эмиру, его визирям, его управителям и страж-

никам. С тех пор я обрел покой и блаженство и приумножил состояние; раньше я был презренным бродягой, а теперь живу, как полагается жить всякому доброму мусульманину.

Какой-то погонщик с плетью за поясом почтительно протянул рябому шпиону пиалу с чаем:

— Я приехал в Бухару из Коканда, о несравненный Ходжа Насреддин. Я много слышал о твоей мудрости, но я никогда в жизни не думал, что мне придется встретиться с тобой и даже разговаривать. Теперь я буду рассказывать всем о встрече с тобой и передавать твои слова.

— Вот, вот! — Рябой шпион одобрительно кивнул. — Рассказывай всем, что Ходжа Насреддин исправился, отрекся от своих заблуждений, теперь он благочестивый мусульманин, верный раб великого эмира. Пусть все знают об этом.

— У меня есть к тебе вопрос, о несравненный Ходжа Насреддин, — продолжал погонщик. — Я благочестивый мусульманин и не хочу нарушать закона даже по неведению, между тем я не знаю, как нужно поступать в тех случаях, когда купаешься в речке и вдруг услышишь призыв муэдзина. В какую сторону лучше всего обратить свой взор?

Рябой шпион снисходительно усмехнулся:

— Конечно, в сторону Мекки...

Из темного угла донеслось:

— В сторону одежды. Так будет лучше всего, чтобы не возвращаться голым домой.

Несмотря на почтение к рябому шпиону, все опустили головы, скрывая улыбки.

Шпион пристально посмотрел на Ходжу Насреддина, но в тени не узнал его.

— Это кто еще там квакает из угла? — сказал он высокомерно. — Эй ты, оборванец, ты, кажется, вздумал состязаться в остроумии с Ходжой Насреддином?

— Где уж мне, ничтожному, — ответил Ходжа Насреддин и скромно занялся в своем углу чаепитием.

К шпиону обратился какой-то крестьянин:

— Скажи мне, о благочестивый Ходжа Насреддин, когда мусульманину проходится участвовать в похоронной процессии, где по предписаниям ислама лучше всего находиться — впереди погребальных носилок или позади?

Шпион с важностью поднял палец, собираясь ответить, но голос из угла опередил его:

— Это совершенно безразлично — впереди или позади, лишь бы не на самых носилках.

Смешливый чайханщик схватился за пузо и присел от хохота; не могли удержаться и остальные. Этот человек в углу не лазил за словом в карман и мог бы, пожалуй, при случае поспорить с Ходжой Насреддином.

Шпион, свирепея, медленно повернул голову:

— Эй, ты, как тебя там! У тебя, я вижу, слишком длинный язык, как бы тебе не пришлось с ним расстаться!.. Мне не составило бы никакого труда уничтожить его своим остроумием, — добавил шпион, обращаясь к людям, окружавшим его, — но мы ведем сейчас благочестивую и душеспасительную беседу, в которой остроумие неуместно. Всему свое время, и поэтому я оставлю без ответа слова оборванца. Итак, я, Ходжа Насреддин, призываю вас, о мусульмане, во всем следовать моему примеру: уважайте мулл, повинуйтесь властям, и благоденствие сойдет на ваши дома. А самое главное: не слушайте разных подозрительных бродяг, ложно именующих себя Ходжой Насреддином, вроде того, например, бродяги, который недавно бесчинствовал в Бухаре и бесследно исчез, как только услышал о прибытии в город подлинного Ходжи Насреддина. Ловите, хватайте таких самозванцев и предавайте их в руки эмирской стражи.

— Правильно! — воскликнул Ходжа Насреддин, выступив из темноты на свет.

Все сразу узнали его, оцепенели от неожиданности.

Шпион побелел. Ходжа Насреддин вплотную подошел к нему, а чайханщик Али незаметно стал позади, готовый схватить шпиона в любую минуту.

— Значит, ты и есть подлинный Ходжа Насреддин?

Шпион в замешательстве оглянулся, щеки его дрожали, глаза бегали. Однако он нашел в себе силы ответить:

— Да, я и есть подлинный, настоящий Ходжа Насреддин, все же остальные — самозванцы, и ты в том числе!

— Мусульмане, чего же вы смотрите! — закричал Ходжа Насреддин. — Он сам признался! Хватайте его, держите, разве не слышали вы эмирского указа и не знаете, как надо поступать с Ходжой Насреддином? Хватайте его, иначе вы сами поплатитесь, как укрыватели!

Он сорвал со шпиона фальшивую бороду.

Все в чайхане узнали рябое ненавистное лицо с плоским носом и бегающими глазами.

— Он сам признался! — вскричал Ходжа Насреддин, подмигнув направо. — Хватайте Ходжу Насреддина! — Он подмигнул налево.

Чайханщик Али первый схватил шпиона. Тот рванулся было бежать, но подоспели водоносы, крестьяне, ремесленники. Некоторое время ничего не было видно, кроме поднимающихся и опускающихся кулаков. Ходжа Насреддин старался больше всех.

— Я пошутил! — кричал, стеная, шпион. — О мусульмане, я пошутил, я не Ходжа Насреддин! Отпустите меня!

— Врешь! — кричал в ответ Ходжа Насреддин, работая кулаками, подобно хорошему тестомесу. — Ты сам сознался, мы слышали! О мусульмане, мы все здесь беспредельно преданы нашему эмиру и должны в точности выполнить его указ, поэтому бейте Ходжу Насреддина, о мусульмане! Тащите его во дворец, чтобы предать в руки стражников! Бейте его, во славу аллаха и во славу эмира!

Шпиона поволокли во дворец. Дорогой били его с неослабевающим усердием. Ходжа Насреддин, наградив его прощальным пинком пониже спины, вернулся в чайхану.

— Уф! — сказал он, вытирая пот. — Мы, кажется, его славно отделали! Да и сейчас ему достается, ты слышишь, Али?

Издали неслись возбужденные голоса и жалобные крики шпиона. Он всем насолил, этот шпион, и сегодня каждый стремился отплатить ему, прикрываясь эмирским указом.

Довольный и радостный, чайханщик, усмехаясь, поглаживал пузо:

— Это ему наука. Больше он никогда не придет в мою чайхану!

Ходжа Насреддин переоделся в задней комнате, прицепил бороду и превратился опять в Гуссейна Гуслия, мудреца из Багдада.

Когда он пришел во дворец, то услышал стоны, несущиеся из караульного помещения. Он заглянул туда.

Рябой шпион, весь опухший, избитый, измятый, лежал на кошме, а над ним с фонарем в руке стоял Арсланбек.

— Почтенный Арсланбек, что случилось? — невинным голосом спросил Ходжа Насреддин.

— Очень нехорошее дело, Гуссейн Гуслия. Этот бродяга Ходжа Насреддин опять вернулся в город и уже успел избить нашего самого искусного шпиона, который, по моему приказанию, выдавал себя всюду за Ходжу Насреддина и произносил благочестивые речи с целью ослабить вредное влияние подлинного Ходжи Насреддина на умы жителей. Но ты видишь, что из этого получилось!

— Ох, ох! — сказал шпион, поднимая лицо, разукрашенное синяками и кровоподтеками. — Никогда больше не буду я связываться с этим проклятым бродягой, ибо знаю, что в следующий раз он убьет меня. И я не хочу больше служить шпионом, завтра же я уеду куда-нибудь подальше, где никто не знает меня, и займусь там честным трудом.

«Однако мои друзья постарались на совесть! — думал Ходжа Насреддин, разглядывая шпиона и чувствуя даже некоторую жалость к нему. — Если бы до дворца было шагов на двести подальше, то вряд ли бы они доставили его живым. Посмотрим, пойдет ли ему на пользу этот урок».

На утренней заре Ходжа Насреддин видел из окна своей башни, как вышел из ворот дворца рябой шпион с маленьким узелком в руках. Припадая то на правую, то на левую ногу, хватаясь за грудь, за плечи и за бока, поминутно присаживаясь, чтобы отдышаться, он пересек базарную площадь, освещенную первыми прохладными лучами, и исчез в тени крытых рядов. На смену темной ночи вставало утро — чистое, прозрачное, ясное, омытое росой, пронизанное солнечным светом. Птицы щелкали, свистели и щебетали, бабочки поднимались высоко, чтобы согреться в первых лучах, пчела опустилась на подоконник перед Ходжой Насреддином и начала ползать в поисках меда, запах которого донесся до нее из кувшина, стоявшего на окне.

Всходило солнце, старинный, неизменный друг Ходжи Насреддина; каждое утро встречались они, и каждое утро Ходжа Насреддин умел обрадоваться солнцу так, словно не видел его целый год. Всходило солнце, как добрый, щедрый бог, равно на всех изливающий милость, и все в мире, благодарно ликуя, раскрывало навстречу ему свою красоту, горело, сверкало и сияло в утренних лучах — пушистые облака, изразцы минаретов, мокрые листья, вода, трава и цветы; даже простой угрюмый

булыжник, позабытый и обделенный природой, даже он, встречая солнце, сумел украсить себя, искрился и блестел в изломе, словно осыпанный алмазной пылью. И разве мог Ходжа Насреддин в этот час оставаться холодным перед лицом своего сияющего друга? Дерево трепетало под яркими солнечными лучами, и Ходжа Насреддин трепетал вместе с ним, словно сам был одет зеленой листвой; на ближнем минарете ворковали голуби, чистили крылья, и Ходже Насреддину хотелось почистить крыло; две бабочки порхали перед окном — ему хотелось быть третьим в их легкой игре. Глаза Ходжи Насреддина сияли от счастья, он вспомнил рябого шпиона и пожелал, чтобы это утро для него было утром новой жизни — чистой и ясной. Но тут же он подумал с огорчением, что в душе этого человека накопилось столько мерзости, что он не сможет освободиться от нее и, отлежавшись, возьмется опять за старое.

Ходжа Насреддин, как это будет видно из дальнейшего, не ошибся в своих предвидениях. Слишком хорошо знал он людей, чтобы ошибаться в них. А как хотелось ему ошибиться, как обрадовался бы он духовному исцелению рябого шпиона! Но гнилому не дано снова стать цветущим и свежим, зловоние не может превратиться в благоухание. Ходжа Насреддин вздохнул с огорчением.

Самой заветной мечтой его была мечта о мире, в котором все люди будут жить как братья, не зная ни алчности, ни зависти, ни коварства, ни злобы, помогая друг другу в беде и разделяя радость каждого как общую радость. Но, мечтая о таком счастливом мире, он с горечью видел, что люди живут неправильно, угнетают и порабощают друг друга и оскверняют души свои всяческой мерзостью. Сколько времени понадобится людям, чтобы понять наконец законы чистой и честной жизни? А в том, что люди когда-нибудь поймут эти законы, Ходжа Насреддин не сомневался нисколько. Он твердо верил, что хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих; ростовщик Джафар и рябой шпион с их насквозь прогнившими душами — это лишь уродливые исключения; он твердо верил, что от природы человеку дается только хорошее, а все плохое в нем — это чуждая накипь, привнесенная в человеческую душу извне неправильным, несправедливо устроенным порядком жизни; он твердо верил, что будет время, когда люди начнут перестраивать и очищать жизнь, очищая в этой благородной работе и души свои от

всяческой скверны... Тому же, что он, Ходжа Насреддин, думал именно так, а не иначе, служат доказательством многочисленные истории о нем, на которых отпечатался чекан души его, в том числе эта книга; и хотя многие из корысти, или же низкой зависти, или по злобе старались очернить его память, они не достигли успеха в своем намерении, ибо лжи никогда не дано восторжествовать над правдой. Память о Ходже Насреддине осталась и впредь останется благородной и светлой, сохраняющей, подобно алмазу, вечно и вопреки всему свой чистой блеск! И до сих пор путники, останавливаясь перед скромным надгробием в турецком Ак-Шехире, вспоминают добрым словом Ходжу Насреддина, веселого бродягу из Бухары, и повторяют слова поэта: «Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету как ветер, — как ветер, который после его смерти разнес по вселенной благоухание цветущих роз его сердца. Прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы оставить по себе в мире чекан души своей и обозреть всю красоту мира!».

Впрочем, некоторые говорят, что под этим надгробием никто не лежит, что лукавый Ходжа Насреддин нарочно поставил его и, распустив повсюду слухи о своей смерти, отправился дальше бродить по свету. Так ли было это или не так?.. Не будем строить бесплодных догадок; скажем только, что от Ходжи Насреддина можно всего ожидать!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Утренние часы пролетели, на смену им пришел душный, знойный день.

Все было готово к побегу.

Ходжа Насреддин поднялся к своему пленнику:

— Срок твоего плена, мудрейший Гуссейн Гуслия, окончился. Сегодня ночью я покидаю дворец. Я оставлю твою комнату незапертой, но с тем условием, что ты выйдешь отсюда не раньше чем через два дня. Если же ты нарушишь этот срок, то случайно можешь застать меня еще во дворце, и тогда, ты сам понимаешь, мне придется обвинить тебя в побеге и предать палачу. Прощай, Гуссейн Гуслия, мудрец из Багдада, не поминай меня лихом! Поручаю тебе открыть эмиру истину и назвать перед ним мое имя. Слушай внимательно — меня зовут Ходжа Насреддин!

— О! — воскликнул старик, отшатнувшись, и больше ничего не мог сказать: так поразило его это имя.

Скрипнула, закрываясь, дверь. Шаги Ходжи Насреддина затихли внизу. Старик осторожно подошел к двери, потрогал — она была отперта. Старик выглянул — никого. Тогда он поспешно захлопнул дверь и заложил изнутри засовом. «Нет! — бормотал он. — Лучше я просижу здесь еще целую неделю, только бы не связываться с Ходжой Насреддином».

Вечером, когда уже загорались в позеленевшем небе первые звезды, Ходжа Насреддин с глиняным кувшином в руках подошел к стражникам, охранявшим вход в эмирский гарем.

Стражники, не заметив его приближения, продолжали свой разговор.

— Вот упала еще одна звезда, — сказал толстый ленивый стражник, поглотитель сырых яиц. — Если они падают, как ты говоришь, на землю, то почему люди никогда не находят их?

— Они падают, наверное, в море, — ответил второй стражник.

— Эй вы, доблестные воины, — вмешался Ходжа Насреддин. — Позовите сюда главного евнуха, я должен передать ему лекарство для больной наложницы.

Пришел главный евнух, благоговейно обеими руками принял кувшинчик, в котором не было ничего, кроме мела, растворенного в простой арычной воде, выслушал подробное наставление, как нужно пользоваться этим лекарством, и удалился.

— О мудрейший Гуссейн Гуслия! — льстиво сказал толстый стражник. — Ты знаешь все на свете, мудрость твоя не имеет пределов! Скажи нам, куда падают звезды с неба и почему люди никогда не находят их на земле?

Ходжа Насреддин не мог удержаться, чтобы не подшутить.

— А вы разве не знаете? — сказал он без тени усмешки. — Когда звезды падают, то рассыпаются на мелкие серебряные монеты, а потом нищие подбирают эти монеты. Я даже знавал людей, которые обогатились таким образом.

Стражники переглянулись. На их лицах изобразилось неописуемое удивление.

Ходжа Насреддин ушел, посмеиваясь над глупыми

стражниками. Он и подумать не мог, как пригодится ему в самом скором времени эта шутка.

До полуночи он просидел в своей башне. Но вот все затихло и в городе и во дворце; огни потухли. Медлить дальше было нельзя: летние ночи пролетают на быстрых крыльях. Ходжа Насреддин сошел вниз и, крадучись, выбирая затененные места, направился к эмирскому гарему. «Стражники, наверное, уже уснули», — думал он.

Каково же было его огорчение, когда, приблизившись, он услышал тихие голоса стражников.

— Вот если бы хоть одна звезда упала сюда! — говорил толстый ленивый стражник. — Мы подобрали бы серебро и сразу разбогатели.

— Знаешь, я все-таки не верю, чтобы звезды могли рассыпаться на серебряные монеты, — ответил второй стражник.

— Но так говорит багдадский мудрец, — возразил первый. — Ученость его известна всем, он, конечно, не ошибается.

«Будьте вы прокляты! — мысленно восклицал Ходжа Насреддин, затаившись в тени. — Ах, зачем только я сказал им о звездах; теперь они будут спорить до утра! Неужели придется отложить побег?»

Над Бухарой в недосягаемой высоте горели чистым и тихим светом тысячи звезд: одна маленькая звезда вдруг оборвалась и ринулась в стремительный полет, рассекая наискось небо; вдогонку за ней ринулась вторая звезда, оставив за собой мгновенный, ослепительный росчерк. Была середина лета, приближалось время звездных дождей.

— Если бы они рассыпались на серебряные монеты... — начал второй стражник.

Ходжу Насреддина вдруг осенило. Он торопливо достал из кармана кошелек, туго набитый серебром. Ему пришлось ждать очень долго, а звезды не падали. Наконец одна полетела. Ходжа Насреддин бросил монету под ноги стражникам. Серебро зазвенело на каменных плитах.

Стражники сначала оцепенели, потом приподнялись, глядя в упор друг на друга.

— Ты слышал? — дрожащим голосом спросил первый.

— Слышал, — ответил второй заикаясь.

Ходжа Насреддин бросил еще монету. Она блеснула в лунных лучах. Ленивый стражник, коротко вскрикнув, упал животом на нее.

— По...поймал? — спросил немеющим языком второй.

— По...поймал, — ответил трясущимися губами толстяк, поднимаясь и показывая монету.

В небе вдруг оборвалось несколько звезд сразу. Ходжа Насреддин начал швырять серебро горстями. Тишина ночи наполнилась тонким, певучим звоном. Стражники, обезумев, побросали свои копья и кинулись шарить по земле.

— Нашел! — закричал один хриплым и душным голосом. — Вот она!

Второй ползал молча и вдруг заурчал, наткнувшись на целую россыпь монет.

Ходжа Насреддин подбросил им еще горсть и беспрепятственно проскользнул в калитку.

Теперь ему было легко. Мягкие персидские ковры неслышно принимали шаги. Он помнил все переходы. Евнухи спали...

Гюльджан встретила его влажным, горячим поцелуем и приникла к нему трепеща.

— Скорее! — шептал он.

Никто не остановил их, только евнух заворочался и застонал во сне. Ходжа Насреддин, пригнувшись, остановился над ним. Но евнуху было еще рано умирать: он почмокал губами и опять захрапел... Слабый лунный свет пробивался сквозь разноцветные стекла.

У самой калитки Ходжа Насреддин остановился, выглянул. Стражники, стоя на четвереньках посреди двора, смотрели в небо, ждали, когда упадет звезда. Ходжа Насреддин, сильно размахнувшись, бросил горсть монет; они упали где-то далеко за деревьями. Стражники помчались туда. Они обезумели до того, что ничего уже не видели перед собой и, шумно дыша, судорожно вскрикивая, ломились напрямик через изгородь колючего кустарника, оставляя на ветках лохмотья своих штанов и халатов.

В эту ночь из гарема можно было украсть всех наложниц, а не только одну.

— Скорее! Скорее! — говорил Ходжа Насреддин, увлекая за собой девушку. Они подбежали к башне, поднялись, Ходжа Насреддин достал из-под постели давно приготовленную веревку.

— Здесь высоко... Я боюсь, — прошептала Гюльджан. Он сердито прикрикнул на нее, и она покорилась.

Ходжа Насреддин обвязал ее петлей, вынул из окна выпиленную решетку.

Гюльджан села на подоконник. Было очень высоко, она задрожала. «Вылезай!» — властно сказал Ходжа Насреддин, слегка подтолкнув ее в спину. Она закрыла глаза, скользнула по гладкому камню, повисла.

Она очнулась на земле. «Беги! Беги!» — услышала она сверху. Ходжа Насреддин высунулся до пояса из окна, махал руками, дергал веревку. Гюльджан поспешно отвязалась и побежала через безлюдную площадь.

Она не знала, что в эту минуту весь дворец был уже объят тревогой и смятением. Главный евнух, воспылавший после недавнего внушения тростью необычайным усердием к эмирской службе, заглянул среди ночи в комнату новой наложницы и обнаружил, что постель ее пуста. Евнух кинулся к эмиру, разбудил его. Эмир позвал Арсланбека, Арсланбек поднял дворцовую стражу, загорелись факелы, зазвенели щиты и копья.

Послали за багдадским мудрецом. Эмир встретил Ходжу Насреддина крикливыми жалобами:

— Гуссейн Гуслия, до чего же дошло распутство в нашем государстве, если мы, великий эмир, не имеем даже в собственном нашем дворце покоя от этого бродяги Ходжи Насреддина! Да слыханное ли это дело, чтобы из эмирского гарема украли наложницу!

— О великий эмир, — осмелился вмешаться Бахтияр. — Но, может быть, это сделал не Ходжа Насреддин.

— А кто же еще? — закричал эмир. — Утром нам доложили, что он вернулся в Бухару, а ночью пропадает наложница, которая была его невестой! Кто еще мог это сделать, кроме Ходжи Насреддина?!. Ищите его, поставьте всюду утроенные караулы, — он, наверное, не успел еще выбраться из дворца! Арсланбек, запомни: твоя голова подпрыгивает на твоих плечах!

Начались поиски. Стража обшарила все уголки во дворце. Всюду пылали факелы, отбрасывая дрожащее зарево.

Больше всех усердствовал в поисках сам Ходжа Насреддин. Он приподнимал ковры, шарил палкой в мраморных бассейнах, кричал и суетился, заглядывая в чайник, в кувшины и даже в мышиные норы.

Вернувшись в эмирскую опочивальню, он доложил:

— Великий владыка, Ходжа Насреддин уже успел покинуть дворец.

— Гуссейн Гуслия! — в гневе ответил эмир. — Твое легкомыслие удивляет нас. А что, если он где-нибудь спрятался? Значит, он может проникнуть в нашу опочивальню. Эй, стражу сюда! Стражу! — закричал эмир, ужаснувшийся этой мысли.

За стеной ударила пушка — для устрашения неуловимого Ходжи Насреддина.

Эмир забился куда-то в угол и кричал оттуда:

— Стражу! Стражу!

Он не успокоился до тех пор, пока Арсланбек не поставил тридцать стражников у дверей его опочивальни и по десять стражников под каждым окном.

Только тогда эмир вылез из своего угла и сказал жалобно:

— Как ты думаешь, Гуссейн Гуслия, не спрятался ли этот бродяга где-нибудь в нашей опочивальне?

— Двери и окна охраняются стражей, — ответил Ходжа Насреддин. — Нас в этой комнате только двое. Откуда же взяться здесь Ходже Насреддину?

— Но похищение нашей наложницы не пройдет ему даром! — вскричал эмир. Страх в его душе сменился яростью, пальцы его судорожно скрючились, словно под ними он чувствовал горло Ходжи Насреддина. — О Гуссейн Гуслия! — продолжал эмир. — Нет предела нашему гневу и нашему возмущению! Ведь мы так и не успели ни разу войти к ней; мысль об этом переполняет скорбью наше царственное сердце! А виноваты во всем, о Гуссейн Гуслия, твои звезды; если бы мы могли, отрубили бы всем звездам головы за подобные злонамеренные поступки! Но на этот раз Ходжа Насреддин не ускользнет безнаказанно! Мы уже отдали приказание Арсланбеку! Тебе, Гуссейн Гуслия, мы также поручаем приложить все усердие к поимке бродяги! Запомни, что от успеха в этом деле зависит твое назначение на должность главного евнуха. Завтра ты должен покинуть дворец, Гуссейн Гуслия, и не возвращаться обратно без Ходжи Насреддина.

Щуря лукавые, ясные глаза, Ходжа Насреддин склонился перед эмиром до земли.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

До утра Ходжа Насреддин рассказывал эмиру о своих планах поимки Ходжи Насреддина. Планы эти были весьма хитроумны, эмир остался доволен.

Утром, получив на расходы кошелек золота, Ходжа Насреддин в последний раз поднялся в башню, уложил в кожаный пояс деньги и огляделся со вздохом: ему вдруг стало жаль покидать свое жилище, — столько одиноких бессонных ночей провел он здесь и столько передумал; он оставлял в этих угрюмых стенах частицу своей души.

Он захлопнул за собою дверь, легко сбежал по каменной крутой лестнице навстречу свободе. Опять весь мир был открыт перед ним. Дороги, перевалы и горные тропы звали его в дальний путь, зеленые леса обещали ему приют в тени на мягких листьях, реки ждали его, чтобы напоить студеной водой, птицы приготовили на радость ему самые лучшие песни, — он слишком долго пробыл в своей позолоченной клетке, веселый бродяга Ходжа Насреддин, и мир соскучился без него.

Но у самых ворот прямо в сердце ему был нанесен страшный удар.

Он остановился и, побледнев, прижался к стене.

В открытые ворота под охраной многочисленных стражников входили вереницей с опущенными головами и связанными руками его друзья: он увидел старого горшечника Нияза, чайханщика Али, кузнеца Юсупа и многих других; все, с кем он когда-либо встречался, говорил, у кого просил воды напиться или брал клочок сена для ишака, — все были здесь!.. Печальное шествие замыкал Арсланбек.

Не скоро опомнился Ходжа Насреддин, а когда опомнился — ворота уже закрылись и во дворе никого не было: всех увели в подземелье.

Ходжа Насреддин кинулся искать Арсланбека:

— Что случилось, почтенный Арсланбек? Откуда эти люди? Какое преступление совершили они?

— Эти люди — укрыватели и сообщники проклятого Ходжи Насреддина! — ответил с торжеством Арсланбек. — Мои шпионы выследили их, и сегодня же они всенародно будут преданы жестокой казни, если не выдадут Ходжу Насреддина. Но ты бледен, Гуссейн Гуслия! Ты сильно расстроен!..

— Еще бы! — ответил Ходжа Насреддин. — Значит, награда уплывает из моих рук в твои!

Ходже Насреддину пришлось остаться во дворце. Да разве мог он поступить иначе, если невинным людям грозила смерть?

В полдень на площади выстроилось войско, оцепив тройным кольцом судейский помост. Народ, оповещенный глашатаями о предстоящих казнях, ждал безмолвствуя. Раскаленное небо дышало палящим зноем.

Открылись ворота дворца, и в обычном порядке выбежали сначала глашатаи, за ними — стража, вышли музыканты, слоны, свита, и наконец выплыли из ворот эмирские носилки. Народ распростерся ниц. Носилки поднялись на помост.

Эмир занял свое место на троне. Из ворот дворца вывели осужденных. Толпа встретила их появление гулом. Родственники и друзья осужденных стояли в первых рядах, чтобы лучше видеть.

Палачи хлопотали, готовили топоры, колья, веревки. Сегодня у палачей был трудный день: им предстояло умертвить подряд шестьдесят человек.

Старый Нияз был первым в этой роковой очереди. Палачи держали его под руки, справа от него была виселица, слева — плаха, а прямо перед ним торчал из земли заостренный кол.

Великий визирь Бахтияр громко и торжественно объявил:

— Во имя аллаха милостивого и милосердного! Повелитель Бухары и солнце вселенной, эмир бухарский, взвесив на весах справедливости прегрешения, которые совершили шестьдесят его подданных по укрывательству богохульника, возмутителя спокойствия, сеятеля раздоров и совершителя непристойных дел Ходжи Насреддина, постановил следующее:

горшечника Нияза, как главного укрывателя, у коего означенный бродяга, именуемый Ходжой Насреддином, долгое время скрывался, лишить жизни через отделение его головы от его туловища.

Что же касается прочих преступников, то первым наказанием для них будет лицезрение казни, которая совершится над Ниязом, дабы они трепетали, ожидая для себя еще худшей участи. О способе казни каждого из них будет возглашено особо...

На площади стояла такая тишина, что каждое слово Бахтияра отчетливо слышалось в задних рядах.

— И да будет всем ведомо,— продолжал он, возвысив голос, — что и впредь со всяким укрывателем Ходжи Насреддина будет поступлено так же, и ни один не уйдет от руки палача. Если же кто-либо из осужденных укажет

местопребывание этого вора и бездельника, тот не только будет освобожден от казни, не только станет обладателем эмирской награды и небесного благословения, но и освободит от наказания всех прочих. Горшечник Нияз, ты можешь избавить себя и других от казни, если откроешь местопребывание Ходжи Насреддина.

Нияз долго молчал, не поднимая головы. Бахтияр повторил свой вопрос.

Нияз ответил:

— Нет, я не могу указать его местопребывание.

Палачи потащили старика к плахе. Кто-то крикнул в толпе. Старик стал на колени и, вытянув шею, положил на плаху седую голову.

В эту минуту Ходжа Насреддин, растолкав придворных, выступил вперед и стал перед эмиром.

— О повелитель! — сказал он громко, так, чтобы слышал народ. — Прикажи остановить казнь, я сейчас поймаю Ходжу Насреддина!

Эмир воззрился на него с удивлением. Народ на площади зашевелился. Палач, повинуясь знаку эмира, опустил к ногам свой топор.

— О владыка! — громко сказал Ходжа Насреддин. — Будет ли справедливо, чтобы этих мелких укрывателей предали казни, в то время как останется живым самый главный укрыватель, у которого Ходжа Насреддин жил все последнее время и живет сейчас, который поил, кормил, награждал его и проявлял о нем всяческую заботу?

— Ты прав, — сказал эмир важно. — Если есть такой укрыватель, то по справедливости ему должно отрубить голову первому. Но укажи нам этого укрывателя, Гуссейн Гуслия.

По толпе прошел сдержанный ропот; передние передавали задним слова эмира.

— Но если великий эмир не захочет казнить этого главного укрывателя, если великий эмир оставит его живым, то справедливо ли будет тогда предавать казни малых укрывателей? — спросил Ходжа Насреддин.

Эмир ответил, удивляясь все больше:

— Если мы не пожелаем казнить главного укрывателя, то, конечно, откажемся от казни мелких укрывателей. Но одно непонятно нам, Гуссейн Гуслия: какие причины могут заставить нас воздержаться от казни главного укрывателя? Где он? Укажи его нам, и мы немедленно отделим его голову от его туловища.

Ходжа Насреддин обратился к народу:

— Вы слышали слова эмира. Повелитель Бухары сказал, что если он откажется казнить главного укрывателя, которого я сейчас назову, тогда все эти малые укрыватели, стоящие сейчас у плахи, будут освобождены и отпущены к своим семьям. Так ли я сказал, о повелитель!

— Ты правильно сказал, Гуссейн Гуслия, — подтвердил эмир. — Даем в этом наше слово. Но укажи нам скорее главного укрывателя.

— Вы слышите? — сказал Ходжа Насреддин, повернувшись к народу. — Эмир дает слово!

Он глубоко вздохнул. Он чувствовал на себе тысячи глаз.

— Самый главный укрыватель...

Он запнулся, обвел глазами площадь; многие заметили скорбь и смертную тоску на его лице. Он прощался со своим любимым миром, с людьми и солнцем.

— Скорее! — нетерпеливо воскликнул эмир. — Говори скорее, Гуссейн Гуслия!

Ходжа Насреддин сказал твердым, звонким голосом:

— Самый главный укрыватель — это ты, эмир!

Резким движением он сбросил свою чалму, сорвал фальшивую бороду.

Толпа ахнула, замерла. Эмир, выпучив глаза, беззвучно шевелил губами. Придворные окаменели.

Тишина продолжалась недолго.

— Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин! — закричали в толпе.

— Ходжа Насреддин! — зашептались придворные.

— Ходжа Насреддин! — воскликнул Арсланбек.

Наконец опомнился и сам повелитель. Губы его невнятно вымолвили:

— Ходжа Насреддин!

— Да, это я! Ну что же, эмир, прикажи отрубить себе голову — как самому главному укрывателю! Я жил у тебя во дворце, делил с тобою пищу, получал от тебя награды, я был твоим главным и ближайшим советником во всех делах. Ты укрыватель, эмир, прикажи отрубить себе голову!

Ходжу Насреддина схватили. Он не сопротивлялся, он кричал:

— Эмир обещал освободить осужденных! Вы слышали слово эмира.

Народ начал гудеть, волноваться. Тройная цепь стражников с трудом сдерживала напор толпы. Все громче слышались возгласы:

— Освободите осужденных!

— Эмир дал слово!..

— Освободите!..

Гул в толпе нарастал и ширился. Цепи стражников подавались назад, теснимые народом.

Бахтияр наклонился к эмиру:

— О повелитель, их нужно освободить, иначе народ взбунтуется.

Эмир кивнул.

— Эмир держит свое слово! — закричал Бахтияр.

Стражники расступились. Осужденные сразу исчезли в толпе.

Ходжу Насреддина повели во дворец. Многие в толпе плакали, кричали ему вслед:

— Прощай, Ходжа Насреддин! Прощай, наш любимый, благородный Ходжа Насреддин, ты будешь всегда бессмертен в наших сердцах.

Он шел с высоко поднятой головой, на его лице было бесстрашие. Перед воротами он обернулся, махнул на прощание рукой. Толпа ответила ему мощным рокотом.

Эмир торопливо залез в свои носилки. Дворцовое шествие тронулось в обратный путь.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Собрался диван — судить Ходжу Насреддина.

Когда он вошел, связанный по рукам и ногам, охраняемый стражниками, придворные потупились. Им было стыдно смотреть друг на друга. Мудрецы морщились, оглаживая бороды, эмир, отвернувшись, вздыхал и покашливал.

А Ходжа Насреддин смотрел прямым, ясным взглядом; если бы не его закрученные за спину руки, то можно было бы подумать, что преступник не он, а все эти люди, сидящие перед ним.

На суд вместе с другими придворными явился и подлинный Гуссейн Гуслия, багдадский мудрец, освобожденный наконец из своего заточения. Ходжа Насреддин дружески подмигнул ему, багдадский мудрец подскочил на подушках и зашипел от ярости.

Суд продолжался недолго. Ходжу Насреддина приговорили к смерти. Оставалось избрать способ казни.

— О великий владыка! — сказал Арсланбек. — Мое мнение, что этого преступника необходимо посадить на кол, дабы он окончил жизнь свою в жесточайших мучениях.

Ходжа Насреддин даже бровью не дрогнул; он стоял и безмятежно улыбался, подставив лицо солнечному лучу, падавшему в зал через верхнее открытое окно.

— Нет! — решительно сказал эмир. — Султан турецкий уже сажал на кол этого богохульника, но он, по-видимому, знает средство переносить без вреда для себя подобный способ казни, иначе он не ушел бы живым из рук султана.

Бахтияр посоветовал отрубить Ходже Насреддину голову.

— Правда, это один из наилегчайших видов смерти, — добавил он, — но зато самый верный.

— Нет! — сказал эмир. — Калиф багдадский рубил ему голову, а он все-таки жив.

Поочередно поднимались сановники, предлагали повесить Ходжу Насреддина, содрать с него кожу. Эмир отверг все эти советы, потому что, наблюдая тайком за Ходжой Насреддином, не замечал признаков страха на его лице, что было в глазах эмира явным доказательством недействительности предлагаемых способов.

Придворные замолчали в смущении. Эмир начал гневаться.

Тогда поднялся багдадский мудрец. Впервые он говорил перед лицом эмира, поэтому тщательно обдумал свой совет, дабы отличиться мудростью от всех прочих.

— О великий повелитель вселенной! Если этот преступник уходил до сих пор невредимым от всевозможных способов казни, то не является ли это прямым свидетельством того, что ему помогает нечистая сила, тот самый дух тьмы, имя которого непристойно называть здесь, перед лицом эмира?

При этих словах мудрец подул себе на плечи, вслед за ним подули все остальные, кроме Ходжи Насреддина.

— Рассудив и взвесив все, касающееся этого преступника, — продолжал мудрец, — наш великий эмир отверг предложенные способы умерщвления Ходжи Насреддина, опасаясь, что нечистая сила вновь поможет преступнику ускользнуть от справедливой кары. Но сущест-

вует еще один способ казни, которому названный преступник Ходжа Насреддин ни разу не подвергался, а именно — утопление!

Багдадский мудрец, высоко вскинув голову, с торжеством посмотрел на присутствующих.

Ходжа Насреддин встрепенулся.

Эмир заметил его движение. «Ага! Так вот в чем была его тайна!»

Ходжа Насреддин думал в это время: «Очень хорошо, что они заговорили о нечистой силе; значит, надежда еще не потеряна для меня!».

— Известно мне из рассказов и книг, — продолжал между тем мудрец, — что в Бухаре имеется священный водоем, именуемый водоемом шейха Ахмеда. Понятно, что нечистая сила не осмеливается приближаться к этому водоему, почему и надлежит, о повелитель, погрузить преступника на длительный срок с головой в священные воды, после чего он умрет.

— Вот совет мудреца, достойный награды! — воскликнул эмир.

Ходжа Насреддин укоризненно сказал багдадскому мудрецу:

— О Гуссейн Гуслия, так ли я обращался с тобой, когда ты был в моей власти? Вот и надейся после этого на людскую благодарность!

Было решено после захода солнца всенародно утопить Ходжу Насреддина в священном водоеме шейха Ахмеда. А чтобы по дороге Ходжа Насреддин не смог убежать, решили доставить его из дворца к водоему в кожаном мешке и в этом же мешке утопить.

...Целый день у водоема стучали топоры: плотники возводили помост. Они знали, зачем понадобился эмиру этот помост, но что могли они сделать, если над каждым из них стоял стражник? Они работали молча, с угрюмыми, ожесточенными лицами; закончив, они отказались получить скудную плату и ушли, глядя в землю.

Помост и весь берег вокруг устлали коврами. Противоположный берег предназначался для народа.

Шпионы доносили, что город волнуется. Поэтому Арсланбек согнал к водоему великое множество войска, поставил пушки. Опасаясь, как бы народ по дороге не отбил Ходжу Насреддина, Арсланбек приказал приготовить четыре мешка, набитых тряпьем: эти фальшивые мешки он намеревался отправить к водоему открыто, по людным

улицам, а мешок с Ходжой Насреддином, наоборот,— самыми глухими переулками. Хитрость свою он простер еще дальше: к фальшивым мешкам он приставил по восемь стражников, а к мешку с Ходжой Насреддином только троих.

— Я пришлю к вам от водоема гонца,— сказал стражникам Арсланбек.— Четыре фальшивых мешка вы должны вынести сразу, один за другим, а пятый мешок, с преступником, — немного погодя и незаметно, когда все любопытные, толпящиеся у ворот, устремятся за фальшивыми мешками. Хорошо ли поняли вы меня? Помните, что отвечать придется вам головой.

Вечером на площади ударили барабаны, возвещая об окончании базара. К водоему со всех сторон потянулись толпы народа. Вскоре прибыл эмир со свитой. На помосте и вокруг него зажгли факелы. Пламя шипело и гнулось от ветра, на воде дрожали багровые отблески. Противоположный берег тонул в темноте; с помоста, озаренного огнями, не видно было толпы, но ясно слышалось, как ворочается, движется и дышит она, сливая свой смутный тревожный гул с порывами ночного ветра.

Бахтияр громким голосом прочитал в темноту эмирский указ о предании смерти Ходжи Насреддина. В это время и ветер улегся, была тишина — такая, что у светлейшего эмира поползли мурашки по спине. Опять вздохнул ветер, вместе с ним вздохнула тысячами грудей толпа.

— Арсланбек! — сказал эмир, и голос его дрогнул.— Почему ты медлишь?

— Я уже отправил гонца, о повелитель.

Вдруг в темноте послышались крики, лязг оружия; где-то началась свалка. Эмир подпрыгнул, озираясь. Через минуту в освещенный круг перед помостом вошли восемь стражников без мешка.

— Где же преступник? — вскричал эмир. — Его отняли у стражников, он ускользнул! Арсланбек, ты видишь!

— О повелитель! — ответил Арсланбек. — Твой ничтожный раб предусмотрел все; в этом мешке были старые тряпки.

В другой стороне опять послышался шум свалки. Арсланбек поспешил успокоить эмира:

— Пусть отнимают, о повелитель! В этом мешке тоже ничего нет, кроме тряпок.

...Первый мешок отбил у стражников чайханщик Али со своими друзьями, второй отбили кузнецы, возглавляемые Юсупом. Вскоре гончары отбили третий мешок, но и в нем оказались тряпки. Четвертый мешок пропустили к помосту свободно. Стражники при свете факелов на глазах у всей толпы подняли мешок над водой и вытряхнули; посыпались тряпки.

Толпа замерла в полном недоумении. Этого и добивался многоопытный Арсланбек, понимавший, что недоумение влечет за собою бездействие.

Настало время пятому мешку. Между тем стражники, которым он был поручен, задержались где-то и до сих пор не доставили его к водоему.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Когда стражники вывели Ходжу Насреддина из подземелья, он сказал:

— Значит, вы потащите меня на собственных спинах? Жалею, что здесь нет моего ишака, он бы лопнул от смеха.

— Молчи! Скоро тебе придется заплакать! — злобно ответили стражники. Они не могли простить Ходже Насреддину, что он предался в руки эмира помимо стражи.

Распялив тесный мешок, они начали запихивать в него Ходжу Насреддина.

— О слуги шайтана! — кричал Ходжа Насреддин, сложенный втрое. — Неужели вы не могли выбрать мешок попросторнее!

— Ничего! — говорили стражники, пыхтя и обливаясь потом. — Тебе недолго придется терпеть. Не растопыривайся же, о сын греха, иначе мы вдавим твои колени в твой живот!

Поднялся шум, сбежалась дворцовая челядь. Наконец после долгих трудов стражники запихали Ходжу Насреддина в мешок и завязали веревкой. В мешке было тесно, темно и вонюче. Душа Ходжи Насреддина окуталась черным туманом; казалось, спасения для него теперь нет. Он взывал к судьбе и всемогущему случаю: «О ты, судьба, ставшая для меня матерью, о ты, всемогущий случай, оберегавший меня до сих пор, подобно отцу, — где вы сейчас, почему не поспешите на помощь к Ходже Насреддину? О судьба, о всемогущий случай!».

А стражники уже прошли половину пути; они несли мешок, меняясь через каждые двести шагов; по этим коротким остановкам Ходжа Насреддин вел печальный счет — сколько пройдено и сколько осталось.

Он хорошо понимал, что судьба и случай никогда не приходят на помощь к тому, кто заменяет дело жалобами и призывами. Дорогу осилит идущий; пусть в пути ослабнут и подогнутся его ноги — он должен ползти на руках и коленях, и тогда обязательно ночью вдали увидит он яркое пламя костров и, приблизившись, увидит купеческий караван, остановившийся на отдых, и караван этот непременно окажется попутным, и найдется свободный верблюд, на котором путник доедет туда, куда нужно... Сидящий же на дороге и предающийся отчаянию — сколь бы ни плакал он и ни жаловался — не возбудит сочувствия в бездушных камнях; он умрет от жажды в пустыне, труп его станет добычей смрадных гиен, кости его занесет горячий песок. Сколько людей умерли преждевременно и только потому, что недостаточно сильно хотели жить! Такую смерть Ходжа Насреддин считал позорной для человека.

«Нет! — сказал он себе и, стиснув зубы, яростно повторил: — Нет! Я не умру сегодня! Я не хочу умирать!»

Но что он мог сделать, сложенный втрое и засунутый в тесный мешок, где нельзя было даже пошевелиться: колени и локти как будто прилипли к туловищу. Свободным у Ходжи Насреддина оставался только язык.

— О доблестные воины, — сказал он из мешка. — Остановитесь на минутку, я хочу прочесть перед смертью молитву, дабы всемилостивый аллах принял мою душу в светлые селения свои.

Стражники опустили мешок на землю:

— Читай! Но из мешка мы тебя не выпустим. Читай свою молитву в мешке.

— А где мы находимся? — спросил Ходжа Насреддин. — Я это затем спрашиваю, чтобы вы обратили меня лицом к ближайшей мечети.

— Мы находимся близ Каршинских ворот. Здесь кругом мечети, в какую бы сторону мы тебя ни обратили лицом. Читай же скорее свою молитву. Мы не можем долго задерживаться.

— Спасибо, о благочестивые воины, — печальным голосом ответил из мешка Ходжа Насреддин.

На что он рассчитывал? Он и сам не знал. «Я выгадаю несколько минут. А там посмотрим. Может быть, что-нибудь подвернется...»

Он начал громко молиться, прислушиваясь в то же время к разговорам стражников.

— И как мы не сообразили сразу, что новый звездочет — это и есть Ходжа Насреддин? — сокрушались стражники. — Если бы мы узнали и поймали его, то получили бы от эмира большую награду!

Мысли стражников текли в обычном направлении, ибо алчность составляла самую сущность их жизни.

Этим и воспользовался Ходжа Насреддин. «Попробую сделать так, чтобы они ушли куда-нибудь от мешка, хотя бы на самый короткий срок... Может быть, мне удастся порвать веревку, может быть, кто-нибудь пройдет по дороге и освободит меня».

— Скорее кончай молитву! — говорили стражники, толкая мешок ногами. — Слышишь, ты! Нам некогда ждать!

— Одну минуту, доблестные воины! У меня осталась последняя просьба к аллаху. О всемогущий, всемилостивый аллах, сделай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною десять тысяч таньга, выделил бы из них одну тысячу, и отнес в мечеть, и отдал мулле, поручив ему молиться за меня в течение целого года...

Услышав о десяти тысячах таньга, стражники притихли. Хотя Ходжа Насреддин ничего не видел из своего мешка, но точно знал, какие сейчас у стражников лица, как они переглядываются и толкают друг друга локтями.

— Несите меня дальше, — сказал он кротким голосом. — Предаю дух мой в руки аллаха.

Стражники медлили.

— Мы еще немного отдохнем, — вкрадчиво сказал один из них. — О Ходжа Насреддин, не думай, что мы бессердечные, нехорошие люди. Только служба заставляет нас поступать с тобою столь жестоко; если бы мы могли прожить с нашими семьями без эмирского жалованья, тогда мы, конечно, немедленно выпустили бы тебя на волю...

— Что ты говоришь! — испуганно прошептал второй. — Если мы его выпустим, то эмир снимет нам головы.

— Молчи! — зашипел первый. — Нам бы только получить деньги.

Ходжа Насреддин не слышал шепота, но знал, что стражники шепчутся, и знал, о чем они шепчутся.

— Я не имею зла на вас, о воины,— сказал он с благочестивым вздохом. — Я сам чересчур грешен для того, чтобы осуждать других. Если аллах дарует мне прощение на том свете, обещаю вам помолиться за вас перед его троном. Вы говорите, что если бы не эмирское жалованье, то вы бы меня выпустили? Подумайте над своими словами! Ведь этим вы нарушили бы волю эмира и, следовательно, совершили бы тяжкий грех. Нет! Я не хочу, чтобы вы из-за меня отягощали грехом свои души; поднимайте мешок, несите меня к водоему, пусть свершится воля эмира и воля аллаха!..

Стражники в растерянности переглядывались, проклиная благочестивое раскаяние, которое вдруг — и совсем, по их мнению, не вовремя — овладело Ходжой Насреддином.

В разговор вступил третий стражник; до сих пор он молчал, придумывая хитрость.

— Сколь тяжко видеть человека, который только перед смертью начал раскаиваться в своих грехах и заблуждениях, — сказал он, подмигивая товарищам. — Нет, я не таков! Я уже давно раскаялся и давно веду благочестивый образ жизни. Но благочестие на словах, не сопровождаемое угодными аллаху делами, мертво, — продолжал стражник, в то время как товарищи его зажимали рты ладонями, чтобы не расхохотаться, ибо он был известен как неисправимый игрок в кости и распутник. — Вот я, например, сопровождаю свою благочестивую жизнь праведным и благочестивым делом, а именно: я строю в моем родном селении большую мечеть и ради этого отказываю даже в пище себе и своей семье.

Один из стражников не выдержал и, давясь от смеха, ушел в темноту.

— Я откладываю каждый грош, — продолжал благочестивый стражник, — и все-таки мечеть воздвигается слишком медленно, что переполняет скорбью мое сердце. На днях я продал корову. Пусть мне придется продать последние сапоги — я согласен ходить босиком, лишь бы завершить начатое.

Ходжа Насреддин всхлипнул в мешке. Стражники переглянулись. Дело у них шло на лад. Они локтями торопили своего догадливого товарища.

— О, если бы мне повстречался такой человек, который согласился бы пожертвовать восемь или десять тысяч таньга на окончание этой мечети! — воскликнул он. —

Я бы поклялся перед ним, что в течение пяти и даже десяти лет имя его ежедневно возносилось бы, окутанное благоуханным дымом молитвы, из-под сводов этой мечети к трону аллаха!

Первый стражник сказал:

— О мой благочестивый товарищ! У меня нет десяти тысяч таньга, но, может быть, ты согласишься принять мои последние сбережения — пятьсот таньга. Не отвергай моего скромного дара, мне тоже хочется принять участие в этом праведном деле.

— И мне, — сказал второй, заикаясь и дрожа от внутреннего смеха. — У меня есть триста таньга...

— О праведник, о благочестивец! — воскликнул Ходжа Насреддин всхлипывая. — Как я жалею, что не могу приложить к своим губам край твоего халата! Я великий грешник, но будь милостив ко мне и не отвергни моего дара. У меня есть десять тысяч таньга. Когда я, совершив богохульный обман, был приближен к эмиру, то часто получал от него в подарок кошельки с золотом и серебром; накопив десять тысяч таньга, я решил спрятать их, с тем чтобы, свершая бегство, захватить по дороге. А так как я решил бежать через Каршинские ворота, то и закопал эти деньги на Каршинском кладбище, под одним из старых надгробий.

— На Каршинском кладбище! — воскликнули стражники. — Значит, они где-то здесь, рядом!

— Да! Сейчас мы находимся на северном конце кладбища, и если пройти...

— Мы находимся на восточном конце! Где, где они спрятаны, твои деньги?

— Они спрятаны на западном конце кладбища, — сказал Ходжа Насреддин. — Но сначала поклянись мне, о благочестивый стражник, что мое имя действительно будет поминаться в мечети ежедневно в течение десяти лет.

— Клянусь! — сказал стражник, дрожа от нетерпения. — Клянусь тебе именем аллаха и пророка его Магомета! Ну, говори скорее, где закопаны твои деньги?

Ходжа Насреддин медлил. «А что, если они решат отнести меня сначала к водоему, отложив на завтра поиски денег? — думал он. — Нет, этого не случится. Во-первых, они обуяны алчностью и нетерпением, во-вторых, они побоятся, что кто-нибудь может опередить их,

в-третьих, они не доверяют друг другу. Какое же указать им место, чтобы они подольше копались?»

Стражники ждали, склонившись над мешком. Ходжа Насреддин слышал их отяжелевшее дыхание, как будто они только что прибежали откуда-то издалека.

— На западном конце кладбища есть три старых надгробия, расположенные треугольником, — сказал Ходжа Насреддин. — Под каждым из них я закопал по три тысячи триста тридцать три таньга с одной третью...

— Расположенные треугольником, — хором повторяли стражники, уподобляясь послушным ученикам, повторяющим за своим учителем слова Корана. — По три тысячи триста тридцать три таньга с одной третью...

Они сговорились, что двое пойдут за деньгами, а третий останется караулить. Это могло бы повергнуть Ходжу Насреддина в уныние, если бы он не обладал способностью наперед угадывать человеческие поступки: он точно знал, что третий стражник недолго усидит около мешка. Предвидения оправдались: оставшись один, стражник начал беспокойно вздыхать, кашлять, ходить взад-вперед по дороге, звеня оружием. По этим звукам Ходжа Насреддин угадывал все его мысли: стражника грызла тревога за свои три тысячи триста тридцать три таньга с одной третью. Ходжа Насреддин терпеливо ждал.

— Как долго они там возятся, — сказал стражник.

— Они, наверное, прячут деньги куда-нибудь в другое место, а завтра вы все трое придете за ними, — ответил Ходжа Насреддин.

Это был меткий удар. Стражник шумно засопел, потом начал притворно зевать.

— Как хочется мне перед смертью послушать какую-нибудь душеспасительную историю, — сказал из мешка Ходжа Насреддин. — Может быть, ты вспомнишь и расскажешь мне, о добрый стражник.

— Нет! — сердито ответил стражник. — Я не знаю душеспасительных историй... К тому же я устал, пойду прилягу вот здесь на траве.

Но он не сообразил, что по земле его шаги будут отдаваться гулко и далеко. Сначала шел он медленно, потом до Ходжи Насреддина донесся частый топот, — стражник помчался на кладбище.

Настало время действовать. Но тщетно катался и кувыркался Ходжа Насреддин, — порвать веревку не

удалось. «Прохожего! — молил Ходжа Насреддин. — О судьба, пошли мне прохожего!»

И судьба послала ему прохожего.

Судьба и благоприятный случай всегда приходят на помощь тому, кто преисполнен решимости и борется до конца (об этом уже было сказано раньше, но истина не тускнеет от повторения). Ходжа Насреддин всеми силами боролся за свою жизнь, и судьба не могла отказать ему в помощи.

Прохожий шел медленно; он был хром, как определил Ходжа Насреддин по звуку его шагов, и не молод, потому что страдал одышкой.

Мешок лежал на самой середине дороги. Прохожий остановился, долго разглядывал, ткнул раза два клюкой.

— Что это за мешок? Откуда он здесь взялся! — скрипуче сказал прохожий.

Ходжа Насреддин — о великая радость! — узнал голос ростовщика Джафара.

Теперь Ходжа Насреддин не сомневался в своем спасении. Только бы подольше искали...

Он кашлянул в мешке — тихонько, чтобы не испугать ростовщика.

— Эге! Да здесь человек! — воскликнул Джафар, отскочив.

— Конечно, человек, — спокойно ответил Ходжа Насреддин, изменив свой голос. — А что в этом удивительного?

— Как что удивительного? Зачем ты забрался в мешок?

— Значит, нужно, если забрался. Проходи своей дорогой и не надоедай мне расспросами.

Ходжа Насреддин знал, что любопытство ростовщика теперь возбуждено до крайности и он все равно не уйдет.

— Поистине, удивительное событие — встретить на дороге человека, сидящего в завязанном мешке! — говорил ростовщик. — Может быть, тебя посадили в мешок насильно?

— Насильно! — усмехнулся Ходжа Насреддин. — Стал бы я платить шестьсот таньга за то, чтобы меня посадили в мешок насильно!

— Шестьсот таньга! За что же ты уплатил такие деньги?

— О прохожий, я тебе расскажу все, если ты пообещаешь, выслушав, удалиться и не тревожить больше мой

покой. Этот мешок принадлежит одному арабу, живущему у нас в Бухаре, и обладает чудесным свойством исцелять болезни и уродства. Хозяин дает его на подержание, но за большие деньги и не всем. Я был хромым, горбатым и кривым на один глаз, и вот я надумал жениться, и отец моей невесты, дабы не огорчить ее взора созерцанием моих уродств, повел меня к этому арабу, и я получил на подержание мешок сроком на четыре часа, уплатив хозяину шестьсот таньга. А так как этот мешок проявляет свои целебные свойства только вблизи кладбища, то я и пришел после захода солнца сюда, к старому Каршинскому кладбищу, вместе с отцом моей невесты, который, завязав веревку на мешке, удалился, ибо присутствие постороннего человека может испортить все дело. Араб, хозяин мешка, предупредил меня — как только я останусь один, ко мне подлетят три джинна, производя шум и звон своими медными крыльями. И джинны человеческими голосами спросят меня, где на кладбище закопаны десять тысяч таньга, на что я должен ответить им следующим таинственным заклинанием: «Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин. О джинны, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака!». Так оно в точности и случилось: явились джинны и спросили меня, где закопаны десять тысяч таньга; услышав мой ответ, джинны пришли в неописуемую ярость и начали бить меня, а я, памятуя наставления араба, продолжал кричать: «Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуйте под хвост моего ишака!». Потом джинны подхватили мешок и понесли куда-то... А дальше я ничего уже не помню, очнулся я через два часа на том же самом месте вполне исцеленный — мой горб исчез, нога выпрямилась, и глаз прозрел, в чем я убедился, глядя в дырочку, которую кто-то проделал в мешке еще до меня. И теперь я досиживаю в мешке свой срок только потому, что деньги все равно заплачены, — не пропадать же им зря! Конечно, я совершил ошибку: надо было сговориться с каким-нибудь человеком, обладающим теми же уродствами; мы взяли бы мешок пополам, просидели бы в нем по два часа, и наше исцеление обошлось бы нам всего лишь по триста таньга. Но сделанного не вернешь: пусть пропадают мои деньги, самое главное, что я все-таки исцелился.

Теперь, прохожий, ты знаешь все, сдержи свое обещание и удались. Я немного ослаб после исцеления, мне

трудно разговаривать. Уже десятый человек пристает ко мне с расспросами, я устал повторять всем одно и то же.

Ростовщик слушал с глубоким вниманием, прерывая иногда рассказ Ходжи Насреддина возгласами удивления.

— Послушай, о человек, сидящий в мешке! — сказал ростовщик. — Мы оба можем извлечь пользу из нашей встречи. Ты сожалеешь о том, что не сговорился заранее с каким-нибудь человеком, обладающим такими же уродствами, чтобы взять мешок на подержание пополам. Но тебе еще не поздно сговориться, ибо я и есть как раз тот человек, который тебе нужен: я горбат, хром на правую ногу и крив на один глаз. И я охотно уплачу триста таньга за то, чтобы просидеть в мешке оставшиеся два часа.

— Ты, наверное, смеешься надо мной, — ответил Ходжа Насреддин. — Может ли быть такое чудесное совпадение! Если ты говоришь правду, то возблагодари аллаха за ниспослание тебе столь счастливого случая! Я согласен, прохожий, но предупреждаю, что я уплатил вперед, и тебе тоже придется уплатить вперед. В долг я не поверю.

— Я уплачу вперед, — сказал ростовщик, развязывая веревку. — Не будем терять времени, ибо минуты идут, а теперь они принадлежат уже мне.

Вылезая из мешка, Ходжа Насреддин прикрыл рукавом халата лицо. Но ростовщику некогда было разглядывать: он торопливо считал деньги, сожалея о пролетающих минутах.

С кряхтением и стонами он залез в мешок, пригнул голову.

Ходжа Насреддин затянул веревку, отбежал и притаился в тени за деревом.

Он успел как раз вовремя. Со стороны кладбища послышалась громкая ругань стражников. Сначала из пролома в кладбищенском заборе выползли на дорогу их длинные тени, затем и сами они показались, отражая луну медью своих щитов.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— Эй ты, бродяга! — кричали стражники, толкая мешок ногами, причем оружие их лязгало и звенело, что вполне могло сойти за шум, производимый медными крыльями. — Мы обшарили все кладбище и ничего не

нашли. Говори, о сын греха, где закопаны десять тысяч таньга?

Ростовщик твердо помнил таинственное заклинание.

— Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, — ответил он из мешка. — На месте сокола сидит филин. О джинны, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака!

Услышав такие слова, стражники пришли в неописуемую ярость.

— Ты обманул нас, подобный зловонному псу, и ты еще называешь нас дураками?[1] Смотрите, смотрите, он извалял в пыли весь мешок, значит он катался и кувыркался по дороге в надежде освободиться, пока мы, раздирая в кровь руки, трудились на кладбище! Ты жестоко поплатишься за свой обман, о гнусное порождение лисицы!

Они обрушили на мешок град тяжелых ударов, не удовольствовавшись этим, они поочередно сплясали на мешке в своих подкованных сапогах. А ростовщик, следуя наставлениям Ходжи Насреддина, беспрерывно кричал: «Кто носит медный щит, тот имеет медный лоб!..» — чем довел стражников до полного исступления. Жалея, что им не дозволено самим расправиться с преступником, они подхватили мешок и потащили к водоему.

Ходжа Насреддин вышел из своего укрытия на дорогу, обмыл в арыке лицо, сбросил халат, открыв ночному ветру широкую грудь. Как радостно и легко было ему сейчас, когда черное дыхание смерти пронеслось, не опалив его! Он отошел в сторону, расстелил халат, подложил камень под голову и лег, — он устал в душном и тесном мешке, он хотел отдохнуть. В густых вершинах шумел ветер, плыли в небесном океане золотые сонмы звезд, журчала вода в арыке; все это было Ходже Насреддину в десять раз милее и ближе, чем раньше. «Да! В мире слишком много хорошего, чтобы я согласился когда-нибудь умереть, если бы даже мне твердо пообещали рай; ведь там можно взбеситься от скуки, сидя вечно и бесконечно под одним и тем же деревом, в окружении одних и тех же гурий».

---

[1] Арабское слово «джинн» означает «злой дух». В узбекском языке имеется слово «джины», означающее буквально — «одержимый злым духом». Употребляется в смысле «бесноватый», «сумасшедший», «помешанный», «полоумный» и, наконец, просто «дурак».

Так он думал, лежа под звездами на теплой земле, чутко прислушиваясь к неумирающей и никогда не засыпающей жизни: стучало сердце в его груди, вскрикивал ночным голосом филин на кладбище, кто-то тихонько и осторожно пробирался через кусты — наверно, еж; пряно пахла увядающая трава, и вся ночь была наполнена какой-то затаенной возней, непонятными шорохами, ползанием и шуршанием. Мир жил и дышал — широкий, равно открытый для всех, принимающий с одинаковым гостеприимством в свои безграничные просторы и муравья, и птицу, и человека и требующий от них лишь одного — не употреблять во зло оказанного им привета и доверия. Хозяин с позором изгоняет гостя, который за праздничным столом, воспользовавшись общим весельем, начинает шарить по карманам других гостей; точно так же изгонялся из веселого и радостного мира гнусный ростовщик, вполне подобный этому вору. Ходжа Насреддин не испытывал ни малейшей жалости к нему, да и как можно пожалеть того, кто исчезновением своим облегчит жизнь тысячам и тысячам других людей! Ходжа Насреддин сожалел лишь о том, что ростовщик — не единственный и не последний злодей на земле; о, если бы можно было собрать в один мешок всех эмиров, сановников, мулл и ростовщиков и утопить их сразу в священном водоеме шейха Ахмеда, чтобы они своим вредоносным дыханием не сушили весенних цветов на деревьях, чтобы звоном своих денег, лживыми проповедями и лязгом мечей не заглушали они птичьего щебета, чтобы не мешали они людям наслаждаться красотой мира и достойно выполнять свое главное дело на земле — быть всегда и во всем счастливыми!

Тем временем стражники, боясь опоздать, все убыстряли и убыстряли шаги, наконец — пустились бегом. Ростовщик, трясясь и подпрыгивая в мешке, смирно ждал конца своего необычайного путешествия; он слышал лязг оружия, шорох камней под ногами стражников и удивлялся тому, что могучие джинны не поднимаются в воздух, а бегут, распустив совком свои медные крылья и чертя ими по земле, как делают это молодые петухи, гоняясь за курами. Но вот вдали послышался какой-то гул, напоминавший отдаленный рев горного потока, и ростовщик сначала подумал, что джинны затащили его куда-то в горы, может быть к своей обители Хан Тенгри — Вершине Духов. Но вскоре он стал различать отдельные голоса и убедился, что попал в ночное многолюдное сборище; судя по шуму, здесь

были тысячи людей, как на базаре, но с каких это пор базары в Бухаре начали торговать по ночам? Вдруг он почувствовал, что возносится вверх: ага, значит джинны решили все-таки подняться на воздух. Откуда мог он знать, что стражники в это время всходили по лестнице на помост? Взойдя, они сбросили мешок, он рухнул, доски вздрогнули и загремели под ним. Ростовщик охнул и крякнул.

— Эй вы, джинны! — не выдержал он. — Если вы будете так швырять мешок, то изуродуете меня еще больше, в то время как вам надлежит сделать обратное!

В ответ он получил яростный пинок:

— Ты сейчас найдешь свое исцеление, о сын греха, на дне водоема святого Ахмеда.

Эти слова привели ростовщика в полное недоумение: при чем здесь водоем святого Ахмеда? Недоумение ростовщика перешло в изумление, когда он услышал над мешком голос своего старинного приятеля (ростовщик мог бы поклясться в этом!), почтенного Арсланбека, начальника дворцовой стражи и войска. Мысли в голове ростовщика пошли кувырком: откуда взялся вдруг Арсланбек, почему ругает он джиннов за то, что они задержались в пути, и почему джинны, отвечая ему, трепещут от страха и раболепия; ведь не может быть, чтобы Арсланбек занимал одновременно должность главного джинна! И как следует теперь поступить — промолчать или окликнуть его? Так как на этот счет ростовщик не получил никаких наставлений, то и решил на всякий случай промолчать.

Между тем гул толпы усиливался, и все чаще, громче звучало какое-то одно слово: казалось, все вокруг — и земля, и воздух, и ветер — насыщено этим словом, оно гудело, шумело, рокотало и, замирая, отдавалось вдали. Ростовщик притих вслушиваясь. И он разобрал.

— Ходжа Насреддин!.. — гудела толпа тысячами голосов. — Ходжа Насреддин!.. Ходжа Насреддин!..

Вдруг все затихло, и в мертвой тишине ростовщик услышал шипение горящих факелов, шелест ветра, всплески воды. Мурашки побежали по его уродливой спине, черный ужас начал медленно подползать к нему, обдавая его своим ледяным, цепенящим дыханием.

Раздался новый голос, и ростовщик мог бы поклясться, что голос этот принадлежит великому визирю Бахтияру:

— Во имя аллаха всемилостивого и всемогущего! По повелению великого и солнцеподобного эмира бухарского, предается смерти преступник и осквернитель веры, воз-

мутитель спокойствия и сеятель раздоров Ходжа Насреддин через утопление в мешке!

Чьи-то руки подхватили мешок и подняли. Тут ростовщик сообразил, что попал в смертельную ловушку.

— Подождите! Подождите! — завопил он. — Что вы хотите делать со мной! Подождите, я не Ходжа Насреддин, я ростовщик Джафар! Отпустите меня! Я ростовщик Джафар, я не Ходжа Насреддин! Куда вы меня потащили, говорят вам — я ростовщик Джафар!

Эмир и свита в безмолвии внимали его воплям. Багдадский мудрец Гуссейн Гуслия, сидевший ближе всех к эмиру, сказал, сокрушенно покачивая головой:

— Какая бездна бесстыдства сокрыта в этом преступнике! То он называл себя Гуссейном Гуслия, мудрецом из Багдада, теперь он пытается обмануть нас, называя себя ростовщиком Джафаром!

— И он думает, что здесь найдутся дураки, которые поверят ему, — добавил Арсланбек. — Послушайте, послушайте, как искусно он подделывает свой голос!

— Отпустите меня! Я не Ходжа Насреддин, я Джафар! — надрывался ростовщик, в то время как два стражника, стоя на краю помоста, мерными движениями раскачивали мешок, готовясь швырнуть его в темную воду. — Я не Ходжа Насреддин, сколько раз надо вам повторять!

Но в этот миг Арсланбек махнул рукой, и мешок, грузно переворачиваясь в воздухе, полетел вниз; раздался сильный всплеск, блеснули в красном свете факелов брызги, и вода тяжело сомкнулась, поглотив грешное тело и грешную душу ростовщика Джафара...

Над толпой в темноте поднялся и повис единый огромный вздох. Несколько мгновений стояла страшная тишина, и вдруг всех потряс пронзительный вопль, полный невыразимой муки.

То кричала и билась на руках своего старого отца прекрасная Гюльджан.

Чайханщик Али отвернулся, обхватил руками голову. Кузнец Юсуп весь дрожал мелкой, прерывистой дрожью...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

По свершении казни эмир со своей свитой отбыл во дворец.

Арсланбек, опасаясь, что преступника могут вытащить раньше, чем он задохнется, приказал оцепить водоем

и не подпускать никого. Толпа всколыхнулась, отступила под напором стражников и остановилась, слитно чернея живой молчаливой громадой. Арсланбек попытался разогнать толпу, но люди только переходили с одного места на другое или прятались в темноту, чтобы, переждав, вернуться на старое место.

Во дворце началось великое ликование. Эмир праздновал победу над своим врагом. Сверкало золото и серебро, кипели котлы, дымили жаровни, гудели бубны, ревели трубы, грохотали, сотрясая воздух, барабаны, и столько огней было на этом празднике, что над эмирским дворцом стояло зарево, как от пожара.

Но город вокруг дворца молчал, погруженный во тьму и объятый скорбной тишиной.

Эмир щедро раздавал подарки, многие в этот день поживились. Поэты охрипли от беспрерывного славословия, спины их начали тихонько, но сладостно ныть — столь часто приходилось нагибаться за серебряными и золотыми монетами.

— Позвать сюда писца! — приказал эмир; прибежал писец и быстро заскрипел тростниковым пером.

— «От Великого, и Блистательного, и Затмевающего солнце Властителя, Повелителя и Законодателя Бухары Эмира Бухарского — Великому, и Блистательному, и Затмевающему солнце Властителю, Повелителю и Законодателю Хивы Хану Хивинскому посылаются розы привета и лилии доброжелательства. Сообщаем Вам, о Возлюбленный и Царственный Брат Наш, некую новость, которая может согреть огнем восторга Ваше Сердце и сладостно размягчить Вашу Печень, а именно: сегодня, в семнадцатый день месяца Сафара, Мы, Великий Эмир Бухарский, предали всенародной казни известного всему свету своими богохульными и непотребными деяниями преступника Ходжу Насреддина, да проклянет его аллах, через утопление в мешке, каковое утопление совершено было в Нашем присутствии и на Наших Глазах, благодаря чему Мы Сами царственным словом Нашим свидетельствуем перед Вами, что вышеназванный злодей, возмутитель спокойствия, осквернитель веры и сеятель раздоров, ныне не пребывает в живых и не сможет больше докучать Вам, о Возлюбленный Брат Наш, своими богомерзкими проделками...»

Такие же письма эмир написал калифу багдадскому, султану турецкому, шаху иранскому, хану кокандскому,

эмиру афганскому и многим другим государям сопредельных и несопредельных стран. Великий визирь Бахтияр свернул письма в трубки, привесил печати и вручил гонцам, приказав отправляться немедленно. И в ночной час открылись, громко скрипя и визжа петлями, все одиннадцать ворот Бухары, и, разбрызгивая звонкий щебень, высекая искры подковами своих коней, во все стороны по большим дорогам помчались гонцы — в Хиву, в Тегеран, в Стамбул, в Багдад, в Кабул и во многие другие города.

...Поздней ночью, через четыре часа после казни, Арсланбек увел стражу от водоема.

— Кто бы он ни был, хотя бы сам шайтан, но он не мог остаться живым, пролежав четыре часа в воде! — сказал Арсланбек. — И не доставайте его, пусть кто хочет возится с его поганым трупом.

Как только последний стражник исчез в темноте — толпа хлынула к берегу, зашумела и загудела; зажглись факелы, которые были приготовлены заранее и лежали неподалеку в кустах. Скорбно закричали женщины, оплакивая Ходжу Насреддина.

— Надо похоронить его как доброго мусульманина, — сказал старый Нияз.

Гюльджан стояла рядом с ним, опираясь на его плечо; она была недвижима и безмолвна.

Чайханщик Али и кузнец Юсуп полезли с баграми в воду. Они шарили долго, наконец зацепили мешок и поволокли к берегу. Когда он показался из воды — черный, отблескивающий при свете факелов и опутанный цепкими водорослями, — женщины завыли еще громче, заглушая своими воплями звуки веселья, доносившиеся из дворца.

Десятки рук подхватили мешок.

— Несите за мной, — сказал Юсуп, освещая факелами путь.

Мешок положили под раскидистым деревом на траву. Столпившийся вокруг народ ждал молча.

Юсуп вынул нож, осторожно разрезал мешок по длине, заглянул в лицо мертвому и вдруг отшатнулся, застыл с выпученными глазами, силясь что-то вымолвить неповинующимся языком.

Чайханщик Али бросился на помощь к Юсупу, но и с чайханщиком стряслось то же; он вскрикнул и вдруг повалился на спину, обратив к небу свое толстое пузо.

— Что случилось? — загудели в толпе. — Пустите нас, покажите нам!

Гюльджан, рыдая, стала на колени, нагнулась к бездыханному телу, но кто-то подсунул факел — и она отпрянула в безмерном страхе и удивлении.

Тут полезли с факелами со всех сторон, берег озарился ярко, и общий могучий вопль потряс тишину ночи:

— Джафар!

— Это ростовщик Джафар!

— Это не Ходжа Насреддин!

Было оцепенение, смятение, а потом люди вдруг заорали, полезли на плечи друг другу, началась давка и толкотня: каждый хотел убедиться собственными глазами. С Гюльджан творилось такое, что старый Нияз поспешил увести ее подальше от берега, опасаясь за ее рассудок: она плакала и смеялась, верила и не верила, и порывалась взглянуть еще.

— Джафар, Джафар! — неслись ликующие крики, в которых бесследно тонул далекий гул веселья во дворце. — Это ростовщик Джафар! Это он! И его сумка с долговыми расписками здесь!

Прошло много времени, прежде чем кто-то опомнился и спросил, обращая свой вопрос ко всем:

— Но где же тогда Ходжа Насреддин?

По всей толпе загудело из края в край, из конца в конец:

— Но где же тогда Ходжа Насреддин? Куда он девался, наш Ходжа Насреддин?

— Здесь он, здесь! — раздался знакомый спокойный голос, и все, повернувшись, с изумлением увидели живого и не сопровождаемого стражниками Ходжу Насреддина, который шел зевая и лениво потягиваясь: он незаметно уснул около кладбища и поэтому опоздал к водоему.

— Я здесь! — повторил он. — Кому я нужен — подходите! О благородные жители Бухары, зачем вы собрались у водоема, и что вы здесь делаете в такой поздний час?

— Как зачем собрались? — ответили сотни голосов. — Мы собрались, о Ходжа Насреддин, чтобы проститься с тобой, достойно оплакать и похоронить тебя.

— Меня? — сказал он. — Оплакивать?.. О благородные жители Бухары, вы плохо знаете Ходжу Насреддина, если думаете, что он собирается когда-нибудь умереть!

Я просто прилег отдохнуть около кладбища, а вы уже решили, что я умер!

Больше ему не удалось ничего сказать, потому что налетел, крича, толстый чайханщик Али; за ним — кузнец Юсуп; Ходжа Насреддин едва не задохнулся в их жарких объятиях. Мелко семеня, подбежал Нияз, но старика сейчас же оттеснили. Ходжа Насреддин очутился в середине большой толпы, каждый хотел обнять его и поздороваться с ним, а он, переходя из объятий в объятья, стремился туда, где слышался сердитый и нетерпеливый голос Гюльджан, которая тщетно старалась пробиться к нему сквозь толпу. Когда наконец они встретились, Гюльджан повисла на его шее. Ходжа Насреддин при всех целовал ее, откинув покрывало, и никто, даже самые ревностные блюстители законов и приличий, не посмел усмотреть в этом что-либо предосудительное.

Ходжа Насреддин поднял руку, призывая к тишине и вниманию.

— Вы собрались оплакивать меня, о жители Благородной Бухары! Да разве не знаете вы, что я бессмертен!

Я Ходжа Насреддин, сам себе господин,
И скажу — не совру — никогда не умру.

Он стоял, озаренный ярким пламенем шипящих факелов; толпа дружно подхватила его песню, и над ночной Бухарой понеслось, гудя, звеня и ликуя:

Нищий, босый и голый, я бродяга веселый,
Буду жить, буду петь и на солнце глядеть!

Куда было дворцу до такого веселья и ликования.

— Расскажи! — закричал кто-то. — Расскажи, как ты ухитрился утопить вместо себя ростовщика Джафара?

— Да! — вспомнил Ходжа Насреддин. — Юсуп! Ты помнишь мою клятву?

— Помню! — отозвался Юсуп. — Ты сдержал ее, Ходжа Насреддин!

— Где он? — спросил Ходжа Насреддин. — Где ростовщик? Вы взяли его сумку?

— Нет. Мы не притрагивались к нему.

— Ай-ай-ай! — укоризненно сказал Ходжа Насреддин. — Неужели вы не понимаете, о жители Бухары, с избытком наделенные благородством, но чуточку обиженные умом, что если эта сумка попадет в руки наследникам

ростовщика, то они выжмут из вас все долги до последнего гроша! Подайте мне его сумку!

Десятки людей, крича и толпясь, бросились выполнять приказание Ходжи Насреддина, принесли мокрую сумку и подали ему.

Он наугад вынул одну расписку.

— Седельник Мамед! — крикнул он — Кто здесь седельник Мамед?

— Я, — ответил тонкий, дребезжащий голос; из толпы выступил вперед маленький старик в цветистом, донельзя рваном халате и с бороденкой в три волоса

— Завтра ты, седельник Мамед, должен уплатить по этой расписке пятьсот таньга. Но я, Ходжа Насреддин, освобождаю тебя от уплаты долга; обрати эти деньги на свои нужды и купи себе новый халат, ибо твой больше похож на созревшее хлопковое поле: отовсюду лезет вата!

С этими словами он порвал расписку в клочки.

Так он поступил со всеми расписками.

Когда была порвана последняя, Ходжа Насреддин, сильно размахнувшись, швырнул сумку в воду.

— Пусть она лежит на дне всегда и вечно, эта сумка! — воскликнул он. — И пусть никогда никто не наденет ее на себя! О благородные жители Бухары, нет большего позора для человека, чем носить такую сумку, и что бы ни случилось с каждым из вас, и если даже кто-нибудь из вас разбогатеет, — на что, впрочем, мало надежды, пока здравствуют наш солнцеподобный эмир и его неусыпные визири, — но если так случится, и кто-нибудь из вас разбогатеет, то он никогда не должен надевать такую сумку, дабы не покрыть вечным позором и себя самого и свое потомство до четырнадцатого колена! А кроме того, он должен помнить, что на свете существует Ходжа Насреддин, который шутить не любит, — вы все видели, какому наказанию подверг он ростовщика Джафара! Теперь я прощаюсь с вами, о жители Благородной Бухары, пришло мне время отправляться в дальний путь. Гюльджан, ты поедешь со мной?!

— Поеду куда хочешь! — сказала она.

Жители Бухары достойно проводили Ходжу Насреддина. Караван-сарайщики привели для невесты белого, как хлопок, ишака; ни одного темного пятнышка не было на нем, и он горделиво сиял, стоя рядом со своим серым собратом, старинным и верным спутником Ходжи Насреддина в скитаниях. Но серый ишак ничуть не смущался

столь блистательным соседством, спокойно жевал зеленый сочный клевер и даже отталкивал своей мордой морду белого ишака, как бы давая этим понять, что, несмотря на бесспорное превосходство в масти, белый ишак далеко еще не имеет перед Ходжой Насреддином таких заслуг, какие имеет он, серый ишак.

Кузнецы притащили переносный горн и подковали тут же обоих ишаков, седельники подарили два богатых седла: отделанное бархатом — для Ходжи Насреддина и отделанное серебром — для Гюльджан. Чайханщики принесли два чайника и две китайские наилучшие пиалы, оружейник — саблю знаменитой стали гурда, чтобы Ходже Насреддину было чем обороняться в пути от разбойников; коверщики принесли попоны, арканщики — волосяной аркан, который, будучи растянут кольцом вокруг спящего, предохраняет от укуса ядовитой змеи, ибо змея, накалываясь на жесткие волосинки, не может переползти через него.

Принесли свои подарки ткачи, медники, портные, сапожники; вся Бухара, за исключением мулл, сановников и богачей, собирала в путь своего Ходжу Насреддина.

Гончары стояли в стороне печальные: им нечего было подарить. Зачем человеку нужен в дороге глиняный кувшин, когда есть медный, подаренный чеканщиками?

Но вдруг возвысил свой голос самый древний из гончаров, которому насчитывалось уже за сто лет:

— Кто это говорит, что мы, гончары, ничего не подарили Ходже Насреддину? А разве его невеста, эта прекрасная девушка, не происходит из славного и знаменитого сословия бухарских гончаров?

Гончары закричали и зашумели, приведенные в полное восхищение словами старика. Потом они дали от себя Гюльджан строгое наставление — быть Ходже Насреддину верной, преданной подругой, дабы не уронить славы и чести сословия.

— Близится рассвет, — обратился Ходжа Насреддин к народу. — Скоро откроют городские ворота. Мы с моей невестой должны уехать незаметно, если же вы пойдете нас провожать, то стражники, вообразив, что все жители Бухары решили покинуть город и переселиться на другое место, закроют ворота и никого не выпустят. Поэтому расходитесь по домам, о жители Благородной Бухары, пусть будет спокоен ваш сон, и пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды, и пусть дела ваши будут

успешны. Ходжа Насреддин прощается с вами! Надолго ли? Я не знаю и сам...

На востоке уже начала протаивать узкая, едва заметная полоска. Над водоемом поднимался легкий пар. Народ начал расходиться, люди гасили факелы, кричали прощаясь:

— Добрый путь, Ходжа Насреддин! Не забывай свою родную Бухару!

Особенно трогательным было прощание с кузнецом Юсупом и чайханщиком Али. Толстый чайханщик не мог удержаться от слез, которые обильно увлажнили его красные полные щеки.

До открытия ворот Ходжа Насреддин пробыл в доме Нияза, но как только первый муэдзин протянул над городом печально звенящую нить своего голоса, Ходжа Насреддин и Гюльджан тронулись в путь. Старик Нияз проводил их до угла — дальше Ходжа Насреддин не позволил, и старик остановился, глядя вслед им влажными глазами, пока они не скрылись за поворотом. Прилетел легкий утренний ветерок и начал хлопотать на пыльной дороге, заботливо заметая следы.

Нияз бегом пустился домой, торопливо поднялся на крышу, откуда было видно далеко за городскую стену, и, напрягая старые глаза, смахивая непрошеные слезы, долго смотрел на бурое, сожженное солнцем взгорье, по которому вилась, уходя за тридевять земель, серая лента дороги. Он долго ждал, в его сердце начала закрадываться тревога: уж не попались ли Ходжа Насреддин и Гюльджан в руки стражников? Но вот, присмотревшись, старик различил вдали два пятна — серое и белое: они все удалялись, все уменьшались, потом серое пятно исчезло, слившись со взгорьем, а белое виднелось еще долго, то пропадая в лощинах и впадинах, то показываясь опять. Наконец и оно исчезло, растворилось в поднимающемся мареве. Начинался день, и начинался зной. А старик, не замечая зноя, сидел на крыше в горькой задумчивости, его седая голова тряслась, и душный комок стоял в горле. Он не роптал на Ходжу Насреддина и свою дочку, он желал им долгого счастья, но ему было горько и больно думать о себе, — теперь совсем опустел его дом, и некому скрасить звонкой песней и веселым смехом его одинокую старость. Подул жаркий ветер, всколыхнул листву виноградника, взвихрил пыль, задел крылом горшки, что су-

шились на крыше, и они зазвенели жалобно, тонко, протяжно, словно бы и они грустили о покинувших дом...

Нияз очнулся, услышав какой-то шум за спиной, оглянулся: к нему на крышу поднимались по лестнице один за другим три брата, все молодец к молодцу и все гончары. Они подошли и склонились перед стариком в поклонах, преисполненные глубочайшего уважения.

— О почтенный Нияз! — сказал старший из них. — Твоя дочка ушла от тебя за Ходжой Насреддином, но ты не должен горевать и роптать, ибо таков вечный закон земли, что зайчиха не живет без зайца, лань не живет без оленя, корова не живет без быка и утка не живет без селезня. А разве девушка может прожить без верного и преданного друга, и разве не парами сотворил аллах все живущее на земле, разделив даже хлопковые побеги на мужские и женские. Но, чтобы не была черной твоя старость, о почтенный Нияз, решили мы все трое сказать тебе следующее: тот, кто породнился с Ходжой Насреддином, тот породнился со всеми жителями Бухары, и ты, о Нияз, породнился отныне с нами. Тебе известно, что прошлой осенью мы, скорбя и стеная, похоронили нашего отца и твоего друга, почтеннейшего Усмана Али, и ныне у нашего очага пустует место, предназначенное для старшего, и мы лишены ежедневного счастья почтительно созерцать белую бороду, без которой, как равно и без младенческого крика, дом считается наполовину пустым, ибо хорошо и спокойно бывает на душе у человека только тогда, когда он находится посередине между тем, обладающим бородою, кто дал ему жизнь, и между тем, лежащим в колыбели, которому он сам дал жизнь. И поэтому, о почтенный Нияз, мы просим тебя преклонить слух к нашим словам, и не отвергать нашей просьбы, и войти в наш дом, и занять у нашего очага место, предназначенное для старшего, и быть нам всем троим за отца, а нашим детям за дедушку.

Братья просили так настойчиво, что Нияз не мог отказаться: он вошел к ним в дом и был принят с великим почтением. Так на старости лет он за свою честную и чистую жизнь был вознагражден самой большой наградой, какая только существует на земле для мусульманина: он стал Нияз-бобо, то есть дедушка, глава большой семьи, в которой у него было четырнадцать внуков, и взор его мог наслаждаться беспрерывно, переходя с одних розовых щек, измазанных тутовником и виноградом, на другие, не менее

грязные. И слух его с тех пор никогда не был удручаем тишиною, так что ему с непривычки приходилось даже иной раз тяжеленько и он удалялся в свой старый дом отдохнуть и погрустить о таких близких его сердцу и таких далеких, ушедших неизвестно куда... В базарные дни он отправлялся на площадь и расспрашивал караванщиков, прибывших в Бухару со всех концов земли: не встретились ли им по дороге два путника — мужчина, под которым серый ишак, и женщина на белом ишаке без единого темного пятнышка? Караванщики морщили свои загорелые лбы, отрицательно качали головами: нет, такие люди им по дороге не попадались.

Ходжа Насреддин, как всегда, исчез бесследно, чтобы вдруг объявиться там, где его совсем не ожидают.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

которая могла бы послужить началом для новой книги

> Я совершил семь путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный рассказ, который смущает умы.
>
> *«Тысяча и одна ночь»*

И он объявился там, где его совсем не ожидали. Он объявился в Стамбуле.

Это произошло на третий день по получении султаном письма от эмира бухарского. Сотни глашатаев разъезжали по городам и селениям Блистательной Порты, оповещая народ о смерти Ходжи Насреддина. Обрадованные муллы дважды в день, утром и вечером, оглашали в мечетях эмирское письмо и возносили благодарность аллаху.

Султан пировал во дворцовом саду, в прохладной тени тополей, орошаемых влажной пылью фонтанов. Вокруг теснились визири, мудрецы, поэты и прочая дворцовая челядь, жадно ожидавшая подачек.

Черные рабы двигались вереницами с дымящимися подносами, кальянами и кувшинами в руках. Султан был в очень хорошем расположении духа и беспрерывно шутил.

— Почему сегодня, несмотря на такую жару, в воздухе чувствуется сладостная легкость и благоухание? — лукаво прищурившись, спрашивал он мудрецов и поэтов. — Кто из вас достойно ответит на наш вопрос?

И они, кидая умильные взгляды на кошелек в его руках, отвечали:

— Дыхание нашего сиятельного повелителя насытило воздух сладостной легкостью, а благоухание распространилось потому, что душа нечестивого Ходжи Насреддина перестала наконец источать свой гнусный смрад, отравлявший ранее весь мир.

В стороне, наблюдая за порядком, стоял охранитель спокойствия и благочестия в Стамбуле — начальник стражи, отличавшийся от своего достойного бухарского собрата Арсланбека разве только еще большей свирепостью да необычайной худобой, каковые качества сопутствовали в нем друг другу, что было давно замечено жителями Стамбула, и они еженедельно с тревогой в глазах расспрашивали дворцовых банщиков о состоянии почтенных телес начальника, — если сведения были зловещими, то все жители, обитавшие близ дворца, прятались по домам и без крайней необходимости не выходили никуда до следующего банного дня. Так вот, этот самый, приводящий в трепет начальник стоял в стороне; его голова, увенчанная чалмой, торчала на длинной и тонкой шее, как на шесте (многие жители Стамбула затаенно вздохнули бы, услышав такое сравнение!).

Все шло очень хорошо, ничто не омрачало праздника и не предвещало беды. Никто и не заметил дворцового надзирателя, который, привычно и ловко проскользнув между придворными, подошел к начальнику стражи, что-то шепнул ему. Начальник вздрогнул, переменился в лице и торопливыми шагами вышел вслед за надзирателем. Через минуту он вернулся — бледный, с трясущимися губами. Расталкивая придворных, он подошел к султану и в поклоне сломался перед ним пополам:

— О великий повелитель!..

— Что там еще? — недовольно спросил султан. — Неужели ты даже в такой день не можешь удержать при себе свои палочные и тюремные новости? Ну, говори скорей!

— О сиятельный и великий султан, язык мой отказывается...

Султан встревожился, сдвинул брови.

Начальник стражи полушепотом закончил:

— Он в Стамбуле!

— Кто? — глухо спросил султан, хотя сразу понял, о ком идет речь.

— Ходжа Насреддин!

Начальник стражи тихо произнес это имя, но придворные имеют чуткий слух; по всему саду зашелестело:

— Ходжа Насреддин! Он в Стамбуле!.. Ходжа Насреддин в Стамбуле!

— Откуда ты знаешь? — спросил султан; голос его был хриплым. — Кто сказал тебе? Возможно ли это, если мы имеем письмо эмира бухарского, в котором он своим царственным словом заверяет нас, что Ходжа Насреддин больше не пребывает в живых.

Начальник стражи подал знак дворцовому надзирателю, и тот подвел к султану какого-то человека с плоским носом на рябом лице, с желтыми беспокойными глазами.

— О повелитель! — пояснил начальник стражи. — Этот человек долго служил шпионом при дворце эмира бухарского и очень хорошо знает Ходжу Насреддина. Потом этот человек переехал в Стамбул, и я взял его на должность шпиона, в каковой должности он состоит и сейчас.

— Ты видел его? — перебил султан, обращаясь к шпиону. — Ты видел собственными глазами?

Шпион ответил утвердительно.

— Но ты, может быть, обознался?

Шпион ответил отрицательно. Нет, он не мог обознаться. И рядом с Ходжой Насреддином ехала какая-то женщина на белом ишаке.

— Почему же ты не схватил его сразу? — воскликнул султан. — Почему ты не предал его в руки стражников?

— О сиятельный повелитель! — ответил шпион и повалился, дрожа, на колени. — В Бухаре я попал однажды в руки Ходжи Насреддина, и если бы не милость аллаха, то не ушел бы от него живым. И когда я сегодня увидел его на улицах Стамбула, то зрение мое помутилось от страха, а когда я очнулся, то он уже исчез.

— Таковы твои шпионы! — воскликнул султан, блеснув глазами на согнувшегося начальника стражи. — Один только вид преступника приводит их в трепет!

Он оттолкнул ногой рябого шпиона и удалился в свои покои, сопровождаемый длинной цепью черных рабов.

Визири, сановники, поэты и мудрецы тревожно гудящей толпой устремились к выходу.

Через пять минут в саду никого не осталось, кроме начальника стражи, который, глядя в пустоту остановившимися мутными глазами, бессильно опустился на мраморный край водоема и долго сидел, внимая в одиночестве тихому плеску и смеху фонтанов. И, казалось, он в одно мгновение так похудел и высох, что если бы жители Стамбула увидели его, то бросились бы врассыпную — кто куда, не подбирая потерянных туфель.

А рябой шпион в это время мчался, задыхаясь, по накаленным улицам к морю. Там нашел он арабский корабль, готовый к отплытию.

Хозяин корабля, нисколько не сомневаясь в том, что видит перед собою бежавшего из тюрьмы разбойника, заломил непомерную цену; шпион не стал торговаться, вбежал на палубу и забился в темный грязный угол. Потом, когда тонкие минареты Стамбула потонули в голубой дымке и свежий ветер надул паруса, он выполз из своего убежища, обошел корабль, заглянул в лицо каждому человеку и наконец успокоился, удостоверившись, что Ходжи Насреддина на корабле нет.

С тех пор весь остаток своей жизни рябой шпион прожил в постоянном и непрерывном страхе: куда бы ни приезжал он — в Багдад, в Каир, в Тегеран или Дамаск, — ему не удавалось прожить спокойно больше трех месяцев, потому что в городе обязательно появлялся Ходжа Насреддин. И, содрогаясь при мысли о встрече с ним, рябой шпион бежал все дальше и дальше; здесь будет вполне уместно сравнить Ходжу Насреддина с могучим ураганом, который дыханием своим беспрестанно гонит перед собой сухой желтый лист, выдирает его из травы и выдувает его из расщелин. Так был наказан рябой шпион за все зло, которое он причинил людям!..

А на другой день в Стамбуле начались удивительные и необычайные события!.. Но не следует человеку рассказывать о том, чему он сам не был свидетелем, и описывать страны, которых не видел; этими словами мы и закончим в нашем повествовании последнюю главу, которая могла бы послужить началом для новой книги о дальнейших похождениях несравненного и бесподобного Ходжи Насреддина в Стамбуле, Багдаде, Тегеране, Дамаске и во многих других прославленных городах...

1940



ПОВЕСТЬ О ХОДЖЕ НАСРЕДДИНЕ

КНИГА ВТОРАЯ

ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ



Много странствовал я в разных краях земли; я побывал в гостях у многих народов и срывал по колоску с каждой нивы, ибо лучше ходить босиком, чем в тесной обуви, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома... И еще скажу: на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится сегодня!..

Саади

Ученые мудрецы минувших веков оставили в наследство миру множество книг, дабы факелом своих знаний освещать нам, живущим сейчас, извилистые и опасные пути нашей жизни. В этих книгах можно прочесть обо всем: о войнах и землетрясениях, о чудесах и пророчествах; каждая страница украшена именами шейхов, калифов, непобедимых воинов и прочих прославленных мужей земли; об одном только человеке ничего, ни единого слова, не сказано в этих книгах — о Ходже Насреддине, хотя и был он знаменит на весь мир.

Подобное упущение со стороны мудрецов не удивляет нас. В те далекие годы нередко случалось, что иной мудрец сеял в своей книге семена богатства и почета, но пожинал — увы! — одни только неисчислимые бедствия. По этой причине мудрецы были крайне осторожны в словах и мыслях, что видно из примера благочестивейшего Мухаммеда Расуля-ибн-Мансура: переселившись в Дамаск, он приступил к сочинению книги «Сокровище добродетельных» и уже дошел до жизнеописания многогрешного визиря Абу-Исхака, когда вдруг узнал, что дамасский градоправитель — прямой потомок этого визиря по материнской линии. «Да будет благословен аллах, вовремя ниспославший мне эту весть!» — воскликнул мудрец, тут же отсчитал десять чистых страниц и на каждой написал только: «Во избежание», — после чего сразу перешел к истории другого визиря, могущественные потомки которого проживали далеко от Дамаска. Благодаря такой дальновидности указанный мудрец прожил в Дамаске без потрясений еще много лет и даже сумел умереть своей

смертью, не будучи вынужденным вступить на загробный мост, неся перед собою в руке собственную голову наподобие фонаря.

Книги молчат о Ходже Насреддине. Тяжелый камень запрета лежал в те годы на его имени. Так повелели могущественные властелины — калифы, султаны и шахи, в надежде отомстить ему хотя бы в последующих веках, лишив его посмертной славы. Но спросим: удалось ли им достичь своей цели? Старая история, одна и та же во все времена, — сказано об этом у Сельмана Саведжи: «Достойный прославится, хотя бы все вихри объединились против него!».

Ибо есть одна книга, над которой не властны калифы: память народа. В этой великой книге и обрел Ходжа Насреддин свое бессмертие.

Есть в городе Ходженте, на берегу Сыр-Дарьи, обширный пустырь, где никто не селится и не разводит садов, потому что река в этом месте поворачивает, бьет под берег и ежегодно смывает его на три-четыре локтя. Река смыла пустырь уже до половины и вплотную подошла к могучему карагачу, одиноко растущему здесь, обнажив с одной стороны его узловатые грубые корни, сбегающие по глинистому обрыву к воде. Открытый солнцу, в изобилии снабженный влагой, карагач раскинулся широко и зеленеет густо, затмевая пышностью соседние деревья, что жалкой кучкой сбились в отдалении, у пыльной большой дороги. Томимые жаждой, палимые зноем, они слабо шелестят хилой, изможденной листвой и, подобно многим ничтожным людям, злобно завидуют счастливому гордецу. «Ничего, — думают они, — река еще подмоет берег, на котором он держится, и, потеряв опору, он рухнет и уплывет по течению, чтобы сгнить бесславно где-нибудь на песчаной отмели. А мы будем стоять здесь по-прежнему, воссылая благодарность судьбе, взрастившей нас вдали от реки; пусть некрасива наша редкая листва, бессильная укрыть путника прохладной тенью, пусть осыпает нас горячая пыль с дороги, а наши корни теснит сухая и жесткая почва, — мы довольны и не хотим иной участи, ибо стремления порождают опасности, чему примером — гордый карагач!»

Они ошибаются: карагач не рухнет в реку и не уплывет по течению. Вода смоет лишь все мелкое, хилое

вокруг него, но не преодолеет его могучего корня, ушедшего в землю глубоко, под самое дно. Карагач удержится на берегу, и та же река, что подмывала его, нанесет плодоносного ила к нему, и он, укрепив собою берег, будет зеленеть еще долго, все шире раскидывая свою могучую литую крону, в то время как те, стоявшие в отдалении, уже отдадут свою жалкую жизнь огню в очагах... И даже когда облезет вся его кора, высохнет древесина и прекратится движение соков в стволе, его не срубят и не распилят на дрова, а обнесут красивой оградой и будут показывать заехавшему в Ходжент путнику, говоря: «Вот карагач, посаженный и взращенный самим Ходжой Насреддином!».

И еще узна́ет путник, что населенная лепешечниками ходжентская слобода Раззок (что значит «Податель насущного хлеба») имеет в народе второе название: слобода Ходжи Насреддина, потому что именно здесь, по преданию, стоял в минувшие времена его дом. Ходжентцы расскажут путнику, что в горах, по дороге в Ашт, есть озеро Ходжи Насреддина; на берегу его расположено маленькое селение Чорак; в этом селении есть чайхана Ходжи Насреддина, а в чайхане под крышей живут воробьи Ходжи Насреддина — потомки одного знаменитого воробья, о котором речь впереди. Там же есть пещера со странным названием: «Обиталище благочестивого вора», есть арык Ходжи Насреддина, мостик Ходжи Насреддина, — словом, все дышит здесь его памятью, как будто он уехал отсюда на своем ишаке только вчера.

Облачившись в халат усердия и вооружившись посохом терпения, мы посетили все эти места. Мы ночевали под многими кровлями, грелись у многих костров, беседовали о Ходже Насреддине со многими людьми; судьба благоприятствовала нам в поисках, — и вот сегодня мы открываем еще одну страницу его жизни и говорим вслед за мудрейшим Ибн-Туфейлем: «Да послужит эта история поучением тому, кто имеет сердце, или кто внимает и видит...».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

После этого купец с женой отправились в дальний путь. Они ехали долго, пересекая горы и степи, моря и пустыни, в полдневный зной и на заре; аллах сохранил их в пути, и на тринадцатый день они достигли города Басры...

«Тысяча и одна ночь»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Покинув Бухару, Ходжа Насреддин со своей женой Гюльджан направился сначала в Стамбул, а оттуда к арабам. Он возмутил спокойствие поочередно в Багдаде, Медине, Бейруте и Басре, привел в небывалое смятение Дамаск, потом завернул мимоходом в Каир, где на короткое время занял должность главного каирского судьи. Кого и как он судил — мы не знаем; достоверно известно только одно — что потом Ходжу Насреддина искали и ловили по всему Египту целых два года. Он же был в это время далеко — в иных землях, на иных дорогах.

Вечный бродяга, он нигде не останавливался надолго; с рассветом заседлывал он ишаков — белого для Гюльджан, серого для себя — и снова пускался в путь, все вперед, и все дальше, каждый день меняя ночлег. Утром его леденил мороз и заносила метель на горном снеговом перевале, в полдень недвижный зной каменистых ущелий сушил его губы, вечером он вдыхал благоуханную свежесть долины и пил из арыка мутную воду, рождение которой от льда и снегов видел сегодня там, наверху.

Будь его воля, он так никогда и не прекратил бы скитаний и все ездил бы, ездил, опоясывая землю маленькими дробными следами копыт своего ишака. Но человек, имеющий жену, должен иметь и потомство; Ходжа Насреддин не уклонялся от этого правила: на четвертый год супружеской жизни Гюльджан подарила ему четвертого сына. Радовался Ходжа Насреддин, радовалась Гюльджан, шумно ликовали, хлопая в ладоши, братья новорожденного, торжествующе ревел белый ишак, оповещая всех двуногих в перьях и без перьев, всех четвероногих, всех

плавающих и ползающих о приходе в мир молодого хозяина. Только серый ишак не радовался, хмуро передергивал ушами и смотрел в землю, не замечая весенней красоты, щедро разлитой вокруг.

Через месяц тронулись дальше — Гюльджан на своем белом ишаке, а Ходжа Насреддин на сером. Перед Ходжой Насреддином, на самой холке ишака сидел старший сын, второй сидел позади, на крестце ишака, и забавлялся тем, что, поймав и загнув к себе ишачий хвост, выбирал из кисточки застрявшие в ней репьи; третий сын ехал в правой переметной суме, а четвертого уложили в левую.

— Гюльджан, мой ишак что-то скучает в последнее время, — сказал Ходжа Насреддин. — Уж не заболел ли он, спаси нас аллах и помилуй от подобного бедствия!

— Купи на следующем базаре хорошую плетку, и он сразу повеселеет, — посоветовала Гюльджан.

Ишак, внимая этим речам, только вздыхал, ропща в душе на своего хозяина.

Минул год. Снова пришла весна, южный ветер открыл цветы абрикосов, сады залились бело-розовой пеной цветения, наполнились писком, свистом, щебетом и чириканьем, арыки выступили из берегов и по ночам гудели гулко и полно, как трубы. Однажды на привале серый ишак, пощипывая свежую весеннюю траву, взглянул на Гюльджан и заметил, что она как будто опять пополнела. Убедившись в справедливости своих подозрений, он заревел, оборвал веревку и кинулся в сторону, ломая кусты.

Только тогда Ходжа Насреддин догадался о причине грустной задумчивости длинноухого.

— Моя прекрасная Гюльджан, — сказал он, — будет справедливо, если ты возьмешь двух последних сыновей к себе, на белого ишака.

С тех пор заскучал уже белый ишак, а серый, наоборот, поставя уши торчком, крутя и размахивая хвостом, бойко перебирал по дороге копытами.

Но прошло еще два года — и скучать начали оба ишака.

— Может быть, купим третьего? — предложила Гюльджан.

— О моя несравненная роза, ведь если так будет продолжаться, то скоро за нами пойдет целый караван! — ответил Ходжа Насреддин. — Нет, я вижу, годы

странствий окончились для меня, пришли годы созерцания и размышления.

— Слава аллаху! — воскликнула Гюльджан. — Наконец ты догадался, что в твоем возрасте и с таким семейством неприлично болтаться по дорогам, подобно какому-то бездомному бродяге. Мы поедем в Бухару, поселимся у моего отца...

— Подожди, — остановил ее Ходжа Насреддин, — ты забыла, что в Бухаре царствует все тот же пресветлый эмир, и он, конечно, помнит своего придворного звездочета Гуссейна Гуслию. Поселимся лучше где-нибудь здесь, в Коканде или в Ходженте.

С бугра, где он поставил в этот день свой шатер для ночлега, были видны две дороги: одна — большая, торговая, на Коканд, вторая — узенькая, проселочная, к Ходженту. По большой кокандской дороге, в тяжелом облаке пыли, медлительно катился темный гудящий поток верблюжьих караванов, арб, всадников, пешеходов; ходжентская дорога была пустынной, тихой, и высокое небо над нею чуть розовело, окрашенное прозрачным светом зари.

— Поедем в Коканд, — сказал Ходжа Насреддин.

— Нет, поедем лучше в Ходжент, — ответила Гюльджан. — Я устала от больших городов, от шумных базаров, я хочу отдохнуть в тишине.

Он понял свою ошибку: желая попасть в Коканд и зная природу супруги, следовало предложить ей Ходжент. «В такое захолустье!» — воскликнула бы она, и утром они направились бы по большой дороге. Но исправлять ошибку было поздно, а спорить даже опасно, ибо права старинная пословица: «Кто спорит с женой — сокращает свое долголетие».

Вздохнув, Ходжа Насреддин сказал:

— Я был когда-то в Ходженте и до сих пор помню вкус тамошнего знаменитого винограда. Хорошо, пусть будет по-твоему...

И они поселились в Ходженте, в слободе лепешечников Раззок, на самом берегу Сыр-Дарьи. Великая река, кормилица бесчисленных поколений, вырвавшись из тесных ущелий в долину, смиряла здесь бешеный напор своих желтых клокочущих вод и у Ходжента шла плавно, могуче, даруя жизнь растениям, животным и людям и усыпляя по ночам детей Ходжи Насреддина тихим журчанием струй, подмывающих глинистый берег.

В те годы, о которых идет здесь речь, от былой славы Ходжента и от его богатств ничего уже не осталось. Теперь это был маленький дремлющий городок, населенный мелкими лавочниками, садоводами, огородниками и множеством дряхлых чалмоносных стариков — отставных мулл, мударрисов, улемов и кадиев. Старики молились в мечетях, старики сидели в чайханах, бродили по улицам, переулкам и площадям, наполняя город немощным кашлем и шарканьем туфель, отстающих от пяток. Такое скопление стариков в одном городе было удивительным, — казалось, все они тайно сговорились отдать свой прах только желтой ходжентской земле и с этой целью съехались сюда со всех концов мусульманского мира.

Опоясанный со всех сторон многоводными арыками, защищенный горами от холодных ветров, Ходжент с его садами и виноградниками был истинным раем для всякого, утомленного бурями жизни, — вот почему ходжентцы никогда не уставали благодарить аллаха за великое счастье жить в таком благословленном месте.

Один только человек во всем городе думал иначе — некий Узакбай, бывший базарный надзиратель из Самарканда. Впрочем, этот Узакбай был вообще странным и неприветливым человеком: всегда носил большие темные очки, закрывавшие наполовину его лицо, ни с кем не сходился, не разговаривал, нигде не бывал в гостях и никого не приглашал к себе. Такая необщительность подсказала соседям вывод, что он носит в себе темную душу, отягощенную многими злодеяниями. Мальчишки шарахались от него в стороны, крича из-за углов и заборов: «Филин! Очкастый филин!..». А он все молчал, покачивая только головой и невесело улыбаясь этому прозвищу.

Да, под личиною Узакбая скрывался Ходжа Насреддин. Он знал: в этом тесном городке, где каждый человек на виду, достаточно ему ошибиться в одном слове, сделать один неверный шаг — и на его семью обрушится целый самум! Пришлось закрыть лицо темными очками, принять чужое имя, распугать нелюдимостью соседей и, совершив все это, почувствовать Ходжент угрюмой тюрьмой, а себя самого — несчастным и обездоленным на земле.

Он горько сетовал на аллаха, который вложил в его душу два противоречивых и взаимовраждебных начала: неистребимую страсть к бродяжничеству и горячую любовь к семье. Раздираемый этими силами надвое, он был истинным мучеником, тем более что свои страдания

скрывал на самом дне сердца. Кому он мог пожаловаться, с кем поделиться? С Гюльджан, верной и горячо любимой подругой? Но в ней-то как раз и воплощалась одна из раздирательных сил; воплощением же второй был ишак, мирно дремавший и толстевший над своей кормушкой. И хотя ишак был лишен дара человеческой речи, только перед ним по ночам и мог излиться несчастный страдалец.

А наступающий новый день был похож на вчерашний. Ходжа Насреддин опять надевал очки, сквозь которые самое солнце казалось ему темным и тусклым, и шел на базар за покупками. Вернувшись, принимался за всякие мелкие дела по хозяйству — во дворике, в саду либо в сарае.

Но вечер всегда и безраздельно принадлежал ему. Семья ужинала без хозяина; он в это время сидел в одной окраинной чайхане на берегу Сыр-Дарьи.

Это была самая убогая, самая грязная во всем Ходженте чайхана, посещаемая только нищими, ворами, бродягами и прочим городским сбродом. Но зато здесь Ходжа Насреддин чувствовал себя в безопасности.

Чадно дымили плошки с бараньим жиром. Рябой чайханщик — скупщик краденого, с перебитым носом и бесстыдно задранными дырами ноздрей, суетился перед кипящими кумганами. Скоро начинали собираться и гости. Наполняя воздух отвратительной вонью своих невероятных лохмотьев, происхождение которых не взялся бы определить даже сам верховный вождь цыганских племен люли, в тюбетейках, засаленных до того, что их можно было поджаривать, горбатые, хромые, слепые, расслабленные, с жилами, пораженными трясучкой, в коросте и язвах, с палками и на костылях, гости со всех сторон ползли в чайхану и с криками, бранью, спорами начинали обсуждать дневные дела, свои грошовые удачи и промахи. Глядя на всю эту голытьбу, копошащуюся в тусклом свете коптилок, Ходжа Насреддин горько думал: «Вот все, что осталось мне от большого и прекрасного мира!».

А мир лежал перед ним — широкий, просторный, открытый во все концы... Заря меркла, сумерки сгущались, затихшая река дышала прохладной свежестью — мир покорялся ночи, и звезды, разгораясь, все чище, ярче, отдалялись от сквозной воздушной черноты неба и тянули к земле дрожащие хрустальные нити — «струны ангелов», как сказал бы Хафиз.

Ходжа Насреддин не спешил домой. Половина гостей уже храпела вповалку на грязном полу, чайханщик тушил огни под кумганами, уже начиналась по всему городу первая сонно-певучая перекличка петухов, а он все сидел, все думал, пытаясь найти выход, который бы примирил в его душе две уже упомянутых взаимовраждебных силы и освободил бы его из ходжентского нестерпимого плена.

Он и сам еще не знал в это время, что его ходжентский плен уже кончился: в душе созрела решимость и ждет минуты, чтобы подняться в разум, а затем претвориться в дела; ему, как нависшей лавине, не хватало только толчка!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наконец судьба послала ему одну удивительную встречу, послужившую началом событий.

Направляясь по вечерам в чайхану, Ходжа Насреддин всегда проходил мимо одного глухонемого нищего, сидевшего под камышовым навесом у входа в старую, полуразвалившуюся мечеть Гюхар-Шад. По виду это был самый обыкновенный нищий, ничем не отличавшийся от своих бесчисленных собратьев, что во множестве сновали по базару, бродили по улицам, густо роились вокруг мечетей, гробниц и прочих священных мест, способствующих размягчению сердец правоверных, а главное — ослаблению завязок на их кошельках. Одно только было непонятно в этом нищем: почему он избрал для себя мечеть давно бездействующую, никем не посещаемую и малопригодную для процветания его ремесла?.. Получив от Ходжи Насреддина ежедневные полтаньга, нищий благодарил молчаливым поклоном, кротким взглядом добрых старческих глаз, как бы вернувших себе из далекого прошлого детскую ясность, сворачивал свою дырявую подстилку и удалялся в мечеть, в развалины, где, по-видимому, и жил, деля свое одиночество с летучими мышами и совами.

И вот однажды глухонемой нищий вдруг заговорил. Случилось это в конце зимы, в ненастных сумерках; тучи закрывали зарю, кропил косой редкий дождь, свистел в оголенных деревьях ветер, рябил тусклую воду в лужах, трепал и заворачивал камышовый навес над головою старого нищего. Ходжа Насреддин остановился перед

ним, полез в карман за монетой, но достать не успел — нищий простер к нему иссохшую руку и проникновенным голосом сказал:

— Не печалься, Ходжа Насреддин, скоро ты сбросишь свои темные очки.

Ходжа Насреддин так и замер на месте с вытаращенными глазами, приоткрытым ртом и рукой, засунутой в карман. Он хорошо знал все хитрости нищих и не удивился бы тому, что глухонемой заговорил, но откуда знает старик его имя?

Нищий угадал мысли собеседника:

— Не бойся меня, Ходжа Насреддин! — В глубине его бледных глаз вспыхнул свет. — В надежде получить от тебя помощь, я уже много лет стремлюсь к беседе с тобою, но до сих пор это никогда не удавалось мне, хотя я неоднократно видел тебя и раньше. Я видел тебя в Бухаре, когда сидел со своей чашечкой возле водоема Ляби-Хауз, видел тебя в Самарканде...

— Подожди, — перебил Ходжа Насреддин, удивление которого возрастало с каждым словом нищего. — Каким образом и откуда ты узнал о моем пребывании здесь? Ты вселил в мое сердце тревогу.

— Извергни ее из своего сердца! Во всей округе только я знаю о твоем пребывании здесь. Мне сказал об этом один мой духовный брат из нашего тайного братства Молчащих и Постигающих, или — иначе — Звездностранственных дервишей. Проходя в начале зимы по базару, он случайно увидел тебя как раз в то мгновение, когда неосторожный носильщик своим тюком сбил на землю твои темные очки...

— Припоминаю! — отозвался Ходжа Насреддин. — Однако у твоего духовного брата изрядно острые глаза, если он успел в одно это мгновение опознать меня. Уверен ли ты, что он не сочетает тайного братства Молчащих и Постигающих с другим и тоже тайным братством Подслушивающих, Подсматривающих и Выслеживающих?

— Не греши! — строго остановил его нищий. — Это был добродетельный брат, память о котором для меня священна, ибо он уже перешел из бренного земного бытия в иное, высшее состояние.

— Прости меня, мудрый старец, — сказал Ходжа Насреддин, чувствуя к дервишу внутреннее влечение и доверяясь ему. — Скажи теперь: почему именно сегодня ты обратился ко мне?

— По нашему уставу я в течение трехсот шестидесяти трех дней в году глух и нем, — ответил старик. — Ты первый, с кем я заговорил после годового молчания. Именно сегодня начались те мои два дня, когда я волен снять печать со своих уст. Что же касается прежних встреч, то они всегда бывали либо раньше, либо позже этих дней, и я молчал, хотя мое сердце стремилось к тебе и душа обливалась слезами.

— Говори, в чем твое горе, какой помощи ты ждешь от меня! — воскликнул Ходжа Насреддин, тронутый словами старика. — Может быть, ты нуждаешься в деньгах, почтенный старец? У меня как раз припрятаны в укромном местечке сто пятьдесят таньга, о которых моя жена ничего не знает.

— Я дервиш и не ищу в мире никаких выгод, кроме духовных, — ответил старик с достоинством. — Нет, не о деньгах я прошу тебя; однако здесь, на дороге, на холодном ветру, не место говорить о подобных вещах; идем со мною.

Они пошли в развалины мечети.

Старик провел гостя в маленькую келью, каким-то чудом уцелевшую от землетрясения, зажег с помощью огнива светильник. Ходжа Насреддин увидел в углу солому — постель старика, глиняный кувшин для воды, черепок, накрытый темной и черствой лепешкой, объеденной мышами по краям. Больше ничего не было в келье, да больше ничего и не нужно было старику, постигшему всю глубину и всю мудрость учения дервишей.

Взяв лепешку, старик осторожно обломал в ладонь объеденные края, высыпал крошки на лоскут, постеленный в углу перед мышиной норкой. Затем разделил лепешку пополам и подал одну половину гостю:

— Поужинаем сначала перед нашей беседой.

Гудел за стеною ветер, проскальзывал в щели, пригибая и колебля тонкое пламя светильника; вторя качаниям огня, по стенам и потолку качалась тень, то застилая, то снова открывая худое горбоносое лицо старика.

Здесь, в этой убогой келье, под унылый свист ветра, под слитный шум упорного дождя, под мышиный писк и возню в соломе, началась их беседа. Старик полез куда-то в угол, достал из-под соломы узелок, развязал его и высыпал на каменный пол горсть мелкого серебра.

— Вот деньги, которые ты опускал в мою чашечку. Я сберег их все, до твоей вчерашней монеты; возьми и присоедини к тем ста пятидесяти таньга, о которых не знает твоя жена.

— Никогда еще я не брал назад своей милостыни! — возразил Ходжа Насреддин. — Оставь у себя эти деньги, почтенный старец, и при случае отдай какому-нибудь обремененному семьей бедняку. Теперь скажи — какой помощи ты ждешь от меня?

Не ответив, старик погрузился в глубокое раздумье, тягостное для его сердца, судя по вздохам, которыми оно сопровождалось. Прошло много времени, фитиль нагорел и потрескивал, разбрасывая искры, осевшее пламя едва теплилось.

Ходжа Насреддин палочкой осторожно снял нагар — пламя вспыхнуло, осветив старика.

Он поднял голову:

— Ответь мне сначала, Ходжа Насреддин, познал ли ты уже свою веру?

— Свою веру? — удивился Ходжа Насреддин. — Я знаю ее с детских лет. Ислам — вот моя вера, хотя должен признаться, что частенько против нее грешу.

— Это общая вера, — сказал старик. — Но каждому из живущих открывается еще своя особая, частная вера, существующая только для этого человека. Я спрашиваю о твоей частной вере, только для тебя.

Ходжа Насреддин вынужден был сознаться, что своей частной веры не знает.

— Так я и думал, — заключил старец. — А между тем в ней-то как раз и содержится ключ ко всем загадкам, которые мучают нас. Познай свою веру, и тьма станет для тебя светом, путаница — ясностью, бессмыслица — соразмерностью. Твоя жизнь, о Ходжа Насреддин, была всегда многодеятельной, но раньше это касалось только внешнего ее течения, в то время как дух, не смущаемый никакими поисками, вполне обходился простым здравым смыслом и беспрепятственно наслаждался всей полнотой своего родства с миром. А теперь деятельность передалась внутрь, захватила и дух, который как бы тоже завел своего ишака, и с ним кочует из Бухары причин в Стамбул следствий, Багдад сомнений и Дамаск отрицаний. Ищи свою веру, Ходжа Насреддин; если сам не сможешь найти — я подскажу.

— О мудрый старец, ты заглянул на самое дно моей души! Тебе известны все мои сокровенные помыслы!

— Известны, — подтвердил старец. — Знай, что я мысленно сопутствую тебе во всех твоих скитаниях, соучаствую во всех твоих делах. Где бы ты ни был и что бы ни делал — все, до последнего слова, оброненного тобой, доходит до меня и запечатлевается в моей памяти, чтобы затем переплавиться в добродетельное размышление. Во мне ты видишь как бы самого себя, но уже перешедшего в заключительный срок земного бытия, когда на смену бурям и страстям приходят покой и мудрость.

— Великий аллах! Поистине, удивительный случай: встретить на дороге самого себя, но уже стариком и в образе нищего!

В голове у Ходжи Насреддина слегка гудело: старик своими странными речами сбил его с толку и поверг в недоумение.

Но это было только началом; еще много удивительного предстояло услышать ему.

— Почтенный старец, но в чем же все-таки заключается то дело, ради которого ты обратился ко мне?

Дервиш опустил седую голову.

— Близок, близок час, когда, безгласный и бездыханный, возлягу я на погребальные носилки, — отозвался он с глубокой скорбью в голосе. — Предвидение этого часа наполняет меня трепетом, и в слезах я обращаю к тебе свои мольбы: помоги!

— Чем? Поднять тебя с погребальных носилок?

— Нет, спаси мое духовное существо от возвращения в низшее первоначальное состояние, в котором я уже был когда-то, в незапамятные времена. Сколько перевоплощений прошел за это бесконечное время мой дух, сколько тяжких усилий он совершил на пути к совершенству, а теперь, по моей преступной нерадивости, ему предстоит начать весь круг сызнова, с первой, самой несовершенной ступени...

— Милосердный аллах! — воскликнул Ходжа Насреддин, тряся головой. — Я ничего не понимаю, как есть ничего! Скажи мне простыми, ясными словами — что нужно тебе от меня?

— Якорь моего спасения в твоих руках! — повторил старик. — Но вижу, ты не поймешь меня, пока я не открою тебе некоторых тайн, известных нам, Молчащим и Постигающим.

— Хорошо, — покорился Ходжа Насреддин, видя, что другим путем добиться от старика толкового ответа нельзя. — Хорошо, я готов к приятию твоих тайн.

— Тогда начнем во имя истины! — сказал нищий торжественным голосом. — Только пересядь сначала на другое место: мои мыши боятся и до сих пор не вышли к ужину из своей норки.

Ходжа Насреддин пересел на другое место, мыши вышли из своей норки и поужинали; после этого старик, молитвенно огладив ладонями бороду, возгласил:

— Да благословит высшая мудрость нашу беседу и ниспошлет тебе дар понимания, а мне — дар ясности и глубины в моих словах.

Он закрыл глаза и несколько минут молчал, сохраняя на лице важное, сосредоточенное выражение, точно прислушиваясь к таинственному голосу изнутри; потом его лицо прояснилось, и он поднял палец, призывая гостя ко вниманию.

Тайна старца о перевоплощениях духа оказалась давно известной Ходже Насреддину из бесед с индийскими дервишами, но вежливости ради он молчал. Незаметно мысли его отвлеклись в сторону — к семье, к близящейся весне, и от поучений старика остался лишь однозвучный голос, подобный мерному жужжанию прялки, а слова исчезли. «Через неделю подует южный ветер, дороги размякнут, снег на перевалах осядет, — думал Ходжа Насреддин. — Пройдет еще неделя, и поднимутся в путь дальние караваны, поднимутся кочевники со своими стадами...»

А прялка все жужжала, жужжала... А еще через минуту в келье послышался легкий храп с переливами и нежное посвистывание носом.

Ходжа Насреддин спал. Губы его приоткрылись, тюбетейка съехала на левый глаз, голова поникла, плечи обвисли. К счастью, он сидел в тени, старец не заметил его постыдной сонливости. Но великие тайны, завеса над которыми уже приподнималась, так и остались закрытыми для него, а вместе с ним — и для нас.

Он спал, и сны его были далеки от всяких надземных тайн. Снились ему дороги, дороги, о которых так неотступно думал он наяву, шумные базары, столь милые его сердцу, верблюжьи караваны в пустыне, горные пере-

валы, где путники, держась за общую веревку, восходят сквозь мокрые плотные облака. Он видел слепящий синий пламень южных морей, зыбкие, хрустально гладкие валы, тяжеловесно катящиеся под высокий нос корабля, скрежет и ползание вдоль бортов ржавой рулевой цепи, выгнутые, полные ветра паруса турецких фелюг...

Тюбетейка соскользнула с головы Ходжи Насреддина, упала ему на колени. Он вздрогнул, проснулся.

Дервиш продолжал свое поучение:

— Могут спросить — где же находит свое новое воплощение наш дух, покинувший землю, и где пребывал он раньше, до появления на земле? А планеты, а звезды, рассеянные во вселенной! Мы приходим на землю с какой-то звезды и уходим на звезду; мы — звездные странники, о Ходжа Насреддин! Вот почему звездный купол влечет к себе наши взоры и наполняет нас возвышенным умилением: мы видим над собою нашу вечную и безграничную родину, от которой получили бессмертие.

Ходжа Насреддин решил, что настало самое время задать старику какой-нибудь вопрос и этим затемнить свою постыдную сонливость:

— О мудрый старец, мне часто приходилось видеть падающие звезды. Как же понимать их падение? Ведь хорошо, если оборвалась и упала та звезда, на которой я уже успел побывать в одном из прежних своих воплощений, но что если упадет та, на которую я должен переселиться? Где же мой дух будет ее разыскивать по окончании земного бытия и куда он должен деваться, если не найдет во вселенной?

Старик слегка опешил и, откинув голову, долго смотрел на Ходжу Насреддина с изумлением во взгляде.

— А я только что хотел похвалить тебя за усердие, с которым ты вникал в мои поучения, не перебивая хода моих мыслей глупыми и неуместными вопросами, — сказал он с неудовольствием. — Однако уже поздно, уже пропели предполуночные петухи и городская стража ударила в барабаны, призывая жителей тушить огни в очагах; иди с миром домой, подумай о тайнах, которые я поведал тебе, а завтра вечером приходи опять, и мы продолжим беседу.

Ходжа Насреддин встал, молча поклонился нищему, вышел из кельи. Ночь встретила его сырым ветром и теменью — непроглядной, как тот мрак невежества, в котором пребывают многие ленивые духом и разумом. Но

дождь прекратился, тучи редели; в просвет, обозначившийся на западе, выглянула одинокая звездочка — робкая, словно бы вся заплаканная. Удивленно смотрела она с высоты, сквозь мокрые ресницы, на черную холодную землю, и столько ласковой кротости было в ее сиянии, что Ходжа Насреддин, умилившись, пожелал непременно попасть на эту именно звезду, если уж звездные странствия действительно суждены ему. «О прекрасная голубая звездочка, будь приветлива ко мне, когда придет мой час!» — мысленно воскликнул он, воспарив своим бессмертным духом в надземные выси, — но как раз в эту минуту его смертная плотская оболочка поскользнулась на жиденьком мостике из двух жердочек и шумно, с плеском и брызгами, свалилась в глубокий арык, полный ледяной воды. Ходжа Насреддин промок до нитки, вывозился в грязи, продрог и посинел, прежде чем добрался до дома. «И куда только носит тебя шайтан в такую темень!» — бранилась Гюльджан, развешивая перед очагом его мокрую одежду; он молчал, ругая в душе последними словами благочестивого старца со всеми его звездностранственными поучениями, ради которых приходится совершать по ночам столь прискорбные земные странствия...

Однако на следующий вечер он опять сидел в той же келье, слушая второе поучение нищего.

На этот раз он узнал, что для каждого воплощения есть свой особый закон, который наш дух обязан исполнить, дабы закончить воплощение более совершенным и обогатиться новыми свойствами, необходимыми для перехода в следующее, высшее бытие.

— Что касается земного воплощения, — говорил старик, — то его закон — это закон деятельного добра. Знай: будущие радостные века земли принадлежат деятельным — назову их Борющимися и Созидающими дервишами, — которым и предстоит окончательно сокрушить земное зло... Ты, о Ходжа Насреддин, — предтеча этих благодоблестных созидателей, вот почему смысл твоего земного бытия столь значителен, что должен послужить примером для многих поколений после нас...

Ходжа Насреддин с неподдельным вниманием слушал пророчества нищего о райском расцвете земли, — не раньше, правда, чем тысяч через пятьсот лет... Старый дервиш был в точности осведомлен о своем бессмертии, поэтому

держался с веками и тысячелетиями запросто, на дружеской ноге, но Ходжу Насреддина такой срок повергал в уныние. Он привык считать землю своим родным домом, а не случайным караван-сараем на путях звездных странствований, и ему хотелось поскорее навести в этом доме порядок. Пятьсот тысяч лет! Умственный взор его терялся в этой необозримости...

А время шло к полуночи. Ходжа Насреддин попробовал вернуть звездностранственного старца из его туманных парений к земле, к тому делу, ради которого они сошлись в этой келье.

— Чувствуя себя достаточно просветленным, о вещий старец, — заговорил он со всей возможной почтительностью, — я полагаю.., позволяю себе, так сказать, дерзость, в расчете на твое снисхождение... что теперь смог бы уразуметь, какой именно помощи ты ждешь от меня? Осмелюсь добавить, что время позднее, а минуты летят, — поведай же мне свое дело.

Старец поник головою:

— Дело это многотрудное...

— Говори! Берусь исполнить, лишь бы оно не выходило за пределы человеческих сил. Впрочем, если и выходит, но не слишком далеко, я тоже исполню!

Глубоко вздохнув, старец начал свой рассказ:

— В те дни, когда я ничего еще не знал о братстве Молчащих и Постигающих, когда я был богат и вел мерзостный образ жизни, предаваясь наслаждениям и различным порокам, когда мне еще и в голову не приходило раздать все свое имущество бедным, а самому остаться нагим и босым, — в те дни, в числе прочих богатств. я владел одним горным озером, находящимся здесь, в Фергане. И вот однажды — о черный день моей жизни! — я проиграл это озеро в кости некоему Агабеку, соединяющему в себе свирепость дракона и бессердечие паука. Завладев озером, Агабек поселился на его берегу и обложил несчастных жителей селения такими неслыханными поборами за воду для поливов, что многие впали в бедность, а иные разорились совсем...

Скрытое рыдание перехватило голос старика, остановив на минуту его речь. Он справился со своим волнением и продолжал:

— Каждый год с наступлением весны ко мне бегут слухи о свирепости и корыстолюбии этого человека. Я мучаюсь, проливаю слезы, терзаюсь раскаянием, но исправить

ничего не могу. Подобно камню, висит на мне это зло, и когда я окончу земной путь, оно воспрепятствует моему переходу в иное, высшее бытие, ибо дух человека не может считаться достигшим должной степени совершенства, если на земле после него осталось посеянное им и не исправленное...

— Понимаю, понимаю! — подхватил Ходжа Насреддин, заметив, что старец расправляет крылья, готовясь опять воспарить. — Значит, я должен отобрать у Агабека это озеро? Ты прав, многомудрый наставник, — такой задачи я никогда бы не смог для себя уяснить, не выслушав предварительно всех твоих поучений. Слушай же: я никогда не видел этого Агабека, но заранее тебе ручаюсь, что его доходы сильно уменьшатся в этом году. Говори, где находится оно, твое озеро?

Старец молчал. В ночной тишине Ходжа Насреддин услышал далекое пение полуночных петухов.

Последний, второй день старца окончился, его уста сомкнулись до следующей весны, согласно обету.

— Одно слово! — в тревоге воскликнул Ходжа Насреддин. — Одно только слово — где?

Старец молчал.

Ходжа Насреддин не мог скрыть досады:

— На все нашлось у тебя время, достопочтенный старец: на длинные звездностранственные разговоры, на поучения о мировом свете, — но одно-единственное земное слово, к тому же самое нужное, тобою не сказано, последней секунды тебе не хватило!

В невыразимой скорби, в отчаянии нищий закрыл ладонями худое, изможденное лицо.

Жалость горячей волной толкнула Ходжу Насреддина в сердце, щеки залились жгучей краской стыда.

— Прости меня за жестокий упрек! — воскликнул он, коснувшись рукой плеча нищего. — Утешься, я знаю: твое озеро — в горах Ферганы, этого достаточно. Я найду озеро и найду Агабека, клянусь той звездой, на которую мне предстоит переселиться! Как только зацветет миндать в моем садике, я тронусь в путь. Совершенствуй спокойно свое духовное существо и дальше, о звездностранственный старец, а все остальное предоставь мне!

Возвращаясь в темноте домой, шлепая по лужам, он то усмехался, то погружался в раздумье. «Безумец или мудрец этот нищий?» — спрашивал он себя. Ночь была холодная, сырая, но в пахучей влажности ветра, в чистоте

и ясности звездного блеска чувствовалась близость весны.

Ходжа Насреддин свернул в свой переулок. Здесь у дороги стоял дуплистый, хорошо ему знакомый тополь — очень старый, судя по рубцам и черным мозолям на его заскорузлой коре. Сейчас его ствол был невидим в темноте, слившей воедино землю, дома и заборы, но раскидистая крона тонко сквозила на темно-прозрачном небе, слегка-серебристом от звезд. Подпрыгнув, Ходжа Насреддин поймал нижнюю ветку тополя и осторожно, чтобы не сломать, притянул к себе. Всего неделю назад тополь был безжизненным, в тяжелом зимнем сне, как в смерти, а сегодня под пальцами явственно обозначились почки, еще не клейкие, но уже благоухающие. И, приникнув ухом к морщинистой коре, Ходжа Насреддин уловил слабый, едва заметный звук, подобный стону далекой струны, — то ли гул полуночного ветра, то ли начавшееся внутри тополя сокровенное движение соков от корня к вершине.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Со времени этих памятных бесед Ходжа Насреддин уже не опускал денег в чашечку старого нищего, но всегда захватывал из дома свежую ячменную лепешку, завернутую в чистую тряпочку.

Нищий, как и раньше, благодарил молчаливым поклоном и взглядом, полным надежды.

— Скоро, теперь уже скоро! — отвечал Ходжа Насреддин. — Вот потеплеет в горах, подсохнут дороги, и я двинусь на розыски озера.

Все чище, выше, синее становилось небо, все реже заволакивалось оно тучами; в полдень на солнце можно было сидеть без халата. Взволнованный приходом весны, Ходжа Насреддин похудел, глаза его светились молодым острым блеском; сон его в эти дни был прерывист и чуток.

Прошла еще неделя;, однажды ночью Ходжа Насреддин, томимый бессонницей, вышел в свой маленький садик — и замер от восхищения. Земля плыла в голубом дыму, а темно-прозрачный воздух над нею весь гудел и стонал, наполненный призывным гоготанием гусей, звоном и свистом утиных крыльев. Вольные птицы летели на север. «В дорогу, в дорогу!» — медными голосами

кричали гуси, собирая высоко в небе, под самыми звездами, свои караваны; «Скорее, скорее!» — отвечали им суетливые утки и вразброд, как попало, со всех сторон, стаями, парами и одиночками, неслись низко и стремительно, почти задевая деревья. Вздыхал в саду ветер, осыпая землю белым дождем лепестков, гудела в арыках весенняя певучая вода; в конюшне тревожно и радостно заржал жеребенок и гулко ударил копытом в глиняный пол. Ходжа Насреддин долго стоял в забытьи, внимая великому движению на небесных дорогах.

Рассвет застал его в стойле у ишака.

— Не печалься, дни нашей скорби окончились! — говорил он, обняв за шею своего длинноухого друга. — Через неделю мы будем далеко отсюда, на больших дорогах, на шумных базарах. Но Гюльджан... Как быть с нею? Сказать ей прямо, открыть правду? Но ты ведь знаешь ее природу: если бы она вдруг утонула в реке, — спаси нас аллах и помилуй от подобного случая! — то я бы пошел искать ее тело не вниз по течению, а вверх!

Он задумался. Различные мысли, как летучие молнии, вспыхивали в его уме, но он отвергал их все, одну за другой.

— Неужели я так поглупел? Что же ты молчишь, мой верный ишак; думай, помогай мне!

Ишак ответил вздохом и бурчаньем в животе. В это время прозрачный розовый луч восхода скользнул сквозь дверную щель в стойло; глаза Ходжи Насреддина ярко вспыхнули навстречу заре.

— Ну конечно! — воскликнул он. — Если я не могу уехать от семьи, то почему бы моей семье не уехать от меня?..

Вернувшись в этот день с базара, он сказал жене:

— Я встретил сегодня одного бухарца, который хорошо знает старого Нияза, твоего отца. Этот бухарец выехал из Бухары два месяца назад и сейчас с попутным караваном направляется обратно. Он рассказал, что твой отец жив, здоров и не терпит нужды, только сильно скучает. Как жаль, что мне запрещен въезд в Бухару и мы не можем навестить его!

Гюльджан ничего не ответила, склонилась ниже над своим шитьем. Ходжа Насреддин смотрел на нее с грустной и доброй усмешкой. Кто мог бы узнать в этой толстой

крикливой женщине с красным лицом прежнюю Гюльджан? Но у Ходжи Насреддина было двойное зрение, и он, когда хотел, мог смотреть на свою любимую жену глазами сердца и видеть ее прежней. «О моя кроткая голубка, прости меня за этот обман! — мысленно восклицал он. — Но ты сама хорошо знаешь свою природу — скажи по совести, могу ли я поступить иначе?»

На следующий день он возобновил разговор о бухарце.

— Я хотел позвать его в гости, но караван уже ушел в Бухару, — сказал он за обедом, глядя в стену, чтобы не встречаться глазами с Гюльджан, потому что на самом деле никакого бухарца ни вчера, ни сегодня не видел, а все придумал, от начала до конца.

— Через неделю они будут в Бухаре, — задумчиво говорил он. — Войдут в город через южные ворота, что видны с крыши вашего дома. И, возможно, старый Нияз увидит с крыши этот караван. А потом бухарец расскажет ему о нас — что мы живы, здоровы и живем в Ходженте, отделенные от Бухары всего лишь неделей пути. И еще он расскажет Ниязу, что аллах послал ему семерых внуков и все они любят своего деда, хотя никогда не видели его...

Гюльджан вздохнула, на ее ресницах повисла слеза. Ходжа Насреддин понял: глина ее сердца размягчена, время вертеть гончарный круг своей хитрости и лепить горшок замысла.

— А надо бы, надо бы показать старику его внуков, — сказал он с грустью в голосе. — Да поразит аллах слепотой и гнойными язвами этого разбойника эмира, из-за которого я не могу появиться в Бухаре! Впрочем, запрет касается только меня, а ты с детьми вполне могла бы поехать. Через неделю ты уже обнимала бы старика; жаль, что у нас нет денег на поездку.

— Как нет денег? — отозвалась Гюльджан. — А кошелек с восемьюстами таньга, что лежит в сундуке?

Ходжа Насреддин только и ждал, чтобы она первая заговорила о кошельке. Весь дальнейший разговор был известен ему заранее, как известна бывает опытному лодочнику река, на которой он вырос, — со всеми изгибами, отмелями и опасными перекатами.

Он уверенно повел вперед свою лодку.

— О нет! — воскликнул он. — Этих денег трогать нельзя; они нужны для дома. Я уже распределил.

— Распределил? Вот как?

Опасный перекат близился. В голосе жены Ходжа Насреддин ясно слышал грозный бурлящий гул его водоворотов.

Он вторично ударил веслом и, минуя все тихие заводи, вывел свою лодку на самую середину реки, в быстрину:

— Во-первых, нужно в саду устроить хороший водоем и выстлать его каменными плитами, чтобы детям было где купаться в жаркие дни.

— Ты совершенно прав, — отозвалась Гюльджан. — Как же обойтись без водоема, если река проходит под самым нашим садом, в десяти шагах?.. А выстлать можно и мрамором...

Лодка неслась стремительно, впереди уже виднелась белая пена, кипящая на подводных камнях.

— Водоем обойдется в двести таньга, — Ходжа Насреддин загнул два пальца. — Кроме того, я думаю построить в саду беседку и убрать ее внутри коврами. Плотники говорят, что на это понадобится еще двести. Столько же придется заплатить за ковры.

— Уже шестьсот, — сосчитала Гюльджан. — Остается еще двести.

— Они тоже нужны, — поспешил сказать Ходжа Насреддин. — Вместо нашей дощатой калитки я хочу поставить ореховую, резную. А напоследок позову мастеров, чтобы они расписали весь наш дом изнутри и снаружи синими цветами.

Синие цветы только сейчас пришли ему в голову; он сказал — и сам испугался.

— Зачем же снаружи? — спросила Гюльджан.

— Для красоты, — пояснил Ходжа Насреддин.

Весло вдруг переломилось, лодка с размаху ударилась о камни, перевернулась, водоворот подхватил и понес Ходжу Насреддина. Были крики и были слезы до самого вечера.

— Чтобы навестить бедного одинокого старика — денег нет, а расписывать дом синими цветами — деньги есть! — кричала Гюльджан. — И зачем расписывать его снаружи: ведь все равно первый дождь смоет всю твою дурацкую роспись!

Ходжа Насреддин молчал. Два дня пришлось ему с непокрытой головой стоять под ливнем ее упреков, зато на третий день у ворот появилась крытая арба: торжест-

вующая, гордая своей победой Гюльджан уезжала со всеми детьми к отцу в Бухару.

— Будь осторожен на мостах и на косогорах, — наставлял Ходжа Насреддин возницу. — Не пускай свою лошадь вскачь.

Пригревшийся на солнце возница клевал носом в сладкой дремоте; дремала и пегая кобыла, осев на левую заднюю ногу; наставления Ходжи Насреддина были совершенно излишними, ибо прошло уже очень много лет с тех пор, как эта почтенная пара пускалась вскачь.

Настелив на арбу мягкой рисовой соломы и прикрыв ее дорожным ковриком, Ходжа Насреддин долго носил из дому разные узлы, корзины, сумки; наконец из калитки вышла Гюльджан, а за нею цепочкой, по росту, — семеро, и все — сыновья.

Возница встрепенулся, приосанился в седле, крепче упер ноги в оглобли, взмахнул плетью, показывая всеми этими движениями, что он готов, и опять задремал, по опыту зная, что еще не скоро скажут ему: «Велик аллах над нами; ну — поехали!». А кобыла даже и не просыпалась, только переменила ногу, осев теперь на правую сторону.

Ходжа Насреддин помог жене взобраться по спицам колеса на арбу, затем передал ей всех сыновей, крепко целуя каждого на прощание. На арбе образовался многорукий пестроголовый клубок, издающий писк, визг и вопли, а посередине, как наседка над цыплятами, восседала озабоченная и в последнюю минуту взгрустнувшая Гюльджан.

— О мой дорогой супруг, хорошо ли ты запомнил мои поручения?

— Запомнил, всё запомнил, о роза моего сердца! Во-первых, отнести меднику в починку дырявый кумган, во-вторых, прочистить дымоход, в-третьих, отдать мяснику долг, шестнадцать таньга.

— И еще — забор, — напомнила Гюльджан, указывая на широкий пролом в глиняном заборе, возле калитки. — Обязательно почини забор.

— Я примусь за него сегодня же, как только провожу вас. Не задерживайся в Бухаре слишком долго, о свет моих очей!

— Мы вернемся ровно через три месяца.

Снова началось прощание — объятия, поцелуи, писк, визг и вопли; Ходжа Насреддин в суматохе никак не мог

уследить, какого из сыновей он поцеловал дважды, а какого пропустил, и в десятый раз принимался целовать всех сызнова.

Между тем солнце поднялось высоко, утренние легкие тени сменились дневными, короткими и резкими, возница выспался, кобыла застоялась — пришло время трогаться.

— Велик аллах над нами; ну — поехали! — дрогнувшим голосом сказал Ходжа Насреддин.

— Велик аллах! — ответил возница, и арба, скрипя, качаясь, медленно ворочая свои огромные колеса, двинулась в путь.

Ходжа Насреддин шел сзади. Миновали переулок, миновали знакомый тополь, что выбросил уже листья и навис легким зеленым облаком над дорогой.

Миновали базарную площадь; недалеко осталось до городских ворот.

Гюльджан сказала мужу:

— Если ты задумал провожать нас до самой Бухары, — садись уж лучше рядом со мною.

Он поблагодарил ее улыбкой за эту шутку, остановил арбу, в последний раз перецеловал семейство — от Гюльджан до самого маленького... И долго потом стоял на дороге, глядя вслед уезжавшим; наконец арба скрылась за поворотом, ее скрипение затихло, — он остался один.

Задумчивый и грустный возвращался он домой, вспоминая слова Ибн-Хазма: «В разлуке три четверти горя берет себе остающийся, уходящий же уносит всего одну четверть».

Дворик встретил его солнечной тишиной; только кричала в саду светлым одиноким голосом иволга, — раньше, за вечным шумом и возней ребятишек, Ходжа Насреддин ни разу не слышал ее.

Не заходя в опустевший дом, он направился к сараю, приоткрыл дверь, тихонько свистнул. Темнота не ответила. Он свистнул вторично. В сарайчике послышались тяжкие вздохи, сопение, шуршание, и вышел ишак — толстый, сонный, хмурый, отвыкший от солнца, недовольно жмурящийся на ярком свету. Он поднял уши и посмотрел вокруг как бы в недоумении.

— Чему ты удивляешься? — спросил Ходжа Насреддин. — Что в доме так тихо? Они все уехали в Бухару, к старому Ниязу, и мы с тобою теперь свободны, как вольные птицы.

Собрать переметные сумки и заседлать ишака было для Ходжи Насреддина делом пяти минут.

— Ого, ты растолстел, как гиссарский баран! — говорил он, затягивая подпругу. — Но через неделю, клянусь, ты будешь похож на борзую собаку! У нас, мой верный товарищ, очень много дела и очень мало времени. Вперед! Большая дорога ждет нас!

Он запер дом большим медным замком, припер калитку изнутри двумя толстыми жердями — и затем, нисколько не тревожась о дальнейшей сохранности своего имущества, выехал через пролом в заборе на дорогу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Миновав базарную площадь, он направил ишака в сторону мечети Гюхар-Шад.

Нищий сидел на обычном месте и, слегка запрокинув голову, устремив глаза в голубое небо, задумчиво и тихо улыбался, предчувствуя, быть может, свой полет сквозь эту светоносную бездну.

Ходжа Насреддин придержал ишака:

— Благослови меня, о мудрый старец! Жди меня обратно через три месяца; тогда я расскажу тебе об озере, об Агабеке и, надеюсь, смогу назвать мою веру.

Какой радостью, каким восторженным умилением осветилось лицо старика! Он встал, поклонился Ходже Насреддину, коснувшись рукою земли; губы его беззвучно шевелились — он творил напутственную молитву.

За городскими воротами дорога поворачивала к реке. Ходжа Насреддин ехал сначала побережными садами, потом свернул на проселок, в поля. Вокруг лежали влажно дымящиеся пашни, усыпанные людьми, — был самый разгар весенних работ.

В низинах, на рисовых полях, работали по трое: могучий горбатый бык, по колено в воде, медленно тащил грубую соху; за сохою, блестя изгибом потной спины, шел пахарь; сзади, высоко поднимая голенастые красные ноги, важно шагал аист, выбиравший из жидкого ила головастиков и разных червячков. «Да благословит аллах ваши труды!» — кричал Ходжа Насреддин; все трое останавливались, поворачивали головы к дороге; пахарь, сбросив ладонью пот со лба, отвечал: «Спасибо, да благословит аллах твой путь!» — и медлительное шествие возоб-

новлялось в прежнем порядке: впереди — бык, за ним — пахарь и сзади — аист.

Была середина апреля; тень от деревьев — еще вчера прозрачная, сквозная — сегодня ложилась на дорогу густо и слитно: так щедро весна одевала деревья молодой листвой. Многомилостивая, она не делала различий между благородным миндалем и убогим степным саксаулом, между двуногими и четвероногими, крылатыми и ползающими, — на всех равно изливала она свою благодать, признавая всех равно достойными жизни и счастья. Навстречу ей дружным ликующим хором свистели и щебетали птицы, квакали лягушки, звенели ящерицы, а муравьи, козявки, букашки и прочая земная мелочь, от природы лишенная голоса, выражала свой восторг суетливым ползанием и беготней.

Мог ли Ходжа Насреддин молчать среди такого радостного торжества? Опьяненный весенним простором, солнцем, свободой, он присоединил свой голос к общему ликующему хору.

Вот его песня:

Арык бежит — для меня,
Пчела гудит — для меня,
Цветут сады — для меня,
Потому что я человек!

Певцы поют — для меня,
И в бубны бьют — для меня,
Горит душа у меня,
Потому что я человек!

Поля вокруг — для меня,
Ишак мой —друг для меня,
Зовет дорога меня,
Потому что я человек!

Увидев стадо, идущее на водопой, он спел:

Блестит вода — для меня,
Идут стада — для меня,
Года не старят меня,
Потому что я человек!

Все, что попадалось ему на пути, находило отзвук в его песне, а так как земля сотворена аллахом круглой и поэтому земные дороги, переходя одна в другую, не имеют концов, то и песня Ходжи Насреддина была бесконечной; он мог бы объехать вокруг всего света, вернуться до-

мой с противоположной стороны, но с этой же самой песней:

Земля кругла — для меня,
Она мала для меня,
Вновь к дому вернулся я,
Потому что я человек!

Гюльджан встречает меня,
Она ругает меня,
Она ворчит на меня,
Потом целует меня,
Потому что я человек!

Тем временем проселок становился все шире, колеи — глубже; навстречу попадалось все больше арб, всадников, пешеходов.

А к полудню Ходжа Насреддин с дрогнувшим сердцем услышал впереди глухой слитный рокот, подобный гулу далекого водопада.

То гудела и рокотала большая дорога!

Узнал этот гул и встрепенувшийся ишак и пустился навстречу ему крупной рысью. «Вперед! Вперед!» — кричал Ходжа Насреддин, колотя ишака пятками, но тот и без понуканий все время прибавлял ходу. Очки прыгали на носу Ходжи Насреддина; он сорвал их, швырнул на дорогу, — ударившись о камень, очки разлетелись стеклянными брызгами.

Через полчаса большая дорога была перед ним. Как всегда, над нею тяжелым облаком висела пыль, сквозь которую безостановочно двигались люди, лошади, быки, ишаки, верблюды: одни — в Коканд, на базар, другие — из Коканда. Все это теснилось, толкалось, ржало, мычало, ревело и вопило на разные голоса, производя оглушительный нестройный шум.

Ходжа Насреддин смело направил ишака в самую гущу; дорога подхватила его, закружила и понесла. Его толкнули справа, подпихнули слева, какой-то бык больно хлестнул его хвостом по лицу, верблюд чихнул на голову. «Берегись, берегись!» — нестерпимым голосом завопил ему в самое ухо возница, обезумевший от жары и сутолоки; Ходжа Насреддин едва успел увернуться от его плети, чтобы в следующее мгновение услышать над собою проклятия и брань дюжего караванщика, готового сокрушить все и всех на пути, лишь бы успеть со своим караваном на место к должному сроку и получить обещанную награду.

Но уже через пять минут Ходжа Насреддин вполне преодолел свое первоначальное замешательство. «Берегись, берегись!» — завопил он голосом, еще более нестерпимым, чем у того возницы, и устремился вперед. Он толкал и обгонял попутных, воевал со встречными, ловко скользил между арбами, нырял под цепи, связывающие караванных верблюдов, отважно направлял ишака в бурые, густо пахучие волны овечьих гуртов...

Ночь провел он в придорожной чайхане, а зарю встретил уже опять в седле. Дорога в этот ранний розовый час была тиха и пустынна: караваны, арбы еще не снимались с ночевок. Ишак брел то по одной стороне дороги, то по другой, как вздумается; Ходжа Насреддин не мешал ему и не трогал поводьев, занятый своими мыслями. «Еще одна ночь в пути — и завтра я увижу Коканд! Там, на базаре, я, уж наверное, узнаю что-нибудь об этом Агабеке», — думал он, и перед его мысленным взором вставали кокандские площади, мечети, базар, ханский дворец с обнесенным высокой стеной гаремом, где томились, по слухам, двести тридцать семь жен — по одной на каждый день года, не считая постов. В свое время Ходжа Насреддин побывал в Коканде и оставил по себе долгую память; он усмехнулся, вспомнив жаркую августовскую ночь, веревку на гаремной стене, душную темноту гаремных переходов и закоулков, и, наконец... Но здесь Ходжа Насреддин круто осадил коня своей памяти. «О моя драгоценная Гюльджан, избрав тебя однажды, я сохраню тебе верность всегда и везде, даже в далеких воспоминаниях!» Восхищенный и растроганный собственным благородством, чувствуя в груди приятную расслабленность, как бы от погружения в теплую воду, он увлажненным взором глянул вокруг — и от неожиданности чуть не вывалился из седла.

Дороги не было; под копытами ишака расстилался ковер свежей росистой травы и вилась узенькая тропинка; внизу под косогором бежала сердитая горная речка, вся в пене и водоворотах, сбоку зеленела стена цветущего джидовника. А впереди, вознося за облака снеговые вершины, горбился угрюмый хребет, что час назад был вправо от дороги.

— О сын греха, о гнусная помесь шакала и ящерицы, куда ты завез меня, проклятый ишак! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Я никогда не бывал здесь, не знаю, куда ведет эта тропинка и что за речка шумит внизу! За-

чем ты свернул с большой дороги, какие преступные замыслы носишь ты в своей голове?

Первым его побуждением было — поднять плеть и хорошенько поработать ею; но такой мирный невозмутимый покой стоял вокруг, так приветливо жужжали в джидовнике пчелы и басили толстые мохнатые шмели, так благоухал воздух запахом дикого меда, так ласково грело солнце и улыбалось высокое небо, что его рука сама собой опустилась, не коснувшись плетью спины ишака.

— Ты, может быть, узнал от какого-нибудь встречного ишака, своего приятеля, где находится это озеро? — спросил Ходжа Насреддин. — Хорошо, пусть выбор пути принадлежит тебе; ты господин, я слуга; иди, куда хочешь, — я последую за тобою.

Мог ли в эту минуту он думать, что его слова окажутся пророческими, что скоро и впрямь он будет слугой своего ишака, а тот — его знатным, взыскательным господином? Но не будем забегать вперед, памятуя слова добродетельного Музаффара Юсупа Раджаби: «Не уподобляйся в рассказе щенку, что визжит и крутится, пытаясь схватить самого себя за кончик хвоста», — и перейдем к следующей главе, в которой повествуется, как Ходжа Насреддин вступил в единоборство со своим собственным именем, и о прискорбных для него последствиях этого события.

ГЛАВА ПЯТАЯ

После короткого отдыха он вновь занял свое место в седле, опустил поводья и спокойно погрузился в раздумья, предоставив ишаку выбирать дорогу по собственному разумению.

Тропинка поднималась все выше, речка спряталась на дно глубокой расщелины и, невидимая, глухо ворчала оттуда; навстречу во множестве бежали мелкие стремительные арыки, для которых там и здесь были перекинуты через расщелину водяные мостики — деревянные желобы, покрытые мшистой плесенью и задумчиво ронявшие в светлую глубину под собою тонкие струйки. Вскоре тропинка углубилась в пахучие заросли мелколиственного джидовника, плюща и дикого винограда; солнечный свет, пробиваясь сквозь ветви, скользил по лицу Ходжи Насреддина горячими пятнами; так же легко, не оставляя

следов, скользили и его мысли, вернее — призраки мыслей: столь мимолетны и неуловимы были они.

До ближайшего селения оказалось часа полтора пути, а весеннее солнце пригревало жарко; Ходжа Насреддин снял халат и ехал в одной рубахе, поминутно вытирая платком пот с лица. Зато селение встретило его прохладой чайханы, висевшей над обрывом и со всех сторон открытой горному ветру.

Дюжий чайханщик, обрадовавшись новому гостю, кинулся раздувать огонь под кумганами, — потянуло смолистым запахом арчи, благоуханного дерева ферганских гор.

Гостей в чайхане, кроме Ходжи Насреддина, было четверо: старик с древней, изжелта-сивой бородой и такими же сивыми бровями, свисавшими на глаза, — видимо, здешний житель, земледелец; два пастуха в сыромятных мягких башмаках и в толстых войлочных обмотках, оплетенных ремнями, в грубых, войлочных же, накидках; и последний, четвертый, худой и бледный, бродячий ремесленник, сапожник или портной, с дорожным мешком, лежавшим у него под локтем. Они сидели тесным кружком, обходясь одним чайником и одной круговой чашкой, и шептались о чем-то запретном, что было ясно из их опасливых взглядов, кидаемых искоса на Ходжу Насреддина.

Не желая мешать их беседе, он повернулся спиною к ним, лицом к обрыву.

Внизу расстилалась цветущая долина: поля, сады, селения, дальше высились пологие холмы, а еще дальше — горы, за которыми лежала Индия. Утренняя дымка разошлась, и горы как будто придвинулись; Ходжа Насреддин ясно видел белые пустыни снежных полей, обрывы и ущелья, полные фиолетовых теней; ниже снегов по бурокаменистым склонам вились серебряные жилки потоков. И в лицо ему тянуло оттуда, с гор, тонким и свежим снеговым ветром.

А шепот в углу продолжался, и все горячее; Ходжа Насреддин чувствовал затылком четыре пары внимательных глаз. «Говорят обо мне, сейчас подойдут и спросят».

Так и случилось: старик поднялся, подошел к Ходже Насреддину:

— Мир тебе, путник, посетивший наше затерянное селение. Мы заметили следы желтой пыли на твоих сапогах, а здесь у нас дороги каменисты и дают только

белую пыль. И мы решили, что ты человек чужеземный и приехал к нам из долины; верно ли это?

— Да, я приехал из долины, — сказал Ходжа Насреддин, протягивая старику чашку и звеня по ней ногтем в знак приглашения.

— Тогда скажи нам, о путник, — молвил старик, приняв чашку и усаживаясь напротив, — какие необыкновенные события произошли в долине за несколько последних дней? Быть может, взбунтовались ходжентские лепешечники? Или канибадамские маслоделы отказались платить подати? Или, может быть, что-нибудь стряслось в Ура-Тюбе?

— Нет, я ничего такого не слышал, — ответил Ходжа Насреддин, удивленный этими вопросами.

Старик многозначительно подмигнул своим приятелям.

— Я тоже ничего не слышал, а спросил так просто, на всякий случай, — сказал он хитрым голосом. — Мы здесь живем в глуши, люди из долины редки у нас — вот я и спросил...

— На всякий случай? — усмехнулся Ходжа Насреддин. — Знай же, почтенный старец, спрашивающий «на всякий случай», что канибадамские маслоделы исправно платят свои подати; помимо того, сообщаю, тоже «на всякий случай», что город Ходжент стоит на прежнем месте и не провалился сквозь землю, что в окрестностях Намангана не появился изрыгающий пламя дракон. Может быть, ты желаешь узнать еще что-нибудь «на всякий случай»?

Старик понял насмешку, промолчал, сдвинув нависшие брови и спрятав за ними глаза: он боялся довериться неизвестному человеку, между тем невысказанный вопрос жег и мучил его.

Ходжа Насреддин решил помочь старику:

— Почтенный, внимательно посмотри на мое лицо, загляни поглубже в глаза — разве я похож на шпиона?

— Ты нырнул на самое дно моих помыслов, — ответил старик. — Я действительно колеблюсь между страхом и желанием задать тебе некий весьма удивительный и опасный вопрос. Но если бы ты знал наших добродетельных правителей, этих кровопийц... то есть этих светочей справедливости, хотел я сказать, — да сохранит аллах на радость нам их благословенные годы и укрепит бразды в их неподкупных дланях!..

— Не трудись восхвалять передо мною правителей, почтенный старец: ведь я уже сказал тебе, что я не шпион.

— Твое лицо внушает мне доверие, путник, я откроюсь перед тобою. Мы хотели спросить, — старик понизил голос до шепота, остальные, все трое, придвинулись вплотную, — мы хотели спросить, не знаешь ли ты о появлении в наших местах Ходжи Насреддина?

Все, что угодно, готовился услышать Ходжа Насреддин — только не свое имя!

Он поперхнулся чаем, закашлялся.

— Да, да, Ходжа Насреддин появился! — горячим шепотом подхватил молодой пастух. — Один погонщик овечьих гуртов видел его своими глазами на большой дороге вблизи Ходжента...

— Этот погонщик жил когда-то в Бухаре и знает Ходжу Насреддина в лицо, — добавил второй пастух, смуглый высокий горец с черной бородкой и раскаленными глазами, блестевшими из-под широких сердитых бровей.

— И не только погонщик, — вставил свое замечание старик. — Ходжу Насреддина видел также один караван-баши на той же кокандской большой дороге.

А Ходжа Насреддин, внимая этим речам, думал, что излишне поторопился снять свои темные очки. Его узнали; сидя в этой маленькой чайхане, он мысленно слышал нарастающий гул кокандского, андижанского и прочих долинных базаров, взволнованных его именем. «Вот уж не ко времени шум! — размышлял он. — Надо всем этим слухам и разговорам положить конец!»

— Вы ошибаетесь, добрые люди, — обратился он к собеседникам. — Караван-баши и погонщик обознались, вот и все! Мне достоверно известно, что Ходжа Насреддин пребывает сейчас далеко от здешних мест.

— Но его видел еще и некий бродячий торговец! — с жаром возразил ремесленник, худые бледные щеки которого покрылись от волнения красными пятнами.

«Еще и торговец! — воскликнул про себя Ходжа Насреддин. — Поистине, это сам шайтан подбил меня снять очки!»

— Значит, у Ходжи Насреддина есть в Фергане какой-то двойник, — сказал он. — Повторяю, настоя-

щий, подлинный Ходжа Насреддин никак не мог появиться на здешних дорогах.

— Почему же, о путник? На чем основана твоя уверенность? — вопросил старик.

Подал голос и чайханщик от своих кумганов:

— Если неделю назад Ходжа Насреддин и вправду путешествовал где-то далеко, то почему сегодня он не может появиться у нас? — Чайханщик подошел к беседующим, заменил пустой чайник. — Для него нет расстояний; сумел же он однажды пройти от Герата до Самарканда в четыре дня!

— В том-то все и дело, что он уже больше не путешествует, — сказал Ходжа Насреддин. — Знайте, добрые люди: прежнего Ходжи Насреддина больше нет. Он обзавелся многочисленной семьей, купил дом и позабыл о прежних скитаниях. Его серый ишак день ото дня толстеет в своем стойле, да и сам Ходжа Насреддин изрядно растолстел от мирной сидячей жизни. Он поглупел, обленился и теперь никуда не выходит из дому без темных очков, опасаясь, как бы его не узнали.

— Ты хочешь сказать, что он стал еще и трусом вдобавок? — спросил дрогнувшим голосом пастух с бородкой. — Всем известно, что он никогда и ничего не боялся!

— Больше хвастался, — пренебрежительно ответил Ходжа Насреддин. — Во всех этих россказнях о нем три четверти — выдумка.

— Выдумка? — воскликнул ремесленник. — Но кто же тогда приводит в трепет неправедных вельмож, если все рассказы о Ходже Насреддине — выдумка?

Пастухи, чайханщик и старик переглядывались и перемигивались.

— Не знаю, не знаю, — сказал Ходжа Насреддин, не заметив этих зловещих переглядываний. — Мне известно даже большее, — что он сменил свое имя. Ныне его зовут Узакбай, ныне он...

Договорить не пришлось: чайханщик, крякнув, со всего размаха опустил ему на спину свой здоровенный кулак; в то же мгновение молодой пастух с непостижимым проворством принялся совать ему кулаки под ребра с обеих сторон; старик вцепился хилыми пальцами ему в бороду, крича:

— Значит, наш Ходжа Насреддин больше уж не Ходжа Насреддин, — так ты болтаешь, проклятый шпион!

— Их разослали нарочно по всем дорогам, этих шпионов, чтобы они клеветали на Ходжу Насреддина и порочили его! — вторил ремесленник, не забывая работать своим мешком, в котором было что-то жесткое, тяжелое и угловатое.

— Подождите! — вопил Ходжа Насреддин, защищая от ударов то голову, то бока. — Кого вы бьете во имя Ходжи Насреддина? Вы бьете самого...

В тревоге за целость своих костей, он уже готов был открыться перед ними (что, впрочем, вряд ли было бы принято с доверием), но помешал чайханщик. Могучим пинком он выбросил Ходжу Насреддина с помоста на дорогу, под ноги ишаку:

— Убирайся отсюда, презренный шакал, и никогда больше не показывайся в нашем селении! Иначе, клянусь, я обломаю о твою спину все мои жерди!

Не отвечая ни слова, Ходжа Насреддин поднялся с четверенек, вскочил в седло и рысью погнал ишака по дороге, охая и кряхтя при каждом толчке. А вслед ему неслась из чайханы пятиголосая брань.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Так печально закончилось его единоборство со своим собственным именем — пример, поучительный для многих. Здесь уместно вспомнить слова веселого бродяги и пьяницы Хафиза, избитого толпой на ширазском базаре за насмешливый отзыв о несравненных газелах поэта Хафиза: «О мое славное имя, — раньше ты принадлежало мне, теперь я принадлежу тебе; в былое время я радовался, что ты бежишь впереди меня на многие дни пути, а ныне желал бы привязать гири к твоим ногам; я конь, а ты мой жестокий всадник с тяжелой плетью в руке! Так оборачивается для человека на этой скорбной земле даже его слава — во вред и тягость ему!..».

Не ближе чем в пяти полетах стрелы Ходжа Насреддин остановил ишака. Спешившись и присев на придорожный камень, он долго ощупывал руки, ноги, шею и голову. «Да поразит аллах трясучкой этого зловонного ремесленника! — ворчал он, растирая синяки. — Хотел бы я знать, что́ он таскает в своем проклятом

мешке — точильные камни, утюг или сапожные колодки?»

Размышляя об этом случае, применяя к себе жалобу Хафиза, он двинулся дальше по каменистой, нагретой солнцем дороге. Все тот же цветущий джидовник источал навстречу ему пряный запах дикого меда, на камнях грелись разноцветные ящерицы — бирюзовые, сапфировые, изумрудные и просто серенькие, со скромным, но, если присмотреться, очень красивым и тонким узором на спинке, в небе звенели жаворонки и свистели щуры, вспыхивали в солнечных полосах пчелы, мерцали слюдяными крылышками стрекозы; словом, все вокруг было так же, как и час назад, будто путь Ходжи Насреддина и не прерывался и он вовсе не заезжал в одну столь негостеприимную чайхану над обрывом.

Он умел хорошо помнить, но умел, когда нужно, и забывать. К тому же боль в спине и боках затихла, за что он мог воздать благодарность своему толстому дорожному халату, смягчившему удары. Вскоре его обида совсем растаяла — он улыбнулся, потом усмехнулся и, наконец, громко расхохотался.

— Ты слышишь, мой верный ишак: меня уже бьют во имя Ходжи Насреддина; теперь не хватает только, чтобы во славу Ходжи Насреддина меня повесили!

Его шутливая речь была прервана слабым, протяжным стоном.

Ишак фыркнул, поднял уши, остановился.

Взглянув направо, Ходжа Насреддин увидел лежащего под кустом человека, с головой накрытого халатом.

— Что с тобой, человек? Почему ты лежишь здесь и стонешь так жалобно, словно твоя душа расстается с телом?

— Она и в самом деле расстается, — жалобным голосом, охая и стеная, ответил из-под халата лежащий. — Молю аллаха, чтобы она рассталась поскорее, ибо мои страдания ужасны, а муки невыносимы.

Пришлось Ходже Насреддину спешиться.

— И давно привязалась к тебе эта злая болезнь? — спросил он, склоняясь над больным.

— Уже пятый год сидит она во мне, — простонал больной. — Ежегодно весной, в это самое время, она, подобно лютому зверю, настигает меня и целый месяц мучает хуже самого жестокого палача. Дабы предотвратить ее свирепость, я должен заблаговременно произве-

сти некое целительное действие; на этот раз я не смог сделать этого вовремя — и вот лежу на дороге, всеми покинутый, забытый, без помощи и сочувствия.

— Утешься! — сказал Ходжа Насреддин. — Теперь у тебя есть и помощь и сочувствие. Мы вдвоем доберемся до ближайшего селения, найдем лекаря, и с его помощью ты произведешь потребное целительное действие.

— Лекаря? Ох, для этого действия мне нужен вовсе не лекарь...

Больной приподнялся, сбросил халат с головы, открыв плоское широкое лицо, совершенно голое, без всяких признаков усов или бороды, украшенное крохотным носом и парой разноцветных глаз; один тускло синел, затянутый бельмом, зато второй, желтый и круглый, смотрел так пронзительно, что Ходже Насреддину стало даже не по себе.

— Возьми меня в селение, добрый человек! — с глубоким вздохом и стонами больной выполз из-под халата. — Возьми в селение; может быть, там, среди людей, мои страдания облегчатся.

Кое-как он поднялся в седло. Ишак, понимая, что везет больного, был осторожен на спусках и не прыгал через арыки, а переходил вброд. Ходжа Насреддин шагал рядом, искоса поглядывая на своего стенающего спутника. «Это, вероятно, редкий проходимец и мошенник — иначе откуда бы взяться такому дьявольскому желтому блеску в его единственном глазу? — размышлял он. — Но, может быть, я ошибаюсь и оскорбляю своими низкими подозрениями добродетельнейшего человека, внешность которого вовсе не соответствует его внутренней сущности?..» Была в этом больном какая-то двойственность, не позволявшая Ходже Насреддину окончательно укрепиться во мнении об его плутовстве; но, с другой стороны, как ни старался он думать о своем спутнике хорошо, желтый блеск в глубине единственного ока смущал его и направлял мысли в противоположную сторону.

Дорога пошла круто на спуск. Миновали два поворота, — и Ходжа Насреддин увидел внизу желтые плоские кровли небольшого селения. По дыму, весело восходившему в ясное небо, он узнал чайхану и, памятуя недавний урок, дал себе твердое слово не вступать ни

в какие беседы о себе самом, что бы ни говорили вокруг.

Но кому суждено быть в один день дважды битым, тот будет в этот день дважды бит; так именно с ним и случилось.

В чайхане он потребовал одеяло, заботливо уложил больного, затем обратился к чайханщику с вопросом о лекаре.

— Придется послать в соседнюю деревню, — сказал чайханщик, приземистый детина с круглой большой головой, низким лбом и короткой волосатой шеей, красной как у мясника. — А пока больной пусть выпьет чаю, быть может ему полегчает.

Выпив два чайника, больной склонил голову на подушку и задремал, тихо стеная в своем страдальческом полусне.

Ходжа Насреддин подсел к другим гостям и затеял с ними разговор, в надежде узнать что-нибудь о горном озере Агабека.

Нет, никто из них ничего не слышал о таком озере. Что же касается человека по имени Агабек, то не разыскивает ли путник того мельника, что в прошлом году так выгодно продал свою хромую корову, искусно скрыв от покупателя ее порок? Или, может быть, кузнеца Агабека? Или того, старший сын которого недавно женился?

— Спасибо вам, добрые люди, только мне нужен совсем другой Агабек.

Другой? Тогда не тот ли, что минувшей осенью провалился со своим навьюченным быком на ветхом мостике через ручей? Или коновал Агабек?.. Стремясь услужить Ходже Насреддину, они назвали десятка полтора Агабеков, но владельца горного озера среди них не было.

— Ничего, я найду его в другом месте, — говорил Ходжа Насреддин, несколько утомленный словоохотливостью собеседников.

— Да пребудет с тобою благоволение аллаха, — отвечали они, искренне огорченные, что не могут помочь ему в поисках.

Кто-то сзади легко тронул Ходжу Насреддина за плечо; он думал — чайханщик; обернулся и в изумлении вытаращил глаза. Перед ним, радостно ухмыляясь, стоял недавний больной, всего лишь час назад находившийся на грани перехода из бренного земного бытия в иное

состояние (Ходжа Насреддин готов был поклясться, что — в наинизшее, какое только существует для самых прожженных плутов!). Он стоял и ухмылялся, его плоская рожа сияла, круглое око светилось нестерпимым котовьим огнем.

— Ты ли это, о мой страдающий спутник?

— Да, это я! — бодрым голосом ответил одноглазый. — И хочу сказать, что нам теперь нет нужды задерживаться в чайхане.

— А как же целительное действие? Мы ждем лекаря.

— Все уже сделано. Для такого действия лишний человек — только помеха; я всегда лечусь сам, без лекаря.

Не переставая дивиться его исцелению, Ходжа Насреддин рассчитался с чайханщиком и направился к ишаку. Одноглазый, опередив его, кинулся затягивать подпругу седла. «Благодарность не чужда ему», — подумал Ходжа Насреддин.

— Куда же ты думаешь теперь? — обратился он к одноглазому. — Возможно, нам по пути, я в Коканд.

— И я туда же, благодарю тебя, добрый человек! — с жаром воскликнул одноглазый и, ни секунды не медля, сел в седло; слова Ходжи Насреддина он понял по-своему, в сторону, выгодную для себя: что он и дальше будет ехать на ишаке, а его благодетель пойдет пешком.

— Садись уж лучше мне прямо на спину, — сказал Ходжа Насреддин.

Пристыженный насмешкой, одноглазый начал оправдываться, говоря, что хотел только проверить подпругу. «Он не совсем лишен стыда и совести», — отметил про себя Ходжа Насреддин.

Двинулись дальше. За селением, вдоль дороги, как бы сбегая к ней с крутого склона, тянулись сады, огороженные низенькими, в пояс, заборами дикого камня. Сюда, в предгорья, весна опаздывала, словно и ей были трудны подъемы и повороты здешних дорог: деревья здесь только еще зацветали.

Узкая каменистая дорога была совсем безлюдной, колеи — едва заметными; арбяной путь здесь кончался, дальше, к перевалу, шел только вьючный. Все прохладнее, свежее становился ветер, летевший от снеговых вершин, все многоводнее — мутно-ледяные арыки, все шире — голубой простор вокруг. Небо синело; воздух

был до того летуч и легок, что Ходже Насреддину никак не удавалось наполнить им грудь.

Одноглазый дышал тоже с трудом, но ходу не сбавлял, хотя Ходжа Насреддин, из сожаления к нему, то и дело придерживал ишака.

— Ты, верно, очень торопишься?

Одноглазый не ответил, только оглянулся через плечо на дорогу.

«А может быть, он вовсе и не плут? — продолжал свои раздумья Ходжа Насреддин, стараясь позабыть о желтом котовьем огне, исходившем из единственного глаза его спутника. — Может быть, он спешит к семье или на выручку к приятелю, попавшему в беду?..»

Недолго пришлось ему заблуждаться.

Сзади послышался далекий топот коней.

Одноглазый прибавил шагу и начал оглядываться поминутно.

— Скачут, — не выдержал он.

— А пусть себе скачут, дороги хватит на всех, — беззаботно ответил Ходжа Насреддин.

Через десяток шагов одноглазый сказал:

— Я что-то сильно утомился. Хорошо бы нам отдохнуть где-нибудь в стороне. За камнями, в укрытии...

— Зачем же нам сворачивать в сторону? — возразил Ходжа Насреддин. — Мы отлично можем отдохнуть и на дороге.

— Но за камнями лучше — нет ветра, — сказал одноглазый, как-то странно поеживаясь; его желтое око расширилось и потемнело.

Конский топот надвинулся вплотную; одноглазый завертелся, засуетился — и в эту минуту из-за поворота вынеслись всадники. Впереди на незаседланной лошади, болтая босыми ногами, мчался чайханщик, за ним — гости, недавние собеседники.

— Стойте! — грозным голосом закричал чайханщик. — Стойте, проклятые воры!

Едва не сбив Ходжу Насреддина с ног, брызнув ему в лицо колючим дождем раздробленного камня из-под копыт, он пронесся вперед, круто со всего ходу осадил лошадь, поднял ее на дыбы, повернул на задних ногах и поставил поперек дороги.

Подоспели остальные, попрыгали с лошадей, окружили Ходжу Насреддина и его спутника.

— Вы!.. — сказал, задыхаясь, чайханщик. — Где мой новый медный кумган ура-тюбинской работы?

Он кинулся к ишаку, взялся обшаривать переметные сумки.

— Твой кумган? — спросил, недоумевая, Ходжа Насреддин. — Тебе самому, почтенный, лучше знать, где находятся твои вещи. Зачем ты шаришь по моим сумкам? Разве что у твоего кумгана вдруг выросли ноги и он сам прыгнул в сумку!

— Выросли ноги? — хриплым голосом завопил чайханщик, багровея лицом и шеей до накала. — Сам прыгнул в твою сумку, презренный вор!

С этими словами он, к несказанному изумлению Ходжи Насреддина, вытащил из правой сумки новенький блестящий кумган.

В ярости чайханщик подпрыгнул, ударил себя в грудь кулаком. Это послужило знаком для остальных. В следующее мгновение Ходжа Насреддин и одноглазый лежали на дороге, осыпаемые бранью, ударами и пинками. Ходже Насреддину еще раз представился случай воздать благодарность своему толстому дорожному халату.

— Он нарочно заговаривал нам зубы своими Агабеками!

— А второй воровал в это время!

— Как ловко он притворялся больным!

Удары и пинки возобновились.

Наконец чайханщик и его друзья вполне насладились местью. Потные, запыхавшиеся, они покинули поле битвы, столь бесславной для Ходжи Насреддина.

Опять ударили в камень звонкие подковы, затихли в отдалении...

Ходжа Насреддин поднялся; его первые слова были обращены к ишаку:

— Теперь я понимаю, зачем ты свернул утром с большой дороги, о презренный сын гнусных деяний своего отца! Мой халат показался тебе слишком пыльным? Но помни: если только еще где-нибудь в третий раз примутся выколачивать пыль из моего халата, позабыв предварительно снять его с моих плеч, тогда горе тебе, о длинноухое вместилище навоза! Я не поленюсь и проеду сто полетов стрелы, но разыщу где-нибудь живодерню с заржавленными от крови крючьями, с кривыми зазубренными ножами, сделанными из серпов, с длинными

карагачевыми палками, на которых распяливают ишачьи шкуры! Помни!..

Ишак мигал белесыми ресницами; морда у него была невинная, кроткая, будто бы все эти угрозы относились вовсе не к нему.

Одноглазый лежал ничком и не шевелился.

Ходжа Насреддин слегка тряхнул его за плечо.

Одноглазый опасливо поднял голову:

— Уехали? Я думал — отдыхают... — Отряхивая пыль с халата, он добавил: — Хорошо, что они все были босиком.

— Не понимаю, что находишь ты в этом хорошего.

— Когда босиком, то бьют пятками, — пояснил одноглазый. — А пятка по силе удара несравнимо уступает носку.

— Тебе лучше знать...

— Особенно прискорбны для ребер канибадамские сапоги, — продолжал одноглазый. — Тамошние мастера для красоты подкалывают в носок жесткую подошвенную кожу; кому — красота, а кому — горе...

— Ни разу не пробовал я на своих ребрах канибадамских сапог и не собираюсь пробовать, — сказал Ходжа Насреддин. — Будет лучше, почтенный, если здесь, на этом самом месте, мы расстанемся, и — навсегда!

Он сел на ишака, тихонько щелкнул его между ушей — обычный знак трогаться.

Одноглазый вдруг залился слезами и упал на колени, загородив Ходже Насреддину путь.

— Выслушай меня! — жалобно закричал он. — Никто, ни один человек в мире, не знает обо мне правды! Молю, будь милосерден, выслушай — и тогда многое представится иначе твоим глазам!

Его волнение было неподдельным, слезы — искренними, крупная дрожь сотрясала все его тело.

— Да, я вор! — Он захлебнулся рыданием, ударил себя в грудь кулаком. — Я гнусный преступник, и сам знаю это! Но поверь, незнакомец, я сам больше всех страдаю от своей преступности. И нет в мире ни одной души, которая захотела бы меня понять!..

Все это было так неожиданно, что Ходжа Насреддин растерялся.

Частью из любопытства, частью из жалости, он согласился выслушать вора.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Они уселись на камнях; одноглазый вор начал рассказ о своей удивительной горестной жизни:

— Неудержимая страсть к воровству обнаружилась у меня в самом раннем возрасте. Еще будучи грудным младенцем, я однажды украл серебряную заколку с груди моей матери, и, когда она переворачивала весь дом в поисках этой заколки, я, еще не умевший говорить, исподтишка ухмылялся, лежа в своей колыбели, спрятав драгоценную добычу под одеяло... Окрепнув и научившись ходить, я сделался настоящим бичом для нашего дома. Я тащил все, что попадалось под руку: деньги, ткани, муку, масло. Украденное я прятал так ловко, что ни отец, ни мать не могли разыскать пропажу; затем, улучив удобную минуту, я бежал со своей добычей к одному безносому, горбатому бродяге, который ютился на старом кладбище, среди провалившихся могил и вросших в землю надгробий. Он приветствовал меня словами: «Пусть у меня вырастет еще один горб спереди, если ты, о дитя, подобное нераспустившемуся бутону, не окончишь свою жизнь на виселице либо под ножом палача!». Мы начинали игру в кости — этот старый горбун со следами всех пороков на дряблом лице, и я, четырехлетний розовый младенец с пухлыми щечками и ясным, невинным взглядом...

Вор всхлипнул, обратившись мыслями к золотому невозвратному детству, затем шумно потянул носом, вытер слезы и продолжал:

— Пяти лет от роду я был искусным игроком в кости, но хозяйство наше к тому времени заметно пошатнулось. Мать не могла видеть меня без слез, с отцом делались корчи, и он говорил: «Да будет проклята постель, на которой я зачал тебя!». Но я не внимал ни мольбам, ни упрекам и, оправившись от побоев, принимался за старое. Ко дню моего семилетия наша семья впала в бедность, близкую к нищете, зато горбун открыл на базаре собственную чайхану с игорным тайным притоном и курильней гашиша в подвале под помостом... Видя, что дома взять больше нечего, я обратил свои алчные взоры и нечестивые помыслы к соседям. Я вконец разорил колесника, что жил слева от нас, выкрав у него со дна колодца горшок с деньгами, которые он копил в течение всей жизни; затем я в два месяца с небольшим

повергнув в полную нищету соседа справа, опустошив его дотла. Никакие замки и запоры не могли меня удержать: я открывал их так же легко, как простую щеколду. Терпение моего отца истощилось, он проклял меня и выгнал из дому. Я ушел, прихватив его единственный халат и последние деньги — двадцать шесть таньга. Мне было в ту пору восемь с половиной лет... Не буду утомлять твоего слуха рассказами о моих странствиях, скажу только, что я побывал и в Мадрасе, и в Герате, и в Кабуле, и даже в Багдаде. Всюду я воровал — это было моим единственным занятием, и в нем я достиг необычайной ловкости. Тогда вот и выдумал я этот гнусный способ — ложиться на дорогу, притворяясь больным, с целью обворовать человека, проявившего ко мне милосердие. Скажу не хвастаясь, что в презренном воровском ремесле вряд ли со мною может сравниться кто-либо из воров не только Ферганы, но и всего мусульманского мира!

— Подожди! — прервал его Ходжа Насреддин. — А знаменитый Багдадский вор, о котором рассказывают такие чудеса?

— Багдадский вор? — Одноглазый засмеялся. — Знай же, что я и есть тот самый Багдадский вор!

Он помолчал, наслаждаясь изумлением, отразившимся на лице Ходжи Насреддина, потом его желтое око заволоклось туманом воспоминаний.

— Бóльшая часть рассказов о моих похождениях — досужие выдумки, но есть и правда. Мне было восемнадцать лет, когда я впервые попал в Багдад, в этот сказочный город, полный сокровищ и лопоухих дураков, владеющих ими. Я хозяйничал в лавках и сундуках багдадских купцов, как в своих собственных, а напоследок забрался в сокровищницу самого калифа. Не так уж и трудно было в нее забраться, по правде говоря. Сокровищница охранялась тремя огромными неграми, каждый из которых в одиночку мог бороться с быком, и считалась поэтому недоступной для воров и грабителей. Но я знал, что один из негров глух, как старый пень, второй предан курению гашиша и вечно спит, даже на ходу, а третий наделен от природы такой невероятной трусостью, что шуршание ночной лягушки в кустах повергает его в дрожь и трепет. Я взял пустую тыкву, прорезал в ней отверстия, изображающие глаза и оскаленный рот, посадил тыкву на палку, вставил внутрь горящую свечу, облек все это белым саваном и поднял ночью из кустов навстречу

трусливому негру. Он судорожно вскрикнул и упал замертво. Сонливый не проснулся, глухой не услышал; с помощью отмычек я беспрепятственно вошел в сокровищницу и вынес оттуда столько золота, сколько мог поднять. Наутро весть об ограблении калифской сокровищницы разнеслась по всему городу, а затем — по всему мусульманскому миру, и я стал знаменит.

— Рассказывают, что впоследствии Багдадский вор женился на дочери калифа, — напомнил Ходжа Насреддин.

— Чистейшая ложь! Все эти россказни обо мне, относящиеся к различным принцессам, — вздор и выдумки. С детских лет я презирал женщин, и — благодарение аллаху! — никогда не был одержим тем странным помешательством, которое называют любовью. — Последнее слово он произнес с оттенком пренебрежения, видимо немало гордясь своим целомудрием. — Помимо того, женщины, когда их обворуешь даже на самую малость, ведут себя так непристойно и поднимают такой невероятный крик, что человек моего ремесла не может испытывать к ним ничего, кроме отвращения. Ни за что в мире я не женился бы ни на какой принцессе, даже самой прекрасной!

— Подождем, пока ты не изменишь к лучшему своего мнения о китайской либо индийской принцессе, — вставил Ходжа Насреддин. — Тогда я скажу: полдела сделано, остается только уговорить принцессу.

Вор понял и оценил насмешку; его плоская шельмовская рожа в бельмом на одном глазу и с огромным синяком под другим осветилась ухмылкой:

— Можно подумать, что сам Ходжа Насреддин подсказал тебе столь тонкий и язвительный ответ.

Услышав свое имя, Ходжа Насреддин насторожился, опасливо оглянулся. Но вокруг было ясное весеннее безлюдье; скользили по бурым склонам тени облаков, плывущих на юг, висели в солнечном воздухе на мерцающих крыльях стрекозы; рядом с Ходжой Насреддином примостилась на горячем камне изумрудная ящерица и дремала, приоткрывая время от времени живые черные глазки с узеньким золотым ободочком.

— Тебе приходилось встречать Ходжу Насреддина в твоих воровских скитаниях?

— Приходилось, — ответил одноглазый. — Невежественные, малосведущие люди часто приписывают мне его дела, и наоборот. Но в действительности между нами нет и не может быть никакого сходства. В противоположность

Ходже Насреддину, я провел всю жизнь в пороках, сея в мире только зло и нисколько не заботясь об усовершенствовании своего духовного существа, без чего, как известно, невозможен переход из бренного земного бытия в иное, высшее состояние. Своими гнусными делами я обрекал себя начать сызнова весь круг звездных странствий.

Ходжа Насреддин не верил ушам: одноглазый говорил словами старого дервиша из ходжентской мечети Гюхар-Шау! «Неужели и он, этот вор, причастен к тайному братству Молчащих и Постигающих?» — подумал Ходжа Насреддин, но тут же отверг эту мысль, как ни с чем не сообразную.

Догадки, одна другой невероятнее, теснились в его уме.

— Таков я, — продолжал одноглазый сокрушенным голосом. — Только круглый невежда может искать сходства между мною и Ходжой Насреддином, вся жизнь которого посвящена деятельному добру и послужит примером для многих поколений в предстоящих веках.

Последние сомнения исчезли: он повторял слова старого нищего. «Знает ли он мое имя?» — раздумывал Ходжа Насреддин, проницательно глядя в лицо вору, стараясь уловить хотя бы слабую тень притворства.

— Скажи, а где встречался ты с Ходжой Насреддином?

Подозрения не оправдывались; на этот раз совесть одноглазого была чиста: он и в самом деле не знал, кто сидит на камне перед ним.

— Я встретил его в Самарканде. С душевным прискорбием должен сознаться, что и эту единственную встречу я ознаменовал гнусным делом. Однажды весной, шныряя по самаркандскому базару, я услышал шепот: «Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!». Шептались двое ремесленников; устремив свой единственный глаз по дороге их взглядов, я увидел перед одной лавкой ничем по виду не примечательного, средних лет человека, державшего в поводу серого ишака. Этот человек покупал халат и собирался расплачиваться. Его лицо я увидел только на мгновение, мельком. «Так вот он, прославленный Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия, имя которого благословляют одни и проклинают другие!» — подумал я. И в мою душу закралось дьявольское искушение — обокрасть его. Нет, не ради наживы, ибо я в то время имел доста-

точно денег, но из одного лишь гнусного воровского честолюбия. «Пусть я буду единственным в мире вором, который может похвалиться, что обокрал самого Ходжу Насреддина!» — сказал я себе и, ни мало не медля, приступил к осуществлению своего замысла. Тихонько сзади я подошел к ишаку и гладкой палочкой засунул ему под хвост вывернутый наизнанку стручок красного едкого перца. Почуяв в некоторых частях своего тела невыносимое жжение, ишак начать вертеть головой и хвостом, а затем, решив, что под его задом разложили костер, заревел, вырвался из рук Ходжи Насреддина и бросился в сторону, опрокидывая на пути корзины с лепешками, абрикосами и черешнями. Ходжа Насреддин погнался за ним; возникло смятение; воспользовавшись этим, я без помехи взял халат с прилавка...

— Так это был ты, о потомок нечестивых, о сын греха и позора! — воскликнул Ходжа Насреддин с пылающими глазами. — Клянусь аллахом, никогда и никто до тебя не устраивал надо мною подобных шуток! Ты едва не свел с ума нас обоих, — я пролил десять потов, стараясь утихомирить его брыкание и вопли, прежде чем догадался заглянуть ему под хвост! Ах, если бы ты попался мне тогда под горячую руку, после этого даже канибадамские сапоги показались бы тебе мягче пуховых подушек!

Забывшись, он своим негодованием выдал себя; когда опомнился — было уже поздно: вор понял, с кем судьба столкнула его на дороге.

Трудно описать чувства одноглазого вора. Он упал перед Ходжой Насреддином на колени, схватил полу его халата и приник губами к ней, словно паломник при встрече со святым шейхом.

— Пусти! — кричал Ходжа Насреддин, дергая халат. — Вы что, сговорились обязательно сделать из меня святого? Я самый обычный человек на этой земле, сколько вам раз повторять! И не хочу быть никем иным: ни шейхом, ни дервишем, ни чудотворцем, ни звездным странником!

— Да будет благословенна во веки веков эта дорога, на которой мы встретились! — твердил одноглазый. — Помоги мне, Ходжа Насреддин, мое спасение в твоих руках!

— Пусти! — В запальчивости Ходжа Насреддин дернул халат так, что пола затрещала. — Где это записано,

что я обязан спасать всех нищих и всех воров, шатающихся по белу свету? Хотел бы я знать, кто спасет меня самого от вас?

Но, видимо, судьба и в самом деле записала где-то в своих книгах, что Ходже Насреддину за сорокалетним рубежом надлежит заниматься духовным спасением заблудших; пришлось ему вновь усесться на тот же камень и дослушать до конца повесть одноглазого вора.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Дальнейшие события моей жизни протекали стремительно, — продолжал вор. — Многое я пропускаю, буду говорить только о самом главном. Я пребывал в своих гибельных пороках и заблуждениях, пока не встретил одного благочестивого старца, мудрые поучения которого вожглись в мою грудь, как Сулейманова печать. Этот старец обнажил передо мною всю мерзость моих пороков и указал способ очищения, но я, глупец, не сумел им воспользоваться. Расскажу все как было, по порядку. Пять лет назад, в конце зимы, я пришел в Маргелан — город шелка. Шайтан соблазнил меня запустить руку в пояс к афганцу; на этом я попался. Афганец меня схватил, я вырвался, в погоню за мной кинулся весь базар; я метался, как перепел в сетке. Вероятно, этот день был бы в моей жизни последним, но, забежав в один переулок, я услышал слабый старческий голос: «Прячься здесь!..». У дороги сидел какой-то старый нищий. «Прячься», — повторил он. Мы обменялись халатами; я сел на его место и низко опустил голову, чтобы скрыть лицо, а нищий перешел через дорогу и сел напротив. Преследователи, ворвавшиеся в переулок, не обратили внимания на двух смиренных нищих, промчались мимо, рассыпались по дворам. Воспользовавшись этим, старик вывел меня из переулка и укрыл в своем убогом жилище.

— Остановись, — прервал Ходжа Насреддин: все уже было ему ясно. — Этот нищий задумал обратить тебя на путь добродетели, долго рассказывал о звездных странствиях нашего духа, о конечной победе добра на земле через пятьсот тысяч лет, но как только пропели полуночные петухи, он умолк и не произнес больше ни слова.

— Неужели это был ты? — Одноглазый в страхе отодвинулся от Ходжи Насреддина. — Неужели это правда,

что я слышал о тебе, будто ты можешь принимать любой облик, какой захочешь?

— Продолжай свой рассказ. Почему же ты не последовал по благочестивому пути, указанному старцем?

— О горе! — воскликнул одноглазый. — Твой вопрос вонзается в мое сердце подобно отравленному шипу! Знай же, что я не остался глух к поучениям старца. Подобно жаркому пламени, его слова растопили свинец моих заблуждений. Перед тем как пропели полуночные петухи и старец умолк, я, заливаясь слезами, раскаялся. Охваченный благоговейным трепетом, я дал ему клятву исправиться, вступить на стезю добродетели, с тем чтобы никогда уж больше не покидать ее. Тогда-то и назвал старец твое имя и открыл мне великий смысл твоего земного бытия. «Посмотри на Ходжу Насреддина! — говорил он. — Вот человек, который всю свою жизнь щедро обогащает мир добром, не думая и не заботясь об этом, — просто потому, что не умеет жить иначе. Если ты сможешь уподобиться ему хотя бы в ничтожной мере — ты спасен для будущего высшего бытия в иных воплощениях». Я покинул лачугу старца на крыльях надежды, мое сердце светилось в груди. Клянусь, уже давно я вступил бы на предуказанную им тропу, если бы дьявол, этот извечный враг людей, этот коварный гаситель всех наших спасительных устремлений и благородных порывов, не поспешил подстелить мне под ноги свой мерзкий, жилистый, облезший хвост, наступив на который я и поскользнулся!.. Сжигаемый нетерпением поскорее начать новую жизнь, я решил отправиться в Коканд, где меня знали меньше, чем в других городах. У меня было около четырех тысяч таньга; в моем воображении пленительно рисовалось будущее, преисполненное одной только добродетели, без малейшей примеси греха. Я предполагал открыть в Коканде чайхану, застелить ее коврами, повесить клетки с певчими птицами и в тишине, в прохладе, под нежный плеск фонтана вести с гостями благочестивые беседы, наполняя их души светом истины, открытой мне старцем. Для себя я определил самый скромный образ жизни, а весь избыток доходов предназначил сиротам и вдовам. Соизмерив свои деньги с предстоящими затратами на покупку чайханы, посуды, ковров и прочего, я убедился, что денег мне хватает на все, кроме музыкантов, которые играли бы на дутарах и тонкими голосами пели благонравные песни, содержащие в себе назидательный смысл. Недоставало мелочи, каких-нибудь трехсот-четырехсот тань-

га. Вот здесь-то дьявол и выкопал яму соблазна на моем пути, сведя меня по дороге в Коканд с одним искусным игроком в кости. «Сыграю в последний раз, — сказал я себе. — Этот грех мне простится, ибо я употреблю выигранные деньги на хорошее, праведное дело; если же у меня после выигрыша окажется избыток денег — я раздам его бедным». Казалось бы, человек, имеющий такие благочестивые намерения, вправе ожидать помощи свыше в игре, но случилось не так...

— Дальнейшее мне известно, — сказал Ходжа Насреддин. — Вы играли всю ночь, а к утру ты остался без гроша в кармане. Твоя чайхана, ковры, клетки с птицами, фонтаны, музыканты, благонравные беседы и назидательные песни — все уплыло в карман к счастливому игроку. Вдобавок ты отдал ему сапоги, халат, тюбетейку и даже, помнится, рубаху, оставшись в одних штанах.

— Во имя пророка! — воскликнул одноглазый. — Какое всеведение! Откуда ты знаешь даже о рубахе? Значит, верно, что по глазам любого человека ты читаешь его прошлое и будущее?

— По твоему единственному глазу я могу прочесть только прошлое; что касается будущего — оно скрыто за твоим бельмом. Продолжай.

— Что оставалось мне делать после проигрыша? Расстаться навсегда с мечтами о добродетельной жизни? От подобных мыслей мир заволакивался черным дымом передо мною. «Нет! — решил я. — Надо быть твердым в своих устремлениях к добру. Это дьявол сбивает меня, в отчаянии, что моя душа ускользает из его хищных лап. Лучше я совершу еще один, самый последний грех, но вступлю на стезю, предуказанную старцем!» С таким твердым решением я пришел в Коканд и здесь услышал новость, смутившую разум. Оказывается, в Коканде недавно воцарился новый хан, и этот город, бывший ранее цветущим садом для всех воров и мошенников, сделался теперь для них бесплодной пустыней. Новый хан завел такие жестокие порядки, что ворам не оставалось ничего иного, как только бежать из города или бросать свое ремесло. Хан с позором выгнал со службы старого начальника городской стражи, за которого в течение долгих лет не уставали молиться в мечетях все кокандские воры, и поставил нового — человека деятельного, честолюбивого и бессердечного, по имени Камильбек. Новый начальник, ища ханского благоволения, поклялся извести в городе всяческое

воровство с корнем; ко времени моего прибытия в Коканд он вполне успел в этом жестоком намерении. Он наводнил город множеством искусных шпионов и свирепых стражников; нельзя было украсть ничего, даже горошины из мешка, чтобы тут же не попасться им в лапы. Пойманным отрубали кисть правой руки и на лбу каленым железом выжигали клеймо; если даже иному ловкачу и удавалось украсть какую-нибудь мелочь, то некуда было ее девать, потому что за скупку краденого полагалось такое же наказание, и все боялись. Таким образом, на моем пути к праведной жизни возникло новое препятствие — этот жестокий начальник со своими бесчеловечными порядками. Несколько дней провел я в тягостном раздумье, не зная, что делать, с чего начать. Между тем подошел уже май, близился праздник дедушки Турахона, гробница которого находится, как тебе известно, неподалеку от Коканда. И вот гнусный дьявол, в своем неутомимом стремлении овладеть моей душой, внушил мне гибельную мысль воспользоваться этим праздником, чтобы раздобыть денег, необходимых для вступления на путь благочестия...

Но покинем на короткое время одноглазого вора и Ходжу Насреддина — расскажем о весеннем празднике дедушки Турахона, так как без этого рассказа многое осталось бы непонятным в нашем дальнейшем повествовании.

По старинному преданию, Турахон, родом кокандец, остался уже в пятилетнем возрасте круглым сиротой и пошел скитаться по базару, выпрашивая милостыню. До самого дна испил он горькую чашу безысходного сиротства; такое испытание может либо ожесточить человека, превратив его сердце в камень, либо направить к возвышенной человеческой мудрости, если обиду и горечь за себя он — силой своего духа — сможет переплавить в обиду и горечь за всех. Так и случилось с Турахоном: в зрелость он вошел с душою, раскаленной гневом к жестокосердым богачам и жалостью к бедным, особенно к детям, бессильным помочь себе.

Ему было двадцать пять лет, когда он с одним караваном ушел из Коканда; вернулся же в родные края уже сорокалетним. Все это время он провел в Индии и Тибете, изучая тайны врачевания, и достиг в своем деле необычайных высот. Рассказывали, что он исцеляет прикосновением, говорили еще, что с богатых людей он неукоснительно

берет за исцеление большую плату, но тут же все полученное тратит на детей бедноты.

Он ходил всегда сопровождаемый толпой ребятишек всех возрастов; когда у него бывали деньги, он подходил к лавке торговца игрушками или сластями и покупал ее сразу всю для своих маленьких друзей. Если же денег у него не было, а на глаза попадался какой-нибудь полуголый, босой малыш, Турахон без дальних слов вел его сначала к продавцу халатов, затем к продавцам сапог, поясов, тюбетеек и всюду произносил только два слова: «Будь милосердным!». И продавцы, трепеща под взыскательным взглядом старца, — а ко взрослым он был весьма строг, — обували и одевали ребенка, не осмеливаясь даже заикнуться о деньгах, памятуя, что дедушка Турахон волен не только исцелять, но и наказывать жестокосердых болезнями.

Когда он умер, тысячи детей, заливаясь слезами, провожали старца на кладбище. Ученые мударрисы и муллы не согласились причислить Турахона к сонму праведников: он-де не соблюдал постов, нарушал-де правила и установления ислама и за всю жизнь не пожертвовал ни гроша на украшение гробниц, говоря, что живым беднякам деньги нужнее, чем мертвым шейхам. Но простой народ сам, своей властью, признал Турахона праведником; слава его распространилась далеко за пределы Коканда, по всему Востоку. А майский праздник его имени принадлежал детям.

Поверье говорило, что в канун своего праздника дедушка Турахон ходит по дворам и разносит ребятишкам, достойным его внимания, подарки, оставляя их в подвешенных для того тюбетейках. Дети начинали готовиться к торжественному дню задолго до весны. Еще дули пронизывающие ледяные ветры, еще летел с мглистого неба сухой колкий снег, еще стояли черными, безжизненными сады и звенела под арбными колесами земля, превращенная морозом в камень, — а ребятишки стайками уже собирались по утрам за стенами, заборами и в других местах, укрытых от ветра, и с посиневшими, хлюпающими носами, ежась в своих халатиках и зажимая ладонями уши, вели степенные длительные разговоры о Турахоне. Ребятишки знали с достоверностью, что он весьма разборчив, — получить от него подарок было делом очень хитрым и удавалось не всякому. Для этого за пятьдесят дней, предшествующих празднику, требовалось: во-первых, ни разу

не огорчить родителей, во-вторых, ежедневно совершать какое-нибудь одно доброе дело, например — помочь слепому перейти мостик или донести какому-нибудь старику его поклажу, в-третьих, на эти пятьдесят дней нужно было отказаться от сладостей, что так соблазнительно красовались на лотках разносчиков, и накопить денег для покупки новой красивой тюбетейки (известно было, что дедушка Турахон не любит старых, засаленных тюбетеек и обычно оставляет их без внимания, делая исключение лишь для самых бедных детей).

В течение пятидесяти дней во всех семьях царили тишина и благонравие. Дети беспрекословно слушались, ходили на цыпочках и разговаривали полушепотом, боясь прогневить дедушку Турахона. Даже самые отчаянные шалуны превращались на это время в кротких овечек; не слышно было воплей, криков, не видно драк, игры в камешки и лихих скачек в развевающихся халатиках, с гиканьем и свистом, на спинах друг у друга.

А в канун праздника повсюду начиналась великая суета и беготня — таинственные встречи, пугливый шепот, учащенное биенье маленьких сердец. Дело в том, что муллы весьма неодобрительно относились к этому празднику, а в иных местах запрещали его совсем, что придавало ему в глазах юных почитателей Турахона еще большую заманчивость. Нужно было пришить к тюбетейке три ниточки: белую — знак добра, зеленую — знак весны и синюю — знак неба; затем, с наступлением ночи, тайно выйти из дому куда-нибудь в сад или виноградник и там повесить тюбетейку, стоя лицом к усыпальнице Турахона и не отрывая взгляда от созвездия Семи Алмазов. Затем следовало трижды прочесть тайные слова, обращенные к Турахону, и трижды поклониться земно, — и только совершивши все это, можно было возвращаться домой и ложиться спать. Строжайше запрещалось вскакивать ночью и бегать к тюбетейкам, — вот почему эта ночь для многих маленьких нетерпеливцев была мучительна.

Зато праздничное утро искупало все! Радостный визг стоял в каждом доме. Одним дедушка Турахон оставлял в подарок шелковые халатики, другим — сапожки с красными или зелеными кисточками, третьим — игрушки и сласти; девочкам — туфли, перстеньки, платья... Вот каким он был добрым и заботливым, дедушка Турахон! И целый день в садах, в легком зеленом дыму весенней

листвы, кружились пестрые детские хороводы и слышалась песенка, сложенная детьми в честь своего покровителя:

Открывает южный ветер
Вишен белые цветы,
День встает, лучист и светел,
Солнце греет с высоты.

И под ясный свист синицы,
Под весенний гром и звон,
Просыпается в гробнице
Добрый старый Турахон.

Достает он свертки шелка,
Ниток яркие пучки,
В руки он берет иголку,
Надевает он очки...

Дни весенние крылаты, —
Сна не зная от забот,
Шьет он мальчикам халаты,
Платья девочкам он шьет.

Не склоняя на подушки
Убеленную главу,
Он берется за игрушки,
За конфеты и халву...

И когда всем детям снится
В лунном свете майский сон, —
Он выходит из гробницы,
Добрый старый Турахон...

Подсмотрели мы с тобою:
Со своим большим мешком
Благоносною стопою
Ходит он из дома в дом...

За подарки, в день счастливый,
Ясный, теплый, золотой,
Мы поем ему «спасибо»
В нашей песенке простой.

Пусть же, песенке внимая,
Погружаясь снова в сон,
В этот день веселый мая
Улыбнется Турахон!..

Вернемся теперь к покинутым нами Ходже Насреддину и его одноглазому спутнику. За время нашего отсутствия ничего здесь, на дороге, не изменилось: они по-прежнему сидели на камнях, светило солнце, скользили

по склонам тени облаков, висели в теплом воздухе на мерцающих крыльях стрекозы, грелись на солнцепеке ящерицы.

Одноглазый продолжал свой рассказ:

— Я внял коварным нашептываниям дьявола. В ночь, предшествующую празднику Турахона, я отправился в обход окрестных дворов, садов и виноградников. Везде я собирал тюбетейки с подарками. Несколько раз я возвращался в свое логово, находившееся в подвале заброшенной сторожевой башни, опустошал мешки и опять уходил за добычей. К рассвету я был обладателем нескольких тысяч тюбетеек, множества детских халатиков, сапожек с кисточками, платьев, туфелек, браслетов, бус и прочей мелочи. Глядя на пеструю груду собранного мною добра, я думал: «Здесь хватит на две чайханы с музыкантами! И я могу продавать все это беспрепятственно. Кто осмелится опознать свою вещь? Ведь празднование памяти дедушки Турахона запрещено в Коканде, — кто захочет попасть из-за каких-то халатиков и тюбетеек в тюрьму?». Вот до каких мерзких и гнусных помыслов я дошел!.. Утомленный бессонной ночью, я незаметно задремал.

Пробуждение было ужасным! Все мое логово дрожало и качалось, озаряемое каким-то странным, вздрагивающим, синевато-летучим блеском. И в этом грозном блеске передо мною стоял сам праведный Турахон! Его лицо пылало гневом, глаза прожигали насквозь, голос гремел, подобно горному водопаду. «О нечестивец! — возгласил он. — О мерзостный грешник и негодяй! Ты осмелился украсть у детей их чистую радость; вместо криков восторга и ликования, столь милых моему сердцу, теперь повсюду слышен плач и льются слезы! Ты осмелился наложить черное пятно на мое беспорочное имя, — что скажут теперь обо мне дети, когда не найдут не только подарков, но и своих новых тюбетеек? Они скажут: дедушка Турахон — лжец, обманщик и вор; слышишь ли ты, о зловонное вместилище всех людских пороков и гнусностей!» Оцепенев от страха, я внимал гневной речи праведника. «Выслушай свой приговор, презренный, достойный питаться лишь мясом дохлых гиен! — загремел он. — Отныне я обрекаю тебя всегда и везде воровать, как бы ни опротивело тебе это дело. Ты почувствуешь отвращение к воровству и все-таки будешь воровать! Каждый год перед моим праздником ты будешь подвержен жесточайшим болям в животе, от которых сможешь

избавляться только одним способом — воровством! Боль пройдет, но зато каким ужасным мучениям совести подвергнешься ты всякий раз по совершении кражи! Целый год воздерживаться, целый год жаждать добродетели, даже приблизиться к ней, — и все-таки в конце года украсть, разрушив этим сразу все здание своих устремлений к добру и своих воздержаний от зла!.. И все это продлится до тех пор, пока ты не искупишь передо мною своей вины, а каким способом должен ты искупить ее — сам догадайся!» И вслед за этими заключительными словами Турахона грянул новый громоподобный удар, покачнувший до основания мое логово. Раздался ужасный треск, на меня посыпалась глина; обезумев, с помутившимся взором, я выскочил из подвала, — и в то же мгновение башня рухнула, погребая под собою все наворованное мною добро.

— Это было пять лет назад, в начале мая, — подхватил Ходжа Насреддин. — Именно тогда сильное землетрясение, сопровождаемое небывалой грозой, разрушило в Коканде много домов. Оно отозвалось даже и в Ходженте: там рухнула старинная мечеть Гюхар-Шад, та самая, где ныне сидит один старый дервиш...

Но здесь он остановился, решив пока не говорить одноглазому о своем знакомстве с ходжентским старцем.

— Так вот, оказывается, кто был виновником этого землетрясения — ты!

— Увы, я, — подтвердил одноглазый. — Потом я узнал, что надгробный камень в усыпальнице Турахона дал в этот день трещину. Он лопнул, когда праведник, обуянный гневом, выходил из могилы, чтобы покарать меня. С тех пор я пребываю в жалком и несчастном положении. Каждый год в это время, перед праздником Турахона, меня постигают жесточайшие муки, которым ты был свидетель. Избавиться от них я не могу иначе, как только путем воровства. Теперь ты понимаешь, что разумел я под неким целительным действием, не требующим вмешательства лекаря, и понимаешь, как очутился кумган в твоей сумке.

— Теперь понимаю. А скажи, не возобновляется ли твоя болезнь, если тебя ловят и отбирают украденное?

Об этом Ходжа Насреддин осведомился неспроста — на всякий случай, в предвидении будущего.

— Нет, не возобновляется. Но когда меня ловят — всякий раз весьма жестоко бьют. Сегодня били за кумган...

— И меня заодно с тобой, — напомнил Ходжа Насреддин.

— А год назад андижанские стражники били за молитвенный коврик...

— И стражники отпустили тебя? Не посадили в подземную тюрьму?

— Разве ты не слышал сказки о глупом коте? — усмехнулся одноглазый. — У одного человека в доме завелись мыши. Чтобы избавиться от них, он подобрал где-то бездомного ободранного кота. Глупый кот за одну ночь истребил всех мышей; наутро хозяин, видя, что больше никто не будет причинять ущерба его запасам, выгнал кота на улицу из уютного дома, где были мягкие подушки, теплый очаг и блюдечко с молоком... Стражники умнее кота!

Посмеявшись над этой сказкой, Ходжа Насреддин спросил одноглазого, зачем направляется он в Коканд, какие дела ждут его там. Вор ответил, что ежегодно весной совершает паломничество к усыпальнице Турахона и проводит несколько часов у надгробья, обливаясь слезами раскаяния и умоляя о прощении. Но до сих пор все его мольбы оставались втуне: праведник неумолим.

— Что же думаешь ты делать дальше?

— Жду твоего совета.

Ходжа Насреддин задумался. Его первоначальное намерение расстаться с одноглазым поколебалось. И причиной тому был старый ходжентский нищий, как бы связавший воедино их судьбы. «Одного или двух мне спасать от возвращения в низшее состояние — разница невелика, — решил Ходжа Насреддин. — Кроме того, он узнал мое имя, поэтому безопаснее будет держать его на глазах».

— Хорошо, ты будешь со мною. Посмотрим, не удастся ли нам вдвоем совместными усилиями умилостивить дедушку Турахона и смирить его праведный гнев. Но ты должен принести клятву — совершать впредь известное тебе целительное действие не иначе, как с моего позволения.

Одноглазый с готовностью принес клятву. Его благодарностям и славословиям не было конца.

Между тем солнце уже давно перешло за дневную черту, окрасило снега на вершинах в нежный палевый цвет, расстелило по горам густые лиловые тени. Ветер посвежел, стрекозы и мошки исчезли, ящерицы попрята-

лись в камни. Ходжа Насреддин чувствовал томление в пустом желудке, кроме того, нужно было подумать и о ночлеге.

— Вперед! — сказал он, садясь на ишака. — Мы потратили здесь немало времени, а до Коканда еще далеко.

Хорошо отдохнувший ишак мотнул головой, закрутил хвостом, и они двинулись.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вблизи Коканда, в низине, где жители южной части города сеяли рис, были в те времена теплые озера, питавшиеся водами горячих подземных источников. Здесь весна начиналась на целую неделю раньше: вокруг сады еще чернели, а на озерах цвели, вокруг зацветали, а здесь уже зеленели, согретые солнцем сверху и горячими родниками снизу.

Отсюда можно заключить, что дедушка Турахон не без умысла избрал эту низину для своей усыпальницы: здесь он мог на целую неделю раньше браться за свои разнообразные дела — портновские, сапожные, игрушечные и халвяные. Его скромная гробница была украшена только двумя черными конскими хвостами, укрепленными на шестах перед входом; вокруг теснились старые, корявые карагачи, нижние ветви которых были увешаны пестрой бахромой шелковых ленточек, принесенных сюда почитателями праведника. Обилие этих ленточек свидетельствовало, что память о нем не тускнеет в сердцах мусульман.

Перед гробницей Ходжа Насреддин спешился и благоговейно поклонился Турахону, которого искренне чтил. Одноглазый остался далеко позади; он полз по дороге на коленях, посыпая голову пылью и горестно крича: «О милосердный Турахон, прости меня во имя аллаха!». Его покаянный голос едва слышался за карагачами.

Пришел старик, хранитель гробницы, — в лохмотьях, с лицом желтым и сморщенным, как вяленая урючина, но с глазами, в которых светился скрытый огонь. Открылась резная дверь — ветхая, потемневшая, насквозь изъеденная древесными червями. Из прохладной полутьмы пахнуло древностью — странным запахом, проникающим в душу. Сняв сапоги, надев мягкие туфли, услужливо предложенные стариком, Ходжа Насреддин вошел в гробницу. Белые стены из грубо отесанного камня, без

украшений, без росписи, поддерживали купол с двумя узкими зарешеченными окнами; полутьму просекали два тонких лезвия света, скрещиваясь на каменном надгробье, расколотом поперек. От входа к надгробью шла приподнятая над полом каменная дорожка шириною в два локтя, а по обеим сторонам ее лежал на полу серо-зеленоватый прах, скопившийся здесь веками. По обычаю, он сохранялся в неприкосновенности: великим кощунством было бы оставить на нем свой след. И такая тишина была в гробнице, что Ходжа Насреддин услышал звон собственной крови в ушах; он приблизился к надгробью, склонился над ним, поцеловал камень, под которым покоилось одно из самых добрых сердец, когда-либо бившихся на земле.

— О милосердный Турахон, неужели моему греху никогда не будет искупления? — послышались близкие вопли, и в гробницу вполз одноглазый. Голова его была серой от пыли, плоское лицо разодрано в кровь, он упал грудью на камень и затих.

Ходжа Насреддин вышел, оставив его наедине с Турахоном.

Прошел час, второй. Одноглазый не выходил из гробницы. Ходжа Насреддин терпеливо ждал, сидя на ветхом, истертом коврике в тени карагача и беседуя со стариком хранителем о дервишизме и его преимуществах перед всяким иным образом жизни.

— Ничего не иметь, ничего не желать, ни к чему не стремиться, ничего не бояться, а меньше всего — телесной смерти, — говорил старик. — Как иначе можно жить в этом скорбном мире, где ложь громоздится на ложь, где все клянутся, что хотят помочь друг другу, но помогают только умирать.

— Это не жизнь, а бесплотная тень ее, — возражал Ходжа Насреддин. — Жизнь — это битва, а не погребение себя заживо.

— Что касается внешней телесной жизни, то слова твои, путник, вполне справедливы, — отозвался старик. — Но ведь есть еще и внутренняя, духовная жизнь — единственное наше достояние, над которым не властен никто. Человек должен выбирать между пожизненным рабством и свободой, что достижима лишь во внутренней жизни и только ценой величайшего отречения от телесных благ.

— Ты нашел ее?

— Да, нашел. С тех пор как я отказался от всего излишнего — я не лгу, не раболепствую, не пресмыкаюсь,

ибо не имею ничего, что могли бы у меня отнять. Разве мою старческую телесную жизнь? Пусть возьмут; говоря по правде, я не очень ею дорожу... Вот гробница Тура-хона; муллы не любят его, стража преследует его почитателей, но я, как видишь, не боюсь открыто служить ему — вполне бескорыстно, из одного лишь внутреннего влечения.

— Что бескорыстно, я вижу по твоей одежде, — заметил Ходжа Насреддин, указывая на халат старика, неописуемо рваный, пестрящий заплатами, с бахромою внизу — сшитый как будто из тех ленточек и тряпочек, что висели вокруг на деревьях.

— Я не прошу многого от жизни, — продолжал старик. — Этот рваный халат, глоток воды, кусок ячменной лепешки — вот и все. А моя свобода всегда со мною, ибо она — в душе!

— Не в обиду тебе, почтенный старец, будь сказано, но ведь любой покойник еще свободнее, чем ты, ибо ему вовсе уж ничего не нужно от жизни, даже глотка воды! Но разве путь к свободе это обязательно путь к смерти?

— К смерти? Не знаю... Но к одиночеству — обязательно.

Помолчав, старик закончил со вздохом:

— Я давно одинок...

— Неправда! — отозвался Ходжа Насреддин. — В твоих речах я расслышал и боль за людей и жалость к ним. Твоя жалость будит отголосок во многих сердцах, — значит, ты не одинок на земле. Живой человек одиноким не бывает никогда. Люди не одиноки, они едины; в этом — самая глубокая истина нашего совместного бытия!

— Утешительные выдумки! От холода, ветра, дождя люди защищаются стенами, от жестокой правды — различными выдумками. Защищайся, путник, защищайся, ибо правда жизни страшна!

— Защищаться? Нет, почтенный старец, — я не защищаюсь, я нападаю! Везде и всегда я нападаю, в каком бы обличье ни предстало мне земное зло! И если мне суждено пасть в борьбе, никто не скажет, что я уклонялся от боя! И мое оружие перейдет в другие руки — уж я позабочусь об этом!

Горячее слово Ходжи Насреддина было прервано появлением одноглазого из гробницы. Его лицо было тихим и бледным. Пока он умывался у водоема, старик рассказал:

— Каждый год этот несчастный высаживает возле гробницы черенок розы, в надежде, что он примется и это будет знаком прощения. Но до сих пор ни один черенок не принялся. У меня выступают слезы на глазах при виде этого человека; ты правильно угадал во мне жалостливость к людям, о путник! Я освободился от корыстолюбия, тщеславия, зависти, чревоугодия, страха, но от жалости освободиться не могу. Аллах дал мне мягкое сердце, и оно не хочет затвердеть.

Одноглазый в это время занимался своими делами: он достал из-за пазухи завернутый в сырую тряпку черенок и, взрыхлив ножом землю, воткнул его перед входом в гробницу.

— Не примется, — шепнул Ходжа Насреддин старику. — Так не сажают.

— Может быть, и примется, — ответил старик. — Я буду ухаживать за этим черенком, буду поливать его трижды в день.

Ходжа Насреддин заметил слезы, блеснувшие в уголках его старых глаз.

Все дела у гробницы были закончены. Простившись со стариком, наши путники покинули тенистую прохладу карагачевой рощи Турахона.

А Коканд встретил их горячей пылью, давкой и суматохой у городских ворот. Начинались большие весенние базары, ворота не успевали пропускать всех прибывших.

Под городской стеной с наружной стороны гудел пестрый табор с навесами из камышовых циновок, с палатками из конских попон, с харчевнями и чайханами, в которых шла кипучая торговля. Вдоль дороги в неглубоких ямах сидели нищие, такие же сухие и желтые, как безводная земля вокруг, — они казались порожденными этой землей, словно бы вырастали из нее или, наоборот, медленно уходили в ее глубину. А в стороне, под нестерпимый грохот барабанов, рев медных труб и резкий визг сопелок, изощрялись в своем презренном ремесле шуты, фокусники, заклинатели змей, плясуньи, канатоходцы и прочие развратители мусульманских сердец. Над этим разноязычным скопищем в мутно-белесом небе стояло раскаленное солнце — плоское, тусклое, без лучей; везде была пыль и пыль, — она летела по ветру, скрипела на зубах, лезла в нос, в глаза, в уши.

Великий охотник до всяких зрелищ, Ходжа Насреддин, не теряя времени, с лепешкой в одной руке и с тюбетейкой, полной спелых черешен, в другой, отправился в обход сначала фокусников, а потом — остальных. Он задержался перед темнолицым высохшим стариком с красной чертой на переносице — знаком племени; опустив глаза долу, индус тихонько и жалобно играл на тростниковой свирели, а перед ним раскачивались две змеи — сонные, вялые, до конца покорные звуку его тростника; не отрывая губ от свирели, он уложил обеих змей, каждую отдельно, в две глубокие корзины с плотными крышками, — и только после этого дал отдых своим онемевшим губам; на смену тонкому звуку свирели какой страшный упругий шорох послышался из этих корзин, какое зловещее, леденящее сердце шипение, переходящее в злобный свист!.. А сверху слабо доносилась барабанная дробь: там, на страшной высоте, по тонкому канату скользил с шестом в руках маленький человек, голый до пояса, в широких красных штанах, надуваемых ветром; он приседал и выгибался, подбрасывал и ловил свой шест, исхитряясь при этом еще бить одной рукой в маленький барабан, подвешенный спереди к его поясу; внизу гудела толпа, клубилась пыль, насыщенная запахами пота, навоза и сального чада харчевен, — а он один в небесном просторе был товарищем ветру, отделенный от смерти лишь тонкой и зыбкой струной своего каната.

Неподалеку белели палатки плясуний; возле крайней заметно было движение и собирался народ; Ходжа Насреддин поспешил туда.

Два дюжих дунгана с черно-смоляными косами до пояса проворно выкатили из палатки плоский барабан шириною в мельничный жернов; потом один из них, запрокинув голову, начал дуть в длинную узкую тыкву — послышался ноющий, с дребезжанием звук, подобный полету осы. Эта старинная кашгарская пляска так и называлась «Злая оса». Зудящее нытье тыквы продолжалось долго, то усиливаясь, то замирая; вдруг полог палатки раздвинулся — и выбежала плясунья.

Она выбежала и остановилась, как будто испуганная видом толпы, прижала острые юные локти к бокам, развела в стороны маленькие ладони. Ей было лет семнадцать, не больше; на ее нежно-золотистом лице не было ни сурьмы, ни румян, ни белил — она не нуждалась в этом. Разноцветные шелка — синий, желтый, красный,

зеленый — окутывали ее гибкое тело, светясь и блестя в косых предвечерних лучах, сливая в одну радугу свои жаркие живые краски. Метнув на толпу из-под ресниц летучий взгляд косых и узких, влажных, горячих глаз, плясунья сбросила туфли и без разбега ловко вспрыгнула на барабан. Он сердито заворчал под ее маленькими ступнями; трубач поднял выше жерло своей тыквы и побагровел от натуги; тыква заныла гнусаво, со звоном и скрипом; плясунья, изобразив испуг на лице, начала беспокойно осматриваться: где-то рядом вилась оса, грозя ужалить. Эта злая оса нападала отовсюду — с боков, снизу, сверху; плясунья отбивалась порывистыми изгибами тела и взмахами рук; все чаще, все жарче била она маленькими пятками в барабан, он отвечал тугим нарастающим рокотом, понуждая ее ко все большей горячности. Слитые воедино, они подгоняли друг друга; плясунья, увертываясь от осы, падала на колени и вскакивала опять, искала эту злую осу в складках своей одежды, а цветные шелка все разматывались и разматывались, ниспадая на барабан, и уже только чуть прикрывали ее тонкое тело. Когда она обнажилась до пояса, злая оса залетела вдруг снизу; плясунья вскрикнула, завертелась волчком на рокочущем обезумевшем барабане, цветной вихрь поднялся вокруг нее, упал последний, розовый шелк, и она осталась перед толпой совсем обнаженная. И вдруг вся она затрепетала от головы до ног, выгнулась и запрокинула голову, тягучая судорога прошла по всему ее телу: оса все-таки ужалила ее!.. Провожаемая восхищенным и жадным ревом толпы, она убежала в палатку; и сейчас же следом за нею в палатку направился какой-то персидский купец — тучный, коротконогий, с черной бородой, круглым чревом и маслянистыми, сладко-сонными глазами навыкате.

Ночевали Ходжа Насреддин и его одноглазый спутник в какой-то захудалой чайхане, полной блох, а утром, с первыми лучами солнца, вошли в Коканд.

По мере их продвижения в глубину города все больше попадалось на пути стражников разных чинов. Стражники сновали по улицам, площадям и переулкам, торчали на каждом углу. Ворам действительно нечего было делать в Коканде.

«Но во сколько же обходится бедным кокандцам вся эта начальственная орава? — думал Ходжа Насреддин. —

Никакие воры, даже за сто лет непрерывного воровства, не смогли бы нанести им таких убытков!»

Миновали старинную медрессе — гнездо кокандских поборников ислама, каменный мост через бурливый мелководный Сай, и перед ними открылась главная площадь с ханским дворцом за высокими крепостными стенами.

Здесь начинался базар.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В те далекие годы каждый большой город Востока имел, кроме своего имени, еще и титул. Бухара, например, именовалась пышно и громко: Бухара-и-Шериф, то есть Благородная Царственная Бухара, Самарканд носил титул Исламодоблестного Битвопобедного и Блистательного, а Коканд, в соответствии с его местоположением в цветущей долине и легким беззаботным характером жителей, именовался Коканд-и-Лятиф, что значит Веселый Приятный Коканд.

Было время, и не такое уж давнее, когда этот титул вполне соответствовал истине: ни один город не мог сравниться с Кокандом по обилию праздников, по веселью и легкости жизни. Но в последние годы Коканд помрачнел и притих под тяжелой десницей нового хана.

Еще справляли по старой памяти праздники, еще надрывались трубачи и усердствовали барабанщики перед чайханами, еще кривлялись на базарах шуты, увеселяя легкомысленных кокандцев, но уже и праздники были не прежними и веселье — не таким кипучим. Из дворца шли мрачные слухи: новый хан, пылающий необычайным рвением к исламу, отдавал все свое время благочестивым беседам и ничего больше знать не хотел. Строились медрессе, новые мечети; со всех сторон в Коканд съезжались муллы, мударрисы, улемы; для прокормления этой жадной орды требовались деньги; подати возрастали. Единственным развлечением хана были скачки; с детских лет он страстно любил коней, и даже ислам не мог заглушить в его душе эту страсть. Но во всем остальном он был вполне безупречен и не подвержен суетным соблазнам. Тропинка в саду от гарема к ханской опочивальне заглохла и поросла травой, давно уж не слыша по себе в ночные часы торопливых, мелко летучих шагов, сопровождаемых вялым сопением главного евнуха и нудным шарканьем

его туфель, влачимых подошвами по земле. От своих вельмож хан требовал такого же целомудрия, от жителей — благочестия; Коканд был полон стражников и шпионов.

То и дело оглашались новые запреты с новыми угрозами; как раз на днях вышел фирман о прелюбодеяниях, по которому неверные жены подлежали наказанию плетьми, а мужчины — лишению своего естества под ножами лекарей; много было и других фирманов, подобных этому; каждый кокандец жил словно бы посреди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками: как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами.

Но такова уж непреодолимая сила весны, что в эти дни, о которых мы повествуем, кокандцы позабыли свои невзгоды. Под яркими лучами молодого солнца на базаре царило шумное оживление. Издавна славившиеся любовью к цветам и певчим птицам, кокандцы не изменили обычаю: у каждого был воткнут под тюбетейку близ уха либо тюльпан, либо жасмин, либо другой весенний цветок. В чайханах на разные голоса заливались крылатые пленницы, и часто какой-нибудь досужий кокандец, бросив чайханщику монету, открывал клетку и под одобрительный гул собравшихся выпускал певунью на волю. Движение арб, всадников и пешеходов останавливалось: все, откинув голову, следили в сияющем небе ее свободный, полный восторга полет.

— Дедушка Турахон ждет наших добрых дел, — сказал Ходжа Насреддин одноглазому. — Начнем, пожалуй, с птичек. Вот тебе деньги. Но помни: сам ты не должен добывать у здешних ротозеев ни одной таньга, хотя бы их кошельки смотрели на тебя умильными глазами.

— Слушаю и повинуюсь.

Одноглазый подошел к ближайшей чайхане и купил сразу всех птиц. Одна за другой, вспыхивая на солнце крылышками, они поднимались в небо.

Собралась толпа, запрудила дорогу. Слышались громкие похвалы щедрости одноглазого.

Он открывал клетку, вынимал птичку, держал несколько мгновений в руке и, насладившись ее живым теплом, пугливым трепетом маленького сердца, подбрасывал вверх. «Лети с миром!» — говорил он ей вслед. «Лечу! Спасибо тебе, добрый человек, я замолвлю за тебя словечко дедушке Турахону!» — отвечала она на своем птичьем языке и скрывалась. Одноглазый заливался тихим счастливым смехом:

— Удивительно, как я не додумался до этого раньше. Ведь у меня бывали большие деньги, я мог выпускать их тысячами. Я просто не знал, что эта детская забава может быть столь радостной для души.

— Ты многого не знал, да и сейчас еще не знаешь, — ответил Ходжа Насреддин, думая про себя: «Я не ошибся в этом человеке — он сохранил в своем сердце живой родник».

— Разойдись! Не толпись! — послышались грозные окрики, сопровождаемые барабанным боем; толпа шарахнулась, рассеялась — и Ходжа Насреддин увидел перед собою какого-то высокопоставленного вельможу верхом на рыжем текинском жеребце. Вельможу со всех сторон окружали стражники — усатые, свирепые, с толстыми красными мордами, пылавшими великим хватательным рвением, с копьями, саблями, секирами и прочими устрашительными орудиями. Грудь вельможи сияла множеством больших и малых медалей, на выхоленном лице с черными закрученными усами отражалось надменное высокомерие. Жеребец, придерживаемый с обеих сторон под уздцы, играл и приплясывал, косил огненно-лиловым глазом, выгибал шею и грыз удила; чепрак на его спине сиял золотом.

— Откуда вы, презренные оборванцы? — брюзгливо оттопырив нижнюю губу и морщась, вопросил вельможа.

О, если бы знал он, кто стоит сейчас перед ним в этом ветхом халате, в залатанных сапогах и засаленной тюбетейке!

— Мы сельские жители, приехавшие в Коканд на базар, — смиренно ответил Ходжа Насреддин, изобразив на лице раболепие. — Мы не содеяли ничего плохого, только выпустили нескольких птичек во славу нашего великого хана и в знак почтения к тебе, о сиятельный светоч могущества.

— Разве нет других способов выразить преданность хану и почтение мне, как только выпуская на волю каких-то глупых птиц и собирая вокруг толпу? — гневно вопросил вельможа, причем слова: «выпуская на волю» он произнес искривив губы, с брезгливым отвращением к их смыслу. — Давно пора запретить все эти «выпускания на волю», — он опять брезгливо искривил губы, — все эти дурацкие обычаи, позорящие мой город! У вас, как видно, завелись лишние деньги, и вместо того, чтобы с благоговением внести их в казну — вот истинный способ

выразить преданность! — вы разбрасываете их по базару. Обыскать! — приказал он стражникам.

Те схватили Ходжу Насреддина и одноглазого, сорвали с них пояса, халаты, рубашки.

Торжествуя, показали своему повелителю кошелек, набитый серебром и медью. Вельможа усмехнулся, довольный своей проницательностью.

— Так я и знал! Спрячь! — приказал он старшему стражнику. — Потом вручишь мне для передачи в казну.

Стражник опустил кошелек в бездонный карман своих красных широких штанов, и грозное шествие под раскатистую барабанную дробь двинулось дальше: впереди — вельможа на коне, за ним — стражники в красных штанах и сапогах с отворотами, сзади всех — барабанщик в таких же красных штанах, но босиком, так как ему по чину казенной обуви не полагалось. И всюду, где они проходили, затихал веселый базарный шум, пустели чайханы и умолкали птицы, испуганные барабаном; жизнь останавливалась, замирала под стеклянным напряженным взглядом вельможи, — оставались только одни его фирманы с угрозами и запретами. Но стоило ему пройти, и жизнь за его спиной снова начинала играть всеми своими красками, звучать всеми звуками, неуемная, вечно юная, не желающая признавать никаких запретов и смеющаяся над ними. Он проходил сквозь жизнь как некое враждебное ей чужеродное тело; он мог на время нарушить ее течение, но был бессилен подчинить ее себе и закрепиться в ней: каждым весенним цветком, каждым звуком Великая Живая Жизнь отвергала его!

Глядя вслед удалявшимся, Ходжа Насреддин сказал:

— Начальство земное разделяется на три вида: младшее, среднее и старшее — по степени причиняемого им вреда. Мы остались без единого гроша в кармане — это еще хорошо: могли остаться и без голов — начальник был старший...

— У меня руки так и чесались выудить наш кошелек из кармана у стражника, — признался одноглазый. — Но я не имел твоего дозволения.

— Надо же хоть немного и самому соображать! — с досадой отозвался Ходжа Насреддин. — Вернуть законному владельцу его кошелек — зачем здесь какое-то особое дозволение?

— Вот он! — С этими словами одноглазый вытащил из-за пазухи кошелек. — Там у него в кармане были еще

два браслета — золотые, судя по весу, но их я не тронул.

Возвращение кошелька было отпраздновано пышным пиром в ближайшей харчевне. Харчевник сбился с ног, подавая щедрым гостям то одни, то другие кушанья, приправленные афганскими горячительными снадобьями, раскалявшими язык и небо. Из харчевни перешли они в чайхану, из чайханы — к продавцу медового снега и закончили пиршество у лотка с халвой.

Затем они направились в обход базара. А кокандский базар в те годы был таков, что обойти его сразу весь не взялся бы и самый быстроногий скороход. Один только шелковый ряд тянулся на два полета стрелы, немногим уступали ему гончарный, обувной, оружейный, халатный и другие ряды; что же касается конской ярмарки и скотной площади, то они были необозримы. На всем этом пространстве из конца в конец клубилась, кипела, теснилась толпа; Ходжа Насреддин со своим спутником то и дело протискивались боком.

Невозможно описать обилие и великолепие товаров, раскинутых на прилавках, на камышовых циновках, на ковриках: все, чем мог похвалиться тогдашний Восток, — все было здесь! Кальяны от самых простых и грубых до многотысячных, стамбульской работы, отделанных золотом и самоцветами; серебряные индийские зеркала для прекрасных похитительниц наших сердец; персидские многоцветные ковры, услаждающие глаз необычайной тонкостью узора; шелка, позаимствовавшие у солнца свой блеск; бархат, мягким и глубоким переливам которого могло бы позавидовать вечернее небо; подносы, браслеты, серьги, седла, ножи...

Сапоги, халаты, тюбетейки, пояса, кувшины, амбра, мускус, розовое масло... Но здесь мы останавливаем разбег нашего пера, ибо для перечисления всех богатств кокандского базара нам понадобились бы две или даже три большие книги!

Базарный день, полный пестрых красок, звуков и запахов, пролетел быстро. Солнце садилось, края высоких облаков расплавились, горели розовым блеском. Пришли часы отдыха: люди расходились по домам, приезжие располагались в чайханах. Но барабаны, возвещающие конец

базара, еще не ударили, — многие лавки продолжали торговлю.

В их числе и лавка одного менялы, по имени Рахим-бай, известного кокандского богача. Тучный, с двойным подбородком, отдувшимися щеками, жирным загривком, выпиравшим из-под халата, со множеством колец на пухлых коротких пальцах, он, полуопустив мясистые веки, сидел за своим прилавком, на котором ровными столбиками были разложены золотые, серебряные и медные деньги. Здесь были индийские рупии, китайские четырехугольные ченги, татарские алтыны, попавшие сюда из диких степей Золотой Орды, персидские туманы с изображением рыкающего льва, арабские динары и множество других монет, ходивших в те времена на Востоке; были здесь и монеты из далеких языческих земель: гинеи, дублоны, фартинги, носящие на себе греховные изображения франкских королей — в доспехах, с обнаженными мечами и нечестивым знаком креста на груди.

Ходжа Насреддин и одноглазый вор поравнялись с лавкой менялы как раз в то время, когда он заканчивал подсчет дневных барышей. С видом скорбного глубокомыслия, оттопырив пухлые губы, ярко красневшие в его черной бороде, он собирал свои деньги с прилавка; монеты выскальзывали из его толстых пальцев, как золотые и серебряные рыбки, и с тихим усладительным плеском падали в сумку, а презренная медь, которую сгребал он не считая, сыпалась с глухим, тусклым стуком, подобно битому камню.

Ходжа Насреддин покосился на своего спутника, ожидая увидеть в его зрячем глазу желтый пронзительный свет. И не увидел. Вор спокойно взирал на золото, его лицо отражало совсем другие мысли.

— Сегодня перед утром мне снилось, что мой черенок принялся и выбросил бутоны, — сказал он. — Верить этому сну или нет? Неужели Турахон не простит меня, неужели через год опять возобновится моя болезнь и опять я вынужден буду прибегнуть к целительному действию?

Здесь мимоходом мы поясним, что проницательный Ходжа Насреддин уже успел изучить своего спутника и понять природу его болезни, проистекавшей от навязчивой мысли, которую одноглазый сам себе внушил. В сочинениях многомудрого Авиценны, отца врачевания, говорится, что всякое нарушение телесного здоровья сейчас

же отзывается на состоянии духовного существа, и наоборот; Ходжа Насреддин пил из родников Авиценны и, применив его наставления к одноглазому вору, сумел сделать правильный вывод.

— Сон вещий, — ответил он, стараясь придать своему голосу благожелательную уверенность, в точном соответствии с назиданиями Авиценны. — Сон вещий, запомни его. Имею основания полагать, что на этот раз Турахон будет к тебе милостивее и ты получишь прощение.

Их разговор был прерван появлением какой-то женщины — вдовы, как это явствовало из синей оторочки на рукавах ее халата. Оторочка была новая, а халат сильно поношенный, — отсюда Ходжа Насреддин заключил, что после недавней смерти мужа у вдовы не осталось денег даже на покупку траурного одеяния.

— О добродетельный и великодушный купец, я пришла к тебе с мольбой о спасении моих детей, — обратилась она к меняле.

— Проходи, я не подаю милостыни, — буркнул тот, не поднимая глаз, прилипших к деньгам.

— Я прошу не милостыни, а помощи, которая будет небезвыгодна и для тебя.

Меняла удостоил поднять взор.

— После кончины мужа у меня остались сохранившиеся от былого благополучия драгоценности, последнее мое достояние, которое берегла я на черный день. — Женщина достала из-под халата кожаный мешочек. — Этот черный день пришел: трое моих детей — все больны. — В ее голосе зазвенели слезы. — Я предлагала драгоценности нескольким купцам — никто не хочет их покупать без предварительного осмотра начальником городской стражи, как приказывает последний фирман. Но ты ведь знаешь, почтенный купец, что после осмотра у меня не будет ни денег, ни драгоценностей: начальник стражи обязательно признáет их крадеными и заберет в казну.

— Хм!.. — усмехнулся меняла, почесывая пальцем в бороде. — В казну или, может быть, не в казну, но только заберет обязательно. С другой же стороны, покупка у неизвестного случайного лица без осмотра начальником стражи весьма опасна: фирман за это обещает сто палок и тюрьму. Но из сочувствия к твоему горю... Покажи, что там у тебя?

Она протянула ему свой мешочек. Он развязал его, вытряхнул на прилавок золотой тяжелый браслет, серьги

с крупными изумрудами, рубиновые бусы, золотую цепочку, что, по старинному обычаю, муж дарил жене в знак неразрывности брачного союза, и еще несколько мелких золотых вещей.

— Что же ты хочешь за это?

— Две тысячи таньга, — робко сказала женщина.

Одноглазый толкнул Ходжу Насреддина локтем:

— Она просит ровно треть настоящей цены. Это индийские рубины, я вижу отсюда.

Меняла пренебрежительно поджал пухлые губы:

— Золото с примесью, а камни самые дешевые, из Кашгара.

— Он врет! — прошептал одноглазый.

— Только из сожаления к тебе, женщина, — продолжал меняла, — я дам за это за все... ну — тысячу таньга.

Лицо одноглазого передернулось, в желтом оке вспыхнуло негодование; он ринулся было вперед, готовый вмешаться. Ходжа Насреддин остановил его.

Вдова попробовала спорить:

— Муж говорил, что за одни только рубины заплатил больше тысячи.

— Не знаю, что он там тебе говорил, но драгоценности могут быть и крадеными, помни об этом. Хорошо, двести таньга я набавлю. Тысяча двести, и больше ни гроша!

Что оставалось делать бедной вдове? Она согласилась.

Меняла, небрежно сунув драгоценности в сумку, протянул женщине горсть денег.

— Разбойник! — прошептал одноглазый дрожа. — Я сам вор и всю жизнь провел с ворами, но подобных кровопийц не встречал!

Но это было еще не все; пересчитав деньги, женщина воскликнула:

— Ты ошибся, почтенный купец: здесь всего шестьсот пятьдесят!

— Убирайся! — завопил меняла, весь наливаясь кровяной краской. — Убирайся, или я сейчас же сдам тебя с твоим краденым золотом страже!

— Помогите! Он ограбил меня! Помогите, люди добрые! — кричала женщина, заливаясь слезами.

Возмущение одноглазого перешло все границы; на этот раз Ходже Насреддину вряд ли удалось бы его удержать, но за углом вдруг ударил барабан.

Вблизи лавки показался вельможа со своими стражниками. Закончив обход, шествие направлялось в дом службы.

Женщина замолчала, попятилась.

Купец, сложив руки под животом, низко поклонился вельможе.

Тот с высоты своего жеребца ответил небрежным кивком:

— Приветствую почтеннейшего Рахимбая, украшающего собою торговое сословие нашего города! Мне послышался крик возле вашей лавки.

— Да вот она! — Меняла указал на женщину. — Проявляет безнравственную распущенность, дерзко нарушает порядок, требует денег, толкует о каких-то драгоценностях...

— О драгоценностях? — оживился вельможа, и в его выпуклых стеклянных глазах мелькнул такой блеск, рядом с которым желтый глаз вора мог бы почесться невинным и кротким, принадлежащим младенцу. — А ну-ка, подведите ее ко мне, эту женщину!

Вдовы уже не было: спасая последние деньги, она поспешила скрыться в переулок.

— Вот пример: чем больше утеснений простому народу, тем вольготнее всяческим проходимцам, — сказал Ходжа Насреддин. — Искореняли воровство — развели грабеж среди бела дня, прикрытый личиной торговли. Беги вдогонку за этой вдовой, узнай, где она живет.

Одноглазый исчез; в число его особенностей входило умение исчезать с глаз и возникать перед глазами неуловимо, словно растворяясь в окружающем воздухе и вновь сгущаясь из него же.

Дабы не вводить во искушение стражников, Ходжа Насреддин укрылся за кучу камней, приготовленных для облицовки большого арыка, протекавшего здесь. Отсюда ему было видно и слышно все, что делалось в лавке.

Вельможа милостиво принял приглашение купца выпить чаю. Между ними завязалась дружеская беседа о предстоящих скачках в присутствии самого хана.

— Я не боюсь никаких соперников, кроме вас, почтенный Рахимбай, — говорил вельможа, покручивая и поглаживая усы. — Я слышал о ваших двух жеребцах, доставленных из Аравии для этих скачек. Слышал, но видеть не видел, ибо вы скрываете их от посторонних глаз более ревниво, чем даже свою супругу. Ходит слух, что

они обошлись вам в сорок тысяч таньга, считая доставку морем; даже первая награда не окупит ваших расходов!

— В пятьдесят две тысячи, в пятьдесят две, — самодовольно сказал купец. — Но я не считаю расходов, когда речь идет об услаждении взоров нашего великого хана.

— Это похвально, я доложу хану о вашем усердии. Но не гневайтесь, если мои текинцы лишат вас первой награды. Об арабских конях, разумеется, ничего плохого сказать нельзя, однако лучшими в мире считаю все же текинских.

Вельможа пустился в пространные рассуждения о достоинствах различных пород коней, купец слушал и загадочно ухмылялся, перебирая пальцами по толстому животу.

Воздух наполнился благоуханиями. Пришла жена менялы — высокая, стройная, под легким покрывалом, сквозь которое угадывались румяна и белила на ее щеках, краска на ресницах, сурьма на бровях и китайская мастика на губах.

Вельможа встал, увидев ее:

— Приветствую почтеннейшую и прекраснейшую Арзи-биби, жену моего лучшего друга.

Она ответила поклоном, улыбкой. Меняла не мог удержаться, чтобы не похвастать перед вельможей своим богатством и своею щедростью: он вытащил из сумки драгоценности и тут же подарил жене, соврав при этом, что час назад заплатил за них в золотом ряду восемь тысяч таньга. Жена в самых изысканных выражениях поблагодарила за подарок; ее слова были обращены к мужу, но взгляды — к вельможе. Утопающий в самодовольстве купец ничего не заметил и все твердил о восьми тысячах таньга, заплаченных за драгоценности, о пятидесяти двух тысячах — за арабских жеребцов и еще о каких-то других тысячах. Вельможа слушал, покручивая свои черные неотразимые усы, скрывая за ними снисходительную, с оттенком презрения, усмешку — ту самую, что многие из кокандцев жаждали носить на своем лице, но с чужого срывали кинжалом, а чаще — доносами.

— С этими драгоценностями вы будете еще пленительнее, о прекрасная Арзи-биби, — сказал вельможа. — Как жаль, что наслаждаться созерцанием вашего ангельского лица в обрамлении этих драгоценностей дано только одному вашему супругу.

— Я полагаю, не будет особенным грехом, если ты, Арзи-биби, наденешь серьги, ожерелье и откроешься на минутку перед сиятельным Камильбеком, моим лучшим другом, — с готовностью подхватил купец (вот куда завело его самодовольство и глупое тщеславие!).

Она согласилась, не споря (еще бы!): надела ожерелье, подняла покрывало.

Вельможа откинулся, застонал и в изнеможении прикрыл ладонью глаза, как бы ослепленный ее красотой.

Купец от самодовольства надулся, пыхтел, сопел и слегка покряхтывал.

Ходжа Насреддин за камнями, видя все это, только покачивал головой, мысленно восклицая: «Жирный хорек, чему ты радуешься? Ты выписываешь жеребцов из Аравии, а твоя жена находит их гораздо ближе!».

Вернулся вор — возник из воздуха перед Ходжой Насреддином:

— Вдова живет неподалеку. У нее действительно трое детей, и все больны. Шестисот пятидесяти таньга ей не хватит даже на уплату долгов. Завтра она будет опять без гроша по милости этого презренного кровопийцы!

— Запомни его лавку, запомни дом вдовы, это все скоро пригодится нам, — сказал Ходжа Насреддин. — А теперь пошли!

Они удалились, оставив вельможу, хвастливого менялу и его жену со всеми их тысячами, драгоценностями, арабскими конями и постыдными тайнами. Чайхана, где они остановились, была на другом конце базара, они шли долго, минуя опустевшие ряды, пересекая затихшие площади. Пламенеющий закат слепил, вечерний свет широко и тихо лился на землю, и в этом золотом сиянии минареты, хмурые громады мечетей как бы утрачивали свою земную тяжесть, казались прозрачными, зыбкими, словно готовые подняться в небо и расплавиться в его чистом, спокойном огне.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Горное озеро!.. Ходжа Насреддин расспрашивал о нем всех подряд на базаре — земледельцев, бродячих ремесленников, шутов и фокусников. Тщетно — никто ничего не слышал о таком озере. «Куда же оно запропастилось? — думал Ходжа Насреддин. — Может быть,

старик владел им еще в одном из прежних своих воплощений, где-нибудь на Юпитере или Сатурне, а теперь от старости все перепутал и посылает меня искать это озеро на Земле!»

Второе дело, касающееся умилостивления Турахона, тоже немало заботило его. «До праздника осталась всего неделя, — размышлял он. — Нужны деньги, не менее шести тысяч, где их взять?»

Пришлось обратиться за советом к одноглазому вору, — не открывая, разумеется, ему цели, для которой были нужны эти деньги.

— В прежние годы я без особого труда достал бы в Коканде шесть тысяч, — ответил вор. — Но теперь кокандцы все обнищали, у кого найдешь такой увесистый кошелек? Разве только у менялы.

— Ты опять в плену своих греховных мыслей, — с упреком сказал Ходжа Насреддин. — Почему обязательно украсть, разве нет других способов?

— Выиграть в кости?

— Можно и проиграть. Мы должны избрать какую-нибудь другую, беспроигрышную игру.

В голове Ходжи Насреддина мелькнула догадка, пока еще смутная, но таящая в себе плодотворные семена.

— Игру втроем: ты, я и этот жирный многогрешный меняла. Но как заманить его в нашу игру?

— Жирный меняла, обиратель вдов и сирот! — воскликнул одноглазый. — Заманить его в игру? Да легче заманить этот столб или вон того верблюда!

— А было бы очень хорошо получить деньги именно от него, — продолжал Ходжа Насреддин, увлеченный своей догадкой. — Добровольно, разумеется, вполне добровольно! Это было бы весьма полезным и самому меняле для перехода в иное бытие по окончании земного пути.

— Получить от этого кровопийцы добровольно шесть тысяч таньга! — захохотал одноглазый. — Да его земной путь окончится на первой же сотне! Посмотри, как он держится за свою сумку, не вырвать!

Разговор происходил в чайхане в поздний час, на рубеже полуночи. Город спал, базарные огни погасли, горели только смоляные костры на сторожевых башнях. Молодой месяц одиноко и печально склонялся над минаретами, серебря льдистым светом их изразцовые шапки. Было прохладно, тихо; днем в городе уже царило лето —

зной, пыль, духота, но крылатые ночи с их мглистым сиянием, с таинственной свежестью звездного ветра еще принадлежали весне. Одноглазый вор забрался под одеяло и захрапел, а Ходжа Насреддин лежал с открытыми глазами, весь во власти голубого тумана, спустившегося на землю с неведомых высот и полного неясных видений иного, далекого мира.

Гулкие барабаны, возвестившие полночь, вернули Ходжу Насреддина к земным делам — к толстому купцу и его кожаной сумке с деньгами. Усилием воли он стряхнул сладкое оцепенение бездумья. «Ищи, мой разум, ищи! Меняла должен дать шесть тысяч таньга, и он даст, и вполне добровольно, — так мною задумано, так будет исполнено!»

А жирный меняла в это время, ничего не подозревая, не испытывая никаких тревог, мирно посвистывал носом и причмокивал губами возле своей прелестной супруги. Она же не спала и, с отвращением глядя на его вздутое чрево, мягко колыхавшееся под шелковым одеялом, вспоминала жгучий взор и неотразимые усы вельможи. В спальне было душно и чадно от наглухо запертых ставен, от светильника, осыпавшего на поднос жирные хлопья сажи. «О прекрасный Камильбек! — думала красавица, — сколь сладостны для меня ваши объятия и сколь мерзостны бессильные прикосновения этого толстого дурака!..» С такими грешными мыслями она и уснула, имея перед очами все то же неотступное видение прекрасных черных усов, уверенная, что их вельможный обладатель отвечает ей в своих ночных мечтаниях полной взаимностью.

Она ошибалась: вельможа в этот поздний час был занят совсем другими мыслями — о своем возвышении, о новых наградах, о низвержении соперников.

Он стоял в дворцовой опочивальне перед постелью повелителя и подобострастно докладывал ему события минувшего дня. Таков был заведенный ханом порядок; могут подумать, что повелителю не хватало дневного времени, — вовсе не так: он просто боялся оставаться по ночам один, так как был издавна подвержен приступам внезапного удушья. Эта болезнь мучила его жестоко и не отступала, несмотря на дружные уверения дворцовых лекарей, что она с каждым днем слабеет и скоро

исчезнет совсем. Лекари не лгали хану, они только не договаривали, что исчезнет она вместе с ним...

Лежа спиной высоко на подушках, откинув тяжелое одеяло, хан трудно, с хрипом и свистом, дышал тощей грудью под шелковой тонкой рубахой. Окна опочивальни были открыты, курильницы не дымили, но ему все-таки не хватало воздуха.

— После закрытия базара, — докладывал вельможа, — убедившись, что в городе тихо, я отправился на скаковое поле, дабы самолично проверить его благоустройство к предстоящим скачкам...

— Ты осматривал самолично и в прошлом году, — прервал хан. — И все-таки один жеребец подвернул ногу. Смотри, если окажется и на этот раз какая-нибудь яма!..

— На этот раз я готов отвечать головой, — с поклоном ответил вельможа. — Надеюсь, что мои текинцы смогут достойно усладить взоры блистательного владыки.

— У твоих текинцев, я слышал, появились соперники. Один купец, не помню его имени, выписал коней из Аравии, заплатив за них, говорят, свыше пятидесяти тысяч. Ты видел этих коней?

— Видел, о повелитель, — соврал, не моргнув глазом, вельможа. — Кони, бесспорно, хороши, но до моих скакунов им далеко. Могу еще добавить, что купец сильно прихвастнул в цене: за этих арабов, как мне через моих шпионов достоверно известно, он заплатил немногим больше двадцати тысяч.

— Двадцать тысяч? Какие же это кони, за двадцать тысяч пара? Не с клячами же думает он появиться на скаковом поле перед нашими взорами!

— Купец — низкого происхождения, откуда ему знать правила высшей благопристойности, — вскользь обронил вельможа.

Очернив таким образом толстого менялу — своего соперника по скаковому полю, вельможа перешел к очернению других соперников — по дворцу. Досталось казначею, устроившему недавно с подозрительным расточительством пир для восьмидесяти гостей, досталось податному визирю, досталось мимоходом и верховному евнуху за чрезмерную приверженность к лагодийскому гашишу.

Затем вольможа помедлил, готовясь к удару по главному своему врагу. Этот удар он замыслил давно и выращивал долго, как заботливый садсвник выращивает в теплице драгоценный плод. Врагом вельможи был военa-

чальник Ядгорбек, по прозванию Неустрашимый, водитель знаменитой кокандской конницы — доблестный воин, весь в шрамах от вражеских сабель и увенчанный славою многих побед. Раболепная, трусливая низость всегда ненавидит ясное благородство высоких и смелых душ; вельможа ненавидел Ядгорбека за прямоту в речах, особенно же — за неподкупное почтение, переходящее в любовь, простого народа.

Хмурый, грузный, уже постаревший, с обвисшими сивыми усами, в простой чалме с одним-единственным золотым пером — знаком своей воинской власти, в шелковом потертом халате, лоснящемся на локтях, обутый в сапоги с помятыми от стремян носками и задниками, порыжевшими от постоянного соприкосновения с шерстью коня, сопровождаемый одним только телохранителем — дряхлым, полуслепым стариком, бессменным дядькой с юношеских лет, Ядгорбек, сутулясь в седле, медленно проезжал по базару на своем старом и тоже посеченном саблями аргамаке, и толпа затихала, расступалась, провожая воина почтительным шепотом, а его бывшие сотники, такие же седые, как и он, с честными боевыми шрамами на лицах, кричали из чайхан: «Привет тебе, Неустрашимый! Когда же в поход? Не забудь о нас, мы еще сможем рубиться!..». Появляясь раз в год во дворце, старый воин был всегда молчалив и ни слова не говорил о своих подвигах, но самые рубцы на его изуродованном лице гудели и рокотали, как бы храня в себе от прошлых времен прерывистый рев медных боевых труб, свист обнаженных сабель, злобное, с привизгом ржание коней, звон щитов и слитный бой барабанов, наполняющих яростью.

Легко ли было все это переживать вельможе, никогда не побывавшему ни в одной схватке, никогда не видевшему над своей головой блеска чужого клинка? Прекрасрый Камильбек благоразумно всю жизнь выходил на битву не раньше, чем его противник был крепко-накрепко связан веревками и положен на землю ничком, лицом вниз, и придавлен сверху двумя стражниками: одним — сидящим на шее, и вторым — сидящим на ногах.

— Ну, что еще? — спросил повелитель, гулко зевнув; было поздно, в набухших веках он чувствовал тяжесть, но благодетельный сон так и не шел к нему.

Вельможа изогнулся и весь затрепетал от макушки до пяток. Вот она, долгожданная минута!

— Есть у меня в мыслях некое слово горестной правды, о повелитель!

— Говори!

— Боюсь отяготить им державное сердце могущественного владыки.

— Говори!

— Речь идет о военачальнике Ядгорбеке.

— Ядгорбек? Он провинился? В чем?

Вельможа слегка задохнулся, но, мужественно преодолев волнение, звучным и ясным голосом произнес:

— Он уличен мною в прелюбодействе!

— В прелюбодействе? Ядгорбек? — вскричал хан, изумленный сверх всякой меры. — Да ты с ума сошел! Если бы в чем-нибудь другом, я бы мог еще поверить, но в этом!..

— Да, в прелюбодействе! — повторил вельможа с твердостью. — Имеются бесспорные доказательства. Овдовев шесть лет назад...

— Знаю...

— ...означенный сластолюбец Ядгорбек, не пожелав законным образом и от аллаха установленным порядком жениться, вступил два года назад в прелюбодейную связь с одной женщиной, персиянкой, по имени Шарафат.

— Знаю, — прервал хан. — Так ведь эта женщина — без мужа: он пять лет как ушел со своим караваном в Индию и где-то погиб в пути.

— Да преклонит повелитель свой слух к моим дальнейшим речам. Уже после оглашения фирмана, — а с того дня прошло более двух месяцев, — Ядгорбек не прервал своей прелюбодейной связи с указанной женщиной, следовательно — виновен и подлежит установленной каре.

— Да зачем было ему прерывать с нею связь, если она свободна, повторяю тебе! — вскричал хан уже с нетерпеливой досадой в голосе. — Как можно применить в этом случае фирман, какое здесь прелюбодейство, что ты бормочешь!

Он был все же владыка большого ханства и поневоле заботился о возможно правильном и строгом исполнении законов, дабы своеволием начальников его царство не разрушилось.

— Можно ли применить фирман, спрашивает повелитель? — зашипел вельможа, хищно пошевеливая усами. — Ну, а что, если эта женщина в действительности не свободна и продолжает состоять в браке, который не

расторгнут законным порядком? Что, если ее муж не погиб, а жив?

— Жив? А где же он был эти пять лет?

— Он жив и ныне пребывает в Индии, в Пешавере, обращенный в рабство. У меня в подземелье сидят два пешаверца, еще в позапрошлом году схваченных мною на базаре за чародейные замыслы против великого хана. В своих преступлениях они, разумеется, полностью признались на первых же двух допросах и были приговорены мною, в соответствии с законом, к заключению в подземной тюрьме. Так вот, недавно, на днях, они дополнительно показали, что встречали на пешаверском базаре мужа этой женщины в жалком состоянии раба. Он трижды посылал вести к своей жене, умоляя о выкупе, но она не отозвалась, наущаемая, как я уверен, своим прелюбодейным сожителем Ядгорбеком. Вот, о повелитель, что показали на допросе пешаверцы — оба, и причем одними и теми же словами.

— У тебя на допросах все показывают одними и теми же словами, — заметил хан, сумрачно усмехнувшись. — Что подумают жители, что скажет войско, если Ядгорбек будет схвачен по такому смехотворному поводу? Здесь что-то весьма не чисто у тебя, как я вижу...

Его раздражала чрезмерная дерзость вельможи, наперед заготовившего приговор, раздражало слишком самоуверенное торчание черных усов; к тому же еще и болезнь напоминала о себе тупой ломотой в затылке, поэтому голос хана звучал скрипуче и уязвительно.

— Что-то весьма не чисто, говорю я. Пешаверцы схвачены полтора года назад, а показали о встречах с мужем этой женщины только сейчас. Почему же они не показывали до сих пор?

— Они упорствовали в отрицании, только теперь признались.

— Упорствовали в отрицании? — Усмешка на лице хана стала еще мрачнее. — В чародействах, которые грозили им тюрьмой, признались, по твоим словам, на первых же двух допросах, а во встречах с мужем этой женщины, что им ровно ничего не грозило, не признавались целых полтора года? Это в твоих-то подземельях, в твоих-то руках? Немного странно, как ты думаешь, а?..

Вельможа понял, что неудачно выбрал время для своего дела. Хан в дурном расположении духа, он обращает жало, без выбора, к тому, кто ближе; в эту ночь

следовало бы вовсе не появляться во дворце, сказавшись больным и подсунув вместо себя под ханское жало кого-то другого. Но ошибка уже совершилась; такие промахи нередки с людьми, жмущимися к подножиям тронов, — кто первым ловит кусок, тому же достается и первая пощечина.

— О великое средоточие вселенной, я замечал и раньше за Ядгорбеком склонность к прелюбодействам, и если молчал об этом перед ханом, то единственно в заботе о сохранении драгоценного здоровья повелителя, которое могло потерпеть ущерб от столь огорчительной вести, — начал вельможа, изгибаясь и подвиливая задом, в надежде, что еще удастся дать делу желаемый оборот.

Не тут-то было — такая уж выдалась несчастная ночь!

— Замечал в Ядгорбеке склонность к прелюбодействам и раньше? — переспросил хан. — Где? В походах, которых ты с ним никогда не делил? И с кем? Со своей саблей, что ли, прелюбодействовал он? А я вот замечал нечто иное, замечал подобную склонность в некоторых других... у которых достаточно для этого и сил и свободного времени, которые именно ради всяческого прелюбодейства отращивают пышные усы и носят лакированные сапоги на таких высоких каблуках, что становятся в них похожими на китаянок. Вот где следовало бы поискать прелюбодейство; я уверен, что эти поиски не затянулись бы надолго.

Земля качнулась и поплыла под ногами вельможи. Наугад говорит хан или получил от кого-то донос? Быть может, он все знает, даже имя Арзи-биби известно ему? Быть может, он просто медлит, подобно коту, уже наложившему когти на мышь? Все эти мысли, кружась и свистя, пронеслись в голове вельможи, как мгновенный аравийский вихрь, повергающий пальмы.

Теперь ему уже было не до коварных замыслов, — самому бы выскочить из своей же ловушки!

Чувствуя на лице предательскую бледность, отворачиваясь от светильников, он долго откашливался, изгоняя сипоту, застрявшую в горле.

Ему бы надлежало отступить с умом и хитростью, не обращая к хану открытой спины — он же, от природы трусливый, кинулся в безоглядное бегство.

— Великий владыка прав, как всегда! — воскликнул он с преувеличенным жаром. — Своей несравненной муд-

ростью повелитель сорвал пелену с моих глаз. Теперь я вижу ясно, что означенные пешаверцы злонамеренно оклеветали благородного Ядгорбека, дабы умалить славу его воинских подвигов и через то уменьшить блеск кокандского царства! Вот в чем заключалась их преступная цель; теперь остается только узнать, откуда исходило наущение, где затаилась измена? Завтра же я самолично передопрошу пешаверцев.

Хан слушал молча; усмешка на его тонких губах мерцала весьма предвещательно; какое слово таилось под нею, и что́ принесет оно, всплыв наконец на уста? В смятении, в страхе, стремясь отдалить это слово, вельможа говорил без умолку, со все возрастающим пылом.

— Сколь благословенна эта ночь! — восклицал он. — Благодаря бездонной мудрости нашего владыки измена разоблачена, доброе имя очищено! Теперь моя совесть спокойна, разум возвысился, дух просветлен, — теперь я могу удалиться!

Кланяясь на каждом слове и приседая, он пятился к спасительной двери, но опочивальня была обширна, и последнего шага он сделать не успел; он уже перенес правую ступню за порог и подтягивал, в поклоне левую; еще бы один миг, и он вышел бы за дверь, ко спасению, — но здесь-то и настигла его стрела возмездия.

— Подожди! — сказал хан. — Иди-ка сюда, поближе...

С остекленевшим, помутившимся взглядом, неотрывно прикованным к ханскому персту, слегка поманивающему к себе, вельможа молча, будто влекомый за шею незримым арканом, проделал обратный путь, от двери к ханскому ложу, причем каждый шаг на этом обратном пути доставался ему ценою жесточайшей внутренней судороги.

— Где они сейчас, твои пешаверцы? — спросил хан.

— В подземной тюрьме, о повелитель!

— Я намерен допросить их сам.

Свет померк перед глазами вельможи, голова закружилась.

Но язык делал свое дело, помимо разума:

— С наступлением дня они будут доставлены во дворец.

— Не с наступлением дня, а сейчас, — сказал хан. — Мне все равно, я вижу, не уснуть, так вот я и займусь...

— Они не подготовлены ко дворцу, — пролепетал вельможа. — Они в лохмотьях и заросли диким волосом...

— Ничего, на крайний случай разбудим цирюльника.

— От них исходит нестерпимый смрад...

— А мы поставим их в отдалении, у открытого окна. И я расспрошу во всех подробностях о муже этой женщины: как он попал в Пешавер и кто обратил его в рабство. А также о чародействах, за которые они были схвачены; помнится, ты получил тогда за проявленное усердие десять тысяч таньга или даже пятнадцать. Они расскажут; ты, разумеется, удалишься, чтобы они свободнее себя чувствовали, а я послушаю и разберусь. Эй, стража!

Он ударил молоточком в медный круг, подвешенный к светильнику.

Вошел начальник дворцовых караулов.

— Ты останешься пока здесь, — сказал хан, обращаясь к вельможе. — А ты возьмешь из караула четырех стражников и пойдешь с ними в тюрьму, где содержатся...

Но в этот миг удушье костяной рукой схватило его за горло, наполнив гортань и грудь как бы мелко изрубленным конским волосом. Хан покачнулся, побагровел, посинел; сухой кашель бил, тряс и трепал его тощее тело; глаза выпучились, язык вывалился. Вбежали ночные лекари с тазами, полотенцами, кувшинами; начался переполох.

Вельможа сам не помнил, как выбрался из дворца. Если бы не внезапный приступ удушья, повергнувший хана в беспамятство, эта ночь для вельможи была бы последней в его благоденствиях.

Только на площади, под свежим ночным ветром, он пришел в себя.

Опасность отдалилась, но еще не миновала. Оправившись, хан вспомнит о пешаверцах и потребует их к себе.

Необходимо убрать пешаверцев, убрать сейчас же, до наступления дня!

Но как?..

Вельможа недоумевал.

Вчера он мог их казнить либо тайно умертвить — и никто не сказал бы ни слова. Но сегодня эти испытанные способы не годились: к двум головам пешаверцев можно было ненароком присоединить и третью — свою.

Оставался единственный способ, никогда еще не употреблявшийся вельможей в его многотайных делах, — побег!

С этим решением вельможа направился к дому службы, где у него были верные люди, всегда готовые исполнить все без лишних расспросов и умевшие молчать об исполненном.

Чародейные пешаверцы, которые в эту ночь сделались предметом внимания самого повелителя, в действительности были самыми обычными камнетесами, работавшими издавна в паре и пришедшими в Коканд на заработки; оба уже пожилых лет, они никогда в жизни не имели никакого касательства к чародейству; все это вельможа выдумал ради своего возвышения по службе.

После полуторагодового безвыходного сидения в подземной тюрьме пешаверцам недавно пришлось на короткий срок выйти в пыточную башню для дачи новых показаний, таких же мутных, как и первые: о какой-то женщине, где-то, кем-то и когда-то обращенной чародейным способом в рабство, о каком-то человеке, не пожелавшем ее выкупить, или, наоборот, о человеке в рабстве и о женщине, не пожелавшей выкупить, или о них обоих в рабстве... и еще кто-то сотворил чародейство над каким-то старым военачальником, превратив его в персиянку по имени Шарафат, — словом, в головах у пешаверцев все это перепуталось, и они вернулись в подземелье с угрюмым безразличием к дальнейшему, зная с уверенностью только одно — что уж теперь-то, после второго допроса, от плахи им не уйти!

С этой мыслью и встретили они трех тюремщиков, спустившихся к ним перед рассветом и отомкнувших запоры цепей.

Соблюдая необходимую для задуманного дела тишину, двое тюремщиков поднялись с пешаверцами наверх, а третий остался внизу надпиливать пустые цепи.

Все шло гладко и ладно, в полном соответствии с предначертаниями вельможи, но вдруг наверху возникла неожиданная задержка: пешаверцы, уверенные, что идут прямо к плахе, потребовали муллу, — твердоверные муссулимы, они не хотели предстать аллаху не очищенными.

Уговоры были напрасны.

Тщетно тюремщики наперебой заговорщицкими полуголосами внушали им, что они идут на свободу.

Пешаверцы, конечно же, не верили и все тверже требовали муллу.

Между тем драгоценные минуты летели, и близился рассвет — время, уже непригодное для задуманного.

Попытки выпихнуть пешаверцев из тюрьмы силой не увенчались успехом, так как они подняли крик, отозвавшийся гулом многих голосов внизу, в подземелье, среди прочих преступников.

А тюрьма находилась в опасной близости ко дворцу, где могли услышать.

Пришлось доложить вельможе, который сам в это время предусмотрительно находился вне тюрьмы, но все же неподалеку.

Своего верного муллы у вельможи под рукой на этот случай не оказалось, — предвидя многое, он упустил из мыслей твердость пешаверцев в исламе.

Звать же постороннего муллу не позволяла тайна.

Бормоча ругательства и проклятия, вельможа приказал одному из доверенных стражников переодеться муллой, то есть в белый халат и белую же чалму, и в таком виде идти к пешаверцам.

Новоявленный мулла, подойдя к ним с притворным благочестием на лице, хотел возгласить подобающее молитвенное обращение, но уста его, по многолетней привычке, для самого стражника неожиданно, вдруг изрыгнули сквернословие, что имело своим следствием его опознание пешаверцами.

Промах стражника чуть не погубил всего замысла.

Ужаснувшиеся пред мыслью лишиться исповедального покаяния, видя, что их обманывают в этом последнем и самом важном деле, пешаверцы подняли крик еще сильнее, чем в первый раз, — и подземелье отозвалось им глухим ревом, подобным гулу землетрясения.

Вторично доложили вельможе.

Он заскрипел зубами, он побледнел, как будто на его лице отразилась бледная полоска, уже обозначившаяся на востоке.

Минуты летели.

Рассвет надвигался.

Замысел рушился.

Тайна грозила всплыть.

Подгоняемый страхом, вельможа в отчаянии решился на крайнюю меру.

Он приказал объявить побег и поднять тревогу — трубить в трубы, бить в барабаны, звенеть щитами, размахивать факелами и кричать всем возможно громче.

Среди этого шума и переполоха связать пешаверцев, благо их вопли будут заглушены, забить им рты тряпочными кляпами, упрятать их в шерстяные толстые мешки и на быстрых конях, в сопровождении четырех наиболее доверенных стражников, направить к южным воротам.

А погоню за беглецами направить к северным воротам.

Все это было исполнено.

Трубили трубы, гремели барабаны, пылали факелы, раздавались крики: «Держи! Лови! Хватай!..».

На белом коне, с обнаженной саблей и вздыбленными усами, в свете факелов, гарцевал перед тюрьмой вельможа, будто бы только что примчавшийся по тревоге.

Громовым голосом он отдавал приказания:

— К северным воротам!

Погоня ринулась туда; впереди — вельможа на белом коне, с обнаженной саблей, подъятой над головой.

А пешаверцев, задыхавшихся в мешках, быстрые кони мчали к югу от Коканда.

Через два часа безостановочной скачки стражники остановили коней вблизи одного заброшенного кладбища, в густых зарослях камыша и терновника.

Пешаверцев вытряхнули из мешков.

Они еще дышали, хотя и слабо.

Лучи раннего солнца, свежий ветер и вода из арыка, обильно поливаемая на них кожаным походным ведром, оказали желаемое действие.

Пешаверцы очнулись, обрели способность внимать человеческой речи.

Правда, речь, обращенная к ним, состояла на девять десятых из одного только сквернословия, тем не менее пешаверцы поняли, что действительно выпускаются на свободу, и возблагодарили аллаха за столь чудесное избавление от неминуемой гибели.

Они получили приказ идти дальше, пересечь южную границу ханства и никогда больше не появляться в Коканде.

Им было выдано на двоих пятьдесят таньга — половина того, что назначил вельможа для умягчения пограничного караула.

Вторую половину денег стражники разделили между собою, затем вскочили на коней и умчались в Коканд.

Оставшись одни, пешаверцы первым делом совершили благочестивое омовение, которого так долго лишены были в подземной тюрьме.

Потом, расстелив свои халаты, опустились на колени, имея восходящее солнце от себя по левую сторону, обратив исхудавшие лица к священной Мекке.

Они молились долго, соответственно важности чуда, совершившегося для них.

Когда они окончили молитву, успокоение сошло в их сердца — в чистые, бесхитростные сердца простых людей, честно зарабатывающих тяжелым трудом свой хлеб.

Они разделили полученные деньги поровну, по двадцать пять таньга, и спрятали их, предвидя возвращение к семьям, терпящим нужду без кормильцев.

Затем они побрели по дороге, радуясь солнцу, зеленой листве, птицам и беседуя о минувших злоключениях, не будучи в силах понять ни того, почему полтора года назад они были вдруг схвачены и ввергнуты в подземелье, ни того, почему этой ночью столь же внезапно выброшены из тюрьмы при таких особенных обстоятельствах.

Они только покачивали головами, дивясь неисповедимости господних путей, запутанности земных судеб и непостижимости для простого ума многомудрых и многотайных предначертаний начальства.

На следующий день они без дальнейших помех, пострадав каждый только на десять таньга из отложенных двадцати пяти, пересекли южную границу ханства и к вечеру уже работали, отесывая камни для одной вновь строящейся мечети.

Так, медленно, от одной попутной работы к другой, они продвигались к родному селу и благополучно достигли его, вкусив радость встречи со своими семьями.

Их дальнейшая судьба нам неизвестна, однако мы верим, что они уж больше не попадали на помол в ту достославную мельницу, где воды своекорыстий вертят колеса хитростей, где валы честолюбий приводят в движение зубчатки доносов и жернова зависти размалывают зерна лжи...

Ночная буря вокруг пешаверцев не задела своим крылом чайхану, где ночевали Ходжа Насреддин и одноглазый вор; сюда от тюрьмы долетел только слабый отзвук барабанов и труб, возвестивших побег, да глухо и слитно

передался по земле конский топот в направлении к северным воротам. Потом опять все затихло до утра.

Месяц скрылся, голубая дымка исчезла, сменившись предрассветной серой мглой, а Ходжа Насреддин все еще не смыкал глаз для сна, прикованный мыслями к жирному купцу и его сумке с деньгами.

Уже сотни хитроумных способов выманить у менялы шесть тысяч таньга были придуманы и отвергнуты. «Обольстить его призраком ложной выгоды? — размышлял Ходжа Насреддин. — Или напугать?..»

И вдруг с головы до пят его прожгло мгновенным пронзительным озарением. Вот он — верный способ открыть денежную сумку менялы! Все сразу осветилось, как под белым блеском летучей молнии; сомнения рассеялись.

И такова была жгучая сила этого озарения, что она передалась от Ходжи Насреддина на другой конец города, в дом купца. Меняла беспокойно заворочался под одеялом, засопел, зачмокал толстыми губами, схватился за левую сторону живота, где всегда носил свою сумку.

— Уф! — сказал он, толкая локтем жену. — Какой нехороший сон привиделся мне сейчас: будто бы я, оступившись, упал с лестницы в кормушку с овсом, и меня вместе с моей денежной сумкой сожрал какой-то серый ишак. А потом ишак изверг меня в своем навозе, но уже без сумки — она осталась у него в животе.

— Молчи, не мешай мне спать, — недовольным голосом отозвалась жена, думая про себя: «Прекрасному Камильбеку, конечно, никогда не снятся такие дурацкие, такие неприличные сны!». Мечтательно улыбаясь, она устремила взгляд на розовевшее в лучах восхода окно, за которым начиналось утро, полное для каждого своих забот — и для нее, и для менялы, и для прекрасного Камильбека.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Но самые большие хлопоты и заботы принесло это утро Ходже Насреддину.

Оставив одноглазого вора в чайхане, он с первыми лучами солнца отправился в дальний конец базара, где торговали старьем. Там по дешевке он купил ветхий, потертый коврик, пустую тыкву для воды, старую китайскую

книгу, посеребренное зеркальце, связку бус и еще кое-какую мелочь. Затем по берегу Сая он вышел к мосту Отрубленных Голов.

Этот мост назывался так страшно потому, что здесь в прежние времена обычно выставлялись на высоких шестах головы казненных; теперь, по ханскому повелению, шесты с головами водружались на главной площади, чтобы их видно было из дворца, а мост, сохранив от минувшего только зловещий титул, перешел во владение гадальщиков и предсказателей.

Их всегда сидело здесь не меньше полусотни — этих мудрых провидцев сокрытых предначертаний судьбы. Наиболее почитаемые и прославленные занимали ниши в каменной ограде моста, другие, еще не достигшие таких высот, расстилали свои коврики возле ниш, третьи, самые младшие, размещались где попало. Перед каждым гадальщиком лежали на коврике различные магические предметы: бобы, крысиные кости, тыквы, наполненные водой из вещего источника Гюль-Кюнар, черепаховые панцири, семена тибетских трав и многое другое, необходимое для проникновения в темные глубины будущего. У некоторых, из числа наиболее ученых, были и книги — толстые, растрепанные, с пожелтевшими от времени страницами, с таинственными знаками, вселявшими в умы непосвященных страх и трепет. А самый главный гадальщик имел даже, по особому дозволению начальства, человеческий череп — предмет жгучей зависти всех остальных.

Гадальщики строго делились по отдельным видам гадания: одни занимались только свадьбами и разводами, другие — предстоящими кончинами и проистекающими из них наследствами, третьи — любовными делами, областью четвертых была торговля, пятые избрали для себя путешествия, шестые — болезни... И никто из них не мог пожаловаться на скудость доходов: с утра до вечера на мосту Отрубленных Голов толпился народ, к закату солнца кошельки гадальщиков полновесно разбухали от меди и мелкого серебра.

Ходжа Насреддин подошел к самой большой нише, которую занимал главный гадальщик — хилый старик, до того высохший и костлявый, что халат торчал на нем какими-то углами, а череп, лежавший на коврике перед ним, казался снятым с его собственных плеч. Смиренно поклонившись, Ходжа Насреддин попросил указать место, где позволено будет ему расстелить коврик.

— А каким же гаданьем думаешь ты заняться? — сварливо осведомился старик.

Гадальщики повысунулись из ниш, прислушиваясь к разговору. Их взгляды были недоброжелательны.

— Еще один! — сказал толстый гадальщик слева.

— Нас и так собралось на мосту слишком много, — добавил второй, похожий на суслика, с вытянутым вперед лицом, с длинными зубами, торчавшими из-под верхней губы, прихватывая нижнюю.

— Вчера я не заработал и десяти таньга, — пожаловался третий.

— И лезут еще новые! Откуда только они берутся! — добавил четвертый.

Иного приема Ходжа Насреддин и не ждал от гадальщиков, поэтому заранее приготовил умягчительные слова:

— О мудрые провидцы человеческих судеб, вам нечего бояться моего соперничества. Мое гадание совсем особого рода и не касается ни торговли, ни любовных дел, ни похорон. Я гадаю только на кражи и на розыск похищенного, но зато в своем деле равных себе, скажу не хвалясь, еще не встречал!

— На кражи? — переспросил главный гадальщик, и вдруг все его кости под халатом заскрипели, затряслись от мелкого смеха. — На кражи, говоришь ты, и на розыск похищенного? Тогда садись в любом месте — все равно ты не заработаешь ни гроша!

— Ни одного гроша! — подхватили остальные, вторя костяному смеху своего предводителя.

— С твоим гаданием в нашем городе нечего делать, — закончил старик. — В Коканде воровство изведено с корнем; для тебя лучше было бы уехать куда-нибудь в Герат или Хорезм.

— Уехать... — опечалился Ходжа Насреддин. — Где возьму я денег на отъезд, если у меня в кармане всего лишь восемь таньга.

Вздыхая, с угнетенным видом, он отошел в сторону и расстелил на каменных плитах коврик.

А базар вокруг уже шумел полным голосом: лавки открылись, ряды загудели, площади всколыхнулись. Все больше людей стекалось на мост — купцов, ремесленников, бездетных жен, богатых вдов, жаждущих обрести себе новых мужей, отвергнутых влюбленных и различных молодых бездельников, томящихся в ожидании наследства.

И закипела дружная работа! Будущее, всегда одетое для нас в покровы непроницаемой тайны, здесь, на мосту, представало взгляду совсем обнаженным; не было такого уголка в его самых сокровенных глубинах, куда бы ни проникали пытливые взоры отважных гадальщиков. Судьба, которую мы называем могучей, неотвратимой, непреодолимой, здесь, на мосту, имела самый жалкий вид и ежедневно подвергалась неслыханным истязаниям; справедливо будет сказать, что здесь она была не полновластной царицей, а несчастной жертвой в руках жестоких допрашивателей, во главе с костлявым стариком — обладателем черепа.

— Буду ли я счастлива в своем новом браке? — трепетно спрашивала какая-нибудь почтенных лет вдова и замирала в ожидании ответа.

— Да, будешь счастлива, если на рассвете не влетит в твое окно черный орел, — гласил ответ гадальщика. — Остерегайся также посуды, оскверненной мышами, никогда не пей и не ешь из нее.

И вдова удалялась, полная смутного страха перед черным орлом, тягостно поразившим ее воображение, и вовсе не думая о каких-то презренных мышах; между тем в них-то именно и крылась угроза ее семейному благополучию, что с готовностью растолковал бы ей гадальщик, если бы она пришла к нему с жалобами на неправильность его предсказаний.

— Один самаркандец предлагает мне восемнадцать кип шерсти. Будет ли выгодной для меня эта сделка? — спрашивал купец.

Гадальщик по торговым делам начинал считать крысиные кости, раскидывать бобы, затем с видом сурового глубокомыслия отвечал:

— Покупай, но следи, чтобы во время уплаты около тебя на сто локтей вокруг не было ни одного плешивца.

Купец отходил, ломая голову, как избежать ему зловредного влияния плешивцев, распознать которых под чалмами и тюбетейками было не так-то легко на базаре.

Но первое место среди гадальщиков принадлежало, бесспорно, обладателю черепа. Это был поистине великий, проникновенный мастер своего дела! Как многозначительно поджимал он бескровные губы, с каким сосредоточенным вниманием дул на сухую змеиную шкурку, разглядывал черепаховый панцирь и нюхал из тыквы, наполнен-

ной водами вещего источника Гюль-Кюнар, прежде чем коснуться главного своего сокровища — черепа. Но вот приходило время и черепу. Насупив брови, что-то невнятно бормоча, гадальщик тянул к нему руки с нависшими костлявыми пальцами — и вдруг отдергивал, словно обжегшись. Потом снова тянул и снова отдергивал. Наконец брал череп, медленно подносил к своему уху. Перед глазами окованного ужасом доверителя возникали два черепа: один — костяной, второй — обтянутый кожей. Черепа начинали страшную беседу: костяной — шептал, обтянутый кожей слушал... У кого бы хватило после этого духу расплачиваться медью? Рука сама вынимала из кошелька серебро.

Прошел день, второй, третий. Никто не обращался к Ходже Насреддину за розыском похищенного, ни разу не пришлось ему заглянуть в свою китайскую книгу и понюхать из тыквы.

По вечерам, когда он сворачивал коврик, гадальщики со всех сторон глумливо кричали:

— Сегодня он опять не заработал ни гроша!

— Сколько у тебя еще осталось от восьми таньга, — эй ты, гадальщик на кражи?

— Чем он будет ужинать сегодня, этот гадальщик, никогда и нигде не встречавший равных себе?

Ходжа Насреддин молчал, сохраняя притворно угнетенный вид.

А на четвертый день весь город потрясла и привела в смятение весть о дерзком воровстве — небывалом, неслыханном даже в стародавние, счастливые для воров времена. Из конюшни толстого менялы были ночью уведены арабские жеребцы, которых он берег и холил для предстоящих весенних скачек.

Утром весть о краже передавалась из уст в уста боязливым шепотом, в полдень о ней говорили вслух, к вечеру во всех концах базара ударили барабаны и заревели трубы глашатаев, объявлявших о награде в пятьсот таньга каждому, кто укажет след дерзких воров.

Гадальщики на мосту всполошились. Все взгляды были обращены к Ходже Насреддину:

— Заработай же скорее эти пятьсот таньга!

— Возьми их, что же ты медлишь?

— Он пренебрегает столь мелкой наградой, он ожидает награды в пять тысяч!

От этого назойливого визга у Ходжи Насреддина тяжелело дыхание, горело сердце.

Он сдерживал гнев, дожидаясь часа своего торжества.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Между тем волнение в городе росло.

Меняла от сильнейшего расстройства заболел и слег.

Вельможа, только что закончивший, с большим потрясением духа и не без ущерба для здоровья, ночные беседы с ханом о таинственном побеге пешаверцев, был этим похищением поставлен перед угрозою новых бесед, еще более тягостных. В предчувствии оных вельможа уподобился громоносящей туче (сквозь которую, однако, нет-нет, да и проскальзывала, подобно мгновенному солнечному лучу, затаенная усмешка — дитя глубоко сокрытых мыслей о предстоящих скачках, где теперь его текинцы уже не встретят опасных арабских соперников).

Ночью хан вызвал вельможу к себе в опочивальню. Беседа была очень короткой, причем слова исходили только от одной стороны, в то время как другая по необходимости ограничивалась лишь поклонами, встопорщиванием усов, закатыванием глаз, воздеванием рук к небу и прочими словозаменительными телодвижениями (без которых, воистину, сыны и дщери человеческие испытывали бы порой непреодолимые трудности в делах служебных, а наипаче — супружеских).

Вельможа вышел от хана изжелта-зеленый и потребовал к себе немедля всех старших и средних начальников. Его беседа с начальниками была еще короче, чем беседа повелителя с ним.

Старшие и средние начальники, в свою очередь, потребовали к себе младших; там весь разговор состоял из нескольких ругательных слов.

Что же касается низших, то есть простых шпионов и стражников, то к ним слова уж вовсе не опустились, а только одни зуботычины.

Давно в Коканде не было такой беспокойной ночи! На площадях, на улицах, в переулках — всюду бряцало и звенело оружие, в холодном свете месяца поблескивали копья, щиты и сабли: стража искала воров. Костры на сторожевых башнях высоко вздымали в тихое небо языки темно-красного смоляного пламени, дымное зарево сто-

яло над городом. Заунывно перекликались дозорные. В темных углах, под мостами, в проломах заборов, на пустырях и кладбищах таились сотни шпионов.

Старшие и средние начальники, в сопровождении младших и низших, предприняли самоличный обход всех чайхан и караван-сараев. Заходили они и в чайхану, где спал Ходжа Насреддин, подносили к его лицу пылающий факел. Он даже глаз не открыл, хотя и слышал, как потрескивает его борода, и вдыхал запах жженого волоса.

Одноглазого вора с ним рядом в эту ночь не было.

Наступившее утро не принесло городу успокоения.

Около полудня вельможа с многочисленной свитой появился на мосту Отрубленных Голов.

Его взгляд пылал, усы торчали, голос повергал в трепет.

Он простер десницу. Из толпы конных стражников выскочили двое — на гнедом жеребце и на сером; крутя нагайкой, свесившись в седле набок, гикая и свистя, первый из них гулко промчался по мосту, обдав гадальщиков горячим ветром и запахом конского пота; второй направил коня вниз, пересек в облаке брызг мелководный Сай, одним прыжком вымахнул на противоположный берег, исчез в боковом переулке.

Вельможа простер десницу в другую сторону — и туда, звеня щитами, саблями, копьями, толпясь и переругиваясь, устремились пешие стражники.

После этого вельможа направился к старику — главному гадальщику. Между ними началась тайная беседа.

Ходжа Насреддин со своего места не мог ничего услышать, но угадывал каждое слово.

Речь шла, конечно, о розыске пропавших коней. Старик обещал призвать на помощь все ему подвластные потусторонние силы, в том числе и сокрытые в черепе. Вельможа фыркал, топорщил усы, — он пришел не ради глупых сказок, он требовал дела!

Старику пришлось обратиться к подвластным ему земным силам. Начался допрос гадальщиков, — кому они гадали вчера и позавчера, не случилось ли им заметить в своих доверителях чего-либо подозрительного, может быть, соприкосновенного дерзкому похищению?

Все подряд отвечали, что ничего такого не заметили.

Вельможа гневался, дергал усами. Его напряженный стеклянный взгляд грозил палками, плетьми, изгнанием из города.

Гадальщики приуныли. Судьба, претерпевшая от них столько унижений, внезапно явилась перед ними в новом могучем облике, чтобы насладиться долгожданной местью; сегодня против нее были бессильны не только бобы и крысиные кости, но даже и череп!

Очередь отвечать дошла до Ходжи Насреддина.

Вслед за всеми он повторил, что не видел и не слышал ничего подозрительного.

Вельможа сердито фыркнул — опять ничего!

Вдруг из ниши напротив (именно так и думал и рассчитывал Ходжа Насреддин!) послышался чей-то злобно-трусливый, с гнусавым привизгом голос:

— Но ты ведь говорил, что в гаданиях на розыск похищенного не имеешь равных себе!

Услышав слово «розыск», вельможа встрепенулся:

— Почему же ты молчал, гадальщик? — В его стеклянных глазах разгорался огонь. — Отвечай! — Гнев, давно скопившийся в нем, искал выхода. — Я размечу все ваше поганое гнездо, превращу в прах и пепел! — загремел он. — Стража, возьмите его! Возьмите этого гадальщика, этого мошенника, и бейте плетьми до тех пор, пока он не скажет, где находятся украденные кони! Или пусть всенародно признается, что он бесстыдный лжец! Бейте его!

Стражники сорвали с Ходжи Насреддина халат. Двое побежали под мост — мочить плети. Медлить было опасно, Ходжа Насреддин смиренно обратился к вельможе:

— Недостойный раб повергает к стопам сиятельного князя униженную мольбу выслушать его. Я действительно гадаю на розыск похищенного и могу найти пропавших коней.

— Ты можешь найти? Почему же до сих пор не нашел?!

— О сиятельный князь, мое гадание требует, чтобы потерпевший от воров человек самолично обратился ко мне, иначе оно потеряет силу.

— Какой срок нужен тебе для розыска?

— Одна ночь, если потерпевший придет ко мне сегодня до захода солнца.

Эти слова вызвали среди гадальщиков шепот и движение.

Лицо костлявого старика, уже предвкушавшего горечь изгнания, осветилось надеждой.

Вельможа с гневным недоумением смотрел в упор на Ходжу Насреддина:

— Ты осмеливаешься лгать мне прямо в лицо! Мне, знающему все ваши хитрости и плутни, мне, который терпит вас здесь, на мосту, только ради того, чтобы не держать на жалованье лишних шпионов!

— В моих словах нет лжи, о сияющий великолепием владыка!

— Хорошо, увидим! Но если ты солгал, гадальщик, лучше бы тебе не родиться на свет. Позвать сюда менялу Рахимбая!

— Почтенный Рахимбай болен, — подобострастно напомнил кто-то из толпившихся вокруг вельможи средних начальников.

— А я не болен? — вспыхнул вельможа. — Я не болен? Уже две ночи не смыкал я глаз, разыскивая этих проклятых коней! Он будет лежать, а я за него отдуваться! Позвать! Принести на носилках!

Восемь стражников, предводительствуемых двумя средними начальниками и одним старшим, устремились к дому купца...

Вельможа был роста среднего, даже весьма среднего: возникало несоответствие его внешности его высокому и многовластному чину; с целью исправить эту досадную оплошность природы он всегда носил узкие лакированные сапоги на чрезмерно высоких тонких каблуках, благодаря чему прибавлял себе роста и величия. Постукивая каблуками по каменным плитам, он прошелся взад-вперед по мосту, затем остановился, правой рукой царственно оперся на каменную ограду, а левую медленно вознес к своим черным усам и принялся поглаживать и покручивать их. Вокруг все благоговейно безмолвствовало — и гнев его мало-помалу начал остывать.

В минуты досуга вельможа не был чужд возвышенным раздумьям и даже любил их, как признак своего несомненного духовного превосходства над подвластными. «Не в том ли и состоит главная обязанность начальника, чтобы внушать подвластным страх и трепет? — размышлял он. — Достичь же этого проще всего сечением их всех подряд и без разбора, но непременно сопровождая кару приличествующими назиданиями, без чего она не может возыметь должных благопоследствий». Эти раздумья

успокоили вельможу, — он почувствовал себя как бы воспарившим на могучих крыльях начальственной мудрости в надзвездные выси, откуда все казалось мелким, ничтожным, заслуживающим не гнева, но одного лишь презрения; взгляд его, устремленный на костлявого старика, не то чтоб смягчился, но словно обрел некую бесплотность и проходил насквозь, не обжигая и не причиняя ран. «Что же касается действительной вины секомого, — продолжал он расширять круг своих мыслей, — то подобные сомнения вовсе не должны иметь доступа в разум начальника, ибо если даже секомый и не виноват в том деле, за которое наказуется, то уж обязательно виноват в каком-нибудь другом деле!» От этой мысли, от ее глубины и силы, у него даже дух захватило; подниматься выше было некуда, выше начиналась мудрость уже божественная, — он воспарил к самым ее границам, и его мысленному взору как бы открылся океан слепящего, непостижимого света!

Дом купца находился неподалеку. Через полчаса носилки вернулись.

Из-под шелковой занавески выполз меняла — желтый, опухший, с нечесаной бородой, испестренной подушечным пухом. Держась за сердце, охая и кряхтя, он поклонился вельможе и сказал слабым, но язвительным голосом:

— Приветствую сиятельного и многовластного Камильбека! Зачем понадобилось ему поднимать со скорбного одра своего жалкого раба, ничтожество которого таково, что он даже не может найти в этом городе защиты от дерзких воров?

— Я позвал почтеннейшего Рахимбая как раз по этому поводу — чтобы доказать ему свое усердие в розысках пропавших коней. Я огорчен и обеспокоен как никогда!

— О чем же так беспокоится сиятельный Камильбек? Ведь теперь его текинские жеребцы обязательно получат первую награду на скачках.

Это был открытый удар — прямо в лицо.

Вельможа побледнел.

— Горечь утраты и сопряженная с нею болезнь помутили разум достойного Рахимбая, — произнес он с холодным достоинством. — Здесь, перед нами, находится один гадальщик, чрезвычайно искусный, по его словам, который берется разыскать пропавших лошадей.

— Гадальщик! И ради этого сиятельный князь поднимает меня, больного, с постели! Нет, пусть уж властительный князь гадает сам, а я удалюсь.

И он повернулся, чтобы уйти.

Вельможа с холодным достоинством произнес:

— В городе распоряжаюсь я! Почтеннейший Рахимбай вступит сейчас в переговоры с гадальщиком.

Он умел внушать повиновение, этот вельможа! Купец хоть и сморщился, но подошел к Ходже Насреддину:

— Я не верю тебе, гадальщик, и на ломаный грош и говорю с тобою, вынуждаемый к этому властью. У меня из конюшни пропали два чистокровных арабских коня...

— Один белый, а второй черный, — подсказал Ходжа Насреддин, открывая свою китайскую книгу.

— Весь город может подтвердить справедливость твоих слов, о проницательнейший из гадальщиков! — съязвил меняла. — Многие любовались моими конями в день их прибытия из Аравии.

— Белый конь — с маленьким рубцом, не толще шерстяной нитки, под гривой, а черный — с бородавкой в левом ухе величиною с горошину, — спокойно продолжал Ходжа Насреддин.

Купец опешил.

Об этих приметах знали только двое: он сам и его доверенный конюх, — больше никто.

Язвительная усмешка сбежала с его лица:

— Ты прав, гадальщик! Но как ты проник?

Встрепенулся и вельможа, придвинулся ближе.

Ходжа Насреддин перевернул страницу своей китайской книги.

— И еще: в хвост белого жеребца вплетена белая заговоренная шелковинка, а в хвост черного — черная.

Этого уже и доверенный конюх не знал: заговоренные шелковинки купец вплетал в хвосты коням самолично и в глубокой тайне, так как прибегать на скачках к волшебству и заговорам было строжайше воспрещено под страхом тюрьмы.

Слова Ходжи Насреддина ошеломили менялу вконец.

Сиятельный Камильбек тоже не остался равнодушен к этим словам. Его мысли понеслись вскачь. «Однако он, того и гляди, в самом деле найдет! Это вовсе не входит в мои расчеты. Мое дело — проявить наибольшее усердие в поисках, а все дальнейшее от меня уже не зависит;

найдутся кони или нет, сие дело аллаха; лучше бы не нашлись, по крайней мере до скачек... Шайтан подсунул мне этого гадальщика! Но что же делать? Ага, волшебство! Напугать менялу, поймать с поличным, затянуть дознание — тогда его арабы никак уж не попадут на скаковое поле!»

— Что вы скажете, почтеннейший Рахимбай? — зловещим судейским голосом вопросил он.

— Я ничего не знаю ни о каких шелковинках, — сбивчиво забормотал купец, переменившись в лице и выдав этим себя с головой. — Быть может, конюхи сами... без моего ведома... Или старый владелец коней... там еще, в Аравии...

Но здесь он опомнился, сообразив, что коней уже нет и уличить его невозможно.

— Да все это — ложь! — воскликнул он с притворным негодованием. — Гадальщик лжет, клевещет! Если бы нашлись мои кони!..

— Завтра найдутся, — прервал Ходжа Насреддин. — Подожди, моя книга говорит еще что-то... Она говорит, что в подкову на передней правой ноге белого жеребца забит в числе прочих гвоздей один золотой, тоже заговоренный. Сверху он прикрыт серой краской, чтобы не отличался от железных. Такой же волшебный гвоздь имеется в подкове черного жеребца... только вот не могу разобрать — на какой ноге.

— Гм! Волшебные гвозди, заговоренные шелковинки! — усмехнулся вельможа. — По долгу службы я должен начать расследование.

А купец от крайнего изумления лишился языка; впрочем, замешательство его длилось недолго — выручила многолетняя торговая привычка ко лжи:

— Не понимаю, о чем он толкует, этот гадальщик. Скорей всего он просто набивает цену. Пусть он скажет прямо, сколько хочет за свое гадание и чем отвечает, если оно окажется ложным?

Книга его души была понятна Ходже Насреддину до конца, не то что китайская! Теперь купец уже не сомневался, что видит перед собой гадальщика, обладающего несомненным даром ясновидения. Желание вернуть пропажу боролось в нем со зловещим призраком тюрьмы. Заговоренные гвозди, волшебные шелковинки, вельможа, пронюхавший об этом... Кроме гадальщика, никто не может помочь в таком деле.

— О цене, так же как и обо всем прочем, мы должны говорить с глазу на глаз, только двое, — сказал Ходжа Насреддин, обращая слова к самому жгучему, самому затаенному желанию купца.

— А втроем нельзя? — обеспокоился вельможа.

— Нет, нельзя, мое гадание потеряет силу.

Вельможе пришлось уступить. Он отошел, приказав стражникам расчистить место. Через минуту вокруг Ходжи Насреддина и купца никого не осталось. Главный гадальщик попробовал затаиться в своей нише, но был выброшен оттуда пинками.

— Мы одни, — сказал купец.

— Одни, — подтвердил Ходжа Насреддин.

— Не могу понять, откуда взялись эти гвозди и шелковинки.

— А вот сейчас узнаем откуда.

Ходжа Насреддин потянулся к своей китайской книге.

— Не надо, гадальщик! — поспешно сказал купец. — Это дело вчерашнее, прошлое, а нам надлежит думать...

— О будущем, о завтрашнем деле, — закончил Ходжа Насреддин.

— Вот именно! Было бы хорошо, гадальщик, если бы эти кони вернулись ко мне в том виде... в таком виде... как бы это сказать...

— Без гвоздей и без шелковинок, — я понимаю...

— Тише, гадальщик! Теперь скажи свою цену.

— Цена сходная, почтенный купец: десять тысяч таньга.

— Десять тысяч! Милостивый аллах, да ведь это же половина их стоимости! Кони обошлись мне с перевозкой из Аравии до самого Коканда в двадцать тысяч таньга.

— Сиятельному Камильбеку ты называл другую цену. Помнишь, там, в лавке, — пятьдесят две тысячи...

У купца выпучились глаза — всеведение этого удивительного гадальщика заходило, поистине, слишком далеко!

— Это все твоя книга? — помолчав, боязливым голосом спросил купец.

— Да, она.

— Удивительная книга! Где ты ее раздобыл?

— В Китае.

— И много там, в Китае, подобных книг?

— Одна-единственная на весь мир.

— Слава аллаху, пекущемуся о нашем благополучии! Страшно подумать, что было бы с нами, торговыми

людьми, если бы в мире появилась сотня таких книг! Закрой ее, гадальщик, закрой — вид этих китайских знаков тягостен для моего сердца! Хорошо, я согласен на твою цену.

— И не пытайся обмануть меня, купец!

— Я безоружен, а в твоих руках книга как острый меч.

— Завтра ты получишь своих коней. Получишь их без шелковинок и гвоздей, по нашему уговору. Приготовь деньги — золотом, в одном кошельке. А теперь совершим последнее.

Ходжа Насреддин откупорил тыкву, побрызгал волшебной водой на себя и на купца.

Вельможа, начальники, стражники, гадальщики молча наблюдали все это.

Костлявый старик — предводитель гадальщиков — изнемогал от зависти; дважды пытался он подобраться к беседующим, чтобы подслушать, и дважды, пресеченный в своем намерении стражей, был отбрасываем пинками.

С ним сделались корчи, когда он услышал цену гадания.

— Десять тысяч! — хрипло воскликнул он и в беспамятстве повалился на землю.

Поднимать его было некому — все оцепенели, ошеломленные такой неслыханной ценой.

Вельможа многозначительно кашлянул, откровенно усмехнулся, но промолчал.

Зато когда купец отправился домой, по его следу кинулась целая стая шпионов.

«Значит, и я не буду оставлен их вниманием», — подумал Ходжа Насреддин. И не ошибся: оглянувшись, увидел троих за спиной и еще одного в стороне.

— Гадальщик! — Вельможа пальцем подозвал к себе Ходжу Насреддина. — Помни: кони могут быть возвращены купцу только в моем присутствии, не иначе! И не обязательно тебе с этим делом спешить. Кроме того — шелковинки и гвозди; смотри, чтобы они вдруг не исчезли куда-нибудь — иначе ты пожалеешь о дне своего рождения! Иди!

Ходжа Насреддин свернул коврик и под злобный, завистливый шепот своих собратьев по гадальному ремеслу покинул мост Отрубленных Голов.

Шпионы последовали за ним.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Весь день он слышал за собою их крадущиеся шаги. Шпионы проводили его в харчевню, из харчевни — в чайхану. Он прилег отдохнуть; шпионы, все четверо, уселись над ним, двое — с одной стороны, двое — с другой, и, переговариваясь через лежащего, начали унылую беседу о скудости своего жалованья и горестях ремесла. Под эти тоскливые речи он и уснул, а проснувшись — увидел над собою уже других шпионов, ночных, одетых в серые халаты-невидимки. Но беседа шла и у ночных все о том же: о горестях ремесла, о скупости и придирках начальства.

Смеркалось, заря угасала, в небе висел тонкий месяц, и муэдзины со всех минаретов поднимали к нему свои протяжные, звонко-печальные голоса. Ходжа Насреддин начал готовиться к вечернему гаданию: откупорил тыкву, налил в чашку волшебной воды, помочил в ней пальцы, побрызгал на масляную коптилку, потом зажег. Угол чайханы озарился зыбким, слабым светом, серые халаты шпионов растаяли в нем. Зато явственно обозначились их унылые рожи, надвинувшиеся вплотную, чтобы лучше видеть; особенно досаждал самый старый и потасканный шпион, надоедливо сопевший над самым ухом в своем неотвязном стремлении заглянуть через плечо уловляемого.

Ходжа Насреддин помолился, дабы не обвинили его в греховных сношениях с дьяволом, раскрыл китайскую книгу и задумался над нею. Шпионы так и запомнили: читал книгу. В действительности он просто выгадывал время, а в книгу даже и не смотрел. «Буду честен, — размышлял он, — верну купцу его коней без гвоздей и без шелковинок; что же касается гнева сиятельного вельможи, то постараюсь исчезнуть после гадания как можно быстрее». Старый шпион влез ему почти что на самые плечи и отвратительно щекотал ухо своим смрадным сопением. Отмахнувшись, Ходжа Насреддин зацепил шпиона ребром ладони по кончику носа — послышались мокрые всхлипы, и сопение отдалилось.

На дороге перед чайханой появился одноглазый вор. Увидев шпионов, сразу все понял: прошел мимо, даже не взглянув на Ходжу Насреддина.

Через минуту из-под помоста чайханы донесся легкий стук.

— Слышу! — мрачно и загробно возгласил Ходжа Насреддин, обращаясь как бы к невидимому духу, возникшему перед ним. — Вижу! — Он склонился над волшебной водой; шпионы опять надвинулись вплотную и засопели. — Вижу коней — белого и черного, вижу гривы, вижу подковы, состоящие из чистого железа без всякой примеси, вижу их могучие хвосты, расчесанные гребнем! Пусть же предстанут они завтра в том виде, в каком надлежит им быть от природы, которая не смешивает железа с другими веществами и конского волоса — с другими нитями!.. «Ваз он ру ки пайдову пинхон туйи, ба хар чуфтад чашми дил он туйи!» [1]

Этими стихами он закончил свое колдовство, мысленно встав на колени перед великим Джами — что осмелился соприкоснуть его знаменитый божественный бейт с мерзостным слухом шпионов, достойных слышать только вой шакалов да визгливый хохот гиен. Впрочем, шпионы, конечно, никогда не вкушали от плодов Джами, его стихи они сочли волшебным заклинанием, — следовательно, имя поэта не осквернилось через отражение в шпионских умах.

Из-под помоста донеслось тихое поскребыванье ногтем — знак, что слова Ходжи Насреддина услышаны и поняты; заключительный бейт, по их уговору, служил призывом к действию без промедления.

Чародейство окончилось; Ходжа Насреддин закрыл книгу, вылил волшебную воду обратно в тыкву.

Старый потасканный шпион поднялся и ушел — видимо, с доносом. Трое остались.

Невелик был их гнусный улов, немного удалось им приметить: пил чай, курил кальян, потом улегся и спал до утра.

Ночь миновала.

Никогда еще на мосту Отрубленных Голов не было такого скопления народа, как в это ясное майское утро.

Сегодня разыщут коней! Весь город прихлынул к мосту. Толпа запрудила оба берега Сая, крыши вокруг пестрели цветными платками женщин.

Вельможа и купец были уже давно на мосту.

---

[1] И всюду явный — ты, и всюду тайный — ты,
И на что бы ни упал мой взор — это все ты!..
Джами, «Книга мудрости».

— Ну, где же мои кони, гадальщик? — закричал купец навстречу Ходже Насреддину, показавшемуся из переулка в сопровождении шпионов.

— А где мои деньги?

— Вот они. — Купец вытащил из пояса большой кошелек. — Золотом, ровно десять тысяч, можешь не считать, проверены трижды!

Не спеша, Ходжа Насреддин развязал свой мешок, достал китайскую книгу, уселся на коврик.

Вельможа смотрел издали давящим пристальным взглядом.

Купец дрожал от нетерпеливого волнения.

— Скорее, — стонал он изнемогая. — Что же ты медлишь, гадальщик!

Ходжа Насреддин не ответил ему, углубившись в книгу. На самом же деле он следил за суетливым ползанием по книге божьей коровки с красной спинкой, украшенной белыми крапинками. «Скажу, когда улетит...» А коровка не собиралась улетать, и все ползала, кочуя с одной страницы на другую, потом забралась под корешок и, видимо, сочла полезным для себя там вздремнуть в уютной темноте.

Купец хватался за сердце, стонал, дрожал, теряя прямо на глазах округлость щек.

Ходжа Насреддин неумолимо безмолвствовал.

Наконец божья коровка выползла на свет, раздвинула нарядные щитки на спине, высвободила смятые смуглые крылышки, расправила их — и полетела.

Только тогда Ходжа Насреддин торжественно возгласил:

— Книга говорит, о купец, что кони вернутся к тебе в том виде, который им присущ от природы...

Купец возликовал.

— Кони твои, о купец, — продолжал Ходжа Насреддин, — находятся в старой каменоломне, близ слободы Чомак. Надлежит спуститься в каменоломню с восточной стороны, пройти двадцать шагов и там, в пещере направо...

Он еще не договорил, а конюхи менялы от одного конца моста и стражники вельможи от другого со свистом и гиканьем, обгоняя друг друга, вынеслись на дорогу.

Толпа раздалась перед ними, пропустила — и сомкнулась опять.

Всадники скрылись.

Пыль, поднятая конями, отплыла по ветру.

Наступило затишье.

Вельможа и купец стояли рядом, но смотрели в разные стороны, волнуемые каждый своими надеждами.

Многотысячная толпа молчала.

В тишине Ходжа Насреддин отчетливо слышал плеск и журчанье бурливой воды под мостом, а сверху — пронзительные крики ястреба, что, распластав крылья, одиноко стоял в синем небе, словно покоясь на воздушном столбе.

От моста до слободы Чомак считалось немногим больше восьми полетов стрелы.

Прошло полчаса, время было всадникам вернуться.

В толпе началось понемногу движение, говор, смех.

Меняла истомился вконец, каждый звук заставлял его вздрагивать.

Вельможа, наоборот, хранил надменную невозмутимость, только пристукивал время от времени высоким каблуком по каменным плитам.

С высокого чинара, осеняющего своею тенью половину моста, раздался пронзительный мальчишеский вопль:

— Едут!

И все кругом закипело; в толпе образовался широкий свободный проход, и в противоположном конце его Ходжа Насреддин увидел возвращающихся всадников.

Но арабских коней — ни белого, ни черного — с ними не было.

Ходжа Насреддин даже не успел удивиться как следует, — стражники схватили его и поволокли.

— Подождите, подождите, во имя аллаха! — надрывался меняла. — Кони были в пещере, вот моя уздечка, что подобрали там! Отпустите гадальщика, он близок к истине!

Гадальщик действительно был близок к истине — слишком даже близок, по мнению сиятельного вельможи.

Тщетно кричал и вопил купец — стражники не остановились, не убавили своей воузилищной рыси. Ходжа Насреддин сразу сделался в их руках маленьким, жалким и обрел вид преступной виновности, как, впрочем, любой, которого тащат в тюрьму; последнее, что видел он на мосту, было: вельможа, надменно закинувший голову, купец, надрывающийся перед ним в криках, и чуть в стороне — главный конюх купца с посеребренной уздечкой в руке.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Кокандская подземная тюрьма «зиндан» находилась у главных ворот дворцовой крепости, с наружной стороны — обстоятельство, указывающее на глубокую мудрость ее созидателей. Помести они тюрьму с внутренней стороны — и все заботы о прокормлении многочисленных преступников легли бы на ханскую казну; будучи же удаленной за пределы дворцовой крепости, тюрьма не отягощала казны, преступники кормились сами, чем бог пошлет: имевшие семью — принесенным из дому, остальные — подаянием сердобольных горожан.

Тюрьма представляла собою закрытый ров с тремя отдушинами, из которых всегда восходил теплый смрад; вниз вела крутая лестница в сорок ступеней; наверху, перед входом, неизменно бодрствовал тюремщик, либо сам Абдулла Бирярымадам — Абдулла Полуторный, прозванный так за свой великанский рост, — мрачный жилистый детина, никогда не расстававшийся с тяжелой плетью, либо его помощник, свирепый афганец, губастый и низколобый. Афганец не носил плети, зато все его пальцы на сгибах были покрыты ссадинами от зуботычин.

На этих двух и были возложены все заботы о преступниках, включая их прокормление. У входа в тюрьму всегда стояли две корзины для подаяния пищи и маленький узкогорлый кувшин для денег. Собранным подаянием тюремщики распоряжались полновластно: деньги и что получше из пищи брали себе, а преступников кормили остатками. С утра до вечера из тюремной глубины неслись к прохожим мольбы о хлебе, стоны, рыдания, сменявшиеся криками и воплями, когда Абдулла со своею плетью или его помощник со своими намозоленными кулаками спускались вниз.

Оглушенный падением по сорока ступеням крутой лестницы, стонами, воплями и нестерпимой тошнотворной вонью, Ходжа Насреддин не сразу пришел в себя. Когда же очнулся и глаза его обвыклись с темнотой, он увидел вокруг множество разных преступников.

И каждый из них был ступенью в той страшной лестнице, по которой вельможа совершил свое блистательное восхождение к вершинам власти, богатства и почестей; в последнюю неделю пришлось ему лестницу слегка перестроить: две ступени убрать — пешаверцы, одну возместить — Ходжа Насреддин; но бывают иные ступени, весьма

коварные для восходящего, на которых легко сломить ногу, а то ненароком и шею — вот о чем позабыл неутомимый вельможный строитель!

Гнев и жалость душили Ходжу Насреддина; даже он, столь много повидавший, не думал, что на земле возможно где-нибудь такое страшное, такое гнусное место, — он опустился как бы в самое обиталище зла!

На его сердце лег еще один рубец — из тех, что одевают сердце броней беспощадности.

Но следовало подумать о собственной судьбе, разобраться во всем происшедшем.

Дело запуталось теперь и для самого Ходжи Насреддина.

Где кони? Куда они девались из каменоломни? Ведь они были там, — купец узнал свою уздечку!

Причастен ли вельможа через своих людей к этому второму исчезновению коней или не причастен?

В чем намерен он обвинить схваченного гадальщика — только ли в обмане или в чем-нибудь еще дополнительно?

Где одноглазый вор, какова его судьба?

Ходжа Насреддин терялся в догадках. И в его разум начало закрадываться темное подозрение: «А что, если одноглазый попросту угнал коней, чтобы продать где-нибудь в другом городе? Если так, то для него даже лучше и спокойнее, что я в тюрьме...». Но здесь он прервал свои раздумья, сам возмутившись низостью таких подозрений. «Нет! — сказал он себе. — Одноглазый, конечно, вор, прирожденный вор, от головы до пяток, но человек честный, не предатель!»

На том Ходжа Насреддин и утвердился, избрав опорой своему духу доверие.

Прав он был или нет — мы скоро узнаем из дальнейшего, а пока оставим подземную тюрьму и перенесемся обратно на мост Отрубленных Голов, где не совсем еще улеглось недавнее волнение.

Меняла, пунцовый от негодования, взъерошенный, стоял перед вельможей и, весь дрожа, говорил придушенным голосом:

— Кони были уже найдены! Почти найдены! В каменоломне подобрали уздечку — вот она! И в самую последнюю минуту сиятельный Камильбек счел уместным прервать гадание и отправить гадальщика в тюрьму! Но пусть не обманывается высокочтимый князь — я проник в его замыслы! Меня, слава аллаху, тоже немного знают во

дворце, я упаду к стопам великого хана и буду молить его о защите и справедливости!

Вельможа слушал с ледяным презрением.

Подвели коня; он поднялся в седло и оттуда, с высоты, величественно молвил:

— Гадальщик изобличен во многих злодеяниях, поэтому и попал в тюрьму. Я должен был схватить его еще вчера, но воздержался, желая помочь достойнейшему Рахимбаю в поисках коней. А ныне почтеннейший Рахимбай платит мне черной неблагодарностью за все заботы о сохранности его имущества.

Меняла воздел к небу короткие пухлые руки:

— Заботы о сохранении моего имущества! Милостивый аллах, да во всем этом я вижу только одну вашу заботу — о победе на скачках!

Не удостоив менялу ответом, вельможа под барабанную дробь и крики: «Разойдись! Разойдись!» — царственно отбыл, сопровождаемый стражниками с подъятыми секирами, обнаженными саблями, устремленными копьями, нацеленными трезубцами, взнесенными булавами и шестоперами.

Толпа вокруг моста редела.

Народ расходился, обманутый в своих ожиданиях.

Смеху и язвительным шуткам не было конца.

Нашлось множество людей, одураченных в разное время на этом мосту. Они громко поносили гадальщиков, изобличая их плутни.

Гадальщики приуныли, провидя сокрушительное уменьшение доходов. Этот проклятый хвастун, разыскивающий краденое, осрамил и опозорил все их сословие!

Меняла сорвался с места и, что-то на ходу бормоча, размахивая руками, что-то кому-то доказывая, побежал к дому.

За ним, конечно, последовали шпионы.

Через час шпионы сообщили вельможе, что меняла вызвал к себе цирюльника и приводит в порядок бороду.

Еще через час доложили, что он чистит песком свою гильдейскую бляху, проветривает вытащенный из сундука парчовый халат, полагающийся людям торгового звания только для самых торжественных случаев.

Эти приготовления заставили вельможу нахмуриться. Купец, видимо, и в самом деле решил нести свою жалобу во дворец. Безумная дерзость!

Могли возникнуть последствия. Особенно сейчас, когда в памяти хана еще не изгладились пешаверцы.

Надлежало принять безотлагательные меры.

Вельможа хлопнул в ладони — и перед ним появился главный его помощник по сыскной части, хмурый кривоногий толстяк с тусклыми, сидящими глубоко подо лбом косыми глазами, сдвинутыми к переносице; этот свирепый угрюмец славился тем, что в его руках любой преступник упорствовал в отрицании своей вины не более двух дней, а затем неукоснительно признавался; среди раскрытых им преступлений были весьма удивительные, — так, например, один базарный торговец признался, что по дешевке скупал на базаре дыни «сату-олды», затем желтой и зеленой краской перекрашивал их под дыни «бас-олды» с целью продать дороже.

— Где у нас бумаги, касающиеся мятежника Ярмата-Мамыш-Оглы, казненного в позапрошлом году? — вопросил вельможа.

Толстяк молча вышел и через несколько минут вернулся со связкой бумаг; положив их перед вельможей, он застыл у дверей в угрюмом молчании, устремив глаза на кончик собственного носа. Он вообще отличался крайней неразговорчивостью, и было непонятно, каким образом ведет он свои столь успешные допросы? Тайна эта разъяснялась при взгляде на его руки — узловатые, с крючьеобразными пальцами, со сплетением жил, похожих на перекрученные веревки.

Наморщив лоб, вельможа погрузился в бумаги. Он сейчас напоминал игрока в шахматы, задумавшегося над доской. А пешкой под его пальцами был гадальщик, то есть Ходжа Насреддин.

Из этой ничтожной пешки надлежало сделать ферзя.

Надлежало обвинить гадальщика в тяжелых злодеяниях и представить хану как опаснейшего преступника.

Этим ходом сразу достигались многие цели:

жалоба толстого купца на предумышленное изъятие гадальщика блистательно опровергается признаниями самого гадальщика;

арабские жеребцы не выходят на скаковое поле, первая награда достается текинцам;

толстый купец наказуется за свою дерзость тем, что пропавшие кони не возвращаются к нему и после скачек;

для чего надлежит указанного гадальщика оставить в тюрьме пожизненно, а еще лучше — отправить на плаху;

если дело сложится благоприятно, то, помимо уже перечисленных выгод, может проистечь и новая медаль за усердие;

действовать надо быстро, но с большой осмотрительностью; возможен передопрос гадальщика самим ханом, как это чуть не случилось в недавнем прошлом с пешаверцами; о, сколь прискорбна, отвратительна и постыдна такая мелочность в повелителе, — недаром говорят, что он низкого рода и подлинный отец его — дворцовый конюх!..

Здесь вельможа, испугавшийся собственных мыслей, начал громко и притворно кашлять, искоса поглядывая на толстяка: уж не приметил ли тот чего-нибудь по глазам?

Толстяк пребывал в прежнем неотрывном созерцании кончика своего носа. Вельможа успокоился и вернулся к раздумьям о деле.

В бумагах, что лежали перед ним, говорилось о действительно опасном мятежнике Ярмате-Мамыш-Оглы, несомненно памятном великому хану; теперь вельможа колебался — приписать ли гадальщику соучастие или обвинить в укрывательстве? Или найти какой-нибудь другой ход, еще более верный?

Он думал долго, наконец со вздохом облегчения откинулся на подушки.

Родство с Ярматом — вот ловушка, из которой гадальщик не выскочит! Пусть-ка попробует доказать, что дед мятежника не был и его дедом; если бы даже покойная бабушка гадальщика сама поднялась из могилы, чтобы с негодованием отвергнуть такой поклеп, можно было бы и ей не поверить, ибо известно с древних времен, что женщины в своих изменах не признаются никому, никогда.

— Пусть доставят гадальщика в башню! — приказал вельможа.

Лицо толстяка озарилось свирепой радостью, руки дрогнули и медленно втянулись в рукава халата.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Низкий сводчатый подвал башни освещался четырьмя факелами, укрепленными в железных скобах по стенам. Факелы горели тускло и чадно, в их мутно-красноватом свете Ходжа Насреддин увидел в углу дыбу, а под нею —

широкую лохань, в которой мокли плети. Рядом на длинной скамье были разложены в строгом порядке тиски, клещи, шилья, иглы подноготные, рукавицы железные нагревательные, сапоги свинчивающиеся деревянные, сверла ушные, зубные и носовые, гири разного веса оттягивательные, трубки для воды бамбуковые с медными воронками чревонаполнительные и много других предметов, крайне необходимых при допросе всякого рода преступников. Всем этим обширным хозяйством ведали два палача, оба глухонемые, дабы тайны, исторгнутые здесь из уст злодеев, не могли разгласиться.

Старший палач, пожилой, бледный, с тонкими губами, унылым хрящеватым носом и каким-то сладко-мутным и томным взглядом исподлобья, готовил дыбу, а его помощник, горбатый карлик с длинными руками до колен, осматривал плети; он взвешивал каждую плеть в руке, затем протирал тряпкой, не забывая при этом качать ногою мех пыточного горна.

У стены, лицом к двери, восседал на широкой тахте сам вельможа с чубуком кальяна во рту; перед ним на столике лежали бумаги в свитках и мешок Ходжи Насреддина с гадальным имуществом. У ног вельможи примостился писец, а рядом свирепо ухмылялся угрюмый толстяк, для которого каждый допрос в этой башне был истинным праздником.

Будем правдивы — не скроем, что по спине Ходжи Насреддина прополз колючий озноб. «О моя драгоценная Гюльджан, о мои дети, суждено ли мне свидеться с вами!» — подумал он.

Повинуясь взгляду толстяка, старший палач снял с Ходжи Насреддина рубаху и мягкой, бескостной рукой вкрадчиво, едва касаясь, погладил его по голой спине.

Горбун выбрал плеть и стал сзади.

Допрос вельможа начал не сразу — долго перебирал и перекладывал бумаги, что-то в них подчеркивая ногтем, зловеще усмехался и мычал.

Наконец, обратив к Ходже Насреддину проницательный, насквозь проходящий взгляд, он сказал:

— Ты сам знаешь, почему схвачен и ввергнут мною в тюрьму. Мне известно о тебе все, я уже давно охочусь за тобою. Расскажи теперь сам о своих злодеяниях и открой свое настоящее имя.

В жизни Ходжи Насреддина это был не первый допрос; он молчал, выгадывая время.

— Отнялся язык? — прищурился вельможа. — Или позабыл? Придется освежить твою память.

Угрюмый толстяк выпятил подбородок, впившись в Ходжу Насреддина немигающим взглядом.

Горбатый палач отступил на шаг и приподнял плеть, изготовляясь к удару.

Ходжа Насреддин не дрогнул, не побледнел, но в глубине души смутился, чувствуя себя ввергнутым в черную пучину сомнений.

Только одного боялся он — опознали!

В бумагах — его настоящее имя.

Тогда уж не вырваться.

Но как опознали? Откуда?

Неужели все-таки одноглазый? Продал коней, а с ними заодно — и своего покровителя? Может быть, опять — последний грех перед вступлением на путь благочестия?

Любой обычный человек на месте Ходжи Насреддина так бы именно и порешил и неминуемо выдал бы свое внутреннее смятение либо взглядом, помутившимся от страха, либо неуместным, судорожным смехом, — и, конечно, отправился бы на плаху, погубленный собственной слабостью, бессилием верить. Но не таков был наш Ходжа Насреддин, — даже здесь, в руках палачей, не изменил он себе, нашел силы, чтобы мысленно сказать и повторить со всей твердостью духа: «Нет!».

Эта сила доверия и спасла его, позволив сохранить ясность голоса, когда он ответил вельможе:

— В моем гадании, о сиятельный князь, не было обмана.

Ответ был прост и бесхитростен, но только на первый взгляд, в действительности же скрывал в себе ловушку, — бывает в жизни, что и заяц ставит капкан на волка.

— Гадание! — презрительно усмехнулся вельможа. — Твое гадание показывает только одно: что ты мошенник и плут, такой же, как и все остальные твои собратья по ремеслу.

Хвала всемогущему, вельможа проговорился! Он считал допрашиваемого и в самом деле гадальщиком, — значит, настоящего имени в бумагах нет!

Точно давящий камень отвалился от сердца Ходжи Насреддина: в этом первом соприкосновении мечей победа досталась ему.

— Сиятельный князь сам видел уздечку, — сказал он, спеша закрепить свою победу. — Осмеливаюсь утвер-

ждать: кони были в пещере. Всего за несколько минут до появления всадников они стояли там и кормились отборным зерном.

Это была вторая ловушка, подставленная вельможе; он со всего размаху угодил в нее.

— Почему же их там не оказалось? — спросил он, открывая всего себя для удара.

Ходжа Насреддин ринулся в нападение:

— Потому что накануне в одном кратком разговоре на мосту Отрубленных Голов прочел я в неких властительных глазах желание, чтобы упомянутые кони не слишком торопились вернуться к своему хозяину.

И вельможа не устоял.

Он смутился.

Он закашлялся.

Он метнул опасливый взгляд на толстяка, на писца.

Только большим внутренним усилием он подавил свое замешательство.

Взгляд его обрел прежнюю твердость. И в этом взгляде отразилась мысль: «Опасен, и даже весьма; поскорее на плаху!».

Выбрав из груды свитков какую-то бумагу, вельможа развернул ее, готовясь вопросить Ходжу Насреддина о его родстве с бунтовщиком Ярматом, — роковой вопрос, таивший в себе неизбежную гибель.

Ходжа Насреддин опередил вельможу:

— А в других глазах, не имеющих в себе высокого пламени власти, но привыкших к созерцанию золота, прочел я, недостойный гадальщик, некие сомнения, касающиеся одной пленительной красавицы, подозреваемой в неверности супружескому ложу. Эти подозрения родили ревность, из ревности возник мстительный замысел, из последнего — опасность, уже нависшая над блистательным и могучим, который об этом не знает.

Вот удар неотразимой силы!

Дыхание вельможи прервалось.

Свиток в его руках задрожал и сам собою начал снизу сворачиваться.

Три мгновенных взгляда — на гадальщика, на толстяка, на писца.

Прежде всего — убрать лишних!

Быстрым движением он сунул одну из бумаг в широкий рукав своего халата, затем, прикрываясь начальственным недовольством, обратился к толстяку:

— А где же письмо наманганского градоуправителя?

Толстяк кинулся перебирать бумаги; письма — ясное дело — не оказалось.

— Вечно что-нибудь напутаешь или позабудешь, — брюзгливо сказал вельможа. — Пойди разыщи!

Толстяк удалился.

Выждав достаточное время, вельможа, словно бы спохватившись, воскликнул с досадой:

— Ах, забыл! Писец, беги ему вслед, скажи, чтобы заодно разыскал и донос муллы Шахимарданской мечети.

Ушел и писец.

Они остались в башне с глазу на глаз. Глухонемых палачей можно было не принимать в расчет.

— Что ты болтаешь там, гадальщик! — начальственно обратился вельможа к Ходже Насреддину. — У тебя, верно, из головы не выветрился вчерашний гашиш? Какая-то пленительная красавица, какая-то ревность, какие-то замыслы против какого-то носителя власти!

Он притворялся, будто не расслышал, не понял.

Ходжа Насреддин разом пресек его хитрости:

— Я говорил о купце Рахимбае, об Арзи-биби, его прекрасной супруге, и об одном третьем, имя которого блистательный князь хорошо знает сам.

Наступило молчание и длилось долго.

Победа была полная; Ходжа Насреддин сам почувствовал, как вспыхнули горячим блеском его собственные глаза.

Вельможа был повергнут, смят, сокрушен и раздавлен. Дрожащими губами он впился в чубук. Потухший кальян ответил ему только хриплым бурчаньем воды — и ни струйкой дыма. Ходжа Насреддин кинулся к пыточному горну, выхватил уголек, сунул в кальян и принялся раздувать с неподдельным усердием, спеша вернуть вельможу к осмысленным чувствам, дабы закончить дело до возвращения толстяка.

Его усердие возымело успех: вельможа затянулся и начал медленно всплывать из глубин своего помрачения.

Теперь ему оставался только один выход: пойти на сговор с гадальщиком.

Однако он сдался не сразу — еще попробовал засмеяться:

— Где ты наслушался этих сплетен, гадальщик? Ты, наверное, любишь болтать со всякими там разными старухами у себя на мосту.

— Есть у меня одна старуха, с которой я часто беседую...

— А ну-ка, скажи ее имя, приметы, где ее дом? Я тоже с ней побеседую...

— Моя старая гадальная книга — вот кто мне рассказал обо всем, а подтверждение прочел я в глазах купца.

— Ты хочешь уверить меня, что с помощью своей книги можешь проникать в любые тайны? Сказки для малых детей!

— Как угодно сиятельному князю; я могу и замолчать. Но что, если завтра слух об этом дойдет до великого хана? Ибо купец намерен искать защиты своего супружеского ложа во дворце.

Удар за ударом — один другого страшнее!

Поистине, это был черный день для вельможи; страшный призрак дворцового лекаря встал перед ним, и он содрогнулся, как бы от первого надреза острым ножом.

Может быть, купец уже сочинил свою жалобу? Может быть, он уже отнес ее во дворец?

Промедление грозило гибелью.

Увертки, хитрости пришлось отбросить и перейти на откровенный, прямой разговор.

— Ну вот, гадальщик, теперь я вполне убедился в истинности твоего гадания, — сказал вельможа, изобразив на лице простодушное дружелюбие. — Ты можешь быть мне полезен — слышишь? Я выпущу тебя из тюрьмы, выдам награду, поставлю главным гадальщиком вместо этого выжившего из ума старика с черепом.

У Ходжи Насреддина и в мыслях не было выпихивать этого череповладетельного старика из его ниши, — однако пришлось благодарить вельможу, кланяться и обещать безграничную преданность.

— Вот, вот! — сказал вельможа. — Именно преданность! Мы с тобою сговоримся, гадальщик. Ты, конечно, сообразил уже и сам, что мой приказ схватить тебя и бросить в тюрьму — не более как хитрость для отвода глаз. Я сразу понял, еще вчера, что в своем деле ты действительно великий мастер, не в пример остальным; такие люди мне нужны, — вот почему я и позвал тебя сегодня в башню. Дело, видишь ли, в том, что я не верю своему помощнику, этому толстяку; полагаю, что скоро ему придется попробовать на себе ушное сверло, чревонаполнительную трубку и оттягивательную гирю. Чтобы сбить

его с толку, я и повелел схватить тебя на мосту, имея в виду совершенно другую, тайную цель: вступить с тобою в разговор наедине, без лишних ушей, вот именно как сейчас, поскольку в недалеком будущем, когда я отправлю этого зловонного толстяка на плаху, ты сможешь занять его место, — при условии, разумеется, если проявишь должное усердие и надлежащую преданность...

Он долго еще что-то врал и путал, теряя попусту драгоценное время, а толстяк с минуты на минуту мог вернуться; не без труда Ходже Насреддину удалось направить беседу по нужному руслу.

— Отныне ты главный гадальщик! — сказал вельможа. — Старик брал со своих подчиненных одну десятую часть их доходов, ты можешь брать вдвое больше. Нечего их жалеть, этих плутов, — они там сидят и жиреют, а предупредить меня об опасности смог только ты один! Бери с них одну пятую, а если пикнут — скажи мне, я успокою. Теперь, гадальщик, нам с тобой надлежит узнать, когда именно купец намерен подать свою жалобу? Может быть, уже завтра?

— Нет, не так скоро. У него еще нет достаточных улик. Он ждет, когда сиятельный князь, позабыв осторожность...

— Теперь не дождется! Но как он пронюхал? Кто из моих врагов нашептал ему? Ты мог бы это узнать, а?

— Если я загляну в свою книгу, что лежит здесь, в мешке...

— Возьми ее.

Ходжа Насреддин вытащил из мешка знаменитую книгу, раскрыл — и тихонько улыбнулся китайским знакам, как добрым старым друзьям; они как будто стали для него даже немного понятнее.

— Ну? — спросил вельможа в нетерпении. — Говорит она или молчит?

Чтобы сделать свой голос глухим и загробным, приличествующим такому важному гаданию, Ходжа Насреддин насупил брови и надул живот.

— Вижу! — протяжно, с подвыванием начал он. — Вижу солнце, опускающееся за черту дня, вижу базар... Вижу лавку и толстого купца Рахимбая, сидящего в ней. Слышу барабан и грозные крики стражи. Вот появляется некий блистательный и могучий; узнаю этот гордый взгляд, эти благородные усы. Он снисходит до презренного купца, садится рядом. Они пьют чай, они беседуют.

Они говорят о скачках, о конях арабских и текинских... Но что это? Словно сама властительница ночных небес сошла на землю! Какими словами достойно восхвалить пленительную красавицу, появившуюся в лавке купца? Она входит, плавно раскачивая бедра, она волнует чувства, она ослепляет и повергает! Ее лицо сокрыто под чадрой, но заря ее нежного румянца и коралл уст просвечивают сквозь шелк... Вижу — презренный купец открывает денежную сумку, достает какие-то драгоценности... Потом, потом... Вот, вот где сокрыто коварство, вот где ловушка!

Он вскинул взгляд на вельможу. Тот весь подался вперед и беззвучно шевелил усами, а сказать ничего не мог — слова прилипли к языку.

— О презренный купец! — Ходжа Насреддин, как бы в сильнейшем негодовании, откачнулся от книги. — О низкий торгаш!.. Он приказывает жене надеть драгоценности, он открывает перед сиятельным князем ее лицо. Вижу, вижу — могучее солнце и прекрасная луна любуются друг другом. В сердцах кипит взаимная страсть. Они горят, они устремлены друг ко другу, они забывают об осторожности, пылкие взоры выдают их, кровь, прихлынувшая к лицам, изобличает их! Сладостная тайна обнажается, покровы падают!.. Этого только и добивался презренный купец, грязный соглядатай, низменный ревнивец, безжалостный разрушитель чужой любви! Он ловит их взгляды, прислушивается к их учащенному дыханию, считает удары сердец. Он удостоверяется в своих подозрениях, в его змеином сердце шипит смрадная ревность! Он задумывает месть, но свои коварные замыслы прячет под личиною напускного благожелательства...

— Вот оно что-о! — протянул вельможа. — Признаться, я не ожидал от этого заплывшего жиром хорька такой прыти! Клянусь аллахом, гадальщик, ты как будто был там четвертым, в лавке, и видел все собственными глазами! Отныне главное твое дело — следить за купцом! Следить за ним неусыпно и неотступно! И докладывать мне о всех его намерениях!

— Ни одна его мысль не ускользнет от меня. Как только я выйду из тюрьмы...

— Ты выйдешь сегодня к вечеру. Раньше нельзя — сначала я должен доложить хану.

— А если хан не согласится?

— Эти заботы предоставь уж мне.

— Еще одно слово, о сиятельный князь: предстоят некоторые расходы.

— При выходе ты получишь две тысячи таньга. Это для начала.

— Если так, тогда все желания могучего князя будут исполнены!

Хлопнула наверху дверь, на лестнице послышались шаги. Вернулись толстяк и писец, так и не разыскавшие нужных бумаг. Они были оба несказанно удивлены, видя, что гадальщик, которому надлежало висеть на дыбе с окровавленной взлохмаченной спиной, стоит цел и невредим перед вельможей и даже как будто улыбается, совсем неприметно, одними глазами.

— Отведи этого человека наверх и следи, чтобы он ни в чем не терпел нужды, — приказал вельможа толстяку. — Здесь особое дело, о котором я самолично доложу великому хану.

Толстяк отвел Ходжу Насреддина в одно из верхних помещений башни, где был и ковер на каменном полу, и мягкая тахта с подушками, и даже кальян. Подали миску плова, который Ходжа Насреддин и съел под внимательным, неотрывным взглядом толстяка.

Дверь захлопнулась, и воцарилась тишина — тюремная, глухая, но для Ходжи Насреддина теперь уж совсем не страшная.

Он улегся на тахту. Безмерная усталость разлилась по всему его телу, как после тяжелой работы. Он закрыл глаза. Но мысли не хотели угомониться, улечься в его беспокойной голове — помчались вслед за вельможей в ханские покои. «На чем они порешат? Впрочем, это не моя забота, пусть блистательный Камильбек хлопочет сам за себя...» Словно далекие верблюжьи бубенцы тонко запели в его ушах — то звенел серебряными крыльями сон, опускавшийся к его изголовью. Мысли замедлились. «Кони?.. Куда же все-таки они девались, и где теперь искать одноглазого?..» Поднялась было в полет последняя мысль, совсем уж туманная — о жене купца: «О благоуханная роза хорасанских садов, сколь спасительны для меня оказались твои любовные шалости!..». Она так и растаяла где-то в пространстве, эта последняя мысль: Ходжа Насреддин уснул.

Он спал глубоким, спокойным сном победителя; здесь уместно будет повторить, что в недавней, счастливой для него битве он был спасен от первого удара только

силой своего доверия — золотым щитом благородных. Как не вспомнить по этому поводу чистейшего в мыслях Фариса-ибн-Хаттаба из Герата, который сказал: «Малого не хватает людям на земле, чтобы достичь благоденствия, — доверия друг к другу, но эта наука недоступна для низменных душ, закон которых — своекорыстие».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— По-моему, все-таки нужно отрубить ему голову. Родство с таким опасным мятежником таит в себе немалую угрозу.

— Я выяснил с несомненностью, о великий владыка, что никакого родства на самом деле нет: гадальщик происходит совсем из другой семьи, из другого селения.

— Это еще ничего не доказывает. А вдруг он все-таки родственник? Может быть, и не прямой, а какой-нибудь дальний?

— Он с Ярматом даже никогда не встречался. Шпионы просто обознались, он схвачен по ошибке.

— Раз уж схвачен и сидит в тюрьме, то почему бы на всякий случай не отрубить ему голову? Я не вижу никаких разумных причин к воздержанию. Мятеж — это не какие-нибудь твои пешаверские чародейства, здесь шутки неуместны, хватит с меня и одного Ярмата: его дела записаны морщинами на моем лице!

— О великий владыка, низменные заботы о сохранении головы какого-то презренного гадальщика, разумеется, чужды мне и даже отвратительны, — я веду свою речь о другом: об укреплении трона.

— Тогда продолжай.

— Именно подвигнутый высшими соображениями, я и привел сегодня во дворец слабосильных верблюдов моих раздумий, дабы повергнуть их на колени перед караван-сараем царственного могущества и напоить из родника державной мудрости...

— Подожди, визирь; впредь все такие слова ты заранее пиши на бумагу и читай вслух дворцовому управителю — там, внизу. И пусть он внимательно слушает — я прибавил ему жалованья за это.

— Дворцовому управителю — слова, предназначенные для царственного слуха!..

— Вас у меня двенадцать визирей, и каждый говорит по два часа, когда же мне спать?

— Слушаю и повинуюсь. За последний год мы отрубили не один десяток голов, благодаря чему трон укрепился...

— Вот видишь — всегда полезно!

— Не будет ли ныне еще более полезным явить пример державного милосердия? Если мы выпустим гадальщика и через глашатаев оповестим об этом всех жителей города — не будет ли справедливым предположить, что их сердца наполнятся восторгом и они радостно воскликнут: «О, сколь мы счастливы, сколь благоденственны под могучей десницей нашего повелителя, обогревающего нас, подобно весеннему солнцу...».

— На бумагу, визирь, на бумагу — и туда, вниз... Дальше!

— Таким образом, трон обретает дополнительную опору — в сердцах!

— Ты, пожалуй, и прав. Но все же он опасен, этот гадальщик, если он родственник...

— Опасность легко пресечь, о повелитель! Сначала выпустить его и объявить об этом через глашатаев. Исполнение Милосердия. А потом, через две-три недели, однажды ночью, снова его взять и незамедлительно обезглавить в моем подвале, откуда не может выйти ни один звук. Исполнение Предосторожности. Первое дело совершится явно, второе — тайно, Милосердие и Предосторожность дополнят друг друга, образуя в совокупности Величие, и воссияют, как два несравненных алмаза в короне нашего солнцеподобного...

— Это все — туда, к управителю. Ты кончил, визирь?

— Кувшин моих ничтожных мыслей показывает дно.

— Вот и хорошо, время уж к вечеру. Твои слова меня убедили, визирь, твой замысел я одобряю.

— Милостивый взгляд повелителя возжигает светильник радости в моей груди! Сейчас я изготовлю фирман об освобождении гадальщика, а завтра с утра глашатаи возвестят по городу ханскую волю.

— Пусть будет так!

К вечеру Ходжа Насреддин в новом халате, новых сапогах и с тяжелым кошельком в поясе (дары вельможи) покинул свой плен.

Из ворот дворцовой крепости он вышел на площадь, уже подвластную вечерним теням.

Первым, кого увидел он за воротами, был жирный меняла — в парчовом халате, с гильдейской медной бляхой на груди, с уздечкой в руках, давно томившийся здесь в надежде проникнуть во дворец и повергнуть к стопам повелителя свою жалобу.

При появлении Ходжи Насреддина его лоснящееся от жира и пота лицо осветилось радостью.

— Тебя выпустили, гадальщик! О великое счастье — значит, мои кони вернутся ко мне! А я уж приготовил жалобу, заплатил писцу двенадцать таньга. Вот она — почитай, если хочешь.

— Я читаю только по-китайски.

— Здесь несколько слов, для тебя весьма лестных; я прошу повременить с отделением твоей головы от твоего туловища, пока ты не разыщешь коней, — видишь, как я о тебе забочусь!

— Еще бы не видеть! — Прими за это мою благодарность, купец!

— Так пойдем продолжим гадание; может быть, ты успеешь найти коней еще до наступления ночи.

— А куда нам спешить? Я, так же как и ты, враг торопливости. Если уж мы решили повременить с отделением моей головы от моего туловища, то почему бы нам не повременить и с розыском твоих коней?

— То есть как это — повременить с розыском коней? Ты забыл: через три дня — скачки!

— Попробуй поговорить с ханом; возможно, он тоже большой любитель повременить и отложит скачки на недельку-другую.

И, не задерживаясь долее у ворот, Ходжа Насреддин повернул в сторону базара, где уже били, рокотали барабаны, провожая солнце к закату.

— Если так, то берегись, гадальщик! — зашипел купец, перекосившись лицом. — Я знаю: ты подкуплен, и знаю кем! Но у меня тоже есть во дворце свои люди, эти ворота откроются передо мною, и тогда горе тебе, гадальщик, тебе и твоему подкупителю!

Ходжа Насреддин был уже далеко и не слышал этих угроз.

По всему его пути лежали на площади косые, уступчатые, иззубренные тени — словно спины сказочных чудовищ, притаившихся, чтобы схватить его; но, как очарованный принц, хранимый высшими силами, он свободно и смело шел между ними, подняв лицо к пылающему

солнцу. Оно опускалось в гряду волнистых тонких облаков и заливало их ясным огнем, обещая земле на завтра горный прохладный ветер — спасение от жгучего зноя.

А ночью, лежа в чайхане, он сквозь помост вел тихую беседу с одноглазым.

— Больше всего я радуюсь, что не обманулся в своем доверии к тебе, — говорил он, сложив ладони раковиной, чтобы голос не уходил в стороны. — Теперь скажи: почему не оказалось коней в пещере, куда они девались?

— Я не мог оставить их в пещере: кругом шныряли шпионы и начали уже шарить в каменоломне. Перед рассветом, под покровом тумана, мне удалось вывести коней и переправить в другое место — в один пустующий загородный дом...

Беседа закончилась поздно, к исходу ночи.

Выслушав подробные наставления к дальнейшему, одноглазый исчез.

Ходжа Насреддин перевернулся с живота на спину, протяжно зевнул и через минуту поднял парус сна.

Когда утром он появился на мосту Отрубленных Голов, здесь уже знали об его назначении главным гадальщиком.

Как все изменилось! Вместо обычных насмешек он встретил раболепные взгляды, льстивые речи, угодливый смех.

Костлявый старик — обладатель черепа — перебрался в другую нишу, тесную и темную, и глухо ворчал оттуда, как одряхлевший, потерявший зубы пес из конуры.

А его трое любимцев, самых приближенных и самых доверенных, еще вчера подобострастно служивших ему, уже успели отречься от него и переметнуться. С вениками и мокрыми тряпками в руках они суетились у главной ниши, готовя место новому управителю. Они поклонились Ходже Насреддину ниже всех; один выхватил коврик из его рук и расстелил в нише, второй обмахнул своей чалмой пыль с его сапог, третий подул на китайскую книгу и слегка поскреб ногтем по ее корешку, словно удаляя какую-то соринку.

А вскоре на мост пожаловал сам вельможа и вступил с Ходжой Насреддином в тайную беседу. Он жаждал успокоительных заверений и получил их сполна.

— Хорошо ли ты проверил купца, гадальщик? Опускался ли ты на самое дно его мерзостных замыслов?

— Да, опускался, о сиятельный князь; пока ничего опасного.

— Следи, гадальщик, неотступно следи!

На глазах у всех он протянул гадальщику руку для поцелуя — милость, никогда еще не виданная на мосту.

— Теперь скажи — прошлый раз я позабыл тебя спросить об этом, — куда же все-таки девались кони из пещеры?

— Куда девались?.. Очень просто — я их перенес.

— То есть как это — «перенес»? Ты был на мосту, а кони — в каменоломне.

Ходжа Насреддин небрежно дернул плечом, как бы говоря о деле само собою разумеющемся:

— Очень просто — перенес по воздуху.

— По воздуху? Значит, ты можешь — по воздуху?

— Это для меня ничтожное дело. В самую последнюю минуту, когда всадники помчались в каменоломню, я через свою книгу узнал, что воры успели вытащить заговоренные гвозди из их подков и вытащить шелковинки. Вот почему я решил пока воздержаться от возвращения коней, а сначала доложить сиятельному князю и выслушать от него наставления к дальнейшему.

— Похвально и разумно, гадальщик!

— Пришлось перенести...

— Весьма любопытно! Значит, по воздуху, а?.. Сразу, в одно мгновение? А скажи: нельзя ли по воздуху перенести купца? Куда-нибудь подальше, в Багдад или Тегеран, а еще лучше — в языческие земли, чтобы франки обратили его там в рабство?

— Такого дела я исполнить не могу: мне подвластны только животные. Может быть, со временем, когда я проникну глубже...

— Очень жаль, очень жаль! А то и во дворце у нас много таких, которых давно бы следовало... того...

И в его воображении помимо воли мелькнула вереница переносимых по воздуху: впереди летел купец, плашмя, на спине, со всклокоченной бородой и выпученными глазами, стараясь ногой отпихнуть прицепившегося к нему Ядгорбека; дальше, понацеплявшись кое-как друг за друга, летели великий визирь, главный податной визирь, верховный судья, хранитель ханской печати и множество прочих придворных, а завершалась вся эта невероятная

цепь, к изумлению и ужасу вельможи, самим владыкою ханства — он летел в сидячем положении, несколько наклонившись вперед, словно был подхвачен вихрем с трона как раз в ту минуту, когда принимал очередной донос; его халат, наполняемый ветром, поднялся пузырем вверх, позволяя видеть тощую нижнюю часть, прикрытую шароварами с красно-зеленой вышивкой... Это все мелькнуло, унеслось и пропало; чувствуя круги в голове, легкую тошноту и гул в ушах от столь соблазнительного и столь опасного видения, вельможа долго кашлял и мычал, недоумевая — каким образом к нему, в сокрытые глубины души, минуя охранительные заставы разума, могли забраться крамольные чувства, проявившие себя так неожиданно в заключительном звене переносимых? И он пришел к выводу, что крамола, подобно тончайшему аромату, способна передаваться внетелесным путем и без помощи слов; здесь его мысли обратились на гадальщика: «Ну конечно, это он своими чарами внушил мне такое неблагомысленное видение! Да и вообще опасен: слишком много знает, переносит по воздуху... Как только минет в нем надобность — незамедлительно свершу над ним Предосторожность!».

По отбытии вельможи на мосту долго стояла тишина; затем гадальщики один за другим потянулись к Ходже Насреддину со своими дарами. Кто клал на коврик перед ним пятьдесят таньга, кто — семьдесят, а кто и больше, в зависимости от доходов. Так в первый же день познал Ходжа Насреддин две главные особенности своей новой средненачальственной степени: утешительные заверения высшим, приятие даров от подвластных.

Старик, обладатель черепа, подошел последним, молча положил на коврик сто пятьдесят таньга — больше всех. На него жалко было смотреть — так он сразу осунулся, уязвленный своим крушением в самое сердце. Но вид показывал гордый и пренебрежительный; однако тоска, стоявшая темной водой в его старых глазах, была всем заметна и всем понятна. Свое главное сокровище — волшебный череп — он с утра начистил песком, намазал маслом и выставил на самое видное место; в этом черепе была теперь его последняя надежда, последнее прибежище.

Ходжа Насреддин поддался жалости, отодвинул деньги старика:

— Возьми... Не надо.

Старик зашипел, глаза его вспыхнули злым зеленым огнем:

— Тебе мало? Ты отнял у меня все, и тебе еще мало? Не хочешь ли ты, чтобы я отдал тебе и свой череп?

— Нет, не хочу, — тихо сказал Ходжа Насреддин. — Возьми свои деньги, спокойно владей своим черепом, мне от тебя ничего не нужно. Вот сейчас я тебе погадаю.

Старик задохнулся от ярости:

— Ты погадаешь мне? Мне, уже сорок лет сидящему на мосту! Мне, обладателю черепа! Ты, вчера только нас всех осрамивший своими лживыми гаданьями!

— А все-таки послушай. — Ходжа Насреддин раскрыл свою книгу. — Утешься, твои горести кратковременны и преходящи. Не закончится еще этот месяц, как твой почет и все доходы, сопряженные с ним, вернутся к тебе. Похититель же твоего благоденствия исчезнет, развеется, как весенний утренний туман, и только память о нем надолго останется здесь, на мосту. Когда же узнают его имя... Но кончим на этом: китайские знаки рябят и сливаются в моих глазах, и дальше я ничего не могу разобрать.

Опасливо покосившись на Ходжу Насреддина, старик отошел, не зная, что думать, — насмехается над ним этот новый или в самом деле сошел с ума от вдруг привалившего счастья. Он забился в глубину своей темной ниши и застыл, угрюмо нахохлившись.

Но там старика настигла новая беда — язвительные насмешки его вчерашних раболепных прислужников.

— Эй, ты! — кричали они, глумливо смеясь. — Что же ты не собираешь свою долю, десятую часть?

— Он отложил это дело на завтра!

— Он ждет, когда сиятельный князь дарует ему право на половину наших доходов!

— Нет, ему просто надоело быть главным гадальщиком, и он сам, вполне добровольно, отказался от своей должности!

Будучи сами людьми ничтожными, гнусными, они и всех других предполагали такими же и нисколько не сомневались, что их выкрики приятны Ходже Насреддину. Они слышали гадание по китайской книге и, в полном соответствии с низменной природой своего духа, поняли это гадание как злобную издевку над поверженным.

— Убери свой череп, который давно намозолил нам всем глаза! — надрывались они, наперебой выслуживаясь перед новым начальником. — Ты выдаешь его за человеческий, но ведь всякому с первого взгляда ясно, что это обезьяний череп!

— Конечно, обезьяний!

— Да еще вдобавок и гнилой!

Старик мог стерпеть что угодно, только не унижение черепа.

— Да прорастут твои волосы внутрь, сквозь кости твоего собственного черепа, в твой мозг, Хаким, — о гнусная змея, отогретая мною! — глухо заворчал он из ниши. — Вспомни, как подобрал я тебя еще мальчишкой под этим мостом, голодного, грязного и оборванного, и приблизил к себе вместо сына, кормил, и одевал тебя, и обучал гадальному ремеслу, — чем же ты платишь мне сегодня?.. А ты, Адиль, да вывернешься ты наизнанку, кишками наружу, чтобы скорпион ужалил тебя в твою обнаженную печень, — вспомни, разве не я спас тебя в позапрошлом году от плетей и подземной тюрьмы, заплатив за тебя из собственного кошелька долг в семьсот сорок четыре таньга!

Из этих слов Ходжа Насреддин с удивлением узнал, что костлявый старик, такой мерзостный с виду и занимающийся таким непотребным делом, как гадание, неминуемо сопряженное со шпионством, — что и он хранит в своей душе, под наносами всяческой скверны, светлые ключи добрых чувств. Но вступаться за него не стал, исходя из мысли о скором его возвращении на прежнюю должность и о тяжком возмездии, ожидающем неблагодарных.

Близился полдень, солнце пекло, зной над крышами расплавился и потек, стеклянно дрожа. От каменных плит моста несло сухим, удушливым накалом, как из гончарной печи, ветра не было, листва на деревьях поникла, птицы запрятались в тень и молчали.

Вдалеке послышались барабаны, трубы, голоса глашатаев; скоро они появились на мосту и возгласили новый фирман о великой милости хана. Гадальщики переглядывались с боязливым недоумением: слишком много шума сразу поднял вокруг себя новый их управитель! Эти мысли разделял и сам Ходжа Насреддин: слишком уж много шума, за светлым ликом Милосердия он внутренним чутьем угадывал близкую Предосторожность.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Он ждал, что в эти дни, последние перед скачками, купец будет неотступно торчать на мосту, выпрашивая своих коней.

Случилось не так — купец не пришел ни разу. Обида взяла в его душе верх над тщеславием, он теперь не хотел ни первой награды на скачках, ни ханских похвал, — он жаждал только мести. Разоблачить коварного вельможу, повергнуть во прах, растоптать, уничтожить! И, конечно, заодно стереть в порошок этого плута-гадальщика!

Нужно ли говорить, что победа на скачках досталась текинцам вельможи. Они были ослепительны, великолепны, когда, распустив по ветру хвосты, неслись, как летучие стрелы, имея за собой пятьсот локтей чистого поля до всех других.

Под нестерпимый трубный рев, пронзительный визг волынок и бешеный грохот больших и малых барабанов победителей подвели к разукрашенному помосту, на котором восседал хан. Текинцы выгибали шеи, нетерпимо грызли удила, били и скребли копытами землю — просились опять на скаковое поле. Они прошли двенадцать больших кругов и только чуть изменили дыхание, их спины и бока были сухими, без единого пятнышка пота, на тонких ногах не дрожала и не билась ни одна жилка.

Хан улыбнулся, любуясь ими.

По толпе придворных, теснившихся позади, прошел восторженный шепот.

Вельможа сиял торжеством победы: подбоченивался, поднимал плечи, крутил усы, изгибался вправо и влево, играя своими точеными каблуками.

Главный ханский глашатай вышел на край помоста и поднял руку, призывая всех к вниманию.

Трубы смолкли, барабаны затихли, толпа, прихлынувшая к помосту, замерла.

— «Всемилостивейший хан и солнцеравный повелитель Коканда и прочих благоденственных земель, — гулким и зычным голосом начал глашатай, — владыка, затмевающий славою всех прочих земных владык, любимый избранник аллаха и наследник Магомета на земле...»

Хан подал знак дворцовому управителю, тот подошел к глашатаю, взял из его рук свиток и ногтем отчеркнул добрых три четверти написанного, оставив это все для прочтения себе одному за свое дополнительное жалованье;

глашатай, неожиданно лишившийся привычного разбега, начал мычать и мямлить; затем, не без усилия, перекинул глаза к нижним, замыкающим строкам:

— «...сим повелеть соизволил: первую награду в сорок тысяч таньга за несравненную красоту и резвость коней присудить...»

— Защиты и справедливости! — вдруг послышался из толпы чей-то вопль. — Молю великого хана о пресечении обид!

Хан поднял брови. Придворные тревожно загудели. В такой час, на этом празднестве! Неслыханная дерзость!

Толпа расступилась, пропуская к помосту купца — без чалмы, босиком, но в парчовом халате и с начищенной гильдейской бляхой на груди. Царапая ногтями лицо, вырывая клочьями бороду, он упал на колени, бросил себе на голову горсть пыли и закричал:

— Защиты и справедливости!

Черные усы вельможи словно бы отделились от его лица и повисли — так он побелел!

— Поднимите! — гневно сказал хан. — Поднимите этого смерда, осмеливающегося своими воплями омрачать сегодняшнее торжество. Поднимите и подведите ко мне!

Стражники схватили купца под руки, поволокли на помост. Они вознесли его по лестнице с такой стремительностью, что его короткие ноги, болтавшиеся на весу, не коснулись ни одной из ступенек.

Волнение среди придворных усилилось: купца узнали. Визирь по торговым делам склонился к хану и что-то тихо сказал.

— Богатый купец? — с удивлением переспросил хан. — Один из достойнейших? Но почему в таком виде? Пусть подведут его ближе, и пусть он скажет.

Стражники подтащили купца; он висел мешком у них на руках, он хотел говорить — и не мог, толстые губы в бороде шевелились беззвучно.

Хан ждал, придворные ждали. Вельможа затаил дыхание, взгляд его, устремленный на купца, был ужасен...

Тем временем весть о победе текинцев уже летела по базару, по чайханам и караван-сараям и достигла моста Отрубленных Голов.

«Теперь купец обязательно уж придет, — размышлял Ходжа Насреддин. — Первую награду на скачках у него

вырвали, вряд ли он захочет увеличить свой убыток потерей многотысячных коней».

И опять Ходжа Насреддин ошибся: купец не пришел. Вместо купца прискакали, со свободной лошадью в поводу, конные стражники, схватили Ходжу Насреддина и, ни слова не говоря, умчали куда-то; совершилось это в одну минуту, он едва успел посовать в мешок свое гадальное имущество — книгу, тыкву и прочее.

Управительская ниша опустела.

Долго стояло на мосту недоуменное молчанье. Потом среди гадальщиков начались пересуды и споры. Куда его повезли? В тюрьму? На плаху? Или, может быть, он еще вернется, но в каком-нибудь новом обличье?

Большинство, однако, склонялось ко мнению, что теперь ему пришел безвозвратный конец. Трое льстецов, поспешивших отречься от старика и переметнуться, горько пожалели о своей поспешности, особенно же — о злобных насмешках над черепом.

Первым к нише старика подошел Хаким — тот самый, что долгое время жил у него в доме, будучи принят как сын.

— Не сыро ли тебе здесь, о мой многомудрый покровитель? — спросил он со лживой сыновней заботой в голосе. — Хочешь, я отдам тебе свою новую камышовую подстилку, умягченную ватой?

Двое других, испугавшись, как бы он не опередил их в заискивании, тоже подошли к нише.

— О мудрейший наставник! — медовым, липким голосом начал первый. — Некая весьма богатая вдова пришла ко мне вчера за советом. Дело у нее трудное, запутанное, и я не могу разобраться в нем. Позволь же, когда она придет сегодня, направить ее к тебе, чтобы ты разрешил ее сомнения и, разумеется, извлек в свою пользу все доходы, сопряженные с этим. Твоя глубокая мудрость...

— И несравненные познания! — подхватил второй.

— И высота помыслов! — заторопился первый.

— И этот вещий череп! — воскликнул второй.

А третий — Хаким — в это время извивался и подвизгивал сзади, выискивая место и для своего слова.

— И несказанная доброта! — заверещал он. — Какой благосклонной улыбкой озарялось вчера твое лицо, о многотайнопостигательный старец, когда ты внимал

моим беззлобным шуткам, понимая, что они подсказаны единственно лишь добродушием и веселостью нрава...

Старик не поднимал глаз, на его высохших губах мерцала скорбная усмешка. Вот когда он вплотную приблизился к стародавней истине: «Мудрость — не достояние возвысившихся, но только смиренных!..». Однако страшные слова, произнесенные им, свидетельствовали, что мудрость его обращена своим ликом во тьму. Он сказал:

— Для каждого из вас я совершил в свое время доброе дело и ныне за это наказан. Таков закон нашего скорбного мира: каждое доброе дело влечет за собою возмездие совершителю.

Вряд ли он сам, да и те, что слышали его, поняли до конца весь гибельный смысл этих слов, после которых, если бы только они оказались правдой, жизнь должна была бы остановиться; но благостна Жизнь! — они не были правдой, а лишь оправданием для утративших веру или поддавшихся отчаянию, как этот старик.

Ходжу Насреддина стражники вознесли на помост еще быстрее, чем купца, и повергли на ковер перед ханом.

Из простого народа никого уже вблизи не было; на окраинах поля стража палками и плетьми разгоняла последних любопытствующих.

С первого взгляда Ходжа Насреддин понял, что между купцом и вельможей только что закончилась жаркая схватка. Оба красны, потны, глаза у обоих горели, руки тряслись.

Красен был от гнева и сам владыка.

— Никогда еще, — говорил он глухим от удушья голосом, — никогда еще никто не осмеливался оскорблять государя такими непристойными перебранками! Да еще всенародно, перед глазами тысячи людей! Неужели не могли вы найти для ваших низменных счетов другого часа и другого места? — Он с хрипом, с трудом перевел дыхание. — И неужели государь никогда не может спокойно отдаться душой удовольствию или зрелищу, освободиться хотя бы на один час от ваших грязных жалоб, кляуз и сплетен?

Здесь взгляд его упал на Ходжу Насреддина:

— Это кто еще?

— Гадальщик, — подсказал торговый визирь. — Тот самый гадальщик, из-за которого...

— Откуда он взялся? Зачем он здесь?

Визирь побледнел:

— Я распорядился доставить его в предположении, что великий хан пожелает самолично спросить... услышать... узнать... лицезреть... я думал...

Он завяз в словах и беспомощно оглянулся на придворных.

Никто не поспешил ему на выручку. Все молчали.

— Он предполагал! — воскликнул хан в сильнейшем негодовании. — Он думал!.. Скоро ты предположишь еще что-нибудь столь же несуразное и притащишь с базара к моему трону всех метельщиков, мусорщиков, уборщиков для дружеских бесед и рассуждений со мною! Если ты распорядился доставить сюда этого плута-гадальщика, сам и разговаривай с ним, а меня прошу избавить от такой чести. Пусть он или найдет этих проклятых коней — сейчас же, в моем присутствии, немедленно! — или сознается в обмане и понесет должную кару — безотлагательно, вот здесь, перед помостом!

Хан умолк, откинулся на подушки, выказывая всем своим видом крайнее неудовольствие.

Ходжа Насреддин успел за это время переглянуться с купцом и дружески подмигнуть ему; тот яростно крякнул, вырвал еще клок из бороды, но голоса подать не посмел.

— Гадальщик! — сказал торговый визирь. — Ты слышал волю нашего владыки. — Отвечай же теперь на все мои вопросы прямо, ясно и без уверток.

Ходжа Насреддин так и отвечал — прямо, ясно и без уверток. Да, он берется отыскать коней. Сейчас же, незамедлительно, в присутствии хана. Он осмеливается напомнить о награде в десять тысяч таньга, что обещал купец.

— Был такой уговор? — обратился визирь к меняле.

Тот молча вытянул из-под халата кошелек, подал визирю.

— Видишь, гадальщик! — Визирь встряхнул кошелек, послышалось тонкое пение золота. — Но чтобы получить его, ты должен, во-первых, найти коней, а во-вторых, опровергнуть тяготеющее над тобой обвинение в подкупе. Если ты берешься найти коней сегодня, то объясни: почему не мог найти вчера, позавчера и тре-

тьего дня? Почему ты не нашел их перед скачками, а берешься найти после скачек?

— Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих... — затянул Ходжа Насреддин свою старую песню, еще бухарских времен.

— И не сокрыто ли здесь, — прервал торговый визирь, — не сокрыто ли злоумышленного намерения причинить ущерб великому хану, лишив его лицезрения арабских коней, которые, по словам их владельца, достойны радовать царственный взор? Если таковой злонамеренный умысел действительно имел место, скажи: кто внушил его тебе?

Эту догадку о злоумышленном намерении торговый визирь направлял против вельможи — своего старинного соперника.

— Сознайся, гадальщик! — вскричал он, воспламенившись надеждой. — Сознайся чистосердечно: кто внушил тебе умысел против нашего солнцеподобного хана, кто этот гнусный, коварный злодей, прикрывающий свое змеиное жало личиной преданности? Скажи, сознайся — и ты будешь помилован! И твоя награда увеличится — я сам, движимый рвением разоблачить всех тайных врагов повелителя, я сам готов добавить к этому кошельку две и даже три тысячи таньга от себя, если ты скажешь!

Сжигаемый вожделением сокрушить вельможу, он добавил бы и пять и десять тысяч!

Но ему противостоял не какой-нибудь безусый юнец, а зрелый муж, полный сил и закаленный в дворцовых боях.

Вельможа шагнул вперед, к трону. Глаза его сверкнули, усы грозно устремились вперед, подобно клыкам боевого слона.

— Великий хан видит и слышит, что здесь творится! Вымогать признание деньгами не есть ли, в свою очередь, тяготейший вид подкупа?

— Допрашивая гадальщика, я выполняю ханское повеление, — огрызнулся торговый визирь. — И никто не сможет обвинить меня ни в подкупе, ни в конокрадстве, как некоторых других.

— Всемилостивый аллах! — вскричал вельможа, подскочив на своих высоких каблуках и воздев к небу руки. — О небесные силы! За что, за что я принужден выслушивать такие оскорбления! И от кого? От людей, хотя и облеченных высоким доверием, но употребляющих его

недостойно и своекорыстно, для взимания в свою пользу незаконных поборов, как, например, в прошлом году, при достройке больших торговых рядов...

— Какие поборы? — вспыхнул визирь, но глаза его забегали и стали туманно-пыльно-матовыми, ибо он-то лучше всех знал, о каких именно поборах идет речь. — Быть может, высокочтимый начальник городской стражи подразумевает деньги, отпущенные в прошлом году на обновление сторожевых башен, в которых и по сю пору не обновлено ни одного камня, хотя деньги истрачены все без остатка...

— Сторожевые башни! — писклявым голосом вмешался начальник городского благоустройства. — Уж если вспоминать о башнях, то надлежит раньше вспомнить об очистке и облицовке большого водоема на площади святого Хазрета! Где очистка, где облицовка? Между тем этому делу пошел уже четвертый год, деньги отпускались из казны четырежды!

Ему ответил верховный мираб, ведающий всеми арыками и водоемами в государстве, упомянув о базарных площадях, так и не выстланных камнем; эти слова мгновенно воспламенили главного смотрителя базаров — жилистого длинного старика с круглыми глазами совы на рябом лице: брызгаясь слюной и шепелявя, он начал кричать о каких-то караванах, обобранных по пути в Коканд, о трех мешках золота, отправленных эмиру бухарскому, но так и не доехавших до Бухары; тогда послышался зычный голос верховного охранителя дорог, объяснившего пропажу золота дерзостью разбойников, напавших на караван; его выспренняя речь была прервана громким смехом вельможи, который через своих шпионов отлично знал, какие это были разбойники; вставил свое слово торговый визирь, опять вмешался верховный мираб, за ним — смотритель базаров, казначей и все остальные.

Через минуту на помосте бушевал целый пожар взаимных обличений и попреков.

О купце, о гадальщике, о пропавших конях все забыли.

Побагровевшие, с пылающими выпученными глазами, судорожно стиснутыми кулаками, обливаясь пóтом в своих тяжелых халатах, визири и верховные начальники яростно наскакивали друг на друга, кричали и вопили, едва не вцепляясь друг другу в бороды.

Кто-то припомнил постройку двух мостов через Сай — стародавнее дело, хорошо известное хану.

Привстав на троне, сам для себя незаметно втянувшись в перебранку, хан закричал:

— Мосты! Мосты, говорите вы, мошенники и воры! А подряд на поставку тесаного камня для этих мостов? Ага, ты молчишь, Кадыр! А двести шестьдесят карагачевых балок, что на поверку оказались тополевыми, да еще и гнилыми! Чье это дело, ну? Говори, Юнус!

Утихомиривать это словесное побоище пришлось Ходже Насреддину.

Потрясая своей гадальной книгой, он возгласил:

— На вопрос о пропавших конях моя гадальная книга отвечает...

Его слова были подобны ливню, низвергнувшемуся из туч на пламя степного пожара.

Первым опомнился хан, обвел остальных негодующим взглядом.

Визири, советники, сановники притихли, вернулись на свои места позади трона, затаив в сердцах неутоленную клокочущую злобу.

— О мерзостные нарушители благоприличия! — начал хан, тяжело дыша. — Долго ли мне терпеть ваши бесчинства? Не думайте, что сегодняшнее позорище пройдет вам даром, — дайте мне только вернуться во дворец! Из-за вас мне с трепетом приходится думать об ответе аллаху за беспорядки в моем государстве; сколько я ни стараюсь, сколько я ни забочусь — все мои усилия рассыпаются в прах, наталкиваясь на вашу глупость, чванность, склочность, своеволие и воровство! И не сетуйте, если однажды я, окончательно истощив терпение, выгоню вас всех поголовно, отобрав в казну все, вами накраденное! — Он обратил пылающее гневом лицо к торговому визирю: — Скажи гадальщику — пусть продолжает! Пусть скорее изобличит себя в плутовстве, в обмане и подвергнется наказанию. Где кони?

— Где кони, гадальщик? — отозвался, как эхо, торговый визирь.

— Кони находятся в конюшне одного загородного дома по найманчинской дороге, — ответил Ходжа Насреддин. — Дом этот стоит при слиянии двух больших арыков, окружен садом, имеет украшенные цветной росписью ворота, по которым легко его отличить от всех прочих.

— Украшенные росписью ворота! — воскликнул меняла. — При слиянии двух арыков? Да ведь это же мой собственный загородный летний дом! Но там сейчас никого нет, он заколочен — как могли попасть туда кони?

Придворные зашептались, озадаченные словами менялы.

Сомнения разрешил хан:

— Конечно, никаких коней там нет и никогда не было. Гадальщик путает, в надежде вывернуться и ускользнуть от кары. Приготовьте для него плети, пошлите в этот загородный дом людей, чтобы через них удостовериться в его лжи!

На большую найманчинскую дорогу помчались всадники.

— Конечно, там ничего не найдут! Конечно, ничего, никаких коней, — гудели придворные за спиной хана.

Но трое из находившихся здесь думали иначе: Ходжа Насреддин, бестрепетно взиравший на кнутобойные приготовления перед помостом, и меняла с вельможей, которым было уже известно удивительное всеведение гадальщика. «В моем собственном доме! — мысленно восклицал меняла, все больше запутываясь в различных догадках и предположениях. — С этими конями творятся, поистине, какие-то чудеса!» А вельможа замер, застыл и затаил дыхание, боясь поверить такому счастью. О, только бы не ошибся гадальщик, только бы кони действительно отыскались в доме купца! А тогда, тогда... он знал, что ему делать и говорить тогда!

Через короткое время — найманчинская дорога проходила рядом — на дальнем конце скакового поля показались возвращавшиеся всадники.

— Ведут, ведут! Вот они, мои кони! — закричал меняла и в самозабвении кинулся навстречу всадникам.

Но стражники, по знаку вельможи, перехватили его на лестнице, втолкнули обратно на помост. «Наш разговор еще не окончен, почтеннейший Рахимбай!» — зашипел про себя вельможа, содрогаясь от злобного торжества.

Всадники приблизились. Они вели двух незаседланных коней, одного — белого, как раковина, второго — черного, как ласточкино крыло.

Таких коней по статям, осанке и поступи никогда еще не видели на скаковом поле!

Среди придворных послышались возгласы изумления и восхищения.

Меняла дрожал и все порывался к лестнице, но стражники держали его крепко.

— Без преувеличения, эти кони — истинное украшение земли! — сказал хан.

— Истинное украшение! Истинное украшение! — подхватили на разные голоса придворные.

Коней подвели к помосту. Воцарилась тишина: все молчали, позабыв свои обиды и распри, погрузившись в созерцание арабских красавцев.

И вдруг опять раздался гнусавый вопль менялы:

— Защиты и справедливости!

Все зашевелились. Хан поморщился:

— Что ему нужно еще, этому назойливому купцу? Он получил своих коней, пусть удалится с ними.

— А как же моя награда? — поспешил напомнить Ходжа Насреддин.

— Что касается гадальщика, — добавил хан, не взглянув, — то он должен получить обещанную плату.

Торговый визирь высоко поднял кошелек менялы с десятью тысячами таньга, подержал некоторое время над головой, потряхивая, чтобы все видели и слышали, затем бросил к ногам Ходжи Насреддина:

— Возьми, гадальщик; великий хан справедлив!

Но коршуном налетел со стороны меняла, вцепился в кошелек обеими руками.

— А подкуп, о великий владыка! — закричал он, стараясь вырвать кошелек у Ходжи Насреддина и страшно искривив при этом лицо. — Гнусный подкуп, благодаря которому мои несравненные кони опоздали на скачки! Вот они, оба здесь — подкупленный и подкупатель! — Не выпуская из рук кошелька, он дважды вздернул бороду, указав ею на вельможу и на Ходжу Насреддина. — Защиты и справедливости! Пусть объяснит гадальщик, почему не нашел моих коней вчера, если так легко нашел сегодня, сколько ему за это заплачено и кем? Отдай, плут, слышишь, отдай мои деньги!

Он дернул кошелек к себе с такой неистовой силой, что не удержался на ногах — повалился на спину; Ходже Насреддину, волей-неволей, чтобы не выпустить кошелька, пришлось валиться на менялу.

Помост затрещал.

Придворные взволнованно загудели.

Перед лицом хана творилось нечто совсем уж непристойное — драка!

Стражники растащили драчунов.

Кошелек остался у Ходжи Насреддина.

Меняла хрипел и хватался за сердце.

Вот когда пришел час вельможи — час мести, победы, торжества и сокрушения врага! Он, преисполненный решимости, шагнул вперед, смело стал перед ханом:

— Да будет позволено теперь и мне сказать свое слово! Этот меняла обвиняет меня в подкупе. Но пусть сначала он объяснит, каким образом похищенные кони очутились на конюшне его же собственного загородного дома?

Что мог ответить застигнутый врасплох меняла?.. Молчал.

Громовым голосом вельможа воскликнул:

— Мы не слышим ответа! Вот где сокрыто подлинное коварство! Сначала усомниться в победе на скачках своих арабов, резвость которых далеко не соответствует их внешней красоте, затем, во избежание срама, спрятать коней в своем загородном доме и вопить на весь город, что они похищены, — какое название можно дать подобному делу! Поднять на ноги всю городскую стражу, возмутить спокойствие, явиться в непристойном виде, босиком и без чалмы, на это праздничное торжество и своими нудными, лживыми воплями изгнать радость из сердца великого хана, и все это, все — для единственной цели: очернить в глазах повелителя самого верного, самого преданного слугу!

Голос вельможи дрогнул, рукавом халата он вытер глаза, затем, возведя их горе́, продолжал:

— Разве это все не злодеяние? И если уж кому-нибудь надо просить у великого хана защиты и справедливости, то, конечно, мне, невинно оклеветанному и поруганному, а вовсе не ему, не этому меняле, злобное коварство которого не имеет границ! Кто может поручиться, что завтра он не придет во дворец с какой-нибудь новой жалобой, не обвинит меня в ограблении его лавки или, что еще хуже, в прелюбодеянии с его женой?

Это был великолепный, тонко задуманный, далеко рассчитанный ход! Выждав с минуту, чтобы хан имел время запечатлеть в своей памяти эти предохранительные слова, вельможа закончил:

— Спрашивают: кто был похитителем коней? Кто был дерзким вором, которого мы так долго и безуспешно разыскивали? Теперь понятно, почему мы не могли найти

его, теперь нет нужды ходить далеко в поисках этого вора, ибо он здесь, перед нами! Вот он!

И величественно закинув голову, откачнувшись всем телом назад, вельможа простер перед собою десницу с вытянутым перстом, указуя на бледного, съежившегося менялу.

— Я похититель?.. Я вор?.. Украл своих же собственных коней?.. — сбивчиво бормотал меняла.

Его жалкий, немощный лепет был смят, раздавлен голосом вельможи, — так исчезает для нашего слуха журчание ручья вблизи могучего водопада.

— Вот он! — гремел вельможа. — Пусть он теперь опровергнет мои слова!

Как всегда в таких случаях, смущение менялы было многими сочтено неопровержимой уликой, а громовой голос вельможи — бесспорным доказательством его правоты.

Нашлись, однако, и такие, — из числа врагов вельможи, с торговым визирем во главе, — которые приняли в этой распре сторону менялы. Они загудели:

— Кто же будет похищать у самого себя?

— Это невероятно!

— Это неслыханно!

— Такой достойный человек, известный всему Коканду!..

Против них дружно выступили сторонники вельможи; кто-то в качестве примера, что бывают иные весьма странные похищения, опять упомянул о трех мешках золота, похищенных якобы разбойниками на пути в Бухару; верховный охранитель дорог опять пришел в неописуемое волнение и начал кричать о незамощенных базарных площадях; послышались упоминания о водоеме на площади святого Хазрета, о сторожевых башнях, о больших торговых рядах, о поборах, — словом, не прошло и минуты, как вокруг трона опять запылал пожар взаимообличений и попреков. Опять все придворные сцепились и склубились в общей смуте и, хрипя, потные, с багровыми лицами, наскакивали друг на друга. Хан молчал с брезгливо-безнадежной усмешкой на тонких губах, — медленно отвернулся и застыл на троне, опустив плечи, глядя в пустое поле.

О купце, о конях, о гадальщике все, как и в первый раз, конечно, забыли.

На помост поднялся медлительный пожилой стражник — один из старших. Этот стражник служил давно, поседел на ханской службе, все видел, ко всему привык;

будучи от природы человеком вовсе не злым, вдобавок — угнетенным заботами о многочисленном семействе, он никогда не проявлял кнутобойного усердия сверх самого необходимого, за исключением только случаев, если поблизости оказывалось начальство. Мягко ступая по драгоценным коврам, он подошел к меняле:

— Забирай, купец, своих коней и с миром иди домой; тебе нечего здесь делать: им хватит теперь разбираться надолго.

Подталкивая менялу кулаком в загривок — для порядка, тихонько, совсем не больно, потому что начальство не взирало, стражник свел его по лестнице, вручил ему коней, дал в сопровождающие двух младших стражников и отправил домой. Затем вернулся на помост, чтобы таким же образом выпроводить и гадальщика.

Но Ходжи Насреддина уже на помосте не было: он всегда умел уйти незаметно; в это время он был на противоположном конце скакового поля, в светлой тени молодых тутовников, на берегу маленького арыка, бойко и весело бежавшего по белым камешкам, по золотому песку. Шепталась листва, пели птицы, пробежала мышь, плеснулась рыбка, в безмятежном предвечернем покое синело небо, плыли облака. Ходжа Насреддин жадно припал к воде, освежил пересохшие губы, умылся, задрал рубаху, вытер лицо, блаженно ощутив заголившимся животом свежесть ветра. Потом обернулся к полю. Там на помосте, как в клокочущем адском котле, продолжалось кипение страстей: мелькали, смешивались цветные халаты, искрились медали, бляхи, сабли, доносился бурлящий гул взаимообличений, яростных даже и в этом своем слабом отзвуке. Ходжа Насреддин усмехнулся, ощупал в поясе тяжелый кошелек и не спеша, размашистой походкой, сопутствуемый ветерком и немолчным щебетом птиц, пошел берегом арыка, вслед за веселой водой.

Мешок с гадальным имуществом тяготил его. По дороге попался, окруженный старыми деревьями, маленький непроточный водоем, источавший из своих затхлых недр густые запахи гнили; едва Ходжа Насреддин вошел в тень, как вокруг заныли, зазвенели комары и пошли впиваться, липнуть к потному лицу, шее, открытой груди. Выбрав один старый тутовник, искривленный, с узловатыми сучьями и большим дуплом, черневшим под кроной, Ходжа Насреддин засунул мешок в это дупло и для верности примял кулаком. Со свободными руками, легким

сердцем он присел на мшистый корень, горбом выпиравший из-под земли; отмахиваясь от назойливых комаров, он говорил тутовнику: «Смотри не проболтайся, старик; ты ведь только один во всем городе знаешь, куда вдруг исчез главный гадальщик с моста Отрубленных Голов!». Более надежного хранителя своей тайны Ходжа Насреддин не смог бы найти: это был самый хмурый, самый молчаливый старик изо всех, обитавших вокруг водоема, и в глубине своей древесной души он, конечно, таил к людям полное презрение, потому что давно и прочно стоял на своем законном месте, глубоко запустив корни в землю, не боясь ни холодов, ни бурь и не мотаясь неизвестно зачем по белу свету, нигде не находя успокоения сердцу, как это свойственно некоторым людям.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Этим разговором со старым тутовником завершилась для Ходжи Насреддина в книге его бытия одна из примечательных страниц. Все, что он задумал, было исполнено, кожаная сумка менялы открылась перед ним, кошелек с десятью тысячами таньга лежал в его поясе, тяжеловесно соседствуя с другим кошельком поменьше, полученным от вельможи. Теперь, казалось бы, он с полным правом мог подумать об отдыхе, но уже новые заботы теснились к нему.

Не будем описывать в подробностях следующего дня Ходжи Насреддина, — скажем коротко: он покупал. Он покупал все, что попадалось на глаза из вещей, милых детскому сердцу: шелковые халатики, сапожки с цветными кисточками, туфельки, платья, игрушки, сласти, связки бус и серебряных перстеньков. Его сопровождал по базару одноглазый вор, сгибавшийся под тяжестью большого мешка; наполнив мешок доверху, вор уносил его в примыкавший к базару переулок, в один пустой дом, а когда возвращался — его ждал сменный мешок, уже до половины набитый.

Закупки продолжались до вечера. Одноглазый вор выбился из сил, таская мешки. Наконец ударили барабаны, базар вскипел последней сумятицей, и в жарких, низко стелющихся лучах закатного солнца, по всему огромному пыльному пространству, от конской ярмарки на севере до китайской слободы на юге, началось гулкое

хлопанье тяжелых щитов, опускаемых над прилавками, разноголосый звон певучих медных запоров; толпы редели, верблюды и арбы двинулись к ночлегу, караван-сараи широко распахнули ворота навстречу им, бесчисленные харчевни и чайханы наполнили воздух пахучим дымом, который, не расходясь, пластами висел в обезветренном воздухе, нежно-палевый от солнца сверху и угарно-сизый внизу.

Ходжа Насреддин и одноглазый вор, взвалив на спины два последних мешка, направились к дому. Купленную напоследок, уже под барабанный рокот, связку перстеньков Ходжа Насреддин нес в руках и время от времени встряхивал, освежая слух после базарного шума веселым тонким пением серебра.

Напомним здесь, что происходило это все в канун дня дедушки Турахона. Переулок был охвачен предпраздничной суетой. Навстречу Ходже Насреддину и одноглазому то и дело выскакивали из калиток маленькие жители земли, восьми, девяти и десяти лет от роду, и с озабоченно-таинственными лицами и тревожно-радостными огоньками в глазах спешили по своим неотложным и важным делам — кто за разноцветными ниточками для подвешивания тюбетеек, кто на поиски доброго дела, которого сегодня еще не успел совершить. Но хотя и велика была их озабоченность, ни один не забыл поклониться нашим путникам и звонко сказать:

— Здравствуйте, добрый вечер, да будут назавтра удачны все ваши дела! Не помочь ли вам донести мешки?

— Спасибо! — отвечал Ходжа Насреддин. — Да будут удачны ваши дела в эту ночь, да свершатся все ваши надежды и ожидания! Что же касается мешков, — то как вы их понесете, если вас самих можно посадить по трое в каждый мешок? Впрочем, вы можете проводить нас, и это в глазах дедушки Турахона — поверьте мне — будет все равно, как если бы вы тащили мешки.

Дети с восторгом встречали его слова и шли провожать. К дому Ходжа Насреддин и одноглазый прибыли, окруженные шумной гурьбой обутых и босоногих, выбритых и носящих косички, курносых и прямоносых, веснушчатых и гладких, черных, рыжих, белобрысых и всяких иных. Здесь-то как раз и пригодилась связка перстеньков — хватило на всех, даже два перстенька еще остались на нитке.

— Обязательно положите перстеньки в свои тюбетейки, что будете подвешивать на ночь, — наставлял ребятишек Ходжа Насреддин. — Пусть это будет для Турахона знаком, что вы помогали в переноске мешков.

Остаток дня Ходжа Насреддин и одноглазый вор провели в пустом доме, среди сваленного грудами на полу добра — сапожек, халатиков, игрушек и сластей. Здесь и поужинали в слабом янтарно-розовом полусвете зари.

Наступила ночь.

Только луна, стоявшая в небе, в широком туманном круге, видела их последующие дела. Нагруженные мешками, они, крадучись, вышли на затихшую, безлюдную улицу, волшебно преображенную лунным светом: голубая мгла, журчание воды, глубокие тени, образующие в стенах и заборах таинственные проходы, из которых, казалось, вот-вот появится сам Турахон или незабвенный калиф Гарун-аль-Рашид в своем двухстороннем плаще, сверху — рваном и нищенском, но с царственной, усыпанной алмазами подкладкой.

Много раз они возвращались к дому, освобожденные от своего груза, с пустыми мешками в руках, и опять уходили, сгибаясь под тяжестью полных.

Тихо скрипели калитки, оставленные по обычаю не запертыми на эту ночь.

Порою слышался нетерпеливый шепот одноглазого:

— Куда они ухитрились запрятать свои тюбетейки, эти маленькие разбойники, обитающие под здешней кровлей? Подожди, я загляну еще вон в тот конец виноградника.

Тюбетейки отыскивались где-нибудь в затененном углу; в иной поблескивал на донышке знакомый перстенек — тогда Ходжа Насреддин добавлял к подаркам лишний кусочек халвы за участие в переноске мешков.

Майские ночи коротки, а добра приготовили много: носить пришлось без отдыха и быстрым шагом.

В маленький дворик вдовы они попали только к рассвету — уже поднимался туман.

А последние мешки разносили бегом, то и дело поглядывая на разгоравшийся восток, откуда из-за гор и морей шел в рубиновой короне, в солнечном плаще новый сияющий день.

Они успели как раз вовремя. Свой обход они закончили в дальнем переулке, в чисто прибранном, выметен-

ном садике, из которого им пришлось спасаться бегством через забор, потому что какой-то маленький нетерпеливец, вскочивший с постели раньше законного времени, едва не прихватил их у своей тюбетейки. И, сидя с громко стучащими сердцами по ту сторону забора, в мокрых от росы лопухах и репейниках, они слышали восторженные вопли нетерпеливца, взбудоражившего в одну минуту весь переулок, перед этим сонный и тихий. С высокого неба над ними под свежим дыханием утра улетучивалась туманная бледность, и все чище выступала сквозь нее глубокая, густая синева, и лопухи со всех сторон тянули к ним лапчатые листья с дрожащими на них крупными каплями росы, — как грубые ладони рыбаков, добывших жемчуг из моря.

Возвращались они теми же улицами, но уже при солнечных лучах, легко и прохладно скользивших навстречу. Во всех домах по пути они слышали возгласы радости. «О благословенная ночь! — говорил одноглазый. — О великая ночь моей жизни!..» А Ходжу Насреддина пошатывало от усталости.

До нанятого ими дома было далеко, между тем некоторые чайханы уже открылись; полусонные чайханщики, зевая и потягиваясь, разводили огонь в очагах, вытряхивали ковры и паласы.

— А какая нам надобность возвращаться теперь в тот именно дом, если он уже пуст? — сказал Ходжа Насреддин, поворачивая к одной из чайхан.

Чайханщик встретил их с особым приветом, как первых, самых ранних гостей, сделавших почин его торговле: подал душистого чаю, постелил в темном углу два мягких одеяла.

Укладываясь, Ходжа Насреддин сказал:

— Если дедушке Турахону приходится каждый раз так уставать, неудивительно, что он спит потом целый год!

— А я вспоминаю свой черенок, посаженный у гробницы, — отозвался одноглазый. — Как ты думаешь, принялся он или нет?

Ходжа Насреддин не ответил: он уже спал. Он спал, этот веселый странник, умевший сделать своим домом любое место, где только удавалось ему приклонить голову. Через минуту уснул и одноглазый. И ни тягучее скрипение арб, вереницами потянувшихся на базар, ни бубенцы верблюжьих караванов, проходивших перед чайханой, ни оглушительные крики погонщиков овечьих гуртов, ни

вопли водоносов и лепешечников, высыпавших вдруг сразу и во множестве на дорогу изо всех углов, калиток и переулков, — ничто не могло нарушить их глубокого сна. А вокруг чайханы и над нею все уже горело, сияло и плавилось, — из прохладных заводей утра земля плыла в жаркий солнечный океан.

Спали они долго, ничего не зная о трепетном волнении, охватившем в окрестных домах не только детей, но и взрослых. Люди показывали друг другу подарки Турахона, шептались, дивились. Какое объяснение могли они подобрать такому чудесному, небывалому делу, коснувшемуся не одного и не двух домов, а сразу нескольких сотен? Только одно, трогательное в своей простоте, подсказанное верой отцов: значит, все правда, бисмилля рахман рахим!.. Воистину праведен и отмечен бессмертием добрый дедушка Турахон!

Велики, неисчислимы для мира были последствия этой ночи! Может быть, даже и сейчас многие люди неведомо для себя носят в сердцах ее отзвук. Эта ночь вернула многим кокандцам веру в истинность и несомненность добра на земле, — какое другое дело может по высоте сравниться с таким?

Город волновался, перешептывался... А в бедном домике вдовы все заполнила собою молчаливая робкая радость. Трое сыновей вдовы нашли каждый в своей тюбетейке по тысяче таньга золотом, кроме богатых подарков, сложенных тремя кучками на земле и бережно прикрытых сверху тряпками — от росы (забота одноглазого вора). Что могла подумать об этом бедная женщина, что — говорить? Она ничего и не говорила, и не думала — только плакала и верила. В жизни перед нею словно расступился давящий со всех сторон мрак безысходности, рассеченный надвое широким и ярким лучом надежды, помощи, доброго участия в ее судьбе.

Взрослые дивились ночным событиям, а дети — нисколько: ничего другого и не ждали они от своего старинного друга и покровителя. Им не было нужды укреплять в себе веру в добро, ибо вера эта, данная им вместе с жизнью, еще не поколебалась в них, подточенная ложным хитромудрием, и светилась в их сердцах первозданной девственностью. Собравшись в хороводы, кружились они в садах по мягкой, шелковой траве и звонкими голосами старательно выводили свою благодарственную песенку:

Открывает южный ветер
Вишен белые цветы,
День встает, лучист и светел,
Солнце греет с высоты.

И под ясный свист синицы,
Под весенний гром и звон,
Просыпается в гробнице
Добрый старый Турахон...

Под эту песенку, несущуюся отовсюду, Ходжа Насреддин и одноглазый вор в тихий предвечерний час покидали Коканд.

Они отправлялись на поиски горного озера, о котором в Коканде Ходже Насреддину так ничего и не удалось узнать.

Бойко семенил по дороге ишак, не разделивший за это время ни одной из забот своего хозяина; сидя в седле, Ходжа Насреддин жаловался одноглазому:

— Он опять растолстел, как бочка! Скоро я уже не смогу ездить на нем, придется продать его какому-нибудь киргизу с кривыми ногами.

А песенка, не умолкая, летела за ними; один хоровод передавал ее второму, третьему — и так без конца, из садика в садик:

Дни весенние крылаты, —
Сна не зная от забот,
Шьет он мальчикам халаты,
Платья девочкам он шьет...

Миновали дворцовую площадь с подземной тюрьмой, над которой, восходя из трех отдушин, стояло сизое зловонное марево, миновали мост Отрубленных Голов. Ходжа Насреддин, упершись обеими руками в седло, приподнялся, чтобы взглянуть последний раз на гадальщиков. Управительская ниша все еще пустовала, но вокруг ниши старика заметны были суета, мелькание, беготня: там заискивали. И поблескивал издали костным лоском знаменитый, намазанный маслом череп.

Вброд — Ходжа Насреддин в седле, подобрав ноги, а одноглазый разувшись и засучив штаны — пересекли бурливый ледяной Сай, просвеченный солнцем насквозь, до самого дна, до пестрой гальки и круглых камней, а противоположный берег встретил их знакомым напевом:

И когда всем детям снится
В лунном свете майский сон, —

Он выходит из гробницы,
Добрый старый Турахон...

За городской стеной, после тягучего зноя тесных улиц и сдавленных переулков, сразу опахнуло их свежим ветром, простором. Сады, поля и дороги были перед ними — дороги и вправо, и влево, и прямо...

Одноглазый умоляюще взглянул на Ходжу Насреддина:

— Неужели мы проедем, не посетив гробницы, не взглянув на черенок?

Сказать по правде, Ходже Насреддину не очень хотелось навещать гробницу: он опасался, что вид погибшего черенка угнетающе подействует на одноглазого и подорвет в его душе только что укрепившуюся веру. Но удобного предлога уклониться сразу не смог найти — пришлось ехать.

Повернули к темно и густо зеленевшим справа карагачам и скоро были в их слитной прохладной тени.

Одноглазый шел молча, вздыхал. Его внутренний трепет передался и Ходже Насреддину, который хотя и знал, что никаких чудес не будет, но тоже чувствовал в душе странный жар, переходивший в трепет.

Не зря чувствовал он этот жар! Он вздрогнул, увидев у гробницы большой и сильный куст, покрытый пышными, яркими розами.

Одноглазый вскрикнул и в полубеспамятстве упал на каменные ступени гробницы, обливаясь слезами.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Охранял гробницу все тот же старик, в том же невероятном халате, сшитом как будто из лоскутков и ленточек, принесенных сюда почитателями праведника. Он с первого взгляда узнал приехавших:

— Как удалось вам пройти сюда — разве нет на дорогах застав? Говорят, в городе возникла какая-то смута, сопряженная с именем Турахона.

— Кому нужно, — тот пройдет. Какие заставы смогут удержать его? — указал Ходжа Насреддин на своего спутника, распростертого перед входом в гробницу.

Старик придвинулся ближе и, трясясь от мелкого внутреннего смеха, прошептал:

— Помнишь, я говорил, что черенок на этот раз обязательно примется, разве я не оказался прав?

Он словно помолодел; сгорбленный, темный, старый, он светился каким-то внутренним светом через глаза — такие прозрачные, что, думалось, он никогда бы не смог скрыть за ними ни одной черной мысли.

— Старый лис! — сказал Ходжа Насреддин. — Мне понятны все твои плутни, все хитрости! Где ты раздобыл такой великолепный куст и как ухитрился перенести его, не повредив корней?

— Это мне стоило немалых трудов. Но что я могу поделать со своим старым сердцем — оно разорвалось бы от жалости, если бы этот человек опять нашел свой черенок засохшим. Вот я и решил сам сотворить маленькое чудо.

— Ты сотворил не маленькое чудо, а очень большое, ибо такими чудесами только и держится мир, — ответил Ходжа Насреддин.

Одноглазый поднялся, вошел в гробницу.

— Пусть помолятся вдвоем, — сказал старик.

— Вдвоем? Разве там есть еще кто-нибудь?

— Какая-то женщина, вдова, по-моему — сумасшедшая. Рассказывает, что дедушка Турахон подарил ее детям три тысячи таньга, помимо всякой мелочи, вот она и пришла вознести ему благодарственную молитву. Ей, должно быть, приснилось...

— Старик, не кощунствуй! Я только что из города и могу торжественно поклясться, что в ее рассказе нет ни одного слова лжи. Научись же наконец верить в чудеса — ты, ежедневно созерцающий их и даже творящий сам!

— Если так, то я верю, — пробормотал старик, несколько смутившийся под взглядом Ходжи Насреддина. — Может быть, Турахон и вправду ходит гулять по ночам, когда я сплю? Может быть, даже заглядывал и в мою каморку?

— Он заглянул глубже — в твое сердце, и оставил в нем навсегда свой благостный след.

Старик задумался и долго молчал, глядя затуманившимися глазами поверх гробницы, в мягкую остывающую синеву над куполом, где с шелковым шелестом крыльев сновали туда и сюда хлопотливые горлинки, полные забот о своих птенцах.

— Вдова принесла Турахону в благодарность нерушимый обет: взять в дом четвертого сына, какого-нибудь сиротку.

— Еще чудо! — воскликнул Ходжа Насреддин. — Теперь ты видишь воочию, как одно добро, совершенное в мире, порождает второе, а второе порождает третье — и так без конца. Могуча сила добрых дел, и только добру суждена победа на земле!

— Именно так! — прошептал старик, размягчившись. — После нашей встречи я много думал над твоими словами и признал их неоспоримую правоту. Но не спеши осуждать меня за мои прошлые заблуждения, — пойми, что они были порождены великой болью. Аллах дал мне жалостливое сердце: при виде чужих страданий я сам страдаю больше всех. И не могу никуда укрыться от слез несчастных и стонов обиженных. Было время, когда мне удалось на несколько лет спрятаться от беспощадного зла жизни в одном тихом далеком селении, где я служил хранителем горного озера, орошающего своими водами окрестные поля. Благословенные годы! Мое старое, измученное сердце смогло отдохнуть немного. Но скоро зло настигло меня и там: оно явилось в образе нового владельца озера, некоего Агабека. Это чудовище, слившее в себе свирепость дракона и бессердечие паука, словно бы не родилось из чрева женщины, а возникло из мерзостных глубин зла, подобно плесенному грибу, возникающему из древесной сырости...

— Подожди, старик, подожди! — Сердце у Ходжи Насреддина подпрыгнуло до самого горла, заткнув дыхание. — Агабек, говоришь ты? Владелец горного озера? Тот самый, что обложил жителей селения неслыханными поборами за воду?

В эту минуту он был похож на охотника, что долгое время искал в ущельях пятнистого мягколапого барса и уже отчаялся найти его, и вдруг на мокром песке у ледяного всклокоченного ручья увидел след — совсем свежий, еще не успевший заветриться.

— Вот, вот, он самый, — сокрушенно вздохнул старик. — Ты уже слышал о нем?

— А не знаешь ли ты, у кого и как он приобрел это озеро?

— Говорят, выиграл в кости.

Ходжа Насреддин нашел Агабека!

Продолжая наше уподобление, скажем: охотник увидел барса. Он на лету схватил глазом бесшумно мелькнувшую в зарослях желтую тень и в переливчатом мерцании листвы под ветром, в пляске солнечных пятен успел заметить иные пятна, сразу исчезнувшие.

Схватив старика за руку, Ходжа Насреддин усадил его на коврик возле дымившегося костра:

— Садись, отец! Садись и рассказывай. Мне нужно многое узнать от тебя, очень многое. Где, в каких горах это озеро? Каков с виду Агабек? Сколько ему лет? Не удивляйся моему волнению, поверь, что за ним кроется не только праздное любопытство. Откуда он взялся, этот Агабек? Где жил и что делал раньше?

— Вопросы твои летят, как пчелы из улья, разве могу я уследить за всеми сразу? — взмолился старик. — Осади коня своего нетерпения, задавай вопросы по одному, чтобы мог я отвечать не спеша, обстоятельно и обдуманно, как это положено людям моего возраста.

В прежние годы верили, что человек, о котором заглазно говорят в дурную сторону, испытывает щекотание в носу и беспрерывно чихает, хотя бы разговор происходил вдалеке от него. Этому Агабеку, наверное, пришлось чихнуть подряд не меньше раз пятидесяти, если даже он наглухо закупорил в своем доме все окна и двери, опасаясь холодного ветра с гор.

Он ошибался, этот презренный Агабек: ветер, опасный для него, ветер возмездия и расплаты, дул не с горных вершин. Из долины!..

— Сегодня счастливый день! — радовался Ходжа Насреддин, окончив свои расспросы. — Все получили от дедушки Турахона подарки: вдова, мой одноглазый спутник и я сам. Один ты остался без подарка, старик. Но так не будет, держи!

Он сбросил с плеч, старику на колени, свой новый халат, полученный при выходе из тюрьмы.

Старик благодарил и отказывался. Ходжа Насреддин заставил его взять подарок.

— Куда же я дену теперь лишний халат? — недоумевал старик, облачившись в обнову и разглядывая свою старую ленточно-лоскутную ветошь, которая, будучи снятой с его плеч, уже ничем решительно не походила на человеческую одежду. — Выйдет, пожалуй, подстилка... Можно сделать и подушку...

— Сделай из этого дым, — посоветовал Ходжа Насреддин.

— Дым? — не понял старик.

— Ну да! Смотри, как это делается.

Взяв из его рук ветошь, Ходжа Насреддин бросил ее в костер.

Помог еще и ветер — повалил черный дым.

— Вот и все! — сказал Ходжа Насреддин, закашлявшись и припадая к земле. — Смотри, какое великолепие, какой цвет, какая в нем едучесть; такой дым не часто приходится видеть, а нюхать — тем более!

Старик охал, кряхтел, сожалел, но поделать ничего уже не мог: ветошь сгорела.

По ветру издали донеслись детские голоса:

За подарки в день счастливый,
Ясный, теплый, золотой,
Мы поем тебе «спасибо»
В нашей песенке простой.

Пусть же, песенке внимая,
Погружаясь снова в сон,
В этот день веселый мая
Улыбнется Турахон...

...А первую звезду Ходжа Насреддин и одноглазый вор встретили далеко за Кокандом. Их путь лежал на запад, в горы, что смутной громадой высились впереди, резко отграничивая изломанной линией своего хребта землю от неба. Словно тихий светоносный океан, слегка розовато-сиреневый, разлился над миром, легкие тучки стояли в нем, как волшебные острова, с отмелями, заливами и размытыми косами, и одинокая зеленовато-льдистая звезда, совсем еще молодая, прозрачная, казалась огоньком далекого корабля, плывущего в светлом тумане.

Стемнело быстро; светоносное море со своими волшебными островами исчезло; звезд высыпало несчетное множество, и первая, самая ранняя, затерялась в них. А потом небосвод охватило пожаром: показалась луна — огромная, красная, уже переходившая на ущерб; она всплыла над горами, и в ее мглистом красноватом свете опять обозначилась изломанная линия хребта.

Повеяло свежестью, пришла ночь. Ходжа Насреддин, оставшийся без халата, начал поеживаться и все чаще приподнимался в седле, вглядываясь — не блеснет ли на дороге впереди огонек уютной сельской чайханы.

Так, втроем, начали они свой новый поход: ишак, одноглазый вор и Ходжа Насреддин. Но если бы мы встретили их в эту ночь на каменистой, тускло поблескивающей дороге, то нам почудилось бы, что с ними в дальний путь незримо идет четвертый — дедушка Турахон.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

> **Мудрый аллах и всеведущий, сделай так, чтобы спасение этого юноши было делом моих рук!..**
>
> ***«Тысяча и одна ночь»***

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Знаменитый самаркандский дервиш Керим-Абдаллах, исследуя внутреннюю сущность людей, учит, что есть люди ночного тумана, есть люди яркого дня. Над первыми непреодолимую власть имеет луна, над вторыми — солнце. Такое различие знаменитый дервиш объясняет часами рождения, лунными или солнечными: какая из этих двух взаимопротивостоящих и взаимопротивоборствующих планет первой проникнет своими лучами в кровь новорожденного, той он и останется верен до конца жизни. От луны кровь человека получает прохладность, от солнца — кипучесть и жар; соответственно этому и духовное зрение, которым он объемлет мир вокруг, бывает либо лунным, либо солнечным. В первом случае оно затуманено дымкой, придающей всему оттенок тишины и грусти, когда все, даже сейчас перед глазами стоящее, воспринимается человеком как отзвук из прошлого, словно бы он живет второй жизнью, что повторяет первую, но повторяет как сон; во втором случае оно переполнено ярким, победоносным светом: все видно, все ясно, все живет вечно — ничто не уходит бесследно, все движется, и кипит, и блещет самоцветной радугой; здесь властвует Жизнь, ни с кем ничего не деля, ничего не уступая ночи, сохраняя все для себя, требуя каждую минуту жертвы от своего избранника — с тем чтобы в следующую минуту с царственной щедростью отблагодарить его тысячекратно; здесь потребны человеку неослабные усилия разума и жаркое горение души! Жить в этом бурливом потоке света и блеска, движения и гула не легко, зато для души многоприбыльно в смысле тех высоких наград,

которыми Жизнь одаряет своих верных и преданных; здесь нет вчерашнего дня, только всегда, неизменно сегодняшний, нет слова «был», только — «есть»; значит, для смерти, область которой — ничто, двери сюда закрыты!

Ходжа Насреддин родился, надо полагать, в самый полдень, под прямыми, отвесными лучами в упор: кровь его как зажглась от них, так и сохранила в себе неугасимым этот огонь. Вот почему не было такого случая в его жизни, чтобы он проспал полуденный час: словно в медный гулкий щит ударит солнце и разбудит его; вся его пламенем полная кровь закипит, забурлит, отвечая на этот призыв, устремится, пенясь и звеня, с тугим напором по жилам, взбудоражит сердце, заставив его подпрыгнуть... Какой уж тут сон!

Был полдень, когда он проснулся в чайхане последнего селения по эту сторону гор; дальше к перевалу уже не было человеческого жилья.

Наскоро пообедав, они с одноглазым двинулись в путь.

В горах дорог нет — только вьючные тропы; здесь не бывает колес, здесь владения пешеходов и всадников. Тропа кружит и вьется, готовая в иных местах пересечь самое себя, и часто путники, разделенные двумя часами пути, переговариваются друг с другом без усилия — один сверху, а второй снизу. Долина с ее садами, полями, селениями уходит все глубже в туман; впереди все тот же хребет, близкий — рукой дотянуться, далекий — никак не дойти, снизу — темный и хмурый, выше — бело-лиловый, с огромными зубцами, грубо выломанными в небесной синеве.

На следующий день с утра узенькая тропинка прилепилась к обрыву и побежала над бездной, вдоль гибельного уступа шириною в три локтя; стоял густой туман — ничего не видно, словно земля вдруг вывернулась у наших путников из-под ног, встала боком, и теперь на ней можно только висеть, уцепившись за этот уступ.

Ходжа Насреддин шел впереди, за ним семенил ишак, шурша иногда левым боком по каменному отвесу, третьим шел одноглазый. А по их следу беспрерывно слышалось зловещее шипение щебня, оползавшего струйками в бездну.

Обрывом шли часа два, тропинка постепенно расширилась, страшная бездна отошла вправо и уже не кружила им головы своей белесой затягивающей мглой — земля

вернулась к ним под ноги. Крутясь и кипя, мчался ледяной поток, перемешавший в своем тесном русле водовороты, пену и камни, что с глухим подводным гулом катились по его дну.

Отсюда начинался извилистый спуск: они достигли перевала. Туман разошелся; над ними первозданной чистотой синело горное небо — такое, что нельзя о нем рассказать иначе, как вспомнив волшебную птицу Хумай! Оно синело, сияло, полное непостижимого света, — в этой великой синеве растаяли все мысли и чувства Ходжи Насреддина, и он забыл себя, лежа на разостланном халате лицом вверх, открыв грудь прохладному ветру...

Спускались быстро, вскоре свернули со вьючной тропы на пастушью, круто падавшую сквозь мелкорослый кустарник; воздух стал гуще и жарче, пахло солнечным медовым настоем, гудели пчелы, звенели травяные сверчки. Крутизна склона увеличивалась, ишак временами садился на тропинку и ехал ползком, а Ходжа Насреддин, хватаясь одной рукой за кусты, другой — придерживая ишака, говорил:

— Тише, тише, иначе ты весь сотрешься и в долину спустится только одна твоя голова.

Это был очень трудный и утомительный спуск, зато короткий. К полудню они были уже на арбяной дороге, ведущей в селение Чорак — цель их путешествия. Дикие буро-каменные склоны сменились зелеными, на которых там и здесь виднелись киргизские юрты, как большие белые птицы, присевшие отдохнуть, и между ними — пестрая россыпь овечьих отар, наподобие раковин, брошенных горстью.

Еще один поворот — и они увидели селение, а немного в стороне — озеро.

Здесь предстояло разыграться тому поединку, ради которого Ходжа Насреддин покинул свой дом. Как благородные витязи древних сказаний, ходившие в горы на смертный бой с двенадцатиглавым драконом, пришел в горы и Ходжа Насреддин, только дракон имел на этот раз человеческое обличье, а под витязем вместо могучего коня Тулпара был маленький пузатый ишак. Но тот, кто способен своим умственным взором проникать в глубину явлений, не усмехнется пренебрежительно и не отложит в сторону этой книги: он понимает, что в каком бы внешнем виде ни столкнулись добро и зло, их битва всегда преисполнена великого смысла, направляющего судьбы

мира. Вот что сказал по этому поводу чистейший помыслами и проникновеннейший Ибн-Хаким: «Нет ни одного злого дела и нет ни одного доброго, которое не отразилось бы на последующих поколениях, независимо от того, когда и где оно совершено — во дворце или хижине, на севере или на юге и были тому делу очевидцы или нет; точно так же во зле и в добре не бывает ничтожных, малозначащих дел, ибо из совокупности малых причин возникают великие следствия...».

Селение было небольшое — дворов сто пятьдесят, как определил Ходжа Насреддин, окинув взглядом веселую зелень садов и виноградников, с желтеющими повсюду кровлями, над которыми восходили дымки — был обеденный час. Белая дорога, та самая, на которой они стояли, вбегала в эту зелень и терялась, но по извилистой гряде высоких тополей, с обеих сторон огораживающих дорогу, можно было проследить все ее повороты до противоположного конца селения, где она опять появлялась и бежала дальше, сначала в поля, потом — по волнистым склонам — в долину. За тополями виднелся низенький минарет, откуда сейчас было самое время услышать полуденную молитву, но, верно, муэдзин был уже очень стар и немощен голосом: его призыв сюда не доносился.

Ходжа Насреддин перевел взгляд на озеро; оно покоилось в удлиненной впадине, напоминавшей очертаниями след яйца на песке; дальний берег был каменистым, голым, а ближний, примыкающий к садам, зарос буйной курчавой зеленью, над которой высились темнолистые округлые кроны старых карагачей. Сверху к озеру тянулись две живые блестящие жилки — два горных ручья, а вниз отходила только одна жилка, темная — сухое русло арыка, отводящего воду к полям. Между озером и селением, не соприкасаясь с другими садами, зеленел отдельный большой сад, обнесенный высоким забором, а в его тенистой глубине прятался дом — драконово логово, дом Агабека.

— Вот мы и пришли, — сказал одноглазый вор.

— Присядем, — отозвался Ходжа Насреддин. — Нам надлежит посоветоваться.

Около дороги из трещины в скале струился холодный ключ, над ним трепетал мерцающий листвой одинокий молодой тополь, каким-то чудом выросший здесь, на кам-

нях. Внизу тополь окружали цепкие, жилистые репейники, а вокруг зеленел, светился коврик травы; не было в камнях такой щелочки, трещинки, откуда бы ни выглядывала она — свежая, веселая, изумрудная, свидетельствуя о неистребимой силе Живой Жизни, которая всегда и везде торжествует над любыми камнями! По траве, помахивая хвостом, топтался ишак; репьи, налипшие к его красивой хвостяной кисточке, превратили ее в безобразный колючий комок.

— Уже успел? — укоризненно сказал Ходжа Насреддин, поймав на лету его хвост.

Одноглазый, принявший в этом путешествии все заботы об ишаке на себя, достал из-за пазухи деревянный гребень и занялся расчесыванием кисточки и выбиранием из нее репьев.

— Жаль, что это озеро, а не какая-нибудь другая вещь, более удобная, чтобы ее украсть, — задумчиво сказал он, окончив приведение ишачьего хвоста в благопристойный вид. — После того как я побывал в последний раз у гробницы, я чувствую в себе великую силу для совершения различных добрых дел во славу милосердного Турахона и обуреваем рвением поскорее взяться за них.

— Добрые дела, — отозвался Ходжа Насреддин, — но помыслы о них почему-то неизменно устремлены к воровству. Вот и об озере ты подумал — украсть, а не иначе.

— Может быть, встанем перед Агабеком на колени, может быть, он смилостивится и отдаст сам?

— Вот именно: отдаст сам. Смотри сюда.

Ходжа Насреддин указал на заросли репейников; пригнувшись, вор увидел большого паука, пожиравшего желтую бабочку. Он был нестерпимо отвратителен, этот паук: членистые ноги, поросшие рыжим волосом, коричневый крест на спине, круглое брюхо — гладкое, тугое, белесое, как будто налитое гноем. Все было уже кончено: на паутине оставалась пустая шкурка с обвисшими мертвыми крылышками, а паук, раздувшись, уполз в свою засаду под лист лопуха и притаился там, зажав в передних коротких лапах, как в руках, сигнальную нить.

— Понял? — спросил Ходжа Насреддин.

— А что здесь понимать? Паук сожрал бабочку, вот и все.

— Смотри, что будет дальше.

Сняв тюбетейку и держа ее наготове, Ходжа Насреддин отправился в обход репейников; несколько раз он прицеливался, но впустую, и продолжал свои поиски; наконец нашел. Быстрый взмах, сердитое гудение толстым басом, — он поймал кого-то в тюбетейку.

Это был шершень, великолепный могучий шершень, не какой-нибудь молодой и неопытный, а вполне зрелый, в расцвете всех своих сил, с полным запасом яда, шершень-красавец, с длинным желто-черным полосатым туловищем, настоящий крылатый тигр! Перегнув молодую веточку, Ходжа Насреддин достал из тюбетейки этого блистательного шершня и долго им любовался, поворачивая так и этак; шершень злобно гудел, мерцая смугло-прозрачными крыльями, в ярости грыз веточку, подгибал туловище, из которого временами прочеркивалось черное страшное жало, по силе удара сравнимое только со скорпионьим.

— Зачем он тебе? — осведомился вор. — Разве пустить в штаны Агабеку?..

Ходжа Насреддин, не ответив, снял с ближнего куста какую-то старую, брошенную хозяином паутину и обмотал ею шершня, чтобы смирить его крылья; гуденье затихло, — тогда он осторожно положил своего пленника на паутину, принадлежавшую отвратительному пауку.

Паутина провисла и задрожала от яростных попыток шершня освободиться. Сигнальная нить задергалась. Паук выскочил из-под лопуха. Такой добычи ему, наверное, никогда еще не попадалось! Подобно горному охотнику, переправляющемуся по канату через провал, быстро и ловко, брюхом вверх, он перебрался по сигнальной нити с лопуха на паутину и проворно подбежал к пленному. Как он радовался, как ликовал, опутывая шершня клейкими нитями, бегая и суетясь вокруг! Наконец он связал жертву накрепко, — теперь можно было и пообедать; выпустив хищные челюсти, заранее подрагивая тугим гладким брюхом, паук подполз к шершню. «Вот так бабочка попалась, еще толще первой!..» Он оседлал жертву и приник было к ней челюстями, но шершень вдруг изловчился, перегнулся, ударил! Из его заостренного туловища вырвалась как бы с коротким свистом черная молния. Разящая, неотвратимая! Она вырвалась и пронзила паука насквозь, снизу и до креста на спине, оставив в его брюхе весь яд.

Оглушенный ударом, паук повис на паутине, потом его лапы начали бессильно — одна за другой — отцепляться, и он повалился на землю. Еще раза два он слабо содрогнулся, пошевелил мохнатыми членистыми конечностями и затих навеки.

Паутина осиротела.

А шершень, освободившийся от своих пут, расправил крылья и с торжествующим трубным гудением взмыл в солнечный простор, оставив по себе внизу доблестный след — разорванную паутину и холодеющий труп врага.

— Теперь я понял! — сказал одноглазый, глядя вслед улетавшему храбрецу.

Они приступили к беседе о дальнейших действиях. Было решено, что в селение они войдут порознь; если потом придется встретиться в чайхане или другом месте — будут показывать вид, что друг друга не знают. Об остальном пока не говорили: дело покажет само.

Ходжа Насреддин подтянул подпругу седла, сел на ишака и обычным щелчком между ушей тронул его к зеленеющим внизу садам.

Одноглазый вор остался у родника.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Жители селения Чорак хорошо помнили те благословенные времена, когда озеро — единственный источник жизни для их полей — принадлежало еще не Агабеку, а некоему знатному наманганцу, несметно богатому и столь же беспечному, ни разу не приехавшему в горы взглянуть на свое достояние. Этот богач избрал для себя на земле путь роскоши, забав и наслаждений (тогда он был еще далек от возвышенной мудрости Молчащих и Постигающих); озером от его имени управлял один приезжий человек, убеленный сединами, отдававший все время лежанию в чайхане и сокрушенным разговорам о несовершенствах мира. Плату за поливы он взимал очень скромную, самым бедным отпускал воду в долг, говоря: «Смотри не забудь!» — своей же собственной памяти такими суетными мелочами не перегружал, записей не вел и осенью, по сборе урожая, довольствовался тем, что ему принесут, вполне полагаясь в этом на совесть самих должников. В Наманган своему хозяину он посылал в иной год три сотни таньга, в иной — меньше, а то и вовсе

ничего не посылал, издержав деньги частью на себя, частью на разных вдов, сирот и обездоленных, вечно осаждавших его. Справедливости ради заметим, что все эти пожертвования он делал от лица хозяина и для благодарственных молитв неизменно указывал его имя, а не свое. Наманганский богач, получив из Чорака письмо с приложением каких-нибудь жалких трехсот таньга и длинного списка облагодетельствованных, молящихся за него, смеясь восклицал перед своими друзьями: «Поистине, мой озерный управитель предполагает меня каким-то неслыханным грешником, — иначе зачем бы ему проявлять столько неусыпных забот о спасении моей души!».

Так и шла жизнь чоракцев, вдали от всяких бурь и тревог, словно катилась по гладкой дороге, без ухабов и тряски; год уходил за годом, как легкие тучки за снеговой хребет, шумели свадьбы, рождались дети, переселялись на кладбище старики, а их почетные места в чайхане занимали другие, с такими же длинными бородами, побелевшими неизвестно когда, незаметно для их обладателей. В тихой, однообразной жизни всегда так бывает: каждый отдельный день бесконечно долог, но месяцы и годы мчатся с непостижимой быстротой, словно проваливаются: не успеешь оглянуться — минул уже год, не успеешь собраться спилить наконец какой-нибудь намозоливший глаза старый, высохший тополь — прошло три года, и тополь, смотришь, рухнул сам от ветра, обвалив еще забор, который надо теперь чинить: дело тоже не быстрое, требующее долгих месяцев. А в бороде и на висках между тем все прибавляется и прибавляется серебра, и кладбищенский сторож стал отменно вежлив при встречах и уже не раз стороной заводил разговор о том, что есть у него на кладбище отличное местечко, впору хоть бы и самому волостному управителю, и следовало бы заблаговременно пересадить на это местечко молодой чинар, чтобы успел он обжиться на кладбище и укрепить свои корни в земле.

Казалось, темные силы зла забыли дорогу в Чорак; ничто не нарушало благоденственной жизни селения. Лощина укрывала его от ветров, опустошительные наводнения, порожденные горными ливнями, не повреждали полей, падеж скота проходил стороной, саранча, если и проносилась, то высоко, в другие места. Пламенели пышные, во все небо, закаты — и угасали, оставив по себе розовый тихий свет на снеговых вершинах; в мирную вечернюю

тишину, в простор туманных полей и влажных садов далеко летел с минарета призыв муэдзина, всегда один и тот же, всегда печальный и возвышенно-сладостный. И наступала ночь с ее голубым сиянием, полная самозабвенного рокота соловьев и вздохов ночного ветра, которому вторили своими вздохами влюбленные в уснувших садах.

Но правдивы, хотя и горестны сердцу, слова многострадального скитальца Шехида из Балха: «Лето сменяется осенью, светлый день — темной ночью, и возлежащего на ложе благополучия ожидает пропасть беды». Пришла беда и в Чорак; она пришла в образе Агабека — нового хозяина озера.

В тот самый безмятежный полдень, когда Ходжа Насреддин и одноглазый вор отдыхали у родника, любуясь сверху мирной красотой чоракских садов, в селении происходила небывалая смута. Все мужчины собрались в чайхану, женщины шумели во дворах.

Сегодня утром Агабек назвал цену второго весеннего полива; на этот раз он хотел не денег: он задумал жениться и потребовал себе в жены черноглазую маленькую Зульфию, дочку всеми уважаемого престарелого земледельца Мамеда-Али. Пораженные таким требованием, чоракские старики отказали Агабеку; он усмехнулся, — в таком случае пусть платят деньгами, четыре тысячи таньга.

Четыре тысячи! Во всем Чораке, у всех жителей совместно, никогда не бывало таких денег! Старики полдня выстояли перед Агабеком; они были такими жалкими, придавленными: старые домотканые халаты, грубые порыжевшие сапоги, белые бороды на темных морщинистых лицах, согбенные спины, заскорузлые руки, сложенные в знак почтения на животах... Агабек остался непреклонен: или Зульфия, или четыре тысячи.

С этой вестью и вернулись старики в чайхану.

Какая поднялась буря негодования, гнева! Словно раскаленным ветром опахнуло чоракцев: кулаки сжались, лица потемнели, глаза зажглись зловещим огнем. Казалось — еще минута, и они все поднимутся, возьмут вилы, топоры, мотыги, пойдут приступом на Агабеково логово, разнесут и размечут его!

Но так не случилось. Буря прошумела, не причинив Агабеку ни малейшего вреда. В жилах у каждого чоракца нашлась трусливо-рассудительная капля, и она взяла верх. Одному она говорила: «Но ведь это же не твою

сестру требует Агабек!», другому шептала: «Слава аллаху, опасность не коснулась моей дочери!», третьему советовала: «Береги свою собственную невесту и не суйся в чужие дела». Гнев быстро иссяк, пламя в сердцах погасло, кулаки разжались, плечи обвисли, спины согнулись. И если бы Агабек появился сейчас вблизи чайханы, все поклонились бы ему так же раболепно, как и вчера.

Мамед-Али, отец Зульфии, сидел на помосте чайханы, смотрел в землю, сведя брови горестной чертой.

Все ждали его слова. В этом ожидании был уже и приговор: отдать. Но все молчали: каждый хотел, чтобы это слово прозвучало со стороны, а он бы только согласился, с поджиманием губ и скорбными вздохами, как бы подчиняясь чужому решению, — стародавний способ обманывать свою совесть. От Мамеда-Али требовали жертвы, от него же требовали взять на себя и весь грех. И деваться ему было некуда.

А в дальнем темном углу притаился Саид — жених Зульфии; он был совсем молод, в том возрасте, когда мужчины, даже и не обделенные внутренней силой, еще не умеют отражать ударов судьбы, если эти удары приходятся в сердце; он знал, что через пять, десять, пятнадцать минут, но старый Мамед-Али все равно произнесет роковое слово; этот юноша был не из тех, что малодушно отворачиваются, когда жизнь показывает им клыки, предпочитая быть сожранными со спины.

Молчание затягивалось. Юноша не выдержал, шагнул на свет из темного угла.

— Ну что же вы молчите? Кто из вас первым припадет устами к сапогам Агабека? — Он повернулся к Мамеду-Али: — А ты, старик! Совсем недавно ты обещал, что встретишь меня в своем доме как сына, — где твое обещание?

— Что делать, что делать, Саид, — прошептал Мамед-Али. — Мы слабы, а он богат и могуч.

— Вы не слабы, вы трусливы! Трепетные зайцы — вот кто вы!

В голосе его столько было сердечной муки, что Мамед-Али не смог сохранить сухими своих глаз.

Но другие старики уязвились, обиделись.

— Вы слышите! — воскликнул кузнец Умар, сухой, высокий, с желтым лицом и щетинистыми бровями. — Вы слышите, как он позорит нас! Ах ты безродный выкормыш!

Саид был круглым сиротой, приемным сыном чоракского чайханщика Сафара, — об этом и напомнил ему кузнец.

— Спасибо, сынок, спасибо, — подхватил коновал Ярмат, — отблагодарил на славу!

— Так вот она, твоя благодарность за все добро, которое мы тебе сделали, подобрав сиротой и вырастив в нашем селении! — добавил шерстобит Алим.

Справедливости ради заметим, что подобрал Саида чайханщик Сафар, растил и кормил его тоже Сафар, а все остальные не имели к этому делу никакого касательства и не поступились для бедного сиротки ни единым ломаным грошем; когда же он вырос — все поспешили объявить себя его спасителями и на этом основании требовали благодарности. Он терпел и отмалчивался, проклиная в душе свое униженное молчание.

Что он мог на этот раз ответить старикам, какими доводами поколебать их решение, когда речь шла для каждого о больших убытках в хозяйстве, о продаже лошадей, овец и коров, если Зульфия не войдет в дом Агабека.

Саид махнул рукой и, ни на кого не глядя, молча вышел из чайханы через маленькую заднюю дверь в переулок.

Здесь он был один; жестко поблескивала под солнцем каменистая дорога, по которой в ногах у Саида катилась, как шерстяной мальчишеский мяч, его короткая полуденная тень; безотзывно молчали глухие заборы и стены; Саид преривисто вздохнул, стиснул зубы и засмеялся особенным, странным смехом — тихим, но таким леденящим, что всякий услышавший побледнел бы и сотворил молитву.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Тем временем Ходжа Насреддин миновал на своем ишаке чоракские сады и въехал в селение. Он въехал не большой дорогой, а каким-то боковым переулком, — так подсказала ему узенькая, бежавшая садами тропинка, на которую он повернул, ища в тени укрытия от зноя. Разве мог он подумать, что неведомо для себя избирает как раз тот единственный путь, которым и должно въехать ему в Чорак, чтобы вовремя предотвратить некое

страшное дело и обрести неожиданную встречу, важную для всего дальнейшего.

Проезжая мимо полуразрушенного забора, он увидел в его проломе глубину маленького одичавшего садика. Рядом со старым пнем стоял на коленях какой-то прекрасный юноша, обнаженный до пояса, и вслух молился. А за его спиной торчал укрепленный в трещине пня острием вверх длинный пастушеский нож. Солнечные лучи дробились о широкое лезвие, разбрызгивая слепящими искрами.

— О всемогущий всемилостивый аллах, ниспошли мне, ничтожному, прощение за эту самовольную смерть! — говорил юноша. — Пусть я буду прахом твоего покрывала в раю. Остаться на земле? Но слишком велико мое горе и необъятно страдание. О мой небесный отец, не наказывай меня слишком строго: никогда я не был избалован радостями, а теперь отнимают единственную и последнюю!

Сообразив, что здесь происходит, Ходжа Насреддин придержал ишака, спешился, неслышно подкрался к юноше, вытащил из трещины в пне крепко вколоченный нож, бросил его в траву, а сам уселся на пень в ожидании.

Юноша окончил молитву, поднялся с колен, зажмурился, глубоко захватил воздуха, словно собираясь нырнуть, и, взмахнув руками, упал ничком, грудью прямо на пень.

Он рассчитал верно: если бы не Ходжа Насреддин, смертоносное лезвие вонзилось бы ему как раз в сердце.

Но угодил он головою Ходже Насреддину в живот — и замер, полагая себя уже конченным; руки его повисли, пальцы коснулись земли. Прошла минута, вторая...

— И долго ты думаешь так лежать? — осведомился Ходжа Насреддин.

Звук человеческого голоса изумил юношу: он приготовился отныне слышать только ангельские голоса. Он встрепенулся, взглянул: его изумление усугубилось при виде склонившегося к нему лица, вовсе уж не похожего на ангельское — загорелого, запыленного, с черной бородкой и веселыми ясными глазами.

— Где я, и кто ты? — слабым голосом спросил юноша.

— Где ты? На том свете, конечно, куда и стремился. А я главный загробный палач, которому во власть передаются все подобные тебе молодые безумцы для расправы над ними.

Юноша уже все понял; вместо благодарности Ходжа Насреддин услышал горькие упреки:

— Зачем, зачем ты спас меня от смерти! Для меня нет места на земле, нет ни одной, самой жалкой крупинки счастья — только беды, только страдания, только утраты!

— Откуда ты знаешь, что в будущем приготовила тебе земля? — остановил его Ходжа Насреддин. — Мне вот уже сорок пять лет, а я и то ничего ровным счетом не знаю. А в твои годы обращаться к жизни с упреками — это уж чистое кощунство! Что случилось, расскажи; быть может, я сумею помочь тебе?

— Мне никто не поможет.

— Неправда; человеку, пока он жив, всегда можно помочь. Доверься мне, расскажи.

— Разве ты Гарун-аль-Рашид, разве ты подаришь мне четыре тысячи таньга, без которых я не могу спасти своего счастья?

— Ты проигрался в кости?

— Не усугубляй моих страданий своими насмешками, о чужеземец!

— Я насмехаюсь? О нет, мне приходилось смеяться над собственным горем, но над чужим — никогда! Я просто недоумеваю: зачем тебе четыре тысячи таньга?

— Я люблю одну девушку...

— Понял, понял, все понял! Она из богатого дома, ее жестокий отец требует с тебя выкуп.

— Ее отец ничего не требует с меня и всей душой желает нашего совместного счастья. Но в это дело вмешался Агабек, хозяин озера.

— Вмешался Агабек! — воскликнул Ходжа Насреддин громовым голосом, заставившим юношу вздрогнуть. — Вмешался Агабек, говоришь ты? Возблагодари же, юноша, аллаха за нашу встречу, спасительную для тебя. Рассказывай!

Он был охвачен боевым порывом, жаждой битвы; еще ни разу не видев Агабека, он уже загорелся гневной радостью при одном его имени! И с восторгом почувствовал свои сорок пять лет не более как словом, а серебряные нити в бороде и на висках — лишь призраком.

Выслушав рассказ Саида о событиях, уже известных нам, Ходжа Насреддин нетерпеливо спросил:

— Сколько дней осталось до полива?

— Десять дней.

— Время не упущено. Успокойся, твоя несравненная девушка не достанется Агабеку. Вмешался он в это дело, вмешаюсь и я!

Саид все больше и больше дивился странному чужеземцу и в то же время не мог не верить ему:

— Прости меня за мои докучливые сомнения, но ведь за этим поливом будет следующий и снова следующий. И Агабек опять потребует или мою невесту, или четыре тысячи, а может быть, даже и больше.

— Не думаешь ли ты, что я приехал сюда к вам, чтобы платить вашему Агабеку за каждый полив по четыре тысячи, а может быть, даже и больше? Нет, я приехал, имея другие цели, совсем другие, как раз обратные. Это все в будущем, а пока что давай уговоримся. Первое условие: ты никому не скажешь о нашей встрече, о нашем разговоре. Впрочем, своей несравнимой, ослепительной Саадат или Фатиме — не знаю, как ее зовут...

— Зульфия, — прошептал юноша.

— Своей прекрасной Зульфии ты все равно скажешь; предупреди, что дело не шуточное, пусть она прикусит свой язычок — розовый и достаточно длинный, как я заранее уверен. Второе условие...

Но здесь за спиной Саида, в проломе забора, он увидел своего одноглазого спутника, подающего ему руками тайные знаки.

— Второе условие доскажу потом, а сейчас — сиди и не оборачивайся.

Юноша исполнил приказание в точности: ни разу не обернулся, хотя любопытство грызло его нестерпимо. «О чем и с кем сговаривается этот таинственный чужеземец?» — думал он, объятый внутренним трепетом, состоявшим из надежд и сомнений, страха и радости, но как ни прислушивался к невнятно гудевшим за его спиной голосам, слов разобрать не мог.

А сговаривались Ходжа Насреддин с одноглазым вором о деньгах, надобность в которых возникла так неожиданно.

— Четыре тысячи! — воскликнул вор. — Да в этих горах негде достать и сорока таньга, если даже обшарить их все, от подножий до самых вершин!

— Тебе придется вернуться в Коканд.

— Милостивый аллах!

— Ты раздобудешь в Коканде нужные четыре тысячи и принесешь сюда. На дорогу в оба конца потребуется шесть дней, в Коканде — три дня; итак, на девятый день, считая от сегодняшнего, ты должен быть здесь.

— Считая от сегодняшнего? Значит, я должен пускаться в обратный путь сразу же, не дав себе ни одного часа отдыха!

— Да, сразу же, с этого места.

— О пророк Магомет! И еще: ведь если я добуду эти деньги привычным для меня способом, я опять собьюсь с добродетельной и благочестивой стези.

— Сделай так, чтобы деньги, добытые тобою, были праведными деньгами.

— Праведные деньги? Четыре тысячи!.. О Кааба, о Мекка, о прибежище веры! Я даже не знаю, как они выглядят, праведные деньги, — милостыню, что ли, должен я собирать у какой-нибудь мечети?..

— Я сказал, а ты слышал. Подвиг во славу милосердного Турахона ожидает тебя в Коканде. Счастливого пути!

— Счастливого отдыха, — с унынием ответил одноглазый, уже предвкушавший прохладу чайханы и степенные беседы с Ходжой Насреддином о добродетели; повернулся и зашагал обратно по дороге.

Он был очень раздосадован, сердился, но мысль не возвращаться больше в Чорак, обмануть Ходжу Насреддина даже не пришла ему в голову; бесконечно грешный по мелочам, он в больших делах заслуживал доверия — не в пример иным беспорочным, что навязываются людям в друзья, а потом из низменной трусости предают их первому, кто догадается прикрикнуть построже.

Ходжа Насреддин вернулся к Саиду.

— Выслушай мое второе условие: ты никогда не будешь допытываться — кто я, зачем к вам приехал, что делал в прошлом и что намереваюсь делать в будущем.

Юноша прикусил язык: этот странный чужеземец в точности угадал все вопросы, которые уже готовы были на комариных крылышках любопытства вылететь из его рта.

— Сейчас я поеду в чайхану, — заключил Ходжа Насреддин. — Вечером, на свободе, поговорим еще. Спрячь куда-нибудь подальше этот нож, выброси отчаяние из сердца и помни: в твои годы еще ничего не теряют, а только находят, идя по земле.

Они расстались. Юноша проводил своего спасителя долгим затуманенным взглядом, присел на пень и задумался. Лучи низкого солнца сбоку освещали его лицо с высоким чистым лбом, прямым носом, твердой линией губ и подбородка; он тихо улыбался своим мыслям: отчаяние покинуло его душу, он принадлежал жизни, на его пылком сердце запечатлелся — и теперь уже навсегда — благородный чекан Ходжи Насреддина.

Ночью в маленькой чайхане, у пагасавшего очага они продолжали беседу. Сафар, второй отец Саида (его по справедливости следовало бы считать первым, ибо он был отцом от доброго сердца, а не по слепому закону природы), мирно похрапывал под одеялом, вкушая отдых после многотрудного дня, больше никого не было в чайхане — они говорили свободно. В глубине очага еще дышал живой, переливающийся, весь в летучих искорках, золотистый жар, а по краям угли уже затянулись пеплом и тихо звенели, остывая. Только что взошла поздняя луна, вслед за нею прилетел ветер, по стройному тополю от низа к вершине поднялась мерцающая тускло-серебряная струя. На далеком холме светился одинокий пастуший костер и дрожал большой красной искрой — как упавшая звезда, дотлевающая на земле.

— Потерявший мужество — теряет жизнь. Надо верить, о юноша, в свою удачу. Покойный Ходжа Насреддин часто говаривал...

— Разве он умер?

— Увы, умер. То ли багдадский калиф содрал с него кожу, то ли бухарский эмир утопил его, — так я слышал в Коканде.

— Но, может быть, это еще и неправда?

— Как знать! Может быть, и неправда... Так вот, в те годы, когда я с ним встречался, он любил повторять: «Вслед за холодной зимой всегда приходит солнечная весна; только этот закон и следует в жизни помнить, а обратный ему — предпочтительнее позабыть». Однако я трачу, кажется, все свои наставления впустую? — Ходжа Насреддин проницательно посмотрел на Саида. — Ты вертишься, как будто тебя подкалывают шилом снизу! Но сейчас глубокая ночь, куда ты спешишь?

Ответный шепот был таким тихим, что Ходжа Насреддин смог уловить, угадав по губам, только одно слово — Зульфия.

— Прости меня, о благородный юноша! — воскликнул он. — Действительно, я и постарел и поглупел, что привязываюсь к тебе со своею дурацкой мудростью. Зульфия — вот наивысшая мудрость, иди же скорее! Поверь мне: все ученые книги мира не стоят одного-единственного словечка из тех, что услышишь ты сегодня в лунном саду!

Каждому возрасту соответствует своя мудрость, для сорока пяти лет она заключается, между прочим, в том, чтобы не ложиться спать с пустым желудком. Проводив Саида, Ходжа Насреддин наскоро поужинал сухим сыром и черствой лепешкой из своих дорожных запасов и начал устраиваться на ночь. Уже засыпая, он еще раз подумал об этих влюбленных и от всего сердца пожелал им счастливого свидания в саду.

— Бежим, Саид! Отец сказал, что отдаст меня Агабеку.

— Успокойся, он не отдаст тебя, моя ласточка!

— Бежим, бежим! Куда-нибудь в горы, к цыганам или киргизам. На дорогу я приготовила узелок — лепешки, сыр и сушеную дыню.

— Подожди, может быть нам и не придется бежать.

— О Саид, неужели они и тебя сумели уговорить, как уговорили отца?

— Не плачь, я никому не собираюсь тебя отдавать; послушай — у нас появился друг и защитник.

— Друг и защитник? У нас?.. Кто?

— Я не могу сказать тебе — кто, да, по правде, и сам не знаю его имени. Знаю только, что он спасет нас!

— Когда ты встретил его?

— Сегодня.

— И уже успел ему поверить?

— О Зульфия, если бы ты видела его взгляд, слышала голос, и ты бы поверила! От него исходит могучая сила, укрепляющая сердца.

Звенели ночные ящерицы, звенели серебряные монетки на шее Зульфии, что-то еще звенело — вся ночь была полна неясных, затаенных звуков. И Зульфии не хотелось утра: пусть бы навсегда оставалась земля в этой пахучей, истомной, голубоватой мгле. Но уже начиналось на востоке первое робкое пробуждение света, и горы смутно выступили из темноты своими вершинами — близился день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Утром за чаем Саид рассказал, что Агабек вот уже несколько лет обходится без сторожа на своем озере и самолично отпускает воду на поля.

— Вначале он оставил на службе того же доброго старика, что раньше управлял озером от наманганского хозяина. Ты сам понимаешь, что вместе они пробыли недолго: старик отпустил кому-то бесплатно воду, Агабек пронюхал и выгнал его. С тех пор этот добрый старик в наших местах не появлялся; должно быть, он уже в могиле — мир праху его, да успокоит его всевышний в своих блаженных садах!

— Он живехонек! — отозвался Ходжа Насреддин. — Живехонек, как мы с тобой, он стал теперь чудотворцем: от скуки творит разные мелкие чудеса. Но почему Агабек не поставил сторожем кого-нибудь другого?

— Здешним людям он не доверяет, а чужеземные редки у нас, только проездом.

— Посещает ли он эту чайхану?

— В полдень придет обязательно — выпить чаю и сыграть в шахматы с моим приемным отцом. Он любит шахматы, но, кроме отца, ему нет в нашем селении пары.

— Теперь есть.

— Ты играешь в шахматы?

— Играю в шахматы и еще в другие забавные игры; вот, например, игра — «Паук и шершень».

— Никогда не слышал.

— Услышишь, увидишь.

Начиналась дневная жара, прямые лучи солнца падали с неба отвесно, как бы вонзаясь в землю. О работе на полях, у гончарных печей, в дымных кузницах нечего было и думать. Чоракцы — и земледельцы и ремесленники — потянулись со всех концов в чайхану. Они входили, здоровались с хозяином Сафаром, затем обращали приветствия к Ходже Насреддину. «Мир вам, почтенные труженики, — отвечал Ходжа Насреддин, — да благословит аллах ваш заслуженный отдых!» К этому он добавлял что-нибудь каждому отдельно: земледельцу — пожелание хорошего урожая, гончару — красивого и ровного обжига, мельнику — умягчения помола, пастуху — обильного приплода в стадах. С первой минуты — по рукам, по загару, пятнам на халате — он угадывал, откуда

пришел человек в чайхану: с поля, от гончарной печи, из кузницы или от кожемятного корыта.

Саид ушел по своим делам. Гостям прислуживал Сафар — маленький сухой старик, одетый очень бедно, ибо его доход от чайханы не превышал в день двух, редко — трех таньга. Временами старик поглядывал на пустующее место Саида у кумганов, и тогда на его сморщенное лицо набегала тень: он знал о любви своего приемного сына и страдал за него.

Подавая чайник Ходже Насреддину, Сафар тихонько сказал:

— Зачем, о путник, ты внушаешь моему Саиду несбыточные мечтания? Лучше бы ты указал ему способ, которым можно вырвать из молодого сердца любовь.

— А зачем ее вырывать? — удивился Ходжа Насреддин. — Пусть себе растет и приносит плоды.

— Но если они горьки и таят в себе нестерпимую скорбь?

— Только у неумелых садовников, почтенный старец, только у них!..

Сафар хотел что-то возразить, но вдруг сорвался с места, забегал, засуетился, хватая то веник, то полотенце, то шахматную доску.

Гости поднимались, расходились, поглядывая на дорогу.

Взглянул на дорогу и Ходжа Насреддин, и сердце в нем вспыхнуло: к чайхане, предшествуемый своим животом, шел Агабек.

Последнего медлительного гостя Сафар выпроводил в заднюю дверь. Чайник Ходжи Насреддина перенес в дальний угол: путник, идти ему некуда, пусть остается.

Агабек вошел и сразу как будто наполнил всю чайхану своей тушей. Он вошел как повелитель, едва ответив Сафару на подобострастный поклон, а Ходжу Насреддина вовсе даже и не заметил. Походка и осанка Агабека, маленькие угрюмо-тусклые глаза, глубоко сидевшие под низким мясистым лбом и таившие в себе темные, мрачные чувства, тяжелая черная борода, перстень с печатью на пальце — все это подсказало Ходже Насреддину вывод: «В прошлом начальник, не из высших, но и не из мелких... Имел свою печать — либо судья, либо податной управитель. Живет в глуши, к службе вернуться не может; какой-то грех, и, видимо, не малый. Здесь ему не хватает почета, раболепия от низших, и нет

высшего, перед которым он сам мог бы, трепеща, преклониться, — вот его самая большая утрата, его неутешное тайное горе».

Это было очень хорошо, что Агабек — из начальственного сословия; теперь Ходжа Насреддин был спокоен за свою совесть: она не встанет между его мечом и головой наказуемого, как это с ним нередко случалось, когда его противниками были купцы либо какие-нибудь многоученые лекари, звездочеты и предсказатели. В них удавалось ему подсмотреть, и весьма часто, немаловажные душевные достоинства, включая доброту и зачатки совести, — и тогда его меч не разил их насмерть, довольствуясь лишь обритием в должной степени; что же касается лиц начальственных, то здесь он бывал беспощаден.

Агабек между тем грузно уселся, отвалился на подушки, скользнул по Ходже Насреддину мимолетным взглядом, как по ничтожной мухе, затем, пыхтя и отдуваясь, налил себе чаю.

Сафар принес шахматную доску, уселся напротив. Началась игра.

Ходжа Насреддин со своего места хорошо видел доску и мог следить за игрой, вникая во все подробности.

Природа обоих игроков отражалась на доске, как в ясном зеркале. Сафар играл приниженно, робко, брался то за одну, то за другую фигуру, нерешительно приподнимал, думал и ставил на прежнее место, наконец — словно прыгал с обрыва в холодную воду — делал какой-нибудь малопонятный ход, в ущерб себе. Он больше всего боялся что-нибудь потерять, пешку или фигуру, и, не принимая ударов, бегал и метался по всей доске, как мышь, застигнутая в ларе. И, конечно, все время терял.

Агабек, наоборот, хватал. Как жадная щука, он хватал все, что попадалось под руки: пешки, слонов, коней, башни. Лишь бы схватить! Дважды он просмотрел верный мат, увлеченный хватанием.

Сафар играл белыми; через полчаса у него оставалась одна-единственная сиротливая пешка и три фигуры: король, ферзь и конь, разбросанные по всей доске, бессильные прийти на помощь друг другу. Все остальное похватал Агабек, а сам за все время отдал старику только одну пешку.

Белый король, выжатый из своего угла, был со всех сторон стиснут вражескими силами, готовыми нанести ему последний удар.

— Сдавайся, старик, сдавайся! — кричал Агабек; его вздутое чрево ходило ходуном от одышки и смеха. — Посмотри, что у тебя осталось! Я забрал в плен все твое войско, а сам потерял только одну пешку. Ходи, что же ты медлишь, ходи конем, ходи ферзем, это все равно, тебя ничто не спасет: твой король в пасти у моего ферзя, в самой пасти, на острых зубах!

Столь бесстыдное ликование уязвляло Сафара, что было видно по сердитому блеску в его слезящихся глазах; поджав губы, взъерошившись, он еще пробовал сопротивляться: взялся было за пешку, чтобы подвинуть ее вперед, подержал над доской и поставил на прежнее место, взялся за коня, потрогал ферзя, коснулся пальцем короля, но хода так и не сделал.

— Ходи же, ходи! — кричал Агабек. — Клянусь бородою моего отца, недурная игра!

— Действительно, игра недурная, можно поставить против одной таньга — две!

Это подал свой голос из темного угла Ходжа Насреддин.

— Две против одной! — воскликнул Агабек. — Да любой мало-мальски смыслящий в шахматах смело поставит пять против одной! Жаль, старик, — обратился он к Сафару, — жаль, что мы не играем с тобою на деньги: сегодня ты остался бы голым, без чайханы и без халата!

— А вот я не прочь закончить игру и на деньги. — Ходжа Насреддин вышел из угла и смело стал перед игроками. — Я поставил бы двести таньга — все, что у меня есть.

Откинув тяжелую голову, Агабек высокомерно воззрился на него:

— Ты, как видно, ищешь простаков по дорогам, почтенный? Да я сам, не сходя с места, готов отвечать за черных пятью сотнями, если бы нашелся какой-нибудь дурак, чтобы поставить за белых только сотню!

— Такой дурак нашелся: двести таньга за белых. Теперь — твое слово!

За белых? На что он рассчитывал, на что надеялся? На выигрыш — вопреки очевидности?

Нет, о выигрыше он не думал, — наоборот, заранее считал свои двести таньга погибшими. Выигрывал он не деньги, — другое: первое сближение с Агабеком. Свой кошелек он приносил в жертву всемогущей судьбе, —

да будет она милостива и благосклонна к нему в своем последнем решении!

— Ты ставишь за белых? — дивился Агабек. — Сафар, откуда он взялся, этот чужеземец, — он верно, сумасшедший или накурился в твоей чайхане гашиша?

— Довольно пустых слов! — Ходжа Насреддин вывернул над подносом свой кошелек. — Если ты не боишься, почтенный, то ставь!

— Я боюсь? — Засопев, Агабек полез в пояс, бросил на поднос большой, увесистый кошелек желтой кожи. — Здесь семьсот пятьдесят! И впредь не болтай, усмири свой язык — ты, осмелившийся предположить во мне страх перед тобою, ничтожным!

— Игра начинается! — возгласил Ходжа Насреддин.

Сафар отодвинулся в сторону, освобождая место. Он с недоумением и жалостью смотрел на Ходжу Насреддина: действительно, что ли, сошел с ума этот странный гость?

И вдруг вспомнил, что гость еще не расплачивался за ночлег, чай и корм, съеденный ишаком. Сразу же позабыл об игре, охваченный мелочным трепетом: что была ему эта игра и куча таньга на подносе, рядом с опасностью потерять своих шесть таньга?

— Чужеземец, а чем ты будешь расплачиваться со мною?

Ходжа Насреддин взглянул на старика с презрением, — как ненавидел он в людях этот мелочный страх за свой жалкий грош, хотя бы вокруг погибала вселенная! Однако на сей раз он был в своем осуждении не прав: шесть таньга для старика означали три дня сытой жизни; вовремя сообразив это, Ходжа Насреддин устыдился:

— Не тревожься, чайханщик: если я проиграю, отдам тебе сапоги.

— Не надо, — вмешался Агабек: ему захотелось изобразить великодушие. — Ты получишь с меня, Сафар.

Он взял с подноса монету в десять таньга и протянул чайханщику.

А Ходжа Насреддин вдруг задохнулся, даже побледнел. Что-то его обожгло изнутри. Может быть, вспышка гнева?

Нет — совсем другое: на доске он увидел улыбку судьбы. Словно бы оценив его жертву, судьба царственно возвращала ему двести таньга с великим добавлением от себя.

На доске он увидел победу белых — свою победу! Сначала — не поверил глазам, еще раз прикинул ходы. Сомнения исчезли. Победа!

— Ты слишком спешишь, почтенный, — обратился он к Агабеку. — Недостойно мусульманина проявлять щедрость за чужой счет.

Сильнее нельзя было ничем уязвить Агабека.

— За чужой счет! — багровея, захрипел он. — Хорошо, я выучу тебя почтительности, бродяга! Сафар, положи монету на поднос. Положи монету и возьми в залог сапоги, — пусть он уйдет из нашего селения босиком! Твой ход — слышишь ты, презренный оборванец! А я думал еще дать на дорогу тебе двадцать таньга из выигранных денег, но теперь, после твоей беспримерной дерзости, не дам ничего!

— А я и не прошу.

— Ходи! Но сначала сними сапоги, передай чайханщику.

Ходжа Насреддин снял сапоги, передал их Сафару, затем смело двинул своего ферзя через всю доску в противоположный угол:

— Шах черному королю!

— Всемилостивый аллах! — с притворным ужасом глумливо вскричал Агабек. — Право, я думал, мое сердце разорвется от страха. Такой удар! Но ты, видно, ослеп: здесь на страже стоит моя башня! Ну, где же твой ферзь?

С этими словами он своей башней снял с доски белого ферзя.

— Что ты думаешь делать теперь? — обратился он к Ходже Насреддину. — Ты, дерзкий оборванец, оставшийся без денег и без сапог! Потерей ферзя ты отсрочил свою неминуемую гибель только на один ход!

Ответом ему было короткое слово.

— Мат! — сказал Ходжа Насреддин, переставив своего коня с черного поля на белое.

Агабек тупо смотрел на доску, не понимая, что произошло. По мере того как истина прояснялась перед ним, его мясистое лицо синело все гуще и гуще.

— Игра окончена! — сказал Ходжа Насреддин. — Где мой выигрыш?

Сафар дрожащей рукой придвинул к нему поднос; недвижным взглядом, полным тоски и темного страха, он следил, как пересыпает Ходжа Насреддин деньги в свой кошелек, надевает сапоги, снятые всего минуту

назад. У старика отнялся язык с перепугу, хотя во всем этом деле он был только свидетелем, — но такую уж робкую душу носил он в себе, что всегда и всего боялся и постоянно ждал беды от каждого нового человека, от каждого события вблизи. «Что будет, что будет?» — с тоской спрашивал он себя, предвидя великие бури; ему думалось, что теперь весь гнев Агабека обратится против него и сокрушит его благополучие. Между тем все это благополучие, за которое он так трепетал, заключалось всего-навсего в чайхане, слепленной на скорую руку из глины и камыша, ценою, на самого щедрого покупателя, никак не дороже двух сотен таньга; больше у Сафара ничего не было — ни дома, ни сада, ни поля, а дрожал он так, словно хранил в подвалах слитки золота. Нищий, он обладал другим бесценным сокровищем — свободой, но пользоваться ею не умел; он сам держал себя на цепи, сам связал крылья своей души! От нищеты он взял ее плотскую часть, то есть лишения, а от богатства — духовную, то есть вечный страх; и в том и в другом случае он избрал для себя наихудшее.

Агабек все молчал, не отрывая выпученного взгляда от доски; сизая краска на его лице переходила уже в черноту.

— Чайханщик, у вас есть в селении лекарь? — осведомился Ходжа Насреддин. — Может быть, во избежание удара, следует пустить ему кровь?

Лекаря звать не пришлось, опасность миновала; с натугой, с хрипом Агабек перевел дыхание, его раскаленный загривок начал остывать, и зловещая темно-сизая синева исчезла с лица.

— Как я не заметил! Поистине, путник, ты напустил мне в глаза колдовского тумана!

— Сыграем еще?

— Пусть меня пожрет самый смрадный из дьяволов, если когда-нибудь я сяду за доску с тобою! Уезжай поскорее, хватит с тебя и семисот пятидесяти таньга, что ты уже выудил!

Но Ходжа Насреддин вовсе не собирался покидать селения так быстро.

— Опять изгнание, отовсюду изгнание! — Он скорбно усмехнулся, поник головой. — Уезжать... уместнее было бы другое слово: бежать. О злая судьба, о ветер невзгод!

Стрела его жалобы попала в цель.

— Разве тебя кто-нибудь преследует? — насторожился Агабек.

— Несчастья, беды, неудачи — вот мои неутомимые преследователи!

— Если твои неудачи всегда таковы, как сегодняшняя, можно тебе позавидовать.

— Это всего лишь случай, один на сотню противоположных.

— А куда ты направляешь свой путь?

— Не знаю и сам. Куда глаза глядят. Мне все равно — юг или север, восток или запад...

— Но ты ведь имеешь какую-нибудь цель, ради которой предпринял свое путешествие? Ты не богач и не вельможа, чтобы разъезжать для собственного удовольствия.

Так завязался между ними первый разговор — большая игра в паука и шершня началась.

Агабек расспрашивал не без умысла: может быть, этот путник виновен в каком-нибудь беззаконии? Тогда — схватить его, предать в руки стражников и таким образом вернуть свои семьсот пятьдесят таньга! Ходжа Насреддин усмехался в душе над его надеждами, но развеивать их не спешил:

— Какое уж тут удовольствие! Знай, о почтенный, что не столь давно и я обладал собственным домом и кое-каким достатком, но по воле злой судьбы внезапно лишился всего и ныне пребываю в ничтожном, жалком положении, хуже нищего.

— Что за несчастье постигло тебя?

— История моя соткана из тысячи скорбей! Я жил в Герате, где занимал многодоходную должность старшего писца у главного базарного надзирателя...

— В Герате? Я бывал там когда-то. Продолжай.

— Клянусь аллахом, мой начальник был мною доволен. Я собирал для него плату за места на базаре, причем за плохие получал как за средние, а за средние — как за хорошие. Каждый грош, что мог я вырвать у какого-нибудь презренного земледельца или ремесленника, я нес в дом начальника и благоговейно возлагал на михраб моей преданности. Начальник, принимая деньги, всегда говорил: «О Узакбай, если бы я имел даже тысячу горшков, полных золота, бестрепетно доверил бы тебе ключи от подвала!». И не ошибался в этом: его добро было для меня дороже собственного; так учил меня отец, служивший

ключником у одного вельможи, таким остался я на всю жизнь. За верную службу начальник отделял мне одну двадцатую часть доходов.

— Не много, — заметил Агабек.

— Но достаточно, чтобы за восемь лет я скопил изрядное достояние. Кроме того, я ценил свою должность за то, что она оставляла мне время для моих ученых занятий, рассказывать о которых сейчас излишне. И вдруг над моим начальником грянула гроза...

Агабек слушал очень внимательно, из чего Ходжа Насреддин заключил, что тратит слова не впустую.

— Мой начальник допустил некий промах по службе.

— Ага!.. — догадался Агабек, сделав рукою хищное движение, словно прибирая что-то в карман.

— Враги не преминули донести, мой начальник лишился службы и всего имущества, отобранного в казну.

— Понятно, понятно, — сказал Агабек, участливо кивая толстой головой. — Эти промахи по службе иной раз обходятся очень дорого, очень дорого!..

Еще одна страница из его прошлой жизни открылась Ходже Насреддину.

— Скорбную участь моего начальника разделил и я и ныне брожу по свету, не зная, где положить свой страннический посох и приклонить голову. И, наверное, мне до конца дней пришлось бы скитаться, если бы не сегодняшний, столь счастливый выигрыш.

Агабек нахмурился, засопел: Ходжа Насреддин коснулся его кровоточащей раны.

— Постараюсь этими деньгами распорядиться разумно.

— То есть сыграть с кем-нибудь еще? — ядовито осведомился Агабек.

— Да защитит меня пророк от соблазна: такое счастье дважды не повторяется. Нет, я изберу себе дело по сердцу.

— Торговлю?

— К торговле я не чувствую склонности. Служба в каком-нибудь тихом уголке, где бы я мог продолжать ученые занятия, — вот куда устремлены мои помыслы. Но кто же даст мне, чужеземному неизвестному человеку, такую службу без денежного залога? Но теперь, когда я могу внести полновесный залог...

— Ты едешь на поиски службы?

— Не здесь же мне оставаться! Мой ишак, кстати, отдохнул, пора мне трогаться в путь. Благодарю тебя, почтеннейший, за твои семьсот пятьдесят таньга; эй, чайханщик, сколько я должен за чай и за ночлег?

Ходжа Насреддин взял седло, служившее ночью ему изголовьем, и направился к ишаку. При этом он туго натянул аркан жадности, которым привязал к себе Агабека.

— Подожди, подожди! — воскликнул Агабек, видя, что его семьсот пятьдесят таньга вот-вот накроются шайтаньим хвостом. — Вернись, я скажу тебе важное слово.

Аркан жадности оказался толстым и прочным, узел — затянутым наглухо.

— Ты едешь на поиски службы — об этом как раз я и хочу потолковать с тобою.

— О почтеннейший! — Ходжа Насреддин поспешно вернулся в чайхану. — Ты, может быть, знаешь такое местечко — моим благодарностям не было бы границ!

— Вот именно — знаю.

— Благословенное слово!

— И неподалеку, совсем рядом.

Ходжа Насреддин изобразил на лице почтительное недоумение:

— Достойному собеседнику благоугодно говорить загадками, но мой ничтожный разум бессилен проникнуть в них.

— Ответь сначала на несколько вопросов, а потом уж я открою тебе смысл моих слов, — сказал Агабек: он думал, что и впрямь говорит загадками! — Ответь, не приходилось ли тебе когда-нибудь раньше бывать в нашем селении?

— Нет, не приходилось.

— Не имеешь ли ты здесь каких-либо родственников?

— Нет, не имею: все мои родственники остались в Герате.

— А друзья? Может быть, в нашем селении есть человек, с которым ты дружен или когда-нибудь раньше был дружен?

— Такого человека здесь нет: все друзья мои тоже в Герате.

— Но, может быть, твои родственники — из оставшихся в Герате — имеют здесь друзей, или, наоборот, твои гератские друзья имеют здесь родственников?

— Клянусь бородою отца, что ни я сам, ни мои родственники и друзья, ни родственники моих друзей и

друзья моих родственников, ни даже родственники друзей моих родственников и друзья родственников моих друзей — никогда не бывали в этом селении, никогда о нем не слышали и никого здесь не знают.

— Остается последний вопрос: не бывает ли твое сердце подвержено приступам глупой жалости к чужим людям?

«Вспомнил старика, что охраняет гробницу Турахона», — сообразил Ходжа Насреддин и ответил:

— Всю жалость моего сердца я трачу на самого себя; для чужих не остается ничего.

— Разумное слово! А теперь приготовься услышать нечто удивительное, что приведет тебя в радостный трепет, — видел ли ты здешнее озеро и знаешь ли, кто им владеет?

— Озеро видел, но кто им владеет, не знаю.

— Владелец я. Ты ищешь под денежный залог место, которое могло бы тебя прокормить: что думаешь ты о должности хранителя озера?

Наконец оно прозвучало — единственное слово, которого добивался Ходжа Насреддин! «Хранитель озера», — громом отдалось в ушах Сафара, «Хранитель озера», — повторила горлинка под крышей, «Хранитель озера», — ответил ей перепел из клетки, «Хранитель озера», — зашипел, заворчал кумган, окутываясь паром, «Хранитель озера», — подхватил ветер, «Хранитель озера», — зашелестели деревья...

Через десять минут все жители селения, от мала до велика, узнали новость; «Хранитель озера», — слышалось повсюду — в полях, в маленьких, чисто прибранных двориках; об этом говорили мужчины, толковали женщины, щебетали ребятишки.

Когда Агабек и Ходжа Насреддин направились из чайханы к озеру, все встречные отвешивали им подобострастные поклоны и с пугливым любопытством оглядывали нового хранителя, а он, суровый, надменный, даже и не замечал этих поклонов.

Старый Сафар после их отбытия недолго оставался один в своей чайхане — отовсюду понабежали чоракцы и сразу погребли старика под множеством вопросов: о чем толковал Агабек с новым хранителем, как они договаривались, какую плату будет получать хранитель? Помост чайханы трещал, чайники, подвешенные над очагом, качались и звенели, с потолка сыпался мелкий мусор.

— Вы сейчас развалите мне всю чайхану! — кричал Сафар. — Пусть лишние сойдут с помоста на землю! Пусть они сойдут, иначе я не буду рассказывать!

Лишние сошли на землю, уступив помост десятку наиболее почитаемых стариков. Сафар начал рассказывать. Нет надобности повторять его рассказ о событиях, нам уже известных.

Закончил он зловещими словами:

— Мы не знали до сих пор, куда нам деваться от одного, что же нас ожидает теперь, когда их двое!

Ответом ему было молчание, тяжкие вздохи. Перед всеми собравшимися возник неясный, но грозный призрак близких неотвратимых бедствий.

А Сафар, опустив седую голову, сам больно и громко услаждаясь своими страхами, пророчествовал:

— Большие скоро начнутся дела — очень большие! Не к добру все это... Ох, не к добру!

И, словно приглушенным эхом, кто-то ему отозвался:

— Не к добру!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Агабек привел Ходжу Насреддина к отводному арыку; здесь был устроен большой деревянный лоток со ставнем, запиравшим воду.

— Смотри! — сказал Агабек, указывая на потемневший от времени, поросший мхом ставень, плотно сидевший меж двух карагачевых столбов с продольными пазами для движения ставня вверх и вниз. — Ты будешь охранять это и никогда никому не откроешь без моего ведома.

Над лотком был укреплен подъемный ворот с ржавой цепью; ниже, продетый в толстые кольца, висел огромный медный замок; над ним через щель просачивалась тонкая светлая струйка и торопливыми каплями скатывалась по мшистым доскам. «Ставень слёз», — подумал Ходжа Насреддин, обратившись мыслями к несчастным чоракцам.

— Никому не верить в долг, и даже на полтаньга! — наставлял нового хранителя Агабек. — Вот ключ от замка, никогда не держи его на виду: какой-нибудь хитрец может запомнить вырезы в бородке и сделает второй ключ.

Ходжа Насреддин опустил ключ в карман, затем передал Агабеку выигранный кошелек:

— Пусть это будет моим залогом.

Неподалеку на бугре стояла глиняная мазанка, обращенная дверью к озеру.

— Жить будешь там, — сказал Агабек. — Каждую ночь ты должен подойти к ставню и удостовериться, что замок цел. Понял, запомнил?

— Понял и запомнил, хозяин.

Этим завершилось его вступление в должность хранителя озера.

Агабек направился домой, унося в бороде ухмылку, а в поясе — кошелек, радуясь, что успел так ловко ухватить за самый кончик хвоста свои семьсот пятьдесят таньга. «Пройдет месяца полтора-два, и под каким-нибудь предлогом я выгоню его, оставив залог в свою пользу, — ибо зачем нужен мне хранитель, если до сих пор я прекрасно обходился без него с помощью такого надежного, такого прочного замка? — размышлял Агабек. — Свои деньги я вернул, а это — самое главное!»

Деньги-то он вернул, спора нет, но что потерял на этом, даже и помыслить не мог!

К вечеру Ходжа Насреддин перебрался в мазанку на бугре. Одну половину мазанки, посветлее, предназначил он для себя: поставил в углу топчан, починил развалившийся очаг; вторую, темную, отгородил тополевыми жердями для ишака.

— По сердцу ли тебе новое обиталище? — спросил он, насыпая ячменя в ишачью кормушку. — Вот занятный вопрос: как теперь понимать наше с тобою соседство под одной кровлей, — то ли я перехожу в ишачье состояние, то ли ты намерен прикинуться человеком?

Неспроста сказал он эти слова: за ними скрывался тайный смысл, ожидавший претворения в дело. Но когда и как — Ходжа Насреддин еще не знал.

Томительно долго таял этот вечер, задумчивый и кроткий, один из тех, что примиряют землю и небо, наполняя мир тихим светом. Ходжа Насреддин сидел на камне, у порога своей мазанки, устремив взгляд на озеро, уже уходившее в блеклую синеву сумерек. Когда из глубины раздумий Ходжа Насреддин поднялся опять на поверхность — вокруг была ночь; посвежело, потянуло росистыми запахами, пришло время сна, — он потянулся, зевнул, направился в мазанку.

За углом что-то зашумело и донесся тихий голос:

— Это я, Саид.

В темноте неясно обрисовалась фигура юноши.

— Зачем ты здесь? — удивился Ходжа Насреддин.

— Я слышал от людей, будто ты принял должность хранителя озера, вот и пришел узнать — правда ли?

— Да, принял. Ты как будто бы встревожен этим, но почему?

Юноша замялся:

— Теперь... когда эта должность... захочешь ли ты вспомнить?..

— О тебе и о твоей несравненной Зульфии? — перехватил его слова Ходжа Насреддин. — О неразумный юноша, не имеющий силы довериться другу, — откуда эти сомнения? Уметь доверять — это величайшая из наук, потребных нам в жизни; судьба подобна благородной арабской кобылице: она не терпит трусливого всадника, но мужественному покоряется. Ты понял?

— Понял, прости меня.

— Не ищи встреч со мной. Не ходи ко мне, пока не позову. Никто не должен видеть нас вместе: не порти мне игры. Я сказал, а ты слышал, иди!

И опять — уснувший сад, серебристый туман, рокот соловья, тонкий звон ящерицы и прерывистый шепот у водоема, в тени:

— Я видела его вчера в щель нашей калитки: он шел вместе с Агабеком из чайханы. Он был так суров и надменен. И я подумала об его обещании помочь нам...

— О Зульфия, почему ты в своей груди не имеешь силы довериться другу? Умей доверять: это величайшая из наук, потребных нам в жизни! Разве не знаешь ты, что судьба подобна благородной арабской кобылице: трусливого всадника она сбрасывает на землю, мужественному покоряется!

— Как умно и красиво ты говоришь, Саид, сам наш старый мулла не сказал бы лучше!

— Нужно всегда помнить, Зульфия, что за холодной зимой приходит солнечная весна, только этот закон и следует помнить; что же касается обратного — то лучше его позабыть.

— Это стихи, Саид, ты сложил их сам, для меня?

Соловей прервал свою песню, звонкая ящерица уснула, забравшись в дупло; звезды заметно передвинулись в небе, водоем затянулся паром — ночь уходила на запад.

Через два дня новый хранитель озера появился у чайханы.

Он появился после полудня, когда Агабек, сыгравший с чайханщиком свою ежедневную партию в шахматы, уже удалился и чоракцы наслаждались отдыхом беспрепятственно.

Не отвечая на обращенные к нему приветствия, хранитель озера подошел к лепешечнику, тот засуетился, прихорашивая свой товар, выкладывая наверх лепешки побелее и порумянее. Хранитель купил — но купил не одну, не две, не три лепешки, а всю корзину целиком!

Точно так же он купил у продавца абрикосов сразу всю корзину, затем удалился со своими покупками.

В чайхане, понятное дело, начались разговоры. Зачем он покупает сразу так много? Лепешки зачерствеют, абрикосы завянут... Может быть, он очень ленив ходить и теперь надолго засядет в своей хибарке?

Но то же самое повторилось и на следующий день: в полуденный час хранитель озера с двумя пустыми корзинами появился у чайханы; наполнив их, одну — лепешками, вторую — абрикосами, он ушел, не заметив, как и вчера, поклонов, обращенных к нему.

Чайхана загудела, заволновалась. Куда он девал все, купленное вчера? Съел? Там хватило бы на пятерых! Загадка!.. В скудной событиями, робкой жизни чоракцев она вырастала до размеров зловещей тайны.

А тут еще один пастух подлил масла в костер пересудов. Этот пастух шел с пастбища в селение, чтобы купить ячменной муки, и по дороге случайно заглянул в хибарку на бугре. Глазам его представилось нечто смутившее разум: новый хранитель озера кормил своего ишака белыми лепешками и абрикосами, освобождая последние от косточек и вырезая ножом червоточины. Покупая муку, пастух, конечно, рассказал об этом лавочнику; тот немедленно закрыл свою лавку и, приплясывая от нетерпения, побежал в чайхану с горячим, обжигающим язык и десны орехом новости во рту.

Кормит ишака! Белыми лепешками, абрикосами! Чайханщик Сафар побледнел. Глупый шерстобит Рахматулла повалился в корчах на спину и задохнулся от смеха. Мельник и маслодел не поверили.

Нашелся из молодых один смельчак, вызвался сходить подсмотреть. Ему повезло: он подкрался к хибарке незаметно и как раз вовремя, — ишак ужинал. Он ужинал

белыми лепешками и абрикосами — в точности, как говорил пастух, а новый хранитель кланялся ему и, подавая на ладони разрезанные пополам абрикосы без косточек, называл его «сиятельным», «блистательным» и «царственнородным».

Смельчак вернулся в чайхану. Притихшая было на время его отсутствия, она вновь загудела. Значит, правда! Но что скрывается за этим? Гончар Ширмат молча постучал пальцем по своему лбу. Такое предположение казалось наиболее вероятным, — но как же тогда Агабек, хитрейший из хитрых, не разглядел этого в новом хранителе? Да и недавняя игра в шахматы?.. Сумасшедшие так не играют! Или, может быть, они с Агабеком вступили в тайный сговор, а все остальное — хитрости, творимые для отвода глаз? Но какой сговор, какую цель он преследует, против кого направлен? Отобрать в свою пользу все поля, отобрать сады — вот что они задумали, не иначе!

— И мою чайхану тоже! — мрачно добавил Сафар. — Надо было соглашаться в прошлом году, когда мне давали за нее сто пятьдесят пять таньга!

Расчет Ходжи Насреддина оправдался: чайханщик Сафар за шахматами рассказал Агабеку об ишачьих пирах в мазанке на бугре.

Чтобы собственными глазами увидеть закупку лепешек и абрикосов, Агабек задержался в чайхане дольше обычного.

И он увидел! Ходжа Насреддин нарочно купил у него на глазах не две, а четыре корзины, — пришлось взять в помощь лепешечника, чтобы донести. При этом Ходжа Насреддин делал вид, что не заметил в чайхане Агабека, но про себя думал: «Сегодня же он пожалует ко мне в мазанку».

К вечеру он увлажнил глиняный пол водою, принес свеженарезанного камыша и устроил ишаку постель, потом разделил половинками абрикосы и разложил в красивом порядке на глиняном расписном блюде, купленном у Сафара за восемь таньга.

В приоткрытую дверь он увидел Агабека, направлявшегося к мазанке.

Небо пламенело, солнце опускалось в море огня; освещенный в спину Агабек рисовался на закатном небе грузно и тяжко, словно высеченный из камня. Но бывает на каждый камень свой молот! Ходжа Насреддин придвинул к себе корзину с лепешками, блюдо с абрикосами, повернулся

лицом к ишаку, спиной — к двери. Закатное солнце окрашивало стену перед ним теплым янтарным светом; ишак, почуяв лепешечный запах, поднял уши — кончики их опушились в сиянии, сквозя тонкими волосками.

— Успеешь! — сердито сказал Ходжа Насреддин, оттолкнув от корзины его подсунувшуюся морду.

Закатный свет на стене погас, прикрытый тенью: Агабек стоял в дверях.

— О блистательный и царственнородный! — без малейшей заминки продолжал Ходжа Насреддин, протягивая ишаку лепешку. — Я нигде не мог найти в этом глухом селении лучших. Да что спросишь со здешних пекарей, если они даже и близко не подходили к дворцовым пекарням! Зато абрикосы хороши, без единой червоточинки; полагаю, они заслуживают вашего сиятельного одобрения.

Абрикосы заслуживали одобрения: в две минуты блюда как не бывало! Затем «блистательный» вернулся к лепешкам и сожрал подряд четыре штуки. Охота к еде у него разыгралась, он требовал еще и еще, — Ходжа Насреддин мог только шевелить в негодовании бровями да тихонько шипеть, а спиной пребывал по-прежнему в низкопоклонном изгибе.

Тень, заслонявшая вечерний свет, пошевелилась.

Как бы услышав шорох, Ходжа Насреддин обернулся, выпрямился, изобразил на лице испуг, замешательство. С преднамеренной неловкостью загородил собою ишака, у которого из пасти торчала недожеванная лепешка.

Агабек шагнул в дверь и уставился на Ходжу Насреддина строгим вопрошающим взглядом.

Ишак продолжал жевать; лепешка, пошевеливаясь, быстро втягивалась в его пасть.

— Вот оно что! — протянул Агабек, делая по старой судейской привычке вид, что ему все понятно, хотя на самом деле ему ровно ничего не было понятно. — Вот куда, оказывается, ты деваешь абрикосы и лепешки целыми корзинами!

— Я... я никуда не деваю, — сбивчиво забормотал Ходжа Насреддин. — Я употребляю в пищу.

— Употребляешь в пищу! — усмехнулся Агабек, всколыхнув бороду. — Две корзины лепешек и две корзины абрикосов ежедневно! Не лги, не скрывайся, говори правду! — Он грудью надвинулся на Ходжу Насреддина, чувствуя за его замешательством тайну, быть может, преступ-

ную. — Говори правду, я видел: ты кормишь абрикосами и лепешками своего ишака.

— Тсс! — Ходжа Насреддин сморщился, даже присел, как будто ему попала холодная вода в больной зуб. — Ради аллаха, о высокочтимый хозяин, не произноси этого грубого слова: оно здесь неуместно.

— Как это — неуместно? Здесь стоит ишак, я вижу ишака и говорю — ишак!

— Трижды, как нарочно! Лучше выйдем, хозяин, и поговорим за дверью, наедине.

— Мы и здесь наедине; ведь не считаешь же ты нашим третьим собеседником этого ишака?

— В четвертый раз, милостивый аллах! Выйдем, хозяин, выйдем!

Он вытеснил Агабека из мазанки, прикрыл дверь. И сразу угодил под строжайший допрос.

— Не допытывайся, хозяин, это великая тайна, к ней причастны многие сильные мира.

— Сильные мира? Но тогда наравне с другими сильными посвяти и меня в свою тайну.

— Я глубоко тебя чту, хозяин; здесь, в Чораке, ты воистину сильный, но по сравнению с теми — козявка или, лучше сказать, муравей.

— Я муравей! Да завяжется в три узла твой язык на этом дерзком слове!

— Прости меня, хозяин, но если речь идет о царственных особах...

— О царственных особах?.. — Кальян суетного нетерпения возжегся и задымил в душе Агабека. — Ты мой слуга, значит не должен от меня скрывать ничего.

Ходжа Насреддин поник головою, как бы раздираемый надвое противоречивыми чувствами:

— Что же мне делать? С одной стороны, я действительно не должен иметь никаких тайн от своего благодетеля — так наставлял меня покойный отец...

— Он тебя правильно наставлял и, по-видимому, был достойнейший человек.

— Но, с другой стороны, тайна и гнев могучих, гнев, который может испепелить нас обоих.

— Я никому не скажу.

— Не сочти за дерзость, хозяин, если я потребую клятвы.

— Клянусь своим загробным спасением!

И Агабек придвинулся к Ходже Насреддину вплотную, готовясь услышать великую тайну.

Однако по расчетам Ходжи Насреддина время для этого еще не пришло, плод еще не созрел — пусть повисит на ветке.

Сколько ни бился Агабек — Ходжа Насреддин остался непреклонен. Через неделю, раньше нельзя, он не может раньше, если бы даже ему пришлось покинуть место хранителя озера.

— Покинуть место? Что ты, зачем же! — испугался Агабек, сразу ослабив напор. — Если так, я подожду.

Соблазненный червяком тайны, он теперь крепко сидел на крючке!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Все, все проходит; бьют барабаны, и базар затихает — пестрый, кипучий базар нашей жизни. Одна за другой закрываются лавки суетных мелких желаний, пустеют ряды страстей, площади надежд и ярмарки устремлений; становится вокруг тихо, просторно, с неба льется грустный закатный свет, — близится вечер, время подсчета прибылей и убытков. Вернее — только убытков; вот мы, например, многоскорбный повествователь этой истории, не можем, не кривя душой, похвалиться, что заканчиваем базар своей жизни с прибылью в кошельке.

Миры совершают свой путь; мгновения цепляются за мгновения, минуты — за минуты, часы — за часы, образуя дни, месяцы, годы, но мы, многоскорбный повествователь, из этой вечной цепи ничего не можем ни удержать, ни сохранить для себя, кроме воспоминаний — слабых оттисков, запечатленных как бы на тающем льде. И счастлив тот, кто к закату жизни найдет их не совсем еще изгладившимися: тогда ему, как бы в награду за все пережитое, дается вторая юность — бесплотное отражение первой. Она не властна уничтожить морщины лица, вернуть силу мышцам, легкость — походке и звонкость — голосу; ее владения — только душа. Встречали вы старика с ясными и светлыми глазами? Это юность, повторенная в его душе, смотрит на вас, это бесплотный поцелуй из прошлого, подобный свету погаснувшей звезды, это блуждавший где-то и наконец вернувшийся к нам обратно звук струны, которая давно уж отзвенела. Да будет ниспослана такая милость и нам за все наши горести и ут-

раты: пусть никогда не изгладится в нашем сердце благословенный оттиск, оставленный юностью, дабы, вернувшись к нам на закате, узнала она дом, в котором когда-то жила... Есть на земле Фергана, навек покинутая нами и навек незабвенная, — голубой сон души; это ее память, ее след оттиснулись на сердце: ее раскаленное солнце, ее города с многошумными, пестроцветными базарами, ее селения, утонувшие в зеленых садах, ее горы с вознесенными за облака снеговыми вершинами и мутно-ледяными потоками, ее поля, озера и пески, хрустальные рассветы и багрово-страстные, во всю небесную ширь, закаты над горами, ее осиянные ночи, задымленные чайханы, ее дороги, каждая из которых казалась когда-то дорогой в Ирам — страну счастливых чудес... Все это в сердце. Вернусь ли, увижу ли? Нет, никогда. Но есть впереди примирение — вторая юность: мы не вернемся, мы вспомним...

Прервем наши грустные размышления; зачем переживать нам старость дважды, один раз — в предчувствиях, а второй — наяву? Не так уж много дней подарено нам, чтобы могли мы тратить их с подобным безрассудством, позволяя будущему пожирать настоящее; полдень позади, но до закатных барабанов еще далеко, и базар еще шумит полным голосом; торгуют все лавки, затоплены тысячами людей ряды, волнуются и гудят площади; крики водоносов сливаются с гнусавыми воплями нищих и пением дервишей, скрипят арбы, ревут верблюды, звенят молотки чеканщиков, рокочут бубны шутов и плясуний, харчевни расстилают свои пахучие дымы, блестит под солнцем шелк, переливается бархат, играют узорами дорогие ковры — нет конца базару, и нет предела его богатству.

Хорошо на базаре продавцу, уверенному в добротности своего товара: ему нет нужды хитрить, и лебезить перед покупателем, и заговаривать зубы, подсовывая товар хорошим концом и пряча изъян за прилавок; вольготно и покупателю, чувствующему в поясе плотную тяжесть туго набитого кошелька. Но что делать на шумном базаре жизни тому, у кого весь товар состоит из возвышенных чувств и неясных мечтаний, а в кошельке вместо золота и серебра содержатся одни сомнения да глупые вопросы: где начало всех начал и конец всех концов, в чем смысл бытия, каково назначение зла на земле и как без него мы смогли бы распознавать добро? Кому нужен такой товар и такие монеты здесь, где все заняты только торгом:

прицениются и покупают, рвут и хватают, продают и предают, обманывают и надувают, орут и вопят, толпятся и теснятся и не прочь при случае задушить зазевавшегося! Такой человек ничего не продаст и не купит на этом базаре с прибылью для себя — его место среди нищих и дервишей...

Но мы, оказывается, все еще до сих пор сидим в чайхане раздумий о жизни — в этой грустной чайхане, где пьют из чайника несбывшихся надежд и курят из кальяна поздних раскаяний. Скорей на базар! Эй, чайханщик, получи деньги за свой горький чай; лучше бы нам не заходить в твою чайхану и не пробовать его: меньше было бы морщин на лице!.. Скорей на базар, в гул и пыль, в тесноту и давку, в этот неистощимый водопад красок, звуков и запахов, что бурлит и клокочет, крутя мельницу торга. Разыщем в толпе одноглазого вора, узнаем, как удалось ему исполнить приказание Ходжи Насреддина.

Четыре тысячи таньга праведных денег. Праведных денег! Очутившись на кокандском базаре, одноглазый вор уже второй день бродил по рядам в тягостном, бездейственном недоумении. Сотни, даже тысячи кошельков были вокруг; скрытые в поясах и карманах кокандских ротозеев, они дразнили его опытный взгляд своими заманчивыми припухлостями, вызывая сладостную дрожь в пальцах, и даже как будто бы слегка шевелились, крича тонкими голосами: «Возьми нас, возьми! Избавь нас, ради аллаха, от нашего тесного плена; мы хотим на волю, на солнце, — о, как весел и радостен будет в его лучах наш золотой и серебряный блеск!». И он бы взял, взял без всякого труда, взял так ловко, что обокраденный ротозей в шелковом праздничном халате и тюбетейке с красной кисточкой долго бы еще, ничего не подозревая, странствовал по рядам, приценяясь к товару, и, только сторговавшись и развязав пояс, чтобы заплатить, замер бы в несказанном изумлении, с выпученными глазами и отвалившейся челюстью, увидев, что его кошелек с бисерной оторочкой вдруг превратился в круглый булыжник, обмотанный грязными тряпками. Такие дела одноглазому вору были не в диковинку, но его смущала праведность денег. Ведь это было все равно, как если бы ему поручили достать сухой воды или холодного огня!

Он долго отирался возле одного китайского купца, но так и не нашел в своем разуме никаких доводов, что ки-

тайские деньги праведнее других. Та же неудача постигла его и около индийского вельможи в пышном тюрбане с высоким золотым пером. От вельможи перешел он к чернобородому горцу — продавцу золотого песка, намытого им собственноручно в темных ущельях, куда путь лежит по заоблачным обрывистым тропам, через льды и снежную пыль смертоносных лавин; это золото было праведным только для самого горца — и вор проследовал мимо не останавливаясь.

Он терялся в догадках и не мог подступиться ни к одному кошельку. И не было рядом, чтобы помочь, Ходжи Насреддина с его мудрым словом. Вор уже начал изнемогать под бременем всяких сомнений, когда вдалеке увидел за прилавком толстого менялу, отсчитывавшего мелкое серебро какому-то арабскому купцу.

Вот они, праведные деньги! Сам Ходжа Насреддин не побрезговал бы зачерпнуть из этого источника. Если они были праведными в первый раз, то почему бы они оказались неправедными во второй? «Дальше я никуда не пойду!» — сказал себе вор, вошел в чайхану напротив и уселся так, чтобы видеть менялу.

Ему повезло: меняла в этот день закрыл свою лавку задолго до барабанов и с тяжелой, раздувшейся сумкой на боку отправился домой.

Вор крадучись последовал за ним.

Базар, открытый солнцу, был полон сухого недвижного зноя. Меняла пыхтел и обливался потом. Скоро он свернул в переулок, где жили только богачи — судя по резным ореховым калиткам в глухих заборах. Кое-где поверх забора перевешивалась абрикосовая ветка, отягощенная золотыми плодами, или виноградная лоза, одетая молодой листвой, сквозящей на солнце нежным зеленым светом. Гул базара слышался здесь отдаленно и глухо, — царила тишина, без хлопотливой переклички женщин и детского плача, столь обязательных в жилищах бедняков. Даже вода вдоль заборов журчала робко, словно бы шепотом, — и, мягко изгибаясь, без водоворотов и бульканья, скользила в деревянные желобы, отходившие от главного арыка во дворы, к водоемам.

Одноглазый вор хорошо знал Коканд, но в этом переулке не был ни разу; на всякий случай он запоминал все изгибы и повороты. Миновали старую мечеть, миновали узенький горбатый мостик; за следующим поворотом переулок прервался; вдали виднелось большое кладбище,

окаймленное зеленью. Здесь стоял дом менялы — как раз напротив маленького водоема, обсаженного деревьями.

Меняла постучал железным кольцом в калитку. Открыл какой-то старик. «Слуга, — отметил про себя вор. — Один или несколько? Подождем, узнаем».

Он отошел к водоему, лег в тени, сдвинул тюбетейку на лицо и прикинулся спящим.

Лежать ему пришлось долго. Солнце заметно передвинулось в небе и теперь посылало свой низкий широкий луч прямо на водоем, просвечивая вглубь его зеленоватую воду, кишмя-кишевшую разными водяными мошками — мириадами жизней, живой солнечной пылью, словно бы принесенной сюда этим янтарным лучом из мирового простора.

Одноглазый ждал. Терпение было необходимой принадлежностью его ремесла, — он умел, когда нужно, вполне уподобиться коту, что сидит порой целую ночь не шевелясь над мышиной лазейкой.

Он был вознагражден за свое терпение: калитка скрипнула, открылась — и он увидел менялу. На этот раз меняла был без сумки, но его шелковый пояс поверх халата заметно съезжал на бедра, оттягиваемый с обеих сторон тяжелыми кошельками.

За спиной менялы в калитке мелькнуло женское лицо без чадры — большие черные глаза, густо насурмленные брови, длинные косы. Вор догадался — прекрасная Арзи-биби, жена менялы. Вспомнилась бедная вдова, лишившаяся своих драгоценностей, вспомнился вельможа и его неотразимые, закрученные усы, на острых кончиках которых так и чудились нанизанные десятками женские пылающие сердца.

Вор затаил дыхание прислушиваясь.

— Когда ты вернешься? — сердито спрашивала Арзи-биби своим густым, бархатистым голосом. — Или мне опять в ожидании томиться до поздней ночи и думать — не случилось ли что с тобой?

— А что может со мной случиться? — ответил меняла. — Я иду к почтеннейшему Вахиду сыграть в кости. Прошлый раз я проиграл ему триста семьдесят таньга и хочу вернуть свой убыток.

— Значит, до ночи! — воскликнула она. — Видит аллах, твои кости доведут нас до нищенской сумы! Иди, я уже привыкла быть заброшенной и одинокой. Ни одного вечера ты не можешь выбрать для меня, ни одного вечера!

Из дальнейшего будет видно, что она весь день только о том и думала, чтобы выпроводить куда-нибудь своего нудного толстяка, — но кто бы на его месте осмелился допустить в свой разум такую догадку, слыша в ее голосе и затаенную ревность и слезы.

— Кости, лошади, базар, а для меня... для меня нет места в твоем жестоком сердце! — закончила она с горькой обидой — может быть, даже и непритворной, ибо женщины умеют убеждать в искренности своей лжи не только мужчин, но и самих себя, что придает их коварствам особую силу.

Она хлопнула калиткой, ушла в дом.

Меняла запыхтел, вытер платком лицо и жирный загривок, беззвучно пошевелил толстыми губами, видимо продолжая в своем воображении разговор с женой, потом в сердцах крякнул, махнул рукой и отправился к Вахиду отыгрывать свои триста семьдесят таньга.

Вор за все это время не пошевелился, не прервал ни на секунду притворного храпа, но если бы кто-нибудь в эту минуту нечаянно заглянул ему в лицо, под тюбетейку, то в испуге, в изумлении отпрянул бы, восклицая: «Что я вижу! Неужели возможен в человеческом, а не в дьявольском взгляде такой пронзительный желтый огонь?». Одноглазый был охвачен воровской лихорадкой; хищные мысли взблескивали в его уме беспрерывно, одна за другой, как июльские горные молнии. Значит, сумка осталась в доме! Где она спрятана? Бывает ли дом когда-нибудь пустым, хотя бы на пять минут?

Калитка опять открылась. На дорогу вышли двое: старый привратник, которого вор уже видел, и за ним, волоча ноги, зевая, потягиваясь, — второй слуга, помоложе, заспанный и помятый, с китайским расписным кувшинчиком в руках.

— А теперь ей понадобились свежие финики! — брюзгливо сказал старик, вытряхивая на ладонь из тыквенной табачницы изрядную щепоть наса — едкого, дурманящего зелья, составленного из табака, извести и еще каких-то снадобий. — Иди, говорит, достань где хочешь! — Он открыл рот и ловким броском, хлопнув себя ладонью по губам, заложил нас глубоко под язык. — Шайтан ее задери вместе с финиками; где я должен их разыскивать? — Теперь он говорил, как параличный, одними губами, без помощи языка, занятого прижиманием наса к нижнему нёбу.

— А меня послала за индийским шербетом, — сонным, гнусавым голосом отозвался слуга помоложе, протирая кулаком запухшие глаза. — Уснуть не дают человеку!

Старик, прицелившись в шмеля на ветке, длинно и смачно сплюнул зеленой слюной, но промахнулся: шмель улетел.

— Знаешь что, — предложил старик, — посидим лучше в какой-нибудь чайхане, а потом порознь вернемся домой и скажем, что не нашли.

— Ты посидишь, а я усну часочек! — обрадовался второй.

С тем они оба и удалились.

Не успел еще вор толком обдумать их речи, как снова калитка открылась и на дорогу выпорхнули две молоденькие служанки с откинутыми чадрами. Они выпорхнули, словно птички из клетки, и сразу начали вертеться, прихорашиваться и щебетать, стрекотать с непостижимой быстротой, как будто в их маленьких коралловых ротиках было за жемчужными зубками не по одному языку, а по целому десятку! Вор хотя и морщился брезгливо, но слушал.

— Она просто с ума сошла! — щебетала первая. — Она меня посылает в Кизыл-слободу к своей вышивальщице! Подумаешь, нельзя подождать до завтра, когда вышивальщица сама придет!

— А меня — на Арабскую площадь, к своей кружевнице, — застрекотала вторая. — Зачем, не пойму, ей понадобились так безотлагательно кружева?

— Как зачем? Разве ты забыла о сиятельном Камиль-беке?

Обе фыркнули, потом звонко, на весь переулок, захохотали, блестя молодыми глазами.

— А по-моему, никуда нам не надо и ходить, — рассудительно сказала первая служанка. — Здесь неподалеку живет моя тетя — идем к ней в гости. Поболтаем часок-другой, а хозяйке скажем потом что-нибудь. Пусть посидит одна.

— Пусть поскучает!

Одна! Это слово прожгло одноглазого вора, как искрой, — от макушки до пяток! Одна!.. Если бы удалось как-нибудь выманить ее из дома!

Голоса служанок затихли в отдалении.

И вдруг... Вор затаился.

Калитка опять открылась.

Да, это был для вора день удач! Из калитки вышла хозяйка, Арзи-биби.

Вор боялся пошевелиться, боялся вздохнуть. Неужели оно сбылось — его затаенное, трепетное желание?

Арзи-биби осмотрелась. Вора не заметила. Опустив плотную чадру, полностью скрывавшую лицо, заперла калитку на замок и быстрыми шагами, слегка раскачивая полные бедра, пошла по дороге, в сторону базара.

Вор, приподнявшись на локте, излил ей вслед желтое пламя своего единственного глаза.

Время пришло! Дорога безлюдна, дом пуст. Великий аллах, всемогущий и милостивый, воистину тебе мы поклоняемся и молим тебя о помощи, — вперед!.. Длинными стелющимися прыжками вор устремился к забору. О пророк Магомет, о прибежище веры — вперед!.. Секунда, и вор был уже на заборе. Еще секунда, и он был во дворе.

Он прислушался. Ни шума, ни крика. Никто не заметил.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Все окна дома и дверь по обычаю того времени выходили во двор. Окна были прикрыты ставнями, запертыми изнутри, на двери висел замок. Но где во всем тогдашнем мире были замки и засовы, способные устоять перед этим искуснейшим вором? Нож, блеснувший в его руке, легко вошел в щель крайней ставни, качнулся вверх, вниз, что-то лязгнуло, щелкнуло, и ставня открылась.

Путь к заветной сумке был свободен!

Вор перешагнул через широкий низкий подоконник, закрыл за собою ставню, но внутренний засов наложил лишь сверху, чтобы в случае бегства легко откинуть его. Потом осмотрелся.

Он попал в михмонхану — комнату для приема гостей. В отдушину под потолком падал прямой сильный луч и ярко, в упор, отражался на задней стене, врезая в нее пестрое узорчатое пятно турецкого ковра. В глубоких стенных нишах высились кипы атласных и шелковых одеял, среднюю маленькую нишу занимал кальян, отделанный серебром.

Вор стремительно обшарил все ниши. Под коврами и одеялами сумки не оказалось. Он бросился к сундукам.

Каждому из них отдавал не больше двух минут, успевая за это время отпереть, дорыться до самого дна и снова запереть. Сундуки были набиты бархатом, атласом, парчой, но сумки вор не нашел.

Он метнулся во вторую комнату, в третью... От сундука к сундуку... Опять шелка, опять парча, сафьяны, бархат. Где же сумка?

Еще одна комната. Воздух в ней был густо напоен ароматами мускуса, амбры и розового масла, ниши заставлены кувшинчиками и ларчиками. От множества мелких вещей в комнате было тесно, как в птичьем гнезде; в углу под шелковым балдахином стояла низкая широкая тахта, над нею в полутьме тускло светилось серебряное зеркало.

Вор догадался: комната Арзи-биби. Начал шарить по ларчикам. О радость! — В глаза ему блеснуло золото, вспыхнули камни. С первого взгляда он узнал драгоценности бедной вдовы. Он возликовал: какая добыча могла быть праведнее?

На этом бы ему и покончить и уйти, но заманчивое видение сумки неотступно стояло перед его мысленным взором. Он заглянул под тахту, посмотрел за подушками. В углу напротив стоял большой глубины сундук. Может быть, в сундуке? Он даже не заперт... Вор откинул крышку. Ничего, только на дне — рваная перина. Проклятие! Где же искать еще? В дымоходах?.. И он, конечно, облазил бы дымоходы, отстукал стены и все-таки нашел бы заветную сумку, — ведь не превращал же ее меняла, уходя из дому, в бесплотность? Он бы нашел сумку и овладел ею...

Со двора донесся лязг замка, скрип калитки... Арзи-биби вернулась! Опять лязгнул замок — совсем близко... Входная дверь!

Бежать? Но куда? При всей своей ловкости вор не умел уходить сквозь глухие стены. А приготовленное на всякий случай к побегу окно было далеко, на другой половине дома.

Сундук — вот спасение!

Вор нырнул в сундук, бесшумно опустил над собою тяжелую крышку и затаился.

Много раз приходилось ему отсиживаться в сундуках, он привык относиться к ним с полным доверием. Он устроился поудобнее, вытянул ноги. Ощупал карман, — драгоценности были с ним.

Вздохнув, он приготовился к длительному сундучному сидению.

Шаги в соседней комнате. Голоса. Дверь открылась. Вошла хозяйка, прекрасная Арзи-биби, с нею — мужчина. Вор в сундуке скорбно и презрительно усмехнулся: вот они, женщины!

Но что за странный звон, сопровождающий шаги мужчины?.. Все объяснилось, когда вор узнал негромкий, но внятный голос вошедшего: это был сиятельный вельможа, прекрасный Камильбек, начальник городской стражи. А звон исходил от его медалей и сабли.

— Как безжалостно вы терзаете своими несправедливыми упреками мое сердце! — говорил Камильбек, продолжая ранее начатый разговор. — Еще и еще раз повторяю: только вам одной принадлежит вся моя любовь, весь огонь души!

— Не надо лгать! — прервала Арзи-биби; ее грудной, бархатистый голос задрожал. — Будьте правдивы хотя бы раз в жизни, на этом нашем последнем свидании.

— Последнем? Но почему, о прекрасная султанша моего сердца?

— Вы сами знаете почему.

— Тише, о несравненная Арзи-биби! Могут услышать.

— В доме, кроме нас, нет никого.

— Вы уверены?

— Как вы боитесь! — засмеялась она оскорбительным смехом. — Ну посмотрите сами! — По комнате зашуршали ее быстрые шаги. Визгнули медные кольца занавески над тахтой. — Видите — никого... Можете заглянуть в сундук.

Вор похолодел.

— Загляните еще и в этот кувшинчик, — выручила его своей насмешкой Арзи-биби. — Право, я предполагала в сиятельном Камильбеке бо́льшую смелость. А вы — как трусливый заяц...

Уязвленный вельможа прошелся гневными шагами из угла в угол по комнате, наполнив ее звоном своих медалей.

— Я не труслив, а предусмотрителен. Вы сами знаете, какое ужасное наказание ожидало бы нас обоих...

— Когда я люблю, я не думаю о наказаниях! — надменно ответила Арзи-биби. — Фархад не страшился опасностей, добиваясь любви Ширин, а Меджнун не думал о

наказаниях, стремясь к своей Лейле. Впрочем, я далека от мысли сравнивать высокочтимого, но слишком уж осторожного Камильбека с Фархадом или Меджнуном. Я пригласила вас для других разговоров: мне нужна правда!

— Вот я и хочу открыть вам правду. Хочу предупредить об опасности, грозящей нам обоим...

Пылкая Арзи-биби не слушала вельможу. Слова горьких упреков неудержимо лились из ее уст, и каждое было раскалено в пламени жгучей ревности:

— Я хочу знать, почему раньше вы не думали о наказаниях и смело приходили ко мне, повинуясь велениям сердца? Почему теперь вы стали вдруг так боязливы, что целых две недели — целых две недели! — ни разу не навестили меня? Сегодня мне пришлось, позабыв и стыд и приличия, самой идти за вами на базар и вызывать вас через какую-то нищую старуху из караульного помещения. Скажите — почему вы стали вдруг избегать меня и уклоняться от встреч, которые раньше, если только память не обманывает меня, были вам как будто бы приятны? Или, может быть, я в этом ошибаюсь, может быть, вы и раньше только снисходили до меня?.. Вы молчите; хорошо, я сама отвечу за вас. Вы разлюбили меня, и мое место в изменчивом и жестоком вашем сердце ныне принадлежит другой! Вот в чем причина! Нет, не оправдывайтесь, не пытайтесь лгать: ваши поступки говорят яснее всяких слов!

— О несравненная Арзи-биби, как вы ошибаетесь! О цветущая роза моих самых сокровенных помыслов, неужели я слеп и не вижу ваших совершенств, неужели я мог бы сменить вас на какую-то другую женщину?

— Однако сменили!

— Клянусь честью, клянусь прахом всех моих знатных предков!..

— Почему же вы ни разу не пришли? Какая тому причина?

— Ваш уважаемый супруг.

— Мой супруг?.. Но ведь он был и раньше, однако это нам нисколько не мешало.

— Произошли весьма важные перемены. Помните мою с ним ссору из-за пропавших коней?

— Он что-то мне говорил, но я хотела спать и не слушала. Так неужели, поссорившись с моим мужем, вы обратили свой гнев на меня?

— Дослушайте до конца. Он подозревает...

— Подозревает? Он?..

— Да! Он пронюхал о нашей любви. Он следит. Вот почему я ни разу не пришел после этих скачек, хотя мое сердце и рвалось к вам, как сокол — в небо!

— Не понимаю, при чем здесь кони, скачки и прочие глупые забавы моего мужа? Какое имеет к ним касательство наша любовь?

В кратких словах вельможа рассказал о своей беседе с гадальщиком в подвале сторожевой башни.

— Вы помните, пленительная Арзи-биби, он открыл передо мною ваше лицо? Вы думаете — спроста? Нет, он испытывал нас. Мы смотрели друг на друга, охваченные пламенем страсти, а он следил за каждым нашим движением, считал удары наших сердец!..

— Не может быть! — сказала Арзи-биби. — Этот ваш гадальщик просто-напросто лжец. Я знаю своего мужа, знаю все его хитрости, уловки и помыслы. Чтобы он вздумал тайно следить за мною? Да если бы он только осмелился!..

— Он задумал и осмелился.

— Нет и нет! — Арзи-биби тихонько засмеялась. — Нет! Вы испугались призрака, испугались тени, о Камильбек! — Голос ее звучал нежно, воркующе: ревность отхлынула от ее сердца. — И ради этого лживого гадальщика вы заставили меня так страдать?

— Арзи-биби, но если мы стоим над гибельной пропастью?

— Ах нет, мы возлежим в цветущем саду любви! Садитесь рядом, Камильбек, и сейчас я вам докажу всю нелепость ваших опасений. Садитесь ближе. Ах, да снимите же наконец вашу саблю и ваш колючий халат!

— Но если вдруг придут?

— Никто не придет. Мы одни.

— А ваш супруг?

— Он пошел играть в кости к ростовщику Вахиду. Это до поздней ночи.

Вор услышал звяканье пряжек, жесткое шуршание парчи: вельможа снял халат и саблю. После этого пленительная Арзи-биби принялась доказывать ему всю неосновательность его страхов. Воздержимся от описания этих доказательств, скажем лишь, что они были разнообразны и длительны.

Между тем жаркая духота в сундуке сгустилась до невозможности. Вор сидел весь в поту; пух и перья липли к его лицу, лезли в нос, щекотали в гортани. Пользуясь

пылкостью Арзи-биби, он трижды поднимал крышку и жадно пил свежий воздух.

Но случая поднять крышку в четвертый раз ему пришлось ждать долго. Он задыхался. При всем своем отвращении к женщинам, он готов был выскочить из сундука на помощь вельможе. Не ради прелестей Арзи-биби, но ради воздуха!

Наконец!.. Он приоткрыл сундук. Воздух, воздух, минуты блаженства! Он дышал полной грудью, глубоко и свободно, нисколько не боясь, что его дыхание будет услышано. Какой-то посторонний звук! Что это? Здесь, в комнате, или со двора?

Да, этот звук шел со двора и нес в себе опустошительную бурю, грозу!.. Когда вор, опустив крышку, опять погрузился в темень и духоту и в комнате установилась тишина, полная изнеможенных вздохов, снова брякнуло железное кольцо калитки и послышался голос менялы:

— Откройте же наконец! Вы что, заснули там все?

И с этим голосом в комнату ворвался ветер смятения и пошел кружить и вихрить, взметая и ставя вверх дном все вокруг.

Вельможу он сбросил с мягкой тахты на пол и пошел гонять по комнате кругами, как зайца.

— Муж! Рахимбай! — сдавленным шепотом воскликнул вельможа, мягко топоча босыми пятками по каменному полу, застланному коврами. — Великий аллах, о прибежище верных! Он подстерег! Я погиб! Я пропал!

В эту роковую, страшную минуту он думал и помнил только о себе, заботился только о своем спасении, готовый выдать Арзи-биби с головой, лишь бы самому как-нибудь уцелеть! Таковы, за малым исключением, все сластолюбцы.

Совсем иначе встретила опасность Арзи-биби, проявив такую силу духа, такую доблесть, которые могли бы украсить любого закаленного в битвах воина. Впрочем, разве не была она самой доблестной воительницей на бранном поле любви?

Только две-три секунды понадобилось ей, чтобы от растерянности перейти к действию.

Мгновение — и все следы любовного беспорядка на тахте были уничтожены.

— Подожди, не стучи так громко: у меня нестерпимо болит голова, — расслабленным, стонущим голосом ска-

зала она в окно, обращая эти слова к меняле, бесновавшемуся за калиткой. А к вельможе — другие слова, шепотом: — Не бегайте, не шлепайте пятками — слышно. Ах, наденьте же шаровары, ведь это неприлично — поймите! Что вы берете — это моя чадра... Вот они, вот — надевайте! Ах, да не тем концом — переверните! — Опять в окно, мужу: — Сейчас, сейчас; куда-то задевались туфли, не могу найти. — Шепотом, вельможе: — Прячьтесь в сундук! Скорее! Через полчаса я выпровожу его! — В окно, мужу: — Иду, иду! Великий аллах, ни минуты покоя в этом доме!..

Вельможа с побелевшими от страха глазами, ничего не видя и не соображая, полез в сундук:

— Здесь что-то мягкое.

— Это перина. Лезьте!

Он погрузился в жаркую, душную глубину. Крышка над ним опустилась.

Арзи-биби вышла из комнаты.

Вельможа засопел, заворочался в сундуке. Он сидел скрючившись, уткнув подбородок в колени, как младенец в материнском чреве. Что-то мягкое мешало ему вытянуть ноги — верно, сбившаяся в комок перина.

Он спиной уперся в стенку сундука, ногами — в это мягкое, и надавил.

И вдруг сундучная темнота ожила.

— Тише, почтенный! — услышал он близкий негодующий шепот. — Тише, вы продавите мне живот!

Какими словами передать ужас вельможи? Он отпрянул, подпрыгнул, глухо стукнулся головою о крышку.

— А?.. Что?.. Это кто?.. А?.. — судорожно вскрикивал он, вконец обезумев и тыча в темноту перед собой растопыренными пальцами.

— Тише, — повторил тот же таинственный шепот. — Куда вы суете свой палец — мне прямо в ухо!

Кто-то невидимый схватил вельможу за руки, цепко сжал их в запястьях.

— А?.. Что?.. — вскрикивал вельможа, ляская зубами, дрожа и вырываясь. — Это кто?.. А?.. Это кто?..

— Ни слова! Ни звука! Уже идут. Не бойтесь, сиятельный Камильбек, от меня вам не будет вреда.

Замутившийся разум вельможи не воспринимал ничего.

Последовал сильный удар невидимым кулаком в лоб.

— Молчи, иначе, клянусь аллахом, я пущу в дело нож!

Вельможа затаился, не шевелясь и даже не дыша.

В комнату вошли меняла и Арзи-биби:

— Как хорошо, что сегодня ты вернулся рано.

— Вахида не оказалось дома. Какие-то срочные дела.

Меняла уселся на сундук, придавив крышку своим толстым задом.

Теперь к вельможе и вору не проходило ни одной струйки воздуха.

— Я совсем больна, — простонала Арзи-биби. — Если бы ты позвал ко мне лекаря Сайдуллу. Его дом совсем недалеко, в двух минутах ходьбы.

— А где же все наши слуги?

— Я отпустила их. Они так надоели мне своей болтовней. Хотела немного поспать. Одна, в тишине...

— А тут я некстати, — благодушно усмехнулся меняла. — Ты крепко уснула: я никак не мог добудиться. Пойду позову лекаря.

Он встал, направился уже к двери, но в эту самую секунду злосчастный вельможа, не привыкший к сундучным сидениям, пошевелился.

Вор изо всей силы яростно сжал его руки.

Поздно: купец услышал.

— Какой-то шум?

— Мыши, — небрежно отозвалась Арзи-биби.

Поистине, со своим самообладанием она была рождена для дворцов, заговоров и тайной борьбы, а вовсе не для тесного дома менялы!

— Кстати, ты слышала новость? — продолжал меняла, остановившись в дверях. — Помнишь Нигматуллу, торговца ножами? Ну, толстый, рыжий, что торгует неподалеку от главной базарной мечети. Так вот, вчера он застал у своей жены... кого бы ты думала? Главного мираба из управления городских арыков и водоемов!

— Чужого мужчину! — с ужасом воскликнула Арзи-биби.

— Дело дойдет, надо полагать, до самого хана. Не завидую мирабу.

— Так ему и надо за распутство!

— А изменница подвергнется наказанию плетьми. Пятьсот плетей — ни больше ни меньше.

— Еще мало! Таких жен следует жечь на кострах или бросать в кипящие котлы!

— Ты уж слишком, Арзи-биби! Ей хватило бы и сотни плетей. Нагматулла теперь и сам не рад, что поднял такой шум. Он жалеет жену и всячески старается ее выручить, но уже поздно.

— Жалеть подобную тварь!

— А по-моему, — на всякий случай меняла понизил голос, — по-моему, власти вообще не должны были бы вмешиваться в домашние дела...

Вор в сундуке почувствовал под своими руками, сжатыми на запястьях вельможи, мгновенную судорогу — отблеск внутренней вспышки, порыва схватить вольнодумца! Даже здесь, в сундуке, на краю собственной гибели, этот доблестный охранитель устоев не мог до конца подавить в себе хватательного рвения.

— Если бы ты когда-нибудь изменила мне, — шутливо продолжал меняла, — то все-таки я не хотел бы видеть тебя в руках палачей. Бедный Нигматулла!.. Опять шорох. И как будто в сундуке?

— Это не в сундуке — под полом. Опять мыши.

— Надо завести кота. Может быть, найдется у лекаря лишний кот — тогда я принесу. Не вставай, не надо: я сам запру калитку снаружи, чтобы не беспокоить тебя, когда вернусь.

И вдруг он запнулся, словно подавившись собственным языком.

Наступило молчание.

Что-то произошло. Но что — вор из сундука понять не мог.

Снова послышался голос менялы — хриплый, глухой, на этот раз далекий от всякого благодушия:

— Откуда здесь этот парчовый халат? Эта золотая сабля?

Сердце вора дрогнуло, дыхание прервалось. О глупцы! Забыть халат, забыть саблю! На самом виду!..

А над сундуком начиналась буря.

— Это?.. Это?.. — лепетала Арзи-биби, и ничего не могла сказать: удар был слишком внезапным. Даже она, бестрепетная, смутилась, и, могучая, пошатнулась!

— Да, это! Именно это! — наседал купец; голос у него был горячечный, с визгом.

— Это подарок. Я приготовила тебе подарок...

— Подарок? Мне? Сабля? Парчовый халат с медалями? Ты лжешь! — загремел меняла. — Говори, чей это халат, чья сабля!

— Да твои, твои! — пыталась отговориться Арзи-биби. — Не кричи же так — услышат соседи.

— Пусть! Пусть они слышат! — вопил меняла. — Пусть они знают! Я вижу, что распутство проникло не только в дом Нигматуллы! Кто здесь был без меня? Ага, ты молчишь! О презренная распутница, о дочь шайтана! Кто? Говори — кто?

Арзи-биби молчала, обезоруженная и подавленная.

Вельможа в сундуке от ужаса лишился чувств и мягкой безжизненной грудой навалился на вора.

Да и сам вор — на что уж был привычен ко всяким испытаниям! — тоже поддался гибельному страху. Пропал!.. Сейчас меняла позовет людей, начнет обшаривать дом. Подземная тюрьма, пытки, палач, виселица!.. Погиб!

— Кто? — душно и хрипло надрывался меняла, топоча в исступлении ногами. — Говори!..

Подавленный страхом, смятением, вор мысленно из сундука воззвал к Ходже Насреддину: спаси, пусть совершится чудо!

И оно совершилось! Спасительная догадка — яркая, как молния, тонкая и острая, как игла, мелькнула в его замутившейся голове. Это была не его догадка — она прилетела к нему со стороны; вор сначала даже не очень ясно понял ее и, конечно, сам никогда бы не смог претворить ее в действие. Но в одно время с догадкой ему передалась могучая сила.

Все, что произошло потом, все слова и действия вора были не его словами и действиями, а исходили от этой неведомой силы. Повинуясь ей, вор, как бы в полусне, сам не понимая, что делает, поднял крышку сундука и в облаке взлетевшего пуха предстал перед онемевшим купцом и его супругой.

Арзи-биби коротко вскрикнула и задохнулась, смертельно побелев. Живыми на ее лице остались только глаза — огромные, недвижные, черные... Еще бы! Она прятала в сундук пленительного Камильбека, а вылез какой-то одноглазый урод с широкой, плоской рожей, способный привести в омерзение даже самого демона Сахра!

Таинственная, действующая со стороны сила заставила вора выйти из сундука, захлопнуть за собой крышку, после чего уложила ему на язык следующие слова:

— Арзи-биби, все открылось! Мы с вами не должны больше обманывать вашего столь достойного супруга. Нам остается одно: раскаяться и униженно молить его о прощении.

Меняла подпрыгнул, задрожал и заскрипел зубами.

Арзи-биби, прижавшись к стене, лепетала:

— Кто это?.. Кто это?..

— Кто? — хрипел купец. — Ты не знаешь кто?

— Клянусь, я никогда его не видела! Никогда!.. Сегодня... вот сейчас — первый раз в жизни!

А вору не нужно было подыскивать убедительных слов, похожих на правду, — они выговаривались сами:

— Когда я услышал, как ласково, как нежно ваш супруг беседует с вами, сердце мое наполнилось раскаянием и стыдом...

— Он лжет! — кричала Арзи-биби. — Не верь ему! Я никогда, никогда его не видела до этой минуты!

— Развратница! — шипел, содрогаясь, меняла. — Изменница! Обманывать своего благодетеля, который взял тебя нищую! Обманывать его! И с кем? С такой гнусной рожей, с таким уродом! Да ты посмотри на него, посмотри: чем он лучше меня?

— У женщин бывают часто весьма странные и даже порочные склонности, — ханжеским голосом вставил вор.

Арзи-биби в ответ могла только простонать. Она уже оправилась от первого потрясения, уже все поняла; она кипела от гнева, сжигая вора в пепел раскаленными молниями своих черных глаз! Но была связана, бессильна, принуждена к молчанию. Ибо там, в сундуке, был второй.

— Он лжет!

И опять она задохнулась.

— Не запирайтесь, Арзи-биби, — сказал вор. — Только чистосердечное признание может спасти нас. Не сами ли вы сегодня увлекли меня в этот дом, сказав, что ваш супруг до ночи удалился к ростовщику Вахиду с целью отыграть в кости свой проигрыш — триста семьдесят таньга?

— Ты даже это разболтала ему! — возопил купец, рванув себя за бороду. — Даже это!

Таинственная сила продолжала действовать, подсказывая вору нужные слова:

— Клянусь никогда больше не переступать порога этого дома и никогда не наполнять моих глаз видом этой

женщины, которая действительно прекрасна телом, но черна душой, как это явствует из ее бесстыдного запирательства. Мое сердце с презрением отвращается от нее — я удаляюсь...

Медленными шагами, опустив голову, как бы вконец подавленный раскаянием и скорбью, он вышел из комнаты.

За его спиной творилось неописуемое.

— Нет! Нет! Я не знаю его! Никогда! Никогда! — кричала вся в слезах Арзи-биби.

— Лжешь! — гремел супруг. — Лжешь, презренная! Он сам изобличил тебя!

Вслед вору полетела, гремя и звеня, сабля, за нею — парчовый халат.

— Возьми — слышишь ты, осквернитель чужих опочивален! И чтобы я тебя не видел больше!

Об этом вора дважды просить не пришлось.

Как только он выскочил из калитки в переулок, — таинственная сила оставила его. Но теперь ему вполне хватало своей, которую он и приложил к ногам — всю, без остатка! Как он бежал, как мчался! Воздух свистел в его ушах, собственная тень едва успевала за ним. В одно мгновение он пересек пустырь и очутился на кладбище, — здесь он залег в пыльном чертополохе, между старых могил.

А в доме купца буря понемногу затихала.

Обессилевший, обмякший купец со взъерошенной бородой, испестренной пухом, в съехавшей набок чалме сидел на сундуке и горестно восклицал:

— А я тебе всегда верил, я так тебе верил!..

Он стиснул руками голову и замотал ею, раскачиваясь и глухо стеная от нестерпимой боли в душе.

Последняя вспышка гнева бросила его на середину комнаты. Дико вращая глазами, терзая себя за бороду, он возопил:

— И с кем? С кем? Да где ты его нашла — такую поганую рожу!

Этот вопль души исчерпал все силы до дна. Больше он уже ничего не говорил — ни слова.

Какое наказание мог он избрать для своей ветреной супруги? Выдать палачам? Для этого он слишком любил ее, кроме того не хотел огласки и бесчестья. Наказать ее

плетью самолично? Он мог бы это сделать, пользуясь тем, что в доме — никого, но: «ударивший женщину — достоин презрения!» — он это помнил.

Тогда он решил запереть ее дома и лишить всех знаков своего благоволения. С мрачным и непреклонным видом, шумно сопя, он снял со стены серебряное зеркало, содрал ковер, затем оголил ниши, забрав кувшинчики, ларчики и прочую мелочь.

Он разорил тахту, оставив на ней только одну подушку.

Комната сразу стала угрюмой, как бы нежилой.

Арзи-биби, забившись в угол, огромными недвижными глазами молча следила за мстительными действиями супруга.

Он обвел взглядом потолок, стены. Что́ бы еще содрать? Ага, шелковый балдахин над тахтою! Он содрал и балдахин и присоединил к остальному отобранному.

Образовалась большая куча разнообразных вещей. Куда это все девать? Взгляд купца упал на сундук — вот самое подходящее место!

Арзи-биби похолодела, предвидя новую бурю.

...Только могучее перо Низами или Фирдоуси могло бы достойно описать все последующее! Вконец обезумевший в сундуке от страха, от жары и духоты вельможа, видя, что до него все-таки добрались, впал в полное неистовство, исступление! С дикими глухими воплями, подобными уханью ночного филина, весь мокрый и облепленный пухом, он выскочил из сундука, ударил купца головою в живот, укусил за палец и, ни с чем решительно не сообразуясь, ринулся в окно, дробя китайские цветные стекла.

Калитка была открыта — он ее не увидел. Бросился на забор. Сорвался. Бросился опять. Завыл. Грузно перевалился на ту сторону забора, упал на дорогу, вымазался еще и в пыли — и, вскочив, ничего не видя перед собою, устремился куда-то... все равно куда, только подальше!

На этом, однако, его злоключения не кончились. Гонимый страхом, он бросился на кладбище. Случай привел его к тому самому надгробью, где затаился вор. Задыхаясь и хрипя, с бешено колотящимся сердцем, готовым лопнуть, вельможа повалился в бурьян, в двух шагах от вора, по другую сторону каменного надгробья. Немного отдышавшись, отважился выглянуть.

Всемилостивый аллах! Прямо на него, дружелюбно ухмыляясь и подмигивая желтым глазом, смотрела широкая плоская рожа — совсем незнакомая!

Но шепот, который он услышал, был ему знаком — о, как знаком был ему этот шепот!

— Ну что там, в доме? У меня ваша сабля и ваши медали, почтеннейший. Можете взять. А халат я оставлю себе — на память.

Какая уж тут сабля, какие медали! Судорожно вскрикнув, вельможа вскочил и быстрее лани помчался в глубину кладбища, прыгая через могилы, ломясь напрямик сквозь колючий терновник. Тщетно вор махал ему вслед руками в знак своих миролюбивых намерений — вельможа не остановился, не оглянулся и исчез в кладбищенских зарослях.

Как только вельможа вырвался из сундука и благополучно скрылся, цепи, вынуждавшие Арзи-биби к молчанию, порвались и она со всем пылом ринулась в нападение.

— Старый дурак! — пронзительно закричала она. — Старый толстый дурак, что ты пристаешь ко мне со своею дурацкою ревностью и порочишь меня как последнюю из потаскушек! Посмотри лучше, где твоя сумка? Неужели ты все еще не понял, что это были воры, воры, забравшиеся в дом, пока я спала! Где твоя сумка?

Упоминание о сумке мгновенно отрезвило купца. Он кинулся в соседнюю комнату, к тайнику. Арзи-биби устремилась к ларчику, в котором хранились ее драгоценности.

Сумка оказалась на месте, а драгоценностей не было.

Справедливость слов Арзи-биби о ворах подтвердилась, а следовательно, подтвердилась и полная невиновность ее в нарушении супружеского долга.

Драгоценности пропали очень кстати: в душе она тихо радовалась этой пропаже, нисколько не сомневаясь, что в ближайшее время заставит менялу сторицей возместить ей убытки.

О дальнейшем говорить много не приходится: конечно, Арзи-биби горько плакала, вздрагивая плечами и всхлипывая; конечно, меняла, полный раскаяния, униженно вымаливал прощение; конечно, он расставлял по местам ларчики и кувшинчики, лазил, обливаясь потом, по стене, подвешивая балдахин и прибивая ковер, и кончил

тем, что полностью признал неоспоримое превосходство своей супруги над собою, равно как и великое счастье быть ее рабом, — признание, хотя и принятое с благосклонностью, но все же не предотвратившее для ревнивца позорного изгнания на другую половину дома из этих благоуханных покоев непорочности.

Наступила ночь, взошла луна и бледно озарила своим сиянием Коканд, затихший базар, дом купца, озарила спящую Арзи-биби, ее мраморно-прекрасное лицо, полное голубиной чистоты, а в дальней комнате озарила бодрствующего менялу, терзаемого раскаянием и жалостью. Время от времени он подкрадывался на цыпочках к заветной келье и с умиленным лицом, со слезинками в уголках глаз прислушивался к легкому ровному дыханию за дверью, неслышно целовал воздух и, покачивая головой, сокрушенно вздыхая, возвращался к себе...

А далеко за городом, на пустынной дороге, луна озаряла одинокую фигуру вора. С драгоценностями в кармане, с парчовым халатом и саблей, уложенными в мешок, он спешил в горы, где ждал его Ходжа Насреддин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Тайна! Ходжа Насреддин знал могучую, притягательную силу этого слова; расчет оправдался: теперь Агабек был ежедневным гостем в хибарке.

— Рано, хозяин; потерпи еще несколько дней, — говорил Ходжа Насреддин в ответ на его назойливые приставания.

Агабек ворчал, досадовал, но покорялся.

Разговор переходил на другие предметы, с виду как будто не имевшие касательства к тайне, но в действительности направленные все туда же, хотя и по косвенным, окольным путям.

— Значит, до службы в Герате ты много ездил по миру, Узакбай. Что ты искал?

— Познания. Ключа к тайнам мира.

— Тебе приходилось, по твоим словам, бывать и в Мекке. Почему же ты не носишь зеленой чалмы?

— Я не имею права на это, ибо по крайней занятости своей не выбрал времени, чтобы совершить вокруг черного камня Каабы все необходимые обряды.

— Ты был так занят? Чем?

— Поисками одной древней книги.

— Ты нашел ее?

— Да, нашел.

— О чем в ней говорилось?

— Не спрашивай, хозяин! О великих делах — о злых и добрых чарах.

— Так ты чернокнижник?

— Нет, наоборот. Моя цель — развеять некие злые чары, а не создавать их.

— Какие же это чары, скажи?

— Рано, хозяин; потерпи еще несколько дней.

Круг вопросов повторялся сызнова, с небольшими изменениями. Конечно, Ходжа Насреддин не стал бы тратить времени попусту, если бы не усматривал в них пользы для себя. Он изучал Агабека по его же вопросам, — здесь уместно вспомнить старинную поговорку: «Дурак сеет слова без разбора, но урожай достается мудрому».

Внимательнейшим образом Ходжа Насреддин изучал все изгибы в природе Агабека, следил за всеми его мельчайшими обмолвками, порывами, движениями, стремясь найти ключ к его внутренней скрытой сущности. Он как бы извлекал душу Агабека на свет из жирного тела, как извлекают со дна водоема утопленника, чтобы рассмотреть и опознать его; сначала вода темна и непроглядна, но вот багор зацепил, потянул, вода всколыхнулась, что-то смутно забелело в глубине; еще усилие — и тело начинает всплывать, обозначаться в тусклой воде и наконец показывается на поверхности, пугая собравшихся темной синевой мертвого вздутого лица... Своей уродливостью и мертвенной глухотой ко всякому доброму зову душа Агабека весьма походила на этого утопленника, — если же еще предположить водоем зловонным, предназначенным для стока нечистот, то наше уподобление замкнется и обретет в своей кругообразной законченности полную справедливость.

Агабек был надменен, хвастлив, падок на любую, самую грубую лесть. Бывший судья, он всех злословил, обличал, осуждал, словно был поставлен от бога верховным судьей над всем миром. О себе самом он говорил не иначе, как торжественными словами, с глубокой скорбью вспоминая свое былое судейское величие, — ни разу не посмеялся он над собою, даже не пошутил. Из всего этого Ходжа Насреддин сделал вывод, что он, во-первых, глуп, во-вторых, туп, в-третьих, уязвлен, в-четвертых,

лелеет мечту когда-нибудь вернуться к почетной и многодоходной судейской службе.

Последнее и было для Ходжи Насреддина самой зияющей брешью в щите.

Незаметно, вкрадчиво Ходжа Насреддин переводил разговор на дворцы, должности, награды и чины.

— Какой светлый разум вложил аллах в твою голову, о хозяин! — с притворным восхищением говорил он. — Удивительно, что в Хорезме не разглядели такого ума и позволили тебе удалиться от дел!

Эти слова лились маслом на сердце Агабека, — тем более что удалился он от дел не без шума, вызванного чрезмерным усердием в лихоимстве.

— Конечно, я понимаю: должность городского судьи была слишком низка для тебя, — продолжал Ходжа Насреддин, — но разве не могли они подобрать должности повыше, например — главного дворцового казначея? Любой государь, если только он хоть что-нибудь понимает, должен обеими руками ухватиться за такого казначея. Дворцовая казна была бы всегда полна и все подати взыскивались бы в срок и полностью.

— И еще было бы введено много новых! — подхватил Агабек, распалившись мечтаниями. — Например, подать на слезы...

— Великая мысль! Подать на слезы вызывала бы новые слезы, а новые слезы — новую подать. И так без конца... Какая необъятная мудрость! Да за одну эту мысль тебя немедленно следовало бы поставить главным визирем!

Натужившись, Агабек рождал вторую великую мысль:

— А еще... еще я установил бы подать за смех!

— За смех! Только подумать, какого визиря упустил хорезмский хан. Теперь он, верно, обкусывает себе ногти на ногах с досады!

Так прошла неделя. Палящее лето поднялось из долины сюда, в предгорья, наполнило все вокруг сухим дремотным зноем. Воздух был недвижен, словно бы ветер упал, навсегда обессилев; озеро блестело, как полированное, лишь временами по его серебряной глади скользила едва приметная летучая тень, точно по зеркалу, на которое дуют. И все опять замирало в потоках расплавленного света: одинокий ястреб висел в небе, ящерицы,

закрыв глаза, цепенели на белых камнях. Трава пожелтела, высохла. Однажды утром Ходжа Насреддин, взглянув на далекие холмы, уже не увидел юрт, белеющих по склонам: киргизы ночью снялись и ушли со своими стадами на джайляу — высокогорные пастбища...

В горах таяли белые снега и синие ледники. Ручьи, несущие воду в долины, переполнились. Но чоракцам ни капли не доставалось из этой воды: всю ее перехватывал Агабек и копил в своем озере.

Чоракские поля изнемогали от жажды.

Пришел срок полива.

Агабек похвастался перед Ходжой Насреддином девушкой, которую ожидал в свой дом:

— Она, конечно, простая сельская девушка, но если бы ты, Узакбай, увидел ее, то сравнил бы в своих мыслях с нераспустившимся розовым бутоном. И я на днях открою этот бутон!

— Но, может быть, у нее есть жених?

Жених? У нее? Вот мысль, которая никогда не приходила Агабеку в голову, — равно, как и мысль о желаниях самой девушки. Разве не жалкими, ничтожными червями были все эти чоракцы в сравнении с ним, разве не были они самой судьбой отданы во власть ему, дабы жертвовать всем своим довольством и всеми желаниями ради его довольства и желаний?

Ходжа Насреддин понял смысл его недоуменного взгляда и не стал ни о чем больше спрашивать.

Ночью в горах прошла сильная гроза.

Порывистый ветер, насыщенный влагой далекого ливня, долго бил тугими крыльями в жиденькую дверь хибарки, пока не открыл ее; ворвавшись, он поднял и закрутил золу в очаге, опахнул сырым дыханием лицо спящего Ходжи Насреддина, встревожил ишака, который как будто только и ждал этого ветра, чтобы зареветь среди ночи — рыдая, икая, всхлипывая и тягуче давясь.

Ходжа Насреддин пробудился, поднял голову, прислушиваясь к отдаленному рокоту грома. В открытую дверь он видел ночное, объятое грозою небо: черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин, в бело-синеватых вспышках молний то и дело возникал из тьмы летучим видением угрюмый хребет с его снеговыми зубцами, черными провалами и расселинами. «Где-то сейчас мой

одноглазый спутник? — подумал Ходжа Насреддин о воре. — Может быть, на горной тропе, под грозой... Да сохранит его всемогущий аллах!»

В последние два дня вор не выходил у него из головы. Между ними, через горные хребты и перевалы, как бы установилось соприкосновение — слишком слабое для передачи мыслей, но достаточное, чтобы передавать чувства, вернее — отзвуки чувств. «Неужели я с ним так породнился?» — раздумывал Ходжа Насреддин, припоминая, что раньше такое соприкосновение на больших расстояниях возникало у него очень редко, и только с людьми, самыми близкими сердцу.

Вчера, незадолго перед вечером, это соприкосновение обозначилось явственно. Ходжу Насреддина вдруг охватило смутное беспокойство, переходящее в тревогу. «Что с ним случилось в Коканде?» — спрашивал он себя, но догадаться, конечно, не мог.

А вор как раз в это время сидел в сундуке вдвоем с вельможей.

«Он в опасности! Он в опасности!..» — мысленно восклицал Ходжа Насреддин и не мог найти себе места...

И настолько жарким было его волнение, что часть его силы передалась в Коканд, в дом купца, в закрытый сундук. Отсюда и возникло спасительное наитие, побудившее вора откинуть крышку сундука и предстать в облаке пуха перед потрясенным купцом. Что произошло после этого в доме купца — известно, и нам нет нужды повторяться; на другом же конце соприкосновения, в хибарке, ничего особенного не произошло, если не считать душевного покоя, снизошедшего на Ходжу Насреддина. Он вздохнул свободно и легко, зная с несомненностью, что неведомая опасность, нависшая над вором в Коканде, благополучно миновала. Тревога отхлынула от его сердца, и он засмеялся, чувствуя, что вор по возвращении расскажет ему нечто весьма забавное.

После этого веселость не покидала Ходжу Насреддина до самой ночи, и даже уснув, он видел веселые сны.

Пробужденный грозою, раскатами грома, он долго лежал, обратившись мыслями к вору, но отзвуков какой-либо тревоги не нашел в своем сердце. Значит, все обстоит благополучно, скоро вернется.

Ходжа Насреддин встал, чтобы закрыть хлопающую дверь. И увидел Саида.

Юноша скользнул в хибарку, умоляюще прошептал:

— Прости, что я нарушил запрет и пришел, но мой разум сдавлен клещами тоски. Осталось до полива только три дня.

— Помню, Саид; я помню.

— Зульфия уже выплакала все глаза и потеряла веру.

— Потеряла веру? Это очень плохо.

— Может быть, нам с нею лучше все-таки бежать, пока не поздно?

— Бежать? Тогда уж втроем — я тоже с вами. И не втроем — вчетвером: ведь не брошу я здесь моего ишака! И не вчетвером — впятером: я забыл еще одного, который вот-вот появится в Чораке. Это уж будет не бегство, а целый исход! — Он положил руку на плечо Саиду: — Скажи своей Зульфии, что все обстоит хорошо — так, как нужно.

— Она не поверит.

— Скажи от моего имени.

— Она тебя не знает.

— А сам ты, Саид, веришь мне сейчас?

Он смотрел в глаза Саиду горячим взглядом, прожигающим темноту и проходящим в глубь сердца, — так солнечный луч проходит сквозь закрытые веки, просвечивая алую кровь. Невозможно было противиться этому взгляду!

— Я верю, — тихо сказал Саид.

— Тогда и она поверит. Твоя вера передастся ей. Иди! Помни: мы всегда вместе. Что бы ни случилось — мы вместе!

Саид поклонился, ушел.

На исходе ночи он встретился с Зульфией.

Его вера передалась ей, и она успокоилась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Прошел еще день, а вора все не было.

Ходжа Насреддин высчитывал на пальцах его путь: три дня туда, три обратно, два дня в Коканде. «Если и завтра не появится, тогда нам действительно придется бежать! Неужели мое внутреннее чувство обманывает меня? Нет, не может быть! Он уже близко, он спешит изо всех сил, он уже по эту сторону перевала!»

И вор появился. Он появился в дверях мазанки, словно возникнув из воздуха. Всего минуту назад Ходжа Насреддин выходил и смотрел на дорогу — ни души не было. И вдруг он возник! Он был заметно утомлен, покрыт пылью, но его плоская рожа сияла. Ходжа Насреддин понял без слов: удача!

Это произошло во второй половине дня. Пока вор рассказывал о своих кокандских приключениях, солнце передвинулось еще к западу. Близился вечер — последний вечер перед поливом; надо было спешить.

— Условимся о дальнейшем, — сказал Ходжа Насреддин. — Драгоценности принадлежат бедной вдове и должны быть ей возвращены. Ты согласен?

— Такая мысль мне и самому приходила в голову.

— Но предварительно мы пустим их на короткое время в оборот. С благочестивыми целями, разумеется.

— Понимаю! — оживился вор. — И скажу тебе, где находится место, наиболее удобное для этого. Там дальше, за Чораком, уже в долине, есть один караван-сарай. Мне рассказывали о нем. Большой караван-сарай, в котором круглые сутки без перерыва идет игра в кости. Крупная игра. Если мы возьмемся за дело вдвоем...

— Нет, мы за это дело не возьмемся. Мы пустим деньги в оборот гораздо ближе. Мы сыграем в другую игру — беспроигрышную. Иди за мною следом, но так, чтобы тебя никто не видел.

Пустырями, закоулками он привел вора к дому старого Мамеда-Али. Укрываясь в зарослях джидовника и плюща, они подкрались к забору, заглянули в сад.

Старик был в саду, окапывал яблони. Среди них — знал Ходжа Насреддин — была одна, посаженная Мамедом-Али в день рождения дочери. По рассказам Саида, этой яблоне полагалось для красоты каждый день особая ленточка: в субботу — красная, в воскресенье — белая, в понедельник — желтая, во вторник — синяя, в среду — розовая и в четверг — зеленая. А в пятницу — праздничный день — все шесть ленточек сразу. Этот обряд придумала сама Зульфия лет десять назад и с тех пор неукоснительно соблюдала, никогда не забывая поздороваться утром со своей ровесницей и принарядить ее.

Сегодня была пятница — праздник, яблоне полагалось шесть разноцветных лент. Но где же они?.. Ходжа Насреддин, сколько ни смотрел, не мог распознать среди многих яблонь эту, единственную. Неужели Зульфия забыла?

Нет, Зульфия не забыла. Вглядевшись пристальнее, Ходжа Насреддин различил на одной яблоне неподалеку, той самой, которую старик только что начал окапывать, узенькую ленточку, черную.

Зульфия не забыла. Сегодня утром она простилась со своей любимицей и в память о себе оставила траурный знак.

Ходжа Насреддин на мгновение задохнулся от жалости: эта черная ленточка сказала ему больше, чем целая книга скорби. Бедная девочка, сколько она выстрадала в эти дни! Еще ни разу не видев Зульфии, ни разу не говорив с нею, он почувствовал ее близкой и дорогой, как будто по крови. Он всем сердцем делил ее горе и всем сердцем заранее отзывался на ее радость — нечаянную, которой предстояло сейчас войти от него в этот сад.

— Ты видишь черную ленточку на яблоне? — шепотом обратился он к одноглазому. — Не пройдет и четверти часа, как она заменится пышным великолепием шести разноцветных лент! Поверь мне: ради таких минут стоит жить на земле!

Одноглазый не понял — для него эта ленточка была темна не только по цвету, но и по смыслу!

— Что хочешь ты сказать?

— Смотри и понимай сам.

В саду появилась молодая хозяйка, Зульфия. Увы! Она уже не считала себя здесь хозяйкой. Печальное облако темнило ее лицо. Медлительным прощальным взглядом обвела она сад — кусты, деревья, дорожки, цветы... Ходжа Насреддин издали угадывал слезы в ее глазах.

— Смотри! — шепнул вор, толкнув Ходжу Насреддина локтем. — Кто-то еще...

Это был Саид. Незамеченный стариком, он скользнул в калитку и пробирался за кустами к Зульфии.

Она кинулась к нему навстречу.

«Ну что?» — угадал Ходжа Насреддин ее вопрос.

— Сегодня все решится, — последовал ответ. — Или будут деньги, или бегство. Ты готова?

Зульфия отважно тряхнула головой. Да, готова!.. Она решалась не сразу, но если уж решалась, то до конца. Ходжа Насреддин залюбовался ею — смелым поворотом головы, блеском глаз.

Старик, возившийся под яблоней, оглянулся, увидел Саида и Зульфию. Он опустил голову, подумал, воткнул в землю свою мотыгу и немощной, разбитой походкой, волоча ноги, направился к ним.

Саид почтительно поклонился ему.

Старик ответил. Молча. Ему было трудно говорить. И стыдно. Преодолев себя, он сказал:

— Сынок, послушай меня: уйди. Не терзай понапрасну сердца ни мне, ни Зульфии, ни себе. Она уже теперь не наша.

К дальнейшим его словам Ходже Насреддину прислушиваться было некогда.

— Скорее! — шепнул он вору. — Спрячь драгоценности под яблоней. Сверху прикрой землею. Проскользни, как змея, как тень!..

Вор скользнул вниз, на ту сторону забора, в сад. И сразу исчез, словно ушел под землю, как в глухую воду. И только по едва заметному колыханию травы над сухим, заросшим арыком Ходжа Насреддин мог приметить его движение к яблоне. Стремительное, неслышное...

Что-то мгновенно мелькнуло под яблоней — и бурьян над сухим арыком опять зашевелился в обратном направлении.

Прыгая в сад, вор зацепил ветку граната, — когда вернулся, она еще качалась.

— Что же дальше? — шепотом спросил он, весь дрожа. Не от страха, конечно, — от воровского пыла, вывернутого наизнанку.

Сад, залитый широким и ясным потоком вечернего света, после скорбных слов Мамеда-Али как будто весь потемнел, входя в ночь.

Саид ушел. В калитке оглянулся, махнул на прощание рукой.

Зульфия плакала.

Медленными шагами старик вернулся к яблоне.

Он взял свою мотыгу, ударил ею раз, второй, третий, переворачивая землю, сглаженную до блеска железом. Каждый пласт он разбивал обухом, затем разминал — тщательно, до последнего комочка. Горе лежало

стопудовым камнем на его старом сердце, горе погасило последний огонь в его старых глазах, но вторгнуться в его привычный ежедневный труд не могло. В труде был для Мамеда-Али корень его бытия, главная основа, которой он держался на земле. Как всегда, размеренно поднимал и опускал он тяжелую мотыгу — и ничего за стариком не нужно было ни переделывать, ни поправлять.

Что-то звякнуло под мотыгой. Старик нагнулся, долго смотрел, не видя сослепу мешочка с драгоценностями. Ходжа Насреддин мысленно кричал ему: «Да нагнись пониже, старый крот! Бери, вот они, бери!».

Старик наконец увидел. Поднял мешочек. Развязал — и окаменел, ослепленный блеском золота, сверканием самоцветов.

Он вытряхнул драгоценности на ладонь — темную, заскорузлую, земляную. Один из браслетов упал на землю. Мамед-Али нагнулся поднять и разронял остальное. Рубиновое ожерелье скользнуло из его рук огненной змейкой, золото, падая, мягко вспыхнуло маслянистым тающим блеском, сапфиры сверкнули голубовато-льдистым звездным мерцанием, изумруды — зелеными искрами.

— Зульфия! Зульфия! — позвал старик замирающим голосом.

Она услышала, кинулась в тревоге к нему:

— Что с тобою, отец? Тебе плохо?..

И оцепенела, увидев драгоценности. За свою жизнь ей только раза два пришлось видеть золото, а самоцветы — никогда.

— Откуда это?

Старик уже опомнился, вошел в разум:

— Нашел. Вот сейчас, под яблоней... Под любимой, твоей... О Зульфия, всемогущий аллах услышал наши мольбы! Это принес нам ангел, твой ангел, Зульфия!

Ходжа Насреддин дернул одноглазого за рукав:

— Слышишь, ты ангел.

Сраженный, как молнией, приступом внутреннего беззвучного смеха, одноглазый в корчах повалился на землю, к ногам Ходжи Насреддина.

А в саду начался радостный переполох. «Саид! Саид!» — звонким голосом кричала Зульфия. Юноша не успел уйти далеко — услышал, прибежал. Он единственный из троих догадывался, откуда взялись эти драгоценности, но как попали они под яблоню — понять не мог.

Одного только не хватало для увенчания такого дня: разноцветных лент на яблоне. «Вспомни же, вспомни!» — твердил Ходжа Насреддин, мысленно обращаясь к Зульфии. Она внутренним слухом уловила его призыв, убежала в дом и через минуту вернулась, подобная летучей комете, — стремительная, сияющая и с хвостом разноцветных лент. Солнце уже зашло, но шелк струился, блестел, как бы заключая свет в самом себе; Зульфия нарядила яблоню, и в пышном великолепии цветных лент черная, поглощенная сумерками, исчезла, растаяла без следа.

На обратном пути вор сказал:

— Я думал, эта девушка ангельской красоты. А на самом деле — ничего особенного. Ей до Арзи-биби, например, далеко.

— Вспомни Саади: «Чтобы понять всю красоту Лейлы, надо смотреть на нее глазами Меджнуна», — ответил Ходжа Насреддин.

В хибарке он дал вору пяток лепешек, старое одеяло, кумган:

— Ты найдешь обиталище для себя где-нибудь неподалеку. Никто не должен тебя видеть и даже подозревать о твоем пребывании в Чораке. Пищу будешь получать от меня, и только по ночам. Будь всегда готов явиться ко мне по первому зову. Ты видел шест, что лежит перед входом? Если я подниму его с белым платком, это знак. Приходи, ни минуты не медля.

— Слушаю и повинуюсь.

С этими словами вор удалился на поиски уединенного ночлега.

Прятаться он умел. Без особого труда он разыскал неподалеку маленькую пещеру, очень уютную. Вход в нее прикрывался густыми зарослями — надежной защитой от чужих взглядов. Эта пещера сохранилась и посейчас в тех местах под названием «Обиталище благочестивого вора». Но из теперешних чоракцев ни один толком не может объяснить ее названия: о каком воре идет речь, что это был за вор, оставивший здесь на века свой неизгладимый след? Пусть же послужит наша книга к рассеянию мрака неведения и в этом тихом уголке земли, ибо познание мира собирается крупинками и никакая крупинка не бывает лишней.

До темноты вор успел нарвать сухого плюща и устроить себе постель. Сооружение очага и все остальное он отложил до утра. Уже наступала ночь; тонкие облака, наплывая на луну, порой превращали ее сияние в светлый туман; в кустах, осеребренных луной, пробежал, тихо шурша, кто-то маленький, на мягких лапках. Сонливо пискнула разбуженная птичка.

Вор бросился на постель, вытянулся. Глаза его слипались, в ногах после трех походов переливалась гудящая тяжесть.

Через минуту он спал — крепко, спокойно. И во сне улыбался, видя, может быть, дедушку Турахона.

Спал в своей хибарке и Ходжа Насреддин; перед ним во сне качалась яблоня, увитая шестью разноцветными лентами.

Спал Агабек, сладострастно чмокая толстыми губами: ему снилась Зульфия, которую наутро ожидал он в свою паутину. Мерзостный паук, напрасные мечтания! Вместо бабочки ему для гнусной и хищной трапезы был уже приготовлен шершень! Что же касается бодрствующих, то в эту ночь их было не двое, как обычно, а трое: старый Мамед-Али тоже не спал, охраняя драгоценности, запрятанные глубоко в изголовье.

Саид и Зульфия беседовали в саду, на своем обычном месте — у водоема, в тени карагача:

— Теперь ты убедилась, Зульфия?

— Саид, мой дорогой, я ничего не понимаю! Кто он, этот незнакомец, наш покровитель, наш друг?

— Не знаю, Зульфия, он не говорит своего имени... О, как я счастлив!

— И я счастлива, Саид!

— Навсегда?

— Навсегда! Скорее этот карагач превратится в тростинку, чем я тебя разлюблю!

Карагач слушал и не удивлялся: он видел многих влюбленных на этой скамье, слышал много нежных слов, повторяющихся из поколения в поколение, и знал, как быстро — по его вековому счету — превращаются пылкие любовники в дряхлых стариков и трясущихся беззубых старух, выходящих перед могилой посидеть на эту же самую скамью, но только днем, чтобы погреть на солнце холодную, медлительную кровь, что когда-то искрилась и пенилась, подобно молодому вину.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

— Самое время начинать полив, — весело сказал Агабек, явившись утром к отводному арыку. — Правда, на этот раз я получу не деньги — нечто другое, но впереди ведь будут еще поливы: свои денежные убытки я всегда успею вернуть. Я не прогадал.

Кротко синело озеро; вверху так же кротко и умиротворенно синело небо, глубокое, прохладное, увлажненное ночными туманами — сонным дыханием земли.

— Хозяйничать у воды придется сегодня тебе одному, я буду занят, — продолжал Агабек. — Сейчас приведут эту девушку. Да вон, уже ведут...

Ходжа Насреддин глянул в сторону селения.

К озеру по дороге направлялась кучка людей.

— Но я не вижу среди них девушки.

— Как не видишь?

Агабек воззрился на дорогу. Потом, с недоумением, — на Ходжу Насреддина:

— Посмотри внимательнее, Узакбай, у тебя глаза острее моих.

— Одни старики, — подтвердил Ходжа Насреддин.

— Понимаю! — зловеще сказал Агабек. — Они идут опять клянчить! Но я не из тех глупцов, которые поддаются на уговоры и обмякают от слез. Посмотри, как я сейчас их отделаю!

Он надулся, растопырил локти; глаза его сузились, борода выпятилась, затылок напружился, волосатая шея ушла в плечи.

Старики приблизились.

Впереди шел Мамед-Али. Еще вчера жалкий, трепетный, он за одну ночь словно бы вновь родился. Он шел твердой поступью и смотрел в лицо Агабеку прямо и смело, как равный.

За ним шли двое земледельцев, кузнец, гончар, коновал и позади всех — чайханщик Сафар.

Мамед-Али поклонился без раболепия, не слишком утруждая свою старую спину:

— Пришел срок полива, и мы хотим получить воду.

Остальные огладили бороды, призывая благословение аллаха на свой урожай.

— Получить воду? — грозно вопросил Агабек. — Но чем вы думаете платить за нее? Мое условие тебе известно, старик: твоя дочь.

— Моя дочь — не товар для торговли, — ответил Мамед-Али с твердостью и достоинством, которых вчера нельзя было предположить в нем.

Ходжа Насреддин готов был кинуться к нему с объятиями за этот смелый ответ. Старик подтвердил одну из наиболее дорогих его мыслей: свобода от голода и страха — вот что нужно человеку, чтобы извергнуть из своей крови низменную рабью каплю!

Агабек с удивлением смотрел на Мамеда-Али: откуда набрался старик такой дерзости?

— Чем же думаешь ты заплатить?

— Вот! — Старик вытащил из пояса кожаный потертый мешочек.

— Это что?

— Посмотри.

Агабек взял мешочек, рванул завязки.

Стоявший позади всех Сафар вытянул хилую шею. И на этот раз он остался верен себе: убежден, что все это окончится не к добру и драгоценности окажутся, конечно же, поддельными, как он и предсказывал утром в чайхане. Удивительный человек! Он умел спрятаться от радости, если даже она сама летела к нему!

Остальные безмолвствовали, равно готовые и к победному торжеству и к постыдному бегству.

Увидев золото, камни, Агабек переменился в лице:

— Где ты взял?

— Нашел.

— Нашел?.. Где?

— В своем саду, под корнями яблони.

— Мамед-Али, ты рассказываешь мне сказки!

— Я слишком стар для этого. Да и не все ли тебе равно, где я взял?

— Странно... И подозрительно, — пробурчал Агабек, высыпая на ладонь драгоценности. Под утренним ярким солнцем они горели еще ослепительнее, чем вчера под лучами заката.

— Знающие люди говорят, что они стоят много дороже четырех тысяч, — начал Мамед-Али.

— Знающие люди! — прервал Агабек. — Где ты здесь ухитрился найти знающих людей — среди такого же неотесанного мужичья, как сам! — Он спрятал драгоценности в карман. — Хорошо, я согласен. Узакбай, пусти воду!

Лязгнул ключ. Ходжа Насреддин снял замок. Старики — по два с каждой стороны — взялись за ручки вброта. Ржавые цепи натянулись, ставень пополз вверх, вжимаясь в забухшие пазы. Вода, образуя стекловидный вогнутый изгиб с длинными крутящимися воронками по краям, хлынула под ставень, в лоток. Ее журчание усиливалось, переходя в ровный гул; она бежала по сухому руслу арыка, гоня перед собой мутный пенистый гребень, слизывающий сухие листья, веточки, птичьи перья — все, что попадалось на пути. Вдоль арыка словно развертывался блестящий гладкий шелк, стремительно застилая дно

Вода! Издали донесся частый звон мотыги о мотыгу: вода подошла к полям. Через минуту звон повторился, отдаваясь в разных концах: вода разливалась, даруя жизнь растениям, деревьям, а через них — и людям. Мамед-Али склонился к арыку, благоговейно омочил седую голову, бороду. Старики молились.

Весь день чайхана Сафара пустовала: мужчины были все на полях. Только вечером, уже в сумерках, они разошлись, поручив надзор за поливом особо доверенным старикам, известным своею честностью. Стариков обязали всю ночь посменно охранять ответвления главного арыка, неусыпно следить, чтобы каждое поле, каждый сад получили полностью свою воду и ни одна капля не ушла на сторону. Водяной вор Камиль, с молодых лет бессчетно избиваемый односельчанами за кражу воды, был на этот раз передан под надзор муллы, который мудро решил посадить его внутрь минарета, где и запереть до утра на замок.

Поднявшаяся луна увидела под собою те же поля и сады, но теперь на них была брошена сверху путаница серебряных нитей — то блистали, струились, бежали во все концы полные водою арыки, переплетаясь, расходясь и снова сливаясь. И тишина была в эту ночь особенная: вся в переливах тихого журчания, затаенного плеска и бульканья; порою слышалось неясное чмоканье, как будто сама земля, почуяв на себе прохладную влагу, шевелилась и вздыхала сквозь сон.

Люди так устали на полях, что, разойдясь по домам, легли сразу спать. В чайхане коротали ночное время только четверо стариков, которым в полночь предстояло выйти

на охрану воды. Разговор шел, конечно, о вчерашней находке Мамеда-Али. Сам он участия в разговорах не принимал: сегодня уже столько раз повторял эту историю каждому чоракцу в отдельности, что вконец изнемог и теперь ограничивался лишь бессловесными звуками: в знак подтверждения — мычал, в знак отрицания — щелкал языком.

— Не сами же они выросли под яблоней, эти драгоценности! — воскликнул Сафар.

— Может быть, они лежали в земле на этом месте уже много веков? — отозвался один старик.

Мамед-Али щелкнул языком. Лежали много веков! Разве не окапывал он яблоню ежегодно — почему же не видал их раньше?

— Ты, наверное, просто не замечал мешочка. Думал — комок земли...

Подобная догадка затрагивала честь Мамеда-Али: он был не из тех садоводов, которые, окапывая деревья, оставляют комки.

— Зачем гадать, зачем думать! — не выдержал он. — Откуда взялись драгоценности? Конечно, от бога! Разве не всемогущ он, разве такое чудо не под силу ему?

Сафар испугался:

— Бог?.. Опомнись, Мамед-Али! Ты хочешь сказать, что сам бог посетил вчера твой сад?

— Зачем же обязательно сам? Он мог послать кого-либо из праведников, дедушку Турахона, например.

Дедушка Турахон!.. Как раз недавно был его праздник. Чоракские ребятишки, подобно кокандским и всем остальным, тоже подвешивали в садах и виноградниках свои тюбетейки. Дедушка Турахон!.. Сразу прихлынули к старикам воспоминания — отзвук тех благословенных лет, когда и сами они, волнуясь и замирая, пришивали к своим тюбетейкам разноцветные ниточки. В холодной памяти разума он мог затихнуть, угаснуть, этот далекий отзвук, но в памяти сердца — никогда!

И время в закопченной тесной чайхане потекло назад. Старики вспоминали и опять становились детьми; беззубые, сморщенные, дряхлые, они, оказывается, постарели и вошли в сумерки бытия только телом, но в сердцах сохранили непомеркшей зарю своего утра — легкий прозрачно-золотистый свет, встретивший их в колыбели. Тот, кто умеет смотреть на людей со вниманием, не удивится этому: он знает, как много детского все мы носим в себе.

— Может быть, и вправду — дедушка Турахон? — задумчиво сказал один старик.

— Но в доме Мамеда-Али нет детей, — усомнился второй.

— Что ж такого? — возвысил голос Мамед-Али. — Если он любил мою Зульфию маленькой девочкой, почему он должен ее разлюбить?

В конце концов старики решили, что Мамед-Али прав: драгоценности принес Турахон...

Наступившая полночь положила конец разговорам в чайхане. Старики разошлись на поля. Мамед-Али был задумчив, глубоко вздыхал, обращая взоры к ночному небу, к звездам, которые казались ему близкими, пушистыми, теплыми сквозь умиленные слезы, поминутно застилавшие глаза.

Порученные его заботам сады и поля находились в голове арыка, в самом верхнем течении. С мотыгой на плече он шел берегом, внимательно осматривая выходы мелких боковых арыков из главного русла: не образовался ли где-нибудь песчаный нанос, препятствующий свободному току воды? Иногда он останавливался, двумя-тремя ударами мотыги исправлял замеченный непорядок и шел дальше. Навстречу ему струилась вода, то прячась в черной тени деревьев, то блестя на открытых местах, вся — в мелкой россыпи звездного серебра.

Путь ему пересекла большая дорога. Он остановился, заметив сбоку, на мостике, двух каких-то полунощников. Прислушался, не выходя из тени. По голосу узнал Агабека. О втором догадался: хранитель озера.

— Значит, завтра в полночь, хозяин.

— Помни свое слово.

— Я помню и сдержу его.

Они сошли с мостика, направились прямо на Мамеда-Али. Старик не хотел встречи с ними, но пришлось.

— Кто? — окликнул Агабек.

— Я, Мамед-Али. Охраняю воду.

— А, Мамед-Али! Ну, охраняй, охраняй. Да смотри не забывай охранять и свою дочку: ведь после этого полива будет следующий...

Лицо старика загорелось. Он вскинул голову, чтобы достойно ответить, и промолчал. Отравленная капля в его крови не дремала. Утром она уступила, а сейчас взяла отплату за утреннее. Эта капля была главной союзницей Агабека и всех других Агабеков, сколько их ни есть в

мире, главной опорой их неправедного могущества. «Каждый за себя», — шептала она людям. Ложь! Те, которые живут по этому правилу, никогда не могут постоять в больших делах за себя!

Присев на камень, старик задумался. Не успев спровадить одну беду, он уже был подавлен тяжким предчувствием следующей.

Конечно, он откажет, если Агабек опять потребует Зульфию. Откажет с полным правом: один раз он уже уплатил за всех. Теперь очередь за другими. Но ведь может случиться и так, что Агабек не примет денег. Или Зульфия, или оставайтесь без воды. И опять соберутся в чайхане старики, опять скажут: «Мамед-Али, ты один можешь спасти нас!». Что делать, что делать?..

— Из этого дела есть выход, и очень простой, — вдруг сказал кто-то совсем рядом.

Старик вздрогнул.

Перед ним стоял хранитель озера. Один, без Агабека.

— Какой выход? Из какого дела?

— Из того дела, о котором ты сейчас думал.

— Я ничего не думал, я дремал...

— Пусть будет по-твоему — выход из того дела, о котором ты сейчас дремал. Выдай поскорее свою Зульфию за Саида — вот и все. Когда они будут мужем и женой — кто сможет их разлучить?

Старик опешил. Каким образом проник этот хранитель в его мысли?

— Не удивляйся, — продолжал хранитель. — Я не чародей и не колдун. Ты просто слишком глубоко ушел в себя и начал думать вслух.

Думать вслух — какая неосторожность! Старик закряхтел, заворочался на камне. Какая неосторожность! Завтра же все будет передано Агабеку!

— Ни о чем я не думал — оставь меня! Какая тебе забота обо мне и о моих детях?

— Ага! «О моих детях» — сказал ты. Значит, в мыслях ты уже давно их поженил. Теперь дело только за муллой.

Второй промах! Он опасный человек, этот хранитель, он ловит на каждом слове! Лучше держаться от него подальше.

Старик притворно зевнул, вскинул на плечо свою мотыгу:

— Пойду проверю воду...

Не так легко оказалось избавиться от хранителя: он пошел рядом.

— А скажи, Мамед-Али, по совести — где ты взял драгоценности? Клянусь, твоя тайна умрет во мне.

Выпытывает! Подослан Агабеком!

— Я нашел драгоценности в своем саду, под корнями яблони, — сердито, почти грубо ответил старик.

— Но кто положил их туда?

Терпение старика истощилось, он строго посмотрел хранителю прямо в глаза:

— Кто положил их туда? Некто не похожий на тебя и на твоего хозяина, некто благодетельный, чье имя благословенно всегда, везде и вовеки!.. Ты понял?

И он отвернулся, полагая, что сказал достаточно, даже с большим запасом, чтобы впредь между ним и этим хранителем не возникало уже никаких разговоров.

Но хранитель не уходил — стоял, загораживая тропинку.

Спокойным, властным движением руки Мамед-Али отстранил его:

— Пусти, я пойду...

Здесь произошло нечто неожиданное: хранитель вдруг схватил старика за плечи и трижды крепко тряхнул, восклицая:

— Ну конечно, дедушка Турахон! Как я сам не догадался, не сообразил!

Так же внезапно сорвал с плеч Мамеда-Али свои руки и быстро пошел, почти побежал по дороге.

Сумасшедший! Никакого другого объяснения старик подобрать не мог. Одно только непонятно: неужели Агабек ослеп, не видит? Впрочем, если не видит, какое дело Мамеду-Али: ведь не ему раскроит однажды мотыгой череп, незаметно подкравшись сзади, этот хранитель! Надо от них, от обоих, подальше, — пусть сами разбираются, как хотят... На этом старик прервал свои размышления и не спеша побрел в обратный путь берегом арыка, вслед за водой.

А Ходжа Насреддин не шел — летел к своей мазанке.

Возле мазанки, затаившись в репейниках, поджидал его вор.

Это было свидание особенное. Вор заливался благодарственными слезами, а Ходжа Насреддин говорил ему:

— Да, ты прощен и даже отмечен знаком особой милости. Готов ли ты к дальнейшим подвигам во славу Турахона?

Вор влажно и протяжно всхлипнул, кулаком ударил себя в грудь:

— Теперь я преисполнен такого рвения к добродетельным подвигам, что мог бы украсть самого менялу вместе с его распутной женой и даже ее любовником! Приказывай!

— Что скажешь ты о превращении в ишака?

— В ишака?.. — Вор подавил рыдания, посмотрел на Ходжу Насреддина с опаской. — Это надолго?

— Нет, на короткое время. Слушай внимательно.

Они говорили до утра. Сначала только брезжило, ночь долго не хотела сдаваться, сопротивляясь утреннему свету; наконец свет победил и отделился от тьмы, которая отступила на запад и залегла там, в угрюмых горах. Да будет свет! Взошло солнце, брызнуло лучами по всему необъятному миру. Громче запели птицы.

Вор покинул хибарку, унося в просветленной душе новые чаяния.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

День пролетел на крыльях забот, и снова на смену ему опустилась ночь в своем прозрачно-темном плаще с алмазами звезд.

Ходжа Насреддин сидел на камне у дверей мазанки, мысленно проверяя — все ли готово, все ли закончено для сегодняшнего решительного дела.

На тропинке вдали послышался хруст щебня под грузными шагами. Это Агабек спешил в мазанку для принятия великой тайны.

Ходжа Насреддин встретил Агабека со степенной важностью, приличествующей тому важному событию, которое в эту ночь должно было совершиться. Его поклон был преисполнен сдержанного достоинства, движения — неторопливы, речь — немногословна и внушительна.

Усадив гостя на свою постель, он присел на корточки перед горящим очагом и начал помешивать ложкой в маленьком котле, где кипел какой-то пахучий травяной настой.

— Это что? — спросил Агабек.

— Волшебный состав, — ответил Ходжа Насреддин, повернув к нему лицо, залитое пламенем с одной стороны и черной тенью — с другой.

Пламя в очаге догорало и, затихая, изредка вздрагивало судорожными вспышками; в хибарке потемнело; ишак в углу погрузился в черную тень, как в непроглядную воду, и только бурчанием в животе да сопением напоминал о себе.

Ходжа Насреддин снял котел, накрыл дощечкой.

— Пусть потихоньку остывает, а мы тем временем побеседуем, хозяин. Я должен тебя подготовить, дабы страх и безмерное удивление не прервали нить твоей жизни.

— Разве это опасно?

— Для неподготовленных — опасно.

Раздув уголь, он зажег масляный фитиль, укрепил его на стене. В бессильном свете опять смутно обозначился в углу ишак, сначала — зеленовато-огненным отливом глаз, затем — длинными ушами, наконец — хвостом.

Он получил сегодня только полкорзины лепешек: оставшиеся были убраны в противоположный угол, откуда нестерпимо дразнили его своим запахом. Он волновался — ворочался, вздыхал и скреб копытом глиняный пол. Но Ходжа Насреддин был непреклонен, даже не смотрел в его сторону.

Ходжу Насреддина поглотили с головою другие заботы.

— Алиф! Лам! Мим! — неожиданно и резко вскрикнул он, заставив Агабека вздрогнуть. — Алиф! Лам! Ра!.. Кабахас, чиноза, тунзуху, чунзуху!..

Подняв руки, он обошел хибарку, останавливаясь в каждом углу, потом плотно прикрыл дверь и вернулся на свое место:

— Теперь нас уже никто не подслушает.

— А кто мог подслушать нас раньше? — вопросил Агабек. — Ведь мы и раньше были здесь только вдвоем, если не считать ишака.

— Тсс, хозяин! Сколько раз я просил тебя не произносить вслух этого непристойного, базарного слова!

Он встал, отвесил ишаку почтительный поклон.

Тот обрадовался, оживился, задвигал ушами, замахал хвостом.

Но лепешки не последовало...

— Нет, хозяин, мы были здесь не вдвоем и не втроем, — сказал Ходжа Насреддин. — Разве ты не знаешь, что, помимо видимых существ, мир наполнен еще множеством невидимых, которые тем не менее понимают человеческую речь.

— Невидимые существа? Понимают человеческую речь? Это кто же такие? — усмехнулся Агабек, желая показать своей усмешкой независимость и смелость ума.

— Это души людей, погибших неправедной смертью, главным образом — души повешенных, — пояснил Ходжа Насреддин. — В течение некоторого времени перед тем, как предстать на суд всевышнего, они остаются еще на земле и бродят в поисках заупокойной молитвы. Они всегда вертятся вокруг живых и бывают весьма надоедливы, пока живой не догадается помолиться за них... К тебе, хозяин, они должны особенно приставать, — добавил Ходжа Насреддин, как бы мимоходом.

— Это почему же — ко мне? — насупился Агабек.

— Скажи, в бытность твою главным городским судьей в Хорезме не приходилось ли тебе приговаривать кого-либо к повешению?

Эти слова упали на голову Агабека, как хорошая дубина, обмотанная тряпьем, — мягко, но оглушающе. Недоверчивая усмешка вмиг исчезла с его лица: он боязливо оглянулся в темноту, которая сразу стала для него живой, таинственной, глубокой и зловещей.

— Приходилось, конечно. По службе...

— Вот видишь! Но заказывал ли ты по крайней мере заупокойные молитвы по этим людям?

— Заупокойные молитвы?.. Такое дело было бы слишком разорительным для меня. В Хорезме ловят столько разных злоумышленников!

— Вот поэтому невидимые к тебе и пристают.

— Откуда ты знаешь, что они ко мне пристают?

— Потому что они могут быть все-таки слегка видимы для изощренного зрения. Чуть-чуть, едва приметно... так, что-то вроде стеклистых червячков, плавающих в воздухе. Я давно их замечал над тобою. Да ты, вероятно, и сам их видел не раз, только не знал, кто они.

Так как Агабек был весьма толст и грузен, то, конечно, часто видел как бы плавающих перед глазами в воздухе стеклистых червячков, особенно когда приходилось ему нагибаться и снова выпрямлять спину.

— Да, видел... Но я полагал, что это от излишней крови.

— Если бы это происходило от излишней крови, тогда бы они представлялись тебе красными, ты же видишь их прозрачными, как бы бесплотными, — рассудительно ответил Ходжа Насреддин.

Против столь очевидного довода Агабек ничего не мог возразить. Слова Ходжи Насреддина тягостно поразили его мясистое воображение.

Он закинул голову, чтобы проверить — точно ли стеклистые червячки все удалились? Его толстый загривок напрягся, кровь замедлилась — и он увидел их перед собою во множестве. Он ужаснулся!

— Послушай, Узакбай! — жалобно воскликнул он. — Вот они, вот! Они здесь, никуда не исчезли!

— Успокойся, ободрись, хозяин! — сказал Ходжа Насреддин: слишком пугать Агабека не входило в его расчеты. — Это не те, другие. Так, мелочь. Те, опасные, удалились, эти же вполне безопасны.

— Ну хорошо, а как же дальше? Когда вернутся те, опасные? Ведь не могу же я теперь сидеть, спасаясь от них, в этой хибарке до конца моих дней? О Узакбай, о неразумный, зачем ты мне сказал? Раньше, когда я не знал...

— Ты легко можешь от них отделаться, хозяин. Закажи здешнему мулле поминальные службы. На год вперед. И заплати сразу. Этого хватит с избытком.

Давая такой совет, Ходжа Насреддин преследовал цель обновить из кармана Агабека чоракскую мечеть, которая своими облупившимися стенами, облезшей росписью и гнилыми столбами уже давно взывала к щедрости прихожан. Агабек был самым богатым прихожанином, но и самым скупым, его следовало наказать.

— Конечно, закажу! — воскликнул он со вздохом облегчения. — Пусть даже это мне обойдется в тысячу таньга! Подумай, сколь глубоко сидела преступность в этих людях: даже после смерти они продолжают свои бесчинства! Но, к сожалению...

— К сожалению, во второй раз их повесить нельзя, — закончил Ходжа Насреддин.

— Не обязательно вешать. Аллах мог бы наказывать их каким-нибудь другим способом.

Вот все, до чего мог возвыситься его убогий тюремно-палочный разум, даже войдя в соприкосновение

с таинственным миром, лежащим по ту сторону земного бытия!

Теперь, когда Агабек был в должной мере подготовлен, Ходжа Насреддин решил перейти к делу, то есть к той главной тайне, ради которой они сошлись в эту ночь.

Тайна оказалась поистине удивительной, способной привести в смущение любую мудрость. Она заключалась в том, что ишак, стоявший здесь же, в углу, — на самом деле вовсе не ишак, но превращенный злыми чарами в ишака наследный принц египетский, единственный сын царствующего ныне в Египте султана Хуссейна-Али.

Рассказывая Агабеку все это, Ходжа Насреддин сам удивился, как ворочается у него язык.

— Вот почему я кормлю его абрикосами и белыми лепешками, сожалея, что не могу раздобыть в этом глухом селении пищи более изысканной. О, если бы я мог подавать ему ежедневно корзину розовых лепестков, политых нектаром!

Голова Агабека, и без того затуманенная, пошла кругом. В стеклистых червячков он поверил, но в это поверить не мог.

— Опомнись, Узакбай, какой он принц! Самый настоящий ишак!

— Тсс, хозяин! Неужели нельзя выразиться иначе? Ну почему не сказать: «этот четвероногий», или «этот хвостатый», или «этот длинноухий», или, наконец, «этот покрытый шерстью».

— Этот четвероногий, хвостатый, длинноухий, покрытый шерстью ишак! — поправился Агабек.

Ходжа Насреддин поник в изнеможении головой.

— Если уж ты не можешь воздержаться, хозяин, то лучше молчи.

— Молчать? — засопел Агабек. — Мне? В моих собственных владениях? Из-за какого-то презренного...

— Воздержись, хозяин; молю тебя, воздержись!

— Ишака! — неумолимо закончил Агабек, точно вколотил тупой гвоздь.

Минуту длилось молчание.

Ходжа Насреддин снял халат и, распялив его на тополевых жердях, отгородил ишачье стойло как бы занавесом.

— Теперь нам будет свободнее говорить, если только ты, хозяин, немного умеришь мощь своего голоса, подобного трубе. Когда в беседе ты опять дойдешь до этого непристойного слова — постарайся произносить его шепотом.

— Хорошо! — буркнул Агабек. — Постараюсь. Хотя, говоря по совести, не понимаю...

— Скоро поймешь. Ты удивлен? Ты не можешь допустить в свой разум мысли, чтобы под серой шкурой в длинноухом и хвостатом обличье скрывался человек, да еще царственного звания? Но разве ты никогда не слышал историй о превращениях?

Здесь мы должны заметить, что в те времена по мусульманскому миру ходило множество таких историй; были даже мудрецы, писавшие толстые книги об этом, а в Багдаде объявился некий Аль-Фарух-ибн-Абдаллах, уверявший, что сам на себе испытал целый ряд превращений: сначала в пчелу, затем из пчелы в крокодила, из крокодила в тигра и, наконец, опять в самого себя... Одного только превращения никогда не испытал упомянутый Аль-Фарух: из плута в честного человека, но это разговор особый и здесь неуместный; вернемся в хибарку.

— Слышать я слышал, но всегда считал это пустыми выдумками, — сказал Агабек.

— Теперь ты видишь воочию.

— А где доказательства? Что в этом, — он понизил голос, — в этом ишаке свидетельствует об его царственном происхождении?

— А хвост? Белые волосинки в кисточке на самом конце?

— Белые волосинки? Это и все? Да я тебе найду их целую сотню на любом ишаке!

— Тише, тише, хозяин; говори шепотом. Ты хочешь более несомненных доказательств?

— Конечно, хочу! Этот ишак — принц? Так преврати же его на моих глазах в человека или, наоборот, преврати какого-нибудь человека в ишака. Тогда вот я поверю.

— Как раз таким делом я и думаю сегодня заняться: вернуть ему на короткое время его подлинный царственный облик. Что же касается превращения какого-нибудь человека в ишака, то, быть может, с помощью аллаха удастся и это.

— Так начинай: уже полночь.

— Да, уже полночь. Я приступаю.

И он приступил. Зная, что дубленую, толстую кожу Агабека пробрать не легко, он не жалел ни пыла, ни усердия. Он метался по хибарке из угла в угол, выкрикивая хриплым голосом заклинания, бросался на стены и отшибался от них, как мяч, топотал ногами, падал на пол и корчился, дрожа, исходя пеной. Затем весь потный, запыхавшийся — принялся за ишака, облив его для начала волшебным составом, что весьма ишаку не понравилось: он зафырчал и замотал головой.

— Кабахас! — придушенным голосом вскрикнул Ходжа Насреддин, входя в стойло. — Суф!.. Чимоза! Дочимоза, каламай, замнихоз!..

При этом он из-под рубашки, незаметно для Агабека, сунул ишаку под нос пахучую, сдобную лепешку, но в пасть не давал. Этим нехитрым способом он быстро довел ишака до полного исступления: тот заревел, поднял хвост и, брыкаясь, начал кидаться на жерди.

— Цуцугу! Лимчезу! — в последний раз возопил Ходжа Насреддин и, обливаясь потом, подбежал к Агабеку:

— Пойдем, хозяин! Теперь пойдем! Никто не должен видеть чуда превращения. Иначе — слепота! Неизлечимая, на всю жизнь!

Он вытеснил Агабека из хибарки, вышел и плотно прикрыл дверь:

— За мной, хозяин, за мной. Отойдем подальше: здесь оставаться опасно!

Агабек, слегка ошеломленный заклинаниями, не сопротивлялся.

Они свернули на тропинку, что вела к отводному арыку.

Ходжа Насреддин притворно закашлялся. Ночь ответила криком перепела, это означало: «Я готов!». Все шло как нужно.

У водяного лотка они уселись рядом на конец бревна, поддерживающего ворот.

Ходжа Насреддин еще не совсем отдышался после колдовства и жадно пил ночной свежий воздух. Мало-помалу его сердце усмирилось и дыхание выровнялось.

На Агабека ночная прохлада тоже возымела благодетельное действие, разогнав колдовской чад, сгустившийся в его черепе, под толстыми костями. Недоверчивый от природы, склонный видеть во всех человеческих деяниях преимущественно плутовство, он и в хибарке верил не очень,

а здесь, на свежем воздухе, не будучи более подавляем заклинаниями, окончательно отрезвел. И в его темной душе начала подниматься злоба, смешанная с досадой, что его хотят оставить в дураках.

Он язвительно засмеялся:

— Ну, где же твое чудо, Узакбай?

— Еще не свершилось, хозяин. Подождем.

— Нечего и ждать! Уже видно, что из твоей плутовской затеи ничего не получится. Ишак останется, как был, ишаком, но ты навряд ли останешься хранителем озера.

Про себя он думал: «Вот замечательный случай выгнать его с должности, не возвращая залога! Он хотел одурачить меня, но одурачил самого себя!».

Эти коварные мысли Агабека были, разумеется, понятны Ходже Насреддину, как если бы он их слышал... Он усмехался в душе, но молчал.

Перед ними шумела, пенилась вода, с напором устремляясь в лоток и сотрясая помост, передававший свою дрожь бревнам, на которых они сидели.

Молчание Ходжи Насреддина было истолковано Агабеком по-своему — на судейский лад:

— Или тебе нечего ответить? Скажи теперь: какая тебе нужда служить у меня за одну таньга в день, если ты действительно волшебник? Своим волшебством ты бы мог зарабатывать тысячи. Молчишь? Ты, видно, забыл, Узакбай, что имеешь дело с бывшим главным хорезмским судьей, которому приходилось распутывать обманы куда похитрее!

В голосе Агабека явственно обозначилось поддельно благородное негодование, давно уж ему привычное, как, впрочем, и всем другим неправедным судьям, выносившим свои приговоры не по действительной вине преступника, а в угоду высшим или к собственной выгоде; если бы эти судьи не умели произвольно вызывать в себе такого негодования, то как иначе могли бы они притворяться перед самими собой, что судят искренне и честно, как могли бы жить в добром согласии со своей исхитрившейся совестью?

— Ага, попался! — продолжал Агабек, распаляя себя все больше и жарче. — Ты думаешь, я не раскусил обмана с первого твоего слова? Нет, раскусил! И видел, что все это — чистейшее плутовство. Я хотел только проверить и уличить тебя. И вот — проверил. Теперь ясно: ты бесстыдный лжец! И твои стеклистые червячки...

Но здесь, на этом самом слове, он был схвачен за язык! Схвачен за язык и приведен к молчанию! И повергнут в ужас!

Потому что благоуханную тишину ночи вдруг прорезал невероятный, нечеловеческий вопль, оледенивший сразу всю кровь в его жилах.

Этот вопль исходил из хибарки.

Ходжа Насреддин опустился на колени:

— Благодарю тебя, о всемогущий аллах, за твою милостивую помощь!

Поднявшись, обратился к Агабеку:

— Свершилось! Идем, хозяин!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

То, что узрел Агабек в хибарке, привело его в безмерный трепет. На месте ишака стоял человек! Человек в дорогом парчовом халате, со множеством блях и медалей!!! Человек с уздечкой на голове!! Опоясанный саблей!!! Драгоценной саблей, с эфесом чистого золота!!!

Согнувшись вдвое, чуть ли не ползком, Ходжа Насреддин приблизился к нему:

— О блистательный принц, как я счастлив видеть ваше столь счастливое сегодня превращение!

Человек не ответил. Его от головы до пяток сотрясала крупная дрожь, ломали корчи, как бы в припадке падучей. Зубы его ляскали, единственный глаз, обращенный к Агабеку, дико вращался, источая из себя пронзительный желтый луч, на губах клокотала пена.

Он простер вперед трясущуюся руку, желая что-то сказать, но вместо человеческой речи из его уст исторгся оглушительный ишачий рев.

Агабек судорожно ухватился за дверь, не помня себя. Он бы сейчас все бросил и убежал, но его ноги подгибались, зыбились, словно кости в них растаяли.

Ходжа Насреддин хлопотал вокруг превращенного, брызгал своим волшебным снадобьем.

Мало-помалу дрожь и корчи, сотрясавшие тело превращенного, затихли, пена исчезла с губ. Ходжа Насреддин поспешно подал ему воды. Он с жадностью выпил, обливая подбородок и парчовый халат. После этого заговорил скрипучим и сварливым старушечьим голосом, с привизгом:

— О нерадивый и ленивый раб, долго ли еще ты будешь мучить меня этими временными превращениями? Разве не знаешь ты, каких страданий стоит мне каждое превращение?

Ходжа Насреддин только кланялся ниже и ниже:

— Да простит сиятельный принц и будущий султан своего ничтожного раба, но мне до сих пор не удавалось сварить достаточно сильного волшебного состава.

— Это продолжается уже четыре года!

— Теперь я разыскал наконец в окрестностях селения траву, которой недоставало, чтобы мой состав обрел полную силу. Теперь, о сиятельный принц, дело завершено, и ваше окончательное превращение произойдет раньше осени — как только мы прибудем в Египет, ко двору вашего солнцеподобного родителя, несравненного и непобедимого султана Хуссейна-Али.

— А до тех пор я должен пребывать в этой гнусной ишачьей шкуре?

— Здесь я бессилен, о многомилостивый принц! Ваше окончательное превращение может произойти только в Египте, и обязательно в присутствии вашего царственного родителя. Только его поцелуй закрепит мое волшебство, и после этого вы уже навсегда останетесь в присущем вам от рождения царственном облике.

— Ничего не поделаешь, придется ждать, — вздохнул принц. — Да что же ты стоишь как столб, или, скорее, пень! Сними уздечку, сними саблю! И спрячь ее куда-нибудь подальше, ибо при обратном превращении она уходит внутрь моего тела и причиняет мне излишние терзания.

Ходжа Насреддин снял с него уздечку, отцепил саблю.

— Вот уже четыре года ты прислуживаешь мне, но до сих пор ничему не научился! — продолжал принц. — Ты совершенно не умеешь себя вести с царственными особами. Думаю, что тебе придется весьма трудно, когда ты вступишь в должность визиря и главного хранителя египетской казны. Мой отец, султан Хуссейн-Али, весьма требователен к придворным по части приличий. Во дворце имеется особая тайная комната для наказания плетьми визирей и прочих высоких вельмож, виновных в нарушении приличий, — боюсь, как бы тебе не пришлось в ней побывать!

— О сиятельный принц!..

— Ты даже стоять не умеешь как следует. Ну кто же так стоит перед царственными особами? Где преданность

в твоих глазах, мужлан? Где раболепие в спине, где восторг?

— О милостивый принц!..

— Не перебивать! — закричал принц тонким и вздорным голосом. — Не смей перебивать!.. А почему одна лепешка сегодня оказалась пересушенной? Почему некоторые абрикосы оказались перезревшими, а другие, наоборот, жесткими? А где финики, о которых я говорил тебе в прошлое свое превращение? Где они? Я желаю фиников — слышишь ты, нерадивый и ленивый раб! Я отвергаю все твои оправдания! Неужели до сих пор ты не понял простой истины: если я, наследный принц египетский, возжелал фиников, значит, они должны быть, хотя бы ради этого тебе пришлось снарядить целый караван в Египет, на мою родину!

Здесь взгляд вора, — ибо этот принц был, конечно, не кто иной, как наш старый знакомый, одноглазый вор, — здесь его взгляд остановился на Агабеке:

— А это еще кто? Это что за человек? Откуда он взялся? Что ему нужно здесь?

— Это один из здешних жителей, — почтительно доложил Ходжа Насреддин. — Он немало содействовал мне в поисках волшебной травы, следовательно — имеет некоторые косвенные заслуги перед сиятельным принцем. Почему и был допущен к лицезрению...

— Имя? — обратился вор к Агабеку, что ни жив ни мертв стоял на прежнем месте в дверях, держась за притолоку, чтобы не упасть.

— Та... та... ба... ба... да... бек, — залепетал несчастный одеревеневшим языком.

— А?.. Что?.. Не слышу... Что?.. — Вор спрашивал отрывисто, нетерпеливо, словно бы взлаивая, как и подобает вельможной особе в разговорах с ничтожными. — Табек?.. Тарабек?

— Ца... ва... ка... бек...

— Что?.. А?.. Фидабек?.. Магобек?..

— Агабек, — шелковым голосом подсказал Ходжа Насреддин.

— Агабек?.. Вот теперь я слышу ясно. Так, так! — с важностью сказал вор. — Значит, Агабек. Ну что ж, Агабек так Агабек, пусть будет Агабек... Подойди ближе, не бойся.

Агабек приблизился и повалился на колени.

— Вот, смотри! — поучительно обратился вор к Ходже Насреддину. — Этот человек хотя и сельский житель, но вполне искусен в обращении с царственными особами. Посмотри на изгиб его спины, посмотри на усердие, с которым он, несмотря на свою полноту, припадает к нашему царственному подножию. А ты?

— Да позволит мне сиятельный принц сказать несколько жалких слов в свое оправдание. Этот человек не всегда был сельским жителем. Еще в недавнем прошлом он занимал высокие должности: конечно, он привык обращаться с высокопоставленными особами, в то время как я...

— Занимал высокие должности? Это и видно. Тебе следовало бы поучиться у него, дабы, сделавшись египетским визирем, не слишком часто навещать тайную комнату... Встань! — милостиво обратился принц к Агабеку. — Твое лицо внушает мне доверие. Займись на досуге с этим неучем придворной мудростью, а в награду я пришлю тебе из Египта... Ай!.. Ой!.. Ув-в-в!.. О-о-о-о!..

Вор заскрежетал зубами, забился в корчах, из его рта вместе с пеной опять вырвался трубный ишачий рев. И к полному ужасу Агабека, он, вращая огненно-желтым оком, начал быстро двигать ушами — умение, которым овладел еще в детские годы.

— Началось! — вскричал Ходжа Насреддин, толкая в спину оцепеневшего Агабека. — Началось обратное превращение! Скорее, скорее отсюда, иначе мы оба ослепнем!

Ноги не слушались Агабека, он весь дрожал, точно и сам готовясь к превращению в ишака; по его жирному лицу струился пот, дыхание вырывалось из груди с хрипом.

Ходжа Насреддин кое-как волоком вытащил его из хибарки и усадил на камень перед входом, привалив спиною к стене.

Свежий воздух, растирание, холодные примочки, щекотание соломинкой в ноздрях оказали наконец на Агабека должное действие: он пришел в разум.

— А что принц? — был его первый вопрос. — Он уже?..

— Думаю, что уже. Давай заглянем.

Агабек колебался. Страх противостоял в нем любопытству. Однако любопытство пересилило:

— Только ты первый.

Ходжа Насреддин приоткрыл дверь, заглянул:

— Да, свершилось!

Заглянул и Агабек. В хибарке все было спокойно, тихо, и на том месте, где несколько минут назад он своими глазами видел египетского наследного принца и даже обметал бородою пыль с его сапог, теперь стоял тот же, что и раньше, серый ишак, по внешнему виду ничем не отличавшийся от многих тысяч своих длинноухих собратьев.

Но только по внешнему виду. Внутренняя же сущность его была столь необычайна и блистательна, что Агабек, затрепетав, опять склонился перед ним до земли.

Пока Ходжа Насреддин кормил ишака лепешками и абрикосами, Агабек успел вполне оправиться от перенесенных волнений. В его хитромудрой судейской голове закипела работа. В какую сторону были устремлены его помыслы — догадаться нетрудно: есть царственная особа, от которой в ближайшем будущем должны излиться великие милости; по счастливому стечению обстоятельств он обратил на себя благожелательное внимание этой особы и даже удостоился от нее поручения. Было бы глупо упустить такой случай, не попытавшись извлечь из него наибольшую для себя пользу. Надлежало действовать, не теряя ни одной минуты.

Подобно всем вельможам, он отличался быстрыми переходами от самого униженного страха к бесстыдству. Он смело вошел в хибарку и повергся на колени перед ишаком:

— Да простит мне сиятельный принц, что я осмелился нарушить его царственную трапезу, но действия этого человека внушают мне истинную скорбь по крайнему их неприличию... Разве так прислуживают царственным особам? — строго обратился он к Ходже Насреддину. — Передай мне лепешки! Пусть это будет для тебя первым уроком в соответствии с пожеланиями великого принца. Передай абрикосы. Смотри и учись!

Да, было на что посмотреть и чему поучиться! Как изгибался Агабек, подавая лепешки, как тщательно обмывал абрикосы и резал их пополам, удаляя косточки! Сколь сладки, льстивы и вкрадчивы были его речи! Поистине, таких почестей никогда еще не удостаивался ни один ишак в мире, не исключая даже и того, на котором великий иудейский пророк Исса совершил некогда свой въезд в Иерусалим.

Когда обе корзины опустели, Агабек потребовал полотенце и с благоговением вытер ишаку морду. Тот, вообра-

зив, что ему подносится какое-то новое блюдо, забрал полотенце в пасть и начал жевать, но, обманувшись в своих ожиданиях, выплюнул с отвращением.

— Сиятельный принц окончил трапезу! — возгласил Агабек, глядя на Ходжу Насреддина с победным торжеством и даже свысока. Так всегда бывает во дворцах: те, которые возвели царя на трон, удаляются, вперед выходят льстецы.

Потом они долго сидели на камне у дверей мазанки. Окрыленный первым успехом, Агабек пристал к Ходже Насреддину, как репей к ишачьему хвосту. Он уже сообразил, что дело здесь не маленькое и путь из этой убогой хибарки ведет прямо в Египет, к подножию трона. Все чувства, составлявшие основу его души, то есть неутолимое честолюбие, алчность и любовь к власти, пришли в неописуемое волнение. Позабыв о своей усталости, о позднем часе, он безотвязно расспрашивал Ходжу Насреддина обо всем, касающемся принца: когда и при каких обстоятельствах превратился принц в ишака, где был в это время Ходжа Насреддин и от кого узнал о великом бедствии, постигшем египетский трон, где встретил принца и как различил его среди прочих ишаков? Ходже Насреддину пришлось бы туго, если бы он не подготовился к этим расспросам заранее. Он в ответ рассказал Агабеку длинную и запутанную, но по тем временам вполне правдоподобную историю, которой мы здесь излагать не будем, исходя из того, что каждый может сам выдумать ее для себя, вполне по своему вкусу.

— Вот, с той минуты, как я встретил его, согбенного под вязанкою хвороста, на горной тропе близ Пенджаба, и до сих пор, уже четыре полных года, я мучаюсь с ним, — закончил со вздохом Ходжа Насреддин. — Но теперь, благодарение аллаху, конец моим мучениям близок: волшебный состав изготовлен. Я задержусь в этом селении еще недели на две, чтобы набрать в запас волшебной травы, ибо она произрастает только здесь, а затем направлюсь в Египет. День, когда я перед лицом великого султана завершу свое дело и верну ему наследника, будет счастливейшим в моей жизни.

— Еще бы! — подхватил Агабек. — Получить должность египетского визиря и главного дворцового казначея!

— Кто сказал тебе, что я собираюсь получать эту должность? Пусть султан оставит при себе свои милости, я не воспользуюсь ими.

— Ты не воспользуешься? Как это понимать? Что же, ты откажешься от должности визиря?

— Конечно, откажусь. Я жажду только одного — свободы и уединения. Полагаю, что и всякий на моем месте отказался бы, если бы знал характер принца так же хорошо, как я.

Он заглянул в хибарку, плотнее прикрыл дверь:

— Принц спит, можно говорить без опасений. Поверь мне, хозяин: это самое невыносимое существо из всех четвероного-двуногих, населяющих землю! Упрямством он подобен ишаку! Не будь он принцем, я никогда не стал бы возвращать его в человеческое состояние, ибо теперешнее больше подходит ему. Он злобен, вздорен, сварлив, криклив, придирчив, — словом, носит в себе все наихудшие пороки ишачьей природы и человеческой природы, слитые воедино. Говорят, что его светлейший родитель еще хуже. Теперь суди сам — как могу я, не искушенный во дворцовых коварствах, принять должность визиря? Сегодня визирь, а завтра — без головы?

Агабек внимал, замирая, не веря ушам: счастье так и плыло к нему, так и шло само в руки!

— Ну, какой из меня царедворец! — продолжал Ходжа Насреддин. — Я рожден не для власти, а для уединенного размышления, мое дело — исследование тайн. Уже двадцать лет я отдал науке волшебства — и не зря, в чем ты сегодня убедился. И вдруг я должен все это бросить? Ради чего? Чтобы меня каждодневно водили в тайную комнату?..

Если бы эти слова исходили от кого-то другого, а не от человека, посвятившего себя наукам и размышлениям, Агабек, возможно, поостерегся бы так сразу им верить. Но здесь поверил; ибо все такие люди — звездочеты, исследователи, поэты, искатели жизненного настоя и волшебного камня, обращающего свинец в золото, — все они почитались уже и в тогдашние времена большими глупцами, ничего не соображающими в делах обыденной жизни, а потому подлежащими неукоснительному обжуливанию на каждом шагу со стороны здравомыслящих, чей разум, вместо опасных крыльев, располагает четырьмя десятками юрких маленьких ножек, очень удобных для прибыльного и вполне безопасного шныряния по земле.

— Ты прав, — сказал Агабек с глубокомысленным и важным видом: он уже считал Ходжу Насреддина своей законной добычей, уже начал суетиться вокруг него, вы-

пуская из себя клейкую паутину. — Должность визиря, скажу от чистого сердца, не под силу тебе.

— Я и сам это знаю. И я решил сделать так: вернуть султану его первенца, отказаться от всех должностей и почестей и попросить в награду какой-нибудь уединенный домишко и пожизненное жалованье, достаточное для прокормления.

Видя алчную лихорадку, обуявшую Агабека, Ходжа Насреддин отбросил всякую осторожность и шел к своей цели напрямик, сам подставляя крылья и лапки под паутину.

— Я исследовал еще далеко не все тайны природы, — говорил он. — Вот почему я нуждаюсь в уединенных размышлениях. Я изучил превращение людей в мелких животных, как-то: муравьев, пчел, блох, букашек и мух; изучил область крупных животных, чему ты был сегодня очевидец, но превращение людей в лягушек, рыб и водяных жуков еще не исследовано мною.

— Значит, можно превратить человека и в муху, и в пчелу, и в муравья?

— Ничего нет проще! Да вот, не хочешь ли испытать?

— Зачем, зачем, не надо!

— Ты не почувствуешь никакой боли. Даже и не заметишь, как станешь уже блохой. На один только день, а завтра я верну тебе человеческий облик. — Ходже Насреддину хотелось спать, и он старался поскорее выпроводить гостя. — Сейчас я принесу волшебный состав.

— Когда-нибудь в другой раз, — поспешно сказал Агабек поднимаясь: у него не было никакой охоты превращаться в блоху, да еще сейчас, когда впереди так пленительно рисовался в тумане египетский далекий дворец. — Мы оба устали, прощай на сегодня.

Ходжа Насреддин проводил его до арыка. Уже рассветало, восток разгорался.

— Опять они вьются вокруг тебя, эти стеклистые червячки.

Агабек беспокойно заворочал головой на короткой шее. Бессонная ночь сказывалась: червячки плавали вокруг в изобилии. Вовсе не следовало брать этих провожатых с собою в дальний путь, тем более что в Египте, как он заранее предполагал, должны с неизбежностью появиться новые.

— Сегодня же зайду к мулле и закажу ему заупокойные службы на год вперед.

— Пусть на эти деньги он обновит мечеть.

— Я скажу ему.

Так избавились чоракцы от расходов на обновление мечети. Но это было наименьшее из благодеяний, оказанных им Ходжой Насреддином, — впереди были другие дела, истинно великие! Говорить о них преждевременно; проницательные пусть угадывают, остальные пусть ждут... Простившись с Агабеком, Ходжа Насреддин долго смотрел ему вслед, весело подняв широкие черные брови, затем вернулся в хибарку. Веки его слипались, халат и сапоги он сбрасывал уже в полусне. Дверь за ним осталась полуоткрытой; он подумал, что надо бы закрыть ее, но уже не нашел в себе силы для этого.

Он сомкнул глаза и, будучи на самом рубеже сна, успел еще услышать залетевший в хибарку призыв муэдзина — утреннюю благодарственную молитву за новый день и новый свет, ниспосланные миру. Голос муэдзина, медный и чистый, плыл по ветру, как на широких крыльях, рядом с облаком, навстречу солнцу, что медленно и торжественно поднималось из-за гор во всем своем вечном и немеркнущем величии! «Милостям твоим нет предела, и могуществу твоему нет границ!..» — пел муэдзин, и все в мире молилось — люди, звери, птицы, даже бессловесные деревья, трепеща и лепеча под ветром, спеша обогреть в лучах каждый свой листик.

По всему миру, от края до края, начинался день; шумели ветры — южный, северный, восточный и западный, блистали снеговыми вершинами горы, синим прозрачным пламенем светились моря, струились воды горные и долинные, наливались злаки на полях, тяжелели плоды в садах, и виноград сквозил и золотился, накапливая в себе солнечный сладкий настой.

А Ходжа Насреддин спал, позабыв сотворить утреннюю молитву, как это бывало с ним часто. Но, видимо, такой грех легко прощался ему, ибо его видения во сне были светлыми, воздушно-радужными — от солнечного луча, что падал сквозь приоткрытую дверь на его лицо, просвечивал опущенные веки и забирался к нему прямо в душу, в ту самую часть ее, которая, по изысканиям мудрейшего Аль-Кадыра, ведает нашими предчувствиями и нашими сновидениями.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

> Мир создан для хороших людей, плохие же все исчезнут!..
>
> *Зейнаддин-ибн-Абдусаид*

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Есть в Аравии реки, которых только среднее течение открыто человеческому взору, а начало и конец прячутся в подземных глубинах. Жизнь Ходжи Насреддина можно уподобить такой реке: все, что мы о нем знали, относилось к его среднему возрасту, от двадцати до пятидесяти лет; детские же годы, равно как и старость, пребывали в сокрытии.

Восемь гробниц в разных частях света носят его славное имя; где среди них единственная? Да, может быть, ее и нет среди этих восьми; может быть, ему достойной гробницей послужило море или горное туманное ущелье, а надгробным плачем над ним был дикий вой морского урагана или необъятный, медлительно-тяжкий гул снежной лавины...

Что касается истоков его бытия — то знают, что родился и вырос он в Бухаре, но как он жил в детстве, какие могучие кузнецы давали закал его сердцу, какие мастера оттачивали его разум, кто из мудрецов открыл ему природу его неукротимого духа, — все это оставалось до сих пор неизвестным.

Но сказано в книгах: «Сокрытое сегодня — открывается завтра»; скитаясь по местам, где оставил Ходжа Насреддин свой след, мы убедились в истине этих слов. Среди собранных нами преданий о нем есть несколько крупинок от самого истока его дней. Этого мало для целой отдельной книги об его детстве, но вполне достаточно, и даже с избытком, чтобы лишить нас права на умолчание. Пусть же рассказ об его детских годах найдет себе место здесь и откроет собою третью часть нашей книги.

Некоторые могут упрекнуть нас в том, что мы свернули в сторону с прямой дороги нашего повествования, — ответим словами поэта: «Невелик разум человека, который умеет ходить только прямо и не подбирает золота, если оно лежит немного в стороне». Другие скажут, что мы неискусно вплели в книгу этот рассказ, что следовало бы найти ему иное место, более подходящее, — мы спорить не будем, опираясь на пословицу: «Таньга не превращается в динар, если переложить ее из правого кармана в левый».

Теперь перейдем к рассказу об его детстве.

В самом начале мы должны опровергнуть утвердившееся мнение, будто бы Ходжа Насреддин родился и вырос в семье бедного бухарского седельника Шир-Мамеда. Здесь две ошибки: во-первых, Шир-Мамед был не седельником, а гончаром; во-вторых, в его доме Ходжа Насреддин не родился, а только вырос. Дело в том, что Шир-Мамед, которого до сих пор считали родным отцом Ходжи Насреддина, был на самом деле его приемным отцом.

Это обстоятельство мы и положим в основание нашего рассказа.

Гончар Шир-Мамед был довольно искусным мастером, особенно в изготовлении больших, в рост человека, горшков, так называемых «тануров», предназначенных для хранения воды. Честь и достоинство мастера в том, чтобы его тануры сохраняли воду всегда холодной и свежей, — тем холоднее, чем жарче день. Шир-Мамед постиг тайну смешивания в должных долях глины, песка, размолотой каменной пыли и золы от саксауловых дров, тайну обжига и последующего постепенного охлаждения: его тануры выходили из печи звонкими, пористыми, и в знойный день исправно потели, обтягиваясь как бы серебристо-сизым водяным шелком. Горшки приносили Шир-Мамеду хороший доход, он жил, не терпя нужды, сумел даже к старости обзавестись кое-каким хозяйством: домом, садом, виноградником, двумя сундуками, полными добра. И все же он считал себя несчастным, жестоко обделенным жизнью: в его доме не было детей.

Молитвы, многолетние жертвования в мечеть, знахари, заговоры — все было испробовано Шир-Мамедом. Тщетно — его жена не беременела. Так они оба перешли в старость. В доме всегда царил безупречный порядок и благочинная тишина: посуда стояла в нишах, не обновляемая годами, ибо ни одной чашки не разбивалось, шелко-

вые одеяла выглядели купленными вчера. Но подобное благочиние по сердцу только черствым себялюбцам, а Шир-Мамед таким не был; о, как возликовал бы он, если бы однажды вся эта посуда оказалась перебитой начисто, до последней чашки, неосторожно брошенным мячом, а шелковые одеяла — прожженными насквозь горящим углем, добытым из очага с целью всестороннего исследования его свойства!

Раньше они с женой говорили о детях и сокрушались совместно; под старость, когда надежда исчезла для них, — перестали говорить, ибо чувствовали себя виновными друг перед другом, и сокрушались каждый отдельно, в молчании.

Как-то в конце апреля, когда уже опали в маленьком садике все лепестки с персиков, абрикосов и яблонь и только приземистая, коренастая айва еще удерживала на ветках свою грубоватую розовую красоту, под вечер, восстав от послеобеденного сна, Шир-Мамед нечаянно нарушил молчаливый уговор: не заводить речи о детях.

— Знаешь, что мне приснилось? — сказал он. — Будто бы у нас родился сын — такой здоровый, крикливый мальчишка!

Старуха вся съежилась, пригнулась, посмотрела умоляющими глазами, словно говоря: «Прости меня!». Он вздохнул и отвернулся: прощения, может быть, следовало просить ему.

Весь вечер прошел в задумчивом молчании.

Старуха занялась приготовлениями к ужину, а Шир-Мамед — осмотром шести новых горшков, стоявших в ряд вдоль забора и предназначенных на завтра к продаже. Это были тануры больше обычных размерами. «Пожалуй, они по три на арбу не уместятся, а только по два», — соображал Шир-Мамед, прикидывая, во что ему обойдется перевозка горшков на базар.

Потом они поужинали и легли спать.

Проснувшись ночью, Шир-Мамед увидел старуху на коленях перед открытым окном. Сильный лунный поток освещал ее всю, до последней морщинки на лице. Она молилась. Шир-Мамед прислушался к ее молитве. Она просила бога о ребенке, — безумная, в шестьдесят лет!.. И шепот ее был безумным, она уже не помнила себя и обращалась к богу с упреками. Вся многолетняя скорбь, неутоленная жажда материнства, одиночество, тоска обманутых надежд — все было в этом шепоте! И все-таки в

шепоте была вера, вопреки всему, вопреки разуму и очевидности! «Всемогущий!..» Она рванула седые, бессильно висевшие космы, повалилась лицом вниз, неуклюже выпятив костлявый крестец под белой рубашкой, и глухо застонала, — слов у нее больше не было. Горячая судорога сдавила грудь Шир-Мамеда; полный нестерпимой жалости к старухе и нежности, он замер на постели, закусив подушку, чтобы сдержать слезы, клокотавшие в нем.

Старуха вскоре легла на свое место, рядом. Шир-Мамед не шевелился, она тоже не шевелилась; оба знали друг о друге, что не спят, но щадили друг друга, притворяясь, будто спят, и притворяясь, что взаимно верят этому нехитрому обману. Ни одного слова не было сказано между ними до рассвета, но много было сказано в мыслях без слов, и они взаимно простили друг друга, поняв, что живут единой жизнью: он — для старухи, она — для него, и никакой отдельной жизни, каждому для себя, у них уже давным-давно нет.

Это была для Шир-Мамеда тяжелая ночь. С облегчением встретил он утро, в надежде за обычными заботами спрятаться от скорбных, жалостливых мыслей.

Было очень рано, утренний свет еще не утратил своей синевы, заря только начинала брезжить, — до отъезда на базар оставалось не меньше двух часов. Шир-Мамед опять взялся осматривать и остукивать горшки. На легкие удары палочкой они отзывались чистым звоном, без дребезжания, без притупленности, которые свидетельствовали бы о трещинах или иных пороках. Так он осмотрел пять горшков и подошел к шестому, крайнему.

Что за чудо? Шестой горшок отозвался на удар не звоном, а писком. Шир-Мамед безмерно удивился, ударил палочкой еще раз. И снова услышал писк. Но теперь уже ясно было, что пищит не сам горшок, а что-то другое, живое, находящееся в горшке.

Кто бы это мог забраться туда? Котенок? Щенок? Птенец? Каким образом?.. Но он там был. Он пищал!

Шир-Мамед попробовал заглянуть в горшок — и увидел только темноту. Пришлось ему запустить вглубь руку. Горшок был глубоким, Шир-Мамед лежал на нем, иначе рука не доставала до дна. Вот нащупал он какое-то ватное тряпье, потом... Он дернулся, поспешно вытащил руку, внимательно осмотрел.

Следы зубов! *Тот*, в горшке, ухватил старика за палец. Он не только пищал, он еще и кусался!

Уже было ясно, кто в горшке, но Шир-Мамед не верил себе. Испуганный и потрясенный, он принес долото, деревянную колотушку и принялся выкалывать в горшке отверстие, чтобы достать *его*. Руки старика тряслись, долото ерзало и скользило, удары были неверными. *Тот*, в горшке, затих и не шевелился. Зато когда обколотая со всех сторон стенка вывалилась и внутрь горшка свободно хлынули свет и воздух, какой нестерпимый пронзительный вопль вылетел оттуда навстречу им! Шир-Мамед схватил живой тряпочный комок и вытащил — он бился, извивался в его руках и вопил, вопил надсадным сердитым криком.

Встревоженная, испуганная, выскочила старуха:

— Что это? Откуда это? Милостивый аллах, как ты его держишь — дай сюда!

Она выхватила из рук Шир-Мамеда тряпочный комок, и *он*, по волшебству, мгновенно затих.

— Где ты взял его? Ну что же ты молчишь? Где?..

Бледный Шир-Мамед, лишившийся от всех этих дел языка, молча указал на горшок.

А через низенький забор уже заглядывал сосед, разбуженный воплями. Второй сосед, ночевавший на крыше, сиплым спросонья голосом спрашивал сверху:

— Что случилось у вас там? Воры? Пожар?

Старуха бросила вокруг ревнивый взгляд и, крепко прижав к иссохшей груди живую находку, быстрыми шагами ушла в дом.

Любопытствующих соседей прибавилось; еще двое смотрели через забор с другой стороны и тоже спрашивали: что случилось?

— Вот... нашел в горшке, — повторял Шир-Мамед. — Лежал в горшке. Пришлось разбить...

Добавить к этому он ничего не мог, ибо на выдумки был не горазд. Событие же было столь беспримерным, что требовало немедленных истолкований, предположений, догадок, чем деятельно и занялись соседи, наполнив тишину утра гулом возбужденных голосов.

Не прошло и минуты, как еще двое соседей прибежали посмотреть, заявив о своем нетерпении громким стуком в калитку. И еще двое и еще один...

Тесный дворик наполнился людьми. Осматривали горшок, землю, калитку: может быть, какой-нибудь след? Ничего!.. Словно *тот* свалился откуда-то с неба и угодил прямехонько в горшок!

Из дома послышался голос старухи — она звала Шир-Мамеда. Спасаясь от неутолимого любопытства соседей, он поспешно ушел.

В доме, на сундуке, на шелковом одеяле, среди подушек он увидел *его*. И сразу, в одно мгновение, узнал: это был мальчишка из сна.

— Посмотри, — словно тающим голосом сказала старуха, — посмотри, Шир-Мамед: у него зубы!

Шир-Мамед приблизился к сундуку. Мальчишка засучил ногами навстречу ему, замахал руками, завопил, таращa глаза и широко открыв рот, — и потрясенный Шир-Мамед увидел у него во рту два ряда ровных, ослепительно белых, крепких и острых зубов... Было от чего закружиться голове и замутиться разуму: зубы у грудного младенца! Шир-Мамед почувствовал слабость в ногах и замирание в сердце, вспомнив, что *тот*, во сне, был тоже зубастым.

В дом вошло чудо. Это было ясно Шир-Мамеду, ясно и старухе. Припав к плечу мужа, она прошептала в слезах:

— Я знала, что это будет... Я всегда знала. Только не знала, когда и как.

По тогдашним бухарским законам найденыш мог усыновляться не раньше чем через три месяца, если его родители в течение этого срока не давали о себе никаких вестей.

Три месяца глашатаи на главной базарной площади выкрикивали фирман, оповещавший всех жителей Бухары, всех иноземцев и прочих, что в гончарной слободе, в доме гончара Шир-Мамеда, найден в горшке ребенок мужского пола, пяти примерно месяцев от роду, имеющий отличительный признак — полный рот зубов, по возрасту ему не положенных. Фирман выкрикивался глашатаями ежедневно три раза: утром, в полдень и вечером; поистине, далеко не всякому удается входить в мир с таким шумом! Этот шум вокруг маленького Насреддина был как бы предзнаменованием всей его будущей жизни.

Нелегко дались Шир-Мамеду эти три бесконечных месяца, а старуха совсем изверлась. Каждый день встречала она со страхом: придут, возьмут!.. От скрипа калитки ее бросало в жар, она ощетинивалась, подобная волчице, готовой защищать до последнего издыхания своего детеныша. По совету соседок она отнесла свои золотые серьги — свадебный подарок — одному базарному писцу, что-

бы он составил кляузный вопросник для уличения во лжи тех мошенников, которые попробуют выдать себя за родителей маленького Насреддина. Старуха заранее прониклась ненавистью к ним и даже не позволяла себе думать, что они могут быть не мошенниками. Писец — высохший сутяга с желтым, изрытым оспой лицом, вытянутым вперед и по-лисьему заостренным, оказался мастером своего дела: он сочинил восемьдесят шесть вопросов, расположив их с необычайным коварством: будучи последовательно заданными любому человеку, они любого превращали в разбойника, совершителя бесчисленных злодеяний, из которых ночные грабежи по дорогам и детоубийства были еще не самыми худшими.

Страхи оказались напрасными. Минул девяностый день, последний, — никто не пришел за найденышем, а на девяносто первый день мулла в присутствии должного числа свидетелей совершил в мечети обряд усыновления.

Вот при каких обстоятельствах появился Ходжа Насреддин в доме гончара Шир-Мамеда. Из дальнейшего известно, что вскармливался он поочередно всеми женщинами гончарной слободы, имевшими грудных детей. Мы не знаем, сколько было у него братьев и сестер по крови, но молочных было множество. Здесь опять-таки можно усмотреть предзнаменование: будучи еще в колыбели, он ухитрился породниться со всей гончарной слободой, как позднее породнился со всем миром... Рассказывают, что хотя он испытывал в раннем детстве сильную зубную чесотку, тащил в рот и грыз что попало, ни разу не укусил он груди кормилицы.

Он рос очень быстро. В три года ему давали по виду пять лет, а по уму — еще больше. В три года он знал множество слов, постиг законы их сочетаний и говорил, удивляя взрослых правильностью своей речи. С удивительной проницательностью он догадывался о свойствах и назначении предметов, окружавших его, — прялки, топора, пилы, клещей, садовых ножниц, бурава, утюга и прочих. В четыре года он впервые сел за гончарный круг и сразу сделал, к неописуемому удивлению Шир-Мамеда, такой горшок — хоть на продажу! Все вещи с полной готовностью открывали ему свои тайны, — казалось, он не познавал мир, а узнавал, словно бы не пришел на землю, а вернулся, как возвращаются из дальнего многолетнего путешествия домой, где все известно, знакомо, только слегка забыто.

Из других особенностей его детства рассказывают о странной задумчивости, иногда по вечерам навещавшей его. Он уединялся и молчал; в эти минуты взгляд его обретал прозрачность — как будто он не видел ничего ближе созвездия Семи Алмазов. С годами эта странность, непонятная в четырехлетнем ребенке, бесследно прошла, — может быть, для того, чтобы вернуться к нему в старости, которой свойственно устремлять свои помыслы к звездам... Рассказывают еще о необычайной любви его к солнцу, любви, доходившей до боготворения; грудным младенцем он уже умел смотреть на солнце не щурясь, открытым взглядом, не ослепляясь лучами, — способность, присущая из всех земнородных только орлу.

С малыми мира, то есть со зверями, птицами, разными жуками и букашками, он пребывал в неизменной дружбе. Шир-Мамеду было удивительно видеть, как маленький Насреддин спокойно берет с ветки любого шмеля и со вниманием разглядывает, а толстый, мохнатый шмель так же спокойно ждет, когда его отпустят, и даже не пробует обороняться своим страшным жалом. Птицы совсем не боялись мальчика, — был случай, когда, приставив к стене лестницу, он полдня помогал ласточкам лепить гнезда под крышей, и ласточки охотно принимали его помощь. Кто знает, насколько эти резвые птички ревнивы к своим гнездам, сумеет по достоинству оценить всю удивительность такого случая. Когда в гнезде вывелись птенцы, и подросли, и пришло им время учиться летать, маленький Насреддин весьма успешно содействовал крылатым родителям в обучении детей, подбирая неумелых, упавших на землю и подкидывая вверх. В углу сада, под корнями старого абрикоса, жил его большой приятель — еж, которому он по утрам носил молоко в черепке; были у него также знакомцы среди мышей... Однажды, проходя с Шир-Мамедом по старому кладбищу, маленький Насреддин, свернув с тропинки в бурьян, босой ногой наступил на змею; она зашипела и мгновенно обвилась вокруг его ноги до колена; Шир-Мамед похолодел от ужаса, а мальчик спокойно поднял ногу — и змея развила свои скользкие кольца и уползла, не ужалив его, но шипя весьма сердито, потому что хвост у нее был все же изрядно отдавлен. В таком же добром согласии жил он со всеми прочими четвероногими, ползающими, летающими, за исключением одних комаров: эти гнусные существа, порожденные гнилостным дыханием

болотных дьяволов, не желали признавать его своим и мучили беспощадно, до слез.

Он жил в родстве со всем огромным миром вокруг, всегда чувствуя свою с ним нераздельность, как будто бы сознавая, что эфир, из которого состоит все в мире, — един, и беспрерывно переливается, и никакая частица его не принадлежит никому постоянно: от солнца переходит она ко шмелю, от шмеля — к облаку, от облака — к ветру или воде, от воды — к птице, от птицы — к человеку, с тем, чтобы от человека устремиться дальше, в свое вечное крутовращение. Вот почему так легко было маленькому Насреддину понимать и шмеля, и ветер, и солнце, и ласточку: он сам был ими всеми понемногу. То великое благо слиянности с миром, которое дается только мудрецам, да и то лишь под старость, как высший венец их трудов и усилий, ему, избранному сыну Жизни, было дано от рождения.

Что же касается его сверстников — молочных братьев из гончарной слободы, то его чувства к ним были неизменно благожелательными, хотя он очень рано начал замечать в людях несовершенство их природы. Но Ходжа Насреддин умел быть снисходительным, не требуя от людей, чтобы они уподоблялись ангелам, ибо знал, что это невозможно. Много лет спустя, уже взрослым, он нашел в книге многомудрого Ибрагима-ибн-Хаттаба следующее рассуждение: «Но самое несовершенство человеческой природы таково, что свидетельствует с несомненностью о высшем месте человека среди всех прочих существ, ибо только ему — единственному из живых — дана возможность совершенствования. Самое слово «несовершенный», относимое к нему, уже содержит в себе признание за ним способностей и возможностей к восхождению...». Прочитав это, Ходжа Насреддин воскликнул: «Истинная правда, я всегда так думал!».

Но поспешим вернуться к рассказу об его детстве. Он проявлял большие способности к торговле. Восьми лет от роду он торговал горшками самостоятельно. Шир-Мамед вполне доверял ему и в жаркие часы базара спокойно предавался отдыху где-нибудь в чайхане. Торговля у Насреддина шла бойко: ни разу старик не имел случая пожалеть о своем доверии.

Однажды, когда мальчик остался в лавке один, подошел купец и выбрал маленький горшочек, чтобы купить в него меда. Взглянув на огромные, выстроившиеся в ряд тануры, каждый из которых был вдвое больше продавца, купец заметил:

— Горшки большие, а продавец — крошка.

Насреддин, мгновенно превратив эти слова в первую строку двустишия, своим ответом замкнул его:

— Покупатель большой, а покупает немножко.

Изумленный и восхищенный таким летучим остроумием, купец, сам сочинявший на досуге стихи и понимавший толк в этом деле, купил у мальчика еще пять горшков и, не торгуясь, заплатил щедро.

Провожая купца, Насреддин произнес второе двустишие:

Хотя не серебро — простая глина это,
Но пусть для вас в ней будет вкус шербета, —

чем привел купца в еще большее, прямо-таки неописуемое восхищение. Купец не поленился записать оба двустишия, благодаря чему они и дошли до нас.

Он был истинным сыном базара. Гомон, сутолока, давка никогда не утомляли его, он мог целыми днями купаться в этом неистощимом и шумном потоке. На базаре-то и произошел с ним один случай, немало ему послуживший к познанию своего сердца и разума.

Как-то после полудня он забрел на Старую верблюжью площадь. Были часы затишья: продавцы и покупатели пережидали зной. Кругом во множестве лежали верблюды, насыщая жаркий недвижный воздух едким запахом своего пота; маленький Насреддин, нисколько не боясь верблюдов, пересек площадь, порою совсем скрываясь в желто-пахучих застывших волнах верблюжьих горбов, порою выныривая из них своей бархатной тюбетейкой с красной кисточкой. Полусонная площадь не могла ничем порадовать его; он попробовал дразнить одного верблюжонка, но и тот, разморенный зноем, посмотрел равнодушно и отвернулся, не желая плеваться.

Подумав, маленький Насреддин направил стопы к Тамерланову мосту, где, по слухам, расположились приезжие канатоходцы. Проходя мимо большого караван-сарая, он остановился, услышав за углом крики, визг и смех. Возликовав сердцем, он поспешил, конечно, туда.

Он увидел гурьбу базарных мальчишек, своих сверстников, с увлечением предававшихся жестокой забаве. У стены караван-сарая у дороги, прямо на солнцепеке, сидела нищая старуха — цыганка из племени люли, наиболее презренного среди всех цыганских племен. А мальчишки с хохотом и кривляниями дразнили ее, выкрикивая разные обидные прозвища и швыряясь комочками сухой земли.

Старуха эта была необычайно безобразна и отвратительна: ее непокрытая голова сквозила белесыми лысинами, во рту, за синими дряблыми губами, торчали желтые клыки, нос был крючком и сизый, веки — больные, красные, лишенные ресниц, глаза — круглые, злые; вдобавок на коленях она держала столь же отвратительного, как сама, облезшего от старости черного кота; словом — настоящая ведьма, из тех, что воруют маленьких детей, дабы напиться их крови.

Маленький Насреддин не замедлил принять участие в общей забаве: кричал и визжал, рычал и лаял по-собачьи, прыгал, высунув язык, на одной ноге, взапуски с остальными. Старуха бранилась, грозя жилистым кулаком, кот фырчал и выгибал спину — все это было очень смешно, мальчики заливались хохотом.

Наконец старуха наскучила им, к тому же у Тамерланова моста ждали их другие развлечения. Наперегонки пустились они к мосту, куда и прибыли благополучно, как раз к началу канатоходного представления. О старухе, об ее коте мальчики мгновенно забыли, — да и как могли бы помнить, если уши их сразу до ломоты наполнились пленительным грохотом больших и малых барабанов, визжанием сопелок и ревом труб, а глаза — блаженным созерцанием канатоходцев, разгуливавших в небе со своими шестами. Только раз в памяти маленького Насреддина смутной тенью мелькнула эта старуха, мелькнула и пропала, но как-то странно зацепив за сердце, словно бы оставив на нем царапину.

Блаженство продолжалось весь день; домой Насреддин возвращался другим путем и старухи больше не видел. Но рассказывая Шир-Мамеду о своем дне, вспомнил ее и запнулся.

— Что же ты? — спросил Шир-Мамед.

— Еще я видел одну старуху, люли, нищенку, — ответил Насреддин. — У нее черный кот... А потом мы пошли к Тамерланову мосту...

Он не сказал прямой лжи, не сказал и правды — это была полуправда, то есть наихудшая ложь. И опять что-то царапнуло его по сердцу.

С тем и лег он спать. Утомленный дневной беготней, он с вечера уснул крепко. В полночь он был разбужен страшным сном: базарная старуха, злобно скалясь, ловила его, хватала и тащила куда-то в яму, где фырчал и выгибал спину огромный черный кот, блестя огненными глазами. Этот сон наполнил мальчика тоской и ноющим томлением; прислушиваясь ко вздохам и храпу Шир-Мамеда, он испытывал беспрерывное, все возрастающее царапанье внутри — как будто старухин кот забрался к нему в грудь и вздумал поточить когти о сердце.

Так впервые услышал он голос совести, узнал, что носит в себе незримые таинственные весы, на которых неукоснительно взвешивается каждая крупинка содеянного им зла, и склонение весов мучительно.

Чтобы избавиться от царапанья в сердце, он пытался направить мысли к играм, к ежу, к ласточкам. Тщетно! Не желая думать о старухе, он думал только о ней.

И тогда с ним произошло нечто удивительное: по мере того как он углублялся в раздумье о старухе, он все меньше оставался собою и все больше становился старухой, как бы переливаясь в нее, — так что к рассвету он был уже на три четверти ею и только на одну четверть собою прежним. И когда он стал на три четверти ею, он стал таким же несчастным и одиноким, как она, а его оставшаяся четверть прониклась к ней столь нестерпимой жалостью, что он залился горючими слезами.

Он все понял: ее безмерное одиночество, безмерную горечь — что нет для нее в мире ни одной близкой души. Разве она виновата, что родилась в племени люли, разве она сама сделала себя безобразной, — так почему же несет пожизненную кару за это? Многотысячный базар вокруг — для нее пустыня... нет, хуже, ибо он полон к ней презрения и враждебности. За что? Она всегда сгорблена и всегда озирается, потому что всегда ожидает удара: плетью, словом или смехом — все равно! Кроме черного кота, у нее нет никого; так они и живут вдвоем — оба старые, бессильные, вечно голодные, всеми покинутые, близкие только друг другу во всем безграничном мире.

Какими же глазами, поняв все это, он смотрел теперь на себя — на свое постыдное кривлянье перед несчастной старухой, на свои позорные выкрики и прыганье с высуну-

тым языком на одной ноге. Он ужаснулся. Он самому себе представился таким постыдным и отвратительным, что не мог выдержать и, громко застонав, засунул голову глубоко под подушку.

Утром он был грустен, задумчив: наскоро съел лепешку, выпил молока и побежал на базар. В его поясе лежал кошелек, наполненный мелкой медью — грошами и полугрошами, на две с половиною таньга совокупно. Иные подумают: плод его разумной бережливости? Нет, игорных удач!

Он спешил к старухе. Сколько базарных соблазнов попадалось ему на пути: айран, медовый снег, леденцы, халва! Он мужественно преодолел их все и не развязал кошелька. Не остановился он и в переулке, где мальчики самозабвенно предавались китайской игре, именуемой лянга, ставя по четверти гроша с носа. В этой игре маленький Насреддин равных себе не имел — и все-таки проследовал мимо, глядя в сторону, ускорив шаги.

Старуху он нашел на прежнем месте, у караван-сарая. Кот лежал у нее на коленях. Глиняный черепок для подаяния был пуст, как и вчера. Старуха гладила кота, что-то ему говорила; он отвечал тихим жалобным мяуканьем, — верно, был голоден.

Маленький Насреддин спрятался в проломе обвалившегося забора. Он вдруг оробел. Как подойти к старухе, что сказать? Мелькнула мысль: бросить ей кошелек и удариться в бегство. Но это было несовместимо с торжественностью минуты.

По дороге мимо старухи проходили разные люди, никто не подал ей ни гроша, ни куска черствой лепешки. Насреддин смотрел и удивлялся: как несправедливы и жестокосердны они!

Его удивление постепенно переходило в негодование. А люди все шли и шли, а черепок старухи был все пуст и пуст. Лицо маленького Насреддина загорелось от прихлынувшей крови: почему не понимают они того, что он своим детским разумом понял с такой несомненностью? Сегодня он вовсе не замечал в старухе ни ее сизого носа, ни желтых клыков, поднявшись духовным зрением выше этих случайных и маловажных признаков, разглядев за ними самое главное: беззащитность, одиночество, страдание.

Движимый гневом и жалостью, он преодолел свою робость и с кошельком в руке направился к ней.

Чем ближе он подходил, тем труднее было ему идти, — ноги словно прилипали к земле.

Она узнала его — он видел это по боязливой напряженности ее взгляда. Она съежилась, втянула голову в плечи, ожидая от него, как и вчера, камня или словесной обиды.

— Вот, возьми, бабушка, — немеющим языком пролепетал он и вытряхнул кошелек ей прямо на колени, осыпав медью фыркнувшего кота.

На этом его мужество иссякло, он перешагнул предел своей храбрости. Повернувшись, он кинулся бежать и очнулся только в скобяном ряду, далеко от караван-сарая.

Совершив свой подвиг искупления, он потом целый день думал. Уединялся и думал. Мысли его шли двумя рядами — о старухе и о жестокосердных людях, отказывающих ей в помощи. Он жалел первую и негодовал на вторых. Но он оказался бы недостойным своего великого будущего, если бы ограничился только жалостью и только негодованием. Надлежало действовать, но как?

Здесь-то и познал он впервые силу своего разума. Для начала он отделил мысли от чувств, дабы последние не торопили первых, затем привел путаный клубок мыслей в стройный порядок, предельно их упростив и расставив по старшинству, в той последовательности, в которой они рождались. Этому способу размышлять научился он, разгадывая за своей маленькой доской шахматные головоломки, что часто видел в чайханах на базаре. Бывают в шахматах вынужденные ходы, которые в ущерб себе и против воли, но приходится делать, повинуясь противнику. Именно так и решил маленький Насреддин: если бухарские жители не умеют сами быть милосердными, надо их вынудить к этому.

Определив задачу, он тем самым определил и русло своих дальнейших размышлений. Они сводились к поискам такой игры, в которой он имел бы перевес над бухарцами. Чтобы не затруднять себя раздумьями о многих тысячах бухарских жестокосердных жителей, он счел полезным слить их в своем воображении всех вместе, в одного Большого Бухарца.

Дело упростилось: думать об одном Бухарце, хотя бы и очень большом, оказалось много легче. Насреддин приступил к изучению природы этого столь жестокого Большого Бухарца, с целью найти брешь в том щите, которым

упомянутый Бухарец прикрывает свой разум и свое сердце от проникновения в них праведной жалости.

Внутренняя сущность Большого Бухарца оказалась весьма далекой от бездонности, — в продолжение всего лишь двух или трех часов раздумья мальчик достал уже дно. И там обнаружил зловонную тину жадности, ракушки скупости, полусгнившие водоросли утробного себялюбия. Теперь Большой Бухарец был ему настолько ясен, что даже и внешне отчетливо вырисовывался перед его умственным взором, причем в невыносимо отвратительном виде. Ростом он мог потягаться с любым минаретом, но был много толще — пояс его на животе едва сходился; он был жирен и румян, имел пухлые щеки, маленькие заплывшие глазки, тупо и вяло глядевшие на мир; по его лицу сонно блуждала самодовольная бессмысленная улыбка, а когда он приоткрывал губы, за ними угадывался толстый, неповоротливый, шепелявый язык; он беспрерывно сопел, вздыхал и кряхтел — от излишнего жира, скопившегося во внутренностях; в руке он держал огромную — в арбяное колесо — лепешку, намазанную медом, и когда от нее откусывал, то в сладостном изнеможении стонал и урчал, загораживаясь локтем и озираясь — не собирается ли кто-нибудь отнять у него лепешку или попросить кусочек?

Маленький Насреддин был сердит на бухарских жителей за их жестокосердие к старухе, поэтому Большой Бухарец и представился ему таким отвратительным. Но гнев — плохой советник беспристрастия; в этом представлении было, конечно, мало справедливого, ибо настоящие бухарцы в огромном большинстве были хорошие, добрые люди. Они отказывали старухе в помощи вовсе не из утробного себялюбия, а скорее потому, что не умели разглядеть за ее внешним безобразием всей глубины ее страдания; если бы разглядели, то помогли бы сами, без принуждения со стороны; им просто не хватало глубокомыслия. Но мальчику раздумывать об этом было некогда: он готовился к схватке с Большим Бухарцем, следовательно, заранее проникался презрением и гневом к нему, как это бывает всегда, во всякой борьбе.

Исследуя щит Большого Бухарца, маленький Насреддин весьма быстро нашел в нем зияющую брешь. Она состояла в том, что Большой Бухарец был, помимо всего прочего, суетно любопытен и необычайно падок на всякие чужеземные диковины.

Сюда, в эту брешь, и следовало направить удар.

На другое утро маленький Насреддин был опять у караван-сарая. Распаленный своими хитроумными замыслами, он прибежал слишком рано: старухи еще не было. Пришлось ждать не менее получаса. Мальчик вконец извелся, бегая вокруг караван-сарая и высматривая старуху на всех четырех дорогах, сходившихся здесь. Раннее солнце не жгло, воздух был ясен и легок, затененные места еще хранили пахучую свежесть ночи, обильно увлажненная поливальщиками земля только начинала дышать теплым паром. Но изразцовые шапки минаретов уже блестели нестерпимо для глаз, как бы плавясь, прозрачная синева над ними уже забилась, текуче дрожала, предвещая день, полный тяжкого зноя. И с каждой минутой возрастал, усиливался вокруг хриплый, клокочущий рев базара, уже наполнял собою весь город от края до края, поднимался вместе с пылью вверх, сотрясая чертоги аллаха, глуша небесные ангельские хоры. Это был голос Большого Бухарца, его урчание над медовой лепешкой.

Скоро появилась и старуха. Черный кот был с нею. Мальчик пожалел, что не догадался захватить из дома кусок вареной печенки: теперь этот облезлый, отвратительный кот был его ближайшим союзником против Большого Бухарца.

Не теряя попусту времени, маленький Насреддин прямо и смело подошел к старухе:

— Здравствуйте, бабушка! Спокойно ли прошла для вас минувшая ночь?

— Здравствуй, здравствуй! — отозвалась старуха, щуря слезящиеся глаза. — Ночь-то прошла спокойно, а вот день, вижу я, начинается неспокойно.

Насреддин отлично понял, в кого метит она своими словами, но сделал вид, что не догадывается.

Надо было продолжать разговор; вторично поклонившись, он спросил:

— А спокойна ли была эта ночь для вашего уважаемого кота?

— Кот ловил мышей, поэтому плохо выспался, — ответила старуха, глядя на мальчика пристально и проницательно.

Под ее взглядом он смутился, неловко переступил с ноги на ногу; вся его смелость куда-то вдруг улетучилась, а вместе с нею улетели с языка и все приготовленные заранее слова.

Наступило молчание. Насреддин прерывисто вздохнул, чувствуя жар не только на лице, но даже и в животе. Наконец с натугой, полушепотом, он сказал:

— Я тот мальчик. Вчерашний. И позавчерашний...

Старуха молчала, не отрывая взгляда от его лица. Собрав последние силы, он добавил — совсем уже неслышно:

— Который вас дразнил. Вы помните?..

Если бы старуха и на этот раз промолчала — он бы повернулся и убежал, как вчера.

Но старуха ответила.

— Помню ли я тебя? — ответила она. — Еще бы не помнить: ты так старался высунуть свой язык, что мне было даже удивительно, какой он у тебя длинный.

Эти слова сожгли бы мальчика, испепелили на месте, если бы не улыбка старухи — ясная, добрая улыбка, осветившая, как солнечный луч, ее лицо.

— Подойди ближе, — сказала она. — Ты хороший мальчик, с добрым сердцем, но, как я заметила, большой озорник. Теперь сознавайся прямо и без хитростей — зачем ты пришел, что тебе нужно? И скажу наперед: если ты опять принес мне, как вчера, две таньга, то лучше уходи сразу со своими деньгами. Помогать бедным — это, конечно, хорошее, благочестивое дело, но плохо, когда некоторые мальчики ради этой цели забираются в отцовские кошельки. Потому что в каком ином месте можешь ты добывать по две таньга ежедневно?

Маленький Насреддин покраснел от обиды, но вспомнил, что ведь она люли, цыганка, поэтому судит о нем применительно к мальчикам своего племени.

— О нет! — сказал он. — Я пришел сегодня без двух таньга. Я никогда не забираюсь к отцу в кошелек. Он часто оставляет меня одного торговать в нашей лавке горшками, и всегда я отдаю ему всю выручку полностью.

— Это хорошо, — одобрила старуха.

— По праздникам он сам дает мне четверть таньга и даже полтаньга.

— Это можно взять, — сказала старуха. — Это не грешно. Я рада, что в своем предположении ошиблась; не сердись на меня.

И дальше разговор у них пошел сам собою: слово цеплялось за слово, как зубцы в деревянных шестернях, — мельница завертелась. Маленький Насреддин уселся

рядом со старухой, погладил кота, послушал, как он поет, и отозвался об его пении с большой похвалой.

— Любит ли он молоко и печенку?

— Вот уж не знаю, потому что никогда не кормила его ни молоком, ни печенкой, — засмеялась старуха. — Я и сама уже много лет их не видела.

Это горькое признание послужило мальчику мостом для перехода к разговору о самом главном. Волнуясь и запинаясь, он изложил старухе свой замысел против Большого Бухарца.

Она слушала сначала с любопытством, потом с доверием и под конец заплакала от умиления.

— Сам аллах послал мне тебя, дабы утешил ты мою бесприютную старость! Умом ты неслыханный плут: если бы ты родился в нашем племени, то, конечно, сделался бы верховным вождем. Сердцем же ты чистый праведник; дай бог, чтобы и дальше твой ум всегда находился в подчинении у сердца.

Замысел маленького Насреддина требовал предварительных расходов — таньга пятнадцать, даже немного больше. Старуха прониклась к мальчику таким доверием, что без колебаний вручила ему деньги, добыв их откуда-то из самых сокровенных глубин своих грязных лохмотьев.

— Это последние, — сказала она. Рука ее дрожала.

— Не тревожься, бабушка, они вернутся к тебе с прибылью, — ответил маленький Насреддин.

Сначала он направил стопы на Китайскую площадь, где торговали различным старьем; там за сходную цену — полтаньга — он купил старую, поломанную деревянную клетку, довольно большую — из тех, в которых чайханщики держат кекликов — горных куропаток, ценимых за свое кудахтанье, напоминающее звон стекла. Затем мальчик направился в древоподелочный ряд, нашел мастера, взявшегося починить клетку, — на это ушло еще полтаньга. Третьи полтаньга были уплачены красильщику, расписавшему клетку всеми красками, что нашлись в его лавке, — зеленой, синей, красной, желтой и белой. Напоследок расщедрившийся красильщик опоясал клетку сверх уговора широкой золотой каймой, воскликнув при этом:

— Теперь, мальчик, тебе осталось только поймать жар-птицу с алмазным пером в хвосте!

— Она уже поймана, — ответил Насреддин. — Жар-птица, какой не видели еще в Бухаре: о четырех лапах и в черной шерсти.

...Вручив клетку старухе (она всплеснула руками при виде такого великолепия), маленький Насреддин снова пошел на базар.

На этот раз — вернулся лишь к полудню:

— Идем, бабушка; все готово.

Старуха кряхтя встала, взяла на руки полусонного кота, вяло приоткрывшего желтые глаза, мальчик взял клетку, и они пошли.

Остановились они вблизи Китайской площади, на перекрестке трех дорог. Здесь начинались три самых людных торговых ряда: ткацкий, обувной и скобяной. Немного в стороне от скрещения дорог старуха увидела небольшую палатку — камышовые циновки, укрепленные на четырех жердях. Два входа — один напротив другого — прикрывались занавесками из грубой небеленой холстины. Возле палатки сидел ее зодчий — какой-то базарный старик; получив от Насреддина две таньга, он с благодарностями удалился.

Мальчик повел старуху внутрь палатки. Там был вкопан столб с прибитой к нему сверху широкой доской — возвышение для клетки. Больше ничего в палатке не было. Свет падал сверху сквозь дыру в крыше.

— Побудь здесь, бабушка, — сказал Насреддин. — У меня есть еще одно дело — последнее.

Покинув старуху, он устремился в глубину сапожного ряда, затем, переулком, к водоему Эски-Хауз, где в тогдашние времена сидели базарные писцы, составители всевозможных прошений и жалоб, а преимущественно — доносов.

Это было самое вздорное, самое склочное и сварливое место на всем базаре: здесь всегда стояли споры, взаимные обличения, руготня, попреки, похвальба и неслыханное, безудержное вранье, от которого мутился разум. Среди обитавших здесь писцов не было ни одного, который в прошлом занимал бы должность ниже правителя дворцовых дел где-нибудь в Стамбуле, Тегеране, Хорезме, не было ни одного, не подавшего в свое время спасительного совета царю, и как раз в ту минуту, когда все визири, вельможи и сановники безмолвствовали в растерянности, ни одного, имевшего в прошлом награду ниже знака Большого Льва...

Обычно доверители начинали стекаться к водоему после полудня, и тогда шум здесь несколько затихал, ибо писцы погружались в дела. Но маленький Насреддин при-

шел до полудня, то есть в часы наибольших раздоров. Все кипело и клокотало; кто с кем спорил, кто кого ругал — понять было невозможно: каждый поносил всех, и все — каждого; стоял такой невообразимый крик, что было удивительно, как может вода в Ески-Хаузе оставаться гладкой и спокойной под этим ураганом злобной ругани и всяческих клевет.

— Он сын шелудивой гиены! — кричал, обращаясь к соседу, какой-то хилый старик, тощий и скрюченный, похожий на букву «мим». — О презренный невежда, не умеющий даже написать как следует «алиф»! Все помнят, какую жалобу в суд сочинил ты минувшей зимой. Вместо «факел начальствования и благочестия», ты написал: «факал — плакал на кол — шествования...»; «факал — на кол — плакал», — вот что ты написал!

— Кто написал «факал — на кол»?.. Я написал «факал — плакал»? — задохнулся от ярости его сосед, похожий на букву... Но даже нельзя сказать, на какую он был похож букву, — скорее на весь арабский алфавит сразу, ибо все время менял свои очертания, находясь в беспрерывном мелко трясучем движении каждой частью тела отдельно — головой, ногами, руками, пальцами и спиной; казалось, что даже и внутренности его тоже все время движутся и перемещаются в животе. — Вспомни лучше, как в прошлом году ты чуть не погубил своего доверителя, когда в прошении к эмиру вместо «величество» ты написал «яичество»! Вспомни!

Кругом хихикали, хохотали, фыркали, подхрюкивали на разные голоса. Скрюченный, похожий на «мим» писец весь перекосился и заскрежетал зубами, готовясь достойно ответить.

Маленький Насреддин не стал дожидаться его ответа и прошел мимо.

Не без труда разглядел он среди этого самума злобы одного пожилого писца, не принимавшего участия в общей склоке, да и то не по благоразумию и кротости, а по другой, весьма тонкой причине. Он слушал. Вытянув длинную шею, блестя на солнце огромным голым черепом, как бы сплюснувшим своею тяжестью сдавленное костлявое лицо, он слушал, хватая на лету каждое слово, неосторожно брошенное в горячке взаимопопреков и могущее послужить ему для доноса. И тут же тайно записывал, чужеземными буквами, дабы какая-нибудь случайность не открыла его перед остальными писцами. Когда маленький Насред-

дин подошел к нему, он как раз записывал. «Яичество», — шептал он, скрипя тростниковым пером, и такая пришипилась в углах его тонких губ, такая тихая, змеиная, зловеще-радостная усмешка, что по ней безошибочно заранее можно было определить вкус той яичницы, которую намеревался он изготовить для кого-то в ближайшем будущем из этого «яичества».

Подняв глаза на маленького Насреддина, он спросил:

— Что тебе нужно, мальчик?

— Мне нужна коротенькая надпись — тушью, на китайской бумаге. Совсем коротенькая.

— Коротенькая надпись! — воскликнул писец, обрадовавшись доверителю, да еще такому, перед которым — по младолетию и неопытности его — можно во всю ширь безоглядно распустить павлиний хвост вранья. — Возблагодари же, мальчик, судьбу, которая привела тебя ко мне, ибо никто лучше меня во всей Бухаре не пишет именно кисточкой, именно тушью и как раз на китайской бумаге! Когда я был правителем дел Большого дивана в Багдаде и носил на своем парчовом халате знак Большого Льва — золотой знак, осыпанный алмазами, пожалованный мне самим калифом...

Маленькому Насреддину пришлось выслушать его вранье все до конца, нам же нет в этом никакой нужды, тем более что каждый многократно сам слышал нечто подобное. Такое вранье о своем прошлом величии вечно среди людей, сброшенных на дно жизни, и сопровождает все поколения, оставаясь одним и тем же в своей сущности. Рассказав о превратностях судьбы, о коварствах врагов и на этом закончив, писец вопросил:

— Какая тебе нужна надпись, мальчик? Говори — я и тебя осчастливлю.

— Всего три слова, — сказал маленький Насреддин. — Большими буквами: «Зверь, именуемый кот».

— Как? Повтори... «Зверь, именуемый кот»? Гм...

Писец поджал губы и устремил на мальчика пронзительный взгляд своих остреньких, цепких глаз:

— А зачем, скажи, понадобилась тебе такая надпись?

— Кто платит, тот знает, за что он платит, — уклончиво ответил Насреддин. — Какова цена?

— Полторы таньга, — последовал ответ.

— Так дорого? Всего три слова!

— Зато какие слова! — отозвался писец. — Зверь!.. — Он сделал таинственно-зловещее лицо. — Именуемый!.. —

Он прошептал это слово, придав ему какой-то преступно-заговорщицкий оттенок. — Кот!.. — Он вздрогнул и отпрянул всем телом, как бы коснувшись змеи. — Да кто же тебе возьмется за такую работу дешевле?

Пришлось маленькому Насреддину согласиться на цену в полторы таньга, хотя он так и не понял, в чем состоит опасная глубина его надписи.

Писец вытащил из-под коврика кусок желтоватой китайской бумаги, ножом обрезал его, вооружился кисточкой и принялся за работу, сожалея в душе, что из трех слов, порученных ему, нельзя, при всей его ловкости, выкроить ни одного для доноса.

На обратном пути маленький Насреддин задержался только в обувном ряду, где сапожным клеем наклеил надпись на гладко выструганную дощечку.

Повешенная перед входом в палатку, она имела весьма приманчивый вид.

— Теперь, бабушка, собирай деньги, — сказал маленький Насреддин.

Кот, посаженный в клетку, был уже водворен внутрь палатки и нудно-тягуче мяукал там, скучая в одиночестве.

Старуха со своим черепком расположилась у входа.

Маленький Насреддин встал от нее в трех шагах, поближе к дороге, набрал полную грудь воздуха и завопил так звонко, так пронзительно, что у старухи нестерпимо зачесалось в ушах.

— Зверь, именуемый кот! — кричал Насреддин, покраснев и приседая от натуги. — Находящийся в клетке! Он имеет четыре лапы! Четыре лапы с острыми когтями, подобными иглам! Он имеет длинный хвост, свободно изгибающийся вправо и влево, вверх и вниз, могущий принимать любые очертания — крючком и даже колечком! Зверь, именуемый кот! Он выгибает спину и шевелит усами! Он покрыт черной шерстью! Он имеет желтые глаза, горящие в темноте подобно раскаленным угольям! Он издает звуки — противные, когда голоден, и приятные, когда сыт! Зверь, именуемый кот! Находящийся в клетке, в прочной надежной клетке! Каждый может его созерцать за два гроша без всякой для себя опасности! В прочной, надежной клетке! Зверь, именуемый кот!..

Прошло не более трех минут, как его усердие было вознаграждено. Какой-то базарный зевака, вышедший из скобяного ряда, остановился, послушал и повернул к палатке. По виду это был подлинный двойник Большого Бу-

харца, только меньше ростом, — его младший брат, такой же толстый, румяный, с таким же вялым и сонным взглядом. Он приблизился вплотную к Насреддину и, расставив руки, остолбенел. Его толстое лицо начало медленно расплываться в тягучей бессмысленно-блаженной улыбке, глаза остановились и остекленели.

— Зверь, именуемый кот! — надрывался прямо в лицо ему Насреддин. — Сидит в клетке! Два гроша за созерцание!

Долго стоял Малый Бухарец, внимая в тихом и бессмысленном упоении этим воплям, затем подошел к старухе, порылся толстыми пальцами в поясе и бросил в ее черепок два гроша.

Они звякнули. Голос маленького Насреддина пресекся от волнения. Это была победа.

Малый Бухарец откинул занавеску, шагнул в палатку.

Насреддин затих, ожидая с замирающим сердцем его обратного появления.

Малый Бухарец оставался в палатке очень долго. Что он там делал, — неизвестно; должно быть — созерцал. Когда вышел, на лице у него обозначались растерянность, обида и недоумение — словно бы там, в палатке, надевали ему на голову сапог и пытались накормить мылом. Опять подошел он к маленькому Насреддину, возобновившему свои вопли, опять, расставив руки, остолбенел, только теперь на его лице вместо блаженной улыбки отражалась какая-то смутная тревога ума. Он догадывался, что его провели, но каким способом — понять не мог.

С тем Малый Бухарец и удалился. А возле палатки уже были трое новых и громко ссорились — кому первому созерцать зверя.

Эти оказались подогадливее — последний, выходя из палатки, заливался безудержным смехом. А так как любому одураченному свойственно желать, чтобы все другие не оказались умнее, то эти трое ни словом не обмолвились следующим двоим, стоявшим у входа.

Созерцание зверя длилось весь день. Его созерцали купцы, ремесленники, приезжие земледельцы, даже многоученые мужи ислама в белых чалмах с подвернутыми концами. Его созерцали до кормления, когда он издавал звуки противные, и после печеночного кормления, когда он уже никаких звуков не издавал, а вылизывался и вычесывал из своей шерсти блох.

Палатка закрылась лишь с барабанами. Старуха подсчитала дневную выручку. Девятнадцать таньга! Первый же день окупил все расходы с лихвой, завтрашний обещал чистую прибыль.

Жизнь старухи волшебно преобразилась. У нее появился даже свой кров, ибо палатка была ее бесспорной собственностью. В палатке и осталась она ночевать. Кот, выпущенный из клетки, ходил с поднятым хвостом по углам, обнюхивая новое жилище.

Маленький Насреддин кричал у палатки еще три дня, затем сказал старухе, что придется кого-то нанять ему взамен, ибо у него есть другие дела по дому. Наняли за три таньга в день одного старика, бывшего муэдзина. Этот кричал хотя и зычно, но слишком тягуче, на молитвенный лад; пришлось купить ему барабан, рокотом которого он и перемежал свои крики для большей приманчивости.

Мальчик не забывал старуху: навещал ее каждую неделю. Встреча всегда бывала радостной для обоих. Старуха уведомляла мальчика о возрастании своего богатства и неизменно предлагала ему половину. И неизменно он отказывался — брал только одну таньга на сласти, чтобы не обидеть ее.

Перед уходом мальчик заглядывал в палатку и созерцал. Кот, ежедневно кормимый печенкой, неузнаваемо раздобрел, вконец обленился и всегда спал на подушке, приобретенной для него. Мальчик открывал клетку и гладил кота, дивясь шелковистости шерсти; кот чуть-чуть приоткрывал один глаз, еле заметно шевелил хвостом и опять погружался в сон.

А к зиме мальчик и старуха расстались: она переселялась в Наманган к своим каким-то цыганским сородичам. Она уезжала на крытой арбе — вот до чего возросло ее богатство! Как плакала она, обнимая на прощание маленького Насреддина! В последний раз мальчик наполнил взор видом зверя, спящего в клетке на подушке, и арба тронулась...

Впоследствии, попав однажды в Шираз, на родину великого Саади, Ходжа Насреддин (к этому времени уже — Ходжа Насреддин!) услышал вдруг на базаре зычные крики глашатая: «Зверь, именуемый кот! Зверь, сидящий в клетке!». С волнением в сердце он поспешил на эти

крики и на площади увидел палатку. У входа сидела молодая цыганка — веселая, красивая, в серьгах и бусах; перед ней блестел начищенный медный поднос для денег. А напротив, с другой стороны входа, дремала старуха, уже совсем-совсем дряхлая, перешедшая ту грань земного бытия, за которой для человека сон и явь сливаются неразлучимо... Ходжа Насреддин бросил на поднос большую серебряную рупию — нарочно, чтобы подольше задержаться перед красивой цыганкой, пока она будет набирать сдачу. Она, конечно, все это сразу поняла и набирала сдачу не спеша, медной мелочью, скромно затенив глаза бархатными ресницами, но выдавая себя улыбкой, мерцавшей на розовых свежих губах. Ходжа Насреддин вошел в палатку и увидел кота, — удивительно! — того же самого, одряхлевшего, как и старуха. Ходжа Насреддин поманил кота — он не отозвался, не услышал: верно, оглох от старости.

Выйдя с другой стороны палатки, Ходжа Насреддин опять вернулся ко входу. Молодая цыганка подумала — ради нее, и откровенно засмеялась, блестя зубами. Но к ее великой досаде, недоумению и даже негодованию, Ходжа Насреддин предпочел беседу со старухой. Он склонился к старухе и тихо сказал:

— Здравствуй, бабушка; вспомни Бухару, вспомни базарного мальчика по имени Насреддин...

Старуха встрепенулась, на ее лице мелькнул мгновенный свет, она задохнулась, тихо вскрикнула и вся подалась вперед, ловя дрожащими руками воздух. Но Ходжа Насреддин уже уходил, говоря себе: «Пусть это будет для нее летучий отзвук минувшего, мимолетное, легкое сновидение — перед тем вечным сном, который скоро сомкнет ее очи...». Он оглянулся: старуха все еще не пришла в себя и все ловила, обнимала дрожащими руками воздух, а молодая в безмерном удивлении, в тревоге, кидала быстрые взгляды то на старуху, то на толпу, в которой исчез странный посетитель.

Он больше не оглядывался, и базар растворил его в своем пестром многошумном кипении...

Был с ним в детстве еще один случай на бухарском базаре.

Он бродил по рядам. Нестерпимая жара погнала его к водоему. Следом пошла какая-то женщина, наглухо

закрытая покрывалом. Он услышал за собою шаги, оглянулся.

— Подожди! — странным голосом сказала женщина и, приблизившись, откинув покрывало, склонилась к нему. Она положила сухие горячие ладони на его щеки, приблизила скорбное исхудалое лицо к его лицу, впилась своими глазами в его глаза, точно хотела что-то перелить из своей души в его душу или, наоборот, выпить. Он смутился — что ей нужно? Ее глаза были черными, большими, влажными от слез.

— Иди! — прошептала она, слегка оттолкнув его. — Да сохранит тебя всемогущий аллах везде и всегда. Иди!..

Она опустила покрывало и быстрыми шагами, словно кем-то преследуемая, ушла в переулок. Он с недоумением смотрел ей вслед, ничего тогда не поняв. Через час, в пестрой сутолоке базара, он уже не помнил об этой женщине. И не вспоминал больше.

Через много лет, будучи уже взрослым, где-то на полпути между Бейрутом и Басрой, ночуя в караван-сарае, он во сне увидел эту женщину — узнал ее лицо, глаза, ее голос: «Да сохранит тебя всемогущий аллах всегда и везде...».

Он проснулся и с похолодевшим сердцем, весь дрожа, понял, что эта женщина была его настоящая мать. Это была не какая-нибудь произвольная догадка, а точное знание, ясное и непререкаемое, слетевшее к нему неизвестно откуда. Он подумал, что никогда не сказал ей ни одного слова; охваченный великой жалостью и великой любовью к ней, он заплакал, повторяя без конца слова нежности и любви, которые дети говорят матерям. Словно распахнулась дверь в его давно минувшее, самое раннее детство: эти слова сами шли к нему, и он повторял их, целуя темный ночной воздух, уверенный, что она слышит и всем своим материнским сердцем — измученным, но живым — отвечает ему...

Так он встретился во сне со своей матерью, но имени ее никогда не узнал и никогда впоследствии не посетил ее могилы; да и где стал бы он разыскивать ее безымянную могилу и зачем, если она так навсегда и осталась для него бесспорно живой!

Закончен рассказ о детстве Ходжи Насреддина. Конечно, рассказ наш не полон и отрывочен: нескольких

крупинок, найденных нами, не хватило на большее. Но следом идут другие, каждый найдет новые крупинки, принесет в общую сокровищницу, и в конце концов из всего собранного возникнет общими усилиями новая книга о Ходже Насреддине — книга его детства. Наша доля в ней будет невелика, зато — в основании; тот, может быть, еще и не родившийся мастер, которому суждено написать эту книгу и поставить на ней свой чекан, не обойдет молчанием наш труд, — в этом наша награда, надежда и утешение.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Возвращаясь на прямую дорогу нашего повествования о делах и днях Ходжи Насреддина в Чораке, начнем с ишака.

Он переживал дни сказочного блаженства. Никогда еще жизнь не улыбалась ему такой жемчужной россыпью безмерного счастья и волшебных удач. Во-первых, из мазанки на бугре он переселился в дом Агабека, в самую лучшую часть его, с выходом в сад, куда он мог в любое время спускаться по широким, пологим ступеням и безбоязненно объедать любые цветы и листья; во-вторых, к услаждению всех его желаний были всегда готовы подносы с лепешками различных сортов, абрикосами, редиской, ранними дынями и прочими плодами щедрой чоракской земли. Воду он пил только облагороженную ароматом розовых лепестков. Вот до какой степени Ходжа Насреддин сумел убедить Агабека в истинности ишачьего превращения! Агабек даже подумывал о паре для него, но встретил на пути своего замысла неразрешимое сомнение, ибо неизвестно было, из чего следует исходить в этом деле: из внешнего облика превращенного или из внутренней сущности?

В остальном Агабек не терял времени попусту — все его старания, все разговоры и хитрости направлены были к одному: отвратить державное сердце превращенного от Ходжи Насреддина и притянуть к себе. С этой целью он проводил возле ишака целые дни, самолично ему прислуживал, кротко перенося ишачьи безобразия, которых было достаточно, ибо «приличествующее хлеву безобразно в палатах». Он всеми способами препятствовал Ходже Насреддину оставаться наедине с ишаком и всячески сокращал минуты их свиданий. «Сиятельный принц утомлен» или

«Принц занят государственными делами», — внушительно говорил он Ходже Насреддину и выпроваживал его в мазанку на бугре.

Ходжа Насреддин покорно уходил, хотя ему смерть хотелось узнать — о чем Агабек толкует ишаку целыми днями, когда они бывают вдвоем? И он услышал. Однажды, придя в неурочный час, он застал их в саду поглощенными тайной беседой. Стоя на грядках среди благоухающих левкоев и гвоздик, попирая копытами пленительно чистый цветочный ковер, ишак, сопя, чавкая и бурча животом, пожирал из рук Агабека дыню, ломоть за ломтем, а в длинные уши ему лились коварные речи.

— И после того, о сиятельный принц, — нашептывал Агабек, — он позволил себе неслыханную дерзость: порицать вашу царственную природу, а в равной степени природу вашего порфироносного родителя. Он говорил... Нет, мой язык отказывается повторить гнусности, которые он говорил. Он сказал: принц сварлив и глуп. Это не я, это он сказал... Принц вздорен, мелочен, упрям, и нынешнее прискорбное обличье в полной мере соответствует его внутренней сущности. Не скрывается ли за этим злонамеренный умысел — покинуть великого принца где-нибудь по дороге в Каир или — что еще хуже! — продать погонщикам за ничтожную плату, как самого обычного иша... кха, кха!.. Как самого обычного среди прочих длинноухих, четырехкопытных, и тем самым лишить египетский трон законного и единственного наследника?.. И еще он сказал...

Прячась за кустами китайской жимолости, Ходжа Насреддин тихо удалился, незамеченный Агабеком.

Ночью он сказал вору:

— Я слышал донос — плод созрел.

— Ты, как всегда, действовал без ошибки, — отозвался вор. — Скажи, какую струну в его сердце ты избрал для игры столь успешной?

— Зависть. Из всех глупых и вредных чувств, присущих людям, это едва ли не самое сильное. Есть индийская сказка: одному человеку аллах сказал: «Проси у меня все, что хочешь, и я дам тебе, но с одним условием — что соседу твоему дам вдвое больше. Если тебе усадьбу, то ему — две, если тебе коня — то ему пару. Что хочешь ты получить?» — «Всемогущий, прошу тебя, — ответил этот человек, — вынь у меня один глаз!..».

Пропели третьи петухи — рассветные. Вор встал, поклонился Ходже Насреддину:

— Мне пора. Какие ты дашь мне поручения, что мне предстоит в ближайшем будущем?

— Предстоит еще одно путешествие в Коканд.

— Всемилостивый аллах! Каждое путешествие — это пара сапог. Подошвы так и горят на здешних камнях!

— В последний раз. Сюда ты больше не вернешься, а я нагоню тебя уже в Коканде.

— Что ж делать, я готов. Когда прикажешь отправляться?

— Я скажу...

Была в саду Агабека, в самом дальнем конце, маленькая беседка; здесь не было ни левкоев, ни гиацинтов, садовник никогда не заглядывал сюда со своим ножом, плющ и дикий виноград росли свободно и обвивали беседку, перемешав листву; по утрам в беседке дольше держалась росистая свежесть, пахло мятой и сырой землей, и птицы вокруг пели дольше, ибо густая завеса зелени не пропускала сюда слишком раннего солнечного луча. В этой беседке однажды утром и состоялся у Ходжи Насреддина важный разговор с Агабеком.

Старый слуга — слепой, глухой и вечно безмолвный — принес кувшин вина и две чаши; это был единственный слуга, оставшийся в доме, остальных Агабек отпустил, дабы не разгласилась тайна превращенного. И теперь, не опасаясь доноса, он с увлечением предался мерзостному тайному пороку пьянства, склоняя к тому же и Ходжу Насреддина. Сегодня начал с утра.

— Хозяин, ты плохо выполняешь поручение принца, — сказал Ходжа Насреддин, принимая из рук Агабека чашу, налитую с краями. — Близок мой отъезд, а ты до сих пор еще ничем не подготовил меня к приятию должности визиря и дворцового казначея в Египте.

— Разве ты думаешь уже двигаться?

— Дорога в Каир не близка.

— Но совсем недавно ты говорил, что не примешь должности визиря. Ты думал о своих ученых делах, об уединенном жилище и скромном пожизненном доходе.

— Я и сейчас думаю, но султан ведь может не согласиться на это. Скажет: принимай должность или отправляйся на плаху! С ним не поспоришь. Вот я и решил на всякий случай приготовиться к должности.

Агабек беспокойно замигал мутными глазами и засопел.

— А тайная комната? — напомнил он.

— Об этом как раз я и хотел с тобою побеседовать — о наилучших способах избежать ее. Ты многоопытен и мудр — научи меня. А в награду — клянусь! — я пришлю тебе из Египта кальян, отделанный золотом, и серебряный кувшин для вина.

Кальян и кувшин! Это было все равно, что пообещать жаждущему в пустыне две капли воды. Не кальян и не кувшин мерещились Агабеку, а дворцовые подвалы в Каире, полные золота. И кроме того — еще дороже денег! — почет и великая власть.

Ходжа Насреддин сидел, опустив голову; он в лицо Агабеку не смотрел, зато не отводил глаз от его рук. И по дрожанию толстых пальцев, по трепету вздутых жил, читал все в его душе так же ясно, как по волшебной книге. Поэтому для него не были неожиданными слова Агабека:

— Узакбай, а что, если ты уступишь принца мне?

Соглашаться сразу не следовало: пусть он распалится!

— Тебе? — усмехнулся Ходжа Насреддин. — Не такие люди предлагали мне то же самое. Но, во-первых, принц желает иметь провожатым в Каир только меня, во-вторых...

— Принца можно уговорить. Кроме того, пока он в этом обличье, в ишачьем...

— Можно поступить с ним и бесчестно, хочешь ты сказать? Обмануть его? О хозяин!..

— Вовсе не то я подумал. Но можно его ответ истолковать в желаемую сторону. Поскольку человеческих слов он произносить не в силах...

— А махание хвостом и двигание ушами?

— Вот их-то и можно истолковать!

— Поистине, хозяин, ты рожден для придворных должностей! Но есть и второе препятствие — ты сам.

— Я?..

— Чем ты сможешь вознаградить меня!

Неистовое желание быть египетским визирем так разожгло Агабека, что он даже обрел в себе красноречие.

— Ты жаждешь уединения? — говорил он, наклоняясь к Ходже Насреддину. — Где найдешь ты уединение большее, чем здесь, и тишину совершеннее? — Действительно, тишина вокруг была, как в светлом сне. — Ты хочешь

иметь пожизненный доход? Мое озеро даст тебе достаточно для богатой жизни.

— Да, но хлопоты с этим озером и с отпуском воды, — упирался для вида Ходжа Насреддин. — Они будут меня отвлекать от ученых занятий.

— Найми управителя. За малые деньги он все будет делать сам.

— Верно, можно ведь нанять управителя! Как это мне в голову не пришло!

— Конечно! Передашь дела управителю, тебе же останется только собирать волшебную траву.

— Волшебную траву! — оживился Ходжа Насреддин. — Это как раз для меня — собирать волшебную траву!

— Вот, вот! — подхватил Агабек, обрадовавшись, что нашел верный ключ; его разум, давно уже переродившийся в хитрость, зашевелил и задвигал всеми своими четырьмя десятками ножек. — Именно волшебную траву! Ее здесь — неисчислимо, я только не хотел тебе говорить. Везде растет! Одну ты уже нашел. Но это что? Сотая доля!..

— Неужели сотая доля? — прошептал, как бы замирая, Ходжа Насреддин.

— Тысячная! Тысячная доля!.. Ты еще не знаешь, сколько здесь растет волшебной травы!

Агабек, подогретый вином, болтал уже безоглядно, ничуть не опасаясь быть пойманным на своей лжи, ибо перед ним сидел человек ученых занятий, следовательно — в обыденных делах подобный малому ребенку и подлежащий неукоснительному обжуливанию. Но перед ним сидел Ходжа Насреддин, умевший соединить крылатость души с величайшей проницательностью ума и вовсе не склонный изображать собою жирного барана для всяких ползающих по земле хитреньких проходимцев, — вот с кого следовало бы всем ученым людям, всем мудрецам и поэтам брать пример в их повседневной жизни!

— Вот, например, видишь — плющ! — захлебывался Агабек. — Тоже волшебный! И вон тот лопух — тоже! Кругом волшебная трава! Простой даже и нет, все волшебная. Здесь был задолго до тебя один чернокнижник, он мне все это и разъяснил. Кроме того, здесь и камни волшебные. Прямо валяются на земле — только подбирай! Этот чернокнижник увез целый мешок! И еще два кувшина волшебной воды! Я забыл сказать, что здесь

неподалеку есть волшебная вода. Совсем рядом. Здесь все, все — волшебное!

Против такого сочетания — волшебной травы, волшебных камней и волшебной воды — кто бы мог устоять?

Ходжа Насреддин согласился. Да, он уступает принца в обмен на озеро, дом, сад и все прочее, принадлежащее озеру, и за десять тысяч таньга сверх того.

— Десяти тысяч у меня наличными нет, — говорил Агабек. — Только семь. Но ведь я должен оставить что-нибудь себе на дорогу в Каир.

— А драгоценности, что недавно ты получил от Мамеда-Али? — напомнил Ходжа Насреддин.

Сошлись на пяти тысячах. Агабеку на дорогу оставались две тысячи и драгоценности.

— А принц не откажется! — говорил Агабек. — Он меня достаточно узнал за это время. Наконец ты можешь заболеть. Даже притворно умереть. Мы все обделаем так, что он ничего не заподозрит и никогда не узнает.

Ходже Насреддину умирать не хотелось ни истинно, ни притворно.

— Это уже лишнее, — сказал он. — Зачем обманы в таком праведном деле? Попробуем уговорить принца.

Пошли уговаривать. Было маханье хвостом, и было двиганье ушами. Истолковали. Вернулись в беседку.

— Теперь дело за малым! — торжествовал Ага-бек. — Каждую весну в наших местах появляется кадий Абдурахман из большого селения Янги-Мазар, где он постоянно живет. Он разбирает тяжбы и закрепляет сделки. Он сейчас где-нибудь неподалеку; сегодня же пошлю верховых на розыски. А ты, Узакбай, приготовь пока побольше волшебного состава. И напиши на бумаге все заклинания, чтобы я не забыл.

— Принц тебе уже вручен, а своего вновь приобретенного дома я еще не видел, — сказал Ходжа Насреддин.

— Пойдем посмотрим.

Осмотрели дом. Он оказался очень хорошим, построенным на долгие-долгие годы. «Вот и свадебный подарок этим молодым безумцам — Саиду и Зульфии; хватит им здесь места расселить потомство!» — думал Ходжа Насреддин, следуя за Агабеком из комнаты в комнату. В доме было тихо, чисто, просторно, светло; в открытые настежь окна щедро лились полуденные лучи, расстилая Ходже Насреддину под ноги свои веселые коврики, сотканные из

горячего света, и гоняя по стенам целые стада пугливо-трепетных зайчиков, когда ветер, летевший из сада, шевелил оконные рамы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

С этого дня Агабек перестал быть прежним Агабеком. Опередив медлительное время, он уже переселился мечтами в Каир, ко дворцу, он уже был для самого себя египетским визирем Агабеком-ибн-Муртазом Хорезми, уже чувствовал на плечах тяжесть золотом расшитого придворного халата, уже слышал мысленным предчувственным слухом позвякивание медалей и блях на груди, золоченой сабли на боку. Отныне каждый лишний день, проведенный в Чораке, казался ему похищенным из его будущего величия; каждая пролетевшая минута безвозвратно уносила с собой обильные семена всевозможных благ и всяческих прибылей. Он надулся нестерпимой чванливостью. Разговоры с ним стали для Ходжи Насреддина истинной мукой. Своего единственного слугу, слепого и глухого старика, он заставлял по утрам кланяться себе земно. К ишаку он Ходжу Насреддина теперь не допускал вовсе.

Между тем жизнь селения шла своим обычным кругом: наливались душистой сладостью плоды в садах, шелковичные черви завернулись в коконы и первый раз и второй, объягнились овцы на пастбищах. У каждого чоракца прибавилось летних забот; в чайхане Сафара гостей по вечерам собиралось теперь не много, человек пять; остальные, наработавшись за день, ложились еще засветло спать.

К новому хранителю озера и к его странностям чоракцы успели привыкнуть; разговоры о нем велись в чайхане только вскользь, мимолетно. Зато по-прежнему неотступно висела над чоракцами зловещая тень Агабека: опять — полив, опять — дни, полные томительного страха.

И вдруг, словно громовые удары с неба, посыпались новости — одна другой оглушительнее.

Первую новость возгласил мулла в пятницу после утренней службы: Агабек, обратившись мыслями к богу, пожертвовал в мечеть полторы тысячи таньга, заказав заупокойные молитвы на весь предстоящий год.

Полторы тысячи! Перед поливом! Сколько же возьмет он за полив?.. Заупокойные службы! По каким усопшим?.. До стеклистых червячков чоракцы, конечно, додуматься не могли и терялись в догадках. «Быть может, по тем, которых решил он уморить голодом?» — зловеще пророчествовал Сафар.

Вторая новость исходила от самого Агабека. На днях он покидает Чорак и уходит в хадж — паломничество к священному камню Кааба. Агабек счел полезным затемнить таким способом свой отъезд в Египет.

Новые тревоги, новые недоумения! До полива он уйдет или после полива? И главное, самое главное, — какую же все-таки цену назначит он за полив?

Третья новость — зловещая, страшная: Агабек послал верховых в три конца на розыски кадия Абдурахмана. Он вызывает кадия в Чорак. Зачем? С кем думает затевать он тяжбу перед отъездом, какие сделки понадобилось ему закреплять?

По этому поводу было великое сборище в чайхане. Забыли сады, поля, пастбища. И опять пророчествовал Сафар: «Погодите, до своего отъезда он еще успеет всех разорить!..». Один Мамед-Али видел радость среди тревог: что бы то ни было, но Зульфию он уже больше не потребует в свой дом!

Решили пойти навстречу судьбе — спросить Агабека: сколько он думает взять за полив? Направили к нему четырех стариков.

Старикам видеть Агабека не удалось: не снизошел. Говорил с ними от лица хозяина новый хранитель озера. Слова его были загадочны, доверия не внушали.

— Воду вы получите, — сказал он. — Ничего не продавайте заранее. Хватит тех денег, что есть у вас в кошельках.

А что было у них в кошельках? На весь Чорак — сотни полторы таньга. Старики сказали об этом хранителю. Он засмеялся:

— Кошельки ваши мне известны — они похожи на выдоенное вымя тощей козы. И все-таки повторяю: ничего не продавайте. Идите, почтенные, и передайте мои слова остальным.

Такой ответ не уменьшил тревог, скорее усилил их.

А тут как раз вернулись верховые с известием, что кадий Абдурахман, закончив свои дела в недалеком селении Олты-Агач, завтра к вечеру прибудет в Чорак.

Селение замерло, затихло в ожидании великих дел и небывалых событий.

Только двое из всех жителей Чорака не разделяли общих тревог — Саид и Зульфия. А почему не разделяли — каждый легко может сообразить. Об этом хорошо сказано в сочинении проникновеннейшего Бади-аз-Замана-ибн-Мюфрида «Благоухание утренних роз», — вот что он пишет: «Влюбленность, если она сильна, всегда сопровождается легким затмением ума, как бы помешательством, которому, однако, не следует придавать значения, так как оно не опасно и вреда не приносит, — да и как бы могло быть иначе, если сама любовь есть чувство небесное, ниспосылаемое нам аллахом: разве может исходить от аллаха что-либо вредное? Поэтому, встречая влюбленного юношу, не следует удивляться его рассеянности, как равно и странности в суждениях: в нем происходит смешение мыслей и чувств, образуя путаницу, в которой никто не может разобраться, и меньше всех — он сам. Надлежит со всей снисходительностью выслушивать его и не вступать с ним в споры, особенно по поводу совершенств его избранницы, ибо это все бесполезно, пока он влюблен; осуждать же его за это могут только глупцы». Опираясь на слова мудреца, отнесемся и мы к нашим влюбленным со всей снисходительностью и оставим их рядом друг с другом в ночном саду, не пытаясь воспроизводить их разговоров, порожденных той самой путаницей чувств и мыслей, в которой «никто разобраться не может...».

Старый кадий Абдурахман столько лет жил по кривде и судил по кривде, что в конце концов сам весь покривел — и душой, и телом, и лицом. И шея была у него кривая, отягощенная зобом, и нос кривой с тонким раздвоенным кончиком, и рот как-то странно кривился, и бороденка торчала вкось; вдобавок он заметно припадал на левую ногу и ходил, приныривая на каждом шагу. Так его и звали в просторечии: «кривой кадий Абдурахман». К этому добавим, что он постоянно поджимал один глаз, тот или другой, в зависимости от хода своих судейских дел: правый — в ожидании мзды, левый — по взятии. А так как он неизменно находился в одном из этих двух

состояний, по ту или другую сторону мзды, то и смотрел на мир всегда только одним глазом.

Он приехал в Чорак на старенькой крытой арбе с перекосившимися ковыляющими колесами, которым дорожная прямая колея заметно была не по сердцу: при каждом обороте они так и норовили вывернуться из нее. Пегая лошаденка в оглоблях была низенькая, взъерошенная, жидкохвостая и с бельмом на глазу; криво сидел и возница в седле, согнув одну ногу в колене, вторую же вытянув по оглобле вдоль. Сам кадий, в соответствии со своим званием, помещался внутри арбы, за опущенными занавесками, а снаружи, где-то в промежутке между арбой и лошадиным крупом, пристроился писец, старинный соучастник всех темных дел кадия. Писец был хотя и не крив, но весь измят и как-то выкручен, словно его стирали, потом выжали, а расправить забыли — так он и высох жгутом. И цветная чалма на его длинной, дынеподобной голове тоже была скручена жгутом.

Агабек послал навстречу кадию слугу с приглашением в гости, но кадий отказался, оберегая от лживых наветов белизну своего беспристрастия. Остановился он в чайхане. Сафар сейчас же изгнал из чайханы всех любопытствующих и, поручив кадия заботам Саида, отправился по дворам, собирать одеяла. Обычай того времени требовал, чтобы каждому высокому гостю ложе было устроено из многих одеял, — по разумению Сафара, кадию полагалось не меньше десятка.

Умывшись и выпив чаю, кадий молча посмотрел на своего писца — одним только глазом, правым.

Так же молча писец встал и удалился в направлении к дому Агабека.

Вернулся он затемно, когда среди чайханы высилась уже груда цветных одеял — не десять, а четырнадцать, и кадий возлежал на них, накрывшись пятнадцатым. Писец — все молча — показал ему два пальца и еще полпальца. Это значило — двести пятьдесят. Кадий вздохнул, закрыл правый глаз и открыл левый, обозначив этим свой переход из состояния «до» в состояние «уже».

Затем между ними произошел короткий разговор — шепотом, дабы не слышал чайханщик.

— Что за тяжба? — спросил кадий.

— Не тяжба, а сделка, — ответил писец.

— Сделка? — удивился кадий. — Столь щедро за сделку?

— Ему, верно, очень повезло, — прошептал писец. — Полагаю, он схватил за хвост какую-то большую прибыль.

— Причем — законную прибыль, — наставительно заметил кадий. — Вполне законную. Завтра узнаем, — закончил он и, повернувшись набок, сомкнул левый глаз, ибо состояния «до» и «после» не распространялись на часы его сна.

Из всех кривых сделок, что на своем веку записал и закрепил старый кадий Абдурахман, эта превосходила кривизною все мыслимое! Доходное озеро, дом и сад обменивались на какого-то грошового, презренного ишака! Налицо была тайная цель, а по закону темные сделки со скрытыми целями строжайше воспрещались. Между тем предстояло записать обмен в книгу, причем так записать, чтобы поставленные от хана для надзора за кадиями многоопытные вельможи не могли ничего заподозрить.

Когда Агабек звучным и внятным голосом заявил о своем непреклонном решении обменять озеро, дом и сад на ишака, в толпе чоракцев, собравшихся перед чайханой, возник недоуменный приглушенный гул, как в огромном встревоженном улье. Начавшись у помоста чайханы, этот гул мгновенно перекинулся в задние ряды, всколыхнул и взбудоражил их, прошумел, подобно летучему ветру, по заборам, усеянным ребятишками, затем перелетел на ближние кровли, многоцветно пестревшие платками женщин. Озеро — на ишака! Он обменивает озеро на ишака!.. Не было среди чоракцев ни одного, у которого не замутился бы разум, словно застлавшись дымом, и не дрогнуло сердце.

Но старый кривой кадий Абдурахман, поседелый в пройдошествах, ничуть не удивился, даже бровью не повел. Важно и невозмутимо он сидел на помосте чайханы, лицом к толпе, на возвышении, подобном трону, что устроил для него из пятнадцати ночных одеял чайханщик Сафар. Внизу сидел писец, нацелившийся длинным унылым носом в раскрытую книгу судейских записей. Этот, следуя своему господину, тоже сохранял полную невозмутимость.

Кадий строго воззрился на толпу.

Гудящий ропот начал как бы оседать, прижиматься к земле и наконец совсем затих.

Все замерли в трепетном ожидании.

— Узакбай, сын Бабаджана! — возгласил кадий.

Ходжа Насреддин, ведя в поводу за собой ишака, приблизился к помосту.

— Что скажешь ты в ответ на слова Агабека, сына Муртаза? — вопросил кадий. — Согласен ли ты на обмен?

— Согласен.

В толпе чоракцев опять прошел гул. Он согласен! Еще бы!.. За ишака ценою в тридцать таньга на самом удачном базаре — и получить такое богатство!

Происходило какое-то. загадочное, темное, страшное дело. Кто-то в толпе, не выдержав, тонко застонал, вернее пискнул.

Кадий сохранял прежнее спокойствие.

— Обе стороны изъявили согласие на предстоящий обмен! — возгласил он. — Первое требование закона исполнено. Теперь пусть каждый из жителей селения, если есть у него достаточно веский, подкрепленный доказательствами повод воспрепятствовать обмену, — пусть он скажет об этом перед лицом всех!

Таких не нашлось.

Кадий, выждав минуты две, заключил:

— К совершению сделки препятствий нет, о чем я свидетельствую.

Теперь предстояло последнее — запись. Такая запись, чтобы в ней не содержалось даже малейшей кривизны.

Вот когда старый кадий показал себя во всем блеске своего судейского хитроумия!

Минут пять он думал; как текли мысли в его старой голове, какими путями, — трудно сказать, но вот, в соответствии с их течением, поехала влево сперва его чалма и повисла, опираясь только на ухо, затем поехали влево очки, и наконец он сам поехал влево на своих одеялах, которые держались и не рушились только благодаря самоотверженным усилиям Сафара, подпиравшего возвышение плечом.

Когда кадий заговорил, в голосе его звучало гордое упоение могуществом своего разума.

— Запиши имена совершающих сделку! — приказал он писцу.

Тот заскрипел пером, так глубоко всунувшись в книгу, что, казалось, он скрипит по ее страницам своим длинным носом.

Кадий в это время мысленно подбирал слова, которые бы могли наилучшим образом свидетельствовать о пол-

ной законности сделки, выражая примерное равенство вкладов с обеих сторон.

— Доходное озеро и принадлежащие к нему сад и дом, — сказал он многозначительным, каким-то вещим голосом и поднял палец. — Очень хорошо, запишем! — Он подал повелительный знак писцу. — Запишем в таком порядке: дом, сад и принадлежащий к ним водоем. Ибо кто может сказать, что озеро — это не водоем? С другой стороны: если упомянутые дом и сад принадлежат к озеру или, иначе говоря, — к водоему, ясно, что и водоем в обратном порядке принадлежит к дому и саду. Пиши, как я сказал: дом, сад и принадлежащий к ним водоем!

По ловкости это был удивительный ход, сразу решивший половину дела: простой перестановкой слов озеро волшебно превратилось в какой-то захудалый водоем, находящийся в некоем саду, перед некиим домом. В общей стоимости такой усадьбы главная доля падала, конечно, на дом, затем — на сад, а водоем только упоминался — так, для порядка, ибо сам по себе даже не заслуживал отдельной оценки.

Стоимость имущества одной стороны уменьшилась во много десятков раз. Но сделка все еще заметно кренилась влево. Чтобы окончательно выровнять ее, многомудрый кадий приступил к исследованию имущества другой стороны.

И здесь воспоследовал его новый победоносный удар:

— Узакбай, сын Бабаджана, скажи, какое имя носит находящийся в твоем обладании предназначенный тобой к обмену ишак?

— Я всегда называл его Пфак-Пузырь.

— Пфак! Пузырь! — воскликнул кадий. — Какое низменное, отвратительное имя для столь драгоценного животного, в обмен на которое ты получаешь целое богатство! Не будет ли разумным дать ему другое, благородное, звучное имя: если уж не Олтын-Золото, то хотя бы Кумыш-Серебро?

— Можно и так, — согласился Ходжа Насреддин, схвативший на лету мысль кадия. — Мне все равно, а ему и подавно.

— Пиши! — обратился кадий к писцу. — Пиши: упомянутое имущество — дом, сад и принадлежащий к ним водоем со стороны Агабека, сына Муртаза, передаются Узакбаю, сыну Бабаджана, в обмен со стороны последнего на Кумыш-Серебро, весом... А скажи, Узакбай, —

в упоении гордым торжеством старый кадий возвысил голос до трубного звука, — скажи, сколько он весит, твой ишак?

— Да пуда четыре весит.

— Мне нужен точный вес.

— Пусть будет четыре пуда и семь с половиной фунтов — за счет безделья и сожранных лепешек.

— Пиши! — вострубил кадий, повелевая писцу. — Обменивается на серебро, весом в четыре пуда и семь с половиной фунтов, о чем и составлена мною, кадием Абдурахманом, сыном Расуля, настоящая запись в полном соответствии с законом и ханскими повелениями!

Ходжа Насреддин смотрел на кадия с удивлением: это была работа хотя и в пройдошестве, но подлинного мастера, и нельзя было ею не восхищаться.

— Что моей печатью и подписью заверяется! — трубил кадий, наполняя голосом и чайхану и все заполненное людьми пространство перед чайханой, а сам незаметно для себя все кренился и кренился влево; тут, как на грех, Сафар зазевался, не успел поддержать возвышения плечом — и кадий на последнем слове медленно, плавно съехал вниз, на пол со всеми пятнадцатью одеялами.

Обмен завершился. Озеро теперь принадлежало Ходже Насреддину, ишак — Агабеку.

Кадий выдал обоим соответствующие бумаги.

Потрясенные чоракцы, обсуждая на все лады сегодняшние события, разошлись по домам.

Дорога перед чайханой опустела.

А вскоре опустела и чайхана: старый кадий отбыл из Чорака в другие места, где ожидали его многомудрых решений различные тяжбы и сделки.

Перед самым его отъездом Ходжа Насреддин потихоньку спросил: как скоро почтенный кадий сможет на обратном пути завернуть еще раз в Чорак?

При этом вопросе левый глаз кадия мгновенно закрылся, и ему на смену открылся правый, означающий состояние «до».

— Дня через четыре, завершив дела в нескольких селениях, расположенных неподалеку, — ответил он и, кряхтя, полез по спицам колеса на арбу.

Писец пристроился на своем привычном месте, где-то в промежутке между арбой и лошадиным крупом.

Возница согнул одну ногу в колене, вторую — вытянул по оглобле вдоль, искривился в седле и, щелкнув языком, тронул лошадь.

Скрипя, вихляясь, раскачиваясь, арба двинулась по дороге и исчезла за тополями.

Наступившую ночь и Ходжа Насреддин и Агабек провели без сна.

Обуянный нетерпением надеть египетский придворный халат, Агабек не желал больше ни одного дня задерживаться в Чораке. На рассвете он уходил.

Его дорожные сумки были готовы с вечера; оставалось лишь уложить два кувшинчика с волшебной водой.

К полуночи были уложены и кувшинчики, наглухо залитые сверху смолой.

Заклинания, что Ходжа Насреддин написал на листке плотной китайской бумаги, Агабек спрятал в потайной пояс, надеваемый путешественниками под рубаху, прямо на голое тело. В этом же поясе лежали его деньги и драгоценности, полученные от Мамеда-Али.

Начался рассвет.

— Время! — сказал Агабек. — Ну, прощай, Узакбай, жди от меня богатого подарка из Египта. Я пришлю тебе кальян, отделанный золотом, и серебряный кувшинчик для вина.

Ходжа Насреддин ответил глубоким поклоном:

— Благодарю властительного и великолепного визиря земли египетской. Позволь, о визирь, в последний раз послужить тебе.

Он вошел в дом и через минуту появился обратно, таща за собой упиравшегося ишака.

Постукивая копытами по каменным влажным ступеням, ишак спустился в сад и привычным путем направился прямо к цветочным грядкам, уже наполовину объеденным.

Натянув повод, Ходжа Насреддин удержал его и ловким движением набросил ему на спину дорожные сумки.

— Что ты делаешь! — вскричал Агабек, схватив сумки. — Отягощать принца! Поистине, ты лишен разума, Узакбай!

— А как же? — в недоумении спросил Ходжа Насреддин.

Агабек в ответ окинул его презрительным взглядом и кряхтя взвалил обе сумки на себя.

— Что же, ты думаешь так — до самого Каира? — осведомился Ходжа Насреддин.

— В Коканде я куплю вьючную лошадь. Для этих сумок только. А сам пойду пешком, ибо неприлично будет ехать мне, если принц шествует пешком. Конечно, я бы нанял повозку для принца, но боюсь, что в пути он будет оскорбляем насмешками разных невежд, привыкших видеть четвероногих, подобных принцу в его теперешнем обличье, впряженными в повозки, но не восседающими в них.

— Это мудро. О визирь, сколь необъятен твой разум!

Синева раннего рассвета быстро переходила в бледность утра. Небо начинало слегка розоветь. В саду во всех концах щебетали, чирикали птицы.

Ишак, Агабек и Ходжа Насреддин вышли на дорогу. Даль в горах была подернута мглою, подножья хребтов тонули в густом белесом тумане, но снеговые вершины уже светились легким прозрачным блеском — первой улыбкой проснувшегося дня. И туман в ущельях, в провалах начинал уже зыбиться, клубиться и восходить. Как легко дышалось!

— В пути лучше всего иметь арабские динары, — наставлял Ходжа Насреддин Агабека. — Их принимают везде по полной цене, ибо в арабском золоте нет дешевых примесей, как во многих прочих монетах. Но будь осторожен с разменом. Менялы часто бывают жуликами: они могут подсунуть тебе низкопробное золото фальшивой чеканки. Когда ты завершишь в Коканде все дела, о блистательный визирь, перед самым отъездом найди лавку менялы Рахимбая. Это недалеко от главного базарного водоема, по левую сторону большого арыка, что лет уже пятнадцать облицовывают камнем и никак не могут закончить. Спроси Рахимбая — любой кокандец укажет. Его знают все, он честный купец, ему без опасений можно довериться.

— Быть может, он купит мои драгоценности?

— О да, только он! Причем даст цену большую, чем все другие.

— Значит, по левую сторону большого арыка, близ главного водоема?

— Вот, вот!.. Какую могучую память вложил в твою голову аллах, о визирь!

— Ну, прощай, Узакбай!

— Прощай, блистательный визирь!

— Жди от меня подарка.

— Жду, великолепный визирь!

— Поклонись на прощание сиятельному принцу. Ты долгое время был приближен к его царственной особе; поблагодари за столь великое счастье.

— Кланяюсь земно и благодарю.

Расстались.

Долго, долго смотрел Ходжа Насреддин вслед уходящим. И — вот странности человеческой природы! — Агабек был ему врагом, и все-таки он взгрустнул, проводив его; такую власть имеет над нашим сердцем разлука.

Об ишаке нечего и говорить! Когда он, отойдя шагов пятьдесят, остановился, повернул морду и скорбно, укоризненно посмотрел на хозяина, Ходжа Насреддин не смог сохранить свои глаза сухими. «О лепешечник! — мысленно воскликнул он. — Да неужели ты думаешь, что старый твой друг по скитаниям способен отдать тебя какому-то Агабеку, способен расстаться с тобою! Нет, я не совершу столь низкого предательства, мы будем еще долгие годы вместе!»

Уходящие скрылись. По их следу скользнул на дорогу робкий розовый луч — прохладный, прозрачный, свежий, отраженный гладью горных высоких снегов.

Ходжа Насреддин вернулся в мазанку на бугре.

Вор ждал его там, согласно их вчерашнему условию.

— Я готов, — кратко сказал он. — Дай мне только немного денег, чтобы не добывать их в Коканде.

Отсчитывая деньги, Ходжа Насреддин говорил:

— Следи за Агабеком, следи за каждым его шагом. Раньше чем через неделю, считая от сегодня, он из Коканда не выйдет, я за это время успею.

— Если будешь торопиться...

— А наипаче — следи за моим ишаком. Я не знаю, что со мной будет, если я потеряю его!

— Не потеряешь, этого не случится, ибо и мне он дорог — так я к нему привык! Удивительно, что в нем сокрыто, в этом длинноухом, упрямом и вечно бурчащем своим животом, что в нем есть, привлекающего сердца?

— Ну, иди! Да поможет тебе всемогущий аллах!

— Оставайся! Да поможет аллах и тебе в успешном завершении задуманного.

Так в это ясное утро Ходжа Насреддин проводил в дальний путь и одноглазого вора.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В самом начале нашего повествования упоминался мимоходом некий замечательный воробей — подробное слово о нем было обещано впереди. Ныне время этому слову пришло; что же, пусть найдется в нашей книге место и для воробья, хоть он и малый мира сего, но кто из живущих может с полным правом и основанием возвеличиваться перед ним, называя себя избранным и единственным на земле? Такое высокомерие свойственно некоторым людям, но вовсе не служит им к чести, свидетельствуя лишь об их чванливом и тупоумном самодовольстве. А мы со всей откровенностью скажем, что малый двуногий в перьях часто нашему сердцу куда милее и ближе, чем иной, надутый самодовольством, большой двуногий без перьев; продолжим наше слово о воробье с братской благожелательностью к нему.

Этот воробей жил в чайхане Сафара, под крышей, в уютном гнезде, устроенном на скрещении двух бревен. Образ жизни вел он такой же, как и все другие чоракские воробьи: просыпался до солнышка, чирикал, вертел головой, чистил перья, забираясь клювом глубоко под крылья, топорщился и отряхивался, прыгал по дороге, купаясь в пыли, затем обрызгивался водой из арыка и отправлялся по своим делам: либо на мельницу — подбирать зерна, либо на виноградник — портить ягоды. Была у него воробьиха, и было многочисленное потомство, пополнявшееся дважды в год — в начале и в середине лета. Он был неизменно весел, бодр, оживлен, драчлив; имея собственное хорошее гнездо, временами поддавался соблазну захватить чужое и залезал в какое-нибудь дупло, облюбованное скворцами, откуда бывал изгоняем с великим шумом, выщипыванием перьев и выволакиванием за крылья. В гнезда ласточек он не забирался, зная, что это небезопасно: могут замуровать. Так он и жил в чайхане долгое время, совершая каждый день, как и все прочие земнородные, множество мелких грехов, но не преступая

законов совместного и равноправного бытия живых на земле, и в этом смысле был вполне достоин своего воробьиного счастья. О большем, конечно, говорить не приходится: никаких высот разума или духа за ним не значилось, и в должный срок, достигнув своего предела, он тихо и незаметно покинул бы землю, угодив либо ястребу в когти, либо коту на обед и не оставив по себе в мире никакого следа, подобно тысячам тысяч своих маленьких серых собратьев. Но всемогущий случай отметил его своим выбором, остановил на нем свой перст, сказав: «Ты!» — через это слово он обрел бессмертие, славную память в последующих веках. Сколько людей на земле из кожи вон лезут, добиваясь от случая этого слова, и не получают его, а вот маленький воробей получил! Нить его жизни — серенькая тонкая нить — вплелась в многоцветный ковер дел и подвигов Ходжи Насреддина и осталась в этом ковре навсегда.

Удивительнее всего, что и здесь не обошлось без старого ходжентского нищего из разрушенной мечети Гюхар-Шад. Спросят: как попал он сюда, в затерянное горное селение, зачем? В том-то и дело, что он появился... вернее сказать — явился Ходже Насреддину. И между ними была длительная беседа, вернее — мысленное подобие беседы, ибо старик явился бесплотно; впрочем, Ходжа Насреддин видел его вполне ясно и слышал вполне отчетливо; то ли во сне это было, то ли наяву — трудно определить; поди вот, разберись теперь, как он появился, этот звездностранственный, туманных мыслей старик: в бесплотном виде или в некой полутелесности? Придется рассказать об его появлении особо, иначе получается непонятно. А к воробью мы еще вернемся через несколько страниц в этой же самой главе.

Проводив Агабека, ишака, а за ними вдогонку — вора, Ходжа Насреддин отправился в свой вновь приобретенный дом, где весь день провел в одиноком раздумье, беседуя лишь с кувшином вина из оставленных Агабеком запасов. Старому слуге было приказано не допускать никого — ни чоракских стариков с их заботами о поливе, ни даже Саида.

К раздумьям была у него основательная причина: сегодня утром перед ним вдруг возникло недоумение,

касающееся озера, — недоумение, которого он раньше не предвидел.

Вот он изгнал Агабека. Озеро отобрано. Выполнено слово, что в свое время он дал старому ходжентскому нищему. Но что дальше делать с этим озером? Не самому же ради него переселяться в Чорак? Можно, конечно, подарить Саиду к свадьбе. Но что скажет нищий, одобрит ли он такое решение? Что, если он имеет какие-либо свои замыслы относительно озера? И ничего не сказал, — теперь догадывайся как хочешь! Поистине, он создан для тумана в чужих головах, этот Молчащий и Постигающий старец!

Кувшин — коварный собеседник: он всегда притворяется, что на его дне, как драгоценная жемчужина, сокрыта самая главная истина, и с каждым глотком — к ней ближе. А когда наконец самоотверженными усилиями дно достигнуто, отважный искатель уже не в силах не только овладеть жемчужиной, но даже и разглядеть ее. Так случилось и с Ходжой Насреддином: дважды в этот день он опускался на дно кувшина и дважды выныривал пустым, без жемчужины... Так до самого вечера он ничего путного и не придумал, растерял даже те мысли, что у него были до собеседования с кувшином, и с отягощенным, затуманившимся разумом, неудовлетворенным сердцем, почтительно поддерживаемый под локоть старым слугой, удалился в дальний конец сада, в беседку, где была приготовлена ему постель.

Это была та самая беседка, из которой они с Агабеком неделю назад ходили уговаривать принца. Волшебный плющ был на месте, и волшебный лопух на месте, и в листве звенели волшебные комары. Засыпая, Ходжа Насреддин подумал: «Вот если бы здесь пришли ко мне волшебные мысли, как лучше всего поступить с этим озером!». Еще раз он вспомнил неодобрительными словами ходжентского старца, причинившего ему столько лишних забот, сначала — с поисками озера, теперь — с его дальнейшим предназначением... Больше ни о чем он уже не успел подумать: голова закружилась еще сильнее, мысли помрачились, и он уснул.

А беседка-то и в самом деле оказалась волшебной, — в этом Ходжа Насреддин убедился, так как ночью в ней

произошло событие вполне волшебное: к нему явился ходжентский старец.

Он явился на рубеже полуночи; вся беседка вдруг озарилась мягким голубым сиянием, и в этом сиянии возник старец — весь туманный и мерцающий, словно состоящий из призрачного звездного света. Ходже Насреддину следовало бы удивиться, однако он нисколько не удивился, как будто ждал старца.

Усевшись напротив, на скамейку, старец молитвенно огладил волнистую светосквозящую бороду:

— Ну, здравствуй, Ходжа Насреддин! Ты меня сегодня вспоминал, и вот я пришел.

— Мир тебе, почтенный старец, — ответил Ходжа Насреддин. — Будь моим гостем, выпей моего вина.

— Не надо мне вина; разве ты забыл, что я дервиш и вовсе не склонен к услаждениям плоти? Я пришел тебя поблагодарить за неоценимое добро, содеянное тобою для меня. Теперь мне уже не грозит опасность начать сызнова звездный круг.

Ходжа Насреддин испугался, как бы старец опять не начал своих поучений.

— Стоит ли благодарности? — прервал он. — Тем более, что я не довел еще дела до конца. Ты пришел весьма кстати, ибо я испытываю некоторое недоумение: как мне быть с этим озером дальше? Вот мы и посоветуемся.

— Как быть с озером дальше? Ты не знаешь?

— Откуда же могу я знать, почтенный старец? Ведь во время нашей последней беседы никаких указаний относительно озера ты не успел мне дать: запели петухи.

Старец улыбнулся и при этом весь замерцал трепетным переливчатым блеском. Померцав, сказал:

— Помню, помню, как же... Я тогда немного ошибся временем — не рассчитал. Ты не сердись, Ходжа Насреддин.

— Я нисколько не сержусь; только бы не ошибиться нам вторично. Уже близка полночь, твой срок. Поэтому лучше будет сначала заняться главным делом, а уж потом перейти к другим разговорам.

— Что ж, это можно, — согласился старец. — Давай говорить о главном. Итак, значит, ты нашел свою веру?

— Когда мне было искать ее? — отозвался Ходжа Насреддин со скрытым раздражением, ибо старец опять направил свои мысли в сторону от озера. — У меня,

почтенный старец, не оставалось времени для поисков веры, потому что я должен был, во-первых, искать твое озеро, находящееся неизвестно где, во-вторых, отбирать его, а теперь — думать, как поступить с ним дальше. О вере мы успеем поговорить; скажи свое мудрое слово об озере.

Старец помолчал, думая; внутри его сквозяще-туманного тела возник на месте сердца бледно-зеленоватый огонек, вытянулся в зыбкую, тонкую струйку и, трепеща, переливаясь, восшел вверх, к устам; навстречу, из головы старца, потекла другая струйка, слегка синеватая; видя это, Ходжа Насреддин заключил, что синеватая струйка означает мысли, а зеленоватая — чувства, и обе они, соединившись на устах мерцающего старца, должны породить слова.

Так оно и вышло, — старец заговорил:

— Вот, Ходжа Насреддин, ты все же далек еще от истинной мудрости. Ведь в твоей вере и сокрыто как раз решение всех недоумений и сомнений, что могут встретиться тебе на путях жизни, в том числе и твоего теперешнего недоумения с озером.

— Так разреши его, почтенный старец! Осмелюсь напомнить: полночь близка — тебе для всех разговоров остались минуты!

— Не лучше ли будет, о Ходжа Насреддин, — замерцал старец торжественно-розоватым светом и поднял палец, — не лучше ли будет предоставить твоему духу, в целях его наибольшего совершенствования, найти самостоятельно-должный вывод относительно озера — через постигнутую наконец тобою веру?

Здесь Ходжа Насреддин понял, что нужного слова об озере он и в этот раз не услышит.

— Я могу помочь тебе в поисках веры, пусть это будет моей благодарностью, — продолжал старец; его розоватое мерцание перешло в прозрачно-серебристое, затем — золотистое и вдруг вспыхнуло многоцветными радужными переливами, так что Ходжа Насреддин даже зажмурился. — Не называя прямо, я укажу тебе путь, на котором следует искать ее.

— Это было бы не лишним, почтенный старец, — из вежливости согласился Ходжа Насреддин.

— Возьми своей правой рукой мою левую руку.

Взяв его руку, Ходжа Насреддин обрел только прохладную влажность — и никакой плоти. Сияние внутри

старца усилилось, радуга залила своими отблесками всю беседку.

— Закрой глаза! — торжественно возгласил старец. — Следуй за мной!

Был полет — мгновенный и такой стремительный, что Ходжа Насреддин задохнулся.

— Теперь открой! — услышал он голос старца; вернее, — не услышал, а каким-то иным способом уловил; без помощи слуха.

Он открыл глаза.

Беседки не было, вокруг расстилался густой голубой туман, напущенный, видимо, старцем.

— Смотри и вникай, — сказал старец, вернее — промерцал, потому что вместо голоса из его уст изошло переливчатое мерцание в виде как бы удлиненного облачка, и в этом облачке непонятным образом возникли слова, которые Ходжа Насреддин уловил не слыша.

— Ничего не могу разглядеть, ни во что не могу вникнуть, — ответил он и вдруг понял, что сам отвечает старцу тоже мерцанием; взглянув на себя — изумился: он, как и старец, был весь туманно-переливчатым и сквозным, состоящим из одного только призрачного сияния, без всяких следов своей обычной плоти.

Испугать Ходжу Насреддина было не легко, но здесь он перепугался: этот звездностранственный старик сыграл с ним, кажется, весьма опасную шутку!

— Это... это как же?.. Это что же? — растерялся Ходжа Насреддин и сам почувствовал свое мерцание неровным, прерывистым, как бы заикающимся. — А где же... где же я сам? Почтенный старец! А?.. Это уже лишнее, скажу я тебе, куда ты девал меня?

Старец ответил успокоительным переливом чистейшего изумруда:

— Не бойся, Ходжа Насреддин, ты со мною. По чести говоря, не могу понять твоего крайнего перепуга: ну, чем она столь драгоценна для тебя — твоя ничтожная плоть?

— Почтенный старец, между нами большая разница! — взмолился Ходжа Насреддин, испустив чреду торопливых, тревожных бледно-лиловых зарниц. — Разве дано мне возвыситься до твоей необъятной мудрости, до такого совершенства духа?

Этими заискивающими словами он хотел на всякий случай подольститься к старцу, дабы не вздумал тот

оставить его навсегда в бесплотности, — и сейчас же в его мерцании появилась неприятная мутная желтизна.

Старец, к счастью, не заметил, а может быть, и заметил, но из вежливости промолчал: ответного укоризненного мерцания не было.

— Успокойся, Ходжа Насреддин, твоя плоть вернется к тебе. Вот она. Смотри.

И перед бесплотным зрением Ходжи Насреддина возникла где-то внизу, вдали, беседка, и в ней он увидел себя самого — спящим.

— Твоя плоть на месте, где предается низменному телесному сну, в то время как твой дух находится в звездно-странственном вещем бодрствовании, — заключил старец. — Тебе откроется многое, только сумей понять.

Но сколько ни вглядывался Ходжа Насреддин в напущенный старцем туман — разглядеть и понять ничего не мог. Все зыбилось, расплывалось, мысль ни за что не могла зацепиться, все казалось равно возможным, но и равно произвольным, недостоверным, обо всем можно было думать и так, и этак, и по-третьему; тщетно Ходжа Насреддин искал в тумане хотя бы один какой-нибудь земной предмет, от которого отправляясь, можно было бы ковать цепь последовательного размышления, — ни одного такого предмета он вокруг не увидел.

— Ничего не понимаю, — повторил он. — Почтенный старец, здесь только вопросы, и ни одного решения. Где земля, где люди, где их радости, горести и заботы, где, наконец, то самое деятельное добро, ради которого я, по твоим же словам, послан в мир? Как я могу творить добро в этом непроглядном тумане, где все недостоверно и сомнительно, и для кого должен я стараться, если здесь нет людей? И где зло, с которым я призван бороться, против кого оно устремлено? Против звезд?.. Нет, почтенный старец, высоты звездных постижений — не для меня; прошу, верни меня вниз, на землю, там мое место!..

По мере того как он говорил, мерцающий старец все тускнел, тускнел и вдруг на глазах Ходжи Насреддина растаял, бесследно исчез. И все смутное вокруг исчезло, туман рассеялся, и опять к Ходже Насреддину вернулась его земля, где все можно видеть, слышать, осязать, исследовать, где живут люди в противоречивом сплетении своих страстей, самоотверженных усилий помочь друг другу — и в неизменном, вечном устремлении всегда вперед,

ко всеобъемлющему общему благу, в котором каждый сможет найти благо и для себя.

Ходжа Насреддин проснулся, открыл глаза. Вокруг была влажная темная свежесть; ветер, залетевший в беседку, скользнул прохладой по его лицу; сияли сквозь листву далекие звезды; была ночь — ее вторая половина, за полуночным рубежом.

Голова еще слегка болела, но мысли уже обрели привычную ясность. Ходжа Насреддин усмехнулся: нет, он старцу не попутчик в межзвездных полетах, его место, его родной дом — земля. Это, конечно, очень хорошо и возвышенно — постигать, но для себя он избирает простое земное понимание, в котором он — хозяин своих помыслов и дел.

Вернувшись раздумьями к озеру, он почувствовал себя полностью свободным от всех сомнений, тяготивших его накануне: все было ясно, просто и до конца бесспорно. «Удивительно, как же я раньше не сообразил!» — воскликнул он, не догадываясь, что и не мог сообразить, ибо избрал себе по этому поводу неправильных собеседников: кувшин и туманного старика.

Продолжим о воробье, о том, как он встретился с Ходжой Насреддином и что их свело.

За какие-нибудь полчаса до встречи они еще не думали друг о друге; оба — каждый отдельно — занимались своими делами на равных правах: воробей сидел наверху, на крыше чайханы, и, греясь в последних, уже красноватых лучах, громко чирикал, провожая благодарственной песней уходящее солнце, а Ходжа Насреддин сидел внизу, в чайхане, беседуя с чоракцами, окружившими его плотным кольцом.

Когда он пожаловал в чайхану — впервые с тех пор, как стал хранителем озера, а затем и владельцем его, — собравшиеся гости толковали как раз о нем: в какую сторону теперь он повернет их горестную жизнь? А он — легок на помине! — вдруг и появился, вынырнул из глубины джугарового поля, примыкавшего к чайхане. Словно бы нарочно — пришел не дорогой, а полем, чтобы застать врасплох.

Сафар забегал, засуетился; гости начали торопливо расходиться, дабы не мешать сиятельному чаепитию.

Но теперь в чайхану пришел не Узакбай, помощник и наследник Агабека, а Ходжа Насреддин!

— Куда вы, почтенные? — закричал он. — Чем я вас так обидел, что вы даже не хотите посидеть со мною? Сафар, вот тебе двадцать пять таньга и подавай чаю безотказно каждому, сколько он сможет вместить!

Чоракцы несказанно удивились этим приветливым словам. Они робко жались по стенам, не осмеливаясь прикасаться к чайникам, что хлопотливо разносил и ставил перед ними Сафар.

А сердце Ходжи Насреддина заливалось горячими волнами любовной жалости к ним, — до чего забиты они, запуганы, если не смеют даже чаю выпить, не смеют слова сказать! Этот маленький воробей (взгляд Ходжи Насреддина мимолетно упал на воробья — их соприкосновение началось) — даже он счастливее, свободнее в своей жизни!

Пришел Саид. На глазах потрясенных чоракцев новый владелец озера крепко с ним обнялся, как со старинным приятелем. Это было совсем уж непонятно: откуда знают они друг друга и почему до сих пор Саид молчал?

Страха поубавилось, — чоракцы взялись за чайники, иные придвинулись к Ходже Насреддину и вступили с ним в разговор.

В своей мазанке на бугре он давно соскучился по людям, по задушевной, простой беседе и сейчас отдыхал душой от вынужденного отшельничества. Он расспрашивал чоракцев об их житье-бытье, о домашних делах, о недавней поломке моста близ мельницы, о здоровье заболевшей на днях кобылы гончара Бабаджана, — все, творившееся в Чораке, было ему досконально известно. Он сыпал веселыми шутками, обращаясь то к одному, то к другому, поздравил вполголоса Мамеда-Али с близкой свадьбой прекрасной Зульфии, такое же поздравление принес чайханщику Сафару.

Об одном только, о самом главном, так ничего и не хотел он сказать — о воде и предстоящем поливе. Между тем эта именно мысль раскаленным гвоздем сидела в голове каждого чоракца и жгла язык.

Спросить осмелился Мамед-Али:

— Скажи, многопочтенный Узакбай, когда ты думаешь отпустить нам воду для полива и какую хочешь взять цену?

В чайхане сразу воцарилось безмолвие — слышалось только неуемное звонкое чириканье с крыши.

Ходжу Насреддина пронзили десятки выжидающих взглядов.

— Воду вы получите ко времени, дня через три-четыре, — сказал он. — О цене поговорим позже, накануне полива.

Чайхана вздохнула — вся разом, десятками грудей.

— Но если у нас не хватит денег?.. — начал Мамед-Али.

— Хватит! — прервал Ходжа Насреддин. — Вода будет на ваших полях; я сказал, а вы слышали.

Был второй общий огромный вздох. Вода будет! У всех отлегло от сердца: он, верно, и в самом деле добрый, благодетельный человек, этот Узакбай!

В самозабвенном благодарственном восторге щебетал, звенел и чирикал воробей на крыше, надуваясь от усердия так, что даже перья на нем все топорщились и шевелились, — как будто бы это ему пообещали воду на поля, жизнь и счастье в дом.

А чоракцы могли выразить свою радость лишь вздохами да вспыхнувшим светом в глазах.

— Да, вы получите воду! Вы получите воду и впредь будете получать ее для своих полей всегда без отказа! — Голос Ходжи Насреддина на мгновение пресекся, по телу пробежала дрожь, щекоча голову и бороду; если бы на нем были перья, то они бы встопорщились и зашевелились. — Верьте мне, черные дни для вас кончились!

И он замолчал. Он и так сказал слишком много за один раз. Чоракцы боялись пошелохнуться — только свет в их глазах разгорался все ярче.

Но земля есть земля, у нее свои законы, свои порядки, — надо их знать, и надо уметь ими пользоваться, дабы крылатые устремления нашего духа могли претвориться в дела. Ходжа Насреддин не позволил себе слишком долго парить в осиянных, чистейших высотах; усилием разума он опустился на землю, к ее действительной жизни, где все перемешано и перепутано: добро со злом, совершенство с несовершенством, благородство с низостью, прекрасное с безобразным, радость с горем и чистота с грязью. В этом смешении противоречивых начал и свойств надлежало теперь ему действовать с умом и ловкостью, дабы увенчался его благородный замысел достойным концом.

Он обвел глазами чоракцев. Да, он любил их со всей силой и пламенем сердца, но это не мешало ему ясно видеть в их душах, наряду с высоким, чистым, благородным, — низменное, темное, своекорыстное. В том-то и заключалась плодотворность его любви, что он любил людей такими, какими были они в действительности, не превращая их в своем воображении в ангелов.

— Скажите, а по какому поводу подрались вчера Ширмат с Ярматом? — спросил он.

— Поспорили из-за старого сухого тутовника, предназначенного на дрова, — пояснил Сафар. — Каждый считал его своим — вот и подрались.

— Что же, не могли они распилить его пополам?

— Могли-то могли, но каждому хотелось получить его целиком для себя.

Все это Ходже Насреддину было давным-давно знакомо в людях.

Помолчав, он спросил:

— А скажите, вон тот хилый, чуть живой тополек близ дороги — кому он принадлежит?

— Это мой тополь! — с живостью отозвался гончар Дадабай. — Все знают, что мой!

Глаза его сузились, губы сжались, подбородок выпятился, — солоно пришлось бы тому, кто вздумал бы оспаривать у него этот чахлый, ценою в две таньга, тополек!

— Так, — сказал Ходжа Насреддин. — Пусть будет твой, не спорю. А вон тот куст ивняка, что склонился над арыком, этот кому принадлежит?

— Мне! — поспешил заявить маслодел Рахман.

— Почему же тебе? — возразил земледелец Усман. — С чего ты взял?

— На моей земле — значит, мой!

— Вот так раз! — воскликнул Усман. — Вы слышите, добрые люди! На его земле!..

— Конечно, на моей!

— Это мы еще посмотрим! — сварливым, склочным голосом ответил Усман багровея. — Он только склонился ветвями на твою сторону, а корни-то, корни — на моей земле!

— На твоей? — с придыханием и привизгом прошипел маслодел. — С каких это пор, а?

— Подождите, не спорьте! — возвысил голос Ходжа Насреддин, спеша предотвратить схватку. — Не спорьте, говорю вам! Я ведь не собираюсь ни отнимать, ни покупать

у вас этот ничтожный куст, никому не нужный и не стоящий даже ломаного гроша. Пусть его растет, кому бы ни принадлежал. А вон тот чертополох — он тоже имеет хозяина?

— Это на моей земле, — ответил Мамед-Али.

Ходжа Насреддин долго молчал, размышляя.

Тем временем солнце зашло, его прощальный луч угас на вершинах деревьев, на землю опустилась предсумеречная синева — прозрачная, без отблесков и теней. И вместе с прощальным лучом умолкла воробьиная песня: день для пернатых окончился. В последний раз воробей встопорщился, отряхнулся и юркнул в свое гнездо под крышей.

И как раз попался — кончиком хвоста — на глаза Ходже Насреддину.

— А этот воробей, что залез сейчас в гнездо, он тоже кому-нибудь принадлежит?

Эти слова были приняты за шутку: вокруг заулыбались, засмеялись.

— Имеет ли он хозяина? — добивался Ходжа Насреддин.

— Кто ж ему хозяин? — ответил, усмехаясь, Мамед-Али. — Он летает, где захочет и когда захочет, никого не спрашиваясь, портит ягоды равно на всех наших виноградниках, подбирает зерна во всех дворах. Он принадлежит всем и никому в отдельности.

Такой именно воробей и нужен был Ходже Насреддину — чтобы принадлежал всем и никому в отдельности.

— Может быть, ты, Сафар, имеешь на него какие-нибудь особые права?

— Какие права! — засмеялся чайханщик, обнажив беззубые десны и сморщив лицо. — Живет здесь какой-то под крышей, я его не трогаю, он — меня. Живет, и пусть себе живет, мы друг другу не мешаем. Божий воробей, вольная пташка...

— Принеси-ка мне лестницу, Сафар!

Мамед-Али переглянулся с гончаром, маслодел — с коновалом; по чайхане пошел летучий обмен взглядами.

Сафар, недоумевая, притащил лестницу. Ходжа Насреддин приставил ее к стене, поднялся на три перекладины, запустил руку в дыру под крышей, пошарил там, высоко подняв брови, со внимательным лицом, как бы прислушиваясь, и вытащил насмерть перепуганного воробья.

— Клетку!

Нашлась в чайхане, среди разного хлама, старая клетка.

— Вот, Сафар, передаю тебе на хранение, — сказал Ходжа Насреддин, посадив в клетку воробья. — Неусыпно следи за ним, корми его, чаще меняй воду, чтобы он, спаси аллах, не потерпел какого-либо ущерба в своем здоровье. Помни, это драгоценнейший воробей, в чем скоро ты убедишься.

Завершив этими словами свой вечер в чайхане и пожелав чоракцам доброго сна, он удалился к себе.

Саид пошел его проводить. Вернулся, светясь внутренней радостью. Но сказать ничего не хотел, — так и не узнали чоракцы, что он услышал от нового владельца озера столь радостное для себя.

Узнала Зульфия. Она-то, конечно, узнала!

— Он сказал: это все ваше — и дом и сад.

— Он, верно, пошутил. С чем же он сам останется?

— О, Зульфия, это какой-то особенный человек: все, что он говорит, все исполняется! Он уже подарил мне самое дорогое — тебя.

— Мы будем счастливы, Саид, и так, без этого дома и сада. Разве мы не сможем построить свой?

— Все-таки, я думаю, он не пошутил. В его глазах горел какой-то необычайный свет.

— Да, удивительного человека ты встретил, Саид! С тех пор как он появился у нас в Чораке — вся жизнь пошла по-другому, словно солнце глянуло из-за туч.

— Кто он? Откуда он? Надолго ли пришел к нам в Чорак?..

Ночь плыла. Четыре ветра поднимались от земли к звездам, раздувая их трепетное мерцание: северный, полный мороза, — для синих звезд, южный, насыщенный зноем, — для красных, западный — для белых и восточный — для зеленых звезд; четыре сна опускались с высоты на мир, объемля его четырьмя океанами: черным — для злобствующих и злодействующих, мутно-желтым — для их пособников из трусости либо своекорыстия, голубым — для всех людей простого труда и бесхитростных мыслей, прозрачно-рубиново-огненным — для доблестных воинов на путях Добра.

Завернув на обратном пути в Чорак, старый кривой кадий Абдурахман остановился в той же чайхане, возлег на те же пятнадцать одеял и, с широко и жадно открытым правым глазом, принялся ждать своего писца, который, не теряя попусту времени, отправился для переговоров к новому хозяину озера.

Вернувшись уже затемно в чайхану, он молча показал кадию открытую ладонь — все пять пальцев. Это значило — пятьсот таньга.

Старый хитрец глубоко вздохнул, все его лицо как бы окунулось в теплое масло, и он сладко зажмурился. Когда же снова глянул на мир — то уже левым глазом.

Он принял от писца тяжелый кошелек, уложил в пояс, приготовившись ничему назавтра не удивляться и закрепить любую сделку, хотя бы даже передачу мусульманской правоверной души самому шайтану за щепоть волосков из его шелудивого хвоста!

И не удивился. Ничуть не удивился, услышав от Ходжи Насреддина о непреклонном его решении обменять свое озеро на воробья, принадлежащего всем чоракцам сообща и никому в отдельности.

Клетка стояла здесь же. Воробей уже обвыкся в ней: бойко чирикал и прыгал, подбирая кунжутное семя, которым в эти дни кормил его Сафар.

Кадий левым глазом скользнул по воробью, кивком изъявив согласие: препятствий к сделке он не усматривает.

Толпа, запрудившая дорогу, бурлила, гудела: перед чоракцами на их глазах творилось доброе чудо, и они все, от мала до велика, верили ему. Как будто в облике этого Узакбая к ним в селение пришел сам дедушка Турахон.

Уверенно и легко старый кадий правил свою ладью по знакомому руслу судейского хитроумия. Воробей наречен был Алмазом, вес его определили в три серебряные таньга. Так и записали в книгу.

Писец составил две бумаги: одну — закреплявшую за Ходжой Насреддином алмаз весом в три серебряные, полновесные, не стертые таньга, и вторую — закреплявшую озеро на вечные времена за чоракцами — всеми совместно, на равных правах.

Ходжа Насреддин поставил на обеих бумагах свою подпись.

Затем к помосту потянулись чоракцы. Грамотных не было среди них: прикладывали пальцы, намазанные

китайской тушью из чернильницы. Писец под каждым отпечатком записывал имя приложившего палец.

— Подходите, подходите, не бойтесь! — говорил им Ходжа Насреддин. — Подходите скорее, ибо мне не терпится получить на зубы этого жирного воробья, а вы своей медлительностью задерживаете мой обед.

Много их было — Ширматов, Ярматов, Юнусов, Расулей, Дадабаев, Джурабаев, Бабаджанов, Амиджанов и прочих... Но к полудню все-таки удалось со всеми закончить.

Последним приложил палец некий Мухаммед, сын Усмана, — и кадий трубным, торжественным голосом возвестил о завершении сделки.

Вторая сделка заняла не много времени: это была обычная дарственная запись на дом и сад, переходившие к Саиду.

Чоракцы стояли как зачарованные — не шевелясь, не дыша.

Писец закрыл книгу; кадий, кряхтя, спустился с высоты пятнадцати одеял и, приныривая, направился к своей арбе — он спешил.

Возница прищелкнул языком, лошаденка натужилась, уперлась задними ногами и налегла, — арба качнулась, заскрипела, двинулась. И хотя дорога была та же, и арба та же, но только на этот раз колеса не выворачивались из колеи на обочину — шли ровно и прямо, впервые за много лет. И старый кадий, привыкший ездить всегда с креном в левую сторону, не мог понять: почему сегодня так неловко, неудобно сидится ему на арбе?

На берегу озера, у головы отводного арыка, Ходжа Насреддин простился с чоракцами.

Хранителем озера он поставил Саида, сказав ему так:

— Пусть твои посевы будут в самом хвосте полива, чтобы ты не мог оросить их раньше, чем оросишь все остальные поля. Ты не обижайся: здесь дело слишком важное, касающееся благополучия всех, и лишняя заручка не помешает. Вот тебе ключ от замка. Свято храни эту воду: она для вас жизнь.

Саид снял замок. Вдвоем с Ходжой Насреддином они взялись за ручки ворота, подняли ставень. Пенясь и бурля, вода хлынула в отводной арык. Она шла свободным, обильным потоком, как в былые благословенные времена; под ярким полуденным солнцем она сверкала, искрилась, блестела; подхваченные водою ветви прибрежного ивняка

изогнулись тугими хлыстами, полными нетерпеливой дрожи, листва ожила, затрепетала и устремилась по течению, расчесавшись вся в одну сторону.

— Вы получили воду! — говорил Ходжа Насреддин чоракцам. — Она избавит вас от голода, нужды и вечного унизительного страха. Это необходимо человеку, чтобы он был человеком, но этого еще мало. Паук низменного своекорыстия, затаившийся в каждом из нас, — вот главный враг нашего взлета и нашей свободы! Изгнать его, уничтожить — иначе нельзя быть людьми, вполне достойными этого наивысшего в мире имени! Пусть все реже звучит в Чораке жадное, своекорыстное слово «я», пусть заменится оно высоким и благородным словом «мы». Прощайте, будьте счастливы на своих полях и в своих домах, всегда и неизменно!

Послышались возгласы благодарности, восхищения; многие прослезились.

Он взял клетку, достал из нее воробья, сильно подкинул вверх. Отяжелевший от слишком обильной пищи, воробей чуть не упал на землю, но вовремя подхватился на крылья и взмыл в небесный простор.

— Полетел в чайхану, к воробьихе, — сказал Ходжа Насреддин. — Оставляю вам этот «алмаз» на память о себе.

Освобождением воробья он закончил все дела в Чораке, — больше ничто его здесь не удерживало.

Еще раз поклонившись чоракцам, пожелав им счастливой жизни, удачи в делах, он подошел к стоявшим отдельно Мамеду-Али, Сафару, Саиду и Зульфии:

— Вы все называли меня Узакбай. Но знайте — это не мое имя, оно ненавистно мне. Я принял его поневоле. Когда будете меня вспоминать — называйте как-нибудь иначе.

— Как же тебя называть?

— Подумайте; может быть, догадаетесь.

Провожать себя он не позволил — ушел один, берегом арыка, за быстрой водой.

Время как будто остановилось.

Долго стояли чоракцы в безмолвии, не отрывая глаз от холма, за которым скрылся их странный, навеки памятный гость.

И вдруг Саид закричал:

— Я знаю! Я догадался!

Он, как спросонья, провел по лицу рукой, словно снимая с глаз паутину:

— Ходжа Насреддин — вот его настоящее имя!

И сразу всем стало все понятно и ясно. Конечно, Ходжа Насреддин!.. И каждый удивился, что не сообразил этого раньше; каждому показалось, что он догадывался, только не до конца.

Саид кинулся береговой тропинкой вслед за ушедшим:

— Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!

Ему ответило эхо слабым, призрачным голосом, а Ходжа Насреддин уже не отозвался.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Благополучно добравшись до Коканда, Агабек рассудил, что продолжать такой дальний путь в одиночку небезопасно, тем более — с деньгами в поясе; разумнее будет присоединиться к попутному каравану. Пришлось ему задержаться в Коканде; за это время как раз подоспел и Ходжа Насреддин.

Вор встретил его словами:

— Еще один день, и ты опоздал бы. Завтра в ночь выходит караван в Стамбул, и с ним идет Агабек.

— Значит, назавтра у нас будет много работы, — сказал Ходжа Насреддин. — Как чувствует себя мой ненаглядный ишак?

— Он вполне здоров, только скучает. Он полон тоски по тебе.

— Еще бы, такая разлука! Ничего, завтра мы будем вместе. Значит, Агабек еще не был у Рахимбая, не предлагал ему драгоценностей?

— Нет, не предлагал. Я слежу за каждым его шагом.

— Сам аллах помогает нам!

Они сидели в маленькой чайхане, захудалой и грязной, с кошмами вместо ковров, чугунными кумганами вместо медных, сальными светильниками вместо масляных; приниженно и робко она выглядывала из переулка на главную базарную площадь — как нищенка, случайно попавшая на богатый пир и понимающая, что здесь ей не место. И в самом деле, здесь было ей не место, среди пышных больших чайхан, опоясавших площадь огнями, наполнивших вечерний синий сумрак трубным ревом, визжанием сопелок и грохотом барабанов для заманивания гостей.

В одной из этих пышных чайхан остановился Агабек; вор указал, в какой именно.

— Он — визирь, ему и к лицу только богатая чайхана, — отозвался Ходжа Насреддин.

Веял мягкий бархатистый ветерок; город, истомленный дневным оглушающим зноем, блаженно отдыхал, погружаясь в прохладу и свежесть ночи; было новолуние, месяц только наметился в небе тончайшей изогнутой линией — «бровью ширазской турчанки», как сказал в свое время Хафиз... Ходжа Насреддин всегда любил такие часы больших, многотысячных городов — этот короткий спад бурливой жизни, как будто набирающей сил для нового утреннего прибоя. Он давно постиг тайну жизненной полноты — в противоположностях: в трудах, без которых нет радости отдыха, в опасностях, без которых нет радости победы; вот почему сумеречное затишье, столь ему нестерпимое в сонном Ходженте, здесь, на огромном кипучем базаре, было для него пленительно-прекрасным в своей мимолетности.

С такою же полнотой души, с благодарственным восхвалением жизни встретил он и многошумное, пестроцветное утро, вспенившееся толкотней, сутолокой, водоворотом разноплеменных толп, нарастающим ревом, слившим в себе все мыслимые и немыслимые земные звуки. Поднялась пыль и замутила небо, заскрипела на зубах, набилась в ноздри; земля, разогреваясь под солнцем, как будто втягивала в себя длинные светлые тени, сгущая их до полной черноты; изразцы минаретов раскалились, расплавили вокруг себя воздух: еще полчаса — и на базаре нечем стало дышать!

Тогда в самой пышной, богатой чайхане с подушек восстал Агабек, закончивший утреннее чаепитие:

— Чайханщик, получи сколько с меня следует за весь постой. И выведи моего длинноухого, покрытого шерстью.

Он даже заглазно не позволял себе называть ишака иначе, как только почтительно косвенными именами, дабы, очутившись в каирском дворце, не проговориться как-нибудь нечаянно и не угодить на первых же порах в тайную комнату.

Ходжа Насреддин и вор, с утра ожидавшие вблизи чайханы выхода Агабека, спрятались за угол.

Будущий египетский визирь, не заметив их, важно прошествовал мимо, ведя в поводу ишака. Длинноухий,

покрытый шерстью являл собою вид самый унылый: морда была опущена к земле, уши болтались, хвост бессильно обвис, кисточка на конце чуть шевелилась.

— Посмотри на его безутешность, — сказал вор Ходже Насреддину. — Это настоящий преданный друг, многим людям следовало бы у него поучиться.

Они последовали за Агабеком в толпу, в нестерпимую давку гудящих крытых рядов; здесь воздуха не было, его вытеснил пар, поднимавшийся от земли, щедро увлажненной поливальщиками; тысячи запахов, источаемых кожами, красками, заморскими пряностями, гниющими отбросами, продавцами и покупателями, парящимися в своих халатах, — все это смешивалось и сгущалось до такой немыслимой плотности, что уже прилипало к рукам и лицам наподобие какой-то вязкой жижи... Агабек миновал красильный, сапожный, седельный ряды и вышел к большому базарному арыку. Ходжа Насреддин толкнул вора локтем:

— Ищет лавку менялы Рахимбая.

Толстый меняла Рахимбай в этот день еще не имел торгового почина и, зевая, скучал в своей лавке. По его лицу, восстановившему прежнюю округлость, по курчавости расчесанной бороды, по сонно-сытым глазам видно было, что после сундучной бури никакие смуты не возмущали больше его душевного мира. Так оно и было: оскорбленная супруга простила его и снизошла до него, арабские жеребцы в благополучном здравии стояли на конюшне под тройной охраной, ожидая следующих скачек; вельможа — хотя и холодно — отвечал ему на поклоны при встречах; жизнь менялы вошла в прежнюю ровную колею.

Не предвещало ему никаких особых волнений и сегодняшнее знойное утро; даже наоборот, он подумывал закрыть к обеду лавку и предаться дома сладостному отдыху возле супруги. Напрасные мечтания! Уже гудели, кружились над его беспечной головой вихри новых невзгод.

Перед лавкой остановился человек весьма степенной наружности, с ишаком в поводу:

— Да пребудет над тобою слово аллаха, купец, мир тебе! Скажи, не зовут ли тебя Рахимбай?

— Ты угадал, меня зовут Рахимбай. Какое дело привело тебя, о путник, к моей лавке?

— Я слышал о тебе еще по ту сторону гор как о честном купце, вот почему и разыскивал именно тебя среди всех кокандских менял.

Рахимбай, как всякий отъявленный плут, был весьма ревнив ко мнению людей о себе; обрадованный и польщенный словами Агабека, он сразу к нему расположился душой; впрочем, в соответствии с природным своим плутовством, и самое это расположение ощутил не иначе, как в замысле хитро обжулить, но только на дружеский лад — неслышно и мягко, с оттенком доброжелательства.

— Не первый ты, о путник, приходишь ко мне с подобными словами, — сказал Рахимбай, самодовольно кряхтя и поглаживая круглый, выпятившийся живот. — Меня, слава аллаху, знают по всей Фергане и далеко за ее пределами как честного человека: надеюсь таковым оставаться и впредь.

— Добрая слава дороже денег, — вежливо поклонился Агабек.

Купец не остался в долгу — ответил таким же поклоном:

— А еще дороже — встреча с достойным и разумным собеседником.

— Истинная правда! — воскликнул Агабек. — Именно такую встречу послал мне аллах сегодня.

— Вот слова, порожденные самим благородством, — отозвался купец.

— Они — лишь зеркало: отразили то, что перед ними, — подхватил Агабек.

Долго они кланялись друг другу, соперничая во взаимовосхвалениях, превознося друг друга до небес; между тем глазки менялы — истинное зеркало его разума — превратились в узенькие щелочки, шныряли и бегали, ощупывая путника, стараясь проникнуть сквозь ткань его пояса внутрь кошелька.

Наконец перешли к делу. Рахимбай отсчитал Агабеку горсть звонкого золота — монет на пять меньше, чем следовало бы, по сравнительной стоимости динаров и таньга на кокандском базаре; при этом он сокрушенно вздыхал и рассказывал о крайнем вздорожании арабского золота в последнее время, что было, конечно, чистейшим враньем. Агабек — сам не промах в подобном вранье — проницательно усмехался, но в спор не вступал; чтó были ему эти жалкие пять динаров, если впереди ожидала его дворцовая каирская казна!

— А теперь, почтеннейший, — прервал он излияния купца, — у меня к тебе еще одно дело. — Он ссыпал динары в круглый кошелек черной кожи, спрятал его и достал из пояса второй кошелек. — Здесь драгоценности — ожерелье, браслеты, кольца. Может быть, купишь?

— Тише! — Рахимбай высунулся из-за прилавка, взглянул направо, налево: не видно ли где поблизости шпионов или стражников. — Разве ты не слышал, путник, что в Коканде такие сделки воспрещены без предварительного уведомления начальства? Можно пострадать: ты потеряешь драгоценности, я получу тюрьму.

— Я слышал, но полагаю, что два разумных человека...

— И честных, — поторопился вставить купец.

— А главное — осмотрительных, — добавил Агабек.

Они закончили разговор ухмылками: слов им больше не понадобилось.

Рахимбай бросил на прилавок горсть мелкого серебра — для отвода глаз, на случай появления стражи, затем распустил завязки кошелька и отвернул книзу его края, чтобы видеть драгоценности, не извлекая.

Притаившиеся неподалеку за углом вор и Ходжа Насреддин видели, как менялось, темнело толстое лицо купца и наливалось кровяной злобой, шевелившей волосы в бороде.

— А скажи, путник, скажи мне: откуда, когда и как попали к тебе эти драгоценности?

— Почтенный купец, — ответил Агабек, — оставим эти вопросы начальству, без которого решили мы обойтись. Не все ли равно тебе — откуда и как? Твое дело — брать или не брать. Если ты берешь — плати деньги, шесть тысяч.

— Деньги? — задохнулся купец. — Шесть тысяч! За мои собственные вещи, украденные у меня же!

Здесь Агабек почуял неладное: уж не думает ли этот купец поймать его на удочку своего плутовства?

Быстрым движением он схватил кошелек.

Но купец не дремал — скрюченными пальцами вцепился накрепко.

Оба замерли, разделенные прилавком, но соединенные кошельком. Крепче не соединила бы их даже стальная цепь!

Они прожигали друг друга взглядами, полными бешеной злобы; глаза у обоих выкатились, округлились и по-

мертвели, залившись белесой мутью, как у разъяренных петухов. Воздух со свистом и хрипом вырывался из их гортаней, перехваченных судорогами.

При всем этом они должны были соразмерять движения и сдерживать крики, дабы не привлечь внимания стражников.

— Пусти! — захрипел Агабек.

— Отдай! — стенанием ответил купец.

— Мошенник!

— Презренный вор!

Последовала короткая схватка — яростная, но тихая, со стороны почти совсем незаметная. Казалось, два почтенных человека доверительно беседуют, склонившись над прилавком; только прислушавшись, по глухой возне, свистящему прерывистому дыханию, подавленным стонам и скрежету зубов можно было догадаться об истине.

Схватка закончилась вничью.

Вцепившись в кошелек, трудно и хрипло дыша, оба опять окостенели друг против друга.

— О потомок шайтана, о смрадный шакал, вот какова твоя честность! Пусти, говорю!

— Отдай, нечестивец, пожравший падаль своего отца!

Соперничавшие минуту назад во взаимопревознесениях и похвалах, они теперь осыпали друг друга злобной руганью: так часто бывает с людьми, когда между ними оказывается кошелек.

— Осквернитель гробниц и мечетей! — стенал купец, исступленно закатывая глаза. — О советник шайтана в самых черных его делах!

— Молчи, гнусный прелюбодей, согрешивший вчера с обезьяной! — отвечал Агабек, шумно дыша через нос, ибо ярость холодной судорогой свела его челюсти, сцепив намертво зубы.

И вдруг — для купца неожиданно — он рванул к себе кошелек с такой неистовой силой, что земля у него под ногами качнулась.

И ему удалось вырвать — только не кошелек из рук менялы, а самого менялу, повисшего на кошельке, из-за прилавка.

Но купец успел подогнуть ноги к животу и зацепиться ими за ребро прилавка с внутренней стороны, благодаря чему не вылетел на дорогу, хотя и был уже приподнят над землею.

Рывок истощил силы Агабека. Пользуясь этим, купец, лежа толстым брюхом на прилавке, начал постепенно затягивать кошелек под себя, как бы медленно заглатывая. Но вместе с кошельком под его брюхо втянулась и окостеневшая рука Агабека — до самого плеча.

Человек, взглянувший на это все мельком, со стороны, по-прежнему бы ничего не заметил. Но вор и Ходжа Насреддин видели не мельком, а вглубь, проникая в истину каждого движения, каждого звука:

— Он плюнул Агабеку в глаза!

— А тот зубами ухватил купца за бороду. Смотри, смотри — вырвал изрядный клок!

— Теперь отплевывается: волосы липнут к его деснам и языку.

— Видишь, купец в ответ хотел откусить Агабеку нос!

— Он промахнулся, ляскнул зубами в воздухе...

Вора от волнения трясла лихорадка, желтое око светилось.

— Время, время, Ходжа Насреддин! Что же ты медлишь?

— Пусть подерутся еще немного.

Кроме двух дерущихся и двух наблюдающих был здесь еще и пятый, сопричастный этому раздору, — ишак. Точнее сказать — он был здесь главным виновником, первопричиной раздора: с него все началось, из-за него продолжалось, ибо Ходжа Насреддин стравил менялу и Агабека с единственной целью — вернуть себе своего ненаглядного ишака.

Последний сохранял вполне безучастный вид: морда была по-прежнему опущена к земле, уши болтались, хвост висел безжизненно; только изредка встряхивал он головой — когда Агабек в пылу схватки неосторожно дергал повод.

Глухая возня за прилавком усиливалась.

Дальше медлить было опасно: могла появиться базарная стража.

Ходжа Насреддин тихонько свистнул.

Ишак встрепенулся, вытянул морду. Этот свист он узнал бы всегда и везде, сквозь любые гулы и громы. Он услышал в этом коротком свисте и призыв друга, и повеление господина, и голос бога, — ибо Ходжа Насреддин был для него, конечно же, в некоторой степени богом — всемогущим и неизменно благоносящим.

Свист повторился, и вслед за ним Ходжа Насреддин высунулся из-за угла, явив ишаку свой божественный пресветлый лик.

Нет слов, чтобы описать волнение, обуявшее длинноухого! Он вновь обрел утраченное божество, мир снова наполнился для него светом и радостью. Он взбрыкнул всеми четырьмя ногами, поднял хвост, заревел и устремился к сиянию, исходившему из-за угла.

Прочный ременный повод натянулся подобно струне.

Как раз в это время Агабек, сопя и тужась, пытался вытянуть кошелек из-под брюха менялы. К его тщетным потугам добавился внезапный рывок ишака. «Сам принц помогает мне!» — возомнил Агабек и напряг последние силы. Против такого совместного напора меняла не устоял и волоком был вытащен из лавки на дорогу — конечно, вместе с кошельком, которого он из рук все же не выпустил.

Здесь уж пришлось ему воззвать к стражникам.

— Разбой! — не помня себя, завопил он тонким и нестерпимо противным голосом, в котором сочетались гнусным браком злоба и страх. — На помощь! Грабят!..

Агабеку было еще хуже: в одну сторону его тянул купец, в другую — ишак; сила ишака превзошла, и они — все трое — повлеклись по дороге: впереди, пятясь задом и пригнув голову, длинноухий, за ним — Агабек с наискось растянутыми руками, как бы распятый между ишаком и кошельком, позади, со всклокоченной бородой, испуская вопли, — купец, в лежачем положении, с приподнятой над дорогой лишь верхней частью туловища, в то время как его жирное брюхо и короткие толстые ноги влачились по земле. Вот каким прочным оказался ременный повод яркендской прославленной выделки!

Нужно было помочь длинноухому. Ходжа Насреддин вторично явил ему из-за угла свой лик. Впав в совершеннейшее исступление, длинноухий взбрыкнул задними ногами, рванулся, мотнул головой — и повод не выдержал, лопнул.

Купец ткнулся бородою в пыль. Агабек рухнул на него. Они склубились.

А со всех сторон, гремя щитами, звеня саблями, секирами и копьями, устрашающе гикая и гогоча, уже неслась, мчалась конная и пешая стража.

Бросив кошелек, дабы не потерять принца, Агабек рванулся к углу, за которым исчез длинноухий. Но

стражники ухватили его, нависли, нацеплялись со всех сторон.

— Прочь! — страшным голосом гремел Агабек. — Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами — египетский визирь, слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье! Я сотру вас в порошок, в пыль!

— Он вор! Вор! — кричал купец. — Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..

— Пустите! — задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. — Пустите, говорю вам! — Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. — Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..

Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.

Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.

— Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! — грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. — Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!

— Дéржи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. — разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.

Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам.

Принесли жердь, продели ее под связанные руки и ноги Агабека; два самых дюжих стражника подняли концы жерди на плечи. Агабек — египетский визирь! — закачался в воздухе, брюхом к небу, спиною к земле, вполне уподобившись дикому зверю, несомому с охоты удачливыми охотниками. Его чалма свалилась на дорогу и была сразу подхвачена стражниками, разделившими ее между собой по кусочкам.

Он плевался, источал пену, проклинал, угрожал — все втуне! Стражники, торжествующе гудя, окружили его плотным кольцом, скрыв от глаз Ходжи Насреддина, и шествие под барабанный бой двинулось в гущу базара, к новому дому службы, где имел свое пребывание сиятельный Камильбек.

Позади, на подгибающихся ногах, держась за сердце, ковылял меняла под охраной двух стражников. Третий нес кошелек в поднятой руке, у всех на виду: так повелевал закон, дабы, с одной стороны, предотвратить соблазн,

с другой же — уберечь стражу от клеветнических нареканий.

Собравшаяся толпа повалила за стражниками.

Дорога перед лавкой опустела. Пыль улеглась.

Ходжа Насреддин передал ишака вору:

— Ты должен укрыть его в крепком, надежном месте. Потом разыщи вдову и с нею приходи на судилище.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Перед караульным помещением была просторная площадь, на которой не допускались ни торговля, ни какое иное скопление народа, — кроме вторников, когда сиятельный вельможа самолично творил здесь суд и расправу над изловленными за неделю преступниками.

Сегодня как раз был вторник. Вельможа в парчовом халате, при новой сабле и при множестве медалей (не без хлопот удалось ему восстановить все это после памятного сундучного злоключения!), восседал под шелковым балдахином на судейском помосте и, шевеля усами, грозно взирал с высоты на толпу, затопившую площадь. Он брезгливо морщился и фыркал, когда ветер с площади опахивал его не слишком благоуханной волной, в которой преобладали два запаха: пота и чесночного перегара. Преступник же Агабек находился внизу, даже еще ниже, чем внизу, — сидел в узкой, напоминавшей колодец яме, откуда торчала только его бритая мясистая голова. Этим воочию для простого народа обозначалось: недосягаемое величие власти, с одной стороны, и беспредельная низость злодейства — с другой. Над ямой стоял стражник с длинной деревянной колотушкой, умягченной на толстом конце тряпьем — для того, чтобы преступник не смел поднимать своего нечестивого взгляда вверх, к сиятельному лику вельможи. Этим пояснялось для простого народа, что созерцание начальства есть уже само по себе великое счастье, которого лишаются недостойные. Агабек уже получил два раза по темени, и теперь, слегка оглушенный, тупо смотрел в землю недвижным, помутившимся взглядом.

На ступенях широкой пологой лестницы, между вельможей и преступником — дабы слышать обоих, — размещались писцы со своими книгами; сбоку, в двух шагах, стоял купец, наблюдаемый особым стражником.

Остальные стражники — пешие и конные — двойной цепью отгораживали судилище от напиравшей толпы. Мелькали плети, взблескивали сабли, опускаемые плашмя на головы и плечи любопытных, излишне просунувшихся вперед.

Ходжа Насреддин с великим трудом протискался к судилищу — и сразу же над ним взвилась плеть, от которой, однако, он сумел увернуться. Немного отступя, он занял место позади какого-то дюжего, рослого бородача; отсюда ему было и видно и слышно, а бородач заслонял его собою от взоров сиятельного вельможи.

— А теперь объясни, ты, именующий себя Агабеком, сыном Муртаза, — вопросил вельможа, — откуда и как попали эти драгоценности к упомянутому тобою земледельцу Мамеду-Али, от которого ты якобы их получил в уплату за воду? И почему он уплатил тебе драгоценностями, а не просто деньгами?

— Он беден, — глухо ответил Агабек. — Откуда бы он взял столько денег.

— Беден? — язвительно усмехнулся вельможа. — Беден, а платит за воду для целого селения? Беден, а расплачивается золотом и самоцветами?.. Запишите! — приказал он писцам. — Запишите эту бесстыдную, но глупую ложь, которая в дальнейшем послужит нам к изобличению преступника!

— Это не ложь, о сиятельный князь!

Забывшись, Агабек поднял было голову, но сейчас же получил колотушкой по темени и ткнулся подбородком в обрез ямы, прикусив язык. Удар, хотя и мягкий, привел его в изумление — он долго не мог ничего вымолвить и только смутно мычал, закатив глаза, источая слюну и возя бородой по земле; наконец он вошел опять в разум, и речь вернулась к нему.

— Это не ложь! — забубнил он себе под ноги в яму, как в бочку. — Упомянутый Мамед-Али действительно беден и не имеет денег; драгоценности же нашел он в своем саду, под корнями яблони, которую окапывал...

— Умолкни, презренный лжец! — загремел вельможа, встопорщив усы. — В твоих речах нет ни одного слова правды! Нашел под корнями яблони! Что же, ты надеешься уверить нас, что золото и рубины растут в земле, подобно грибам?

— О блистательный судья, о светоч справедливости — я готов поклясться на Коране!

— Поклясться на Коране! Ты хочешь увеличить список своих злодеяний еще и кощунством! Запишите, писцы, его ложь — запишите, дабы могли мы перейти к следующему вопросу.

Писцы записали. Вельможа перешел к следующему вопросу:

— Если ты, как это явствует из твоих ранее сказанных слов, действительно владел столь доходным озером, то по каким причинам ты покинул его и вознамерился уйти в Египет? Где твое озеро?

— Я обменял его.

— Обменял? На что и кому?

— Я обменял его на египетского наследного принца... То есть на ишака, являющегося в действительности принцем... Я хочу сказать — на принца, имевшего обличье ишака...

— Что?! — подпрыгнул вельможа. — Повтори!.. Нет, не смей повторять! Как ты осмелился перед нашим лицом сопоставить в своих лживых речах царственную особу и некое недостойное четвероногое?

— Вот, вот! — подхватил, обрадовавшись, Агабек. — Длинноухое, покрытое шерстью...

Наконец-то его поняли! Позабыв о колотушке, он глянул вверх. Тяжеловесный удар, упавший на голову ему, сразу лишил его языка и привел к молчанию. Взор его помутился, отражая помутнение разума, и туман беспамятства скрыл от него лик вельможи.

— Новое преступление! — гремел вельможа. — Он изрыгнул хулу на царственную особу и осмелился на это в присутствии начальственных лиц! Писцы, запишите, — но, разумеется, в иносказательных, пристойных выражениях.

— Здесь нет никакой хулы! — стонал из ямы несчастный. — Я направился в Египет, дабы принять должность визиря и хранителя дворцовой казны — в награду за возвращение принцу человеческого облика. Превращенный злыми чарами в длинноухого, принц был встречен мною...

— Молчи, презренный, лживый клеветник, молчи, говорю тебе! — грянул вельможа, восстав в пылу негодования с подушек. — Поистине, уже давно мы не оскверняли нашего взора созерцанием столь злостного и закоренелого преступника! К перечню всех неслыханных злодейств он добавил еще одно — самозванное присвоение высочайшего сана визиря, сана, которого даже мы сами

только недавно достигли! Пишите, писцы, всё пишите: первое — кража, второе — бесчинство и буйство, учиненные сегодня на базаре, третье — хула на царственную особу, четвертое — самозванство...

Писцы дружно заскрипели перьями — и в этом скрипе Агабек почуял свой неминуемый, неотвратимый конец.

Тщетно взывал он к милосердию вельможи, молил о справедливости, просил выслушать до конца. Вельможа оставался неумолим и не внимал его жалким, ничтожным воплям, устремив непреклонный, остекленевший взгляд в пространство поверх толпы, как бы созерцая в небесных высотах ему только одному видимое светило правосудия.

Агабек в ужасе, в бессилии, в изнеможении затих.

Бывший судья, вот когда он понял на своей шкуре, как иногда в глазах судей чистейшая правда оборачивается злонамеренной ложью, и ничего нельзя с этим поделать, ничем нельзя доказать свою невиновность; сколько раз ему самому приходилось так же судить и заточать в тюрьмы невинных людей только за то, что их правда внешне выглядела как ложь. А теперь вот его самого настигло и поразило возмездие!

Приговор был суров: пожизненная подземная тюрьма.

Агабек застонал и вырвал клок волос из бороды.

Стражники подхватили его, вытащили из ямы, поволокли в подземную тюрьму. Там он попал к Абдулле Полуторному, который, выдав преступнику для начала десяток плетей, перепоручил его своему помощнику, свирепому афганцу. Были пинки, зуботычины; затем с высоты сорока ступеней Агабек покатился вниз, во мрак и смрад, в скрежет зубовный и вопли, и там остался навсегда, получив от судьбы как раз то, чего был уже давно достоин за все зло, которое посеял в мире!

Судилище продолжалось. Купец просил о возврате драгоценностей. Конечно, подумав, можно было изыскать вполне законный повод к их отобранию в казну, тем более что жалоба на такое решение наверняка бы не имела у хана успеха, но драгоценности принадлежали не столько самому купцу, сколько его прекрасной супруге, а перед нею вельможа чувствовал себя виноватым, ибо ни разу после сундука не посетил ее, хотя она через подосланных старух дважды напоминала ему о себе; опасаясь еще

больше прогневить ее, зная всю пылкость и неукротимость ее нрава, он решил «во избежание» послать ей в подарок драгоценности — через купца — и приготовился закончить суд в его пользу.

— Пишите, писцы! — звучно возгласил он. — Поелику установлено с полной достоверностью, что перечисленные выше драгоценные предметы принадлежат купцу Рахимбаю, сыну Кадыра, имеющему лавку в меняльном ряду...

Но тут его речь была дерзко прервана возгласом из толпы:

— Защиты и справедливости!

Стражники, свирепо ощерясь, рванулись в толпу, на дерзкий голос. Вельможа подавился собственным языком. Еще никогда и никто из простонародья не осмеливался вмешиваться в его судейские дела.

Между тем закон предусматривал и разрешал такое вмешательство со стороны; вельможа помнил об этом. Кроме того, мгновенно сообразил: может быть, кто-нибудь из придворных врагов нарочно подослал на суд своего человека, с целью вынудить нарушение закона, дабы таким путем получить повод к доносу?

Повелительным движением руки он пресек усердие стражников:

— Говори! Кто там?.. Выйди вперед!

И несказанно изумился, увидев Ходжу Насреддина:

— Гадальщик, ты! Да где же ты пропадал? Мы обшарили в городе все закоулки, разыскивая тебя!

Держась ближе к истине, он должен был бы сказать: «разыскивая твою голову», ибо именно такова была подлинная, сокровенная цель его поисков, — но об этом он, разумеется, умолчал.

Однако подал тайный знак стражникам, и те — незаметно, со спины — подступили к Ходже Насреддину, ощупывая под халатами веревки, что всегда были у них наготове.

Ходжа Насреддин все это видел, но сохранял полное спокойствие, ибо имел против коварных замыслов вельможи крепкий, надежный щит.

— Приветствую почтеннейшего Рахимбая! — Он поклонился купцу. — Да пребудет над ним и далее благоволение аллаха!

Купец промолчал, отвернулся: он не забыл своих десяти тысяч таньга, перекочевавших в карман этого плута гадальщика.

— Где ты пропадал? — повторил вельможа свой вопрос.

— Я удалялся из города по своим делам, о сиятельный князь! А теперь вернулся, и как раз вовремя, чтобы дать на этом суде весьма важные показания, направленные к торжеству справедливости.

— Ты хочешь дать показания? Какие же?

— Относительно драгоценностей, об их законном и неоспоримом владельце.

— Владелец известен, он перед нами, — указал вельможа на Рахимбая, который уже забеспокоился, зашевелился, предчувствуя какой-то новый подвох со стороны гадальщика.

— В этом и сокрыта ошибка, — ответил Ходжа Насреддин. — Мне доподлинно известно, что многопочтеннейший Рахимбай не является законным владельцем этих драгоценностей. Они принадлежат другому лицу.

— Как это — другому? — закричал, набухая кровью, меняла. — Как это — я не являюсь владельцем? А кто же является? Ты?..

— Не я, но и не ты, а некое третье лицо.

— Какое там еще третье? — завопил меняла. — И для чего допускаются на суд разные темные босяки и бродяги?

Вельможа поднял руку, призывая к тишине. Выждав, он сказал:

— Гадальщик, твои загадки здесь неуместны. Что хочешь ты сказать? Мне самому доподлинно известно, кто владелец этих драгоценностей, ибо я самолично имел случай увидеть их, — уже давно, задолго до сегодня, на одной мне известной особе...

Он поперхнулся, ибо дальше следовало имя Арзи-биби, произнести которое перед купцом он не смел, зная за собой свои грехи.

— Истинно так! — подхватил Ходжа Насреддин. — Но еще раньше, чем сиятельный князь впервые, задолго до сегодня, узрел эти драгоценности на одной известной и даже весьма известной ему особе, — еще раньше, говорю я, они принадлежали не Рахимбаю, а другому лицу, у которого были упомянутым Рахимбаем незаконно и насильственно отторгнуты в свою пользу.

— Ложь! — закричал купец. — Черная, гнусная ложь!

— Это лицо сейчас находится здесь, — продолжал Ходжа Насреддин, не смущаясь воплями купца. — Вдова, подойди к помосту, покажись властительному судье!

Из толпы вышла вдова, стала рядом с Ходжой Насреддином.

Вельможа молчал в замешательстве. Слишком все это было неожиданным: и появление гадальщика, и его показания, и вдова.

Между тем в толпе началось волнение. Требовалось немедленно его погасить.

— Гадальщик! — грозно и гневно возгласил вельможа. — В твоих словах я не усматриваю ничего, кроме злоумышленного намерения очернить клеветою купца Рахимбая. Откуда можешь ты знать истину? Где твои доказательства? Почему я должен тебе верить? Откуда взялась эта женщина?

— Ложь! — подвизгивал снизу меняла. — Это все ложь и хитрое жульничество, а также возмущение спокойствия среди простого народа!

— Поелику в словах гадальщика мы усматриваем преступное намерение, — продолжал вельможа, подав знак писцам, а затем и стражникам, которые поспешно извлекли свои веревки из-под халатов, — и поелику подобные дела подлежат...

Закончить ему не удалось.

— Где мои доказательства? Откуда я знаю? — воскликнул Ходжа Насреддин, сделав шаг вперед. — Это все открылось мне в гадании, правдивость которого уже известна сиятельному судье, как, равно, и купцу! У меня сейчас нет под руками волшебной книги, но я обойдусь без нее!

Не давая вельможе опомниться, он устрашающе задвигал бровями вверх и вниз и начал тяжело дышать, как бы вздымая на плечи великую тяжесть, — затем, натужась, исторг из себя глухой, загробный, с подвыванием голос:

— Вижу!.. Вижу сундук и вижу сидящих в этом сундуке! Что это? Не обманывает ли меня мое духовное зрение? Блистающий великолепием носитель власти — в каком жалком виде! Где его парчовый халат с медалями, где сабля? С ним в сундуке соседствует некто...

Вельможа задохнулся, побелел. Несмотря на сильную жару, по его телу прополз ледяной озноб, как бы от прикосновения стального лезвия. Призрак дворцового лекаря встал перед ним — и кровь замедлилась в его жилах. Черная бездна разверзлась у самых его ног!

Еще минута, еще два слова — и он погиб! Неотвратимо и безвозвратно! О проклятый гадальщик! Остановить его, остановить во что бы то ни стало!

Как раз, на счастье, и гадальщик прервал свое возглашение, словно бы вглядываясь в глубину постигаемого.

Вельможа понял: только эта минута спасительна, следующая несет гибель.

— Почему же ты сразу не сказал, гадальщик, что истина об этих драгоценностях открылась тебе в гадании? — воскликнул он с дружеским упреком в голосе. — Сказал бы сразу, и тогда не было бы никаких излишних разговоров! Поелику правдивость твоего гадания нам известна, проверена и установлена и не может никем опровергаться...

— У меня есть и другие доказательства, — заметил Ходжа Насреддин. — Пусть взглянет сиятельный князь на толпу, влево от себя.

Вельможа глянул и окаменел. Милостивый аллах! — из толпы смотрела на него, ухмыляясь и подмигивая единственным желтым глазом, та самая плоская страшная рожа, что предстала ему тогда, на кладбище, из-за надгробья! И не только ухмылялась, но тайком из-под халата показывала рукоять его золотой сабли!

Не сразу к вельможе вернулось дыхание; он побледнел, лицо его как бы растаяло — только усы чернели. Он не мог оторвать глаз от этой гнусной рожи.

Голос Ходжи Насреддина привел его в себя:

— Если понадобится, о сиятельный князь, то могут быть представлены и еще доказательства.

— Не надо, вполне достаточно! — отозвался вельможа, преодолев свое оцепенение. — Теперь дело прояснилось до конца, и мы переходим к приговору.

Какая-то странная притягательная сила неотступно влекла его к страшной роже в толпе, — не удержавшись, он бросил налево мгновенный косой взгляд и весь опять содрогнулся.

Ходжа Насреддин, понимая, что делается в его душе, подал вору тайный знак удалиться.

Вор исчез.

Вельможа вздохнул свободнее.

— Писцы, вычеркните все, что записали раньше касательно драгоценностей, — приказал он. — Даже лучше вырвите совсем эти листы и начните новые. Пишите: поелику установлено с полной достоверностью, на основании многих неопровержимых доказательств, что упомянутые драгоценные предметы принадлежат женщине, вдове...

— Саадат, — услужливо подсказал Ходжа Насреддин.

— Женщине, вдове по имени Саадат, — продолжал вельможа, — то, согласно закону и справедливости, должны быть ей немедленно возвращены...

Здесь послышался вопль менялы:

— Как это — ей возвращены?! Драгоценности принадлежат мне, а вовсе не какой-то вдове!

До сих пор он безмолвствовал, так как ничего не мог понять в происходящем, хотя и чувствовал что-то неладное для себя. Но когда речь зашла о драгоценностях, он возопил.

— Какой это суд? — кричал он. — Где они, эти многочисленные неопровержимые доказательства? Я не вижу ни одного!.. Это новый коварный замысел против меня! Пусть будет мне предъявлено хоть одно доказательство! Добрые люди! — Он повернулся к толпе. — Вы слышите, видите! На ваших глазах грабят честного человека! Добрые люди, будьте свидетелями!

Толпа загудела, отзываясь ему шутками, смехом, язвительными возгласами; какой-то мальчишка закричал перепелом, второй залаял, третий замяукал; на площади возник беспорядок, нетерпимый и недопустимый перед лицом начальства.

— Купец Рахимбай, умолкни! — грянул вельможа. — Ты возмущаешь народ против закона и власти!

— Не замолчу! — вопил в исступлении купец. — Драгоценности мои, я платил за них деньги!

Шум и волнение на площади возрастали. Необходимо было угомонить купца. Но к этому вельможа не видел никаких способов, ибо купец впал в такое неистовство, что уже ни увещания, ни уговоры не могли образумить его. Тогда вельможа, спасая себя, решился на крайнее средство.

Он подал знак стражнику с колотушкой.

— Я пойду во дворец, пусть великий хан самолично разберет мое дело! — кричал купец, а в это время к нему со спины подкрадывался коренастый, дюжий стражник, держа на отлете взнесенную наискось колотушку.

— Пусть великий хан удостоверится, каковы его судьи! — И это было последнее, что купец выкрикнул.

Колотушка опустилась на его голову.

Язык купца на ладонь выскочил изо рта, глаза выпучились и закатились. Он посинел, начал громко и часто

икать, валясь навзничь, — и повалился бы, но вовремя был подхвачен тем же стражником с колотушкой.

Другие стражники успели навести порядок в толпе.

Пользуясь затишьем, вельможа объявил приговор и собственноручно отдал вдове кошелек с драгоценностями.

Хотя все это происходило перед лицом купца — он уже больше не кричал и не мешал правосудию. Вряд ли он даже видел что-нибудь, так как смотрел на мир из-под полуопущенных век одними белками, а зрачки пребывали по-прежнему где-то глубоко подо лбом. Икота, перемежаемая всхрапываниями, сотрясала его жирное тело, — так и был он отправлен домой в сопровождении трех стражников: двое волокли его под руки, третий подталкивал сзади.

...И только перед калиткой своего дома, когда стражники, усадив его на дороге, спиною к забору, чтобы не падал, уже ушли, — он опомнился и долгое время ничего не мог сообразить, водя по сторонам бессмысленным, мутным, словно бы дымным взглядом. Где площадь, где этот плут гадальщик? Да уж не сон ли все это?..

Где сумка?!

Он схватился за левый бок.

Сумки не было.

Она уже покоилась на дне одного ближнего водоема, набитая песком, а деньги из нее приятно отягощали собою карманы стражников.

Купец вскочил и, стеная, пошатываясь, в съехавшей набок чалме, устремился обратно, на судейскую площадь.

Там никого уже не было — ни вельможи, ни гадальщика, ни вдовы. Судилище закончилось, толпа разошлась. Площадь, залитая горячим солнцем, расстилалась широко и пустынно перед глазами купца, словно никогда и не было здесь никакого скопища людей, словно все, что происходило здесь полчаса назад, — все это ему привиделось, померещилось и пропало.

Лениво бродили два дозорных стражника, третий сидел, раскинув ноги, в тени помоста и перематывал тряпье на своей колотушке.

— Сумка! — завопил купец. — Моя сумка с деньгами!

Ответом был громкий смех и непристойные ругательные возгласы.

— Он хочет еще! — кричал стражник с колотушкой. — Ему одного раза мало! Придержите-ка его, я сейчас!..

Из этих слов купец понял, что́ с ним произошло и почему в затылке он чувствует тупую, ломящую боль.

— Грабители! Разбойники! — возопил он и бегом помчался ко дворцу, провожаемый насмешливым гоготом и непристойной руганью стражников.

Что было с ним дальше, удалось ли ему проникнуть во дворец, принес ли он великому хану свою жалобу и чем закончилась его новая тяжба с вельможей, — все это нам неизвестно, как неизвестна и дальнейшая судьба остальных: ввергнутого в тюрьму Агабека, пылкой Арзи-биби и других. На этих строчках они уходят из нашей книги, в которой занимали место лишь в меру своего соприкосновения с Ходжой Насреддином, светясь отраженным блеском его немеркнущей славы, — он расстается с ними, отблеск слабеет, гаснет, и они все погружаются на наших глазах в непроглядную тьму небытия, в мглистые пучины забвения.

Ибо сами по себе, по своему полному духовному ничтожеству, бессильны оставить в мире какой-нибудь след.

Так, на обратном пути к дому, освобождался Ходжа Насреддин от своих многочисленных спутников, которых послала ему судьба в этом путешествии; теперь возле него оставался только вор.

Вдвоем рано утром они покинули многошумный, бурливый Коканд.

Уже пробудившийся к торгу базар далеко проводил их своим хищным ревом; навстречу со всех сторон, от всех девяти кокандских ворот тянулись вереницы арб, караваны и всадники, спеша к началу торговли, — новый день готовился повторить то же, что и вчера: кощунственное служение богу наживы, обманов и хитростей.

А за городом, в садах, еще тенистых и влажных, была тишина — такая светлая, чуть подернутая голубовато-солнечной дымкой, словно бы родившаяся от небесной, туманной голубизны. И здесь Коканд сказал Ходже Насреддину свое прощальное слово, — за низеньким ветхим забором, в маленьком саду звенели, заливались тонкие детские голоса:

Открывает южный ветер
Вишен белые цветы,
День встает, лучист и светел,
Солнце греет с высоты.

И под ясный свист синицы,
Под весенний гром и звон,
Просыпается в гробнице
Добрый старый Турахон...

Ходжа Насреддин остановил ишака, спешился и почтительно поклонился в сторону забора. Он кланялся Коканду, что вознаграждал его за добрые труды этой песенкой.

Миновали последний сад, — началась низина: рисовые поля, блестевшие под солнцем белым расплавленным блеском. Отсюда было уже недалеко до гробницы дедушки Турахона.

Ходжа Насреддин обнял вора:

— Мы расстаемся. Кланяйся от меня Турахону, проси у него сил для новой, добродетельной жизни.

Затем было длительное прощание с длинноухим. Вор поцеловал его в нос и в последний раз деревянным гребнем расчесал кисточку на хвосте.

— Когда я опять увижу вас обоих? — спрашивал он.

— Не знаю, не знаю, — отвечал Ходжа Насреддин. — Помни только: мир открыт тебе во все концы, открыт и мне. Может быть, и встретимся: в каждой разлуке всегда сокрыта новая встреча.

На том они расстались. С опущенной головою, медленно вор удалился по боковой тропинке, что вела к усыпальнице Турахона.

Ходжа Насреддин поехал дальше; впереди уже слышался гул и рокот большой дороги; еще полчаса — и она приняла его в свой мутный, кипучий поток.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Осталось — немного: о том, как вернулась Гюльджан и как встретились они с Ходжой Насреддином.

Он опередил ее на один только день. Вернувшись уже в сумерках домой, он сразу лег спать, будучи весьма утомленным в дороги. Постель он себе устроил на крыше; утром, разбуженный солнцем, глянул вниз и закричал неистовым голосом:

— Что ты делаешь, презренный лепешечник! Или ты решил стать еще инжирником?

Вопль этот направлен был к ишаку. По забывчивости Ходжа Насреддин оставил на ночь открытой калитку в сад; ишак забрался туда и произвел великое опустошение в кустах инжира, объев не только плоды, но и листья.

Воспоследовало изгнание с помощью палки; потом Ходже Насреддину пришлось долго возиться, приводя ин-

жир в порядок, чтобы следы опустошения хоть на первый взгляд не так бросались в глаза.

А впереди была еще куча дел: отнести кумган в починку, отдать долг мяснику, окопать виноградные лозы. Еще что-то... А главное, самое главное — починить забор!

К этому делу и приступил он безотлагательно: выкопал яму, замесил глину пополам с нарезанной соломой.

А больше ничего не успел сделать: из-за поворота дороги показалась арба, и его слух был сразу поражен семью звонкими голосами, над которыми властвовал восьмой, могучий, принадлежащий Гюльджан:

— Здравствуй, мой дорогой супруг! Как ты здесь жил без меня?

— Да ничего себе, — говорил Ходжа Насреддин, снимая с арбы и поочередно целуя потомство. — Скучал, ожидал со дня на день вашего возвращения.

Гюльджан, опершись на его плечо, сошла с арбы, огляделась — и увидела брешь в заборе.

— А что же забор?

Смутившийся Ходжа Насреддин потупил глаза:

— Да все как-то, знаешь, некогда было. То одно, то другое... Вот и не успел...

— Посмотрите! — вознегодовала Гюльджан. — Посмотрите на этого человека! За три месяца, за целых три месяца, он не смог сделать даже такого пустячного дела!

Заканчивая нашу вторую книгу о Ходже Насреддине, мы от всей души хотели бы удостоверить читателя в счастливом конце для всех, упомянутых нами, которые достойны такого конца, не исключая, разумеется, и мудрого старца из братства Молчащих и Постигающих дервишей.

Но истина обязывает нас к скорбному признанию: старец не дождался возвращения Ходжи Насреддина — умер, или, выражаясь его языком, перешел в иное, высшее состояние. Возможно, сам старец и не считал свой переход прискорбным, и даже наверное так, но мы, далеко еще не достигшие высот его мудрости не в силах скрыть грусти, охватывающей нас над его безымянной могилой.

Ибо он умер, как и подобало истому дервишу, никому не назвавшись, — и в этой безымянности его могила неожиданно обрела высокий всеобъемлющий смысл: здесь покоится *Человек*.

Именно так и понял эту могилу Ходжа Насреддин, который о смерти мудрого старца узнал от нищего, позаботившегося похоронить его.

Этот нищий проводил Ходжу Насреддина к могиле. Дорогой рассказал:

— Я был при нем до последней минуты. Он умирал молча, нерушимо соблюдая свой обет. И лишь перед самым концом прошептал: «Возьми деньги в изголовье и скромно похорони мое тело; все, что останется, — раздай бедным...». Он умер с таким просветленным лицом — я даже удивился.

— Оставь меня одного, — попросил Ходжа Насреддин; провожатый ушел; тогда он опустился на колени перед могилой, не имевшей сверху даже простого камня. Впрочем, жизнь сама позаботилась об украшении могилы: уже проглядывала там и здесь по холмику молодая травка, а в изголовье нашел себе приют маленький цветок — синяя капля, упавшая на могилу с неба, вместе со вчерашним дождем.

...Допоздна оставался Ходжа Насреддин на кладбище, ведя мысленную беседу с усопшим.

Кладбище погрузилось во тьму, повеяло свежестью, зажглись на темном небе звезды.

Ходжа Насреддин сказал:

— Прощай, мудрый старец, изредка я буду приходить к тебе.

И услышал благожелательный ответ, передавшийся в его разум через сердце — не словами, а теплой волной.

— Об озере не беспокойся, — продолжал Ходжа Насреддин. — Я выполнил все по своему разумению, и получилось как нужно. Я рад, если хоть чуточку помог тебе своей скромной помощью перейти на высшую ступень твоего бессмертного бытия. Но в одном я повинен: я так и не нашел своей веры. Говоря по правде, я понадеялся на твое обещание подсказать, — а ты взял, да и... того — перешел. Не дождавшись... Теперь я попытаюсь, конечно, сам найти, — не знаю, выйдет ли что-нибудь?

Величаво и торжественно, в содружестве звезд, плыла земля сквозь голубую мглу ночи, ветер шелестел в деревьях, кричали ночные птицы, благоухала трава, обильно увлажненная росой, билось сердце в груди Ходжи Насреддина — и во всем этом он вдруг ощутил с полной несомненностью свою веру и понял ее, хотя назвать еще не умел. Переполненный порывом, восторгом и беспредель-

ным счастьем любви к миру, чувствуя ответную, такую же беспредельную любовь живого мира к себе, сливаясь со всем сущим вокруг, но не растворяясь в нем и сохраняя себя, он шагнул в одно из тех драгоценных мгновений, что соприкасают человека с великим и вечным круговоротом жизни, куда смерти доступа нет и не будет!

Его вера все громче звучала в его душе и переливалась через края, но слова для нее, неповторимого и единственного, он в своем разуме не находил. А между тем чувствовал, что оно есть, и где-то близко; он напрягал все силы, дабы пламя из его души поднялось в разум и зажгло его этим великим словом; и когда, казалось ему, он уже вконец изнемог от непомерных усилий, — слово это вспыхнуло в нем, блеснуло, сверкнуло и, перелетев на уста, обожгло их незримым огнем.

— Жизнь! — воскликнул он, вздрогнув и затрепетав, не замечая слез, струившихся по лицу.

И все вокруг дрогнуло, затрепетало, отзываясь ему, — и ветер, и листья, и травы, и далекие звезды.

Странное дело: он всегда знал это простое слово, но проник во всю его бездонную глубину только сейчас, — и когда проник, это слово стало для него всеобъемлющим и бесконечным.

...С того памятного дня, когда ему на могиле старца открылось вещее слово, он начал жить уже не так, как раньше: он начал жить в ясности, не смущаемый никакими сомнениями, не угнетаемый путаницей и кажущимся хаосом мира, ибо имел ко всему верный, истинный ключ. Но рассказ об его дальнейшей жизни — это новая книга, писать которую будет уже кто-то другой, наш преемник, идущий за нами следом.

А наши труды окончены; мы прощаемся на этом с Ходжой Насреддином. Душою мы, конечно, еще не раз вернемся к нему и вступим в мысленную беседу с ним по различным поводам и случаям, что нам встретятся на жизненном пути, но пером, на бумаге, никогда уже не вернемся, ибо сказали о нем все, что знаем и что хотели сказать.

1954



ИВАН НИКУЛИН — РУССКИЙ МАТРОС

(Быль)



В ГОСПИТАЛЕ

Главный врач военно-морского госпиталя Сергей Дмитриевич Анкудинов был человеком смелым — шел на самые рискованные операции. И если такая операция удавалась, Сергей Дмитриевич прямо-таки влюблялся в своего пациента и отпускал из госпиталя со вздохами.

Когда моряка Никулина, бывшего шахтера из Донбасса, доставили в госпиталь, дежурный врач безнадежно сказал.

— Двое суток — больше не вытянет. Удивляюсь, как его довезли.

Моряк, и в самом деле, был очень плох. Весь изрешеченный пулями и осколками, он даже не стонал; лицо покрывала синеватая бледность, так хорошо знакомая врачам. Позвали Сергея Дмитриевича. И здесь, над распростертым, почти бездыханным Никулиным, начался у него с дежурным врачом спор, перешедший даже в легкую ссору.

— А я вам говорю — выживет! — горячился Сергей Дмитриевич. — Вы на грудь посмотрите, на бицепсы! Если такие у нас помирать будут, куда мы с вами годимся? На камбуз нас, картошку чистить!

— Но такая потеря крови! — говорил дежурный врач. — Пробито легкое. Он безнадежен.

— Я запрещаю вам произносить это слово. В моем госпитале врачи должны верить. Врач без фанатической веры в медицину — это, извините, не врач, а холодный сапожник!

— Я просил бы... — обиделся дежурный и, выпрямившись, застегнул верхнюю пуговицу своего халата.

— Довольно! — строго начальственно прервал его Сергей Дмитриевич, выпрямившись, в свою очередь. — Я сделал вам замечание, будьте добры соблюдать устав и не возражать. Этим раненым я займусь лично. Распорядитесь, чтобы мне приготовили стол для переливания крови.

Сергей Дмитриевич затеял крупную игру. Он рисковал многим — он ставил на карту свой авторитет, свою профессиональную репутацию. Но служба во флоте, хотя и по медицинской, нестроевой части, обогатила характер Сергея Дмитриевича чисто морскими черточками: от опасностей и трудностей не бегать, если уж рисковать, то не оглядываться.

И он выиграл! На всю жизнь запомнилась ему тревожная, трудная ночь, когда с камфарой и шприцем наготове он до рассвета сидел у койки Никулина. Моряк метался, бредил, стонал. В его могучем теле шла отчаянная борьба, временами сердце замирало, почти останавливалось, тогда на помощь приходил Сергей Дмитриевич. Укол, минута затишья — и борьба начиналась снова. Сергей Дмитриевич следил затаив дыхание — не упустить бы момент, не опоздать бы!..

На рассвете он был вознагражден за свои труды и волнения: чутким ухом он уловил первый спокойный вздох моряка.

Сергей Дмитриевич закрыл глаза и откинулся в плетеном кресле. Он очень устал, во рту было сухо, кружилась голова. Но сквозь глухую слабость и утомление все сильнее поднималась в нем из глубины сердца волна высокой, благородной радости. Уверенным упругим движением он встал, широко и сильно потянулся, заложив руки за голову. Зеркало отразило его сухое лицо, упрямый подбородок, жесткий седеющий бобрик на голове. «Молодец! — негромко сказал он, глядя в глаза своему отражению. — Можно сегодня и похвалить!»

Он подошел к окну, поднял штору. Рассветный сад пахнул в лицо ему влажной росистой прохладой. Всходило солнце, вершины деревьев горели в прозрачном и тихом пламени, края высоких облаков расплавились и озолотились. Сад просыпался, птицы возились в кустах, чирикали и щебетали, встречая солнце, а оно поднималось — огромное, доброе, горячее, несущее миру свет и жизнь.

Никулин поправлялся быстро. Сергей Дмитриевич пристально, ревниво следил за его здоровьем, осматривал через день и с каждым разом все крепче, все веселее хлопал по голой тугой спине.

— Гудит! Колокол! Вот это порода, это я понимаю!

Через полтора месяца Никулин впервые вышел в сад погулять. А еще через месяц он явился однажды утром в кабинет Сергея Дмитриевича.

— Слушаю, — сказал Сергей Дмитриевич, отложив перо. — Что случилось?

— Не могу я больше, — сказал Никулин. — Ночей не сплю. Если уж мне суждено от немецкой пули погибнуть — пусть. На это я согласен. А здесь, в госпитале, я от бессонницы помру.

— Ага-а! — протянул Сергей Дмитриевич. — Понимаю, картина ясна. Вы не бойтесь — от бессонницы не помрете. Я вам снотворные порошки выпишу, будете принимать на ночь.

— Мне порошков не нужно! — взмолился Никулин. — Вы меня из госпиталя выпишите. Я там долечусь, на фронте. А здесь нет больше моего терпения. Сердце горит!..

— Вот бедняга! — сказал Сергей Дмитриевич с насмешливым сочувствием в голосе. — И бессонница у него, и сердце больное. Придется вам по инвалидности в отставку идти, по чистой.

И вдруг, выкатив глаза, командирским тоном закончил:

— Довольно разговоров! Еще вы меня будете здесь учить, кого и когда выписывать! Сам знаю! Отправляйтесь в сад, гуляйте! Кругом — марш!

С тех пор такие разговоры между ними повторялись каждую неделю: Никулин просил, Сергей Дмитриевич неумолимо отказывал.

Никулин тосковал и томился. Ему думалось, что товарищи, прибывшие позже и еще не покинувшие своих коек, смотрят на него с немым осуждением: выздоровел, ходит, ест за троих, а о фронте даже не вспоминает... Он в душе был очень совестлив, Иван Никулин, и такие мысли были ему нестерпимы.

Всему на свете бывает конец, пришел конец и терзаниям Ивана Никулина. Настал день, когда, сняв

госпитальный халат, он надел тельняшку, старый, потертый, пробитый пулями и старательно заштопанный бушлат, черные брюки навыпуск. Отныне он не принадлежал больше врачам, санитарам, сиделкам, он принадлежал флоту, фронту.

Вот и литер и проездные деньги в кармане, получен сухой паек — можно трогаться в путь! Загудит паровоз, колеса заведут свою бесконечную скороговорку, и поезд помчит моряка Ивана Никулина на фронт, все ближе и ближе к огнедышащим полям сражений. Там и только там его место, только там сможет он успокоить свое раскаленное сердце и, заглянув в мертвые, пустые глаза очередного фашиста, сказать себе: «Правильно живешь, Иван Никулин! Не зря тратили на тебя лекарства и бинты в госпитале!».

На прощание Сергей Дмитриевич пригласил Никулина к себе в кабинет. По вощеному паркету тянулась от окна солнечная полоса, на столе в графине светилось вино, солнечные лучи, пройдя сквозь него, окрашивали скатерть в прозрачно-рубиновые тона.

— Садитесь, Никулин, — сказал Сергей Дмитриевич. — Вот и пришлось нам проститься.

Никулин сел. Он был смущен и взволнован таким вниманием. Глухо ответил:

— Да, пришлось. Ничего не поделаешь, Сергей Дмитриевич: война.

— Это верно, конечно, — отозвался Сергей Дмитриевич. — А все-таки обидно. Лечил я вас, лечил, резал, бинтовал, разными лекарствами пичкал...

— Спасибо, Сергей Дмитриевич, — сказал Никулин. — Разве я не понимаю — без вас я в земле давно бы лежал.

— Ну, такого богатыря, как вы, уложить в землю — это, знаете, долго работать надо. Ну что же, выпьем за будущую встречу.

Он придвинул к Никулину вазу с яблоками, бокал, взялся за графин — и вдруг передумал.

— Впрочем, я сфотографирую вас сначала. На память. Ничего не имеете против? Тогда садитесь вот сюда, к окну: здесь света больше.

Из шкафа с книгами он достал «лейку» и щелкал ею, снимая Никулина и в фас, и в профиль, и сверху, и снизу, до тех пор, пока не кончилась в катушке пленка.

— А теперь пожалуйте к столу!

После второго бокала Сергей Дмитриевич протянул Никулину коробку папирос «Люкс».

— Это вам на дорогу. Курите и меня вспоминайте. А когда папиросы кончатся, тоже не забывайте.

Губы Никулина дрогнули.

— Сергей Дмитриевич! — сказал он с упреком. — Что я, фриц какой-нибудь, чтобы добра не помнить? Я русский человек, я добро вовек не забуду.

Покраснев, он полез в карман и достал маленький, любовно отделанный мундштук.

— Думал я, думал, что подарить вам на память. Трубку хотел вырезать — большой я мастер трубки вырезать. А для нее самшитовый корень нужен — где его достанешь здесь? Вот я и решил пока мундштучок вам сделать, а трубка за мной. Приеду на Кавказ, достану корень и, если жив буду, привезу вам трубку после войны.

— Спасибо, — сказал Сергей Дмитриевич. — Ну что же, обнимемся напоследок.

Обнялись и крепко поцеловались.

— Счастливый путь, Никулин. Себя на фронте берегите, зря под пулю не лезьте. Зря погибнуть — какой же в этом толк?

— Точно! — подтвердил Никулин. — Ни толку, ни чести. Вы за меня, Сергей Дмитриевич, не беспокойтесь — я зря не погибну. Мне жизнь нужна, потому что я не так себе на фронт еду. У меня замысел есть. И еще скажу, Сергей Дмитриевич: живой ли буду, погибну ли, все равно вы обо мне услышите! Даю свое морское, флотское слово!

На том и расстались.

Минут через пятнадцать в кабинет вошел дежурный врач, удивился, увидев на столе в такой ранний час графин и бокалы. Сергей Дмитриевич пояснил:

— Это мы с Никулиным прощались. Проводил я его на фронт...

Вздохнул, добавил:

— На большие дела пошел парень!

ПУТЬ-ДОРОГА

Моряк в одиночку путешествовать не любит да и не умеет. Скучно ему без родных бушлатов и бескозырок — не с кем вспомнить общих знакомых из Кронштадта и

Севастополя, потолковать о кораблях, забить с лихим пристукиванием козла.

Никулин прошел свой вагон из конца в конец, но среди пассажиров не увидел ни одного моряка. Заскучал, сел у окошка.

Едва поезд на остановке замедлил ход, Никулин спрыгнул на перрон и пошел вдоль состава в тайной надежде встретить своего. И ему повезло: еще издали увидел краснофлотца.

— Здорово!

— А, дружище, здорово! Куда, откуда?

Морякам времени требуется немного: через пять минут знакомы, через десять — друзья. Раньше чем ударили два звонка, Никулин знал все о новом своем приятеле: зовут Василий, фамилия Крылов, был в госпитале, возвращается на Черное море, в морскую пехоту.

— Ну что же, Вася, — сказал Никулин, — забирай, дружище, свой мешок, и топаем в наш вагон.

На следующей станции вышли погулять и встретили еще троих — Василия Клевцова, Филиппа Харченко да Захара Фомичева. А уж если в каком-нибудь вагоне забивают козла пять моряков, то остальные обязательно соберутся в этот вагон со всего поезда. Так оно и вышло — вскоре к веселой компании присоединился Николай Жуков, потом Серебряков с Коноваловым, а дальше Никулин и счет потерял. На каждой остановке в дверь просовывалась бескозырка и раздавался вопрос:

— Наши, флотские, здесь едут?

— Здесь! — кричали в ответ. — Давай швартуйся!

Так всё швартовались да швартовались, пока не забили до отказа полвагона. Никулин весело сказал:

— Да мы теперь целую эскадру укомплектовать можем.

— Вполне! — отозвался Фомичев. — Двадцать четыре человека. Полный комплект.

— Нет! — подал голос Клевцов. — Счет неровный. Двадцать пять — вот тогда будет полный комплект. Одного не хватает.

Словно бы в ответ на замечание Клевцова, дверь открылась, и он вошел — двадцать пятый моряк.

— Эге! — сказал он, увидев множество бушлатов и бескозырок. — Не зря, значит, меня в этот вагон потянуло. Нюхом почуял своих.

С виду было ему уже пятьдесят — виски седые, в бороде и усах серебро. Соответственно своим годам он и в дорогу снарядился не как-нибудь, по-мальчишески, а солидно, запасливо, обстоятельно: в правой руке был у него чемодан, в левой — огромный чайник, за спиной — туго набитый мешок.

— Уф! — сказал он, присев на нижнюю полку рядом с Коноваловым. — Запарился... Здравствуйте, сынки!

— Привет, папаша! — ответил Никулин. И так ловко, в самую точку пришлось это слово — «папаша», что потом никто и не называл иначе старого матроса.

Папаша приоткрыл чайник, понюхал пар.

— В порядке. Я его, кипяток-то, до поезда еще заварил, — пояснил он. — Пусть, думаю, настоится, а как в вагон сяду — тогда уж пить. А ну, сынки, доставайте кружки...

Когда чай был разлит по кружкам, Папаша развязал мешок и достал сахар. Сначала он достал один кусочек, только для себя, — так диктовала ему бережливость. Но ведь кругом сидели моряки, свои!.. Папаша нерешительно посмотрел на краснофлотцев, и морская природа взяла все-таки в его душе верх над бережливостью и всеми прочими чувствами. Крякнув, он вытащил из мешка весь пакет, насыпал сахар на газету и роздал каждому по кусочку. Отставать от Папаши никому не хотелось. И вот пошли открываться чемоданчики, сумки, мешки: один достал сало, второй — колбасу, третий — сыр, четвертый — печенье.

Когда чаепитие окончилось, Никулин пустил вкруговую коробку папирос «Люкс», что подарил ему Сергей Дмитриевич. Двадцать пять человек, двадцать пять папирос — никто не остался в обиде.

...Так вот и ехали. Главенство, по общему молчаливому согласию, принадлежало Никулину. Папаша ведал продовольственной частью. Выяснилось при этом, что он великий мастер торговаться, понимает толк в любом товаре, а закупки предпочитает оптовые: если уж рыба, то все четыре противня, если яйца, то сотня, если яблоки или сливы — целиком вместе с корзиной. Харченко и Коновалову, как самым быстрым на ноги, поручены были заботы о кипятке. Нашлось дело и Васе Крылову — ему были сданы все билеты, чтобы он хранил их и скопом предъявлял контролеру.

Об этом Васе следует сказать несколько слов отдельно. Он обладал необычайным талантом мгновенно и легко

заводить знакомства с девушками. Поезд не успеет еще остановиться, а Вася уже на перроне. Через три минуты он весело болтает с местными станционными девушками, что вышли к поезду, через пять минут вытаскивает из кармана блокнот, карандаш и записывает адреса. На седьмой минуте — гудок, поезд трогается. Вася на ходу вскакивает в вагон и потом долго, до самого семафора, машет из окна бескозыркой.

Моряки смеялись. Больше всех донимал Васю озорник и насмешник Жуков. С притворным сожалением он качал головой и говорил вздыхая:

— Ах, Вася, Вася, жаль мне тебя. Не миновать тебе алиментов.

Крылов краснел и сердился.

— Дурак ты и пошляк — больше никто! Я не для этого вовсе.

— А для чего же?

— Я письма люблю получать, а родных у меня никого нет. Я вот с фронта по этим адресам напишу, а мне ответят. Понятно теперь?

Жуков не унимался.

— Эге! Да если тебе по всем этим адресам переписку иметь, контору заводить надо!

Тогда вступался Папаша:

— Ну, чего привязался! Сирота парень, не понимаешь, что ли? Только бы зубы поскалить. Не слушай, Вася, пошли ты его куда-нибудь...

И на этом разговор заканчивался, потому что по морским правилам вступать в пререкания со старшими не положено.

Своего Папашу моряки уважали. Да и как не уважать человека, который еще тридцать лет назад служил на эскадренном миноносце из дивизиона Трубецкого, ходил к анатолийским берегам, обменивался стальными приветствиями с «Меджидиэ» и «Бреслау», своими глазами видел трагедию Черноморского флота в новороссийской бухте. Папаша рассказывал, что и отец его служил во флоте, а дед — матрос гвардейского экипажа — носил георгиевский крест за оборону Севастополя.

— От него, от деда, и фамилия наша пошла — Захожевы, — говорил Папаша. — Идет это мой дед с Крымской войны, на груди у него крест, в кармане отставка по чистой, денег сто рублей наградных, а идти-то ему и некуда: сирота был. Зашел в одно село, остановился у

колодца — воды хлебнуть. Смотрит — молодка с ведрами. Хорошая такая, белая да румяная. Дед-то был не промах насчет ихнего пола. «Дай-ка, говорит, ведро напиться». Слово за слово — разговор завел. «Муж-то где?» — «Да вот на войну ушел... Нет и нет!» — «Жалко мне тебя, — говорит дед. — Трудно по хозяйству без мужика управляться, да и скучно небось». Молодка в слезы. «Не говори! По ночам изведешься вся, до света глаза не сомкнешь». А дед знает — хитрый был, — раз уж из бабы слезу вышиб, значит бери ее голыми руками. «Вот что, говорит, молодуха! Человек я бесприютный, но по хозяйству, между прочим, не хуже любого могу управиться. Деньги у меня есть наградные — коров пару взять можно да еще и коня. Бери-ка ты, молодуха, меня к себе в хату в помощники по хозяйству». А глаз у него карий, ус черный, волос русый, крест на груди сияет, ленточки вьются, — да разве ж бабе тут мыслимо устоять? Она и спрашивает: «А, часом, муж вернется?» — «Дай бог ему вернуться. Пусть возвращается, тогда я уйду. Слова не скажу, уйду». — «А он обижаться будет, побьет меня». — «Вот дура баба! Да разве севастопольский герой на севастопольского героя обижаться может?» Словом, уговорил. Стали жить. Муж так и не пришел, остался мой дед в том селе навсегда. А как соседи звали его Захожий, то и фамилия наша такая пошла — Захожевы...

У Папаши в запасе было бесчисленное количество самых разнообразных историй, морских преданий — порой забавных, порой таинственных и страшных. Рассказывал он охотно; моряки слушали внимательно, боялись проронить слово, и это льстило ему.

Моряки спрашивали:

— Так, может быть, твой дед самого Кошку видел?

— Вот так раз! — восклицал Папаша. — Конечно, видел! И Кошку видел, и Дашу, и Нахимова, и Корнилова, и Тотлебена. Всех видел! Нахимов сам к награде его представлял!

Пришел проводник, затемнил окна, зажег электричество. Папаша набил свою трубочку, раскурил ее.

— До Крымской войны еще было. Плавал дед на фрегате под парусами. Пошли однажды к турецкому берегу. Какое уж у них было задание, сказать не могу, но только пошли. Через сутки дед командиру докладает: «Ваше высокоблагородие, неладно идем. Ни одной крысы на корабле нет — все на берегу остались. Нынче нарочно

кусок сала на ночь под койку положил — целехонький». Командир строгий был, рассердился. «Глупости болтаешь! Молчи, не смей команду смущать!» Матросское дело известное — повернулся дед кругом и слова не сказал больше.

Ночью заступил на вахту. Ветерочек тихий, двух баллов нет, луна такая — глазам больно! И вдруг видит дед — идет встречным курсом парусник. Только было крикнуть хотел, доложить — да и сообразил: как же так парусник прямо встречь ветра идет? Глянул еще — ноги подкосились. Буруна нет! Корабль-то идет, а буруна нет! И близко прошел, совсем рядом, метрах, может быть, в пятидесяти. Без огней, палуба пустая, на мостике стоит какой-то человек не человек в белом балахоне... А когда опомнился дед — парусника не видно, ровно растаял. А за бортом жалобно плачет кто-то. Голос тонкий...

Морякам так и не пришлось услышать конец этой таинственной истории — поезд загудел, приближаясь к станции. Это была последняя станция — здесь пассажирское движение заканчивалось. Дальше ходили только военные эшелоны. Морякам предстояло пробираться к фронту оказиями.

Станция, погруженная в беспросветную тьму, была забита военными, возвращавшимися из госпиталей, командировок. Они атаковали каждый состав, идущий к фронту. Гудки паровозов, лязг буферов, топот ног, крики, ругань. Никулин посмотрел, послушал, покачал головой:

— Нет, друзья, так дело не пойдет. Если будем действовать вразброд, просидим на этой станции дня три. Надо командой действовать. А ну, стройся!..

Построились, рассчитались по порядку номеров.

— Вот что, — внушительно сказал Никулин. — Мы команда. Понятно? Едем из одного госпиталя. Я старший. А теперь пошли к военному коменданту требовать немедленной отправки.

Хитрость удалась. Увидев двадцать пять молодцов в морской форме, комендант спорить не стал.

— Этих отправить немедленно! — сказал он помощнику.

К отправке на юг готовился грузовой эшелон, в котором было два полупустых вагона. Моряки заняли один из них.

Помощник коменданта сказал:

— В этот эшелон мы вообще никого не сажаем. Военный груз. А поскольку вы команда, сделали исключение.

Заодно будете охранять эшелон в пути. Вот только вы без оружия.

— Не беда! — весело ответил Никулин. — Мы и голыми руками в случае чего.

Мог ли он думать, что слова его окажутся пророческими!..

НА ФРОНТ! НА ФРОНТ!

Славно пахнет по ночам кубанская степь! Никулин и Захар Фомичев сидели, свесив ноги, в открытых дверях теплушки, вдыхая этот грустный, тонкий запах полыни и увядающих трав. Остальные моряки давно уже улеглись спать.

— И вот получаю в госпитале письмо, — глухим, грудным голосом рассказывал Фомичев. — Конверт как конверт, самый обыкновенный, а у меня сердце падает. Боюсь открыть. Чую — плохое письмо.

— Это бывает, — согласился Никулин. — Вроде как слезой оно пахнет.

— Не слезой, а кровью, — строго поправил Фомичев. — Если бы только слезой, то я бы стерпел. А то — кровью...

Он замолчал, прислушиваясь к шуму колес. Над степью в темно-прозрачной высоте сияли осенние звезды, порой они застилались дымом от паровоза.

— Кровью! — твердо, с напором повторил Фомичев. — Жена писала в этом письме, что Колю да Ксюшу, ребятишек моих, убили фашисты, а самое искалечили. Навек нечеловеком сделали. Вот что в нем было, в этом письме...

Помолчали еще. Мелькнул какой-то разъезд, а может быть, путевая казарма — не разберешь в темноте. Коротко и гулко прогудел под составом железный мост, и опять говор колес стал монотонно-ровным.

— Как же теперь жить думаешь? — спросил Никулин.

— Не знаю, — ответил Фомичев. — Сердце пекет — нет терпения. И днем пекет и ночью. Я вот парень здоровый, одной рукой два пуда кидаю, а, между прочим, смирнее меня парня не было. Чистый телок... Бывало, какой пьяный начнет задираться, я не связываюсь, скорей в сторонку, хотя этого пьяного одним пальцем пришибить могу. «Ну его, — думаю, — к бесу, подальше от греха...» А как письмо получил — сам себя не узнаю. Сделался я ужасно свирепый, ну чисто зверь. В России

сейчас дюже много людей таких, у которых сердце пекет...

— Это верно, — задумчиво сказал Никулин. — Теперь таких людей много...

Откинувшись в глубь вагона и загораживаясь от ветра плечом, он закурил. Ветер срывал искры с горящей папиросы, мгновенно гасил их.

— Теперь у меня одна думка, — снова начал Фомичев. — У меня думка фронтовая: подраться с ними, с фашистами. Ох, уж и подерусь! Что мне, пулемет ихний страшен? Или танк? Да я теперь один пойду на целый бронепоезд. И жив останусь! Я теперь военную хитрость понимать научился. Вот удивительное дело — до этого самого письма не было во мне никакой военной хитрости. Лежал в нашем госпитале один лейтенант пехотный, хороший человек. Бывало, скажет: «Фомичев, вот тебе тактическая задача: фланги такие-то, огневые точки там-то, здесь мельница, здесь, к примеру, овраг. У противника рота, у тебя два взвода, ты наступаешь. Что надо делать, с чего начинать?». А я лупаю глазами и ничего сообразить не могу. А вот после письма я об одном только думать стал — как бы фрицев бить половчее, поспособнее. Лежу и думаю: «Буду на фронте. Пойдут, скажем, на меня три танка, а сбоку ихний пулемет работает. А справа — ложбинка...». Закрою глаза, и так это все мне ясно привидится, ну как на самом деле! И сразу соображение является, что и как делать. Сколько я таким манером передумал — сосчитать невозможно. Лежу, а сам и с танками воюю, и с мотоциклистами, и с кавалерией. Встретились мы как-то в саду с лейтенантом. Он опять задачу мне: «Решай, говорит, Фомичев!». Я ему враз все решил и все обсказал, он даже удивился. «Это, говорит, хоть и не совсем по военной науке, зато очень здорово. Этак, говорит, ты бы, Фомичев, обязательно добился победы». С тех пор какую задачу даст, я по-своему враз решу. Очень он был довольный, лейтенант этот. «Тебе, говорит, Фомичев, надо на командные курсы, у тебя, говорит, от природы дюже замечательная военная хитрость». Он думал, что от природы, а того не знал, что меня военной хитрости фашисты обучили, когда Колю и Ксюшу в землю закопали да жену искалечили. Вот она в чем, наука моя! Теперь на фронт с такой думкой еду — сто фашистов положить. Сотню положу, тогда и погибать можно, а раньше мне погибать нельзя. Мой счет — сотня!

Никулин одобрил:

— Думка очень правильная. Сотня — это хорошо...

— А твоя какая думка? — спросил Фомичев.

— Моя? — усмехнулся Никулин. — Моя думка такая: что ни больше их положить, то лучше. Моя думка, чтобы они на весь век свой закаялись к нам в Россию ходить да и детям бы своим и внукам заказали. А погибать я не собираюсь, мне после войны учиться надо. На военного инженера пойду учиться.

Фомичев, в свою очередь, одобрил думку Никулина, посидел еще немного, а потом улегся в глубине вагона рядом с Папашей на свежем сене.

Никулин остался один. Он сидел на ветру, смотрел в небо, где горели осенние звезды и слабо белел Млечный Путь. Мысли его были ясны, широки и просторны. Думал он о себе, о Фомичеве, о России. Ведь Россия, родная страна, — это не просто земля между Тихим океаном и Черным морем, это миллионы жизней в прошлом, миллионы жизней сейчас и миллионы жизней в будущем. Были предки, и будут потомки, а он, Иван Никулин, лишь среднее связующее звено между ними. Жизнь — река, никогда и нигде не обрывающая своего течения. Эта простая мысль взволновала Никулина, потому что в глубине своей таила еще одну мысль — о личном его бессмертии. Он принял жизнь от своего отца и передает своему сыну, — значит, обрыва нет!.. Ему стало хорошо, тепло и светло на душе. «Так и есть! — прошептал Никулин. — Где же он, обрыв? Нет его!» Потом мысли Никулина перешли на врагов, и он усмехнулся презрительно. «Хотят погубить Россию!.. Да как же ты ее погубишь, если и одного-то отдельного человека начисто убрать с земли нельзя — все равно останется в детях!»

За спиной Никулина в темной пахучей глубине вагона с заливом, с присвистом храпели моряки, а кто-то один все ворочался, тяжко вздыхая.

— Фомичев! — негромко позвал Никулин. — Или блохи заели?

— Не спится, — отозвался Фомичев.

— Все хитрости военные придумываешь, — засмеялся Никулин. — Давай спи, рассвет скоро.

— А ты сам?

— Я командир, — пошутил Никулин. — Мое дело известное — вахту держать до утра.

...Светало медленно, рассвет пришел туманный, сырой. Никулин почувствовал влагу на воротнике своего бушлата. Очертания близких кустов и деревьев расплывались, а дальше над всей землей стоял зыбкий белесый туман — совсем как в море. Но в сиреневом небе все шире расходился светлый сноп, и вдруг, пробив туман, прямо в глаза Никулину ударил слепящий густой сильный луч. Солнце взошло. Никулин даже рассмеялся: «Здравствуй, дорогое, наконец-то!».

Почуяв утро, просыпались остальные моряки; потягиваясь, зевая, подходили к открытой двери вагона. Мелькнула путевая будка; на переезде стояла молоденькая девушка с желтым флажком в руке. Моряки закричали, замахали бескозырками, она, смеясь, отвечала флажком. А потом, когда будка и девушка исчезли за поворотом, Жуков, щуря цыганские озорные глаза, долго потешался над Крыловым:

— Что же ты, Вася, зевнул, адреса не записал? Эх, не догадался ты, Вася, поезд остановить.

Последним поднялся Папаша. Как человек в летах, солидный и деловитый, он пренебрежительно относился и к девушкам и ко всяким иным красотам природы, считая все это пустяками, бесполезными для человека.

— Чайку бы сейчас горячего, — сказал он мечтательно. — Давайте развязывайте мешки, завтракать пора.

Но что-то случилось — поезд, завизжав тормозами, сбавил ход, остановился. Никулин, высунувшись из вагона, спросил бегущего мимо кондуктора:

— В чем дело?

— Путь, говорят, разобран.

Вдруг Никулин резким движением рванул вагонную дверь и захлопнул ее, оставив только узенькую щелочку. Когда он повернулся к товарищам, они по лицу его сразу поняли все без слов.

— Фашисты? — спросил Папаша.

Ответила ему очередь автомата. Да, это были фашисты. В дверную щель Никулин видел, как бегут они из перелеска, нестройно крича и стреляя.

ПЕРВЫЙ БОЙ

Несколько секунд было оцепенение. А передние, самые ретивые немцы уже подбегали к паровозу. Никулин мгновенным взглядом окинул бледные лица товарищей

и понял, что, если оцепенение продлится еще хоть полминуты, погибнут все до единого.

Немцы шумно суетились около поезда.

— Ложись! — скомандовал морякам Никулин. — Ни звука! Как только откроется дверь, прыгай гадам на головы, души! Кто захватит оружие, выдвигайся вперед и бей по другим!

Легли и замерли. Шум близился, уже ясно различимы были отдельные чужие слова. Фомичев вдруг встал.

— Ты что? — зашипел Никулин.

— Хитрость! — горячим шепотом ответил Фомичев. — Хитрость придумал. Их надо в вагон заманить, здесь мы их лучше возьмем!

И он быстро, ловко начал закидывать моряков сеном.

Он успел как раз вовремя. Немецкая речь послышалась совсем рядом, дверь откатилась.

— Рус, сдавайсь! — произнес чужой ненавистный голос. — Ходи сюда!

Ни звука в ответ, ни шороха. Кряхтя, немцы полезли в теплушку — сперва двое, за ними еще двое. Остальные ждали у открытой двери на полотне.

Никулин прямо перед собой увидел толстые ноги немца в обмотках и грубых ботинках с порыжевшими грязными задниками. Резким движением он дернул немца за ноги к себе. Немец коротко вскрикнул, рухнул лицом вниз, в то же мгновение автомат его очутился в руках у Крылова. Вскочил Фомичев и сплеча хватил ближайшего немца кулаком в висок — у немца изо рта, из носа хлынула кровь, он повалился. Жуков и Серебряков сгребли третьего немца, а четвертым занялся в углу Папаша: прижав немца к стенке, он левой рукой вырывал у него автомат, а правой часто и быстро бил ножом. Все это произошло в одну секунду, а в следующую — по немцам, что толпились у вагона, застрекотали, залились их же, немецкие, автоматы, попавшие в руки моряков. Немцы шарахнулись, а из вагона, свистя, гикая, гогоча, уже сыпались, прыгали наши! Немцы оторопели, увидев перед собою русских матросов, которых уже давно они называли черными дьяволами, полосатой смертью. Матросы кидались к убитым, хватали оружие. Вот уже полетели в немцев их же, немецкие гранаты! Гитлеровцы побежали к перелеску, моряки — за ними, но из кустов навстречу загремел станковый пулемет. И захлебнулась бы лихая атака,

но Василий Крылов, задержавшийся у поезда, увидел десяток немцев, втаскивающих пулемет в открытый железный пульман, чтобы с его бортов ударить морякам в спину. С гранатой в руке Крылов бросился к пульману. Взрыв! Над пульманом встало облако сизого дыма. Когда оно рассеялось, Крылов уже стоял перед пулеметчиками с двумя парабеллумами в руках. Трое были убиты, уцелевшие подняли руки.

— Жуков! Фомичев! Сюда, ко мне!

Трое моряков быстро установили пулемет на борту открытого вагона. Огонь был смертельно точен. Стрельба из перелеска прекратилась. Наши снова поднялись в атаку.

Бой длился всего полчаса — беспримерный бой двадцати пяти моряков против большого вражеского отряда, вооруженного до зубов. Шестьдесят восемь фашистов лежали, успокоенные навек, двенадцать сдались в плен, остальные разбежались.

Моряки в этом бою потерь не имели, вот разве только Фомичев вывихнул большой палец на руке, когда хватил сплеча в висок фашиста.

В ОВРАГЕ

Назвался груздем — полезай в кузов: принял во время боя командование — оставайся командиром и после боя.

К Никулину подошли главный кондуктор и машинист — хмурый старик с прокуренными сивыми усами; под его замасленной блузой виднелась на перевязи голая рука, перебинтованная выше локтя.

— Товарищ командир, — сказал главный, косясь на пленных. — Что с эшелоном делать будем? Назад, что ли, подавать?

— Зачем же назад? — удивился Никулин. — Фронт снарядов ждет, патронов, а вы — назад! Курс проложен, по курсу и следовать.

— Путь разобран.

— Будет собран. Сколько у вас людей в поездной бригаде?

— Мало, не управимся.

— Своих подкину. Колхозники помогут из села.

— Дельно! — сказал машинист. — А и орлы же у тебя, товарищ командир! Помирать буду — вспомню!

Никулин, польщенный этой похвалой, не удержался от улыбки.

Главный отправился в село — собирать колхозников на ремонт пути.

Никулин подозвал Папашу.

— Возьмите двух краснофлотцев, обыщите убитых. Документы, письма и прочие там бумаги доставите мне. Соберите оружие, патроны, инструмент.

Нарочно, чтобы блеснуть перед стариком машинистом, он, отдавая приказание, обращался к Папаше по уставу — на вы. Папаша понял это, встал «смирно», вытянул руки по швам.

— Есть взять двух краснофлотцев, обыскать всех убитых. Документы, письма и прочие бумаги доставить вам. Собрать все оружие, патроны, инструмент!

— Выполняйте!

Папаша со щегольством старого служаки повернулся, щелкнув каблуками.

Никулин тайком взглянул на машиниста, любуясь произведенным эффектом. Старик был растроган, хмурился, кряхтел, крутил головой.

— До чего же это хорошо, когда люди такую смелость в себе имеют и службу знают! — сказал он. — Я ведь понимаю, сам в первую германскую воевал, всю науку и дисциплину превзошел. Унтер-офицером я был гренадерского двенадцатого полка.

Он отправился к своему паровозу. Никулин подумал, глядя вслед ему: «Большое это дело — дисциплина! Люди-то вон, оказывается, все замечают...».

Отправив часть моряков на ремонт пути, Никулин вместе с Крыловым занялся допросом пленных. Крылов учился во второй ступени, сдавал немецкий язык и кое-что помнил. На счастье, и среди немцев нашелся один, с грехом пополам говоривший по-русски.

Подошел Захар Фомичев, посерел, взглянув на немца.

— Эх, разговаривать еще с ними!.. В расход их!

— Почему ты здесь? — строго обрезал Никулин. — Приказа не слышал — путь исправлять?

— Сейчас пойду. А сотню свою я все-таки разменял сегодня! Девяносто семь осталось...

И ушел — большой, нескладный, грузный, похожий на медведя.

Результат допроса коренным образом изменил планы Никулина. Выяснилось, что напавший на поезд немецкий

отряд — это воздушный десант, высаженный немцами с целью обрыва наших коммуникаций. Пленный сказал, что в овраге, близ места высадки десанта, спрятаны парашюты, пулеметы, радиостанции. Остатки десанта, рассеявшиеся по округе, могли использовать это снаряжение.

К полудню путь был исправлен. Главный пригласил моряков садиться в вагон.

— Нет, — сказал Никулин. — Мы задержимся немного. Поезжайте. Счастливый путь!

Он передал машинисту краткое донесение с просьбой передать военному коменданту ближайшей станции. Прощались сердечно. Машинист перецеловался со всеми моряками, даже прослезился...

Лес встретил моряков светлой, прозрачной тишиной. Свежо и крепко пахло увядающим летом, сыростью, недавно прошли дожди, и мшистая земля неслышно принимала шаги. Дубы стояли еще зеленые, клены только начинали краснеть, а липы были уже насквозь золотыми и щедро осыпали свою листву. По-осеннему пересвистывались синицы, по-осеннему стучал дятел; на поляне в косых солнечных лучах горела оранжевым пламенем рябина, вокруг суетились, кричали дрозды, склевывая горькие ягоды.

К оврагу пришлось пробираться сквозь густые заросли боярышника, бересклета, шиповника и орешника. На самом дне под наваленными ветками моряки нашли парашюты, ящики с боеприпасами, пулеметы, гранаты, ракеты, две походные радиостанции, мешок с посадочными знаками...

Никулин задумался, поджал губы.

— Сто шесть парашютов, — сказал он. — Ты слышишь, Фомичев? Восемь пулеметов. Фомичев, слышишь?

— Слышу.

— Ну и какое же твое мнение?

— Мнение простое. Значит, было их сто шесть человек. Шестьдесят восемь мы положили, двенадцать взяли в плен, двадцать шесть осталось недобитых. Вот и все.

— Да я тебя не об этом спрашиваю! — рассердился Никулин. — Подумаешь, профессор нашелся, а то бы я сам без тебя не мог сосчитать. Я тебя о пулеметах спрашиваю!

— А что в них, в пулеметах?

— Эх, ты! Здесь сколько пулеметов? Восемь. Да там, на станции, было у них четыре. Двенадцать, стало быть. Многовато будет на сто человек. А?

— Многовато, — согласился Фомичев. — Ты, что же, думаешь, их больше было? Тогда где же остальные парашюты?

— Елова голова! — сказал Никулин. — Было-то их сто шесть, а будет больше. Я так полагаю, что фрицы думают еще группу высадить, а может быть, и не одну. Посадочные знаки-то для чего у них? Сообразил теперь?

Глаза у Фомичева загорелись.

— Вот бы прихватить!

— И прихватим!

Здесь же, на дне оврага, Никулин собрав отряд, обрисовал морякам обстановку.

— Видите, дорогие товарищи, какое получается дело! Возможно, нам предстоят тяжелые бои. Так уж давайте сорганизуем наш отряд как следует. Командир отряда — это я. Нужен еще комиссар. А ну, поднимите руки, у кого имеется партийный билет?

Руку поднял только один Клевцов.

— Дело, значит, ясное. Тебе, Клевцов, и быть комиссаром, — сказал Никулин. — А начальником штаба назначаю Фомичева Захара.

Фомичев испугался.

— Да ты что, товарищ командир! Какой я тебе начальник штаба? Я и близко никогда к штабу не подходил. Я краснофлотец рядовой.

— А я кто? — ответил Никулин. — А Клевцов кто? Ничего, брат, не поделаешь — война. Понадобится — так не то что начальником штаба, инженером тебя назначу, и будешь работать. Прошу не возражать, товарищ Фомичев, приступайте к выполнению обязанностей.

Казначеем и начальником всей интендантской части Никулин назначил Папашу. Фомичев тут же вручил ему найденную в овраге кожаную сумку, туго набитую советскими деньгами.

Папаша, явно польщенный оказанным ему доверием, все же поворчал для приличия.

— Страсть не люблю с казенными деньгами возиться — один грех с ними. Сколько тут?

— А бес их знает, — отозвался Фомичев. — Посчитай, потом доложишь.

— Э-э-э, нет! — сказал Папаша. — Обожди! Такого правила я никогда не встречал, чтобы казначей деньги принимал без счета. Если уж по-настоящему, то надо комиссию: я, ты и еще два члена. А потом акт надо составить, — добавил он, желая блеснуть перед моряками знанием финансовых порядков. — Один, значит, сдал — подпись, второй принял — опять же подпись, а внизу чтобы члены расписались.

— Ну вот! — нетерпеливо вмешался Никулин. — Тебе еще несгораемый шкаф сюда, пишущую машинку да пару счетоводов!

Насмешник Жуков сокрушенно покачал головой.

— До чего же быстро эта самая бюрократия в людях заводится. Вот человек был как человек, а стал начальником — сейчас ему комиссию подавай, акты, ведомости разные, отчеты! Пропали вы, Папаша! — Жуков под общий смех махнул рукой. — Не быть вам больше матросом...

— Будет скалиться-то! — огрызнулся Папаша. — Ты, может, казенных денег и в руках никогда не держал, а я в колхоз из банка по двадцать тысяч возил!

Обидевшись, Папаша надулся, отошел с Фомичевым в сторону и сел считать деньги. Он считал нудно, медлительно, проверяя каждую пачку. Фомичев томился, зевал, тоскливо смотрел по сторонам, но терпел: такая должность, ничего не попишешь.

Никулин тем временем советовался со своим комиссаром. Решили, что Клевцов останется пока в овраге, на случай, если уцелевшие фрицы явятся за своими пулеметами, а Никулин с тремя бойцами пройдет на опушку, где выброшен был десант: посмотрит, как там и что.

— Коновалов, Крылов, Харченко! — позвал Никулин. — Автоматы в порядке? Гранаты взяли? Пошли!

В каких-нибудь трехстах-четырехстах метрах от оврага лес начал сквозить, кустарник поредел, тропинка обозначилась яснее. А еще через сотню метров моряки вышли на веселую, приветливую опушку. Дальше расстилалась холмистая степь — просторная, широкая, в алых лучах низкого солнца. Вправо, на оголенных полях, стояли копны хлеба.

— Не высовывайтесь, — предупредил Никулин. — Возможно, фрицы наблюдают. Смотрите зорче.

Но сколько ни смотрели моряки, ничего не увидели. Горбились пологие холмы, желтоватые вблизи и дымносизые на горизонте, мирно зеленел одинокий дубок, выбе-

жавший из леса в степь, плыли по небу синеватые облака, унося куда-то в иные края свою влагу. Протянули, курлыча, журавли. Никулин долго смотрел им вслед, пока станица их не растаяла в небе.

— Тише! Самолет, — сказал Харченко. Он приподнялся на локте, глаза его остановились.

— Да нет, почудилось тебе, — возразил Никулин вслушиваясь.

— Я на корабле первым слухачом был, — ответил Харченко. — Я в таких делах не ошибаюсь. Идет сюда. Идет с норда.

И верно — Никулин да и остальные тоже вскоре уловили слабый, отдаленный рокот мотора. А Харченко, весь подобравшись, спружинившись, как хороший пойнтер на стойке, слушал, казалось, не только ушами, но всем телом.

— Немец! — сказал он твердо и уверенно. — Разведчик. «Хеншель». Справа от нас, на малой высоте.

Воющий рокот близился, нарастал. Через минуту моряки увидели немца. Вспыхнув крыльями на крутом вираже, он направился прямо к лесу. Харченко не ошибся — это был действительно «хеншель».

Разведчик сделал широкий круг над опушкой, затем над лесом. Вторично он появился над опушкой совсем низко — ясно были видны кресты на его крыльях, свастика на хвосте.

Никулина обожгло догадкой.

— Посадочные знаки! Живо! — скомандовал он. — В две минуты!

Крылов и Коновалов помчались к оврагу прямиком, с треском ломая кусты, с разбегу пробивая заросли. Голос Никулина вернул их:

— Назад! Не надо!

Оказалось, что Фомичев уже сообразил сам, без подсказки, и, захватив мешок с посадочными знаками, прибежал на опушку. А разведчик опять ушел далеко за лес, и рокот его мотора затих. Пока бойцы расстилали по траве посадочные знаки, Никулин не мог найти себе места: а вдруг совсем улетел, не вернется, не увидит? Но вот снова начал нарастать гул мотора, и вскоре по земле опять скользнула темная быстрая тень — разведчик вернулся.

Он покачал плоскостями в знак того, что понял выложенные сигналы, и ушел на запад, прямо на солнце.

— Что ты думаешь по этому поводу? — спросил Никулин у своего начальника штаба.

— Думаю, полетел за своими.

— Точно! — подтвердил Никулин. — Объявляю аврал! Все немецкое снаряжение доставить из оврага сюда! Парашюты пусть остаются пока на месте.

Через пятнадцать минут приказание было выполнено.

Никулин подозвал к себе комиссара и начальника штаба.

Может по-всякому случиться, — сказал он. — Могут выбросить десант на парашютах, а могут транспортные самолеты пригнать. Если на парашютах — начинайте бить в воздухе. Если самолеты — не стрелять, пока не приземлятся. Отряд разбивается на четыре группы: первой командую я, второй — Клевцов, третьей — Фомичев, четвертой — Жуков. В каждой группе по два пулемета. Всю эту площадь вокруг посадочных знаков берем в кольцо. Пулеметы проверить заранее!

Быстрым шагом, почти бегом, он обследовал поле, указал каждому командиру его позицию. Для себя он выбрал позицию в копнах.

Опробовали пулеметы. Сухая дробь коротких очередей гулко отдавалась в лесу. Встревоженный стрельбой, с дальнего бугра тяжело поднялся большой коршун и на распластанных крыльях медлительно поплыл в закатных лучах — совсем низко, почти задевая за жесткий сухой бурьян. Солнце опускалось, широкий степной закат слепил. Степь местами нежно и прозрачно алела, местами густо синела — там, где легли длинные тени холмов.

— Ничего не слышишь? — спросил Никулин у Харченко.

— Пока нет.

Крылов сидел поодаль и старательно мастерил из двух носовых платков и двух палочек сигнальные флажки. Закончив работу, он встал и попробовал свое изделие. «Вася, Вася, Вася», — трижды написал он и остался доволен: флажки получились на славу, жаль только, что белые.

Жуков, дожидавшийся здесь своих бойцов, которые нагружались в лесу гранатами и пулеметными лентами, прищурился, усмехнулся.

— Вот, Вася, жаль, что девушки семафора не знают. А то и бумагу не надо бы тратить. Пиши себе да пиши

флажками: «Дорогая Люба! Вы мне очень нравитесь. Скажите, где мы с вами можем встретиться...».

— Довольно! — рявкнул Никулин. — Нашел время для шуток! Ты почему здесь? Где твое место? Почему ты не на своей позиции?

Жукова точно ветром сдуло, и больше он к Никулину не подходил.

Тускнели, меркли в степи алые отблески, от копен гуще, теплее шел сытный и пыльный запах зрелого хлеба, свежей соломы, закат угасал, его пламенное золото блекло, но еще прозрачен, ясен был воздух, еще светились слабым сиянием гребни холмов, еще купались в последних лучах высокие облака с оплавленными краями.

— Тише! — сказал Харченко.

Все замерли, впились глазами в небо, но в нем ничего, кроме тишины и облаков, не было.

Харченко затаив дыхание вслушивался.

— Идут!

Никулин шепнул Крылову:

— Передавай: слышим самолеты.

Крылов передал. Клевцов, Фомичев и Жуков приняли сигналы.

Слабый рокот в отдалении был едва уловим, а Харченко с горящими от возбуждения глазами уже докладывал командиру:

— Транспорты. «Ю-52». Идут с веста.

«Идут с веста», — флажками передал Крылов.

...Огромные тяжелые «юнкерсы» с гулом и ревом кружили над степью, прицеливаясь для посадки. Моряки залегли у пулеметов и ждали.

Вот первый самолет коснулся земли и, мерцая пропеллерами, подбрасывая хвост, покатил прямо на копны. Раньше чем погас его разбег, сели второй и третий «юнкерсы». В то же мгновение со всех четырех позиций, из восьми пулеметных стволов хлестко ударил по «юнкерсам» огневой ливень. Пули запели, заныли, застучали, прошивая фюзеляжи, плоскости, бензобаки, моторы. Один из «юнкерсов», еще не успевший остановиться, начал было набирать скорость, намереваясь взлететь, но в мотор ему, в самое сердце, вонзилась длинная очередь — и взмыл над «юнкерсом» хищный язык желтовато-красного пламени.

Так начался этот бой.

Пулеметы и автоматы группы Никулина били в упор

по самолету, остановившемуся у копен, зажгли моторы и плоскости. Самолет горел. Озаренные племенем, выскакивали из него автоматчики и тут же падали, скошенные огнем.

Но одного не предвидели моряки — что, кроме автоматчиков, «юнкерсы» доставили по воздуху еще и легкие танки.

Низкий, плоский, широкий танк, рыча гусеницами, выполз из-под самолета и, набирая скорость, поливая копны шквальным огнем, двинулся прямо на позицию Никулина. И промедли Никулин, поддайся растерянности, нерешительности, колебаниям — всем был бы конец! Но с той минуты, как назвал он себя командиром, и мысли, и чувства, и воля в нем обострились, напряглись до предела: он находил решения и выходы мгновенно, словно кто-то подсказывал со стороны.

— Если меня убьют, примешь командование над группой, — сказал он Крылову.

Быстрым, но спокойным движением он взял две связки гранат и легко, не принуждая себя и ничего не преодолевая в себе, выбежал навстречу танку. Пули смертельно заныли и зашелестели вокруг, но даже подобия страха не шевельнулось в его душе, даже слабой тревоги за себя не почувствовал он — такая легкость была у него на сердце, что он, может быть, даже засмеялся бы, если бы только в этих спрессованных секундах нашлась одна свободная — для смеха.

Размахнувшись, он метнул связку и упал ничком, чтобы не задело осколками. Связка была еще в воздухе, а Никулин, опережая мыслью ее полет, уже знал, что не промахнулся, что сейчас вместе со взрывом лопнет, разорвется гусеница, танк закрутится, разбрасывая землю, и остановится... Тогда вторую связку — по башне!

Так и случилось: гусеница вместе со взрывом лопнула, распалась, танк, разбрасывая землю, закрутился на месте; вторая связка пришлась точно по башне, и огонь танка прекратился.

Веселый, возбужденный, с горящими щеками, словно хватив добрую чарку спирта, Никулин вернулся в копны.

— Вот и все! — сказал он Крылову, который, приподнявшись от пулемета, смотрел на него восхищенными, сияющими глазами. — Чего там долго балакать с ними!.. Раз-два — и в ящик! Однако ты, Крылов, держи их на

мушке. Врут, подлецы, вылезут, долго не высидят в своей керосинке.

По копнам стреляли уцелевшие одиночные автоматчики, но их огонь был слаб, редок, неточен. Крылов, желая отличиться перед командиром, быстро погасил два автомата. Огонь немцев стал еще реже. Словом, бой на участке Никулина можно было считать выигранным начисто.

Между тем на участке Фомичева и Жукова творилось что-то непонятное — полное затишье, в то время как на участке Клевцова дело разгоралось все жарче и жарче. Там стучали автоматы, пулеметы, беспрерывно дрожало бледно-судорожное пламя вспышек. А сумрак сгущался, к тому же опустился туман, застилая видимость.

— Надо, пожалуй, туда сходить, — сказал Никулин. — Поглядеть, что у них там... Крылов, группу оставляю на тебя. Самое главное — следи за танком.

Перебежками, а кое-где по-пластунски он направился к позиции Клевцова. Он торопился, чувствуя по накалу боя, что дело там осложняется. Когда он был почти у цели и уже различал во мраке смутный силуэт вражеского самолета, грохнул вдруг оглушительный взрыв, к небу поднялся сноп огня, и все затихло. Прозвучала короткая очередь — последняя.

...А еще через десяток минут Никулин пришел на позицию Фомичева. Там встретил он и Жукова.

— Ну, что у вас? В чем дело?..

— Да что! — выругавшись, ответил злым, раздраженным голосом Фомичев. — Не приняли, сволочи, боя — скорее лапки кверху. Вон они стоят — в полном комплекте, с летчиком и бортмехаником. А вот и оружие ихнее.

Он указал на сваленные в кучу пулеметы, автоматы, гранаты, ножи. В стороне темнела группа пленных. Тлели огоньки папирос.

— Курят еще, гады! — Фомичев скрипнул зубами. — Отобрать, что ли, папиросы у них?

— Оставь, не надо!

— Самолет в исправности, — докладывал Фомичев. — Танк тоже в исправности, даже не отцеплялся. Без выстрела сдались. А как там у Клевцова дела?

— Клевцов убит, — ответил Никулин. — Коновалов и Серебряков убиты.

Клевцов открыл огонь в тот момент, когда второй «юнкерс» только что коснулся земли своими колесами. Пули перебили шасси, «юнкерс» скапотировал, погнув правую плоскость и высоко задрав левую. Удар был так силен, что летчиков, как это потом выяснилось, убило на месте, а танк, подвешенный к фюзеляжу, вышел из строя.

Но автоматчики в кабине уцелели. Несколько немцев выпрыгнули и залегли, прикрывая огнем высадку остальных. Комиссар приказал Коновалову и Серебрякову взорвать самолет вместе с фашистами.

Не доползли моряки. Огонь многих автоматов сосредоточился на них. Сперва ткнулся в землю пробитой головой Коновалов, шагах в пяти от него полег и Серебряков. Комиссар видел все это из своего укрытия.

— Эх, гады! — сказал он, стиснув зубы. — Погубили ребят. Гранаты мне!

По-пластунски, переметнувшись через бугорок, комиссар пополз к самолету. Навстречу ему зашипел, завизжал свинцовый град. Слетела, сбитая пулей, бескозырка, срезало как ножом полевую сумку. Две пули прожгли плечо комиссара, две застряли в ногах. Превозмогая боль и смертную слабость, комиссар упрямо полз вперед и вперед. Еще одна пуля — в бок, смертельная. Комиссар встал на колени и метнул гранаты под «юнкерс», которого уже почти не видел.

После взрыва огонь немецких автоматчиков прекратился. Моряки бросились к своему комиссару. Он был мертв.

...Хоронили моряков на сельском погосте. Отсюда, с голого бугра, было видно далеко в степь, до самого края. День выдался ясный, холодный, порывистый ветер дышал севером. Гнулись редкие лозины, роняли мертвую листву, ветер гнал и крутил ее по земле.

Могилу для товарищей моряки приготовили глубокую, просторную. Колхозные плотники сделали гробы. Папаша достал где-то красные полотнища и обил крышки. Он же приготовил надгробие — большой плитчатый камень с высеченной зубилом надписью. На похоронах было много колхозников. Местный учитель привел свою школу.

Краткой была речь командира:

— Мы хороним товарищей, которые вместе с нами начинали бой. Мы в этом бою победили, хотя враг не-

сравненно превосходил нас численностью и оружием. У нас были только одни кулаки, у него и автоматы, и пулеметы, и гранаты, и танки, и самолеты. А победили мы потому, что дрались за правое, за святое дело, за советский народ, за нашу Родину! В борьбе за ее честь и свободу, за счастье народа погибли наши дорогие друзья Клевцов, Коновалов и Серебряков. Им вечная память и слава, а врагам месть и гибель! А вы, ребятишки, — обратился Никулин к школьникам,— когда будете большими, поставьте на этой могиле хороший памятник.

Он подошел к убитым, положил каждому на сердце бескозырку, заботливо расправив ленточки.

— Так и хоронить! — приказал он.

Застучали молотки, потом застучали комья земли по крышкам гробов. Быстро вырос над могилой холмик. Моряки отсалютовали троекратным залпом.

Прямо с кладбища направились на ближайший железнодорожный разъезд. Никулин спешил, потому что со всех сторон шли смутные, тревожные слухи. И уже тянулись по дорогам телеги, груженные домашним нехитрым скарбом, запряженные лошадьми, волами, а иногда и коровами. В деревнях, через которые шли моряки, то и дело попадались хаты с заколоченными окнами и дверями. Эти невеселые картины были знакомы Никулину: значит, враг близко.

Никулин сосредоточенно думал о погибших товарищах, о судьбе отряда — выскочить бы поскорее к своим да не напороться часом на какое-нибудь крупное немецкое соединение.

— Фомичев! — позвал он.

Подошел Фомичев и грузно зашагал рядом, в ногу.

— Думка одна меня тревожит, товарищ начальник штаба, — сказал Никулин. — Подозрительный этот десант у них был. Если бы это просто диверсионная группа, они бы танков ей не придали. Уж не забивают ли они клин в наш фронт где-нибудь поблизости?

— У меня у самого такая же думка, — признался Фомичев. — Значит, имели какую-то цель, раз танки послали.

— Какую же цель?

— А вот теперь, товарищ командир, давай думать. Линия фронта далеко ли от нас?

— Бес ее знает, где она проходит. Может быть, в ста километрах, а может быть, и в тридцати.

— Я вот думаю, что в тридцати, — сказал Фомичев. — Ты радиостанции, что в овраге нашли, осматривал? Нет? А я, брат, их разглядел, я в этом деле кое-что смыслю. Оба передатчика на ультракороткие волны, ближнего действия. От силы на двадцать пять — тридцать километров. Теперь смекай, чуешь, чем пахнет? — Невесело усмехнувшись, Фомичев добавил: — Хороши мы будем, если к фашистам в самую пасть попадем.

— Не попадем, — сказал Никулин. — Зубов у них не хватит нас разжевать. Сейчас на разъезде надо будет уточнить обстановку. Свяжемся по телефону с каким-нибудь военным комендантом.

Фомичев отозвался:

— В колхозе мне говорили, будто поезда вторые сутки не ходят.

ТИХОН СПИРИДОНОВИЧ

Разъезд был тих, безлюден, пуст — обычный степной разъезд с низеньким земляным перроном, с облетающими акациями в палисаднике. Кругом серела степь — унылая, осенняя, до того голая, что сердце щемило!

— Нет, не брехали в колхозе, — сказал Фомичев, разглядывая тонкий желтоватый налет на отполированной поверхности рельсов. — Поездов не было давно.

Начальника разъезда нашли в дежурной комнате. Высокий, веснушчатый, небритый, с какими-то соломинками и пухом в рыжих всклокоченных волосах, он занимался странным, вовсе уже несвоевременным в такие дни делом — набивал патроны для охотничьего ружья. На столе лежали какие-то железнодорожные документы, начальник мял их и бумажными комками с помощью молотка запыживал порох в медных закопченных гильзах.

— Здравствуйте, — вежливо сказал Никулин. — Разрешите войти.

Начальник хмуро разрешил.

Никулин начал разговор тонко, с дипломатией.

— Скажите, пожалуйста, вы имеете какие-нибудь сведения о том эшелоне, что проходил здесь три дня назад утром?.. Тот самый эшелон, на который немцы напали.

— Имею сведения, — ответил начальник. — А вам зачем?

— А мы те самые моряки и есть, что его отстояли.

Сразу все переменилось. Хмурость начальника исчезла без следа. Он сбегал в соседнюю комнату, принес два стула, усадил гостей, крепко пожал им руки, назвав при этом себя Тихоном Спиридоновичем Вальковым. Разговор начался по душам.

Он был странный, смешной человек — этот Тихон Спиридонович Вальков. И лицо его, и шея, и руки были усеяны частой россыпью веснушек, даже в бледно-серых галочьих глазах его Никулин заметил вокруг зрачков коричневые крапинки. Обрадовавшись гостям, он уже не мог успокоиться и все остальное время пребывал в мелком суетливом движении: почесывался, ерошил пятерней волосы, хрустел пальцами, двигал чернильницу, теребил себя за ухо, покусывал губы. Впрочем, во всем остальном он оказался человеком толковым, на вопросы моряков отвечал с военной краткостью и точностью. Да, состав, который они отбили у немцев, благополучно проследовал дальше и, надо полагать, уже прибыл к месту назначения. Ходят ли поезда? Нет, не ходят. Двое суток назад движение прекратилось. Одновременно оборвалась и связь в обе стороны. Говорят...

Здесь начальник запнулся, опасаясь, как бы его не обвинили в распространении слухов.

— Посторонних нет, только свои, — подбодрил Фомичев.

— Говорят, что линия и с юга и с севера уже перерезана, — сообщил начальник. — Так что мы, выходит дело, в клещах. Но только я этому не верю, — поторопился он добавить на всякий случай.

— Напрасно не верите, — заметил Никулин. — Раз прекратилось движение и связь в обе стороны прервана, значит что-то неладно.

— Да, конечно. Ожидать можно всего. Вот я и готовлюсь. — Начальник кивнул головой на патроны.

— В партизаны, значит?

— А куда же еще! Не оставаться же немцам служить. Позор на себя принимать. Останешься, а потом, после войны, что скажешь? Я человек хитрый, предусмотрительный, — засмеялся начальник. — Я с расчетом живу, на два года вперед загадываю.

Засмеялись и Никулин с Фомичевым.

— Правильно живете. А что после войны спрашивать будут, где был и что делал, так это уже точно. Обязательно спросят.

Неожиданно для себя Никулин решил, в случае чего, принять этого длинного, смешного рыжего человека в свой отряд.

— Что же вы посоветуете? — спросил начальник.

— Первое я вам посоветую — ружье свое бросьте куда-нибудь в пруд или в землю закопайте. Крылов! — крикнул Никулин через приоткрытую дверь в общий зал, где, рассевшись на скамейках и подоконниках, ждали остальные моряки.

Вошел Крылов, вытянулся перед командиром.

— У тебя там лишний автомат есть. Дай-ка его сюда. И две обоймы запасные. Это вам, Тихон Спиридонович, подарок от моряков!

Крылов принес автомат. Никулин показал, как нужно с ним обращаться.

— Эта вещь понадежнее вашей пукалки будет.

Начальник горячо поблагодарил за подарок, хотел тут же попробовать автомат по воронам, но Фомичев воспротивился:

— Не стоит зря стрелять. А вдруг немцы где-нибудь близко.

— Нужно во что бы то ни стало уточнить обстановку, — сказал Никулин. — Если мы действительно в клещах, тогда нечего здесь сидеть. Тогда выход один — подаваться вглубь. Вот, если желаете, Тихон Спиридонович, милости прошу в мой отряд.

— Спасибо. Я было и сам хотел к вам в отряд попроситься, да не посмел, — признался начальник. — Думаю, моряки, не примут сухопутного.

— Хорошего человека почему же не принять? Порядки у нас, правда, строгие, зато уж ребята боевые. Товарища не продадут, у самого черта из зубов вырвут.

Разговор был прерван появлением Папаши с листом бумаги в руках. Это был акт о сдаче-приемке сорока двух тысяч семисот рублей трофейных денег. «Ахт» — значилось в заголовке, начертанном рукой Папаши.

— Какой тебе акт! — начал Фомичев. — Тут немцы со всех сторон наседают...

— Подписывайте, — твердо сказал Папаша. — А не хотите подписывать — забирайте свои деньги обратно. Отказываюсь.

Пришлось подписать.

— Мучаешь ты меня, — пожаловался Фомичев.

— Такой порядок. Не я его выдумывал, — возразил Папаша, пряча документы.

В дверь постучали. Вошел Харченко:

— Товарищ командир, гул какой-то слышен. Вроде поезд.

«ФД-1242»

Моряки и начальник разъезда мгновенно очутились на перроне. Никулин встал на колени, прильнул щекой к холодному рельсу. Рельс гудел, передавая далекий бег чугунных колес. Сомнений не оставалось — приближался поезд. Но кто в этом поезде: свои или немцы?

— Собирать пулемет! — скомандовал Никулин. — Всем в ружье!

Отряд разместился в канаве, близ полотна. На перроне остался только начальник разъезда.

Минут через десять из глубокой выемки выскочил паровоз — один, без вагонов. Он мчался на полной скорости, распуская за собой низкую гриву серого дыма. Начальник разъезда, размахивая красным флагом, кинулся навстречу ему. Вскочили и моряки, побежали на рельсы.

Паровоз начал контрпарить. Весь в белом шипящем облаке, он остановился перед разъездом — потный, пышущий сухим жаром, с разгоряченными, лоснящимися от масла шатунами и дышлами. Котел его дрожал и гудел, сдерживая могучий напор пара.

Никулин, Фомичев и Тихон Спиридонович подошли к паровозу. Навстречу им спрыгнул машинист — молодой, русый, в расстегнутой рубахе.

— Откуда?

— От немцев вырвались! Прямо между пальцев у них проскочили! — возбужденно и весело ответил машинист. — Уж и не чаяли спастись — прямо чудо вышло. Алеха! — крикнул он в будку. — Давай сюда!

Из будки показался кочегар Алеха, весь черный, только зубы да глаза белели на лице. Неторопливо, степенно спустился по железной отвесной лесенке. Он был очень похож на калмыка или киргиза — черные жесткие прямые волосы, широко расставленные косые глаза, приплюснутый нос. Сходство дополнялось еще и кривыми ногами.

— Тендер нам испортили-таки, сволочи! — сказал Алеха. — Пришлось остановку делать в пути, дырки затыкать.

Он указал на деревянные пробки, белевшие в черном корпусе тендера.

— Из пулемета вдогонку хлестнули.

Машинист рассказал, что вражеский воздушный десант захватил сегодня утром крупную деповскую станцию в пяти — десяти километрах к югу от разъезда. Выскочить на магистраль удалось только одному паровозу — вот этому самому «ФД-1242», и спасителем его по справедливости должен считаться Алеха: чувствуя неладное, он без малого двое суток не уходил с паровоза, все время поддерживая пары. В пути пришлось дважды остановиться из-за пробитого пулями тендера и засорившихся шлангов, потому и прибыли на разъезд так поздно.

— Мы еще и третьего везем — пассажира, — сказал машинист. — Маруся, ты что сидишь там? Стесняешься выходить? Ты погляди-ка, сколько здесь кавалеров!

— Сейчас! — отозвался из будки девичий голос. — Очень уж я грязная — вся в угле.

— В пути подобрали, — понизив голос, пояснил машинист. — Смотрим: бежит с узелком по линии, тикает от фашистов. Ну, пожалели, взяли на паровоз. Зовут Маруся, фамилия Крюкова.

Как раз в эту минуту девушка выглянула из будки, смутилась, закраснелась, начала совсем некстати поправлять волосы.

Жуков подмигнул Крылову, толкнул его локтем:

— Вася, не прозевай!

Маруся и в самом деле была хороша со своими пепельными волосами, бойко вздернутым носиком, с горячими карими глазами, над которыми вразлет чернели широкие брови. К ней сейчас же потянулись десятки рук с конфетами, яблоками. Но особенно разойтись морякам не пришлось: командир покосился, и все притихли.

Никулин продолжал разговор с машинистом.

— Значит, думаете, что на север, может быть, и удастся еще проскочить?

— Не знаю. Ручаться нельзя... Пробуем. Попытка, говорят, не пытка.

— Ну что же, — сказал Никулин, — тогда и мы вместе с вами попробуем.

— Добре! — согласился машинист. — Что ни больше народу, то лучше, если уже отбиваться придется.

— Товарищ начальник штаба, — обратился Никулин к Фомичеву, — пулемет установить на передней, носовой

площадке. На бортовых площадках — автоматчики, по шесть человек. Остальных — на корму, на тендер. Быстрее действуй, сейчас отдадим концы.

Когда пулемет был установлен и моряки заняли свои места на тендере и на площадках, к Никулину подошел осунувшийся, грустный Тихон Спиридонович.

— Ну, счастливый путь... Желаю боевой удачи.

— А вы? — спросил Никулин.

— А я останусь. Не имею права разъезд бросить...

Тихон Спиридонович отвел глаза. Тяжело оставаться одному в бесприютной, холодной степи и ждать с минуты на минуту появления свирепых врагов.

— За автомат спасибо, — добавил Тихон Спиридонович. — Может быть, и пригодится еще.

У Никулина защемило сердце от жалости к этому долговязому, неуклюжему человеку. Он стиснул пальцами руку Тихона Спиридоновича повыше локтя.

— Если к вечеру нас не будет, значит, проскочили. Значит, путь свободен и немцев на севере нет. А если дорога перерезана, мы обязательно сюда, на разъезд, вернемся. А тогда уж подумаем вместе с вами, что дальше делать.

Уловив в глазах Тихона Спиридоновича сомнение, Никулин сдвинул брови.

— Мы вас, Тихон Спиридонович, так не бросим, вы не сомневайтесь. Слово даю вам, понимаете, морское, флотское слово!

На том и расстались. Алеха давно уже шуровал в топке, желтое пламя ревело мощно, паровоз дрожал, готовый ринуться вперед.

— Давай! — сказал Никулин.

Машинист положил руку на регулятор. Сдерживая нетерпеливый порыв машины, он тронул с места плавно и мягко, но уже через полминуты, освобождая могучие силы, гудящие и клокочущие в котле, он решительным движением открыл регулятор на полный клапан. Паровоз вздрогнул, шумно вздохнул и помчался.

ОТРЕЗАНЫ!..

Это была предельная скорость. Никулину вспомнились торпедные катера. Тяжелый, многотонный паровоз как будто вовсе не касался рельсов — скользил над ними, приподнятый своей скоростью. Сзади, обозначая желтой

полосой путь паровоза, вихрился и завивался пыльный смерч.

Через двадцать километров на маленькой станции паровоз сбавил ход.

— Что слышно? — крикнул из будки Никулин.

— Ничего не знаем, — ответили с перрона. — Говорят, немцы близко.

— Поехали дальше! — приказал Никулин.

Опять рев колес, мелькание телеграфных столбов. Моряки-пулеметчики на передней площадке закрывались бушлатами — иначе невозможно было дышать. Маруся забилась в угол будки и смотрела оттуда широко открытыми, остановившимися глазами. Может быть, думалось ей в эти минуты, что земной шар сорвался, слетел со своей оси и все в мире, так же как она сама, несется, мчится в неизвестность с бешеной, сумасшедшей скоростью. Куда, зачем? Никто не может сказать.

Никулин сдержанно, одними глазами, улыбнулся ей.

— Страшно, Маруся? — прокричал он сквозь чугунный гул, свист, шипение и клокотание пара.

Маруся в ответ беззвучно пошевелила губами и опять замерла.

Дорогой установили причину обрыва связи — в нескольких местах телеграфные столбы на протяжении десятков метров были подпилены и повалены: поработали немецкие десантники.

Миновали еще одну станцию; здесь тоже ничего не удалось узнать. Но дальше попалась путевая казарма. Навстречу паровозу выбежал человек с красным флагом.

Он сказал, что немцы, по слухам, не дальше как в пятнадцати километрах отсюда по линии. В казарме никого нет — все ушли, а он — путевой рабочий — остался с женой и тремя ребятишками. Младший болен, — куда с такой семьей уходить?..

— Смотри, дядя, не ошибись! — сказал Никулин.

Рабочий безнадежно махнул рукой: все равно. И Никулин не осудил его в своей душе: человек советский, а положение такое, что податься некуда...

— Ну, оставайся, дядя. Такая уж судьба у тебя — ничего не поделаешь.

Двинулись дальше. Машинист вел паровоз медленно, осторожно, чтобы в любой момент дать задний ход. Никулин, держась за поручни, повис на железной лесенке.

До следующей станции оставалось километра четыре, когда начался крутой подъем. Паровоз засопел и запыхтел с натугой.

Сперва над хмурым, темным горбом земли начала вырастать в небе водокачка, потом показались голые сквозные вершины ветел с бело-красным плечом семафора над ними, наконец Никулин увидел и самую станцию — желтую, с белыми обводами окон. Паровоз сбавил ход еще, теперь он шел совсем тихо, почти беззвучно, словно подкрадываясь.

— Стрелку проходить или нет? — спросил машинист.

— А что? — отозвался Никулин.

— Пройдем, а немцы ее переведут, направят нас в тупик. Вот мы и попались.

— Да их что-то здесь и не видать, немцев, — сказал Никулин. — Но лучше задержись. Вышлем разведку на всякий случай.

Не пришлось высылать разведку. Оглушительно резко ударил пулемет. Никулин бросился на переднюю площадку. Он увидал немцев, бегущих по линии к паровозу. В стороне, у сложенных штабелями шпал, суетилась группа солдат, выкатывавших легкую противотанковую пушку.

Никулин приказал повернуть пулемет на орудие. Туда же ударил десяток автоматов, прижимая к земле, отгоняя за шпалы орудийный расчет. Машинист тем временем уже перевел рычаг, и паровоз пошел задним ходом, стремительно набирая скорость. Немцы, выскочив из-за шпал, опять было кинулись к своей пушке и опять шарахнулись в сторону, ошпаренные пулеметной очередью. Наводчик Василий Крылов знал свое дело и бил точно по самой пушке, понимая, что немцев подпускать к ней нельзя — первым же снарядом они разобьют и остановят паровоз.

— Назад! Смотри назад! — услышал Никулин тревожный голос машиниста и обернулся.

По всему его телу, по сердцу и животу прошла волна колючего холода — наперерез мчащемуся паровозу бежали пять фашистов с гранатами в руках. Дело решали секунды: успеют немцы добежать на дистанцию или нет? Моряки с бортовой площадки и с тендера яростно били по немцам из автоматов, но трудно было прицелиться на таком ходу.

— Ложись! — скомандовал Никулин, перекрывая голосом рев колес и свистящий шум пара.

На пятнадцать метров не добежали немцы, в пятнадцати метрах от полотна разорвались их гранаты, выбросив темные клубы дыма, застучав осколками по котлу и тендеру. Ударила пушка, но паровоз вышел уже за семафор, а дальше начинался уклон и синела в туманном сумеречном дыму спасительная низина.

Опять началась сумасшедшая гонка. Немцы перенесли огонь на линию, надеясь разбить ее и тем преградить путь паровозу. Вероятно, немцы очень торопились: снаряды падали неточно, далеко от рельсов. Паровоз благополучно выскочил из опасной зоны.

— Фу, пронесло! — сказал Фомичев, вытирая тыльной стороной ладони потный лоб. — Как было втяпались! Повезло!..

СЛЕЗЫ МАРУСИ

Уже светила над степью сквозь туман низкая красноватая луна, когда паровоз, волоча за собою длинную черную тень, подошел к знакомому разъезду. Навстречу Никулину радостно кинулся Тихон Спиридонович.

— А я думал — не вернетесь!.. До меня ли вам в такой кутерьме!

— Я слово морское дал, помните, — ответил Никулин.

— Спасибо! Ну, что слышно там, на линии?

— Линия перерезана. Немцы могут быть здесь с минуты на минуту. Надо уходить. Вы как решили, товарищи? — повернулся Никулин к машинисту и кочегару. — С нами идете или остаетесь?

— На позор, на мучение оставаться? — сказал машинист. — Нет, я не останусь. А ты, Алеха?

— Я? — удивился и даже немного обиделся Алеха. — Довольно странный вопрос. Что я, паралитик или какой-нибудь бывший князь? Винтовку держать, слава богу, не разучился.

— Паровоз взорвать! — кратко и твердо заключил Никулин. — Фомичев, приготовь гранаты. Четыре связки хватит? — спросил он машиниста.

Машинист ответил не сразу: жалко было ему паровоз.

— Хватит...

К Никулину подошла Маруся. «Ну вот! — с досадой подумал он. — Баб еще не хватало в отряде! Не возьму ни за что!»

— Товарищ командир! — сказала она. — Я тоже с вами пойду.

— Видите ли...— Никулин начал мямлить, кашлять, путаться в словах. — Тяжело вам будет. Мы с боями пойдем. Иной раз и голодом придется сидеть по нескольку суток. Ночевать в лесу, в поле.

— К чему вы мне все это рассказываете? — настороженно, с неприязненными нотками в голосе спросила она. — Разве я сама не понимаю!

— Я это все к тому говорю, что вам лучше остаться, — решительно сказал Никулин, набравшись храбрости.

— Остаться? — повторила она, и голос ее обломился. — Вы понимаете, что вы говорите? Мне — остаться?..

— Ну что же такого? — заторопился Никулин, стремясь поскорее закончить этот тяжелый разговор. — Разве вы одна останетесь? Не все же уходят. И вас никто за это не осудит. Если хотите, я вам записку дам, что ввиду невозможности принять в отряд...

Не дослушав, она спрятала лицо в ладони и заплакала навзрыд. В лицо Никулину жаркой волной хлынула кровь от гнева, жалости и смущения.

— Да вы не плачьте! — сказал он морщась. — Подождите плакать...

В растерянности он оглянулся, но никто не спешил ему на помощь.

Маруся сквозь рыдания роняла горькие, жесткие слова.

— Сами уходите... а меня — к немцам! — говорила она. — За то, что я комсомолка... советская... За то, что я каждый месяц на Доске почета была... Сами уходите, а меня — в петлю головой... А я думала... моряки...

Она зарыдала еще горше. Никулин чувствовал за спиной десятки глаз товарищей и знал, что взгляды их неодобрительны. Его растерянность переходила в смятение — он был беззащитен перед Марусей. Мысли его замутились — он слова не мог вымолвить, только мычал и кряхтел.

Его решимость и твердость были исчерпаны до конца. Дальше выдержать он не мог: слезы Маруси напугали его и лишили остатков самообладания.

— Перестаньте же плакать! — сказал он, схватив Марусю за плечо и сильно тряхнув. — Я для вашей пользы вам говорил! А если хотите — идите, пожалуйста! На общих основаниях, как все. Идите, только потом не

жалуйтесь! Фомичев! — позвал он, стремясь поскорее спихнуть кому-нибудь рыдающую Марусю. — Вот займись, успокой гражданку, она к нам в отряд поступает. Крылов! Что стоишь, как пенек, не видишь, вода нужна! Вон из тендера набери!

Вода из тендера пахла нефтью, ржавчиной; Маруся выплюнула ее, сказав жалким голосом:

— Тухлая...

— Свежей принеси! Живо! — заорал Никулин на Крылова и, чувствуя, что вот-вот лопнет от злости, проклиная и презирая себя за проявленную слабость, отошел и встал поодаль, у ограды палисадника.

До него доносились затихающие рыдания Маруси, ласковые, успокаивающие голоса Фомичева и Папаши. Никулин закурил, в две затяжки вытянул всю папиросу и свирепо затоптал, растер ногой окурок.

Маруся наконец успокоилась, ее рыдания затихли. К Никулину подошел Фомичев, широко ухмыльнулся.

— Это уж так! — сказал он сочувственно, но с некоторым едва уловимым оттенком злорадства в голосе. — Я все это знаю, три года женатый. Как только жена в слезы, я сразу в кусты...

— Гранаты приготовили? — рявкнул Никулин. — Копаетесь там, черт вас всех задери!

И пошел бушевать, распекая встречных и поперечных — Фомичева, Крылова, кочегара Алеху, Жукова — всех без разбора.

Его усмирил Харченко.

— Тихо!

Он долго вслушивался в ночной, поголубевший от луны простор.

— Не пойму... Не умею сухопутные звуки разбирать. Для поезда больно уж тонко звенит.

Послушав еще, Харченко добавил:

— Однако идет сюда — к нам.

Один из трех путей разъезда был закрыт паровозом, остальные Никулин приказал перегородить столами и скамейками из пассажирского зала. Отряд занял позиции по обе стороны путей — часть засела в канаве, остальные во главе с Никулиным — в здании разъезда.

Гул с юга приближался. Моряки слушали, стараясь сообразить: что это может быть такое?

— Дрезина моторная! — раздался голос машиниста. — Фашисты, наверно, катят, путь проверяют.

Вскоре вдали на рельсах темным пятном обозначилась дрезина. Она шла средним ходом. Завал из скамеек и столов, преграждавший дрезине путь, был накрыт тенью от паровоза и не приметен издали — моторист чуть-чуть не врезался в него. Завизжав тормозами, дрезина поползла юзом и остановилась в каких-нибудь пяти метрах от завала.

Раньше чем немцы успели открыть дверь кабины, моряки уже стояли кругом с автоматами наготове.

— Вылезай! По одному! — скомандовал Никулин.

Крылов повторил его команду по-немецки.

Первым вылез белобрысый моторист — тщедушный, с цыплячьей шеей. Ноги моториста подкашивались от страха, зубы ляскали.

С него Никулин и решил начать допрос, правильно рассчитав, что насмерть перепуганный моторист не будет особенно запираться и врать.

ДАВАЙ, «ФЕДЯ»! ЖМИ, «ФЕДЯ»!

Допрашивали в дежурной комнате при тусклом свете семилинейной коптилки.

— Вы меня расстреляете? — спросил моторист. Зеленоватая бледность покрывала его лицо, он подпрыгивал на стуле от нервной икоты.

— Если скажете правду, не расстреляем, — ответил через Крылова Никулин.

— Хорошо, — согласился моторист. — Я буду говорить правду. За нами следом идет воинский эшелон с двумя бронированными площадками впереди. Мы проверяли путь для него. На дрезине имеется радиостанция, но мы не успели ею воспользоваться.

— Понятно! — прервал Никулин. — Больше ничего не требуется. Но помните — за каждое слово отвечаете головой. Крылов, останешься здесь дежурить.

На перроне Никулин кратко сообщил своим бойцам результаты допроса.

— Мы из этих бронированных площадок блин сделаем!

Он приказал машинисту и кочегару нагонять пары — максимальное давление, какое только возможно.

Алеха открыл дверцу топки. Оранжевый блеск озарил его приземистую кривоногую фигуру. Он сбросил блузу,

остался в одной майке, лопаты угля одна за другой летели в топку. Машинист открыл поддувало, сифоны — пламя стало ослепительно белым и загудело, заревело низким сердитым басом. А кочегар работал без устали, без отдыха — то кидал уголь, то принимался шуровать в топке длинной кочергой. Его лицо, шея, голые руки лоснились от пота.

Никулин стоял у будки. Машинист время от времени докладывал ему:

— Семнадцать атмосфер!

— Девятнадцать...

— Давай, давай! — командовал Никулин. — Не лопнет, выдержит. Харченко, как там — ничего не слышно?

— Пока не слышно.

— Двадцать две, — сказал машинист.

Открылся предохранительный клапан. С оглушительным шипением и свистом над паровозом поднялся белый султан перегретого пара. Охлаждаясь, он сеялся на лица моряков тонкой водяной пылью.

— Заклинить! — приказал Никулин.

Машинист полез на котел, заклинил клапан. Давление поднялось до двадцати трех атмосфер.

— Давай, давай! — торопил Никулин.

— Некуда больше, — отозвался из будки Алеха. — И так двадцать четыре нагнали. Котел взорвем... Ты не сомневайся, товарищ командир, восемьдесят километров даст наш «Федя», а то и все девяносто.

Харченко, чтобы гудение пара не застилало ему слышимость, ушел вперед по линии. Оттуда из холодной лунной мглы донесся его голос:

— Идет!

Все притихли.

— Харченко! — крикнул Никулин. — Скажешь, когда останется четыре километра.

— Есть сказать, когда останется четыре километра!

Моряки молчали, даже не перешептывались. Минута шла за минутой, и словно все натягивалась и натягивалась какая-то незримая тугая струна, готовая вот-вот лопнуть. Пленные стояли оцепенев — они угадали замысел моряков.

Харченко быстрым шагом подошел к Никулину.

— Время, товарищ командир. А то разогнаться не успеет.

— Пускай! — скомандовал Никулин машинисту.

— Эх, «Федя», прощай! — сказал машинист с невеселой удалью в голосе. — От моей руки погибаешь! Ну, послужи в остатний разок!..

Он резко двинул регулятор на полный ход. Паровоз вздрогнул и забуксовал, проворачивая колеса под собой на месте. Машинист спрыгнул. Паровоз двинулся — и пошел, пошел, пошел, сотрясая землю, злобно сопя и урча, словно в его железном брюхе в яростном, но тщетном усилии освободиться клокотал не пар, а перегретый гнев.

Машинист, весь дрожа, высоким альтом закричал вслед паровозу:

— Ай, «Федя»! Давай, «Федя»! Жми, «Федя»! Дáвай, давай!..

Ночная мгла быстро поглотила паровоз, уже ничего нельзя было разобрать вдали на линии, только ныли рельсы, тихо стонали, сливая два встречных гула: один — ровный, размеренный, второй — стремительно нарастающий, переходящий в железный рев. Время остановилось, ветер упал, казалось, вся земля остановилась в полете и ждет замирая. Тревожным звуком ныли рельсы — это навстречу врагам неудержимо, неотвратимо летела из темноты горячая лавина стали. По насыпи, рядом с ней, прыгая по камням, перемахивая через мостики, мчался зловещий, словно кровью окрашенный, сгусток багрового блеска из поддувала, брызгами летел щебень, а сзади, в лунной дымке, вихрились и завивались пыльные смерчи.

...Удар был глухой, раскатистый; поднялось мутное зарево, дрожа постояло в небе и погасло.

Все кончилось. Немецкие бронированные площадки перестали существовать вместе со всем экипажем. Судя по силе удара, полетели под насыпь и паровоз и все вагоны.

Жуков, бледный от волнения, предложил:

— Я сбегаю погляжу. Я мигом обернусь.

— Некогда, — ответил Никулин. — Сейчас выступаем.

Подошел Фомичев.

— С мотористом что будем делать?

— Отпустить.

— Зачем? — удивился Фомичев.

— А затем, что обещал. Раз обещал, надо выполнить. Веди его ко мне.

На перрон вывели моториста. Он затрясся, заплакал, повалился на колени перед Никулиным, схватил его руку, потянулся губами к ней..

— Встань! — брезгливо сказал Никулин, пряча руку в карман. — Вот что, иди к своим... — Никулин слегка задохнулся. — Иди к своим, — повторил он, возвысив голос, — и скажи им так: русский, мол, матрос Иван Никулин велел вам передать, чтобы вы с нашей земли уходили подобру-поздорову, пока еще время есть. А то каяться вам придется: сами захотите уйти, да поздно будет — ни одного живым не выпустим!.. Крылов, переведи ему, да как следует, чтобы он понял. Повторить заставь.

Крылов перевел. Немец понял, закивал головой, залопотал...

— Иди! — Никулин указал рукой в степь. — Иди, фриц!

Немец, сгорбившись, втянув голову в плечи, оседая на трясущихся ногах, медленно побрел через пути.

— Боится, гадюка! — сказал Фомичев. — Пули в спину ждет!

Никулин молчал, провожая немца тяжелым, недобрым взглядом.

— Двинулись! — наконец сказал он. — Людей построить. Дрезину поджечь.

Дрезина вспыхнула, ярко озарив перрон.

Отряд построился.

— Направо! — скомандовал Никулин. — За мной — шагом марш!

...Дрезина догорала. Только светился еще на рельсах раскаленный металл.

Разъезд опустел. В одну сторону от него, в лунную холодную пустыню, уходил немец, постаревший на десять лет. Он поминутно присаживался на бугорки, прижимая руку к сердцу, плакал и шепотом жаловался. Кому? Земле, ветру, звездам? Но холодно и враждебно молчала в ответ земля, и ветер, не слушая, пролетал мимо.

В другую сторону уходили моряки, и с ними — Маруся Крюкова, машинист, кочегар Алеха и Тихон Спиридонович Вальков, покинувший свой захолустный разъезд ради трудов и подвигов бранных.

ПО СЕЛАМ И ХУТОРАМ

Никулин ставил перед собой одну цель, одну задачу — пробиться к своим. Этой цели он полностью подчинил и самого себя и каждого из бойцов. Он твердо решил не сворачивать никуда с проложенного курса, понимая, что

при малочисленности отряда нельзя отвлекаться на второстепенные операции, разбрасываться по мелочам, рисковать людьми без крайней необходимости. Если уж попутно подвернутся какие-нибудь фашисты, тогда можно, конечно, ударить, да и то при условии благоприятной обстановки, позволяющей рассчитывать на полный успех без потерь в личном составе. Людей немного, потеряешь всего пять-шесть человек, а сила отряда понизится вдвое. Между тем впереди — прорыв к своим и наверняка с боем. Силы нужно беречь именно для этого решительного боя.

Так он и сказал однажды своим бойцам на привале:

— Мы сильны морской нашей спайкой, взаимной выручкой. Мы сильны тем, что все вместе бьем в одну точку, одним кулаком. Нас в отряде двадцать шесть человек, и каждый стоит двух десятков фрицев, потому что со всех сторон товарищи подпирают. Каждого из нас в бою двадцать пять товарищей поддерживают. Чуете арифметику или нет?

— Чуем! — ответили бойцы.

— Точно!

— Поэтому приказываю, — продолжал Никулин, — каждому бойцу себя, как только можно, беречь! Каждый должен помнить, что, выбывая из строя, не только он сам погибает, но и товарищей подводит. Еще надо помнить, что госпиталя у нас нет, раненых лечить негде. Не бросим, конечно, если уж ранят, но оберегаться каждый из нас должен в обязательном порядке. А то вон — Крылов. Орел! В рост ходит под немецкими пулями. Ничего, мол, я не боюсь! За такие фокусы драить буду! Приказываю — никаких самостоятельных действий против немцев без моего разрешения не предпринимать. Крылов, Жуков, это вас касается, а то больно уж вы горячие оба. Кто приказ нарушит, буду наказывать. А наказание простое: прогоню из отряда. Гуляй в одиночку, пока немцам в лапы не угодишь. Все поняли? А теперь — пошли! Поднима-айсь!

Никулин вел свой отряд глухими проселками, а то и прямо целинной степью, тщательно избегая больших дорог. Если попадалась на пути такая дорога, то ее пересекали ночью и шли ходко, чтобы встретить утро где-нибудь подальше — в перелеске или в глубокой балке. Никулин вообще предпочитал ночные марши, а на отдых останавливался днем — и теплее, и безопаснее, и костер

можно развести. Приходилось останавливаться и в селах и в деревнях. Ближе к большим дорогам часто попадались села разоренные; гудел ветер, залетал в разбитые окна опустевших хат, хлопал незапертыми дверьми, гнал и крутил по улицам черный пепел, обдавая моряков едким, терпким запахом остывшей гари.

Навстречу отряду выбегали уцелевшие жители — старики, дети, женщины; в глазах, сквозь слезы, светилась трепетная надежда.

— Милые! Родные! Да неужто наши вернулись?

Тяжело было говорить этим людям правду — что нет еще, не вернулись наши.

Покидая такое село, моряки уносили в сердцах еще одну жгучую каплю ненависти и гнева. На что уж мягкое, жалостливое женское сердце было у Маруси Крюковой, но и Маруся ожесточилась — не отвернулась, когда на маленьком хуторе моряки поставили к стенке троих фашистских мародеров, захваченных с поличным в одной из хат у взломанного сундука.

В глубину степи немцы пока не успели проникнуть, там уцелели кое-где и станицы, и деревни, и хутора. Такая дневка считалась праздником. Хорошо было подходить ранним холодным утром к спрятавшемуся в глинистой балке хутору: отражая зарю, горят приветливым теплым золотом окна хат, над очеретовыми крышами солидно и домовито восходит из глиняных труб дымок, сиреневым столбом поднимается в чистую вышину и там расходится, прозрачно окрашиваясь алым светом. На речке, подернутой молочным паром, крячут утки, важно гогочут гуси, а под облетевшими осокорями задумчиво бродит пегий теленок, с хвостом, украшенным репьями. И на разные голоса гавкают кудлатые псы.

Обнесенные плетнями, крепко стоят белые приземистые хаты — навеки вросли корнями в родную, дедовскую и прадедовскую землю, а в хатах чисто, уютно, тепло, пахнет сухим укропом, мятой, свежим хлебом, у пылающих печей хлопочут, высоко подоткнув юбки, дородные казачки, раздавая щедрые, звучные подзатыльники ребятишкам за излишнее любопытство. Здесь, в таком тепле и уюте, за самоваром, к месту были бы мирные сельские разговоры об урожае, о трудоднях, о покупке овец или коровы, о мошенничестве заведующего кооперативом, о предстоящих свадьбах... Но морякам не пришлось услышать таких разговоров — другое было у всех на уме.

Станицы, деревеньки, хутора охвачены были тревогой, смятением. Моряков засыпали вопросами: близко ли окаянные фашисты, да когда они пожалуют, и что можно от них ожидать честному трудящемуся колхознику? И морякам с болью в сердце приходилось отвечать, что близко фашисты, что пожаловать могут в любой день, что хорошего от них ожидать ничего нельзя. И в хатах становилось как будто холоднее, темнее; насупив седые брови, молча слушали старые казаки, а казачки — иные плакали, иные, скорбно и тяжко вздыхая, крестились на темные лики озаренных лампадой икон. Но хоть и вздыхали, и плакали, и скорбели, думая о страшном дне, но честь свою казачью, кубанскую берегли: там будь что будет, а сегодня дорогих гостей надо принять как полагается.

На таких дневках главенство принадлежало Папаше — он выдвигался на первый план, заслоняя собою и Никулина и Фомичева. Разместив бойцов по хатам, он с полными карманами денег отправлялся на продовольственные заготовки.

— Здравствуйте, — говорил он, войдя в хату и сняв бескозырку.

— Здоровеньки будьте, — отвечал хозяин, какой-нибудь казак с толстыми обвисшими усами. — Сидайте, в ногах правды нет.

Начинался неторопливый разговор о войне, о трех сынах хозяина, ушедших в гвардейский казачий корпус генерала Кириченко.

— А во флоте никто не служит у вас?

— Во флоте ни... Наше дело козацкое — конь да клинок.

И хозяин невольно косился при этих словах на стену, где висела его фотография, на которой он снят был еще молодым, верхом на коне, с обнаженным клинком в руке, с двумя Георгиями на груди.

— Добре! — говорил Папаша. — Конь да клинок — тоже не плохо.

Постепенно и незаметно Папаша переходил к основной цели своего визита. Не уступят ли хозяева из своих продовольственных запасов что-нибудь морякам? За деньги, конечно, по вольной цене.

Вот здесь и начиналась главная заковыка. В редкой хате не предлагали Папаше от чистого сердца, от всей

души, с казачьей размашистой щедростью самые разнообразные дары: яйца, сало, творог, солонину, хлеб, коржи, молоко. Папаша, зная аппетит своих подопечных, не отказывался — пригодятся в походе и коржи, и сало, и творог.

— А какая же будет за все это ваша цена? — осведомлялся Папаша.

— Яка там цена! — говорил хозяин. — Фашист окаянный даром все у людей забирает, так и хиба ж я з своих гроши буду стрибувать? У меня у самого трое в гвардейском козацком корпусе генерала товарища Кириченки... Ни! Грошив не треба...

— Я права не имею задаром брать! — уговаривал Папаша. — Мне такая дана инструкция, чтобы за все платить.

Уговоры не действовали. На все доводы хозяин отвечал одно:

— У самого трое служат. Молодые, як и вси ваши хлопцы.

Хозяйка при этом тихонько всхлипывала, утирала рукавом глаза, с ней-то вовсе уж бесполезно было говорить о деньгах.

— Послушайте, хозяин! — не сдавался Папаша. — Дело ведь очень простое: мы покупаем, вы продаете.

— А я не продаю, — спокойно говорил хозяин, попыхивая из трубочки крепчайшим самосадом. — Здесь не базар, а моя хата.

— Как же нам быть?

— А так — берите да и кушайте на доброе здоровьичко.

Что оставалось делать Папаше? Приходилось брать.

А командир потом сердился и недовольным тоном выговаривал Папаше:

— Мы не фашисты какие-нибудь, не мародеры, чтобы население обирать. Взял — плати. Лучше переплати, но только не бери задаром!

Папаша огрызался:

— Сам бы, товарищ командир, попробовал — расплатился! Неужели же я деньги прижимаю? Даю, так не берут. Вчера одного деда спрашиваю: «Сколько тебе, дед, за сало?». А в куске, считай, четыре кило с лишним. «Берите, говорит, кушайте на здоровье, ничего не надо мне». — «Как так не надо? Мы задаром не берем, мы

деньги платим. Такой имеется от командира приказ. Получай, дедушка, деньги, а то и сала твоего не возьму». — «Ну что же, говорит, когда так, давай рублей десять, а то и пятерку». Видал? Такой кусок за пять рублей отдает. Меня ажно злоба взяла! «Да ты что, старый, ошалел? Ты где цены такие слышал, чтобы за сало, за четыре кило, пять рублей платили? Смеешься, что ли?» — «Нет, говорит, не смеюсь. Я, говорит, ее, пятерочку вашу, в сундук спрячу, а как немца погонят и война кончится, я ее в рамочку обделаю и под стеклом на стенку повешу. Будет мне память, как флотские через наш хутор шли, а я салом их угостил». И просит: «Вы уже мне пятерочку выберите, которая поновее, почище... Мне для красоты». Вот с ним и поговори! Тьфу ты, пропасть! Да разве я деньги ему для того даю, чтобы он их по стенкам вешал? Я ему для оборота даю, а он, смотрика, что выдумал, — на стенку, для красоты! Память ему нужна, а мне через это одни только неприятности!..

В ином селе Папаше удавалось по-настоящему купить что-нибудь — пару гусей, поросенка или барана. Тогда разговора хватало надолго: сколько просили, да сколько он, Папаша, предложил, да как наконец сошлись и ударили по рукам.

Тихон Спиридонович замечал философски:

— Вот она, как всю жизнь переворачивает, война! Раньше, бывало, искали, где подешевле, а нынче — что ни дороже запросят, то лучше. Чудно!..

Да, хороши были эти дневки на тихих, затерянных хуторах, лучше и не надо бы, да только отравлены были они нестерпимой горечью нашего отступления. Покидая вечером, при свете осенней, пасмурной зари, маленький ласковый хутор, моряки знали: немного дней пройдет — и нагрянут сюда осатаневшие фашисты. А когда уйдут, загудит по улицам порывистый недобрый ветер и пойдет гулять на свободе, выть в разбитых окнах, хлопать повисшими на одной петле дверьми, шевелить седые волосы уткнувшихся в землю стариков, раздувать юбки мертвых женщин, заносить пылью потускневшие глаза окровавленных ребятишек. Ветер взъерошит шерсть на спине обезумевшего пса, вторые сутки рыдающего у порога над своим безгласным хозяином, закрутит и погонит черный пепел и далеко понесет в голую степь едкий, терпкий запах холодной гари.

НОЧНЫЕ РАЗДУМЬЯ

Вскоре в одном селе к отряду присоединились два красноармейца. Через день присоединился летчик сбитого за немецкими линиями нашего истребителя. Потом присоединились два сапера и еще шестеро пехотинцев, вышедших навстречу отряду из перелеска. На одном из хуторов нашли выздоравливающего танкиста — забрали с собой.

Раньше на расчетах по порядку номеров левофланговый Маруся Крюкова кричала: «Тринадцатый полный!» — и это ей не очень нравилось, потому что втайне, в глубине души, она была немного суеверна. Теперь она звонко, весело завершала расчет:

— Двадцать первый неполный!

Марусю так и прозвали в отряде — Неполный, что очень шло к ее маленькому росту.

Никулин знал, что отряд будет увеличиваться и дальше, соответственно возрастут сложности в управлении, в снабжении, труднее будет скрытно передвигаться, устраивать привалы и дневки. Кубань не Сибирь, места на Кубани степные, открытые: какая-нибудь лощинка может укрыть двадцать пять человек, но не укроет полторы сотни. С таким отрядом не придешь на маленький хутор, где всего десять-пятнадцать хат, такой отряд не накормишь тремя килограммами сала и сотней яиц. Придется заходить в большие села и станицы, а там лишних глаз, ушей и языков куда больше. Словом, будущее представлялось Никулину смутным, неясным, преисполненным всяческих тревог и неожиданных опасностей. Он все чаще задумывался, все сильнее давила на его молодые плечи тяжесть огромной ответственности.

В отряде никто не знал, разумеется, об этих мыслях Никулина. Он был для своих бойцов все тем же решительным, непреклонным, отважным командиром, еще строже и суше стало его лицо, еще отчетливее звучали команды, в глазах появился жестковатый блеск. Годами он был не старше своих бойцов, но им казалось, что командира отделяет от них по крайней мере двадцатилетие. Теперь никому и в голову не могло прийти хлопнуть Никулина по плечу или в полутьме, шутки ради, подсунуть к чаю соль вместо сахара, как это было всего две недели назад.

Боясь подорвать боевой дух отряда, Никулин никого не посвящал в свои мысли. Но как дорого платил он за

свой добровольный подвиг молчания, как тяжело и невыносимо трудно приходилось ему порой в одиночку!

Он подумал однажды: «Хоть бы майор какой встретился или капитан. Сдал бы ему командование, а сам — в ряды!». Сейчас же он отогнал эту мысль, продиктованную слабостью. Уйти из боязни ответственности — разве это не самое настоящее предательство? Если ты принял на себя власть, значит принял все сопутствующие ей тяготы, значит терпи до конца. «Ничего! — решил он. — Я крепкий, выдержу!»

Между тем в отряд по одному, по два вливались все новые люди. Маруся на расчетах кричала с левого фланга.

— Двадцать третий неполный!

Через день:

— Двадцать четвертый полный!

Еще через день:

— Двадцать пятый неполный!

...Случилось однажды отряду остановиться ранним утром на отдых в отлогой мелкой лощине. Откуда-то принесло недобрым ветром «мессершмитт». Пробив облака, он пошел совсем низко над степью, в сотне метров. И нашлась в отряде одна горячая дурная голова из новеньких: вскочив, красноармеец зачастил в небо из своего полуавтомата. «Отставить!» — закричал Никулин, но было уже поздно, — летчик заметил отряд и пошел в атаку, поливая лощину свинцом из всех пулеметов.

Сделав два захода, «мессершмитт» скрылся. Бойцы начали подниматься. Четыре человека остались лежать на земле — паровозный машинист и три красноармейца, в том числе бывший обладатель горячей головы, которая сейчас холодела и сочилась кровью, пронизанная насквозь немецкой пулей.

Никулин поднял отряд и повел скорым маршем. Он опасался, что «мессершмитт» наведет танки или моторизованную пехоту.

Шли без отдыха, зорко наблюдая за горизонтом и воздухом. К вечеру были далеко. Бойцы едва держались на ногах после двадцати четырех часов марша. А тут еще начал сеяться тонкий дождь; расходясь, он грозил перейти к ночи в ливень.

Справа, за бугром, мутно темнели на мглистом небе верхушки ветел и крыши. Никулин решил заночевать на этом хуторе.

Папаша разместил бойцов, для Никулина и Фомичева отвел отдельную хату. Хозяйка начала собирать ужин, но Фомичев не дождался — наскоро выпив кружку чаю, растянулся на широкой лавке и захрапел.

Никулин ужинал в одиночестве при слабом свете крохотной коптилки. Потом лег, попробовал уснуть. Сон к нему не шел, хотя усталость ломила колени и плечи. Он лежал и все думал, думал, но в мыслях не было ясности — они скользили, путались, и никак не удавалось закрепить их для себя в словах.

Эта бесплодная охота за собственными мыслями утомила его, все мешало ему, все раздражало — и голоса хозяев за дверью, и храп Фомичева, и тяжкий, глухой шум ливня.

Резким движением он поднялся, спустил под лавку босые ноги, зажег коптилку, посмотрел на часы. Восьми еще нет, совсем рано, а темь какая! Придется, пожалуй, до новой луны перейти на дневные марши. Потом он поморщился, вспомнив утреннее происшествие. Как нехорошо получилось — задаром потерял четырех человек. Дернула же нелегкая этого дурака выскочить! И не с кого теперь спрашивать. Впрочем, один виновный налицо — он сам, командир Никулин. Если боец без команды вскакивает и начинает стрелять — значит, в части нет настоящего порядка и дисциплины, значит, отвечать должен командир. А тут еще дневные марши предстоят, — малейшая неосторожность одного бойца может погубить весь отряд. Нужна дисциплина железная, но как ее установить, если в отряд все время вливаются новые, неизвестные люди? Когда-то еще раскусишь и поймешь каждого из них, а время не ждет, действовать надо сейчас, немедленно. «Трудно, ох, как трудно!» — подумал он, чувствуя, что смертельно устал — не только телом, но и волей, и духом, и разумом. Он закрыл глаза. Вот так бы и остаться навсегда в этой чистенькой теплой хатке. Ничего не видеть, ничего не слышать, никуда не спешить и ни о чем не думать... Но тут же он встряхнулся, сдвинул брови. Глупые мысли! Что значит — устал? Он, командир, не имеет права думать об этом.

Он рассердился на себя за свою слабость. Мысли его прояснились и теперь шли одна за другой, в строгом порядке, с напором. Завтра же надо выстроить бойцов и сказать им, что вводится сверхстрожайшая дисциплина, а к нарушителям будут применяться только две меры: или

изгнание из отряда, или расстрел. Пора уж заводить настоящие военные порядки. Значит, так: «Приказ номер первый по отдельному сводному отряду морской пехоты. Приказываю всему личному составу как на маршах, так и на отдыхе соблюдать строжайшую дисциплину, крайнюю осторожность и скрытность...».

Никулин торопливо достал из внутреннего кармана бушлата карандаш и записную книжку, начал искать в ней чистую страницу, да так и застыл с книжкой в руках — погрузился в какое-то забытье. А когда очнулся, опять и разум его, и тело, и дух подавлены были свинцовой, непреодолимой усталостью. Она, оказывается, не ушла, не исчезла — она стояла рядом и выжидала только момента, когда он потеряет контроль над собой.

...Выл ненастный ветер, стучал в окно дождь; мигала коптилка, слабо и зыбко освещая угол хаты и в углу за столом Никулина, положившего голову на руки.

В РАЗВЕДКУ

Когда он проснулся, за окном уже развиднелось. Кричали простуженными голосами петухи. Никулин торопливо обулся, растолкал Фомичева:

— Вставай! Умываться пошли!

На улице было сумрачно от низких туч, заваливших все небо до горизонта, под косогором над пустыми огородами стоял мглистый пар, вверху мутно-белесый, а ниже, у самой земли, густой и чадный, из садика тянуло по ветру тонким и пьяным запахом осеннего тления. Грустно и голо было вокруг, но Никулин сумел увидеть солнце — оно просвечивало на востоке из-за серых туч мутным расплывчатым пятном.

— Солнышко! — сказал Никулин.

— Какое там солнышко! — проворчал Фомичев, перехватывая руками скользкий шест журавля и заталкивая его все глубже в колодец. — Солнышка не жди, теперь одна мокреть пойдет.

— Ничего! — ответил Никулин. — К полудню проглянет, враз все высушит. Ну, давай, Фомичев, лей, не жалей!

Голый до пояса, поеживаясь, покряхтывая от ледяной воды, Никулин долго и шумно плескался, заставил вылить на себя всю бадью.

За чаем сказал Фомичеву:

— Нам семейный порядок до тех пор годился, пока в отряде только свои были, моряки. А сейчас новые люди приходят, и семейный порядок нам больше не годится. Надо военный заводить, по уставу. Тебе, Фомичев, приказываю оформить список личного состава. Людей каждое утро выстраивать на поверку. Всякие там разговоры в строю, как я много раз замечал, прекратить. Самовольные отлучки запрещаю. Командиров отделений назначим, с них будем и спрашивать.

...Ближе к фронту — морякам веселее! Все чаще попадались на степных дорогах группы вражеских солдат, автомашины, повозки. Солдаты так и оставались лежать, уткнувшись в землю, автомашины и повозки горели, застилая небо черным дымом, а моряки, нагрузившись трофейными гранатами и патронами, продолжали путь.

Продвигаясь по немецким тылам, вдоль фронта, Никулин рассчитывал выбрать где-нибудь сравнительно тихий участок, прикрываемый лишь незначительными вражескими заслонами, и внезапным ударом прорвать его.

Никулин все подготовил к этому последнему, решительному удару, одного только не хватало: точных сведений о расположении войск противника, о слабых местах его обороны. И Никулин медлил, понимая, что действовать наобум нельзя. Малейший просчет — и отряд неминуемо погибнет, без смысла, без пользы, в последний момент, у самой цели.

Однажды утром на заброшенной дороге, что тянулась, огибая озера, через густые таловые заросли, моряки под голым облетевшим кустом увидели дрожащий, всхлипывающий комочек, зарывшийся в мокрые листья. Это была девочка лет восьми. Никулин подошел к ней, окликнул. Она вскочила и с громким плачем бросилась бежать. Фомичев поймал ее за руку.

— Куда? Вот скаженная!.. Ты что здесь делаешь, в кустах? Почему босиком? Ботинки где твои? А пальто где? Ты откуда? Из какого села?

Она молчала, дрожа от испуга и холода — босая, посиневшая, в одном ветхом платьице.

— Не по сезону оделась ты, красавица! — усмехнулся Никулин. — Папаша, займись гражданкой.

У Папаши в термосе нашелся кипяток. Жуков достал из мешка теплый свитер и шерстяные носки, девочку закутали, накрыли стеганым ватником, напоили чаем.

Скоро она отошла, отогрелась и рассказала свою скорбную, страшную историю. Сегодня на рассвете фашисты убили ее отца, мать, бабушку, сестру, увели корову, угнали овец, застрелили собаку Буянку и рыжего кота Гришку, подожгли хату. Сама девочка спаслась, убежав на огороды, — немцы стреляли ей вслед... Потом она шла, очень долго шла, замерзла и устала. Забрела в эти заросли, запуталась в них, решила лечь под кустом и умереть.

Моряки молча слушали ее рассказ, стараясь предугадать решение командира. Неужели пройдет он мимо, не заглянет в село, где так открыто и нагло бесчинствуют фашисты? Нет, не стерпит его морское сердце, не должно стерпеть, воздаст он фашистам полной мерой за эту девочку, за ее отца, мать, бабушку, сестру, за спаленную хату, за собаку Буянку и за рыжего кота Гришку — за все!

Маруся, кусая губы, отвернулась, пряча от командира глаза, полные слез. Тихон Спиридонович долго сморкался в свой грязный носовой платок. Папаша тяжело вздыхал и сопел угрюмо.

— Все слышали? — спросил Никулин глухим, отяжелевшим голосом. — Запоминайте, товарищи бойцы, крепче запоминайте, все это мы врагу в счет запишем!.. А что же они сказали, когда к вам в хату пришли? — обратился он к девочке.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что позавчера ночью убежали из села двое пленных; отец девочки дал им хлеба на дорогу, а кто-то увидел...

— Пленные, говоришь? — Никулин оживился. — А много пленных у вас на селе? А немцев много? Танки есть у них? Знаешь — большие такие?

Девочка ответила, что пленных много, немцы держат их на скотном колхозном дворе. Танки были, но все ушли, теперь танков нет.

— Ну, товарищ начальник штаба, давай держать военный совет, — сказал Никулин, отойдя с Фомичевым в сторону. — Нам предстоит не какая-нибудь мелкая схватка, а самый настоящий бой с превосходящими силами противника.

— В первый раз, что ли? — отозвался Фомичев. — Все время так деремся — с превосходящими силами.

— Нужно проверить, сколько там фашистов, какие части. Без разведки соваться нельзя.

— Кого же пошлем? — спросил Фомичев.

Стали думать. Разведка предстояла опасная, для такого дела требовался человек надежный во всех смыслах.

— Крылов? — вслух размышлял Никулин. — Горяч больно, завалится... Жуков? От этого за десять шагов морем пахнет. Его по одной походке сразу признают.

— Давай-ка, товарищ командир, я сам пойду! — предложил Фомичев. — Дело вернее будет. К тому же я военную хитрость имею, она в разведке как раз пригодится.

На том и порешили. Фомичев, не теряя времени, сменил свой бушлат на старенький полушубок, надел заячий облезший малахай и сразу приобрел в этом наряде самый обычный колхозный вид.

— Правильная маскировка! — одобрил Никулин. — Чистый колхозник, черноземный человек. От морской воды, от соленой — ничего не осталось.

— Душа морская осталась, товарищ командир, — улыбнулся Фомичев. — Душа — она ведь не бушлат, ее на полушубок не сменишь.

— А ты ее подальше спрячь, — посоветовал Никулин. — А то она как раз тебя и подведет.

— Не подведет! — с уверенностью ответил Фомичев. — Она у меня ученая, службу знает. Я так решил: в случае, если туго придется, таиться и бегать не буду. Пойду прямо к старосте. «Честь имею явиться, господин староста. Разрешите доложить — дезертир из рядов Красной Армии. Был под трибуналом, но только при отступлении красные нас в суматохе бросили, вот мы и разбрелись кто куда». Социальное происхождение спросят — кулак. Отец сослан, брат в тюрьме. Такого наплету, что семь верст до небес. Словом, завтра об эту пору ждите обратно.

— А если не придешь?

— Если не приду, тогда заказывай панихиду по моей морской душе. Значит, улетела она от меня, голубушка, надоело ей по сухопутью бродить.

Помолчав, он тихо и серьезно добавил:

— Часом случится что, напиши жене. Адрес я Папаше оставил.

— Напишу, — пообещал Никулин. — Ну, счастливой тебе удачи. До завтра.

— До завтра, товарищ командир!

И пошел Фомичев прямо через кусты, держа курс на далекое взгорье, за которым пролегла большая дорога. И, словно память по себе, оставил на сердце у Никулина странную тяжесть.

РЫЖИЙ ФАРАОН

Осенний день кончился, отгорела и погасла мглистая заря, усилился холодный, резкий ветер.

Заботливый Папаша еще засветло нарезал огромный ворох камыша и соорудил низенький шалаш на четверых — для себя, командира, Маруси и девочки. В шалаше ветра не чувствовалось, от сырости спасала камышовая подстилка.

— Зимовать можно! — сказал Папаша, восхищенный своим творением. — Маруся, давай-ка дочку сюда!

Шурша камышом, он долго возился в темной глубине шалаша, укладывая девочку поудобнее, потом сам улегся рядом с ней и, утомленный, сразу уснул.

Никулин ушел проверять посты. Маруся одна сидела у входа в шалаш. Высокое небо веяло на землю сквозь рваные тучи морозным чистым холодом — дыханием иных миров. И горели в черно-сквозных провалах редкие звезды; вот одна звезда, красного призрачного мерцания, замутилась, потускнела, ушла в туман, а ей на смену, сияя и трепеща, вся в тонкой паутине лучей, выплыла другая — зеленовато-хрустальная, еще более призрачная и далекая. С тревожным нарастающим шумом шел по кустам ветер, затихал, притаившись, и опять поднимался, шевеля камыши за спиной у Маруси. А вдали, смутно окрашивая горизонт, стояло зарево: горели стога или ометы, а может быть, какое-нибудь село, подожженное немцами.

Очень тоскливо и неприятно было Марусе. Она от души обрадовалась, увидев неясно обозначившуюся в темноте длинную, сутулую фигуру Тихона Спиридоновича.

— Сумерничаете? — спросил он, присаживаясь рядом. — А командир уже спит?

— Ушел куда-то... Он, по-моему, никогда не спит. Я удивляюсь, как он с ног не валится.

— Ну, знаете, его повалить — дело трудное.

— Очень трудное, — подтвердила Маруся. — Он молодец у нас! Все у него ловко, быстро, крепко получается. Таких людей не много на земле — я первого встречаю. А ведь простой матрос.

— Матрос-то он матрос, да только не очень простой, — отозвался Тихон Спиридонович. — Совсем даже не простой.

— А как, по-вашему, он симпатичный?

— Вот сразу женщина сказалась! Да разве к нему это слово подходит — «симпатичный»?

— А все-таки?

— Он сильный человек, а сильные люди редко бывают симпатичными в общежитейском смысле, — поучительно ответил Тихон Спиридонович. — Сильным людям о своей симпатичности заботиться некогда, у них есть дела поважнее. Это вот я — симпатичный, так зато я и тряпка, — неожиданно закончил он с безнадежным, печальным вздохом.

Для Тихона Спиридоновича вся глубина этого признания заключалась в последнем слове, но Маруся, как истая женщина, именно это слово и пропустила мимо ушей, заинтересовавшись другим.

— А откуда вы знаете, что вы симпатичный? — засмеялась она. — В зеркало смотрелись?

— Я не смазливость, а содержание души имею в виду, — строго сказал Тихон Спиридонович. — А для души, как вам известно, зеркала еще не изобрели.

— Значит, другие вам говорили? Девушка, наверное?

Тихон Спиридонович сердито промолчал. Он было настроился для серьезного душевного разговора, а Марусе хотелось просто поболтать от скуки.

— Что же вы молчите? Ну, ясно, девушка!.. Интересно, блондинка или брюнетка?

— Точно затрудняюсь вам сказать, — неохотно ответил Тихон Спиридонович, внутренне досадуя на Марусю за ее девичье легкомыслие, вовсе уже неуместное в такой обстановке. — Сама она говорила, что блондинка.

— А ваши-то собственные глаза где были? — изумилась Маруся.

— Мои?.. Мои глаза при мне были, но я не обладаю способностью различать цвет волос по телеграфу.

— По телеграфу? Я что-то не понимаю, Тихон Спиридонович. Вы загадками говорите сегодня.

— Никаких нет загадок, просто смешная история и походит даже на анекдот. Если спать не очень торопитесь, я вам расскажу. Года три с половиной уже прошло. Попал я на этот разъезд, скучно мне на дежурствах по ночам — нет спасения! Вот мы с одной телеграфисткой и завели знакомство. Она дежурит на своем полустанке, я — на своем; всю ночь, бывало, стучим, переговариваемся. Сначала так, о разных пустяках, потом я комплименты начал ей выстукивать, она кокетничала в ответ: «Вы,

наверное, очень симпатичный, опишите мне свою наружность». А чего я буду описывать, если голова у меня рыжая и глаза как бутылочное стекло...

— И ничего подобного! — сказала Маруся. — Глаза у вас хорошие.

— Какие уж там хорошие!.. Словом, не захотелось мне свою наружность описывать, а тут на столе у меня рядом с аппаратом лежал роман писателя Георга Эберса... Не читали? Он больше о Египте пишет, о фараонах разных, и в этом романе один фараон был у него описан — очень красивый мужчина! Я, долго не думая, все и содрал, только слова немного переставил. Ну, ясно, произвел впечатление: лицо смуглое, матовое, обрамленное черными прядями, глаза как черные огни и все прочее в том же духе. А потом девушка моя начала свою наружность описывать. Она честно описывала, без литературы, у нее получилось не так картинно, как у меня, но все же самое главное я уловил. Так мы всю зиму и разговаривали, и уж до того дошли, что насчет перемены судьбы начали толковать. Вкусы у нас вроде сходятся, взгляды на жизнь одинаковые, характеры тоже сходятся. Она передает однажды: «Возьмите отпуск на три дня и приезжайте! Жду. А если не приедете, значит все это с вашей стороны был один только пустой разговор от скуки». Тут я и опомнился: хорош, думаю, фараон явится — рыжий!

Он свернул папиросу и, усмехнувшись, добавил:

— Между тем из истории известно, что в Египте рыжих людей презирали и даже не пускали их в города... Извините, я в шалаш залезу покурить, а то на воле командир запретил.

Он забрался в шалаш и, припав к земле, чиркнул спичку. На Марусю потянуло табачным дымом.

— Ну и что же дальше? — спросила она.

— А ничего... Не пускали — и все. Живи где-нибудь в пустыне под пирамидой, раз ты рыжий...

— Да я не о том. Я спрашиваю — поехали вы или нет?

Тихон Спиридонович долго, с излишним усердием раскуривал папиросу.

— Нет, не поехал.

— Так я и знала!

— А зачем бы я поехал? Срамиться?

— Может быть, ей бронзовые волосы больше бы понравились, чем эти, как их, фараонские, египетские?

— Здесь не в египетских волосах дело, а в моем характере, — сказал Тихон Спиридонович, поворачивая разговор на свою любимую тему. — Хотел поехать, да напали разные сомнения. Жениться? Никогда не был женатым — боязно... В общем, характер мой все дело смазал.

— Странный вы человек, — вздохнула Маруся. — Сами себе жизнь портите.

— Не я порчу, мой характер мне жизнь портит. Чувствую, погубит он меня когда-нибудь.

— Да почему же у других людей этого нет? — воскликнула Маруся. — Вы посмотрите на моряков!

— Это дело совсем особое — моряки! — оживился Тихон Спиридонович. — Если бы меня смолоду взяли во флот служить, я бы совсем другой характер имел. Моряки — они все в одном кулаке! В море, на корабле, — вместе, на суше — вместе. Петя за Ваню держится, Ваня за Степу, а Степа за Васю. Моряку робеть нельзя: он у товарищей на глазах, ему с товарищами сколько лет еще кашу из одного котла есть. А мне в одиночку жить пришлось, вот и получился такой характер, что сам не рад.

— Вы теперь человек военный, — напомнила Маруся. — Вам надо свой характер менять.

— Надо, конечно. Только с какого боку приниматься?

— Вы должны в себя поверить, — решительно сказала Маруся. — Бросьте думать, что вы хуже других, это самые вредные мысли. Да вы и на самом деле ничуть не хуже! И девушек напрасно вы боитесь, бегаете от них. Вы с моряков берите пример — они веселые, смелые! От девушек не бегают и немцев не боятся.

Тихон Спиридонович обиделся.

— А что, я немцев боюсь, по-вашему? Я никого не боюсь и от девушек вовсе не бегаю.

— Как же так не бегаете? Вы даже меня сторонитесь.

— Неправда! — возразил Тихон Спиридонович с горячностью. — Я, наоборот, слишком часто с вами разговариваю. Прошлый раз командир и то заметил, что я ухаживаю...

Тихон Спиридонович прикусил язык, сообразив, что нечаянно проговорился, но было уже поздно: Маруся на лету схватила роковое слово.

— Да вы разве ухаживали? — спросила она, а в голосе так и светилось женское лукавство. — Представьте, я даже не заметила... Вот видите, какой вы робкий.

— Собственно, я не так выразился... Я ничего... без всяких намерений, — в сильнейшем замешательстве забормотал Тихон Спиридонович. — Это командир так подумал.

Маруся вдруг рассердилась.

— Командир, командир! Подумал, заметил, покосился... А вы сразу — в сторону, в кусты!.. Подумаешь, какое дело, пускай думает себе все, что хочет! Он мне, во-первых, не муж, а во-вторых, зачем у него обязательно на глазах? Можно так ухаживать, что он и знать ничего не будет.

Тихон Спиридонович, не ожидавший столь крутого и решительного поворота, окончательно смутился, начал бормотать и мямлить. Сразу вспомнил, что его ждут, заторопился и ушел. А Маруся, очень довольная тем, что ей удалось смутить кроткого Тихона Спиридоновича и нарушить его душевное спокойствие, посидела еще немного, посмотрела, тихо смеясь, на звезды и легла спать. Ей было тепло и уютно в шалаше, рядом с девочкой, за широкой спиной Папаши, который заливисто храпел, положив голову на свой мешок с деньгами.

Никулин, вернувшись, застал в шалаше сонное царство. Тихонько, чтобы никого не потревожить, он лег у входа, накрылся бушлатом. Но уснуть не мог, томимый тревогой за Фомичева. Тревога эта, днем глухая и неясная, к ночи обострилась так, что впору было Никулину самому идти в занятое немцами село к Фомичеву на выручку.

Тщетно успокаивал он себя и даже ругал — тревога, усиливаясь, переходила в уверенность, что там, в селе, с Фомичевым стряслось неладное.

ЯКОРЬ ПОГУБИЛ

Не зря томился Никулин, не зря чуяло беду его сердце.

Фомичев попался.

Он все предусмотрел, отправляясь в разведку, об одном только позабыл — о татуировке на груди и руках. Татуировка и выдала его немцам с головой. Кто поверит

человеку, что он природный колхозник, если во всю грудь у него красуется корабль, извергающий клубы дыма из пушек, а на правой руке, пониже локтя, изображен якорь, перевитый могучей цепью?

И сейчас, в глухую полночь, когда Никулин, измученный бессонницей, ворочался на камышовой подстилке, глядя в темноту широко открытыми, тоскующими глазами, начальник его штаба, Захар Фомичев, в разодранной рубахе, без шапки, босой, в синяках и кровоподтеках после допроса, сидел в холодной темной бане, прислушиваясь к шагам и кашлю часового за дверью.

Погубил Фомичева якорь. Вначале разведка шла очень ладно. В селе, помимо фашистских солдат, были и местные жители, не успевшие уйти, и застрявшие здесь проезжие колхозники, у которых оккупанты поотбирали лошадей и волов. Затерявшись в этой пестрой толпе, Фомичев, не возбуждая подозрений, быстро разузнал все, что требовалось: фашистов в селе не больше двух рот, скотный двор, где содержатся пленные, находится на западной окраине села. Неподалеку устроен склад горючего: видимо, оккупанты поджидают в скором времени танки. Фомичев разведал подходы к селу и уже собрался в обратный путь, но захотелось ему пить, и он завернул к колодцу. Когда он поднял тяжелую бадью и жадно прильнул к ней губами, рукав полушубка задрался и якорь выглянул. А на беду оказались рядом какие-то фашисты, которым такие якоря были очень памятны еще с Одессы и Севастополя. Залопотав, загалдев, они поволокли Фомичева в комендатуру, к офицеру.

Офицер говорил по-русски и обходился без переводчика. Выслушав Фомичева, едко усмехнулся.

— Я вижу, ты есть большой мастер говорить сказка для дурак... Но мы не есть дурак, а ты не есть бауэр, колхозник. Какой корабль ты служил?

Закончился допрос избиением, в котором принял участие и сам офицер. Фомичева заперли в бане, предупредив, что если и завтра он ничего не скажет, его расстреляют.

Фомичев много раз бестрепетно смотрел смерти в лицо, а сегодня всерьез испугался. До последней минуты он все еще надеялся, что удастся как-нибудь выкрутиться, но когда дверь бани закрылась за ним, понял: кончено!.. Значит, погиб черноморский моряк Захар Фоми-

чев, и зря погиб, без толку, без пользы! Никому не пригодятся теперь сведения, собранные в разведке, незавершенным останется счет фашистских голов. Думал о сотне, а набрал только полтора десятка. Плохи твои дела, Захар Фомичев, совсем плохи!

Ночью он плакал тяжелыми, скупыми слезами. Значит, он должен умереть, а фрицы, искалечившие его жену, убившие его детей, останутся жить? Он не смог защитить свою семью, был далеко в это время. Единственное, что осталось ему в жизни, — месть! Значит, не будет мести, ничего не будет? И, чувствуя свое бессилие, мучась сознанием величайшей несправедливости в своей судьбе, Фомичев плакал от нестерпимой обиды, она так теснила и жгла его сердце, что впору было завыть, удариться о землю головой!

Утром его снова повели на допрос. Он отвечал на все вопросы молчанием, готовясь в душе к смерти. Но офицер, видимо, не потерял еще надежды. Очнулся Фомичев опять в бане, с трудом открыл правый глаз. Левый, синий и заплывший, не открывался. Он ощупал рассеченный плетью лоб, поднялся и сел на скамейку, стараясь вспомнить, чем кончился допрос. Его начали бить, это он помнил, а потом — провал в памяти, какой-то черный туман. Фомичев хотел прилечь — и застонал: каждое движение режущей болью отдавалось по всему телу.

В крошечное окошечко синевато-дымным лучом светило солнце, за стеной кудахтали куры — там, на воле, было утро, солнечное, яркое, с легким морозцем, опушившим края очеретовых крыш. «Ждут меня ребята! — подумал Фомичев. — Не дождутся... Эх, товарищ командир, прощай, не увидимся!»

...Но командир Никулин думал иначе. Не в морских обычаях бросать товарища в беде. Никулин решил направить в село вторую разведку, чтобы к вечеру получить необходимые сведения, а ночью ударить, разгромить врага и освободить Фомичева, если он еще жив.

Так же думали все остальные моряки. К Никулину приходили уже и Крылов, и Жуков, и Харченко с просьбой пустить их в село. Никулин медлил, понимая, что вторая разведка очень трудна и опасна. Захватив Фомичева, немцы, конечно, насторожились, и теперь послать к ним можно такого человека, который видом своим не внушает никаких решительно подозрений.

Кочегар Алеха?.. Тихон Спиридонович?.. Папаша?.. Да, пожалуй, придется послать Папашу: все-таки усы, борода, седина в голове... Но пахнет матросом от него, что хочешь делай, а пахнет!..

— Товарищ командир!

Никулин повернулся и увидел Марусю.

— Можно мне поговорить с вами, товарищ командир?

— О чем? Я занят сейчас.

— Быстро! В две минуты, — заторопилась Маруся. — У нас в отряде все бойцы за Фомичева очень беспокоятся.

— Знаю. Сам беспокоюсь.

— Говорят, послать кого-нибудь надо.

— Знаю. Об этом и думаю.

— Товарищ командир, пошлите меня.

— Вас?

Подобная мысль до сих пор не приходила Никулину в голову. Быстро и горячо, не давая ему опомниться, Маруся заговорила:

— Почему вы так удивились? Товарищ командир, я давно хотела сказать — вы как-то странно смотрите на меня... без доверия. Мне обидно, товарищ командир, очень обидно! Вот и сейчас... Ну что из того, что я женщина? Лучше даже. На женщину меньше подумают, что из партизанского отряда. Скажу — ищу ребенка. В мешке у меня жакетка есть, юбка, туфли — все есть! А так я не могу, товарищ командир, без дела в отряде. Товарищ командир, пошлите меня!

В ее голосе было столько порыва, надежды, искренней обиды, что Никулин задумался. В самом деле, трудно было найти более подходящего разведчика.

— Дело очень уж опасное, — нерешительно сказал он. — Сложное дело! Смелость требуется, хитрость...

— Я смелая! — перебила Маруся. — Вы разве не заметили, что я смелая? И вы не думайте, что я такая уж простая. Я очень хитрая, кого угодно проведу.

— Вон что! — усмехнулся Никулин. — А дорогу найдете?

Из этого вопроса Маруся поняла, что командир готов согласиться.

— Найду! И туда найду и обратно...

— А если к немцам в лапы, не ровен час, угодите?

Он посмотрел на нее внимательно и пристально, в упор. Она, побледнев от волнения, ответила таким же прямым взглядом.

— Буду молчать! Пусть заживо сожгут или в землю закапывают, все равно не скажу. Вы не верите мне, товарищ командир? Я клянусь!

— Верю! — сказал Никулин. — Идите в разведку!..

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ

Фомичев ждал третьего и последнего допроса.

Кривясь и морщась от боли, он подошел к окошечку, из которого видны были гумна, две облетевшие ракиты и за ними — степь в осеннем солнечном золоте, просторная, широкая, до самого небосклона пустая. Никого в степи — ни пешего, ни конного. Еще больнее сжалось сердце у Фомичева — лучше уж не смотреть!

В полдень у бани сменили часового. Вместо хмурого низколобого немца с подвязанной, распухшей от флюса щекой встал итальянский солдат — красивый, ладный парень в щегольски сдвинутой набекрень пилотке, с большими, темно-бархатными глазами на смуглом лице и тонкими усиками над свежими, румяными губами. Он был, вероятно, самый главный сердцеед у себя дома, где-нибудь в деревне, близ Палермо, и привык заботиться о своей внешности; заняв пост и выждав, когда скроется караульный начальник, он закурил, заглянул в окошечко, пустил на Фомичева струйку дыма, потом, прислонившись к стене и положив штык винтовки на сгиб локтя с внутренней стороны, достал из кармана зеркальце, щеточку и занялся приглаживанием и закручиванием своих усиков. Он занимался этим делом серьезно, вдумчиво, неторопливо.

Вдруг он встрепенулся — на дороге, что огибала баню, увидел Марусю. Она шла, опустив голову, не глядя по сторонам, и, казалось, ничего не замечала вокруг себя.

В действительности же она все видела и замечала. Она выбрала эту дорогу нарочно, узнав от местных казачек, что именно здесь, в темной бане, томится пойманный вчера матрос. Никаких определенных планов у Маруси пока еще не было — она просто решила взглянуть на эту баню, приметить ее расположение. А может быть, по

какой-нибудь счастливой случайности удастся подать ободряющий знак Фомичеву...

Она шла и видела все — крохотное окошечко в стене, огромный замок на двери, итальянского солдата, его усики, улыбку, бархатные глаза, наполнившиеся влажной истомой.

Все, что дальше говорила и делала Маруся, совершалось как бы помимо ее воли, само по себе. В душе она вся трепетала от страха и волнения, даже ноги подкашивались, но сам по себе метнулся в сторону часового быстрый взгляд ее карих лучистых глаз, сама собой появилась улыбка.

— Я, право, не знала, что здесь нельзя. — Эти слова произнесла не она, а кто-то другой, спрятавшийся в ней. Этот же другой изобразил на ее лице милую наивную растерянность. — Я, право, не знала...

Она залилась робким, стыдливым румянцем и потупилась.

Итальянец, конечно, не сомневался, что смущение и волнение девушки вызваны его неотразимой наружностью. Будучи чрезвычайно опытным в такого рода делах, он знал, что случай надо хватать на лету. Бросив по сторонам вороватый взгляд — нет ли поблизости офицера? — он вкрадчивой походкой, играя коленями, направился к Марусе.

— Ах! — испугался в ней кто-то другой. — Я же не знала... Я сейчас уйду...

— Не бойсь! — мурлыча, сказал итальянец. — Не надо бойсь...

Он скосил глаза и улыбнулся Марусе. Она ответила улыбкой. То есть это не она ответила, а тот, другой, что прятался в ней, сама же она думала о Фомичеве и не сводила глаз с крохотного слепого окошечка в стене бани. Итальянец потянулся к ней. Отстраняясь, она встала так, чтобы окошечко оказалось у нее перед глазами, а у солдата — за спиной.

— Не надо! — говорила она, снимая со своего плеча руку солдата. — Не надо же!

А сама всем существом, глазами, сердцем звала Фомичева: «Ну, выгляни же, подойди к окошку!..». Солдат что-то мурлыкал, гладил ее шею, запускал пальцы под платок, она слабо защищалась (другой, прятавшийся в ней, не забывал при этом улыбаться солдату, не забывал и вздыхать) и все звала, звала моряка.

Должно быть, услышал он сердцем ее призыв. Окошечко изнутри забелело; она поняла — это лицо Фомичева. В следующее мгновение они встретились глазами. Маруся смотрела через плечо солдата, который в это время, нагнувшись, разглядывал брошку на её груди, норовя запустить глаза поглубже, за вырез.

«Я здесь», — глазами сказала Маруся.

«Вижу», — ответил Фомичев тоже глазами, без слов.

«Не бойся. Мы тебя выручим!»

«Если успеете», — ответил Фомичев.

А солдат все разглядывал и разглядывал брошку, потом начал ощупывать ее, нажимая ладонью с излишним усердием.

...Фомичев метался по темной и тесной бане. Вот она, Маруся, рядом, а сказать ей ничего нельзя! Так немного нужно сказать — и в руках у нее окажутся все сведения. А потом — пусть расстреливают! В свой смертный час он, Захар Фомичев, будет знать, что погибает не зря, что боевое задание выполнил до конца!

Но как передать, если между ним и Марусей этот проклятый солдат?

И вдруг Фомичева обожгла догадка. Военная хитрость! Вот когда она пригодилась!

Маруся услышала голос Фомичева. Он пел, и слова его песни доносились внятно:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
А в той глухой степи...

Часовой обернулся, погрозил пленному кулаком.

— Ньельзя!..

— Это кто? — спросила Маруся, отвлекая внимание солдата.

По вопросительной интонации в ее голосе он понял, о чем его спрашивают.

— Партизан, — ответил он. — Бах!

Он сделал пальцем движение, как будто нажимал курок, поясняя этим жестом судьбу Фомичева. Потом опять занялся разглядыванием брошки.

Маруся не мешала ему. Ей не до того было. Она даже вздрогнула, когда Фомичев подменил в песне первое слово.

...Он товарищу
Отдавал приказ..., —

пел Фомичев.

А дальше, на том же мотиве, шли совсем другие слова, из другой песни — из боевой песни, сочиненной самим Захаром Фомичевым.

...Их не много здесь,
Сотни три всего,
Танков нет у них,
Да и пушек нет...

Маруся слушала жадно, позабыв о солдате, который, осмелев, уже тянулся к ней губами и что-то несвязно бормотал, щекоча ее ухо своим горячим дыханьем.

— Вьечер, — шептал солдат. — Восьем час. Ты не бойсь, ты ходи... Восьем час...

Тот, другой, прятавшийся в Марусе, делал вид, что не понимает, солдат принялся объяснять снова. А Фомичев все пел и пел, тихонько, но внятно.

— Вечером? — наконец поняла Маруся. — В восемь часов?

Она уже все знала: сколько в селе войск, какие это войска, откуда удобнее всего ударить. Она знала, что танков нет, но их ждут и приготовили уже горючее.

— Ты не бойсь, ты ходи, — шептал солдат.

— Ладно! Приду!

Выпрямившись, она ошпарила солдата таким взглядом, что он отшатнулся, пораженный столь резкой переменой.

— Восьем час, — забормотал он, сладко улыбаясь.

— Слышала!.. Ладно, приду! Жди, макаронник!.. Только потом не жалуйся!..

Она сильно и резко оторвала от себя руки солдата, повернулась и пошла.

Солдат смотрел ей вслед с недоумением. «Очень, очень странный и капризный характер у этих русских девушек!» — думал, наверное, он.

НАЛЕТ

Обратно Маруся не шла — летела, как на крыльях. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она появилась перед Никулиным.

Он, конечно, не мог ожидать столь быстрого ее возвращения, удивился, даже испугался.

— Что случилось?

— Разрешите доложить, товарищ командир, ваше приказание выполнено!

Она светилась от радости, от гордости. Глаза сияли, с лица не сходила ослепительная улыбка, голос звенел.

— Разрешите доложить результаты разведки...

Выслушав Марусю, Никулин изумился:

— Да когда же вы успели?

Она рассказала обо всем, что с ней случилось в селе. Никулин расхохотался и долго не мог успокоиться.

— Ну и дела! Значит, попался макаронник! Вот уж не думал я о тебе такого. Скромница на вид, а смотри, пожалуйста, в момент окрутила! Молодец! Благодарность тебе!

Никулин не замечал, что обращается к Марусе на ты в первый раз за все время. Она же заметила и расцвела, засияла еще больше: этим дружеским «ты» командир как бы ставил ее в один ряд с моряками, своими товарищами.

В этот день много было смеха в отряде. Маруся без конца рассказывала о своем приключении. Особенно потешался Жуков, дразнил Марусю:

— Ты уж признавайся: понравился итальянец? Небось вместо винтовки мандолина у него?

— Значит, приходи, говорит, «восьем час»! — подхватывал Крылов. — Ишь ты, прыткий! С налету хватает!..

— Придем, не опоздаем, — добавлял Папаша, посмеиваясь в усы.

А Тихон Спиридонович завистливо вздыхал.

— Вот ведь, Маруся, какая удача вам!

— Будут и у вас, Тихон Спиридонович, боевые дела! — отвечала Маруся.

— Вот уж не знаю, подвернется ли случай. Я ведь такой — не везет мне...

Долго смеяться и болтать, однако, не пришлось. Командир приказал готовиться к бою, проверить оружие.

Отряд разбился на три группы. Командование первой принял на себя сам Никулин, вторую группу поручил Крылову, третью — Жукову.

— Товарищ командир, мне в какую группу? — спросила Маруся.

— Тебе? Ни в какую...

— Почему? Разве я стрелять не умею?

Он уловил обиду в ее голосе.

— А за девчонкой кто будет смотреть? Одну бросить — так, что ли, по-твоему? Скажу тебе еще: судьбу два раза подряд пытать не годится. Ты свое сделала, теперь наша очередь. И прошу не спорить, — рассердился он, видя, что Маруся собирается протестовать.

Так и не пришлось Марусе принять участие в этом бою. Вместе с отрядом она дошла до оврага и здесь осталась вдвоем с девочкой, а бойцы, дождавшись сумерек, двинулись дальше. Никулин повел своих людей прямо на село. Крылов и Жуков пошли в обход.

Маруся выбрала себе место в кустах, на глинистом склоне оврага. Отсюда было видно сельскую колокольню, над которой по смутному и слабому мерцанию угадывался крест, а ниже стоял дымный сумрак и хмуро темнели над крайними хатами серые купы ветел.

Девочка все время теребила Марусю.

— Будут стрелять?.. Да? Будут стрелять?..

В ее глазах горели острые огоньки страха и любопытства.

— Молчи, молчи, — говорила Маруся, а сама волновалась не меньше, даже во рту пересохло.

Между тем солнце зашло совсем, далекое мерцание над колокольней погасло, потянуло ночной холодной сыростью, на дне оврага забелел туман. А бой все еще не начался, над землей стояла тишина. Марусе каждая минута казалась часом. Хоть бы уж поскорее!..

И вдруг в потемневшем небе взвились две красные ракеты и рассыпались красивым огнистым дождем. Никулин подал сигнал атаки. Маруся подскочила, услышав первую пулеметную очередь. Девочка заплакала. Донеслись три глухих разрыва — в дело пошли гранаты. Потом все слилось в общем гуле — бой завязался.

Он продолжался недолго. Захваченные врасплох фашисты выскакивали из хат и падали, скошенные пулями, осколками гранат. Пока Жуков и Крылов пробивались с двух сторон к центру села, Никулин налетел на скотный двор, где содержались пленные, перебил охрану, освободил пленных и повел за собой, приказав каждому любым способом раздобывать для себя оружие. Пленных оказалось больше сотни, через десять-пятнадцать минут все вооружились — кто автоматом, кто винтовкой, кто пистолетом или гранатой, а кто и просто тесаком. Никулин быстро пробился к центру села, соединился с Крыловым.

А Жукова не было. С того конца, откуда он наступал, доносилась винтовочная и пулеметная стрельба.

— Застрял парень! — тревожно сказал Никулин. — Иди, Крылов, выручай!

Но в это время, потрясая землю, ударил могучий взрыв противотанковой гранаты, стрельба прекратилась, и через десять минут из переулка на площадь вышли бойцы Жукова, гоня перед собой толпу бледных солдат с поднятыми руками.

ПОДВИГ ТИХОНА СПИРИДОНОВИЧА

Бой еще не кончился, а Маруся уже бежала к селу, подхватив девочку на руки. Ей все думалось, что в горячке обязательно забудут о Фомичеве.

Напрасно она тревожилась. На площади у церкви она увидела Фомичева. Он сидел рядом с Никулиным на каменных ступенях паперти, Папаша бережно бинтовал его разбитую голову.

— А! Пришли! — закричал Фомичев навстречу Марусе.

Отстранив Папашу, он встал, обнял Марусю и, прижав к себе, крепко поцеловал.

— Спасибо, сестричка! Выручила! Без тебя пропадать бы мне...

Горячая судорога вдруг перехватила горло Маруси — она всхлипнула и залилась слезами на груди у Фомичева.

Никулин, сердито крякнул, отвернулся: не любил он трогательных сцен.

Бойцы тем временем рассыпались по хатам, выволакивали последних, прятавшихся в погребах и на чердаках солдат. Только немногим гитлеровцам удалось выбраться из села и скрыться в степи.

Маруся увидела Тихона Спиридоновича.

— Ну, как воевали, Тихон Спиридонович? Совершили боевое дело?

Она засмеялась, хотя глаза были еще мокрыми.

— Совершил! — ответил Тихон Спиридонович, смущенно улыбаясь.

Жуков, стоявший рядом, добавил:

— Поздравь его, Маруся. Герой!.. Жалко вот, гауптвахты нет, припаял бы я ему за такое геройство! Сначала

бы медалью наградил «За отвагу», а потом — на гауптвахту на десять суток.

И он рассказал о сегодняшнем подвиге Тихона Спиридоновича.

Отряду, которым командовал Жуков, попался на пути какой-то смелый и стойкий фашист — из окна хаты он прямо в лоб морякам открыл шквальный огонь из спаренных пулеметов. Пришлось залечь — и плотно: фашист не давал поднять головы. Создалось очень сложное, опасное положение. Моряки теряли свой главный козырь — внезапность удара. Вражеские солдаты могли каждую минуту опомниться, рвануться в атаку и смять маленький отряд.

Тогда под этим сплошным ливнем пуль с земли поднялся Тихон Спиридонович. В полусвете зари Жуков сразу узнал его длинную, сутулую фигуру в кургузом пальто с короткими развевающимися полами. Пригнув голову, точно собираясь бодаться, он с противотанковой гранатой в руках пошел прямо на пулеметы. Жуков похолодел — это была верная, неминуемая гибель.

— Ложись! — сдавленным голосом закричал Жуков. — Ложись, черт длинный!..

Тихон Спиридонович не слышал. Пулеметы яростно ревели ему навстречу, озаряя сумрак судорожным красновато-желтым пламенем, а Тихон Спиридонович шел и не падал. Это было как чудо — что он шел и не падал под таким огнем, точно был он бесплотен. Пулеметчик, вероятно, и сам испугался, а Тихон Спиридонович, приблизившись к хате шагов на тридцать, вдруг подскочил и бочком-бочком, мелкими петушиными шагами побежал на пулеметы, занеся над головой гранату... Бросил — и остановился.

— Ложись! — завопил Жуков. — Осколки!..

И не закончил — голос его оборвался в страшном грохоте взрыва. Пулеметы смолкли. Моряки бросились вперед.

Жуков подбежал к Тихону Спиридоновичу:

— Цел?

— Цел! — ответил Тихон Спиридонович, жалостно улыбаясь.

Жуков внимательно осмотрел его. Дырок на Тихоне Спиридоновиче не было.

— Пулей не задело?

— Нет.

— И осколком не тронуло?

— Нет, не тронуло...

— Удивительно! — сказал Жуков. — Очень даже удивительно!.. Первый раз такое вижу. Теперь, Тихон Спиридонович, жить тебе до ста лет!..

Маруся поминутно прерывала рассказ Жукова возгласами изумления и восхищения.

— И не страшно было вам? — спрашивала она Тихона Спиридоновича. — Как вы могли решиться?

Потом Маруся вместе с Жуковым и Тихоном Спиридоновичем пошла разыскивать своего итальянца. Очень хотелось сказать ему: «Ну, макаронник, встречай! Звал ведь: «вьечер, восьем час», — вот я и пришла!..». Но итальянца среди пленных не оказалось — может быть, он с пробитой головой лежал где-нибудь под плетнем, а может быть, брел ночной неприютной степью, озираясь и вздрагивая от каждого шороха.

— Жалко, — сказал Жуков. — Эх, Маруся, упустила ты жениха! Жила бы потом, после войны, где-нибудь в Риме или в Неаполе... С римским папой бы познакомилась, макароны бы каждый день ела!

Между тем местные жители оправились от испуга, высыпали на площадь. Задымили самовары, запылали печи — дорогим гостям готовилось угощение. Но командир спешил, понимая, что село, где только что отшумел бой, слишком ненадежное место для привала.

Через час отряд Никулина, к которому присоединились освобожденные из плена бойцы и человек тридцать местных колхозников, вышел из села в степь.

Ярко светила полная луна. Никулин окинул взглядом колонну.

— Сто девяносто два человека! — сказал он Фомичеву. — Сила! Любую стенку прошибем!

НАШИ НАСТУПАЮТ

Теперь, имея под своим командованием сто девяносто два человека, целую роту, Никулин мог действовать смелее.

Он решил не задерживаться в немецком тылу. Погуляли и хватит, пора честь знать, пора возвращаться к своим.

Отряд, передвигавшийся до сих пор вдоль фронта, повернул к передовым вражеским линиям — на прорыв.

А на следующий день произошло событие, изменившее все планы и расчеты Никулина. В сумерки над селом, где отдыхал отряд, появился, пробив низкие грузные тучи, наш, советский самолет и сбросил белую стаю листовок. Ветер подхватил их, понес над крышами и деревьями; вдогонку с воплями и криками ударились мальчишки. А через десять минут село радостно и взволнованно загудело из конца в конец:

— Наши наступают!..

Да, в ту пору на этом участке наши перешли в наступление. Советское командование извещало об этом жителей оккупированных районов и партизан, призывая помогать наступлению, бить врага с тыла, резать пути его отхода, взрывать мосты, портить дороги.

Наши наступают! Эти слова звучали, перекатывались, отдавались во всех дворах и хатах.

Старый казак, хозяин хаты, где остановился Никулин, с торжественной медлительностью стал на колени перед образами и поклонился земно. За окнами ветер раскачивал деревья, хлестал в стекла дождем, шуршал очеретом на крыше, гудел в трубе. Перед образами красной каплей светила лампада, старика почти совсем не видно было в полутьме, слышался только горячий, то жалобный, то гневный шепот его. Никулин не шевелился, боясь помешать этой молитве, праведность и святость которой чувствовал сердцем. В тот памятный ненастный вечер многие старики и старухи молились перед образами, а кто помоложе, посильнее — доставали из стогов и кизячных штабелей густо залитые салом винтовки, гранаты, пулеметы, готовясь достойно попрощаться с фашистами, проводить их с нашей земли прямо в землю!

Никулин, собрав моряков в свою хату на экстренное совещание, сказал:

— Слушайте, товарищи! Красная Армия переходит в этих местах в наступление. Значит, пришло время и нам наступать, должны мы помочь Красной Армии разгромить и уничтожить вражеские дивизии, что позабирались в эти края. Хватит нам теперь от немцев укрываться, сторонкой их обходить, теперь сами будем их искать и бить везде, где только попадутся. Остаемся в немецком тылу — наше место теперь здесь. Завтра разобью отряд на подразделения, назначу командиров. Завтра же напра-

вим письмо нашему командованию от имени всех бойцов отряда.

Когда моряки разошлись, Никулин сел за письмо и сидел долго — все казалось ему, что слова, ложась на бумагу, теряют свой накал и живой трепет. Он перечеркивал, писал и снова перечеркивал. Было уже поздно, когда он закончил письмо. Волнуясь и запинаясь, он вполголоса прочел его вслух и опять задумался, не зная, удалось ли наконец найти горячие, настоящие слова. «Пусть так и остается, — решил Никулин. Поймут...»

Спать не хотелось. Никулин вышел на двор. Дождь кончился, тучи ушли, над землей стоял светлый лунный туман. Было сыро и тихо, ветер вздыхал только изредка. Вдруг Никулин вздрогнул и насторожился, уловив глухой, слабый рокот. Не шевелясь и напряженно вслушиваясь, он стоял долго, но рокот больше не повторился. Так и не понял Никулин — то ли почудилось ему, то ли вправду донесся по ветру далекий орудийный раскат — голос нашего наступления.

КЛЯТВА

Утром, выстроив отряд, Никулин прошел вдоль шеренг, внимательно вглядываясь в лица своих бойцов.

— Товарищи бойцы! — сказал он. — Красная Армия наступает, вам это известно. Наша задача — бить врага с тыла, резать ему пути отхода. И я должен предупредить, что поведу вас на самые опасные дела, не считаясь с численностью противника и с его вооружением. Бои будут жестокие, неравные, может быть, всем нам суждено погибнуть. Если кто чувствует слабость, сомневается в себе, пусть скажет сразу, чтобы потом не создавать в бою паники, не подводить товарищей. Наши наступают, скоро будут здесь. Сомневающиеся могут где-нибудь укрыться и дождаться прихода наших частей.

Передохнув, он закончил:

— А кто за Советскую власть, за Родину готов биться до смерти — шаг вперед!

Строй всколыхнулся и весь подался вперед. Прямо перед Никулиным, выкатив могучую грудь, стоял седобородый казак с серебряной серьгой в ухе и медалью «За трудовое отличие» на груди — какой-нибудь колхозный бригадир или пасечник.

— Так я и думал, что в моем отряде подобрались настоящие люди! — сказал Никулин. — Спасибо, товарищи! Примем клятву верности. Повторяйте за мной: «Я, боец отдельного морского отряда, клянусь перед Родиной драться с фашистами за свою родную землю до последнего вздоха!».

Строй ответил сдержанным слитным гулом:

— «...до последнего вздоха!..»

— «Если изменю своим товарищам, своей Родине, то да покарает меня смертью рука советского правосудия!»

— «...рука советского правосудия!» — грозно и предостерегающе, с торжественной силой отозвался строй.

Разбив отряд на подразделения, Никулин назначил командиров. Фомичев, Жуков, Папаша, Крылов и Харченко получили по взводу. Командирами отделений стали другие моряки.

Письмо подписывали по старшинству. Первым подписал сам Никулин, за ним — командиры взводов, отделений и, наконец, рядовые бойцы, начиная с правого фланга. Маруся Крюкова — вечная левофланговая — подписалась последней.

— Ну как, Маруся, не раздумала? — спросил Никулин. — А то, может быть, другого человека пошлем, а ты останешься пока в селе, подождешь наших?

— Нет, не раздумала, товарищ командир. Раз уж вы меня в бой не берете, то я хоть письмо понесу.

— Опасное дело, Маруся. Через немецкие линии придется идти.

— Я знаю.

— Пройдешь?

— Думаю, пройду, товарищ командир.

— Держи, Маруся! — Никулин протянул ей письмо. — Держи и помни — в этом письме наш боевой рапорт... Всяко бывает, может быть, погибнем все до единого, и тогда никто знать ничего не будет о наших делах. Пропали куда-то люди; подумают еще, чего доброго, что мы немцам в плен сдались. Мы тебе, Маруся, нашу воинскую честь доверяем.

— Я сберегу, товарищ командир.

— Будь осторожна. А если случится беда, попадешься, тогда надо держаться...

— Не сомневайтесь, товарищ командир. Я клятву принимала: «до последнего вздоха!..».

— Верю! Ну, прощай, Маруся! — Он крепко тряхнул ее руку. — Скоро увидимся...

— Обязательно увидимся, товарищ командир.

Моряки сердечно провожали свою боевую подругу. Все говорили ей: «Не скучай, Маруся, скоро увидимся», и она отвечала всем: «Увидимся обязательно!».

Тихон Спиридонович задержался около Маруси. Он был смущен, расстроен, фуражка его съехала на затылок, сырой холодный ветер шевелил выбившуюся на лоб рыжую прядь.

— Вот и пришлось нам расстаться, Маруся... А поговорить о самом главном я так и не успел с вами.

Он заглянул ей в глаза. Она все поняла и слегка покраснела. Коснувшись ее локтя, он повторил со вздохом:

— Не успел... Да и не посмел, признаться...

Такое сиротливое, грустно-смешное сделалось у него при этом лицо, что Марусю вдруг в самое сердце толкнула горячая жалость. Оглянувшись, она приподнялась на цыпочки и, обхватив рукой его шею, неуловимо быстрым движением поцеловала в губы. Он испуганно отшатнулся, залился густой краской, а когда опомнился, Маруся пересекла уже улицу, в последний раз прощально махнула ему рукой и скрылась. Он рванулся было следом, но команда «стройся!» остановила его. Повинуясь привычке, он занял в рядах свое место; услышав справа: «восьмой!», без задержки отозвался: «девятый!»; а в душе его творилось что-то, ему самому непонятное, какое-то смятение и кипение разноречивых чувств! Сердце его горело и от радости и в то же время от горького сожаления, что счастье ушло и, может быть, навсегда, что оно не далось ему в руки, а лишь слегка опахнуло его лицо своим светлым крылом.

— Направо! Шагом...

Никулин оборвал команду, не закончив.

Далекий рокот, такой же, как и ночью, повторился подряд несколько раз. Его ясно услышали по ветру все бойцы.

Сомнений больше не оставалось: это рокотала наша артиллерия, это звучал издалека могучий голос нарастающего, стремительного наступления. Лавины танков, армады самолетов, колонны автомашин, артиллерия, конница и нескончаемые массы пехоты — все это, грохоча, лязгая, цокая, изрыгая огонь и сверкание, мчалось, летело,

двигалось на фашистов, сминая, сметая, вдавливая в землю вражескую силу!

Никулин повел свой отряд на зюйд-вест наперерез немецким отходящим частям.

А на восток, прямо навстречу свирепому голосу боев, с ясным лицом и без ужаса в сердце, шла, освещаемая холодными косыми лучами восхода, маленькая девушка, постоянный левофланговый — Маруся Крюкова.

ДРУЖКИ

Разгромив мимоходом несколько мелких вражеских частей, уничтожив сотню автомашин и десятка полтора танков, Никулин со своим отрядом вышел к реке, к той самой излучине, где фашисты, по слухам, спешно наводили переправу для своих отступающих войск. План Никулина был ясен и прост: выбрав момент, захватить подступы к переправе и держать фашистов на восточном берегу до тех пор, пока не подоспеют преследующие части Красной Армии.

Своим командирам Никулин сказал так:

— Переправу будем держать по-черноморски — сутки, двое, трое, если понадобится! Противника считать запрещаю: полк будет или дивизия — все равно переправу держать! На тот берег ни один фашист пройти не должен, а если пропустим — значит, грош нам цена и вечный позор. Фашистов нужно держать между двумя жерновами: когда всех перемелем, тогда и встречу со своими отпразднуем!

Командиры единодушно одобрили этот план, что же касается дерзости и риска, то о них вовсе не говорили — на то и война!

Проверить и уточнить обстановку Никулин поручил Фомичеву, сказав:

— Во второй раз, думаю, не попадешься. Ученый. Теперь не будешь своими якорями хвалиться.

Дождавшись темноты, Фомичев отправился в разведку, взяв себе в помощь Тихона Спиридоновича — своего дружка.

Они подружились недавно — после того памятного боя, когда Тихон Спиридонович в полный рост, с противотанковой гранатой в руке пошел прямо на ревущие пулеметы.

В их отношениях не было полного равенства: Фомичев держался слегка покровительственно, как старший; Тихон Спиридонович нисколько не обижался и молчаливо признавал его превосходство.

— Если бы мне смолоду попасть на море! — мечтательным голосом говорил иногда Тихон Спиридонович. — Совсем иначе сложилась бы тогда моя судьба, и характер был бы у меня другой.

— Это верно! — солидным баском подтверждал Фомичев. — На сухопутье вот, как я посмотрю, много мелких людишек живет. И даже сволочи есть среди них.

— Есть! Много еще! — соглашался Тихон Спиридонович.

— А на море таких людей не видишь. На море мелкому человеку делать нечего, а если взять, к примеру, сволочей, то их на море и вовсе нет.

— Откуда же они там возьмутся, на море? — льстиво поддакивал Тихон Спиридонович.

Когда Фомичев позвал его вместе с собой в разведку, Тихон Спиридонович просиял от гордости: приглашение это он воспринял как высокую честь для себя. Ведь Фомичев мог взять в спутники любого бойца, выбор его свидетельствовал о том, что Тихон Спиридонович продвинулся уже далеко на пути превращения своей души из сухопутной в морскую.

Шли всю ночь, было холодно, опаленная морозцем трава легко похрустывала под ногами. На рассвете увидели впереди, метрах в двухстах, белую пелену тумана.

— Стоп! — сказал Фомичев. — Река.

Скоро взошло солнце, разогнало туман, и глазам разведчиков открылась крутая излучина. Окаймленная камышами, она уходила далеко за холмы, поблескивая своей спокойной розовой гладью. Там, у холмов, работали фашисты, наводя переправу. В бинокль были хорошо видны ряды понтонов, груды наваленных бревен и досок, грузовики, то и дело подползавшие к реке.

— Торопятся, — сказал Фомичев, передавая Тихону Спиридоновичу бинокль. — Видно, крепко жмут их наши.

Лощинками, пригибаясь, а кое-где и на животах, продвинулись еще метров на триста. Лежали долго. Солнце поднялось высоко, согнало иней с травы, на сухих стеблях и листьях чернобыла заблестели крупные капли.

— Завтра к вечеру сделают, — сказал Фомичев. — Гляди, гляди, как стараются! Шкуру-то жалко на чужой земле оставлять.

Фомичев повел своего приятеля куда-то в глубокий обход, высмотрел все балки и бугры, обозначил их в книжке, пояснив:

— Этих, что по берегу копошатся, мы, конечно, враз перебьем. Но могут подойти подкрепления, и тогда некогда будет разбираться. Так мы лучше сейчас разберемся: где пулеметы поставить, где мины заложить. А теперь — держи! — он передал книжку Тихону Спиридоновичу. — Оставайся здесь и жди меня, а я попробую ближе подползти. Надо блиндажи и дзоты разведать, батареи посмотреть. Услышишь стрельбу — ко мне не беги, понял? Я и один отобьюсь, а твое дело — доставить сведения. Если не вернусь — дуй без задержки к нашим! Ну, счастливо!

Фомичев скользнул в заросшую ковылем промоину. Тихон Спиридонович остался один, томимый тревогой за своего покровителя и друга.

Все обошлось благополучно. Фомичев вернулся раньше назначенного срока, очень довольный результатами своей вылазки. Ему удалось подобраться почти вплотную к переправе, разведать две батареи, несколько дзотов, побывать на площадках, заготовленных для зенитных орудий. Счищая с колен и локтей налипшую грязь, он весело рассказывал:

— В десяти шагах прошли! «Ну, — думаю, — готов, попался!» Автомат приготовил, гранату. Нет, свернули! Тут лужа передо мной была, так они сапоги не захотели пачкать, сторонкой лужу обошли.

— Везет тебе! — сказал Тихон Спиридонович. — Второй раз из-под самой смерти уходишь.

— Второй?! — удивился Фомичев. — Двадцать второй, скажи — вот это правильно будет. И еще двадцать раз уйду, потому — погибать мне рано, нельзя мне погибать! Я с фашистов еще не все долги получил — шестьдесят четыре человека за ними. Вот соберу долги, тогда, пожалуйста, заказывайте ящик!

Тронулись в обратный путь — сначала по-над берегом, потом — лощинками, балками, промоинами, оглядывая время от времени горизонт. Тихо было в степи, плыли облака, и от них по бурой траве скользили светлые тени; в небе, распластав крылья, неподвижно стоял коршун. Эта

чистая высота, ширь и тишина наполнили Тихона Спиридоновича грустной жалостью, он шел и вспоминал Марусю Крюкову, силясь разгадать тайный смысл поцелуя, который она подарила ему на прощание. То ли просто дружеским был этот поцелуй, то ли таил в себе иную глубину? Тихон Спиридонович вздохнул: теперь уж ничего не узнаешь до встречи... Увлеченный своими грустными и тихими мыслями, он забыл о немцах, о войне, даже о Фомичеве забыл, хотя все время видел перед собой его широкую спину.

Война поспешила напомнить о себе.

С немецкими солдатами столкнулись нос к носу, когда переходили из одной лощины в другую. Тихон Спиридонович, увидев немцев, почувствовал истомную слабость в коленях, руки сразу стали мягкими, ватными. Почти одновременно с обеих сторон загремели выстрелы, но Фомичев успел опередить немцев — его автомат заговорил секундой раньше. Это решило исход молниеносной схватки: двое немцев упали, за ними ткнулся в землю и третий, последний. Граната, которой он размахнулся, выпала из его руки и оглушительно лопнула, подкинув его тело. Тихон Спиридонович почувствовал сильный удар в плечо и в ногу, понял, что ранен, и, бледный, перепуганный насмерть, повернулся к Фомичеву.

Моряк стоял на коленях, держась за голову, его щека и ухо были в крови.

— Вот чертовщина! — хрипло выругался он. — Лечь не успел, задело осколком...

Тихон Спиридонович посмотрел сонными, тусклыми глазами и медленно опустился на землю. Перед ним плыли красные тени, голос Фомичева уходил куда-то все дальше в глухую, мягкую глубину.

Тихон Спиридонович потерял сознание.

ИСПЫТАНИЕ

Он очнулся не сразу — сперва ощутил спиртной вкус и запах во рту, потом, открыв глаза, увидел над собой Фомичева с большой черной флягой в руках.

Это был немецкий трофейный коньяк. У немцев же нашлись и бинты. Перевязывая Тихона Спиридоновича, Фомичев шутил, посмеивался, но синеватые губы его то

и дело кривились от боли и слабости, глаза лихорадочно блестели под белой повязкой.

— Раны твои пустяковые, — утешал Фомичев. — Заживут в две недели. А ну, вставай пробуй!

Тихон Спиридонович встал — все опять закачалось и поплыло перед ним, как в сильном хмелю. Он пошатнулся. Фомичев подхватил его.

— Нет! — сказал Тихон Спиридонович. — Не могу.

Фомичев посмотрел на него с беспокойством. До своих оставалось не меньше десяти километров, а время подвинулось к полудню.

— Держись, браток! Доползем как-нибудь! Не здесь же, у немцев под самым носом, оставаться.

Волоча раненую ногу, Тихон Спиридонович пошел. Через пятнадцать минут присел на сырой бугорок. Потом он стал присаживаться все чаще — силы покидали его. Наконец он лег на траву и угрюмо сказал, что дальше не пойдет — хоть смерть!

— Эх, ты! — осуждающе сказал Фомичев. — А собрался в моряки записываться...

Тихон Спиридонович повернул к нему похудевшее, землистого цвета лицо с темными подглазьями и крикнул тонким злобным голосом:

— Силы нет, понял? Сам бы встал, без тебя!

Он попробовал подняться, но смог только сесть, да и то ненадолго — опять его потянуло к земле.

Фомичев постоял, подумал и, хлебнув для храбрости из фляги, опустился на колени, спиной к Тихону Спиридоновичу.

— Давай, браток, устраивайся.

— Не надо, — сказал Тихон Спиридонович. — Ты иди. Ты меня оставь.

— А командир что скажет? — рассердился Фомичев. — А ребята? Скажут, раненого товарища бросил. Давай, Тихон, садись, не томи душу.

Тащить на себе пятипудовый груз — это и для здорового человека работа нелегкая. У Фомичева остро щемило в груди, мутилось в глазах, дышал он трудно — с хрипящим надсадом и свистом. Вначале он решил отдыхать по десяти минут после каждого километра, но на первом же километре уходился так, что лежал пластом полчаса.

Тихон Спиридонович пожалел товарища, вызвался идти дальше сам, но очень скоро опять изнемог. Опять Фомичеву пришлось взваливать его на спину, а ноги тряс-

лись, разъезжались, кровь подкатывала к вискам густыми, тяжелыми волнами. Тогда понял Фомичев, что дотащить Тихона Спиридоновича ему не под силу, надо что-то придумывать. А что придумаешь, если в степи пусто и некого позвать на подмогу?

К вечеру низкое солнце позолотило степь, еще шире распахнув ее на все стороны. Фомичев прикинул: километра четыре прошли, не больше.

Задыхаясь, Фомичев присел, осторожно опустив Тихона Спиридоновича на землю. Ногам и плечам сразу стало легко, воздух свободно, свежо хлынул в грудь.

— Плохи наши дела. Слышишь, Тихон Спиридонович?

— Слышу.

— Удивительное дело — и крови потерял я немного, а слабость такая, что совсем одолела... Не донесу я тебя, Тихон, силы не хватает.

Тихон Спиридонович молчал, лежа на боку, уткнувшись лицом в сгиб локтя.

— Вдвоем нам здесь, в степи, оставаться нет никакого расчета, — сказал Фомичев.

— Я же говорил, — глухо, в землю, отозвался Тихон Спиридонович. — Я там еще говорил.

— Понадеялся я на себя, да ошибся малость. Главное дело — ранение, а то бы я вмиг домчал.

«Ну что же, — подумал Тихон Спиридонович, слыша голос Фомичева неясно, словно сквозь ватное одеяло. — Пусть так... Все равно!..»

Если бы Фомичев мог проникнуть в мысли Тихона Спиридоновича, то, конечно, ни за что не оставил бы его в степи. Но Фомичев был человек простой — что думал, то и говорил, и так же прямо понимал чужие слова, не стараясь разглядеть в их глубине скрытого смысла.

— Здесь место хорошее, — говорил Фомичев. — В кустарнике никто не увидит. Да и ночь скоро. Очень хорошее место.

— Да, хорошее... — повторил Тихон Спиридонович. — Очень хорошее место...

— Один я мигом дойду, — продолжал Фомичев. — Доложу командиру, возьму бойцов и с носилками — обратно. Не бойсь, не помрешь за ночь-то!

Приподнявшись на локте, Тихон Спиридонович посмотрел на своего дружка долго и странно и сказал:

— Я понимаю. Ты иди, Фомичев. Ты иди.

Фомичев неловко усмехнулся.

— Силы, понимаешь, не хватает! Если бы не ранение, тогда дело, конечно, совсем другое!

— Ты иди! — повторил Тихон Спиридонович с напором в голосе. — Иди, Фомичев!..

— Да уж придется. Другого нет выхода...

Фомичев наломал веток, нарвал полыни, устроил Тихону Спиридоновичу подстилку.

— Зипун я тебе оставлю, а мне самому на ходу и так тепло будет. Вот коньяк тебе, а это фляга с водой. Хлеб, сала кусок. Как у тебя автомат, гранаты, наган — в порядке?

— Спасибо... В порядке наган.

— Ну, прощай!

— Прощай!

Тихон Спиридонович на секунду задержал руку Фомичева в своей руке, вздохнул и затих на подстилке.

Он слышал удаляющиеся шаги — шорох сухой травы и хруст веточек под сапогами. Потом встала вокруг тишина, время остановилось — Тихон Спиридонович остался один.

Над ним была чистая бездонная глубина, такая спокойная, что ему сразу хорошо стало на сердце — все кончилось, ни о чем не надо хлопотать и никуда не надо спешить. Он лежал, смотрел в небо и словно бы тихо растворялся в нем, рассеивался голубым туманом и сам для себя, со всей своей жизнью, мыслями и чувствами, становился постепенно как бы далеким воспоминанием, которое не терзает сердце, а лишь слегка томит его. «Ну и пусть! — подумал он. — И совсем не страшно...» Ему и в самом деле было совсем не страшно. Он закрыл глаза. На него слабо тянул понизу мягкий ветер, холодя щеку.

Минуты или часы прошли в забытьи — он не заметил, но когда снова открыл глаза, то не увидел сквозной и спокойной голубизны над собой — небо опустилось и потемнело, утратив свою прозрачность, а по горизонту, между лиловыми завалами туч, протянулось тонкое и длинное оранжевое перо.

Хотелось пить. Тихон Спиридонович нашарил флягу и поднес ко рту. Попался коньяк — все равно! — он хлебнул раз и другой, как воду, не чувствуя вкуса и крепости. Вскоре голова истомно закружилась, мысли прояснились и пошли взблескивать, сменяя одна другую и угасая

бесследно. Тихон Спиридонович грустно усмехнулся, вспомнив Фомичева, — утешать взялся, вот чудак! А хороший был парень!.. Он вспомнил Фомичева, как вспоминают давно умерших или уехавших без возврата в дальние края, — словом, как вспоминают близких, встретиться с которыми больше не суждено. О том, что с Фомичевым простились всего шесть часов назад, он не подумал, да этих шести часов и не было для него: шесть ли часов, или шесть лет, или шестнадцать лет — не все ли равно?.. Так же отдаленно вспомнил он Никулина, Жукова, Папашу, потом в неясной смутной дымке встало перед ним лицо Маруси Крюковой, и он в своем сердце не ощутил ни боли, ни тоски, ни порыва.

Это были те страшные минуты в человеческой жизни, которые старят и охлаждают сердце, замедляют его биение, наполняют вялым безразличием, как холодным пеплом. Не очень крепок, видно, был стебель, на котором держался в жизни Тихон Спиридонович, и сейчас этот стебель пересыхал стремительно. Если бы тело Тихона Спиридоновича успевало дряхлеть вслед за его душой и сердцем, то в один этот вечер он бы высох, пожелтел, лицо его покрылось бы морщинами, волосы побелели и голова затряслась.

Он выпил еще коньяку и, оглушенный им, скользнул в черную пропасть, где не было ни мыслей, ни воспоминаний, ни видений...

...Очнулся он уже глубокой ночью. В холодной пустоте неба точно тянуло порывистым ветром, звезды мерцали неровно, то разгораясь, то снова тускнея. Беспредельным холодом веяло оттуда, нестерпим был этот ледяной звездный свет, а кругом стояла черная непроницаемая тишина и темь. Тихон Спиридонович приподнялся, посмотрел, ничего не увидел и сам почувствовал, что глаза у него безумные. «Эй!» — крикнул он слабо; голос его рассеялся без следа в этом великом звездном холоде. Тогда он понял, что погиб; он понял это с неотвратимой ясностью и ужаснулся. «Захар! Эй, Захар! Фомичев!» — позвал он и заплакал, вспомнив, что Фомичев ушел от него.

То, что он испытывал, не было страхом или ужасом, а чем-то гораздо большим по безысходности и непоправимости своей. Тело его не успело одряхлеть вслед за его душой, и произошло нарушение той внутренней целостности и гармонии, без которых нельзя жить человеку, если

он не безумен. А отсюда родился уже и не страх, а смятение, уверенность в том, что все кончилось и Фомичев, конечно, не вернется. Мысль эта все время таилась в душе Тихона Спиридоновича и тихонько подтачивала его, а теперь заслонила собою все, тяжко подавила разум и волю.

Ему стало так безнадежно, такую предельную подавленность и обреченность ощутил он в себе, что не мог больше ни думать, ни рассуждать — оцепенел в тоскливом изумлении. Над ним нависла темная тысячепудовая глыба, готовая вот-вот оборваться, и некуда было убежать или спрятаться. С заледеневшим сердцем он ждал, боясь поднять глаза к звездам.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТИХОНА СПИРИДОНОВИЧА

Те же яркие звезды, дрожащие трепетным огнем, то разноцветно вспыхивая, то опять тускнея, светили и Захару Фомичеву, когда он, одолев последний овраг, выбрался на глухой проселок, ведущий прямо к своим.

Фомичев был ранен тяжелее, чем показалось ему вначале. Он шел через силу, с натугой, пошатываясь и спотыкаясь, иногда падал. Он шел, не меняя курса, все вперед и вперед — пересекал промоины и лощины, переваливал через холмы, пробирался сквозь кустарник, увязал в топких мочажинах. Тяжко было ему, земля сладко манила прилечь, сами собой подгибались ноги, просили покоя, но разум и воля приказывали Фомичеву держаться, и он, как истый русский солдат-матрос, повиновался без жалоб и сетований, поскрипывая только зубами, когда приходилось очень уж трудно.

...Он дошел, а как — не помнил и сам.

— Ого! — сказал Никулин, увидев при свете карманного фонарика бурую от засохшей крови повязку на голове Фомичева и под ней — осунувшееся иссиня-меловое лицо с запавшими глазами, торчащими скулами и сухими, запекшимися губами.

— В порядке, — прохрипел Фомичев; в горле его засипело и булькнуло. — Разведали...

— Где Вальков?

— Там остался...

Фомичев покачнулся. Папаша подал ему кружку, наполненную чаем пополам с вином. Он жадно выпил и сел

тут же, прямо на землю. Никулин приказал отвести его в свой командирский шалаш.

— Давай фонарик поближе, — сказал Фомичев, когда они остались вдвоем в шалаше. — Вот смотри... — Он достал из кармана записную книжку. — Здесь у них переправа, здесь — траншеи в обе стороны по берегу, а по буграм дзоты..

— Может быть, отдохнешь сначала? — предложил Никулин. — Утром разберемся.

— Некогда мне до утра ждать, — сказал Фомичев и вздохнул с бульканьем и клокотанием в груди. — Здесь у них зенитная батарея, а здесь вторая. Вот видишь — я пометил...

Он рассказывал подробно и ничего не забыл. Книжку свою он отдал командиру. Ее картонная обложка вся пропотела и липла к рукам.

— Теперь, командир, давай мне шесть бойцов.

— Зачем тебе? — Никулин посмотрел на Фомичева с беспокойством: уж не бредит ли?

Фомичев удивился, в свою очередь:

— Как зачем? Что же я — один пойду? А тащить кто будет? — Никулин сообразил, что речь идет о Тихоне Спиридоновиче.

— Значит, жив? А я думал — убили.

— Жив. Там остался, в кустах. Силы не хватило тащить его.

— Да-а-а, — протянул Никулин и крепко потер затылок, скрипя волосами. — Ты что же консервы не ешь? Может, подогреть?

— Не идут. Дюже устал... — Глаза Фомичева слипались, и он глядел на фонарик с усилием. — Ты, командир, дай мне бойцов, которые поздоровее. Далеко, шесть километров, а то и все восемь.

— Да-а-а, — повторил Никулин и положил ладонь на лоб Фомичева. — Жар у тебя... пышет лицо.

— Пышет, сам чую, — согласился Фомичев. — И во рту тоже сохнет. Плохо вот — носилок нет у нас.

— Куда ты пойдешь? — сказал Никулин. — Ты с ног валишься.

— Это верно, — опять согласился Фомичев. — Слабость одолела. Как добрел — сам удивляюсь.

Кривясь от боли, он придвинул к себе какой-то мешок, прилег на локоть и расправил ноги, зашуршав сапогами

по стенкам шалаша. Сейчас же веки его, отяжелев, опустились, через минуту он спал.

Но это уснуло только его тело, разум же и воля продолжали бодрствовать, оберегая его морскую воинскую честь. Он вскоре встрепенулся и, подняв голову, сказал:

— В сон клонит... Однако время не ждет. Давай, командир, бойцов.

— Они, может быть, без тебя найдут? — нерешительно спросил Никулин.

— Где же найдут в степи, да ночью еще!

Никулин видел, что Фомичеву идти нельзя, невозможно идти, и Фомичев сам понимал эту невозможность, но его решение не поколебалось нисколько. Он не мог поступить иначе, ибо над ним — выше всего, что возможно и невозможно, — стоял незыблемый стародавний закон, без которого моряки не были бы моряками. Закон этот формулировался просто и ясно: сам погибай, а товарища выручай, бросайся на помощь товарищу в мутные ледяные волны, веди шлюпку навстречу свирепому шторму, беги на пулеметы, ползи во вражеский тыл, голодай, мерзни, истекай горячей кровью, погибай, но товарища выручи во что бы то ни стало, ибо для настоящего моряка жизнь товарища всегда драгоценнее собственной жизни!

И Никулин и Фомичев твердо знали этот закон.

— Значит, пойдешь? — сказал Никулин.

— Пойду...

— Только я тебе не шесть бойцов дам, а двенадцать. Потому — обратно вас обоих нести придется.

— Наверно, придется, — согласился Фомичев. — Давай двенадцать — надежнее будет.

Кому известен предел человеческих сил и выносливости? Взглянув на Фомичева, всякий сказал бы, что он не пройдет и двухсот шагов, а он прошел и двести, и триста, и четыреста, прошел километр, второй, третий...

Один из бойцов сказал ему:

— Присели бы, товарищ начальник штаба, отдохнули, а то не дойдете.

— Дойду хоть к черту! — буркнул Фомичев, передернувшись. — Только не трогайте меня, не беспокойте!..

Боец отошел, и Фомичева больше не беспокоили, никто не пытался заговорить с ним. Он шагал и шагал, сцепив зубы, с окаменевшим лицом. Он весь погрузился в себя самого, охваченный одной заботой: не потерять контроля

над собой, не поддаться воплям тела, молившего о пощаде, покое. Путь лежал через те же бугры, овраги, кустарники и мочажины, которые он с таким напряжением уже преодолел один раз и теперь преодолевал снова.

Он впал в забытье на ходу, в какой-то смутный полубред. Порой он совершенно переставал чувствовать самого себя, и тогда оставалась только степь в светло-мглистом тумане поздней луны. Потом ощущение реальности возвращалось к нему — возникала тяжесть тела, гул в ушах, слышались рядом сдержанные голоса бойцов. Он тревожно осматривался — не сбился ли с пути? Странным покажется, но он ни разу не ошибся в поворотах, не запутался в буераках, кустарниках и оврагах — какой-то участок мозга работал неусыпно и, подобно автопилоту, вел его по заданному курсу точно.

— Здесь, — наконец сказал Фомичев.

Бойцы остановились.

— Тихон! — негромко позвал Фомичев. Ни звука в ответ. — Тихон! — повторил он, и опять никто не ответил.

Пошатываясь, раздвигая руками кусты, он прошел тогда еще несколько шагов. Впадина, в которой оставил он Тихона Спиридоновича, была наполнена густой тенью. Опустившись на колени, Фомичев достал фонарик и, прикрыв его полой бушлата, чтобы, часом, не приметили немцы, зажег. Голубоватый луч упал на пепельно-серую землю, покрытую опавшими листьями, скользнул по сапогам Тихона Спиридоновича, блеснув на подковках, по его выношенной с короткими рукавами железнодорожной шинели, и остановился, осветив закинутую голову, искаженное предсмертной судорогой лицо с мертво поблескивающими зубами и наган в закостеневшей, холодной руке.

...Много прошло времени, дело подвигалось к утру, начало подмораживать, на сухую траву пал иней. Бойцы ежились, покашливали, но не осмеливались торопить Фомичева. А он при свете фонарика неотрывно смотрел в мертвое лицо Тихона Спиридоновича и молчал, ошеломленный огромной, небывалой обидой. Он пытался что-то понять, сообразить, рассудить — и не мог: черная тяжесть этой обиды заслонила все и камнем давила сердце. Одно было ясно ему — что он обманулся в своем дружке и так горько, как еще никогда и ни в ком не обманывался. Он был простой человек, Захар Фомичев, но законы честного товарищества знал твердо. И сейчас, чувствуя в душе

отчужденность и даже глухую враждебность к Тихону Спиридоновичу за его незаконный, бесчестный, преступный поступок, он напрасно искал в себе жалость, хорошее доброе слово. Он нашел в себе только суровые, осуждающие слова.

— Тихон! — сказал он требовательно и громко. — Ты за что меня обидел, а? Что я тебе плохого сделал? Как ты мог подумать, как ты смел?

И, лишая мертвого Тихона Спиридоновича своего доверия и дружбы, он закончил:

— Нет, не морская душа была у тебя, Тихон! Нет, не морская!..

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Марусю допрашивал сам комендант — грузный, тучный, с оплывшим лицом, мясистым носом и темными, сонными глазами на выкате.

При обыске у Маруси нашли письмо. Дальше было все очень просто: комендант выполнял свои обязанности, а Маруся — свои. Он требовал, чтобы Маруся рассказала ему о передвижениях отряда, о дальнейших планах Никулина. Она в ответ говорила, что ничего не знает, или просто молчала. Комендант злился, орал, стучал по столу револьвером и щелкал курком. Маруся была спокойна, зная, что все это входит в обязанности коменданта, равно как в ее обязанности входит не пугаться криков, угроз и щелканья курком. И еще она знала, что комендант будет мучить и пытать ее, она же обязана терпеть. Словом, все для нее было предельно ясным, когда она, придерживая пальцами разорванный воротник блузки, стояла перед комендантом.

То ли устал комендант от ежедневных пыток, воплей, стонов и казней, то ли спешил куда-то, а может быть, по глазам Маруси понял, что от нее все равно ничего не добьешься, но только на этот раз он пренебрег своей обязанностью и правом пытать и мучить людей, сказал:

— Как хочите, мадемуазель, молодая партизанка. Мы раном утром завтра будем тебя весить...

Этими словами он закончил допрос, спрятал револьвер, и на его толстом лице выразилось успокоение.

Маруся тоже почувствовала облегчение, выполнив до конца свои обязанности. Она ничего не сказала, и совесть ее была чиста. Ей даже не верилось, что допрос закон-

чился так легко, без побоев и пыток. Этого она больше всего и боялась, потому что трудно переносила боль.

После допроса ее втолкнули в низенькую темную комнату — три шага в ширину, пять — в длину. Окно было заложено кирпичом, и только вверху светилась крохотная — руки не просунуть — щелочка. Дверь закрылась. Лязгнул засов. Маруся медленным взглядом обвела сырые, с зеленоватыми потеками стены, в которых ей предстояло провести последние часы своей жизни.

Она не обманывалась и не утешала себя ложными надеждами, что вот именно в эту ночь налетят наши, выбьют врагов из села, освободят и спасут ее. Она знала, что так часто бывает в книгах, а в жизни почти никогда. Если бы даже наши и подоспели, разве долго часовому нажать спуск автомата?

В камере не было ни стула, ни табуретки, садиться на холодный цементный пол ей не хотелось, и она принялась ходить из угла в угол, думая о своих друзьях, оставшихся там (она даже в мыслях избегала называть деревни и села), о Никулине, Жукове, Папаше, Тихоне Спиридоновиче. Иногда она останавливалась, чтобы в сумрачном полусвете прочесть какую-нибудь надпись на стене.

Много было здесь всяких надписей — и коротких, и длинных, снабженных подробными адресами и просьбами сообщить родным, и безыменных, с одними лишь инициалами. «Умираю победителем! Да здравствует Родина! Да здравствует Победа!» — вслух прочитала она; под этими двумя строчками была подпись — «партизан У.». И так ясно представился Марусе этот человек, скрывшийся за буквой «У», — конечно, не лицо его и не фигура, а душа — благородная, мужественная, непреклонная. За этой буквой «У» таился высокий подвиг — неизвестный партизан, оберегая боевых друзей, выполняя воинский долг, через все пытки, мучения и смерть пронес тайну своего имени и умер одиноко, безыменно, пожертвовав для Родины не только жизнью, но и посмертной славой. Трудно было ему умирать, понимая, что ни жена, ни дети, ни друзья никогда не узнают о его подвиге. Потому, вероятно, он и оставил на стене дату и первую букву своей фамилии, движимый слабой надеждой, тенью надежды, что, может быть, когда-нибудь случайно кто-нибудь увидит, вспомнит, сопоставит числа, сообразит, напишет... Маруся задумалась. Унковский он был или Усов, возможно, Удалов — мало ли русских фамилий начинается на букву «У»...

«Мама! Прощай! Ты знаешь, что я ни в чем не виноват. Пётя. Сообщите по адресу...» Дальше следовал адрес. Верно, какой-нибудь мальчик лет пятнадцати!..

Маруся перешла к противоположной стене. «Отомстите за меня, за кровь детей и женщин! Смерть врагам культуры, прогресса и гуманизма! Сергей Никифоров, народный учитель, 63 лет». Ниже: «Не забывайте. Мы требуем от вас, остающихся жить, расплаты полной мерой за наши муки и смерть. Раиса Голодаева, агроном». Еще ниже: «Погибая, вижу зарю победы! Прощайте. Проклинаю фашистов, благословляю родной народ — живи счастливо, радостно и не забывай меня. Врач Степан Огарев». Под всеми тремя подписями значился общий адрес и одна дата. Значит, все трое — и учитель, и врач, и агроном — были из одного села, в одно время их взяли, вместе заперли в этой камере, и вместе они умерли. Маруся принялась размышлять об этих троих, потом об остальных! Через камеру, судя по надписям, прошли многие десятки людей. О себе же самой Маруся старалась думать поменьше. Она знала, что ждет ее утром, и все заранее предрешила. Ее последняя обязанность заключалась теперь в том, чтобы умереть достойно, не уронив чести советской девушки и партизанки.

Маруся обгрызла отросший в походе ноготь на указательном пальце и задумалась — что выцарапать? Она начала было свою надпись словами: «Да здравствует...», — и застеснялась этих громких слов, под которыми уместна была бы подпись партизана «У», но ее подпись неуместна. Постояв с наморщенным лбом и сосредоточенным видом еще немного, она выцарапала: «Я ничего не сказала. Прощайте! Маруся Крюкова».

Она не сознавала своей великой нравственной силы, и ей никогда не могло прийти в голову гордиться этой силой, так же как не могло прийти в голову гордиться своей способностью дышать или умением говорить по-русски. Эта высокая и благородная сила была органически присуща Марусе и потому не замечалась ею.

Темнело, надписи слились с посеревшими стенами. Луч, пробивающийся сквозь щель вверху, порозовел, солнце садилось, надвигалась ночь. Маруся почувствовала усталость в ногах, села на цементный пол и, привалившись спиной к стене, обняла руками колени. Так ей было удобно и покойно. За стеной в караульном помещении глухо слышались голоса вражеских солдат, взрывы хохота. Маруся

закрыла глаза и закачалась, как в лодке, ей представилась широкая безмятежная речная гладь, камыши, кусты, нависшие с берега, мягкий, ласковый шелест ветра. И она все плыла, плыла, не шевеля веслами, по тихому и ровному течению... Она засыпала.

Глубокой ночью ее разбудил гогот и топот за дверью, лязг засова, скрежет ключа в замке. Дверь открылась, и при скудном свете фонаря она увидела ватагу пьяных солдат. Она не сразу поняла, зачем они пришли, а когда сообразила, то ужасно испугалась и растерялась — к этому испытанию она не была готова, об этом не подумала своим чистым девичьим умом.

КАЗНЬ МАРУСИ

Когда перед рассветом солдаты, натешившись вдоволь, наглумившись и надругавшись над Марусей, наконец, ушли, она в растерзанной одежде так и осталась лежать на холодном цементном полу, раздавленная чудовищностью того, что сделали с ней. Это было так ужасно, что не вмещалось ни в мысли, ни в чувства, будучи уже за их пределами.

Как в тинистую бездонную топь, Маруся погрузилась в беспросветное отчаяние. Брезгуя собой и с отвращением сознавая свою оскверненность, она не шевелилась, чтобы не чувствовать тела, которое было противно и тягостно ей. В хаосе черных мыслей только одна была несомненна: скорее уходить, бежать из этого мрака и давящего ужаса, бежать куда угодно, хоть в смерть, которая и светла и чиста в сравнении с тем, что было.

Прошел час, второй, третий, в щели наверху забрезжил холодный водянистый свет. Медленно проясняясь от ночной мути и согреваясь под солнцем, он начал алеть, окрашивая собою верхний угол и потолок. А Маруся все лежала, не шевелясь, но ее плечи не содрогались больше. Она затихла, ей некогда было плакать, в ее разуме и душе в эти часы последнего рассвета шла великая и напряженная работа возрождения.

Бывают такие часы, равные по емкости своей годам и даже десятилетиям, часы напряженнейшей внутренней жизни, когда человеку все сразу становится ясным, и он, минуя средние звенья опыта и логического размышления, находит единственную и несомненную истину. Разум

ослепительными вспышками озаряет глубину жизни, душа искрится подобно конденсатору, переполненному электричеством. Как бы вознаграждая Марусю за все испытания и муки, судьба дала ей в несколько часов пережить и познать все, что может пережить и познать человек: и давящую тяжесть безысходного отчаяния, и первый слабый проблеск внутренней духовной силы, и разрастание этого проблеска в луч, в поток и, наконец, разлив его в сияющее море, в котором и осквернение ее тела и предстоящая смерть утонули бесследно.

С душой, переполненной таким немеркнущим светом, и встала Маруся с пола, когда пришли за нею. Пора! Она отряхнула жакетку, быстро оправила волосы, загладив их ладонями за уши, и пошла впереди солдат, придерживая пальцами разорванный воротник блузки. Ей очень хотелось умыться в последний раз — хорошо умыться, с мылом и зубным порошком, но она не стала просить об этом палачей.

Влажный пахучий ветер освежил ее и слегка опьянил после душной, вонючей камеры. Она улыбнулась ветру, небу, облакам и деревьям. Она могла улыбаться, потому что знала свою самую главную истину, а истина эта заключалась в ее неразрывном единстве, в слиянии с миллионами русских людей, которые, помогая друг другу, делают одно великое дело — иные оружием, иные трудом, иные выдержкой и терпением, а иные, как, например, она, молчанием и верностью!

Поглощенная радостно-изумленным созерцанием того, что, сверкая и сияя, светилось в ее душе, Маруся только мельком замечала дорогу, вспорхнувших воробьев, дикий и странный взгляд женщины с грудным ребенком на руках, рыжего пса, выщелкивающего зубами блох из мохнатой ляжки. Конвойных солдат, окруживших ее, Маруся не видела и не хотела видеть — эти солдаты были из того, другого, темного мира, который она покинула навсегда сегодня в рассветные часы. Теперь солдаты не имели к ней никакого отношения, были бессильны чем-либо ее обидеть или оскорбить, потому она и не замечала их и не думала о них. Если верно, что в человеке всегда сосуществуют и борются два начала — животное и высшее, человеческое, то солдаты являли собой полную победу первого, низкого начала, в то время как Маруся воплощала в себе торжество второго. Они, растлив самих себя, вернулись вспять, превратились в злобных, грязных скотов, лишенных со-

вести, стыда, честности, жалости — всего, что составляет душу в человеке, она же сейчас жила безраздельно и полностью только своей душой, так как ее тело, обреченное уничтожению, уже перестало существовать для нее и не заботило и не тяготило ее. Мир, которому принадлежали солдаты, и ее мир были так бесконечно далеки друг от друга, что даже не соприкасались... И солдаты чувствовали недосягаемую высоту девушки и за это злобно, низко, подло ненавидели ее и в то же время боялись как существа высшей, им неведомой породы. Они молчали, сопели, глаза их, красные и запухшие от вчерашнего пьянства, смотрели тускло, с трусливой подозрительностью. Они вели Марусю убивать — она не боялась своей смерти, а они боялись, зная, что где-то ведется полный счет всем их злодействам. Приостановившись, Маруся несколько раз сильно и глубоко вдохнула свежий, припахивающий дымным морозцем воздух и пошла дальше стремительной, легкой походкой, так что солдаты едва успевали за нею.

На базарной площади она увидела два столба с перекладиной, тонкую веревку, узкие длинные козлы и перед козлами — толстый чурбак, поставленный на торец. «Это для меня», — подумала она привычными словами, но смысл в них вложила другой; что все это приготовлено для ее тела. Подойдя ближе, она заметила, что на перекладине было еще два пустых крючка — значит, вешали и по трое. Она вспомнила врача, женщину-агронома и народного учителя шестидесяти трех лет. Безразличным, пустым и невидящим взглядом скользнула она по коменданту, стоявшему у виселицы, и он, такой же преступник и скот, как его солдаты, сразу налился злобной ненавистью к ней, поняв по этому мимолетному взгляду ее высоту и свою низость.

Фашисты согнали к виселице местных жителей, некоторые женщины плакали и отворачивались, солдаты, грубо ругаясь, грозили им оружием, заставляя смотреть. «Почему они плачут?» — с недоумением подумала Маруся и, придержав юбку, раздуваемую ветром, неуловимо гибким, целомудренным движением шагнула на чурбак, а с чурбака — на козлы, как по лестнице.

Теперь она стояла высоко и видна была всем. Следом поднялся на козлы солдат-палач и приблизился к ней, прогибая своей тяжестью доски — она почувствовала легкую пружинистую зыбь под ногами. Палач сорвал с нее

жакетку, бросил на землю и, загнув Марусе руки за спину, скрутил веревкой. Она ясно взглянула в лицо палачу, — заурчав, он отвел взгляд своих свинцово-тусклых, нетрезвых глаз, и его уши налились кровью.

Он ждал, избегая смотреть на Марусю. А комендант что-то медлил. Палач дышал тяжело и громко. Маруся слегка отстранилась: запах перегара был ей неприятен. Палач покосился на нее исподлобья. Он был в числе тех, которые ночью вошли к ней в камеру, и даже был первым среди них, и там горел фонарь, и она видела его лицо и должна была запомнить, а она не помнила, не узнавала и совсем не боялась. Все это было странно, непонятно палачу, и, так же как солдаты-конвойные, он посмотрел на Марусю с удивлением и страхом, почувствовав в ней существо высшей породы. Руки его тряслись, когда по знаку коменданта он взялся за петлю.

— Не плачьте! — крикнула Маруся женщинам, желая утешить их. — Наши близко, наши наступают!..

Комендант кивнул палачу — заткни ей рот! Палач, пригнув голову и оскалившись, ударил Марусю кулаком в лицо, и она захлебнулась хлынувшей кровью. Он торопливо начал надевать ей петлю на шею, но веревка в его руках путалась, и Маруся сама помогала ему движением головы. Надев петлю, палач спрыгнул на землю и обеими руками, с придыхом, сильно рванул подставку из-под ее ног.

ПАЛАЧИ БЕГУТ!..

Все кончилось. Ушли фашистские солдаты, разошлись и крестьяне, между столбов виселицы на тонкой прямой веревке одиноко темнел холодеющий труп, слегка покручиваясь под ветром. К полудню собрались тучки, покропили редким дождем, а к вечеру опять прояснело, и закат встал такой спокойный, чистый и тихо торжественный, словно это разлилась в небе прозрачным золотым огнем молодая, светлая душа Маруси.

Когда закат потемнел и угас, по дороге мимо виселицы промчался мотоциклет и остановился у здания комендатуры. Связист в кожаном шлеме и поднятых на лоб консервах вручил коменданту срочный пакет. Через пять минут в комендатуре начался переполох. Мотоциклист привез сообщение о том, что красные прорвали вторую линию обороны.

О, господин комендант в таких случаях умел действовать без промедления! С треском вылетали ящики письменных столов, открывались шкафы, во дворе запылали костры. Солдаты бросали в огонь пачки дел, донесений, приказов, отчетов, докладов. Больше всех старался солдат-палач, повесивший Марусю. Как всегда полупьяный, он, обливаясь потом, бегом носился от костров в канцелярию и обратно, таская бумаги целыми охапками, в бессмысленной и трусливой надежде похоронить в огне следы своих преступлений. Костры разгорались все ярче, в горячих струях взвивались дотлевающие раскаленные обрывки. Солдат-палач, не щадя своих сил, усердно понукал других: «Ну, что встали, чего ждете?». Какой-то солдат-резервист усмехнулся: «Да, тебе есть о чем беспокоиться. Ты вешал сегодня, кажется, в двенадцатый раз?..». Услышав эти слова, палач обмяк от черного страха, чувствуя всей своей шкурой близость и неотвратимость кары. Впрочем, не один он чувствовал это: господин комендант тоже носился как сумасшедший, подгоняя адъютантов, писарей и шоферов. А в село вливался мутный поток истрепанных отступающих войск; пушки, повозки, грузовики сталкивались, сцеплялись, толкались; фырчание моторов, грохот кованых колес, ржание лошадей, хриплые вопли и ругательства шоферов, возниц, солдат, стоны и проклятья раненых, которых здоровые солдаты выбрасывали из грузовиков прямо на дорогу, — все это сливалось в один тревожный, нарастающий гул. Когда темнота начала глухо рокотать, сотрясаемая далекими залпами русских пушек, когда начали трещать, ломаясь, оглобли и колеса повозок, когда грузовики, пронзительно и надрывно гудя, начали давить людей без разбора, а вдобавок еще появились танки и, грохоча гусеницами, пошли напролом, сминая и спихивая все, что попадалось на пути, — тогда господин комендант понял, что время рвать когти. Приказав солдатам поджигать хаты, он направился к своему открытому автомобилю. Двадцать шагов не дошел он до своей машины, как вдруг весь этот гул, шум и гам покрыл одинокий отчаянный вопль:

— Русские танки обходят!

И все дрогнуло, смешалось, закрутилось, понеслось в темноту, в ночь, и уже ничего нельзя было разобрать в этом мятущемся хаосе, никто не слушал, никто ничего не знал, все мчалось, бежало, кричало, вопило — началась паника. Господин комендант, позабыв о своем больном

сердце и высоких чинах, в два прыжка очутился в машине и тяжело рухнул на сиденье, зазвеневшее пружинами. В ту же секунду к машине с другой стороны подскочил солдат-палач и полез прямо через борт, не открывая дверцы. «Назад!» — страшным голосом заорал комендант, но солдат, обезумев, ничего не слыша и не соображая, с помутневшими, белыми глазами упрямо лез через борт. Комендант, привстав, стал его отпихивать, шофер дал газ, машина рванулась, и солдат, потеряв равновесие, грузно перевалился в кузов, придавив коменданта к сиденью. Ноги солдата задрались и высоко торчали из кузова, — так и ушел автомобиль в темноту с этими торчащими над ним солдатскими сапогами.

...На рассвете, выбив из села последние арьергарды фашистского прикрытия, вошли наши части. Площадь и улицы были загромождены брошенными повозками, машинами, пушками. Даже пяток застрявших танков остался — заглохли моторы, некогда было чинить.

Основная масса наших войск двигалась обходными путями, через село же прошли только три батальона. Одна из рот остановилась в деревне.

Бойцы с ухватистой и деловитой хозяйственностью сразу же принялись устраиваться. Загорелись по всему селу костерки, задымили печи, закипели котелки, чугуны, кастрюли и самовары, благо дров фашисты наломали много. Кто кипятил чай, кто варил кашу или суп из консервов, иные, достав из шапок иголки, ловко оплетенные нитками, зашивали дыры на шинелях, какой-то широкоскулый веснушчатый молодец нашел в одном из грузовиков офицерские хромовые сапоги, сел на землю, разул правую ногу и, кряхтя и надуваясь, тщетно старался просунуть ее в тесное голенище, но успеха в своем намерении не достиг, потому что офицерский сапог был ему мал по крайней мере на три номера. Добродушно выругавшись, он отдал сапоги товарищу: меряй, может быть, подойдут, сапоги-то больно хороши, товар первый сорт!..

На площади у виселицы стояли три командира — майор с морщинистым утомленным лицом и два молодых лейтенанта. Два бойца, взобравшись на козлы, снимали с виселицы мертвое тело Маруси — один слегка приподнимал его, второй высвобождал шею из петли. Потом один из бойцов спрыгнул на землю, принял от второго тело Маруси и, держа его на вытянутых руках, вопросительно взглянул на майора.

Под запрокинутой головой Маруси темнел на шее глубокий сине-лиловый рубец от веревки.

— Положите, — сказал майор. — Чего же держать...

Но боец медлил. Один из лейтенантов быстро сбросил шинель и постелил на землю. На эту шинель боец и опустил Марусю — вернее, то, что было Марусей.

По надписи, что оставила она в камере, всего узнать было нельзя, но имя, фамилию и день ее смерти узнали. Узнали также, что она ничего не сказала.

— Значит, знала что-то, — задумчиво сказал майор. — Знала и не сказала. И к населению обратилась с призывом. Эта девушка — героиня, ее надо похоронить как полагается, по-военному.

Ее похоронили на сельском кладбище с воинскими почестями и салютом из десяти винтовок. На дощечке, что водружена была над ее могилой, майор собственноручно написал:

«Мария Крюкова. Замучена и повешена фашистскими негодяями. Она погибла геройски, как подобает каждому бойцу. Отомстим за нее! Вперед, на врага!»

Возвращаясь с кладбища, майор сказал:

— Часов на двенадцать мы опоздали, а могли бы ее выручить да и фашистов прихватить. А теперь они давно уж переправились...

Навстречу майору быстрым шагом шел его адъютант. Вытянувшись, доложил:

— Товарищ майор, получено сообщение. Вражеские части задержаны на восточном берегу. Переправа захвачена каким-то неизвестным партизанским отрядом.

У ПЕРЕПРАВЫ

Никулин захватил переправу с налету перед самым рассветом, когда по мостам уже началось движение отходящих вражеских войск. Пехота, грузовики, повозки, орудия тянулись смутно чернеющей лентой — она выползала из узкой размытой лощины, стиснутой крутыми глинистыми обрывами, спускалась по косогору к реке, над которой плотной пеленой стоял белесый пар, и устремлялась по мосту, наполняя туман слитным гулом, разносящимся далеко по воде.

Никулин ударил яростно, внезапно. Отряд выскочил на врагов с воем, свистом и гоготом, рассек надвое темную

ленту войск и остановил ее движение. Фашисты, уже вступившие на мост, спасаясь от хлесткого продольно-сквозного огня пулеметов, вопя и крича, сталкивая друг друга в реку, ринулись на западный берег. Остальные смешались на восточном берегу и темным клубящимся валом хлынули обратно в лощину, сминая задних, внося панику и смятение в их ряды. Бойцы Никулина тем временем быстро, по заранее объявленному порядку (пригодилась книжка Захара Фомичева), занимали траншеи, дзоты, блиндажи, расправляясь с немногочисленной охраной.

Через десять минут отряд закрепился на подступах к переправе. Сам Никулин со взводами Папаши, Жукова и Фомичева занял главную позицию в центре, у выхода из лощины: правый фланг с траншеями, подходящими дугой к обрыву берега, занял Крылов, левый — Харченко.

— Ловко, товарищ командир! — радостным и гордым голосом сказал Фомичев. — Прямо как по нотам разыграли!..

— Обожди радоваться, — хмуро остановил его Папаша, немного суеверный, как и полагается старому моряку. — Не видишь, какая сила против нас.

Они стояли в глубокой траншее, у чернеющего входа в командный пункт, расположенный под землей. Справа и слева слышались сдержанные, серьезные голоса бойцов, иногда короткий металлический лязг затворов. Никулин молчал. Его слегка знобило от нервного напряжения. Самое главное начиналось только теперь. Он понимал, конечно, что, имея двести человек и вступая в бой с тысячами, он не может ставить перед собой иных целей, кроме выигрыша времени. В десятый раз он спрашивал себя — правильно ли рассчитал время, не слишком ли рано ударил, успеют или не успеют фашисты, обескровив и уничтожив отряд, прорваться к месту раньше, чем покажутся наши?..

Перед выступлением он не скрыл от бойцов, что ведет их на отчаянное дело. Сейчас, стоя в траншее, он нисколько не сомневался в своих бойцах, зная, что они не отступят. Другая мысль мучила его: сумеют ли они сохранить себя и не погибнуть преждевременно? При захвате переправы уже убили троих и двух ранили. С тревогой в сердце Никулин отметил, что у него осталось сто восемьдесят пять человек. Каждый был на счету, каждая винтовка значила в этом бою больше, чем целый танк в других условиях.

Вернулся Жуков, которого Никулин послал проверить фланги, доложил, что все в порядке. Между тем фашисты, успевшие перебраться через реку, начали приходить в себя и открыли огонь. Западный берег ожил, заговорил, опоясавшись вспышками, тускло взблескивающими сквозь туман. Над Никулиным тонко и горячо пропела пуля, вторая. Затем прошелестела пулеметная очередь. Никулин нахмурился и сел на сиденье, вырубленное в стене траншеи: он боялся какой-нибудь случайной, шальной пули.

В жизни каждого человека обязательно бывает самый главный, решающий день, как бы подводящий итог всей жизни — всем делам, чувствам, мыслям, — день большого экзамена, великого испытания. Для Никулина такой день настал. О том, уцелеет ли он сам в бою, он вовсе не думал — это был вопрос второстепенный, даже третьестепенный рядом с основной целью: задержать попавшегося в ловушку врага, добить его!

Никулин приказал установить в гнездах еще два спаренных пулемета из своего резерва. Бойцы кинулись выполнять приказание. В это время воздух со звенящим грохотом раскололся, и перед бруствером встал, сверкнув острым пламенем, черный косматый столб. За ним, почти без промежутка, встал, с таким же коротким сверканием, второй косматый столб.

Фашисты, застрявшие на восточном берегу, опомнились и пустили в дело артиллерию.

Бой завязался.

Огонь врагов нарастал. Зная, чем грозит им задержка у переправы, они обрушили на моряков всю силу своих пушек, минометов и пулеметов. Били с западного берега, били из лощины, били с флангов, кругом стоял грохот, рев, подымалось пламя разрывов, слышны были металлический, звенящий треск, визг разлетающихся осколков, свист и шелест пуль.

Пять минут огня... Семь минут... К Никулину уже несколько раз подбегали докладывать об убитых и раненых... Десять минут огня, да такого, что даже бывалые бойцы, помнившие Одессу и Севастополь, поеживались. Фашисты, видимо, решили покончить дело одним ударом. Огонь усиливался, учащался, слепя и оглушая бойцов, закидывая их комьями подмерзшей земли. Солнце только-только вставало и еще не тронуло тумана, стоявшего над рекой, но здесь, у мостов, он начал расходиться сам, без солнца,

от бешеной канонады, сотрясавшей и землю, и воду, и воздух. Он испуганно колыхался, редел и, окрашиваясь палево-алым светом восхода, таял, образуя сквозной пролом в своей молочно-белой стене. В этом ревущем и грохочущем проломе постепенно открывалась река, гладкая по краям, со струистым быстряком посредине, с белыми бурунами у понтонов. Дальше из туманной редеющей кисеи выступала плоская низина западного берега, заросшего мелким кустарником. Справа же и слева туман стоял по-прежнему густо, закрывая видимость.

Двенадцать минут огня... Когда же атака? На пятнадцатой минуте взвились ракеты. По этому сигналу оба берега одновременно прекратили орудийный и пулеметный огонь, рев и грохот затихли, продолжали бить только очереди автоматов, но это воспринималось как тишина. Никулин прильнул грудью к холодному, покрытому инеем откосу траншеи. В низких прозрачных лучах, в трехстах метрах от Никулина, возникла поднявшаяся с земли цепь атакующих. Такие же цепи появились справа и слева. Фашисты пошли в атаку.

— Огонь! — скомандовал Никулин. Он был бледен, сердце его колотилось.

— Огонь! Огонь! — понеслось по траншее.

— Огонь! — отдалось на правом и левом флангах, у Крылова и Харченко.

Навстречу фашистам ударил огонь.

Он был густым и губительно метким — пулеметчики и автоматчики понимали ценность патронов в этом бою. Фашистам не удалось пробежать и сорока метров — огонь придавил их к земле. Понемногу — некоторые пригибаясь, а иные ползком — они начали отходить на исходные рубежи. Фомичев со злым и напряженным лицом редко, расчетливо стрелял из полуавтомата, сердито покашливая, когда пули его настигали цель.

Нет, это была еще не атака — только пробная вылазка, обошедшаяся, правда, фашистам человек в пятьдесят. Но потеря противником даже пятисот человек не облегчила бы положения Никулина, потому что к переправе беспрерывно подтягивались новые вражеские части. Теперь перед Никулиным скопилось не меньше двух вражеских полков, не считая тех, что успели перебраться на западный берег. Но численность противника не занимала никакого места в расчетах Никулина. Он вел бой за выигрыш времени — и только.

Он помрачнел, узнав, что у Харченко выбыло из строя восемь бойцов. Вместе с потерями на центральной позиции это составляло двадцать шесть человек. Глядя в землю, не поднимая головы, он ждал донесения Крылова. Связной скоро появился перед ним. Взвод Крылова потерял половину бойцов, в том числе самого командира, убитого наповал осколком снаряда. «Прощай, Вася, друг!» — подумал Никулин. Папаша снял бескозырку. Жуков молча глядел в сторону.

Через связного Никулин приказал остаткам взвода покинуть позиции правого фланга и переходить в центр. Он решил по мере возрастания своих потерь сжимать линию обороны, держа людей в одном кулаке.

Подошел Фомичев, сказал:

— Много полегло наших. Человек небось тридцать.

— Сорок четыре человека, — ответил Никулин.

Фомичев протяжно свистнул.

— Крепко!.. А еще и часа не держимся.

— Час и двадцать две минуты, — поправил Никулин, взглянув на часы.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

Возобновившаяся канонада положила конец передышке. Опять все вокруг потемнело от дыма и поднятой в воздух земли, наполнилось ревом, грохотом, шипением и свистом. Мелькнуло перед Никулиным бородатое лицо Папаши с округлившимися, большими глазами. Папаша что-то кричал, но голос его тонул в огневом урагане. Близкий разрыв брызнул огнем, осколками и землей.

И начался штурм — на этот раз настоящий. К переправе подтянулись немецкие части, а немцы умеют подгонять своих союзников. Да союзники сегодня и не особенно нуждались в понукании: они сами знали, что прорываться надо любой ценой, иначе — гибель. Они рвались к переправе бешено, они видели перед собой совсем близко, в каких-нибудь трехстах метрах, спасительный западный берег, видели мост, ведущий к нему, и шли напролом, не считаясь с потерями. Ложилась одна волна, скошенная огнем, на смену возникала вторая, третья, четвертая. А из лощины, где еще лежали густые тени ночи, безостановочно били пулеметы, сливая свои голоса в неровный

протяжный рев. Фашисты надвигались. Впереди атакующих Никулин видел офицера с автоматом в руке.

В дело пошли гранаты — любимое оружие моряков. Земля загремела, вздыбилась перед фашистами. Но и сквозь эту стену грома, пламени, осколков прорвались они. Впереди был офицер с багрово-сизым лицом, без фуражки, с черными волосами, слипшимися на лбу.

Боевой порыв поднял Никулина, легко переметнул через бруствер. «За мной!» — крикнул он, обернувшись к своим бойцам, и ринулся со штыком наперевес вперед. Офицер на бегу поднял автомат и выпустил очередь. Никулин отпрянул в сторону — пули прошли рядом — и, раньше чем офицер успел поймать его снова на мушку, метнулся длинным стелющимся прыжком, устремив перед собой штык. Офицер вскрикнул, схватился, перегнувшись, за винтовку. Штык пронзил его насквозь, и он рухнул. Четверо солдат, опоздавших спасти офицера, с озверелыми лицами насели на Никулина. Он пятился, отбиваясь, и полечь бы ему, да выручил Захар Фомичев. С ревом, с налитыми кровью глазами подскочил он, перехватил винтовку за ствол и пошел крушить тяжелым прикладом направо и налево, вмиг опрокинул двоих солдат, расколол череп третьему, а с четвертым управился сам Никулин.

Фашисты не выдержали рукопашной схватки — сдали, попятились, покатились. Бойцы, разгорячившись, кинулись было за ними, но голос Никулина вернул их в траншеи.

— Жарко! — сказал Никулин, вытирая рукавом бушлата потное лицо. — Ну, Захар, спасибо, не забуду век!

— А зачем лезешь? — сердито отозвался Фомичев. — Без тебя управились бы!

Он весь был еще полон боя, руки тряслись, губы подергивались, повязка на голове почернела от земли, дыма и пота.

— Сходи на левый фланг! — крикнул Никулин. — Погляди, что там у Харченко. Если мало осталось бойцов, веди всех сюда.

Фомичев, пригнувшись, побежал по траншее.

Он вернулся вместе с Харченко. Оказалось, что по левому флангу ударила немецкая отборная полурота. Дело дошло, как и в центре, до рукопашной. Немцев отогнали, но у Харченко осталось всего восемнадцать бойцов. Он привел их к Никулину. Харченко морщился и поминутно ощупывал голову.

— Прикладом угодил немец, — пояснил он. — Хорошо, что я увернуться успел, вскользь пришлось.

— А немец?

— А немец не успел увернуться.

— Сто четырнадцать бойцов осталось у нас, — сказал Никулин. — Как ты смотришь, Фомичев, на это дело?

— Куда же теперь деваться? — ответил Фомичев. — Но только к мосту их все равно не пустим, — добавил он решительно. — Один останусь, а буду держать! — Он пригнул голову, уперся взглядом в землю. — Пекет мне сердце! Так пекет!.. Нет никакого терпения. И что ни дальше, то хуже...

— Возьми себя в руки, — сказал Никулин. — Если со мной что случится, тебе командовать.

После третьего огневого налета и последовавшей за ним атаки у Никулина в строю осталось девяносто три бойца.

Новый штурм был самым тяжелым и свирепым из всех. Дважды откатывались фашисты и снова бросались, дважды рукопашный бой закипал уже в узких коридорах траншей.

В девять часов утра подступы к переправе находились все еще в руках Никулина. В его же руках находились они и в десять часов утра и в одиннадцать... Это может показаться странным, непонятным, невероятным! Фашисты по численности и вооружению превосходили отряд Никулина не в десять, и не в двадцать, и не в пятьдесят, а в сотни раз. Казалось, они должны смять горстку храбрецов мимоходом, не задерживаясь, даже не замедлив своего движения. Между тем они застряли у переправы и не могли сдвинуться. Никулин не пускал их. Огневые налеты, атаки, яростные штурмы сменялись беспрерывно, все выше поднималось солнце, а мост был для фашистов по-прежнему неприступен.

Измотанный, потерявший две трети своего состава отряд Никулина продолжал сражаться с еще большим ожесточением и непреклонностью вопреки всем законам об арифметических соотношениях.

Что поддерживало бойцов, что помогало им в этом бою, беспримерном по неравенству сил? Храбрость?.. Но ведь и фашисты умеют хорошо драться. Здесь, у переправы, фашисты атаковали отчаянно. И все-таки не прорвались и не могли прорваться, потому что Никулин со своими бойцами стоял на своей родной русской земле,

оборонял свою родную русскую реку, он сражался за правду, за справедливость, за свой народ! А что могли противопоставить ему фашисты, гонимые в бой лишь страхом ответа за свои злодейства, одержимые только одним низменным стремлением — укрыться от возмездия, спасти клейменую шкуру!.. Здесь, у переправы, не было двух борющихся сторон, здесь были пойманные, прижатые к стене преступники и неумолимые судьи во главе с Никулиным. А за судьями стоял весь народ, требующий справедливости и возмездия.

...В одиннадцать сорок фашисты опять поднялись в атаку. И опять она была отбита. В строю у Никулина осталось пятьдесят два бойца. Он сам получил две пули — одну в плечо, вторую — пониже, в руку. Папаша и Фомичев перевязали его.

— Навылет? — спросил он, кривя побелевшие губы.

— Навылет, — ответил Папаша, мигнув Фомичеву. Он не хотел тревожить Никулина и не сказал, что верхняя пуля застряла в кости.

Голова у Никулина закружилась, он покачнулся на широкой земляной скамье, все перед ним затянулось серой пеленой, свет померк. Он услышал голос Папаши:

— Фомичев, давай скорее флягу!

— Ничего, — с усилием выговорил Никулин. — Я сейчас... Ничего...

Лицо его от внутреннего напряжения стало еще бледнее. Он поднял веки. В сером тумане мутно и расплывчато возникло перед ним лицо Папаши. Никулин сердито стиснул зубы — этого еще не хватало! Он командир и не имеет права терять сознание во время боя. Ему удалось преодолеть свою слабость, свет перед ним прояснился.

— Людей остается у нас мало, — сказал он. — Еще одну атаку отобьем как-нибудь, а дальше — не знаю... Мост надо взрывать! — закончил он решительно.

БЕССМЕРТИЕ ИВАНА НИКУЛИНА

До сих пор Никулин берег мост: пригодится своим, когда подойдут. Теперь приходилось взрывать.

Фомичев выругался:

— Да где же наши?! Что они там — на волах ползут?!

Он не знал, что в это время наши части, направлявшиеся к переправе, добивали в степи немецкую танковую

группу, что из шестидесяти пяти немецких танков только двенадцать сумели вырваться и сейчас на полной скорости шли к реке. Не знали об этом и фашисты у переправы. Ошеломленные силой партизанского сопротивления, они притихли. Пулеметы молчали.

— Что-то они затевают, — слабым голосом сказал Никулин. — Мост надо взрывать.

— А как к нему подберешься? — отозвался Папаша.

Никулин молчал, сознавая правоту его слов. Мост, недосягаемый для врага, был так же неприступен и для моряков. Голый берег без единой складки, без единого куста прикрывался огнем пулеметов, артиллерией и минометами. Любой, осмелившийся подойти к мосту, был бы мгновенно уничтожен шквалом огня.

— Да, — сказал Никулин. — К мосту подходов нет. Что же нам делать теперь? Значит, пройдут фашисты?

Папаша хмурился. Фомичев, сузив глаза, смотрел на слепящую от солнца гладь реки с мерцающим быстряком на середине.

— За что же тогда мы столько людей положили? — горячо и порывисто сказал Харченко. — За что, если они все равно пройдут? — Голос его странно дрогнул. — Товарищ командир, разреши мне! Я попробую. Может быть, доберусь! Я по-над самой водой, по кромке...

— Куда ты доберешься? — оборвал его Фомичев. — На тот свет сразу ты доберешься, больше никуда.

— А что же теперь? — вскинулся Харченко, даже слегка подпрыгнув. — Значит, зря братишки погибли?

Фомичев, морщась, досадливо и тяжело отмахнулся.

— Не егози ты... Юзжит над самым ухом, только думать мешает. Не мешай ты, за ради бога!

Но Харченко не легко было успокоить. Блестя от возбуждения глазами, он продолжал теребить Никулина:

— Я попробую! Пусти, товарищ командир. Убьют так убьют, я смерти не боюсь!

— Дурак ты! — солидно и веско сказал Фомичев. — Тут надо дело делать, фашистов держать, а он о смерти толкует...

Он посмотрел на Харченко с обидным сожалением во взгляде и отвернулся.

— Ну, а сам ты что думаешь? — спросил Никулин. — Твое какое мнение?

— С берега к мосту подойти нельзя, — неторопливо сказал Фомичев. — Даже и пробовать нечего — толку все

равно не будет. Значит, надо как-нибудь в обход. Военную хитрость надо применить.

— Водой? — подхватил Никулин, обрадованный тем, что его мысли находят себе подтверждение в словах Фомичева.

— Точно! — сказал Фомичев. — Другого пути к мосту нет. А плавать умеем — не зря матросы. Если берегом сейчас отползти вверх по течению метров на полтораста да потом вплавь поперек удариться, река сама к мосту вынесет, к средним понтонам.

— А гранаты? На себе?

— Плотик маленький можно сделать. Гони да гони его перед собой, вот и все. Вода — она скроет. Солнышко дюже слепит — не разглядят на середине... И я так полагаю, товарищ командир, что для верности надо послать двоих. С одним что случится, второй заменит.

— Кого же пошлем?

— Да сам я и пойду, — просто сказал Фомичев. — Сухопутного человека посылать нельзя: плавает плохо, а вода нынче ледяная. Сухопутный человек такого дела исполнить не может.

— А второго? — спросил Никулин.

— Хоть бы и меня, — торопливо сказал Харченко.

— Плаваешь хорошо? — спросил Фомичев.

— Доплыву как-нибудь, — ответил Харченко неопределенно.

— Ты мне голову не крути! — рассердился Фомичев. — Тут серьезное дело, а он голову крутит! Ты мне отвечай прямо: хорошо плаваешь или нет?

Харченко с неохотой признался, что плавает средне, то есть неважно, но — душа вон! — до моста доберется.

— Плохо, значит, плаваешь, — прервал его Фомичев. — А лезешь, настырничаешь! Нет! — повернулся он к Никулину. — Не годится Харченко.

Папаша, до сих пор молчавший, тяжело и шумно вздохнул.

— Давай уж я, товарищ командир...

Никулин задумался.

— Неохота мне тебя посылать, Папаша.

— Что так? Не доплыву, боишься? Я в молодых годах Керченский пролив перемахивал.

— Лучше бы из холостых кого-нибудь. Или вот, как Захара, у кого семья перебита.

— Поди, уж не бросят семью, — серьезно сказал Папаша. — Ведь не лес дремучий, не волки кругом, свои люди. Ты об этом не сомневайся, товарищ командир, мою семью в колхозе не обидят. Сын к тому же старший в прошлом году курс окончил на профессора. Поддержит...

Приготовления закончились быстро. Папаша спустился в землянку командного пункта, где лежали раненые, принес обломки досок и свою кожаную сумку с деньгами. Фомичев принялся сколачивать плотик. Папаша, передавая Никулину сумку, сказал:

— Двенадцать с половиной тысяч здесь да еще мелочь — позабыл сколько.

Помолчав, добавил:

— Там же и адрес...

Фомичев, стоя на коленях, закручивал своими сильными пальцами проволоку, скреплявшую доски.

— Готово!

Он встал, отряхнул с брюк налипшую землю.

Никулин взглянул на плотик.

— Маленький — не поднимет. Гранаты — они веские, да одежда еще...

Папаша и Фомичев промолчали. Никулин понял, что они не собираются грузить на плотик одежду...

— Нет, это вы зря, — ответил он так, как если бы они сообщили ему о своем решении словами. — Одежду надо обязательно взять. Мало ли как бывает... Может быть, еще и обойдется.

Оба они опять промолчали.

Никулин ничего больше им не сказал.

Уложив гранаты в мешок, Фомичев протянул Никулину свою большую темную руку.

— Ну, товарищ командир, погуляли мы хорошо, жили дружно. Да вот пришло мое время...

— Прощай, Захар!

Они посмотрели друг другу в глаза. Фомичев угадал мысли Никулина и усмехнулся.

— Не в этом главное, товарищ командир! Все в порядке, ты не сомневайся. Главное в другом...

Он не договорил, да и не нужно было ему договаривать: Никулин понял и так.

Папаша простился по-старинному, троекратно поцеловавшись.

Забрав мешок с гранатами и плотик, они ушли. Никулин приказал открыть пулеметный огонь, чтобы отвлечь

внимание врага. Эта предосторожность была нелишней, хотя вправо и влево от моста по берегу тянулся пустой ивняк, который фашистские саперы не успели вырубить.

Время шло, тикали часы в руках Никулина. Мысленно он был с Папашей и Фомичевым. По всему видно было, что враги не заметили никакого продвижения в кустах. Значит, благополучно. Уже доползли, наверное, и сейчас, лежа на берегу, раздеваются, грузят гранаты на плотик, а одежду свою оставляют...

— Харченко! — сказал Никулин. — Ты бы наведался в землянку, поглядел, как там раненые.

Харченко ушел. Никулин, оставшись один, сел на вырубленное в земле сиденье и отвернулся лицом к сырой земляной стене.

Из темного лаза командного пункта вышел, пригнувшись, Харченко, направился было к Никулину, но шагах в пяти остановился, посмотрел и отошел, не стал тревожить...

Потревожили Никулина фашисты. Они вдруг оживились, зашумели, закричали, многие, позабыв осторожность, вскакивали и размахивали шапками, стоя на виду в полный рост. Огня, между тем, они не открывали. Все это было странно, непонятно и заставило Никулина насторожиться. Он смотрел поверх бруствера, силясь разгадать причины столь радостного оживления.

Долго думать и гадать ему не пришлось.

— Танки! — сказал Харченко, и лицо его покрылось сероватой бледностью.

Никулин вскинул бинокль в ту сторону, куда он указывал, и увидел танки с вражескими опознавательными крестами. Танки грузно переваливали через хребет далекого холма, направляясь по главной дороге, что вела через лощину к мосту. Они шли быстро, им оставалось не больше десяти минут ходу. «Танки! Танки!» — загудело по траншее справа и слева от Никулина. В голосах своих бойцов он слышал тревогу, страх, смятение. Мысль его работала напряженно и ясно, как никогда. Вот оно, самое трудное, самое тяжкое испытание на сегодняшнем большом экзамене его жизни! Вот оно, пришло самое главное и большое, о чем не договорил, прощаясь, Фомичев.

— Гранаты мне! — скомандовал Никулин, чувствуя, как все его существо наполняется силой, светом и легкостью. Он принял в здоровую правую руку связку гранат, бегло осмотрел их.

— Жуков, остаешься командовать. Последнее мое приказание тебе — не пускать! Стой до последнего!

Осененный какой-то чудесной и до сих пор ему неведомой силой всепостижения, он чувствовал, что все, что он делает, это правильно, несомненно и не может быть сделано никак иначе. С полной несомненностью видел он свою победу. Наших войск все еще не было, но внутренним зрением он уже видел их так же ясно, как если бы видел глазами. Они были рядом, совсем близко, и фашисты уже никуда не могли теперь уйти от гибели.

Семьдесят метров отделяли траншею от узкого горла лощины. По Никулину ударили автоматы и пулемет. Он бежал, необъяснимо, но твердо зная, что эти пули ему не опасны. Так же необъяснимо он почувствовал опасную очередь и залег. Пули прошли как раз над ним и ударились в землю позади. Он вскочил и побежал дальше.

В лощине, в самом узком ее месте, он увидел выбоину, налитую до половины водой, и лег в эту выбоину. Он не почувствовал воды и холода от нее, потому что ему было не важно и совсем не нужно это чувствовать. Гранаты он держал на весу, над водой. Он услышал железный шум надвигающихся танков.

Танки шли по узкой лощине гуськом. Когда передний надвинулся вплотную, горячая волна подхватила Никулина, и он, чувствуя всем своим существом, с неопровержимой ясностью и несомненностью, что перед ним не смерть, а бессмертие, поднялся из выбоины и легко бросил свое тело под гремящие гусеницы.

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

Этот взрыв, после которого передний танк подпрыгнул и, развернувшись, встал поперек лощины, загородив собою дорогу остальным танкам, услышали все бойцы в траншее.

Услышали и Фомичев с Папашей.

Они заложили свои гранаты с обеих сторон среднего понтона, на стыках мостовых звеньев. Они переговаривались через понтон, не видя друг друга.

— Готово? — прокричал Фомичев.

Быстряк тащил его, и он держался за проволочный трос. Звучно пела вода, несла пузыри и белую пену.

— Погоди! — ответил голос Папаши.

На берегу усиливалась стрельба, слышались крики. «Атакуют!» — сообразил Фомичев.

Фашисты атаковали. Поняв, что все их надежды на танковый удар лопнули, они вконец остервенели и пошли напролом. У моста завязался рукопашный бой. Харченко, дважды раненный, взял на штык толстого унтера, ударил назад прикладом, еще одного принял на штык. Рядом дрались Жуков, кочегар Алеха, старый казак с медалью «За трудовое отличие» на груди. Фашисты теснили наших, каждую секунду могли прорваться на мост.

— Скорей ты! — крикнул Фомичев на ту сторону понтона. — Слышишь, скорей! Прорываются!..

— Готово!

— Считаю до трех!

— Давай!

Фомичев взялся за торчащую из связки рукоять средней гранаты.

— Раз!

— Раз! — отозвался Папаша с той стороны понтона.

— Два! Три!..

И, дернув рукоять гранаты, Фомичев изо всех сил пошел выгребать по течению, инстинктивно стремясь отплыть подальше от взрыва. Но далеко ли отплывешь за четыре секунды?

Мост, глухо рявкнув и дрогнув, сверкнул вдруг на середине пламенем, вздыбился и окутался черным дымом.

Вырванное из середины, изуродованное и разбитое звено отделилось и, тяжело колыхаясь на волнах, пошло вниз по течению, сопровождаемое обломками, щепками, среди которых невнятно мелькнуло раза два что-то белое... Фомичев то был, или Папаша, или просто свежеотесанный поперечный брус?..

Фашисты яростно завыли. Они уже выбили наших из траншеи, прижали к берегу. Еще одна надежда оставалась у них — восстановить мост. Но последние сорок метров, отделяющие фашистов от моста, были непреодолимы.

— Держишься, Харченко?

— Держусь, Жуков!

Упал кочегар Алеха. Облился кровью старый казак. Немного оставалось наших бойцов — всего человек сорок, когда к реке вышли наши танковые соединения и казачьи лихие полки. Вся эта лава, гремя железом, полыхая огнем, сверкая и вспыхивая на солнце клинками, обрушилась на врагов.

После того как переправа с обеих сторон была полностью очищена, за дело взялись наши саперы. Они свели разошедшиеся концы моста, соединили их. К рассвету мост был восстановлен, и по нему началось нескончаемое движение советских войск.

На запад! На запад, вперед, в наступление! Нескончаем был медлительный поток нашей пехоты. Фырча моторами, тянулись грузовики. На запад! На запад! Гулкий дощатый настил отзывался на этот призыв, гудел и звенел под копытами казачьих коней. На запад, за честь и свободу родной земли! Понтоны, хлюпая водой, оседали под тяжестью огромных танков, казавшихся в тумане еще огромнее и тяжелее. Шли пушки — большие и маленькие, противотанковые и зенитные, шли минометные соединения, за ними опять пехота, и снова казаки, танки, пушки, и опять пехота, пехота, пехота!

Туда же, на запад, вместе с войсками шли матрос Харченко, матрос Жуков и другие бойцы из отряда Никулина.

Но ничего этого уже не видел и не слышал Никулин...

На этом и заканчивается история о жизни и бессмертии черноморского минера Ивана Никулина и его боевых друзей. Будущий историк Великой Отечественной войны не обойдет молчанием эти имена и сохранит их для потомства.

...На юге нашей страны, в квартире главного врача одного из военно-морских госпиталей Сергея Дмитриевича Анкудинова можно увидеть портрет Ивана Никулина — любительскую фотографию, увеличенную в размер писчего листа бумаги. На фотографии — моряк с простым и добродушным лицом, но в морщинке между бровей, в крутом изгибе подбородка и в упрямом очертании губ угадывается внутренняя несгибаемая сила, а серьезные, вдумчивые глаза как будто говорят: «Я знаю, зачем я живу, знаю, как я должен жить дальше!». Сергей Дмитриевич каждого нового гостя обязательно подводит к этой фотографии.

— Иван Никулин. Слышали, конечно.

И никогда не забывает с гордостью добавить:

— Это из моего госпиталя он пошел на свои большие дела!

(1942—1943)



СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ



ЛЕГЕНДА ЧЕРНОГО МОРЯ

Старый боцман Прохор Матвеевич Васюков считает себя коренным, природным севастопольцем и говорит об этом с гордостью. «Мой домишко на Корабельной стороне еще моего прадеда помнит! — говорит он. — Платан у меня растет во дворе — дедовской рукой посажен... В Севастополе с нашей васюковской фамилией трудно кому тягаться. Разве только вот Бирюковы да Варнашевы, а больше-то, пожалуй, таких фамилий и нет...»

Не один раз Прохору Матвеевичу приходилось покидать любимый свой город — уходил он из Севастополя на год, уходил и на два, ушел однажды на десять лет с лишним, но всегда и неизменно он возвращался, открывал знакомую калитку, и дедовский платан с приветственным, ласковым шумом стелил ему под ноги зыбкий, живой коврик тени.

В двадцатом году, закончив с Михаилом Васильевичем Фрунзе славный крымский поход, опять вернулся старый боцман в свой дом и поселился прочно, с твердым намерением никогда уж больше не покидать Севастополя. Судьба рассудила иначе: Севастополь занят немцами, а Прохор Матвеевич живет сейчас на кавказском берегу. Живет он здесь по временной прописке, хотя начальник милиции, уважая старика и желая избавить его от лишних хлопот и хождений, каждый раз при встрече предлагает ему прописаться на постоянно.

— Нет, — отвечает Прохор Матвеевич, — спасибо на добром слове, но только здесь у вас я в гостях, а настоящий мой дом — в Севастополе.

Упрямый старик! Он до сих пор не все свои чемоданы и узлы разобрал — так и сидит на них, готовый в любой день двинуться в обратный путь, к дому.

Однажды он сказал мне:

— Я как тот севастопольский камень; я на своем месте должен находиться. Ты об этом камне слыхал?

— Нет, не слыхал никогда,— признался я.

Старик помолчал, засопел, раздувая усы, потом с насмешливым и снисходительным пренебрежением заметил:

— Какой же ты есть черноморец? Об этом камне должен знать каждый. Может быть, он в руки тебе угодит — что ты с ним тогда будешь делать?

Так впервые узнал я от старого боцмана легенду о севастопольском камне — высокую и благородную легенду Черного моря. А потом я много раз слышал эту легенду от других моряков — и на кораблях, и на подводных лодках, и в блиндажах, и на батареях. Но самого камня, сколько я ни стремился, мне увидеть не удалось.

Рассказывают:

— ...Когда мы по приказу Верховного командования уходили из Севастополя, эвакуацию наших войск прикрывали части морской пехоты. Это были настоящие воины, самые лучшие, самые мужественные — это были герои. Они знали заранее, что им, последним, уже не уйти: сдерживая бешеный фашистский натиск, они дрались один против десяти, один против ста и не отдавали рубежей. Мы знаем, как выполнили они свой долг... Вечная слава героям!

Мы знаем и помним, как выполнили они свой долг!

Не следует думать, что все эти герои погибли. Часть прорвалась в горы, к партизанам, а некоторым даже удалось на плотах, на шлюпках и рыбачьих яликах добраться до кавказского берега.

Уже пятый день плыла одна такая шлюпка по Черному морю, держа курс к далекому Туапсе. В шлюпке было четверо — все моряки. Один из них умирал, трое угрюмо молчали. Верные закону морской дружбы и чести, они не бросили товарища, сраженного на севастопольской улице разрывом снаряда, они подняли раненого и увезли с собой в море: пусть не хвастаются фашисты, что моряк-севастополец попал к ним в плен. Трое моряков сделали для спасения товарища все, что могли, но у них не было ни медикаментов, ни даже пресной воды. Не было и ни одного сухаря — они питались медузами... Раненому с каждым днем, с каждым часом становилось все хуже, теперь вот он умирал.

Когда его подняли там, в Севастополе (это было близ

памятника «Погибшим кораблям»), то не заметили сначала, что в его руке зажат серый небольшой камень, отбитый снарядом от гранитного парапета набережной. Потом, уже в шлюпке, перевязывая товарища, моряки увидели камень и хотели бросить в море. Раненый хрипло сказал:

— Не трогайте. Севастопольский. В карман положите, во внутренний, чтобы на груди он был у меня...

Так до последнего часа он и не расставался со своим камнем. Он умирал трудно, мучительно: бредил, стонал и беспрерывно просил в забытьи воды. Самый молодой перегнулся через борт и поймал большую, прозрачно-бледную, с оранжевым пояском медузу. Он оторвал кусок скользкой плазмы — больше ничего не мог он предложить своему умирающему другу. А солнце палило, жгло, кругом на сотни миль был синий знойный простор, и слепяще блестела спокойная гладь морской соленой воды. И умер моряк. Перед смертью сознание на несколько минут прояснилось — он отдал друзьям севастопольский камень и сказал так:

— У меня думка была: приду в Севастополь обратно, своей рукой положу этот камень на место, крепко впаяю на цемент, и тогда отдохнет мое сердце. А до тех пор буду носить его на груди — пусть он жжет меня, и тревожит, и не дает мне покоя ни днем ни ночью, покуда опять не увижу над родной севастопольской бухтой наши советские вымпелы! Да нет, не судьба — смерть меня раньше настигла. Возьмите вы, друзья мои, черноморские товарищи, этот камень и храните свято. Мое вам последнее слово, мое завещание такое: «Он должен вернуться в Севастополь, этот камень, он должен быть положен на свое место, впаян на крепкий цемент и обязательно рукой моряка. А теперь — прощайте...».

К вечеру друзья предали его тело морским волнам. На шлюпке чугунных колосников нет, к ногам привязывать нечего, и он погрузился не сразу, долго еще он чернел и покачивался на воде, словно напоминая о своем завещании.

Камень перешел к одному из оставшихся в шлюпке — к самому старшему по годам и заслугам.

...Только на пятнадцатые сутки моряки услышали над собой гул мотора и увидели наш «МБР». Вскоре подошел вызванный летчиком катер, моряков доставили на берег, в госпиталь.

Когда их переодевали, сестра, принимая одежду, спросила, нет ли у кого особо ценных вещей — часов или денег, чтобы передать на хранение, под квитанцию. Самый старший протянул осколок гранита.

— Вот... передайте... Это севастопольский.

Сестра удивилась, но спорить не стала, и моряк получил квитанцию, в которой было написано: «Камень, серый, вес 270 г.».

Через три недели моряк вышел из госпиталя. Ему предложили поехать в отпуск, домой. Он ответил просьбой немедленно послать его на фронт, в морскую пехоту, на самый горячий и боевой участок. Просил настойчиво, неотступно и скоро уехал на фронт.

Он был снайпер. Счет его ежедневно пополнялся тремя, пятью, а иногда и семью убитыми немцами. Севастопольский камень был всегда с ним. Говорят, что, когда моряк, увидев гитлеровца, наводил свою снайперскую винтовку, камень начинал разогреваться и жечь его сердце; говорят, что тельняшка моряка даже подпалилась, пожелтела в том месте, где лежал на его груди камень. Моряк не знал страха, не знал устали, не знал промахов; каждое утро, еще затемно, уходил он в засаду и возвращался ночью. Он был молчалив, он просто показывал товарищам пустые гильзы. И они понимали: четыре гильзы — значит, четыре немца, шесть гильз — значит, шесть немцев. Гильзы эти он складывал в сундучок и по ним вел свой снайперский счет.

Два месяца служил он в той же части и приполз однажды из своей засады с немецкой пулей в груди. Когда он умер, друзья подсчитали гильзы в его сундучке; их было триста одиннадцать. Эти гильзы особой посылкой были отправлены матери погибшего снайпера вместе со скорбным письмом.

А севастопольский камень перешел к моряку-разведчику, лихому, веселому пареньку, который ходил к немцам в тыл за «языками» так же легко и просто, как в собственный свой огород. Паренек этот даже ухитрился познакомиться в немецком тылу с одной нашей девушкой и, выполняя свои боевые задания, не упускал случая повидаться с нею. Командир части был немало смущен и растерян, когда однажды лучший его разведчик вернулся из немецкого тыла... с женой!.. Жену отправили куда-то в Сибирь, к родителям разведчика, ему дали, понятное

дело, хороший нагоняй, но вскоре он искупил свою вину, притащив из разведки немецкого штабного майора.

А когда отправился разведчик, получив ранение, в госпиталь, камень перешел от него к одному связисту-моряку. Форменка связиста украсилась вскоре боевым орденом за то, что сумел он под страшным артиллерийским огнем на глазах у немцев найти обрыв провода и восстановить связь с нашими батареями.

Рассказывают, что потом был севастопольский камень у артиллеристов, был у пулеметчиков, причем считался принадлежащим всему расчету; попал наконец летчику-черноморцу.

В воздушном бою летчик огнем сбил три «юнкерса», а четвертый «юнкерс» из-за отсутствия патронов таранил и, сажая потом свою изуродованную машину, малость побился. Кому передал он камень перед отъездом в госпиталь, неизвестно; одни говорят, что камень опять попал к снайперу, другие уверяют, что камень нынче на подводной лодке, третьи клянутся, что видели камень у морских летчиков — они будто бы решили не выпускать его из своих рук и доставить в Севастополь по воздуху первым же самолетом... У кого бы он ни был, этот камень, у подводников, у артиллеристов или у летчиков, мы можем не беспокоиться за него: он в крепких, надежных руках!..

А если вы захотите посмотреть этот камень — поезжайте после войны в Севастополь. На Корабельной стороне вы легко разыщете боцмана Прохора Матвеевича Васюкова, его все знают. Старик проводит вас на набережную, и там, неподалеку от памятника «Погибшим кораблям», вы увидите камень, — он будет лежать на своем месте, крепко впаянный на цемент. И старый боцман не позабудет напомнить вам, что камень положен на свое место рукой моряка.

Прикоснитесь к нему щекой, попробуйте — может быть, он все еще горячий?..

ДАЛЬНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Неизвестный по фамилии,
Дальних плаваний моряк.

Не берусь объяснять, какими таинственными путями дошла к нам на Черное море эта история о неизвестном русском моряке с одного французского миноносца, затоп-

ленного ныне в Тулонской бухте. Может быть, какой-нибудь француз, ушедший из Тулона в Африку, рассказал английскому моряку, потом англичанин попал с караваном в Мурманск и там хорошо побеседовал за кружкой пива с нашим североморцем, а североморец впоследствии встретил где-нибудь в госпитале черноморца... Может, так оно было, а может быть, иначе — трудно судить.

Я лично услышал эту историю от старого боцмана Прохора Матвеевича Васюкова, человека почтенного, известного по всему черноморскому берегу. Вначале его рассказ показался мне слишком уж фантастичным; я спросил Прохора Матвеевича, убежден ли он в достоверности всей удивительной истории? Помолчав и подумав, он ответил своим сиплым боцманским голосом:

— А что же ты в этом нашел удивительного? То ли еще бывает в морской жизни!..

И я с ним согласился. Жизнь в своих прихотливых и неожиданных поворотах часто обгоняет самую пылкую фантазию, примеров тому — великое множество. Вот ведь сумел же сам Прохор Матвеевич убежать с царской каторги, с острова Сахалина, через все море на полусгнившей долбленке в Японию, а из Японии сумел пробраться в Америку, из Америки — на какие-то полудикие тихоокеанские острова. И ничего — не пропал, не сгинул, вернулся после революции на родину, живет и здравствует посейчас. Он человек бывалый, ему и карты в руки, поэтому на все сомнения и вопросы я заранее отвечаю словами старого боцмана:

— А что же удивительного? То ли еще бывает в жизни!

Началась эта история летом 1942 года под Севастополем. Русский моряк попал к немцам в плен. Вы скажете: не может быть — моряки, да еще севастопольцы, в плен не сдаются. Так он и не сдавался: он был сильно контужен, потерял сознание и очнулся уже в плену. Фамилии его мы не знаем, но, судя по некоторым косвенным признакам, это был пожилой матрос, пришедший на военную службу из торгового флота, моряк дальних плаваний, человек широкой и просторной жизни, в довоенной мореходке которого значились и Стамбул, и Порт-Саид, и Калькутта, и Бангкок, и Марсель, и Лондон, и Сан-Франциско, и Рио-де-Жанейро, и множество других больших и малых портов. Тулон, по всей вероятности, не значился в его мореходке, Тулон — порт военный, и купцы под

иностранными флагами не заходили туда. Тулон появился позднее — об этом я и хочу рассказать.

Немцы не убили пленного: русский матрос — это слишком редкая добыча, чтобы так просто и легко расстаться с ней. Моряка повезли в Германию. Томясь в наглухо закупоренном, битком набитом вагоне, он проклинал день и час своего рождения. Ему казалось, что весь флот, весь Севастополь, весь черноморский берег уже знают о его позоре и никогда не простят! Но смерти себе он не хотел: смерть не вернула бы ему флотской, морской чести. Он хотел свободы и беспощадной борьбы, это было его единственным желанием, единственной целью, и он стремился к своей цели с предельной силой и неудержимой страстью.

Говорят, что если человек умеет страстно желать и умеет неудержимо стремиться, судьба и случай всегда приходят на помощь ему. Так и случилось. Русского моряка после долгих мытарств и мучений отправили в лагерь, куда-то на северо-запад Германии. Эшелон продвигался медленно. Моряк мучился и тосковал, не зная о том, что в руках всемогущей судьбы уже сошлись, и пересеклись, и завязались в таинственный узел какие-то нити, в том числе тонкая нить его жизни, и случай — единственный, неповторимый — ждет его.

В полночь эшелон с пленными прибыл на крупную станцию. Через десять минут завыли сирены, подавая сигнал воздушной тревоги. Еще через десять минут началась бомбежка. Англичане бомбили жестоко, десятками крупнокалиберных бомб. Одним из первых же взрывов была сорвана крыша вагона, и глазам моряка открылось ночное небо, исполосованное прожекторами, исчерченное разноцветными трассами пуль и снарядов, полное грозного рева боевых моторов Британии!

О, как радостно, как торжествующе и грозно загудело навстречу английским моторам сердце русского моряка! Он позабыл о своем истощении, о своей слабости: упругим и точным движением он перебросил свое тело через разбитую стенку вагона.

Он побежал вдоль путей. Англичане бомбили. Земля содрогалась, стонала — ненавистная фашистская земля, бомбы взметали в небо свирепые смерчи желто-красного пламени, взрывные волны гуляли, руша здания, опрокидывая вагоны и паровозы. Пылали нефтебаки, лопались бензоцистерны, ночь вся грохотала, шипела, гремела...

Русский моряк бежал сквозь этот грохочущий ад, поглядывал только вверх да приговаривал со злобным ликованием: «Молодцы, братишки, славная работа! А ну, поддай им еще, поддай жару!». И братишки из Ковентри, из Лондона, из Глазго, словно в ответ ему, поддавали на совесть!

И он исчез, русский неизвестный моряк. Здесь, в грохоте взрывов и в пламени пожаров, теряется его след. Куда он направился, где бродил, у кого скрывался, почему, наконец, он выбрал путь на юго-запад, а не прямо на восток — обо всем этом я судить не берусь. Скажу только, что прямой путь на восток был для него, по-видимому, закрыт, и он решил возвращаться на родину в обход, через Францию. Так или иначе, но месяца через три, а может быть, и четыре он появился в Тулоне.

А что же в этом удивительного? То ли еще бывает в жизни! В свое время русские люди уходили из хивинского плена через весь Китай и возвращались на родину с Дальнего Востока. Если русский человек рвется с чужбины на родину, вряд ли есть в мире сила, способная остановить его. Моряк был охвачен страстным, неудержимым стремлением к свободе, борьбе и мести, силы его духа и разума возросли неизмеримо, возросли в такой степени, что он стал как бы существом иной, высшей породы в сравнении с обычными людьми. Он легко угадывал любую ловушку, он безошибочным внутренним чутьем распознавал друзей и врагов, он был глух к мольбам и стонам своего измученного тела, по двое-трое суток без воды и без пищи он сидел в ямах, в канавах, в заброшенных каменоломнях, прислушиваясь, присматриваясь и выжидая момент, когда можно тронуться дальше. «Невероятно!» — скажете вы. Но не следует забывать еще и о том, как звучит сейчас в Европе высокое звание русского человека: многие французы помогали ему как брату, как боевому другу, спасали и укрывали его, — что могли сделать полиция и гестапо?

Однажды — и это известно — он, скрываясь в каменоломне, увидел идущую по заглохшей тропинке французскую девушку с маленькой корзинкой в руках. Он вышел навстречу девушке, она замерла от ужаса и попятилась. «Не бойся! — сказал моряк. — Рус, матрос, Севастополь!..» Он засучил рукав, и девушка увидела на его руке пониже локтя якорь, перевитый могучей цепью. «Севастополь?» — переспросила она. Моряк подтвердил: «Да,

Севастополь!..». Девушка маленькой узкой рукой пожала его широкую руку, черную от загара и грязи, и ушла, оставив ему корзинку с хлебом, сыром и бутылкой молока. Подкрепившись, он просидел в каменоломне еще двое суток, зная, что девушка не приведет полицейских.

Севастополь! С этим словом он прошел через всю Францию, это слово было для него и пропуском, и паролем, и условным знаком боевой нерасторжимой дружбы.

Итак, он появился в Тулоне. В первый раз в жизни он пришел в далекий заграничный порт по сухопутью. В Тулоне встретился он с французским военным моряком. Назовем его хотя бы Пьер Патю. Неизвестно, имел ли русский моряк явку к Пьеру Патю или просто внутренним своим чутьем распознал в нем друга. Он мог распознать Пьера Патю по глазам, по тому гневному и трудному взгляду, которым смотрят на белый свет все честные, храбрые люди, страдающие за свою родину. Может быть, русский моряк просто подошел к французу Пьеру Патю, сказал: «Рус, матрос, Севастополь!», засучил правый рукав — и этого было достаточно.

Они сговорились быстро. Есть на земле, помимо бесчисленного множества больших и малых, западных и восточных языков, еще один всеобщий, международный матросский язык, известный морякам дальних плаваний всего мира. Это очень богатый и гибкий язык, способный выразить любое понятие, любую мысль; я полагаю, что на этом языке при известной ловкости можно обсуждать даже отвлеченные философские проблемы. Пьер Патю устроил русского моряка у себя дома, в своей семье. Он сказал гостю: «Жди! Время еще не пришло». — «Есть!» — ответил русский моряк и начал терпеливо ждать.

Пьер Патю жил в матросском пригороде Тулона. В ожидании должного часа русский гость помогал семье своего французского друга управляться по хозяйству, нянчил маленького Патю, пел ему вполголоса «Раскинулось море широко», а спать для безопасности уходил на чердак и ложился поближе к окну — на всякий случай.

Миноносец, на котором служил Пьер Патю, стоял в бухте, на рейде, с холодными, наполовину разобранными механизмами, лишенный хода и управления. Внешне Тулон был спокоен, но в скрытой глубине военного города шло глухое движение, гудел сдержанный ропот: моряки ждали немецкого нашествия и готовились к нему. Корабли выполнили приказ о сдаче на берег боезапаса,

но часть снарядов, гранат, патронов застряли в матросских сундучках, в подушках, под койками, за обшивками, в угольных бункерах, в кастрюлях, на камбузах, в котлах и цилиндрах холодных машин. Готовился и миноносец Пьера Патю: командир приказал тайно собирать и налаживать механизмы. В следующую же ночь после этого приказания корабельный кок исчез: матросы в темноте бесшумно опустили его труп с чугунными колосниками, привязанными к ногам, на дно бухты. Наутро командир спросил, куда девался кок? Пьер Патю ответил:

— Теперь он безопасен для нас. Он был слишком честолюбив и хотел отличиться. Может быть, он даже мечтал о какой-нибудь высокой должности в полиции.

— Так! — помолчав, сказал командир. — Но у меня на корабле не хватает человека по списку. Я обязан заявить о нем. Хорошо, предположим, что он дезертировал. Пусть ищут.

— Вам нет никакой необходимости заявлять, — ответил Пьер Патю. — По списку корабельным коком значится у нас Жозеф Корню. Не все ли равно какой Жозеф Корню служит у нас — брюнет или блондин? Легче предположить, что Жозефу Корню надоело быть брюнетом, он сходил в парикмахерскую и выкрасил волосы перигидролем.

— Говорите прямо, что вы еще там придумали? — приказал командир.

Короче, русский неизвестный моряк сменил свою чердачную койку близ слухового окна на другую койку — в кубрике французского миноносца. У него появилось имя — Жозеф Корню. Матросы шутили:

— Ты был, старина Жозеф, наверное, в каком-нибудь очень, очень дальнем плавании, если успел так основательно забыть французский язык.

— А ничего! Мы и без французского обойдемся. Мы и на своем, на севастопольском, с ним сумеем при случае поговорить, с фашистом! — отвечал Жозеф Корню под общий хохот восхищенных матросов.

Очень скоро он стал любимцем всей команды. Своей необычной биографией, трудным и героическим подвигом он привлек к себе сердца французских моряков. Надо сказать при этом, что обязанности кока он выполнял с любовью, добросовестно, он заставил французов понять наконец толк в настоящих русских щах и во флотском борще.

Прошло недели две. На миноносце все, от командира до юнги, знали тайну кока Жозефа Корню, а полиция попрежнему не знала. Да и никто не знал — ни один человек! — на других кораблях. А что же в этом удивительного? То ли еще бывает в жизни! Французы, когда нужно, умеют молчать не хуже других. А на миноносце были не просто французы, это были еще и моряки, патриоты.

В трюме корабля тайно, втихомолку ремонтировались и налаживались механизмы. Работа шла медленно, потому что во всем обходились своими средствами, не требуя ничего с берега, чтобы не возбудить подозрений...

Мне бы тоже хотелось закончить эту историю походом миноносца — героическим походом сквозь вражескую блокаду, мне бы тоже хотелось написать о боях в открытом море, о штормах, о гибралтарской дружеской бухте! Но так не случилось. Немцы нагрянули со своими пушками и танками в тулонский порт раньше, чем команда миноносца успела собрать и пустить механизмы. Миноносцу пришлось вести бой, стоя на якоре. И миноносец — вся его команда, от командира до юнги — вел этот бой доблестно, не хуже других кораблей, до последнего снаряда, до последнего патрона! И не хуже других пулеметов работал пулемет русского моряка, значившегося в корабельном списке под именем кока Жозефа Корню.

Снаряды и патроны кончились. Пушки и пулеметы молчали остывая. Но в трюмах были еще в запасе две торпеды. Командир сказал, обращаясь к матросам:

— Приказываю всем сойти на берег. Приказываю всем драться на суше за свободу и честь нашей Франции так же доблестно, как дрались сегодня. Идите, а я останусь, так мне повелевает моя честь француза и офицера! Со мной останется еще один человек — он спустится в трюм. Кто?

— Прошу разрешить мне! — отозвался Пьер Патю. Он был ранен в бою, повязка на его голове побурела от крови.

— Спасибо, Патю! — сказал командир и скомандовал остальным: — По шлюпкам! Кому не хватит места, добирайтесь вплавь!..

К Пьеру Патю подошел русский моряк и, вздрагивая от волнения, сказал на матросском языке, на том самом всечеловеческом языке, который способен выразить любую мысль, любое понятие, любое высокое и благородное движение души. Он сказал:

— Пьер, будет лучше, если в трюм спущусь я. Ты по-французски знаешь, тебе на берегу легче укрыться. А меня все равно сразу же загребут.

— Нет! — ответил Пьер Патю. — Ты сойдешь на берег. В трюм спущусь я!

— Тогда вдвоем, — сказал русский моряк. — Мы, Пьер, вдвоем спустимся. Как жили дружно, так дружно вместе...

— Нет! — прервал его Пьер Патю. — В трюм спущусь я один. Я француз, это мой, французский миноносец! Я могу разделить с тобой все, что хочешь, но здесь я не могу делиться с тобой. Прощай! Иди на берег. Что же ты стоишь? Ты слышал команду! Выполняй!

И русский моряк сошел на берег — на шлюпке или вплавь, этого я не знаю. С берега он видел миноносец, видел на мостике одинокую неподвижную фигуру командира. Пьера Патю он не видел — Пьер Патю уже спустился в трюм.

Бой еще не затих, некоторые корабли продолжали отстреливаться, некоторые погружались. Русский моряк слышал вокруг себя глухие рыдания — то плакали французские матросы. И он сам тоже плакал, только не замечал этого. К миноносцу на полной скорости шли два катера с немцами. Вот немцы уже близко, вот они уже карабкаются на палубу, вот они уже бегут к мостику, на котором чернеет одинокая и неподвижная фигура командира — французского офицера и патриота. Вот немцы на мостике! Столб пламени, грохот взрыва!.. Французский моряк Пьер Патю выполнил свой долг.

А русский неизвестный моряк? Здесь, в тулонском порту, в этот роковой, скорбный и героический день опять пропадает, теряется его след. Но когда немцы начали штурмовать матросские и рабочие пригороды Тулона, среди сражавшихся матросов, портовых рабочих, стариков и женщин — среди воинов свободной Франции — был один широкоплечий, светловолосый человек, не знавший ни страха, ни пощады. Он в одиночку шел с гранатами на немецкие танки и подрывал их, крича сквозь грохот боя: «За Севастополь! За Одессу!». Он бил по фашистским отрядам из пулемета и кричал хриплым, страшным голосом: «За Пьера, за дружка, за миноносец! Держите, гады!». Он несколько раз схватывался с фашистами врукопашную и был тогда так ужасен, что фашисты бросали оружие, чтобы сдаться ему в плен.

Вот и все. Больше о нем ничего не известно, и я не могу рассказать вам, где и как продолжает он свое славное дальнее плавание. Последнее, думаете, может быть, вы? Поостерегитесь сказать это Прохору Матвеевичу Васюкову: старик обидится, рассердится и наговорит вам грубостей — он бывает иногда ух как крут! Он держится другого мнения; поведав мне всю эту удивительную историю, он налил вина в стаканы и сказал:

— Выпьем давай за него, чтобы ему удача да счастье были! А вот когда он вернется, я его разыщу. Я ведь не полиция, от меня, брат, никуда не укроешься!

Прохор Матвеевич — человек бывалый, ему и карты в руки! Раз он говорит, что вернется, значит вернется! Тогда-то вот мы и узнаем и его имя, и фамилию, и многое другое, чего не знаем сейчас.

ДУША КОРАБЛЯ

Да будет слава живому, который не умирает!

Синдбад-мореход

Однажды осенью прошлого года — хороши эти свежие солнечно-ясные месяцы на Черном море! — у моего приятеля Прохора Матвеевича Васюкова выдался праздничный денек. Проснувшись утром, пошли мы с ним вместе на рынок за помидорами, повернули на чистенькую, залитую солнцем набережную — и вдруг мой Прохор Матвеевич застыл, очарованный, словно перед ним неожиданно возникло какое-то пленительное видение. Я посмотрел в ту же сторону и сразу все понял: в бухте стоял на рейде его корабль, тот самый, на котором прослужил он столько лет. Корабль стоял, как влитой в темно-синее стекло недвижной воды, он в прозрачном утреннем воздухе был виден четко со своим круто выгнутым носом, легким и стройным спардеком, со своими мачтами, трубами, пушками — старый корабль, сохранивший в неприкосновенности всю благородную стройность и чистоту своих линий, седой рыцарь моря, снова вышедший навстречу боям.

Лицо Прохора Матвеевича преобразилось, глаза засияли таким молодым сиянием, что странно было видеть над ними густую седину в волосах.

— Он? — спросил я.

— Он самый! — подтвердил Прохор Матвеевич. — Я его из тысячи других признаю!..

Помолчав, он добавил дрогнувшим голосом:

— Жив, значит, старик, слава тебе господи! Сколько времени бедняга в ремонте стоял: четыре бомбы он получил да торпеду — шутка сказать! На боку, вроде камбалы, на базу пришел — крен был у него на правый борт градусов двадцать пять. А теперь и не подумаешь. Как будто его только вчера со стапелей спустили. Нет, брат, его, старика, не потопишь, не на такого нарвались! Он еще постреляет, повоюет, ему еще гвардейское звание дадут — вот помяни мое слово!

На рынок пришлось мне идти одному — Прохор Матвеевич вернулся домой. А когда через час я принес помидоры, то застал старика погруженным с головой в разного рода хозяйственные хлопоты. Он утюжил брюки, чистил свой старый, выгоревший китель, составил из нашатырного спирта, зубного порошка и прочих неведомых мне снадобий какую-то смесь и надраил пуговицы так, что они, отражаясь в зеркале, давали вокруг себя лучистое сияние. Потом занялся фуражкой: чистил ее и гладил утюгом, не позабыв надраить маленькие пуговки, придерживающие ремешок. Хотя он и очень торопился, но окончательно был готов только часам к одиннадцати. Наконец, надев свои две медали, он подошел к зеркалу и остался, по-видимому, доволен своим видом, особенно кителем, который хранил на рукаве отчетливые следы четырех узких мичманских нашивок, напоминая всем непосвященным, что владелец его в свое время кое-что значил на Черноморском славном флоте.

Вы, может быть, улыбнетесь и подумаете, что мичман — не столь уж высокое звание, чтобы так им гордиться. Но мичман мичману рознь: на Черном море и на Балтике я встречал мичманов, которые помнили «Потемкин» и Порт-Артур. Командиры высоких званий, как я заметил, первые козыряли таким мичманам, вернее — их почтенным сединам.

Прохор Матвеевич Васюков был из числа именно таких мичманов. В полном порядке, медлительно и торжественно проследовал он по тесному переулочку, спустился к порту — и больше я не видел его до самого вечера.

Он вернулся с корабля совершенно счастливый. Я даже не мог раньше предположить, что человеку в столь почтенные годы все еще доступна такая чисто юношеская

переполненность счастьем. Ну, если бы это был, положим, какой-нибудь Ромео, только что повидавший свою Джульетту, я понял бы его восторженную взволнованность. Но перед собой я видел шестидесятитрехлетнего старика, вернувшегося не от Джульетты, а всего-навсего со своего старого корабля.

«Всего-навсего», — написал я и сейчас же должен взять эти слова обратно: теперь я знаю, что для истинного моряка его корабль, пожалуй, в иных случаях больше, чем для юноши его возлюбленная. Разве истинный моряк поколеблется умереть за свой корабль, за его честь и флаг? Умереть во имя своей любви — это, конечно, возвышенно и благородно, мировая литература поставила тысячи памятников таким героям. А я вот знаю случай, когда один моряк сделал большее: он не умер, он совершил во имя своего родного корабля подлинное чудо, победив смерть в открытой схватке с нею! Впрочем, не буду забегать вперед, вернемся к Прохору Матвеевичу.

Он улегся, но уснуть не мог и до утра рассказывал мне подробности своего визита на корабль: счастливые люди почти все без исключения болтливы и хвастливы — это давно известно. О, конечно, его приняли на корабле со всем возможным почетом! Впрочем, добавил он, скромно кашлянув, иначе и быть не могло: не кто-нибудь пришел, а Прохор Матвеевич! О его прибытии немедленно доложили командиру корабля, и командир — капитан второго ранга — сам, лично вышел навстречу гостю, поблагодарил за внимание, за память, повел в свою каюту. Немедленно был подан изысканный завтрак, отличный французский коньяк и лучшее вино, потом командир вместе с гостем прошел по всем палубам, отсекам, трюмам, а вернувшись в каюту, спросил, все ли с точки зрения Прохора Матвеевича в порядке на корабле, не заметил ли гость опытным боцманским глазом каких-либо изъянов? Прохор Матвеевич на это ответил (представляю, как солидно и важно звучал его сиплый бас!), что изъянов не заметил — корабельное хозяйство содержится в образцовом порядке. За обедом разговор на эту тему возобновился, и тогда Прохор Матвеевич позволил себе сделать одно замечание: не слишком ли молод боцман? Тридцать лет — это еще не тот возраст, когда человеку можно доверить такую ответственную должность. Сказать по правде, старик просто ревновал корабль к новому боцману и не смог скрыть этого движения своей души. Командир (капитан

второго ранга, прошу не забыть), подумав, согласился, что боцман действительно молод для своей должности, но следует отметить его несомненные достоинства: он знающий, надежный, дисциплинированный человек, до сих пор он хорошо справлялся с работой. Впрочем, добавил командир, Прохору Матвеевичу было бы неплохо побеседовать с корабельным боцманом, и если окажется, что тот по молодости лет еще не знает некоторых тонкостей, то помочь ему, посоветовать, разъяснить. И такая беседа состоялась после обеда и длилась два часа, в продолжение которых Прохор Матвеевич посвящал своего преемника в различные тайны и секреты сложного боцманского искусства. Это были необыкновенные часы, тепло которых долго еще потом обогревало душу Прохора Матвеевича — на два часа он опять превратился в полноправного члена команды на своем корабле, он был как бы старшим боцманом, правой рукой командира во всем корабельном хозяйстве. А молодой боцман слушал почтительно, со вниманием и даже раза два записал что-то в блокнот, чем окончательно покорил сердце старика. Прохор Матвеевич доложил командиру после беседы, что боцман действительно парень надежный, знающий и ему вполне можно доверить корабль. А потом был ужин, командир предложил Прохору Матвеевичу даже переночевать на корабле, но старик, вполне оценив этот великолепный жест, все-таки не согласился: военный корабль есть военный корабль, а не какая-нибудь гостиница, хотя бы даже и для своих. Словом, старик мучил меня своим бормотанием всю ночь; уже засыпая на рассвете, я сквозь сонный туман все еще слышал его сиплый голос:

— А вот старшины Петряева до сих пор нет на корабле. Где-то он задержался, Петряев...

На следующий день мы с Прохором Матвеевичем в предвечерний час стояли у парапета набережной, глядя вслед уходящему кораблю. Как и вчера, был полный штиль, вода слепила, я смотрел в морскую даль сквозь ресницы. Я не смог уловить минуты, когда в струящемся, зыбком мареве исчез, растаял корабль.

Я курил, укрывшись в тени киоска, а Прохор Матвеевич все смотрел вслед кораблю, хотя и не мог уже ничего увидеть. Он провожал корабль внутренним зрением, глазами сердца.

Мы возвращались в сумерках, они стремительно переходили в густую тьму южной ночи, только над морем, на

западе, еще брезжил и реял слабый, таинственный свет — последний ли трепет угасшей зари или первый вздох рождающихся звезд? Ночной ветер легко прошелестел в деревьях, теплый, пряный, почти маслянистый от запахов. Мой спутник остановился и, глядя в темно-синюю глубину над собой, сказал:

— На море ветер лучше. Здесь он больно мягкий, здесь он тебя гладит, а там, на палубе, освежение дает.

Мы прошли еще несколько шагов; он добавил:

— Живой, значит, корабль! Покуда он живой, до тех пор и я живой. А если уже, не приведи бог, что случится — значит, и моя душа пойдет на дно вместе с ним.

Мыслями, душой он был там, на своем корабле. Опять вспомнил он старшину Петряева.

— Где задержался? Ждут его, должность ему сохраняют, а он, видишь ты, опаздывает.

— Из отпуска, что ли, ждут его? — спросил я. — У него могут быть неприятности: время военное, опаздывать нельзя.

Прохор Матвеевич усмехнулся:

— Это смотря по тому, какой отпуск. Нет, неприятностей у него не будет, а орден ему, пожалуй что, и дадут.

Я насторожился, почувствовав за этими словами интересное продолжение. И не ошибся. В тот же вечер Прохор Матвеевич поведал удивительную историю, которая могла произойти только на море. «Легенда?» — подумали, может быть, вы. В том-то и дело, что самая настоящая быль!

Слышали вы когда-нибудь о том, что корабль имеет душу? Прохор Матвеевич открыл мне эту морскую тайну. Корабль для настоящего моряка — символ родины, ее частица; тем моряк и счастлив, что, в каких бы далеких и чужих краях он ни плавал, его родина всегда с ним. Бронированная палуба корабля — это и белый камень кавказских предгорий, и тучный чернозем воронежских полей, и зелень бескрайних степей Кубани одновременно. А душа корабля — это слияние душ всей команды, от капитана до юнги. И, как уверяет Прохор Матвеевич, настоящий моряк отдает свою душу своему кораблю навсегда, — моряк может уволиться, уйти в отставку, жить где-нибудь на берегу, но душа его все равно принадлежит кораблю.

Я прошу извинить мне длинное отступление, но без него был бы не вполне ясен смысл дальнейшего повествования.

На том самом корабле, которому и поныне принадлежит душа Прохора Матвеевича, служил старшина Петряев, артиллерист-наводчик носового орудия. Это, по свидетельству Прохора Матвеевича, был настоящий, природный моряк. Войну он встретил спокойно, сражался с достоинством, отвагой и честью. В одном бою, когда корабль подбил три вражеских самолета, но и сам получил тяжелые повреждения (ранения, хочется мне сказать), старшина Петряев был выброшен за борт разрывом бомбы. Но корабль, имеющий живую душу, не захотел отдать смерти своего сына — в разгар боя он принял старшину Петряева обратно на палубу и потом, сам изнемогая от ран, двигаясь к базе с креном на правый борт в двадцать пять градусов, доставил все-таки старшину на берег, в госпиталь, и спас ему жизнь.

Моряки умеют быть благодарными. Отныне Петряев был предан кораблю безраздельно. Между тем под Севастополем разгорались бои. Петряев отправился драться под Севастополь. На прощание он сказал командиру:

— Товарищ командир, туда, на сухопутный фронт, я уношу только ненависть, а душа моя и любовь остаются здесь, на корабле. У меня есть к вам морская флотская просьба — не отдавайте никому моего места у носового орудия. Как только он выздоровеет, мой корабль, я сейчас же вернусь.

— Хорошо! — ответил командир, которому понравились слова старшины. — Ваше место остается за вами. Можете быть спокойны.

Старшина поблагодарил своего командира и уехал. Под Севастополем он дрался ожесточенно, самоотверженно. Он был в числе тех моряков, которые прикрывали отход наших войск из Севастополя. Когда бой гремел уже на улицах, товарищи видели, как мина разорвала и бросила в воздух пулемет старшины, а сам он остался лежать на земле. Товарищи кинулись на помощь к нему. Путь преградили два немецких танка, потом появились автоматчики. Товарищи, вовлеченные в бой, уже не смогли подойти к Петряеву.

Был ли он убит наповал или только ранен, безразлично: немцы его все равно добили бы. Гибель Петряева была несомненной. Эта грустная весть дошла до кавказ-

ского берега, до корабля и его команды. Командир корабля нахмурился, промолчал. Но когда ему сказали, что следовало бы своевременно позаботиться о подыскании артиллериста, достойного занять место старшины у носового орудия, он коротко ответил:

— Успеем. Подождем пока...

Он, командир, ближе всех общался с большой душой своего корабля — поэтому он так и ответил.

А через полтора месяца с крымских гор было доставлено командиру письмо — старшина Петряев докладывал, что ему удалось спастись. В горячке и суматохе боя он отполз незаметно в сторону, забился в какие-то развалины, нашел среди камней ход в подвал и укрылся в нем от немецких солдат.

В том же подвале скрывалась молодая женщина, одна из севастопольских героинь. Она перевязала раны Петряеву, потом целый месяц кормила, поила, лечила его и наконец выходила. Где раздобывала она бинты, лекарства, пищу — трудно сказать. Сейчас ее имени не знает никто, но узнают все, когда мы вернемся в Севастополь и положим севастопольский камень на его место.

Настала наконец последняя ночь, к исходу ее старшина Петряев был далеко за Севастополем. В горах разыскал он своих моряков и с первой же оказией послал на корабль письмо. В конце письма выражал он надежду, что ремонт корабля протекает успешно, и повторял свою просьбу сохранить за ним место у носового орудия. «Моя душа на моем корабле, — писал он. — Ради моего корабля я буду побеждать смерть и вернусь к вам, товарищ капитан второго ранга. Но я буду несчастный человек, если для меня не найдется места на моем корабле...»

Корабль тем временем поправился заметно: пробоины были заделаны, работа перешла внутрь корпуса, в трюмы, кубрики, отсеки, в машинное отделение. Старик оказался крепче и жилистее, чем можно было предполагать, учитывая его возраст. Но все же до боевых походов оставались месяцы.

И опять с Крымских гор пришла скорбная весть о гибели Петряева. На этот раз даже сам командир смутился, заколебался. Донесение гласило, что старшина Петряев проник с разведывательными целями в феодосийский порт, узнал о том, что накануне прибыла наливная баржа с авиационным бензином, установил место ее швартовки, ночью вплавь подобрался к барже и заложил мину замед-

ленного действия, чтобы обеспечить себе возможность уйти от взрыва. Взрыв действительно последовал только на рассвете — страшный взрыв, причинивший порту огромные разрушения, но самого старшину Петряева немецкая охрана схватила значительно раньше — когда он одевался на берегу. Гул и грохот взрыва донесся к нему в гестаповский подвал. Теперь гестаповцам нетрудно было сообразить, зачем этот неизвестный русский с якорем, вытатуированным на груди, вздумал вдруг купаться ночью, и в таком неподходящем месте. И они сообразили — на следующий день старшина Петряев вместе с другими приговоренными был расстрелян за полотном железной дороги в присутствии согнанных к месту казни феодосийцев. Среди этих невольных зрителей кровавого фашистского спектакля были переодетые моряки с гор, пришедшие в разведку вместе с Петряевым. Они видели все до конца. Донесение не оставляло надежды.

Заместитель командира корабля по политической части сказал, что надо послать хорошее, сердечное письмо родителям Петряева. Он предложил возбудить перед командованием ходатайство о посмертном награждении героя. Командир опять долго молчал, глядя куда-то в сторону, может быть, советуясь в эти минуты с душой своего корабля. Ответ его, как и в первый раз, был краток:

— Подождем пока...

Старый командир помнил, что Петряев в письме обещал ему победить смерть. А он привык верить своим морякам.

Кто может сказать, какие силы таит в себе человек, в сердце которого безмерна любовь и безмерна ненависть? Кто возьмется определить, во сколько раз увеличиваются в минуты смертельной опасности силы его духа, тела и разума и где проходит та грань, что отделяет возможное от невозможного? Напрягая всю свою волю, Петряев сумел сохранить в момент расстрела спокойствие и самообладание. Среди десятков винтовок он разглядел винтовку, направленную на него, он хронометрически рассчитал время и упал в яму мгновением раньше, опередив пулю. В яме лежал он неподвижно. Палачи решили, что он убит наповал, и добавочную, страховочную пулю пустили по нему небрежно, не целясь. Пуля прожгла ему левое плечо — он не шелохнулся, только зубы стиснул так, что два верхних сломались. Ночью он выбрался из

ямы и ушел к своим, в горы. Вскоре после официального донесения о его гибели пришло второе донесение с поправками к предыдущему. Командиру корабля передали письмо Петряева: «Третий раз ухожу я от смерти,— писал он. — Я должен вернуться на мой корабль, и я вернусь. Я надеюсь, ремонт подходит уже к концу, и надо поторапливаться. Мешает простреленное плечо, но дело пошло на поправку — в ближайшее время думаю пробираться на Кавказ».

Вот что рассказал мне в тот памятный вечер Прохор Матвеевич, старый боцман. Дней через пять я убедился в достоверности его слов: проезжая по черноморскому берегу, я встретил в одном из портов корабль, и командир показал мне оба письма Петряева.

— Но есть новые известия, и очень тревожные,— добавил он.— Петряев добрался до Керченского пролива, там наскочил на немцев. Мы сопоставили некоторые наши донесения, показания пленных, захваченных недавно на Таманском полуострове, и установили, что он отбивался до последнего патрона. Потом, пользуясь штормовой погодой, ушел в море, вплавь. И его нет до сих пор... Очень тревожное известие. В Керченском проливе наши суда не ходят.

Мне надо было ехать в Москву, и я не мог ждать окончательного выяснения судьбы Петряева. Перед отъездом я еще раз повидал Прохора Матвеевича, рассказал ему о сомнениях и тревогах капитана.

— Знаю! — прищурился он.— Я тебе этого не хотел говорить, чтобы ты глупого чего не подумал: вроде, мол, он погиб. А он придет, задержался вот только.

И я уехал — сначала в Москву, а потом в иные края. И вот, вернувшись совсем недавно опять в Москву, я увидел на своем столе письмо от Прохора Матвеевича. Чернила на конверте порыжели, выгорели от солнца — оно ожидало меня долго, это письмо, необычайно скупое на запятые и точки, зато с расточительной щедростью украшенное заглавными буквами. Между прочим, старик пишет (именуя меня почему-то на вы, хотя в личных беседах я такого обращения от него никогда не слышал):

«...а еще Сообщаю вам о Старшине Петряеве он вернулся как я говорил и Служит на том корабле какой Вы видели только получил повышение два Ордена и нынче Главстаршина И еще сообщаю, что После Боя с немцами остался в Нагане у Него один Патрон Последний и он

с тем Патроном пробился к берегу и лег за Валун в голове была думка Живым не даваться а Патрон сберечти для себя. Но только как он поднес Наган ко рту то увидел фашистского Офицера который офицер пошел на него и у него Сердце закипело и он так Порешил что для Родины полезно этого гада убить, а самому принять от немцев Мучение, как Русскому Матросу, а свою Родную Пулю на себя не тратить как она сделана не для своих, а для фашистов. И он снял тоего офицера а сам бросил пустой Наган и пошел в Море думает лучше утону в родных Волнах. Немцы стреляли по нему с Берега но попасть не могли как на море бушевал шторм и нельзя целиться. И он был на Плаву пять часов и совсем из последних сил Выбился но только о своем Родном Корабле вспоминал и было Легче и Потом ему подвернулся Обломок он отдохнул и доплыл до другого берега всего более пятнадцати Миль а то и все двадцать. А потом он долго Пробирался к своим голодный и без Оружия, но его за то Наши люди поддерживали Моряки и Рыбаки и он пришел через две Недели как Вы уехали...»

Слышали вы когда-нибудь о чем-либо подобном? И где еще, кроме как на море, могут происходить такие невероятные истории? А впрочем, чему удивляться! Если стальной корабль может обрести на море живую душу, то почему человек не может обрести на море способность творить чудеса и даже побеждать во имя своей верности и любви самую смерть?

А если вы спросите, какой лично для себя сделал я вывод из всего этого, я вам отвечу. Вывод простой: надо любить свой корабль и быть до конца ему верным, а он уж сумеет за это отблагодарить, он сумеет своей большой душой укрепить человека и спасти его от верной гибели. Кто спасал старшину Петряева? Старый корабль, его большая душа!

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО ЛЕТЧИКА

Рюкзак мой был упакован, полотенце, мыло, зубная щетка уложены в полевую сумку — пришло мне время отправляться в путь. В ожидании грузовика, уехавшего в порт за бензином, мы с Прохором Матвеевичем сидели на скамейке и вели прощальную беседу, уговариваясь встретиться следующий раз прямо уже в Севастополе.

— Да! — сказал Прохор Матвеевич. — Только не все туда, в Севастополь, вернутся. Иные здесь полегли, на Кавказе, а кто на Кубани, на Азове, на Дону... Многих мы в Севастополе недосчитаемся.

Помолчав, он добавил:

— Будешь через Т. проезжать, сходи там на кладбище. В левом углу у восточного края могила есть — летчик один похоронен. Наш, черноморский, летчик. Этой самой могиле ты поклонись от меня. От Прохора, мол, Матвеевича Васюкова, от старого севастопольца, с уважением и с любовью низкий поклон. Цветов купи побольше, положи на могилу. Не забудь смотри!

— Не забуду, — ответил я. — Только надпись там есть какая-нибудь — имя, фамилия, звание? А то могил ведь много — спутать можно.

— Спутать! — рассердился Прохор Матвеевич. — Говорят тебе — летчик, как же ты можешь спутать? Спроси на всякий случай — любой житель покажет: эту могилу все знают. А насчет звания, фамилии — не скажу, да и никто не скажет... Неизвестный летчик — так его все в Т. и знают. Геройский человек: живой был — с немцами хлестко дрался, а погиб — стал драться еще хлестче. Мертвый, а из боевого строя не вышел — вот какой человек!

Грузовик, на мое счастье, сильно запоздал, и Прохор Матвеевич успел рассказать мне историю о неизвестном летчике, похороненном в Т., — героическую повесть о грозном, неукротимом бойце, который и по смерти не выпустил оружия из рук. Он продолжал бить немцев из могилы; мертвый, он был для них еще страшнее, чем живой; неуловимый, он настигал врагов всюду, и не было такого угла, где они могли бы укрыться от его разящих ударов.

Это было на юге, в приморском городе Т., летом 1942 года, когда фашисты, не считаясь с потерями, таранили и проламывали наш фронт. Бои шли беспрерывно, воздух над городом глухо гудел, сотрясаемый свирепым ревом орудий, небо по ночам светилось, охваченное мутно-багровым заревом вспышек, под южными голубыми звездами то и дело вспыхивали ракеты — земные белые звезды войны.

Городок жил напряженной и страшной жизнью. Земля в Степановой балке за городом, куда по ночам возили приговоренных, почернела и вспухла буграми, днем над

балкой стоял нагретый солнцем тяжелый трупный запах. Там, в Степановой балке, в одной из могил лежала и Анастасия Громова — жена черноморского моряка, мать четырнадцатилетнего подростка Васютки.

А сам Васютка, оставшись без отца, без матери, скрывался на городской окраине в каких-то развалинах, среди разбитых кирпичей и осыпавшейся штукатурки. Здесь он спасался от мобилизации на работу в Германию. Немцы отняли все у Васютки: семью, дом, юность, а теперь собирались отнять и родину — его последнее прибежище.

Четырнадцатилетний мальчик превратился в затравленного зверька. Он боялся показываться на улицах, где его могли ежеминутно схватить. Он был обут в ошметки, одет в лохмотья, пищу он разыскивал на помойках.

И Васютка решил умереть. Ценой жизни он решил откупиться от своего безысходного ужаса. Не будем осуждать его за это решение: слишком уж унизительной и нестерпимой была его жизнь. Сохранившиеся в архиве городской полиции протоколы свидетельствуют о том, что при фашистах самоубийства были в Т. обычным явлением. Васютку окружал чужой, страшный, враждебный мир, и он решил бежать в небытие из этого мира. Откуда было взять ему в четырнадцать лет выдержку, закалку и стойкость, чтобы вынести, перетерпеть все это?

Васютка назначил день и час своей смерти. Последнюю ночь провел он в слезах. Над ним, в проломах сгоревшего здания, сквозило темное небо, усыпанное сияющими сплетениями звезд, внизу под обрывом негромко рокотал прибой, ветер нес морскую прохладную свежесть. Васютка плакал навзрыд, звал отца, мать, звал бога — никто не откликнулся, не ободрил его, не укрепил дружеским словом маленькое измученное сердце. Ночь глухо, немо и беспросветно стояла вокруг и на все отчаянные призывы Васютки отвечала только неумолимым голосом войны — далеким ревом пушек.

Васютка сжался в комок, забился в самый темный угол — там его и застал ясный, прозрачный рассвет. Время пришло. Васютка привязал к железной балке веревку, сложил подставку из кирпичей и, закончив все эти приготовления, вышел из развалин посмотреть в последний раз на море, на розовеющее утреннее небо, на влажную листву тополей и акаций, на все, что было так дорого и близко ему в его молодой, чистой жизни.

Он услышал рокот моторов и треск пулеметных очередей. Стена загораживала ему горизонт — он обежал стену и остановился у глинистого крутого обрыва, спускавшегося к морю.

Над заливом шел воздушный бой. Четыре «мессершмитта» клевали наш самолет с красными звездами на крыльях. Они окружали его, били сверху и снизу, крутились в небе каруселью, вспыхивали розовым светом на виражах.

Васютке много раз приходилось видеть воздушные схватки, но это был какой-то странный бой. Мальчик похолодел, когда понял, что у нашего летчика нет патронов.

Наш летчик был безоружен — вот почему немцы наседали так упорно и смело.

Еще один разворот. Еще один вираж. Но уже ясно было — не уйти. Советский летчик направил машину в стремительное отвесное пике, прямо к зеркальной поверхности моря. Васютка зажмурился, решив, что летчик, не видя выхода, идет на смерть.

Он мог так подумать, потому что сам искал выхода в смерти. Замирая, с похолодевшим, сжавшимся сердцем, с закрытыми глазами он стоял долго, бесконечно долго, как показалось ему. Открывая глаза, он ожидал увидеть в небе только четыре машины. Но их было по-прежнему пять, и наша — с красными звездами — настигала один из «мессершмиттов» под яростным огнем остальных.

Дальше все произошло в одну секунду: от хвоста немецкого самолета отделились черные обломки и полетели в море, «мессершмитт» ринулся вниз вслед за ними — только белый бурун вскипел на зеркально-гладкой воде залива. А наш самолет, исковерканный, изрешеченный пулями, ковыляя и кренясь, боком направился к берегу, теряя высоту. Он тащил за собой по бледно-розовому небу хвост черного дыма, его неверный полет переходил в падение, блеснуло пламя, все было кончено. Самолет превратился в пылающий факел.

Он рухнул на сушу где-то неподалеку. Васютка кинулся туда. Он бежал из всех сил, задыхаясь, сбивая в кровь ноги о камни и не чувствуя боли. Может быть, летчик жив? Может быть, он еще успел выброситься у самой земли на парашюте? Тогда нужно опередить немцев и спрятать его, укрыть где-нибудь в развалинах, так хорошо знакомых Васютке.

Все эти надежды погасли сразу, когда за городом возле кладбища мальчик увидел догорающий самолет и в стороне фашистов, обыскивающих мертвого летчика.

Немцы погрузили остатки самолета на большую черную автомашину, летчика закопали на кладбище, меж двух крайних крестов, затем потоптались на свежей могиле, умяли ее вровень с землей и уехали.

Кладбище опустело.

Васютка вылез из своего укрытия.

Час был ранний, кое-где в затененных низинах еще стоял и дымился туман. Отсюда, с бугра, Васютка видел море. Невысокое солнце било золотым светом по шелковистой, мягкой синеве. Ветер легко и печально вздохнул в деревьях, вместе с ним вздохнул и Васютка и присел на камень возле могилы.

Прошел час, второй, третий, а мальчик все сидел на камне, о чем-то сосредоточенно и напряженно думая. Словами не передать этих мыслей, да это были даже и не мысли, а что-то большее — некий раскаленный сплав сознания и чувства.

Бывают в жизни часы и даже минуты, которые стоят целых десятилетий, — часы и минуты, рождающие героев. Забитый, затравленный, доведенный до отчаяния русский мальчик родился вновь на этой свежей могиле, но родился он уже не прежним Васюткой, а бойцом, готовым на любой подвиг. Как произошло это чудо — никому не известно, может быть, и вправду неукротимое сердце неизвестного летчика, переполненное гневом и любовью, самоотвержением и доблестью, не могло погаснуть даже в могиле: оно продолжало биться, пылать, и незримый огонь его, прорвавшись сквозь пласт сырой земли, передался Васютке? Именно так объяснил мне это чудо старый боцман Прохор Матвеевич, и я с ним не спорил.

На следующий день Васютка явился на кладбище с маленькой солдатской лопаткой и долго работал, насыпая могильный холмик. Основание холмика он обвел красивой каймой из белых камешков, а сверху изобразил с помощью тех же камешков пятиконечную советскую звезду.

Так появилась в приморском городе Т. могила неизвестного летчика.

Через неделю в порту ночью загорелись и взорвались две немецкие автоцистерны с бензином. Это Васютка выследил их и поджег.

А утро застало его на кладбище. Переполненный ликованием и гордостью, он пришел сюда, чтобы рассказать своему неизвестному безмолвному другу о ночном пожаре. Он убрал засохшие цветы и заменил их новыми. «Ты слышишь, это я поджег!» — сказал мальчик шепотом в землю, и в тишине ему показалось, что из глубины звучит в ответ уверенный и сильный дружеский голос: «Молодец, Васютка!».

Кладбище — место тихое и для немцев не интересное. Они сюда не заглядывали и ничего не знали о могиле неизвестного летчика. Зато узнали наши люди: может быть, сам Васютка проболтался кому-нибудь из сверстников, и пошел этот слух по городу.

Однажды Васютка нашел на могиле большой и красивый букет, перевязанный красной лентой с надписью: «Вечная слава герою!» Мальчик долго соображал, кто бы мог положить сюда этот букет, но так ничего и не понял. Через несколько дней на могиле появилась укрепленная на двух колышках красиво разрисованная фанерная дощечка со стихами:

О ты, кто подошел к могиле сей,
Реши, что сделал ты для родины своей.
Герой безвременно в сырой земле лежит,
Но дух его живет, пылает и горит...
К борьбе тебя зовет!..

Постепенно могила неизвестного летчика стала в Т. местом паломничества наших советских людей. Вскоре Васютка встретился на кладбище с одним из них. Это был рабочий кожевенного комбината — седоусый хмурый человек с густыми и сердитыми бровями, с пронзительно острым взглядом черных горящих глаз. Это был товарищ Алексей — впоследствии руководитель советской боевой подпольной организации в Т.

Он подошел неслышно, как раз в то время, когда Васютка подправлял осыпавшийся холмик. Увидев незнакомого человека, Васютка вздрогнул и замер.

— Так это, значит, ты за могилой смотришь? — спросил товарищ Алексей низким голосом.

— Нет... Я, дяденька, только так, — попробовал соврать оробевший Васютка, примериваясь улизнуть при малейшем подозрительном движении незнакомого человека.

— Это хорошо! — сказал товарищ Алексей. — Это правильно ты делаешь. Геройский был боец, и заслужил он вечную славу.

Незаметно завязался разговор, подозрения Васютки рассеялись, через полчаса товарищ Алексей знал все о мальчике, о горькой его судьбе, о веревке, приготовленной в развалинах, и о чудесном перерождении на этой могиле. Васютка не мог удержаться и похвастался своим ночным подвигом. Товарищ Алексей поверил не сразу, допрашивал с пристрастием, потом сказал:

— Ну, молодец, коли так! Вот что, Васютка, хватит тебе в развалинах ночевать. Давай переходи ко мне на жительство. Ты, я вижу, немцев не любишь, я тоже их не обожаю, вот и будем с тобой вдвоем действовать. А там, глядишь, еще подберутся надежные люди — один, другой, третий... Только помни условие: молчать надо. Ты как — молчать умеешь?

— Умею, — ответил Васютка.

— Ты должен молчать. В полицию попадешь, к немцам — все равно молчи. Ты не мне это обещаешь, ты ему обещаешь, летчику, который здесь похоронен. Ты ему поклянись!

В этот ясный, солнечный день на кладбище, у могилы неизвестного черноморского летчика, зародилась в Т. боевая подпольная советская организация. Товарищ Алексей и Васютка были ее основоположниками. Через несколько дней Васютка указал своему названому отцу еще троих надежных людей — пожилого врача, продавщицу из аптеки и однорукого инвалида, торговавшего на базаре махоркой. Все эти люди в разное время тайком приходили к могиле неизвестного летчика, и мальчик их заприметил. Тогда, между прочим, и выяснилось, что автором стихов, так красиво написанных на фанерной дощечке, был инвалид, потерявший руку в боях с немцами еще в восемнадцатом году.

Все новые и новые люди шли на кладбище с цветами, с черно-красными лентами траура, с простыми и трогательными стихами, посвященными памяти героя. Неукротимое, раскаленное сердце неизвестного черноморского летчика продолжало излучать сквозь могильную землю свой благородный огонь, зажигая людей священным гневом, безграничной доблестью и жаждой подвига во имя родины. Посещали эту могилу учителя, служащие, рабочие, подростки, домохозяйки — словом, простые, скром-

ные люди, никогда в жизни своей не помышлявшие о великой борьбе, об опасных и кровавых битвах. Отсюда же, с кладбища, многие уходили суровыми бойцами, настоящими гражданами, сынами родины, услышавшими ее призывный голос в роковой грозный час.

Подпольная боевая советская организация росла. Неизвестный черноморский летчик был ее знаменем, его могила — святыней, буквы «Н. Л.» — условным знаком, лозунгом и паролем. И уже по ночам в затемненных квартирах включались радиоприемники: патриоты слушали Москву. Стрекотали по ночам в отдаленных кварталах машинки: патриоты перепечатывали и размножали сводки Совинформбюро. Выводились из строя паровозы, вагоны, автомашины, рушились подорванные аммоналом железнодорожные и шоссейные мосты... «Н. Л.» — неизвестный летчик! Он воевал всюду: в порту, на железной дороге, в школах, в больницах и на заводах. Неуловимый, невидимый, он имел сотни глаз, сотни ушей, сотни рук. На станцию прибывали немецкие военные эшелоны. Скромная, незаметная телеграфистка сообщала об этом товарищу Алексею. В тот же день лучший связист организации Васютка отправлялся на противоположную сторону залива, к нашим. Боевое донесение он предварительно заучивал наизусть. Зимой Васютка переползал залив по льду в маскировочном халате, летом переплывал на автомобильной камере. Случилось однажды, что камера вдруг спустила, а до берега, занятого нашими, оставалось еще километра полтора. Пока хватало сил, Васютка шел вплавь, потом начал тонуть. Ночь темная-темная, кругом — пустыня холодной осенней воды, кого позовешь на помощь, кто откликнется? Васютка вспомнил своего друга и покровителя, неизвестного летчика, и показалось ему, что в ответ на его призыв там, на кладбище, в сырой могиле, вдруг зарокотало, загудело сердце героя. Этот рокочущий гул близился, усиливался, и Васютка, слыша его, не поддавался смерти, снова и снова выныривал на поверхность и все кричал, кричал, захлебываясь, в черную глухую темноту. И когда последние силы уже окончательно покинули мальчика и вместо крика из его горла вырвался только слабый писк, чьи-то сильные руки подхватили Васютку и подняли над водой.

То был наш дозорный катер. Неизвестный черноморский летчик прислал на помощь Васютке своих друзей-моряков. Донесение было доставлено по назначению,

через два часа эскадрилья пикировщиков пошла на бомбежку станции...

Прохор Матвеевич закончил свое повествование. Как раз подошел грузовик — мы расстались. На следующий день я был в Т. Здесь я узнал, что все рассказанное мне старым боцманом о боевой подпольной организации правда, что товарища Алексея в городе нет: он уехал работать в область и увез с собой Васютку. Некоторых участников организации я все-таки разыскал, и они показали мне могилу неизвестного летчика.

Она была точно такой, как описывал Прохор Матвеевич: холмик, на нем пятиконечная звезда, а ниже, вокруг основания, красивая кайма из белых камешков. На могиле лежали цветы, иные полуувядшие, иные совсем еще свежие, положенные, по-видимому, только сегодня.

Вечерело, над морем широко, в полнеба разгорался пышный багряный закат, окрашивая своим пламенным золотом облака, воду, листву, покосившиеся кресты и каменные потемневшие надгробья. Так мирно и тихо было вокруг, что я невольно подумал о неизвестном летчике: «Наконец-то он успокоился...». В это время издалека донесся зычный голос репродуктора. Местное радио сообщало о взятии Мелитополя. «Мелитополь взят! Мелитополь взят!» — два раза повторил диктор, и в короткой паузе, наступившей потом, мне вдруг послышался слабый, но явственный гул, идущий как будто из-под земли.

Это мне, конечно, просто-напросто показалось. А может быть, и вправду, в ответ репродуктору вместе с миллионами живых сердец дрогнуло, забилось и радостно зарокотало похороненное здесь неукротимое, раскаленное сердце неизвестного летчика?..

АЛЕНУШКА

> — Аленушка, сестрица моя!
> Выплынь, выплынь на бережок...
> — Иванушка, братец!
> Тяжел камень ко дну тянет...
>
> *Русская сказка*

В этом рассказе речь пойдет о верности и о большой любви, это будет рассказ об одной русской девушке из Феодосии.

Девушку из Феодосии звали Елена, но сама она больше любила простое имя — Аленушка. Она с детства привыкла к этому имени и окончательно закрепила его за собой, прочитав однажды грустную сказку о несчастной сестрице Аленушке и о братце Иванушке. В книжке была и картинка: сидит Аленушка одна-одинешенька во глухом лесу у темной глубокой воды, о чем-то думает, и на сердце у нее камень. Девочка не могла без слез видеть эту картинку, а мальчишки в школе дразнили: «Вот и тебе так же придется сидеть у моря, когда подрастешь». Она всхлипывала, заранее оплакивая свою горькую судьбу.

Как золотой сон минуло ее детство, и пришла юность — просторная, чистая, в солнечном свете, в морских зеленовато-прозрачных волнах. В девятнадцать лет Аленушка познала всю полноту молодого счастья. Она жила вдвоем с матерью, глуховатой старушкой, работала техником по ремонту моторов на рыбачьих баркасах. Все любили Аленушку, баловали, она веселилась, ходила на пляж купаться и загорать, по вечерам, после концерта или кино, допоздна гуляла со своим Степаном под яркими, крупными звездами юга. Этот Степан, моряк с военного тральщика, показал себя в первую же минуту знакомства с ней очень сообразительным парнем, угадав без подсказки ее настоящее имя.

— Елена, — сказала она, протянув руку; он, засмеявшись, ответил: «Аленушка!» — и она улыбнулась ему с благодарностью.

Аленушка была очень красива спокойной русской степной красотой и, сознавая это, пренебрежительно относилась к назойливым ухаживаниям знакомых ребят, но Степан сумел зацепить ее за сердце. Он появился перед ней как-то неожиданно, вдруг, на морском берегу, словно сказочный королевич, вышедший из моря; каждое его слово было кстати, каждое движение — в лад, вся повадка была у него ясная, веселая, легкая. И потом Аленушке никогда не было с ним скучно, и ни разу он не заставил Аленушку насторожиться, заботливо оберегая чистоту ее молодой любви. В благодарность за это она платила ему безграничным доверием, таким доверием, что иногда считала его способным понимать не только ее слова, но и самые мысли, даже не мысли, а таинственную музыку ее души. Однажды лунной ночью сидели они вдвоем на берегу, на старом камне — голубое кружево

пены подкатывало к самым ногам и, влажно шипя, таяло на темном песке.

— Жаль только, что тебя зовут Степан... Лучше бы Финист, — сказала Аленушка и вздохнула.

— Что такое? — встрепенулся он. — Какой это Финист? Такого даже имени русского нет!

— Финист — Ясный сокол, — ответила Аленушка. — Он днем гуляет по поднебесью, а вечером ударится о сыру землю и сделается перышком. А на самом деле он был добрый молодец...

Степан отодвинулся и широко раскрытыми глазами пристально посмотрел ей в лицо.

— Ты что, Аленушка, бредишь? Что у тебя творится в голове — какие-то Финисты, соколы... Ничего не понимаю...

— Ты многого не понимаешь, — прошептала она, опять вздохнула, потом тихо засмеялась — в ответ собственным мыслям.

Счастливая и светлая юность Аленушки тоже была как золотой сон до самой войны.

Провожая на фронт Степана, Аленушка взяла от него подарок — маленький перстенек — и сказала так:

— Я буду тебе верна, слышишь? Везде и всегда, хоть целых тридцать три года. Иди и не сомневайся во мне.

Степан уехал, и с этого дня вся жизнь Аленушки приобрела один-единственный смысл — ожидания. Она, разумеется, не сидела сложа руки: после работы спешила на курсы, потом в госпиталь на дежурство. Ее внешняя жизнь шла деятельно и кипуче, но внутренняя была заполнена только верностью и ожиданием. Она с необычайной строгостью требовала от себя выполнения своего долга верности. Как-то раз ей случилось нечаянно попасть на вечеринку, где пили вино и танцевали. Аленушка очень любила танцевать и не удержалась. Ночью, глядя сухими горячими глазами в темноту, она шептала себе: «Ты дрянь, ты ничтожество! Ты здесь танцуешь, а он, может быть, там кровью истекает или в атаку идет!». И этот «он» уже перерастал Степана, включая в себя все, что было ей дорого, — ее дом, Финиста — Ясного сокола, русские поля и березы, которые она страстно любила, хотя, родившись в Крыму, ни разу не видела, кроме как на картинках. В эту ночь Аленушка почувствовала свою верность единой и всеобъемлющей — устрем-

ленная на Степана, она в то же время обнимала собой весь родной русский мир.

Занятия на курсах медсестер подходили к концу. Аленушка готовилась ехать на фронт. Ей обещали назначение в ту бригаду морской пехоты, в которой сражался Степан. Но судьба рассудила иначе. Феодосию заняли немцы. Старушка мать умерла. Аленушку погнали в неволю в Германию.

Получив повестку, она словно окаменела. Без слез, без жалоб и сетований она собирала в дорогу маленький узелок. До указанного в повестке срока явки на вербовочный пункт оставалось еще часа три. Аленушка пошла на берег: проститься с морем, Степаном, со своей милой родиной. День был осенний, ласковый, море тихо перекатывало зеленые стекловидные валы. Аленушка одна-одинешенька сидела на берегу, плакала, и слезы ее капали на феодосийский нагретый солнцем бел-горюч песок. Вот когда сбылись детские смутные предчувствия, обещавшие Аленушке черную неизбывную беду. Плача, она повторила здесь, на влажном ветру, свою клятву: хранить верность хоть тридцать три года, а если тридцати трех лет не будет, то до смерти.

В назначенный час она пришла на пункт. Перстенек — подарок Степана — она повернула на своем пальце так, чтобы камешек смотрел внутрь ладони и своим блеском не привлекал внимания солдат. Но свою красоту она спрятать не могла — фельдфебель сразу приметил Аленушку.

К ночи поезд вышел из Крыма, началась Украина, а там, дальше, за степями, лесами, горами, лежала в ядовитом, черном тумане чужая, страшная Гитлерия, как некое царство двенадцатиглавого лютого змия, пожирающего людей живьем. Прямо в логово к этому змию везли Аленушку — маленькую, слабую русскую девушку, а светлый витязь на коне, с острым копьем и щитом червленого золота, был далеко и не мог подоспеть ей на помощь.

Солдаты-охранники ехали в отдельном пассажирском вагоне. У фельдфебеля, начальника эшелона, было свое купе. Аленушку привели к фельдфебелю — покорную, подавленную, беззащитную. Фельдфебель так и решил, что она сопротивляться не будет, — сыто усмехнувшись, он защелкнул дверь, поставил на столик бутылку вина, консервы, нарезал хлеба. Аленушка молчала, не поднимая

глаз. Но когда фельдфебель шагнул к ней, она схватила со стола нож и прижалась, вся дрожа, к запертой двери.

— Не подходи! — задыхаясь, сказала она. — Зарежусь!

Глаза ее светились темным отчаянным пламенем, и фельдфебель понял, что сделай он еще одно движение — и Аленушка действительно зарежется.

— Так! — изменившимся, заглохшим голосом пробормотал он по-немецки. — Очень хорошо!.. Ты будешь за свое упрямство три дня сидеть в карцере.

Он приказал перевести Аленушку в штрафной вагон — застенок на колесах. Два дня Аленушке не давали пить — все ждали, когда она сдастся и запросит пощады. На третий день она, вероятно, умерла бы, но тут фельдфебель прислал кружку воды: негодяй понимал, что за Аленушку с него могут спросить, как за ценный товар.

Штрафной вагон многому научил Аленушку — страх перед фашистами сменился ожесточенностью. Она и раньше знала, что фашисты — враги, но знала это больше разумом. Теперь же она почувствовала это всем своим существом. Ее обидел не фельдфебель — ее обидел гитлеровский лютый двенадцатиглавый змий. Фельдфебель был виновен не больше, чем всякий другой фашист, а всякий другой фашист — не меньше, чем фельдфебель, все же вместе и каждый в отдельности они были бесконечно виновны, и все враги. Ведь фельдфебель об Аленушке ничего не знал — она была для него просто русская, вот и все. И для Аленушки отныне любой фашист стал безлик и огромен, воплощая в себе всю Гитлерию. Она не замечала, не видела, не хотела видеть в них отдельных личных особенностей внешности и характера.

Таким же безликим был для Аленушки и хозяин — немецкий кулак, который увез ее с невольничьего рынка в Магдебурге на свою ферму. Хозяин чуть-чуть знал по-русски. «Был в плену», — догадалась Аленушка.

Аленушка уже несколько раз ловила на себе его странно внимательные взгляды, и все ей стало понятно.

Весь день провела она в смятении, в тревоге, на ночь крепко заперла свою каморку. Но хозяин ночью не постучался — ему некуда было спешить. Дня через два он поймал Аленушку в темном коридоре и сунул что-то ей в руку. Это было дешевенькое позолоченное кольцо. Аленушка заливалась слезами над этим постылым подарком и проклинала свою красоту, которая там, на родине, при-

носила ей столько радости, а здесь, на враждебной чужбине, обернулась горем и напастью.

Спать она в эту ночь не могла. Когда все уснули, взяла в руки свои туфли с деревянными подошвами и, прокравшись босиком по коридору, вышла во двор — погоревать и подумать.

Все было чужим вокруг — и земля, и небо, и какие-то мутные, тусклые звезды, глядящие в упор, как совиные немигающие глаза. Но ветер дул с востока, и в тихом его шелесте Аленушке чудился далекий, тоскующий голос: «Аленушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок...». Истерзанное горем и ужасом сердце Аленушки отвечало на этот призыв скорбным стоном: «Иванушка, братец! Тяжел камень ко дну тянет...».

Она долго стояла во дворе, молясь о чуде. И чудо совершилось — его принес на своих крыльях восточный ветер с далекой родной стороны. Ночь была ноябрьская, холодная, Аленушку прохватило ветром, и она заболела.

Конечно, простуда сама по себе не освободила бы Аленушку от немецкого рабства, но в бреду, в жару ей пришла спасительная мысль: хотя бы на время избавиться от своей красоты. Аленушка перестала есть, пищу свою она тайком выбрасывала. Голодовка в соединении с болезнью за две недели превратила ее в щепку. Вдобавок по лицу пошли какие-то прыщи, Аленушка нарочно не давала им заживать. Каждое утро она разглядывала в зеркале свое обезображенное лицо с торчащими скулами, запекшимися губами и темными, провалившимися подглазьями. Вся ее красота исчезла бесследно. «Слава богу! — думала она. — Теперь уж никто не польстится».

Вот когда наконец показал себя хозяин! Он стал с ней груб и жесток. Хотя Аленушка была еще очень слаба, он заставил ее пройти вместе с ним пешком в соседнюю деревню, километра за четыре, к фельдшеру.

Обычно беды и удачи приходят к людям полосами — у Аленушки началась полоса удач. Фельдшер, брезгливо осмотрев ее, обнаружил хрипы, сохранившиеся в легких после простуды. Фельдшер считал себя светилом в медицине, его заключение было кратким и безапелляционным:

— Знаете ли, герр Вулле, — важно сказал он, — вам надо избавиться от нее, и чем скорее, тем лучше. У нее самая настоящая чахотка, теперь она для вас бесполезна — пусть едет умирать к себе домой.

— Чахотка! — ужаснулся хозяин и отодвинулся от Аленушки.

Эту декабрьскую ночь она провела в сарае — хозяин не пустил ее в дом, опасаясь заразы. Утром он отвел ее в полицию и показал там справку, полученную от фельдшера. Немцы не стали затруднять себя медицинскими переосвидетельствованиями — чахотка так чахотка, найдется другая русская девушка, более пригодная для работы в Германии. И она поехала домой, в Россию.

Слишком долго было бы рассказывать здесь о том, как разыскала она в Феодосии давнего приятеля своей покойной матери — старого рыбака-бригадира, уговорила старика принять ее на баркас мотористкой, как в замасленном комбинезоне с утра до вечера, без выходных, трудилась над старым, разбитым мотором, приводя его в порядок. У Аленушки был свой план, и для успешного выполнения этого плана хороший, надежный мотор был просто необходим. Аленушка замыслила побег на советский берег. В артели было восемь человек, но только двоих — самых надежных — посвятила она в свои замыслы. Старик бригадир ничего не знал — он показался ей трусоватым и недостаточно решительным для таких дел.

Аленушкина верность, до сих пор служившая ей только щитом, превратилась в наступательное оружие. Скромная, тихая, мечтательная девушка шла в открытый бой за свою свободу и любовь. Она смотрела на перстенек, прощальный подарок Степана, и втайне гордилась собой — она свое слово держит! В шелесте влажного ветра с востока по-прежнему слышался ей далекий призыв: «Аленушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок...» И она голосом своего горячего сердца отвечала: «Я слышу! Я выплыву, Степа, милый, я обязательно выплыву! Скоро, вот уже скоро!..» Могуче и просторно расстилалось перед Аленушкой синь-широко море, пышно цвели восходы и пламенели закаты, грохотал прибой, разбивая каменистый берег, человеческими голосами кричали белые чайки, словно зачарованные девицы, посланные из волшебного светлого царства с доброй вестью к Аленушке. По ночам звезды, трепетно переливаясь, горели над ней тихим и живым пламенем, и во всем Аленушке чудился добрый знак.

Наконец мотор был отремонтирован и проверен, в трюме хранились надежно упрятанные запасные бидоны

с горючим. Аленушка уговорилась со своими друзьями — Игнатом Проценко и озорным черноглазым Сашей Янаки — использовать первый же выход в море и взять курс к советскому берегу. Немцы оказались предусмотрительны — прошлой осенью из Феодосии на Кавказ уже ушли два баркаса, и немцы решили не выпускать рыбаков из порта без охраны, по два солдата на каждый баркас.

Из первого рейса пришлось вернуться и сдать улов немцам. То же повторилось и во второй раз, и в третий, и в четвертый...

Саша Янаки был человек от природы горячий и вспыльчивый, к тому же — зачем скрывать? — его волновала и близость Аленушки.

— Так у нас никогда ничего не выйдет! — сказал он, стукнув по столу кулаком. — Этих проклятых немцев надо просто ликвидировать.

Игнат Проценко — пожилой, грузный и могучий (он легко бросал пятипудовые мешки на грузовик и в одиночку перетаскивал якоря) — только молчал и сопел в ответ. Когда Саша его допек, он раздраженно ответил:

— Чем ты будешь его ликвидировать? Пальцем? А у него автомат на шее висит!

Еще два раза вышли в море — оба раза вернулись и сдали немцам улов. Саша бесновался:

— Я лучше сети перережу и днище продырявлю, чем немцев нашей рыбой кормить! — Аленушка молчала, закусив губы: что могла она сделать там, где двое мужчин оказались бессильны? Молчал и Проценко — в его тугодумной, но трезвой голове шла своя работа.

— Подождем, пока подвернется случай, — сказал он, а какой именно случай — не пояснил.

И этот случай подвернулся, и в такой день, когда меньше всего можно было ожидать. В море вышли сразу три баркаса; на каждом была охрана, и, кроме того, немцы послали сторожевой катер. Попробуй убеги — снаряд нагонит!

Море хмурилось, белые чайки носились и кричали, падая грудью на волны. Теперь они уже не казались Аленушке зачарованными девицами, посланными к ней с доброй вестью. Она ошибалась — именно этому ненастному дню было суждено стать первым днем ее свободы.

После полудня начало штормить. С немецкого охранного катера просигналили возвращение в порт. Но шторм нарастал стремительно, тучи опустились и понеслись над

самой водой, море взгорбилось и закипело, ветер уныло засвистел и завыл в снастях. Баркасы начали убирать сети, это заняло минут сорок, а мгла за это время сгустилась, и в бледном прерывистом свете молний хлынул косой, резкий, яростный ливень, окончательно закрывший видимость.

С трудом пробираясь по скользкой, уходящей из-под ног палубе, Игнат Проценко подошел к моторному отделению и открыл дверцу. В лицо ему пахнуло нагретым мыслянистым запахом. Игнат сказал Аленушке несколько слов. Побледнев, она молча подала ему тяжелый гаечный ключ. Он сунул ключ в карман, закрыл дверцу и ушел, балансируя по мокрой палубе.

На носу увидел он Сашу Янаки. Они совещались недолго. Саша, кивнув головой, направился к штурвальному мостику.

За штурвалом стоял сам бригадир. «Тебя зачем-то немцы требуют!» — прокричал Саша в самое ухо старику, сквозь свист и вой урагана. «А?.. Что?..» — не понял старик. «Немцы, говорю, требуют!» — повторил Саша, указывая на корму, где стояли оба немца. Рядом с ними, перетягивая какой-то канат, возился Проценко. «А, чтоб их!» — проворчал старик и, передав молодому рыбаку штурвал, пошел на корму.

Мутно-пенистые горбатые валы накатывали один за другим, вздымая баркас на гребни и снова низвергая в бездну. Стоя у штурвала, Саша Янаки видел перед собой то небо, то зеленоватую пучину воды. Время!.. Стиснув зубы, Саша резко переложил руль, подставив накату правый борт. Свирепая огромная волна подбросила баркас, но не перевернула, а лишь накрыла его всей своей многотонной тяжестью. Саша на секунду ослеп и оглох под этим соленым водопадом. Оглянувшись, он увидел немцев — мокрые с головы до ног, они отфыркивались и отплевывались, а рядом с ними, тоже весь мокрый, стоял Игнат Проценко. Старичок бригадир, скользя и спотыкаясь, бежал на раскоряченных ногах обратно к мостику. «Дьявол, как держишь!» — завопил он отчаянным голосом, но вопль его потонул в реве, рокоте и плеске второй волны, накатившей на палубу. Суденышко дрогнуло, крякнуло, легло на борт, и его винт завыл в воздухе. Саша повис на штурвале. Он видел с мостика: волна еще не успела схлынуть и суденышко еще не успело выпрямиться, когда Игнат Проценко, натужившись, со страш-

ной силой опустил гаечный ключ на голову первого немца, а второго ударил ногой в живот, — взмахнув руками, немец свалился на палубу. Старичок бригадир, оцепенев, стоял у мостика с выпученными глазами и отвалившейся челюстью. Накатила третья волна; когда Саша опять оглянулся, немцев на корме уже не было. С глубоким вздохом Саша уверенно провернул штурвал и поставил баркас носом к волне. Все кончилось.

— Это что?! Это что?! Что?! — опомнившись, зачастил бригадир, поднимая голос все выше и выше, до визга. — Вы это что затеяли, разбойники? А?! Что это?! — Его лицо передергивалось, челюсти тряслись. Он, конечно, не был изменником, этот старичок, и вовсе не держал руку немцев — он просто ничего не понял и насмерть перепугался.

К мостику сбегались рыбаки. Вылезла и Аленушка из моторного отделения. Подошел Игнат Проценко с гаечным ключом в руках.

— Ты что наделал, я тебя спрашиваю?! — завизжал старичок.

Проценко жестом остановил его.

— Товарищи! — сказал он. — Мы, советские люди, и нам дорога отсюда — к своим, на Кавказ. Может быть, есть несогласные?

Взвесив в руке гаечный ключ, он обвел глазами лица рыбаков, особенно пристально посмотрев на притихшего старичка бригадира.

Несогласных не оказалось. Аленушка, зарыдав, крикнула срывающимся голосом:

— Игнат, спасибо!

Саша деловито заметил с мостика:

— Зря ты, Игнат, автоматы у них не забрал.

— Некогда было, — хмуро отозвался Игнат. — Ты, что ли, Александр, у штурвала будешь? Курс — прямо на Кавказ. Аленушка, давай, милая, самый полный!

Баркас развернулся и сквозь холодную мглу, ураган и ливень пошел в открытое море, навстречу штормовой ночи.

Шесть узлов — это, конечно, не ход. Баркас трое суток мотался в море, но упрямо держал курс к советскому берегу. На рассвете четвертого дня наш дозорный катер заметил баркас и привел в порт.

Сестрица Аленушка выплыла все-таки на бережок...

Когда старый боцман Прохор Матвеевич Васюков, мой давний приятель, рассказал мне историю Аленушки, я,

понятное дело, схватился за блокнот. Старику это не понравилось.

— Не люблю, когда ты записываешь, ровно следователь какой. Да и чего записывать; вот лучше послезавтра пойдешь к ней на свадьбу, там и запишешь.

Я вытаращил глаза. Прохор Матвеевич пояснил:

— Она здесь сейчас, в нашем городе. Она своего Степку разыскала. Он после ранения демобилизовался и тут у нас в порту служит, в гражданском флоте. Вот получает как-то раз письмо — с месяц тому назад. «Степа, милый, дорогой», и всякое там подобное, «помнишь ли ты меня», и так и далее, «а я тебя всегда помнила», и всякое там подобное. А у него, у Степана, левой ноги нет, на протезе он ходит. Значит, мысли всякие лишние в голове, да наслушался еще о разных женах, которые своих калеченных мужей бросают, и вот влезла ему в голову дурь. «Нет, — думает, — не быть мне теперь женатым, проживу как-нибудь один». И пишет ей ответ: «Забудь меня», и так далее... Отправил... На сердце кошки скребут, ходит злой, лицом темный. Сидит как-то вечером дома, книжку читает. Открывается дверь; глядит — она! Подходит к столу и так ему говорит: «Прошу, — говорит, — извинить, что без приглашения явилась. Я подарок твой принесла — перстенек... На, возьми... Эх, Степан, Степан, мелкий у тебя характер. Мне уж как трудно у немцев было, а я себя соблюдала и к тебе вырвалась. А ты здесь, на родной земле, среди своих людей и то свихнулся!». Она думала, что он себе другую завел — вот и обиделась. Положила перстенек на стол — и к двери. «Прощай! говорит. Я тебе не судья, суди себя сам!» Тут уж он вытерпеть не мог, рванулся к ней, а нога-то не гнется — он за собой волочит ногу через комнату. Она как только глянула — сразу все поняла; вот скажи, какое сердце угадливое! «Да ты, говорит, Степан, может, из-за ноги мне такой ответ написал?» Он, конечно, сознался, и тут пошел у них разговор и всякое там подобное — словом, послезавтра свадьбу играют. Приходи!

И я на этой свадьбе был, вино и пиво пил, по усам не текло, потому что их нет у меня, а в рот кое-что попало. Я видел Аленушку и могу засвидетельствовать, что такие красивые девушки встречаются не часто. Видел жениха, немного ошалевшего от счастья и гордости, видел Игната Проценко и смуглого Сашу Янаки, в черных глазах которого, обращенных на Аленушку, можно было ясно про-

честь упрек! Старичок бригадир, тоже присутствовавший на свадьбе, подвыпив, с воодушевлением рассказывал о бегстве из-под фашиста, беззастенчиво приписывая главное геройство в этом деле себе самому. Прохор Матвеевич в конце пиршества разошелся и произнес горячий тост, закончив его словами:

— Желаю счастья и всякое там подобное!..

Мы, гости, дружно подняли стаканы и выпили за молодых и за женскую благородную верность!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Севастопольский камень!..

Долго странствовал он по всему Черноморью, переходя из рук в руки, от одного моряка к другому, наконец достойно завершил свой славный боевой путь. Встанем «смирно», товарищи! Севастопольский камень положен на свое место!

Вы помните легенду о камне? Она родилась на Черном море летом 1942 года, в те трудные тяжкие дни, когда мы, стиснув зубы, медленно отходили на Кавказ и на Волгу. Но по-прежнему непоколебимой оставалась наша вера в победу, — отступая, мы смотрели все-таки на запад.

Мы оставили тогда и Севастополь. А вскоре по черноморскому берегу прошел слух о севастопольском камне.

Рассказывали, что ударил снаряд в набережную близ памятника «Погибшим кораблям» и выщербил из парапета небольшой гранитный осколок — так примерно в ладонь величиной. Какой-то неизвестный моряк из последних отрядов прикрытия подобрал этот гранитный осколок, сказав товарищам:

— Клянусь вернуться в родной Севастополь! Клянусь, что своей рукой положу этот камень на место и крепко впаяю на цемент, чтобы лежал он во веки веков нерушимо! А до тех пор буду носить его на груди — пусть он все время жжет меня и тревожит, пусть не будет у меня других мыслей, кроме одной — отплатить сполна фашистам, сбросить их из Севастополя в море!

Не пришлось герою выполнить свою клятву — смерть помешала. Прощаясь перед смертью с товарищами, он передал камень и свой последний наказ:

— Он должен вернуться в Севастополь, должен быть положен на свое место, и обязательно рукой моряка.

Много ходило потом рассказов и слухов об этом камне: был он будто бы у моряка-снайпера, а после его гибели перешел к разведчику из десантного батальона морской пехоты, от разведчика — к артиллеристу, затем — к летчику и наконец попал на катер-охотник. Говорили, что моряки пронесли севастопольский камень по всему Азовскому побережью от Таганрога до Геническа, что побывал он и в Новороссийске и в Николаеве... Словом, очень много рассказывали, но никто из рассказчиков не мог похвалиться тем, что видел камень своими глазами, держал его в своих руках.

И некоторые начали уже подумывать, что, может быть, на самом-то деле никакого камня нет и никогда не было, что вся его история — это одна только легенда, разговоры... Действительно, странное дело: все кругом говорят: «камень», «камень», а где он, этот камень, каков он с виду, у кого он хранится — никто не знает!

Я, впрочем, о севастопольском камне знал побольше других. Есть у меня на Черном море давнишний приятель, старый боцман Прохор Матвеевич Васюков, человек известный, уважаемый, великий мастер рассказывать разные удивительные истории, хранитель бесчисленного количества морских легенд и преданий. Признаться, я давно догадывался, что добрую половину своих историй Прохор Матвеевич сам сочиняет, но свои догадки я хранил про себя и никогда не высказывал их старику, боясь рассердить и обидеть его. Прохор Матвеевич всегда очень заботился о том, чтобы его рассказы звучали вполне достоверно, и всякий раз начинал с длинного предисловия — где именно, когда и с каким человеком все это случилось.

А вот недавно в дружеской беседе я промахнулся. Дело в том, что впервые о севастопольском камне я услышал именно от Прохора Матвеевича недели через две после ухода наших войск из Севастополя. Тогда на море никто еще не знал этой легенды, и только много времени спустя она стала общеизвестной. «Да не отсюда ли, не от Прохора ли Матвеевича и началась и пошла она?» — подумал я и сгоряча сказал это старику в шутливом, разумеется, тоне.

Зря начал я такой разговор. Старик вспылил и надулся, встопорщив усы.

— Это кто же мог такую глупость сообразить? — начал он зловещим голосом, глядя на меня в упор глазами судьи. — Или ты, может быть, сам? Смотри-ка, что выдумали: никто-де камня этого не знает, никто-де его не видел!.. Да он что тебе, камень — вывеска, выставлять его на погляденье? Ты что же думаешь, каждый любой может на него глаза пялить и руками хватать? Нет, брат, погоди! Он не всякому доступный, он только настоящему моряку доступный, и тот геройский моряк должен хранить его на груди и никогда с ним не расставаться. А ты с такими мыслями, что вроде никакого камня и вовсе нет, хочешь его увидеть! Да как же ты увидишь, кто тебе покажет? Тот геройский моряк с тобой и разговаривать не станет! О чем с тобой говорить, какой ты моряк, если веры в себе не имеешь? Какой для тебя в этом камне толк — на нем ведь ничего не написано и клейма золотого нет! Пойди вон на улицу, подбери булыжник да гляди сколько хочешь! Ты в себе веры не имеешь, тебе все едино: что камень севастопольский, что булыжник!

Очень обидными показались мне эти слова, и я промолчать не сумел.

— А сами-то вы, Прохор Матвеевич, как его распознаете, если на нем ничего не написано и клейма нет?

— Эх, ты! — усмехнулся старик. — Он ведь кровью политый. Сколько за него, за этот камень, моряцкой нашей крови пролилось!.. А ты спрашиваешь, как я его узнаю. Сердцем почую, вот как!

И Прохор Матвеевич оборвал разговор, дав мне понять, что я за свое маловерие недостоин дальнейшей беседы о камне. С тем я и ушел, унося в душе обиду на старика и даже про себя поругиваясь, что вот, мол, какую моду взял старый: чуть что не по нем — сейчас нотации, выговор...

Так и остался я при своих прежних мыслях, что старик сам сочинил всю историю о севастопольском камне, пустил ее в мир, а признаться в этом не хочет — не сочли бы его-де каким-нибудь пустозвоном, что всем на потеху выдумывает разные побасенки.

И в этом своем убеждении, что всю историю о севастопольском камне сочинил сам Прохор Матвеевич, я не ошибался и не ошибаюсь. Действительно — он сочинил. Значит, правду я ему сказал тогда и зря он сердился?

В том-то и дело, что сердился он вовсе не зря! Да, в тот памятный вечер правду говорил я, но прав был все-таки он, Прохор Матвеевич, кругом прав!.. Немного

прошло времени, и за свою правоту, за свою веру старик был вознагражден великой, небывалой честью. Не стоит, впрочем, забегать вперед — буду рассказывать по порядку.

Однажды, недели через две после нашего разговора, Прохор Матвеевич отправился утром на рынок за веревками и мешками для упаковки своих вещей. События в Крыму нарастали бурно. Прохор Матвеевич, коренной севастополец, спешно готовился к возвращению на родину.

Возвращение в Севастополь! Все двадцать два месяца старик жил только этой мыслью — с нею ложился он спать и с нею просыпался.

— Я, как тот севастопольский камень, на своем месте должен находиться, — говорил он друзьям и знакомым. — Поубавить бы мне годков, в первый же день был бы я в Севастополе! Да вот беда — не сочувствуют военкоматские. Нельзя, говорят, года не те... Значит, придется мне запоздать.

...Нет, не опоздал Прохор Матвеевич, вошел одним из первых в Севастополь, и никакие военкоматские не смогли ему помешать.

Вот как это произошло.

Он толкался по туапсинскому рынку, приценялся к веревкам, мешкам и рогожкам, а всемогущая судьба уже готовила ему волшебный, чудесный подарок.

Когда, возвращаясь домой с пучком веревок и рогожным свертком в руках, поравнялся Прохор Матвеевич с центральным городским госпиталем, из стеклянных дверей выпорхнула на улицу молоденькая фельдшерица в белом халате и в косынке из марли. Она глянула вправо, глянула влево и, увидев Прохора Матвеевича, быстрым шагом направилась прямо к нему.

— Извините, товарищ! Скажите, пожалуйста, вы моряк?

Прохор Матвеевич воззрился на нее с удивлением, а потом и с начальственной строгостью. Старый служака, ревностный блюститель флотской дисциплины и субординации, он не любил в молодежи, а особенно в девушках, излишней бойкости — «озорства», по его выражению. А девушка, улыбаясь, ждала ответа. Была она маленькая, худенькая, с карими веселыми глазами, с ямочками на щеках — словом, вид имела самый легкомысленный (надо же было всемогущей судьбе принять на этот раз именно такой облик!)

— Моряк... А в чем дело? — сказал наконец Прохор Матвеевич сиплым и хмурым боцманским басом, тем самым, который заставлял в свое время трепетать нерадивых матросов. Но девушка ничуть не испугалась, улыбка засветилась на ее лице еще веселее.

— А вы давно моряк? А вы плавали на кораблях? Или только на берегу, в порту?..

От такой неслыханной дерзости Прохор Матвеевич даже онемел и молчал, выпучив глаза на свою веселую собеседницу. Девушку спасла только ее полная наивность — всякий другой был бы испепелен в одно мгновение на месте за такие слова!

Но окорот этой не в меру бойкой девице надо было все-таки дать.

Прохор Матвеевич ответил вопросом:

— А вам сколько лет, позвольте спросить? Какого года вы рождения?

— Девятнадцать лет. В двадцать пятом году родилась.

— В двадцать пятом! — внушительно сказал Прохор Матвеевич. — Так вот, когда вы родились, у меня уже без малого тридцать лет корабельной службы за кормой было. Я в море двенадцати лет пошел.

Девушка взглянула на Прохора Матвеевича серьезно и с уважением, легкомыслие исчезло с ее лица, между бровями появилась тонкая складка.

— В госпитале у нас один старшина лежит, — сказала она. — Просил обязательно разыскать старого моряка, настоящего. Какое-то морское дело у него, никому не хочет доверить — моряка требует.

Прохор Матвеевич, ясное дело, пошел. Свои веревки и рогожи он оставил на подоконнике вестибюля, затем облачился в белый халат и вслед за девушкой поднялся по лестнице на второй этаж.

На этой лестнице и переломилась жизнь Прохора Матвеевича. Великий мастер сочинять и рассказывать разные удивительные истории, он сам угодил в такое приключение, в такую историю, что сразу и поверить нельзя.

Следом за фельдшерицей он вошел в палату. Койка старшины стояла в глубине, у окна. Старшина дремал, под одеялом угадывалась его толстая, неподвижная нога в лубках и гипсе. Его лицо понравилось Прохору Матвеевичу — серьезное и не очень уж молодое, лет на тридцать пять. Ранение не оставило на лице особо заметных

следов, только легкую желтизну и синеватые тени в подглазьях — человек, значит, крепкий, упорный. И выбрит гладко и ногти чистые — аккуратный человек, хороший служака! Чтобы разглядеть все это, Прохору Матвеевичу понадобилось не больше секунды: боцманский глаз — наметанный. Приметил он также на руке старшины татуировку — старинный рисунок, забытый лет уж пятнадцать назад: значит, служит давно.

Девушка легонько тронула раненого за плечо. Он открыл глаза.

— Ну, вот, привела моряка! — звонко сказала она. — Самый настоящий, лучше не бывает. Первый сорт!

И в ее глазах вдруг опять блеснуло такое веселое озорство, что Прохор Матвеевич даже опешил слегка — уж не для смеха ли позвали его сюда?..

Нет, совсем не для смеха! Когда веселая девушка ушла, старшина сказал:

— Большое у меня к вам дело, папаша! Серьезное дело, морское. Только давайте познакомимся для начала. Рябушенко моя фамилия. Из дивизиона катеров.

Взгляд его, устремленный на Прохора Матвеевича, был напряженным, даже испытующим. Старик понял, что дело действительно очень большое.

Познакомились. Прохор Матвеевич не счел для себя унизительным показать старшине документы о службе, а старшина не счел бестактным внимательно их просмотреть.

— Да! — сказал он. — Правильно! Не ошиблась на этот раз, того человека и привела, которого я искал. Она многих уже водила ко мне, да все не те попадались. А вам, папаша, я вижу, довериться можно.

— Уж не знаю, что и сказать, — скромно ответил Прохор Матвеевич. — Шестьдесят с лишним лет живу на свете, никого еще не обманул покуда. Бог миловал.

— Нагнитесь ко мне, папаша, — сказал старшина. — Об этом деле вслух кричать не годится. Вы, папаша, о камне о севастопольском знаете?

— Я да не знаю! — усмехнулся Прохор Матвеевич с таким видом, с каким усмехнулся бы Пушкин, если бы его спросили, читал ли он «Евгения Онегина».

Старшина понизил голос до шепота:

— И что ему время пришло, тоже знаете? А я вот здесь без ног лежу. И раньше чем месяца через три не выйду... Смотрите сюда, папаша.

Старшина сунул руку под подушку и вытащил какой-то сверток.

Он размотал тряпку, потом начал разворачивать жестко шуршащий пергамент. Все это он делал очень медленно и бережно, а Прохор Матвеевич замер и затаил дыхание, устремив на сверток неподвижные, округлившиеся глаза. Прохор Матвеевич уже сообразил, понял, но поверить не смел! Когда старшина снял пергамент, Прохор Матвеевич, побледнев, выпрямился и вытянул руки по швам: перед ним был севастопольский камень — плоский гранитный осколок, матово поблескивающий в изломе.

Через десять минут Прохор Матвеевич вышел на улицу. Камень лежал во внутреннем кармане его кителя, против сердца, и старику казалось, что действительно камень этот горяч каким-то своим внутренним жаром.

В сквере старик присел на скамейку, чтобы немного опомниться. День был весенний, солнечный, пахучий, со свежим ветром, шумящим в молодой листве, море светилось ярко-синим пламенем, а вдали кипело барашками, грохотал накат, разбиваясь о набережную. Прохор Матвеевич ничего не видел, не слышал, не замечал. Мысли его путались, он испытывал чувство растерянности и смятения, подобное тому, какое испытал бы художник, увидев, что нарисованный им портрет ожил на полотне и грозит пальцем. Мимолетно вспомнил Прохор Матвеевич о своих веревках и рогожах: там остались, на подоконнике, — и сейчас же опять забыл. Какие уж тут веревки!..

Он ощупал внутренний карман кителя. Камень был здесь, на груди, — севастопольский камень, чудесно родившийся из его слов. Прохор Матвеевич — творец камня — отвечал теперь своей морской, флотской честью за весь его путь, за его возвращение в Севастополь! От Прохора Матвеевича началась легенда, ему же судьба приказала достойно закончить ее. Старик попал во власть собственного творения.

Странным и смутным пришел он домой, в свою комнатушку. С удивлением осмотрел он стены, потолок, белые подоконники, украшенные цветными салфетками. Здесь просидел он целых два года без малого! Да разве в такое время здесь, рядом с дородной и теплой вдовой Ариной Филипповной, его настоящее место?

Он достал из корзины свой старый рюкзак. С потемневших пряжек сыпалась тонкая ржавая пыль, когда он

протягивал ремни. Рюкзак давно отдыхал на кавказском берегу в ожидании своего часа. Прохор Матвеевич уложил две пары белья, табак, бритву, мыло, полотенце, хлеб, консервы. Больше ему ничего не нужно было в дорогу.

Передавая квартирной хозяйке ключи, он сказал:

— Побереги, Арина Филипповна, вещи мои. А если через три месяца не вернусь за ними, тогда возьми себе. Наследников у меня других нет.

— Что случилось, Прохор Матвеевич? — воскликнула хозяйка, с недоумением и страхом глядя на его походный костюм и на рюкзак за плечами. — Куда это вы собрались? А я сегодня как раз вареники затеяла — ваши любимые.

— Спасибо, — суровым и твердым голосом ответил Прохор Матвеевич. — Но только мне ждать нельзя. Дело большое, Арина Филипповна. Если, бог даст, все обойдется благополучно, переедем в Севастополь.

Он поцеловал хозяйку и ушел не оглядываясь.

Так севастопольский камень, а вместе с ним старый боцман Прохор Матвеевич Васюков начал свой путь к Севастополю...

УДОСТОВЕРЕНИЕ

«Дано сие Васюкову Прохору Матвеевичу, старому военному черноморцу в отставке, в том, что он действительно имеет задание доставить севастопольский камень в город Севастополь и уложить означенный камень на его место».

Под этим удивительным документом, который наверняка займет видное место в севастопольском музее Отечественной войны, значились надлежащие подписи — да еще какие подписи! — и стояла военная гербовая печать.

Вы хотите спросить, каким образом ухитрился Прохор Матвеевич получить столь необычное удостоверение? Конечно, никто другой не смог бы этого сделать, но ведь не зря же старик целых сорок пять лет прослужил на Черном море. На флоте люди умеют понимать друг друга с полуслова, поэтому отставной мичман Прохор Матвеевич и его давнишний знакомый — седой контр-адмирал сговорились в десять минут. Бумага была подписана и печать приложена.

С этим удостоверением в кармане отправился Прохор Матвеевич на Керченскую переправу.

Все, что оставалось у него позади — тихий приморский городок, комнатка в десять квадратных метров, теплая вдова Арина Филипповна с ее борщами и варениками, — все это отодвинулось далеко, в дымку, в туман, словно прошел уже целый год. Зато ясен и суров был путь впереди: Керчь, крымская земля, Севастополь!

Прохор Матвеевич мог бы вполне искренне поклясться, что камень на его груди нагревается сильнее и сильнее с каждым днем. Камень не давал ему покоя, даже во сне тревожил, но зато поддерживал в нем такую бодрость и силу, что Прохор Матвеевич чувствовал себя помолодевшим лет на пятнадцать. И когда приходилось вытаскивать застрявшую машину или орудие, он наравне со всеми молодецки напирал плечом, не испытывая при этом ни одышки, ни сердцебиения.

«Вот где, оказывается, настоящий-то курорт!» — посмеивался он про себя.

Вскоре в журнале одного из катеров появилась запись о переправе через пролив севастопольского камня на основании удостоверения номер такой-то...

Прохор Матвеевич вступил на крымскую землю.

Приморская наступала неудержимо, и Прохор Матвеевич никак не мог догнать фронта, который все время уходил от него вперед, на запад. То не берут на машину — перегружена, то испортится что-нибудь в машине — значит, сиди, жди или голосуй на другую. Много было у Прохора Матвеевича и других задержек в пути. Не везде сразу понимали документ, приходилось обращаться к ошалевшим от бессонницы комендантам — объяснять, доказывать, предъявлять в дополнение к документу самый камень. И душой отдыхал Прохор Матвеевич, только очутившись опять в кузове какого-нибудь грузовика, — упирается в лицо, захлестывает дыхание плотный и упругий от скорости ветер, и с каждым километром Севастополь ближе.

Многое повидал в пути Прохор Матвеевич: развалины городов, пепел сожженных деревень, братские могилы замученных. Но видел он по обочинам дорог и бесчисленные колонны немецких автомашин, обгоревшие или развороченные снарядами туши танков, повозки, автобусы, обломки самолетов, еще не зарытые трупы немцев, тысячные толпы пленных с мертвыми, пустыми глазами на

позеленевших лицах. В сердце Прохора Матвеевича менялись то гнев, то месть, то жалость, то ликование и радость.

Все в Крыму дышало весной и победой — солнце, море, ветер, люди и даже самые развалины. Пусть разрушены города — они свободны! Сожжены деревни, но уже копошатся, трудятся вокруг своих домишек и саклей вернувшиеся из гор, из лесов люди — заделывают проломы в стенах, мажут глиной крыши, чистят колодцы. «Бог на помощь!» — говорил Прохор Матвеевич какому-нибудь усатому украинцу, месившему ногами глину, и тот, поддергивая свои засученные, забрызганные штаны, отвечал: «Спасибо! И вам бог на помощь — не выпустить его из Крыма, проклятого!». Прохора Матвеевича, хотя погонов и не было на его кителе, принимали все за военного, и это льстило ему. «Никуда не уйдет! — отвечал он успокоительно. — Сидит, как в мышеловке!..» А весна стремительно переходила в знойное лето: утром, едва показывалось солнце, море начинало слепить — ярко-синее, с белой полоской у берега; днем было жарко, тихо, а по ночам в ясно-темном небе светились весенние звезды прозрачными каплями...

Война непонятным образом слила воедино и смерть и жизнь, благоухание садов и смрад неубранных трупов, разрушение и созидание, мирную тишину под звездами и грохот артиллерийских залпов, а все это вместе определялось Прохором Матвеевичем для себя одним коротким словом: «Победа».

...Далекий гул, что услышал ночью Прохор Матвеевич, трясясь в кузове полуторатонки, возвестил о близости Севастополя: то ревели наши и немецкие пушки. Глухой и ровный гул шел, казалось, из самых недр земли, сотрясая ночь. Придерживаясь за крышу кабины, Прохор Матвеевич встал и осмотрелся. Все было темно кругом, грузовик шел долиной. И еще много раз вставал Прохор Матвеевич, придерживаясь за крышу кабины, и по-прежнему ничего не мог рассмотреть в темноте. Но когда машина, тяжко рыча, взобралась на подъем, он, и не вставая, увидел зарево — неровное полукольцо бледного, летуче-зыбкого света от орудийных залпов на фоне дымного багрового тумана.

— Огня-то, огня! — сказал соседу Прохор Матвеевич. И с дрогнувшим сердцем услышал в ответ:

— Горит Севастополь!..

Командир батальона морской пехоты немало удивился, прочитав удостоверение Прохора Матвеевича.

— Слышал я об этом камне, много слышал, — сказал майор. — Но того никогда не думал, что попадет этот камень гражданскому человеку.

— Мичману в отставке, — напомнил Прохор Матвеевич.

Майор поспешил исправить свой промах.

— Прошу извинить, товарищ мичман, оговорился... Оно, может быть, даже и правильно, что попал он к вам, к старому моряку. Спасибо, что пришли именно в наш батальон — считаю за честь!

Разговор этот происходил в блиндаже, где еще вчера сидели фашисты — остались от них только две помятые каски да разбитый взрывом пулемет. Наверху наша артиллерия вела ураганный огонь, в протяжном и низком пушечном реве нельзя было различить отдельных залпов. Блиндаж весь дрожал и трясся, с потолка сыпалась земля.

— Здорово бьют! — сказал майор. — Значит, скоро будем штурмовать. А пока что, товарищ мичман, и для вас найдется работа, если пожелаете. Ранили у меня позавчера заместителя по политической части, а был он большой мастер с бойцами беседовать по душам. Вы моряк старый, коренной, всего повидали на своем веку. Вот бы вам поговорить с людьми — насчет камня, о традициях флотских, о нашей чести морской. Службы у вас сорок пять лет, вид солидный, авторитет...

Ну, как будто он в воду смотрел, майор, лучшего занятия для Прохора Матвеевича нельзя было выдумать!

И превратился Прохор Матвеевич на старости лет в пропагандиста. Через два дня он был уже любимцем батальона. Давно известно, что моряки в хорошем разговоре толк понимают. Прохор Матвеевич был оценен по достоинству.

Когда под немецким огнем он пробирался ходами сообщения, ему отовсюду, из траншей, из дзотов, из блиндажей, кричали:

— Папаша, к нам загляните, к нам!

И он заглядывал, не отказывался. Он садился, не спеша закуривал, потом начинал степенный разговор:

— Ну как, ребятки, скоро камень в Севастополь доставим?

— Скоро, папаша. Вот выйдет приказ штурмовать — сразу доставим.

— Штурмовать, ребятки, по-русски надо, по-суворовски. А то немец вон восемь месяцев штурмовал...

— Нам, папаша, немец не указ!

— Правильно, сынки! — говорил Прохор Матвеевич.

Всегда находился какой-нибудь старшина, который с беспокойством спрашивал:

— А дощечка там медная будет, около камня? С надписью дощечка, когда, значит, доставлен в Севастополь и каким батальоном.

— А как же без дощечки? — отвечал Прохор Матвеевич. — Обязательно будет дощечка...

Так начиналась беседа и легко, свободно шла дальше и заканчивалась какой-нибудь необыкновенной, удивительной историей, которую Прохор Матвеевич умел рассказать всегда кстати. Заговорили в траншее о знаменах — Прохор Матвеевич отозвался целым рассказом. О кораблях однажды заговорили — Прохор Матвеевич, конечно, уж не молчал. Пожаловался один паренек, что долго нет писем из дому, — у Прохора Матвеевича оказалась наготове история о затерявшемся письме. Слушали затаив дыхание бойцы, слушал паренек и светлел лицом. «Рано начал я тревожиться», — думал он про себя.

Один боец как-то сказал в блиндаже:

— Если потеряю руку или ногу на фронте — домой к жене не вернусь. Уеду в Сибирь.

У Прохора Матвеевича нашелся и на этот случай в запасе интересный рассказ о моряке-инвалиде, который вот так же поехал из госпиталя не домой, а в Сибирь, а жене послал от чужого имени открытку: так, мол, и так — погиб ваш муж смертью храбрых.

— Он, видишь, хотел этой самой открыткой все концы сразу обрубить, — неторопливо повествовал Прохор Матвеевич. — Одного не сообразил, чудак, что настоящую, хорошую жену в таком деле обмануть невозможно. Жена почерк на открытке признала...

— Ишь ты какая! — отозвались бойцы.

А Прохор Матвеевич продолжал рассказывать дальше, как поехала верная жена на фронт, а с фронта — в госпиталь, из госпиталя — в Сибирь, как мучилась она, разыскивая мужа, как наконец нашла его где-то в Тобольске и первым делом задала ему добрую трепку за глупые мысли.

Закончил Прохор Матвеевич свой рассказ наставлением:

— От этаких вот поступков глупых только одно беспокойство женам получается и загрузка транспорта — больше ничего. И скажу еще, что настоящему моряку, пока он жив и в строю находится, об этом и думать не положено. Стыдно моряку самого себя наперед хоронить!

Задумались бойцы, запомнили наставление. И потом между ними таких разговоров, что вот, мол, чувствую, завтра убьют меня, никогда больше не было.

Майор, командир батальона, сказал Прохору Матвеевичу:

— Замечательные истории рассказываете вы! Некоторые бойцы даже записывают. Об одном сожалею — о ваших годах, а то ни за что не выпустил бы из батальона! Спасибо за службу!

— Служу Советскому Союзу! — ответил Прохор Матвеевич и отошел удовлетворенный: не зря, не зря он ест матросский фронтовой хлеб!

Между тем артиллерия все яростнее молотила по вражеским укреплениям, все злее бомбили наши пикировщики и штурмовики. Воздух над позициями стонал, шипел, содрогался. Севастополь днем затянут был дымом, ночью же пламенел багрово и мутно. Дни штурма близились.

Ничего не сказав командиру батальона, Прохор Матвеевич тайно запасся трофейным автоматом, гранатами, парабеллумом. Он решил идти на штурм вместе со всеми и даже впереди. И когда он это решил — севастопольский камень, показалось ему, слегка шевельнулся во внутреннем кармане кителя, против сердца.

Опускались южные густые сумерки, явственнее обозначались летучие зарницы залпов, Севастополь все гуще окрашивался в ночной багрово-мутный цвет. Прохор Матвеевич долго стоял в задумчивости, не слыша вокруг ни свиста, ни грохота, ни воя, которые стали за эти дни такими привычными, что даже и не замечались; глядя на пылающий Севастополь, старый боцман думал об удивительной и неповторимой судьбе этого города; вспомнил он и Нахимова, и Корнилова, и Кошку, и Дашу, и многих других, проливших здесь свою кровь. Вспомнился ему и неизвестный моряк, скелет которого с истлевшими обрывками тельняшки нашли позавчера за камнем, в кустах, на склоне горы.

Взволнованный этими мыслями, он долго не мог уснуть в землянке и все ворочался, хотя было уже за

полночь и бойцы давно храпели, свистели вокруг на разные голоса. Наконец сон сломил Прохора Матвеевича.

...Майор перед штурмом попробовал задержать старика в своей землянке под тем предлогом, что нужно-де покараулить разные вещи, но Прохор Матвеевич и слушать не захотел.

— Для этого есть легкораненые, — ответил он. — А мне дозвольте с батальоном, если вы ко мне хоть сколько-нибудь имеете уважения. В бою, товарищ майор, тоже иногда полезно бывает поговорить с человеком.

Что можно возразить на такие слова? Да они к тому же понравились майору: он сам был человек боевой и умел ценить воинскую доблесть в других.

— Дело ваше, товарищ мичман, — сказал майор. — Мой совет вы слышали, а дальше поступайте, как вам подсказывает морская, флотская совесть.

И пошел Прохор Матвеевич на штурм вместе со всеми и даже впереди. Севастопольский камень лежал у него во внутреннем кармане, против сердца, как щит или броня.

— Я за себя не тревожусь, — говорил старик в бою морякам. — Покуда я к фашисту стою лицом — сердце мое защищено от пули. Вот если спиной обернусь — тогда, конечно, дело совсем другое. Солдат, как только спину противнику показал, считай — мертвый!..

Надо сказать, что подобные разговоры происходили не в блиндажах и даже не в окопах, а под таким огнем, что и бывалые бойцы покряхтывали. Перебежка... залегли, и Прохор Матвеевич выберет все-таки минутку, чтобы молвить что-нибудь поучительное. А слушать было кому: около Прохора Матвеевича всегда оказывалось три, четыре, а то и пять бойцов. Старик не знал, конечно, что майор специально приставил к нему бойцов для охраны: не ровен час, не ударил бы старика штыком какой-нибудь фриц в рукопашной.

Я не берусь описывать огневых, героических дней штурма: не видел. Да если бы даже и видел — все равно описать не сумел бы, здесь нужна поэма или целый роман. Перейдем лучше прямо к судьбе Прохора Матвеевича.

На третий день штурма, поднявшись в очередную перебежку, он вдруг увидел перед собой мгновенный желто-красный блеск разрыва и лицом вниз рухнул в темноту, в безмолвие — в ничто.

Над ним склонились два бойца. Один из них приник ухом к сердцу Прохора Матвеевича и выпрямился бледный.

— Эх, Вася! — сказал он. — Погубили фрицы нашего старика! Дадим им, Вася, жизни за это!

— Камень возьми! — сурово отозвался второй.

Они взяли камень и, пригнувшись, побежали вперед, в огонь и грохот. Задерживаться было нельзя.

Бой двигался к Севастополю, бой гремел уже на окраинах, на Малаховом кургане, у Северной бухты, на центральных улицах, а Прохор Матвеевич ничего не видел, ничего не слышал. Он лежал неподвижный, синевато-белый, без кровинки в лице. И не слышал, бедняга, последнего залпа, после которого встала над землей и над морем торжественная тишина победы.

Но тишину эту услышал он, очнувшись поздней ночью. Все он сразу понял. Охваченный порывом, хотел встать и не смог, хотел ползти и тоже не смог. И тогда старик заплакал — от радости, что Севастополь наконец свободен, и от обиды, что не его, не Прохора Матвеевича рукой положен будет на свое место севастопольский знаменитый камень. Пить ему очень хотелось, а вода вся вытекла из фляги. Он лежал на спине, смотрел в небо и плакал, звезды сквозь слезы были мохнатыми.

Он впал в забытье — в безмолвие и темноту.

Пробудил его утром чей-то радостный голос:

— Братцы, да он живой, старик!

Прохор Матвеевич открыл глаза и пробормотал:

— Воды...

В «пикапе», куда его уложили, веселый санитар пояснил:

— Приказал товарищ майор доставить ваше тело.

— Какое тело? — поморщился Прохор Матвеевич. — Зачем же доставлять мое тело, когда я сам со своей собственной душой могу явиться... Камень положили на место?...

— Нет, — ответил санитар. — Для этого и везем ваше тело... то есть для этого вас и везем, — поправился он. — Товарищ майор приказал, чтобы обязательно в вашем присутствии и под знаменем. И чтобы над вами троекратный салют.

— Да ты что взялся меня хоронить! — обозлился Прохор Матвеевич. — Разве над живым человеком троекрат-

ный салют бывает, дурацкая твоя голова! Я вот скажу майору!..

Ничего он майору не сказал. До того ли было старику, когда у памятника «Погибшим кораблям» он увидел батальон, выстроившийся «смирно», увидел знамя и синеву бухты. Прохор Матвеевич поднялся в машине, замахал рукой. По рядам, хотя и стояли они «смирно», словно радостный ветер прошел: жив старик! Майор бросился бегом навстречу, со слезами на глазах крепко обнял Прохора Матвеевича и трижды по-русски поцеловал. Потом старика, бережно поддерживая, подвели к полуразбитому парапету набережной, и в благоговейной тишине, нарушаемой только плеском гвардейского боевого знамени, он положил севастопольский камень на место.

Миссия его была окончена, долг выполнен до конца.

Что было дальше, я не знаю. Самого Прохора Матвеевича я еще не успел повидать и всю эту историю рассказываю вам со слов черноморского летчика, только что прилетевшего из Севастополя.

Товарищи, встанем «смирно». Севастопольский камень, омытый моряцкой кровью, положен на свое место!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть книги, которые становятся подлинно народными. Их читают с увлечением люди разных возрастов и разных характеров, читают, улыбаясь и хохоча, чтобы вдруг задуматься, взгрустнуть и понять то, что не приходило им в голову раньше. К числу таких славных и мудрых книг относится «Повесть о Ходже Насреддине» — Главная книга писателя Леонида Соловьева (1909—1962), удивительный сплав сказки, были и философских мечтаний, воплощенных в земные образы.

Но, кроме этой книги, писатель создал много рассказов, повестей, киносценариев.

Последние годы своей жизни Леонид Васильевич Соловьев провел в Ленинграде. Был он высок, худ, заметен в любой толпе. Человек в Ленинграде новый, он часами бродил по городу, вспоминая строфы Пушкина и Блока. Казалось, он был полон спокойствия и добродушия. Но резкая смена настроений была одной из черт его характера последних лет — ему начинало казаться, что он забыт читателем, что работа всей жизни прошла впустую. И тогда он вдруг сталкивался с каким-нибудь фактом, который снова возвращал его к реальному пониманию своей работы.

Вдова писателя М. М. Кудымовская рассказывала об интересном эпизоде. Шли они белой июньской ночью с Леонидом Васильевичем по набережной. А рядом с ними шумели и веселились тысячи выпускников ленинградских школ, вышедших, согласно традиции, к Неве реке. И вот кто-то в толпе молодежи узнал автора любимой книги о Ходже Насреддине. Его окружили, со всех сторон ему протягивали цветы... И еще долго

вспоминал Леонид Васильевич эту ночь, называя часы, проведенные с юношами и девушками, может быть, самыми счастливыми в своей жизни.

Я несколько раз писал о Л. Соловьеве, беседовал с ним. Нас объединяла любовь к Средней Азии, к народному творчеству, к Насреддину. Но о себе он рассказывал мало. И восстановить некоторые черты его биографии помогли его близкие и друзья.

Леонид Соловьев родился в городе Триполи, на восточном берегу Средиземного моря (ныне государство Ливан), в семье инспектора русско-арабских школ Василия Андреевича Соловьева.

Родители его не были чужды литературе — отец печатал в журнале «Русский паломник» свои ливанские записки, мать, словесница по образованию, прекрасно знала русскую поэзию и прозу.

Мальчику было около трех лет, когда родители вернулись в Россию и поселились в Бугуруслане, но смутные представления о далекой яркой, экзотической стране остались. Запомнились семейные рассказы и предания. На всю жизнь сохранился и интерес к Востоку. Пришли первые книги — классики и приключенческая литература. Пришли русские сказки, которые любил и умел рассказывать отец.

В 1920 году, спасаясь от начинающегося голода, семья переехала в Среднюю Азию, в Коканд, где В. А. Соловьев был назначен заведующим железнодорожной школой. Можно было представить радость Леонида, когда Восток из семейных легенд и книжных мифов вдруг стал реальным.

В нынешнем Коканде старина малозаметна — весьма посредственная, вовсе не старая мечеть, огромный минарет, не очень комфортабельный дворец последнего хана Ходояра — все это живет рядом с современными улицами-садами. Старые кварталы еще доживают свой век, и живы чайханы у реки и над арыками, и жив пестрый быт базара с толпой людей в халатах, с осликами, с грудами тканей, овощей, ягод, плодов.

Во времена юности Леонида Соловьева Коканд был другим. Он был экзотичнее и больше напоминал город из восточной сказки. Именно таким предстает Коканд в книгах писателя, таким запоминается.

Жизнь узбекского и таджикского народов была темой его первых рассказов, стихотворений, очерков.

Печататься он начал в газете «Правда Востока», и в числе самых первых публикаций писателя были вариации на тему устно-поэтического узбекского и таджикского творчества, определившие круг его интересов. В записках о своей жизни Л. Соловьев не раз упоминал народные песни или сказки, он любил узбекский фольклор, хорошо знал его, умело стилизовал песни и предания.

Рассказ Л. Соловьева «На Сырдарьинском берегу» получил премию на конкурсе в Ленинграде в 1927 году. «Тогда я всерьез поверил, что могу писать», — рассказывал впоследствии писатель.

А в 1931 году Л. Соловьев поехал в Москву, где поступил в Государственный институт кинематографии, на сценарный факультет. В автобиографии писатель вспоминал: «В Москве мне посчастливилось встретиться с М. Горьким. Удивительный человек! Когда он успевал всех читать, и маститых и молодых?!!».

М. Горький заинтересовался молодым писателем. В «Беседе с молодыми» он упомянул прозу Л. Соловьева: «Остаются рассказы: «112-й опыт», «Колесо», «Поход „Победителя"». Автор — литературно грамотен, у него простой, ясный язык, автор, видимо, учился у Чехова, умеет искусно пользоваться чеховскими «концовками», обладает юмором и вообще даровит. Чувствуется, что он усердно ищет свой путь, подлинное «лицо своей души».[1]

Оценка М. Горького не могла не окрылить писателя! Ведь он был уже литератором-профессионалом. Один за другим появлялись его рассказы и киносценарии. Вот некоторые из книг Л. В. Соловьева, вышедшие в тридцатых годах: «Кочевье» (1932), «Поход „Победителя"» (1934), «Высокое давление» (1938), «Солнечный мастер» (1939) и, наконец, «Возмутитель спокойствия» (1940).

«Возмутитель спокойствия» — начальная часть всемирно известной повести о Ходже Насреддине.

Совсем недавно в старом узбекском городе Намангане я встретился с сестрой Л. Соловьева — Екатериной Васильевной. Речь, разумеется, шла о юности писателя и начале его пути. Екатерина Васильевна говорила: «Леонид прежде всего был и до конца остался «азиатом». Запаса впечатлений, вынесенных из Средней Азии, хватило ему на всю жизнь. Из этих

---

[1] М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 27, Гослитиздат, М. 1953, стр. 230.

впечатлений сложилось самое значительное произведение Леонида — „Повесть о Ходже Насреддине"».

Мы долго говорили о книге Леонида Соловьева. Запомнилось мне походя брошенное замечание Екатерины Васильевны: «Простые герои книги Леонида — это люди, которых он встречал в повседневной жизни. А вот эмиры, ханы, вельможи — это персонажи сказок».

Я не раз вспоминал эти слова, дивясь точному сплаву реальности и фольклора, из которого отлита «Повесть о Ходже Насреддине».

Успех повести пришелся на предвоенные годы. А с самого начала Отечественной войны Леонид Соловьев стал корреспондентом газеты «Красный флот». Он был храбрым человеком и не раз был награжден воинскими орденами и медалями. Одновременно с работой в газете он продолжал работу и как сценарист и как прозаик. Во время войны по его сценариям были поставлены фильмы: «Насреддин в Бухаре» (сценарий Л. Соловьева и В. Витковича, режиссер Я. Протазанов, в главной роли Л. Свердлин); «Я — черноморец» (режиссер А. Мачерет, в главной роли Б. Андреев), «Иван Никулин — русский матрос» (режиссер И. Савченко, в главной роли И. Переверзев) и др.

Все эти фильмы отличались от более ранних работ сценариста Л. Соловьева целостностью выбранного жанра, хорошим юмором, продуманной динамичностью действия. Все были основаны на хорошо изученном материале, и почти в каждом из них проявилась черта, столь часто возникающая в творчестве писателя, — стремление к легенде.

Герой любимой народной сатиры и герои создававшегося на глазах эпоса, центральные персонажи этих фильмов несли в себе целеустремленное мужество, веселую победоносность людей, уверенно шагающих по земле, и подлинную народность.

Трудно сказать, возникла ли повесть «Иван Никулин — русский матрос» первоначально в виде сценария и лишь потом стала достоянием литературы, или она сразу писалась в том виде, в каком ее знает читатель, и лишь впоследствии была переделана в сценарий. Известно только, что в основу ее легли рассказы, услышанные на фронте журналистом Л. Соловьевым, и информации из газеты «Красный флот».

По своему строению повесть «Иван Никулин — русский матрос» — цепь связанных общим героем эпизодов о подвигах легендарного партизана. Каждый из них — законченная новелла, имеющая завязку, кульминацию и развязку. Но в общем плане повествования эти новеллы сами играют роль завязки,

концовки и т. д. В этом одна из черт «сценарности» этой повести.

Первая новелла «В госпитале». Это рассказ о хирурге, который спасает тяжело, смертельно раненого Ивана Никулина. Рассказ прерывается на том, что Никулин уезжает на фронт, а прославленный хирург фотографирует его на память. (В самом конце повествования мы снова возвращаемся в кабинет этого хирурга, к этим фотографиям.) Далее идут новеллы о становлении отряда Ивана Никулина: «Путь-дорога», «На фронт, на фронт!», «Первый бой», «В овраге», «Юнкерсы с Веста», «Прощайте, друзья», «Тихон Спиридонович», «ФД-1242», «Отрезаны!» и др. Л. Соловьев последовательно рассказывает о возникновении партизанского отряда моряков, о первых стычках с фашистами, о первых удачах и первых потерях, о новых людях, вступающих в отряд, о паровозе, на котором партизаны вторгаются в район, захваченный фашистами.

Каждый эпизод насыщен действием до предела. Но вместе с сюжетным развитием происходит развитие характера — штрих за штрихом рисуется обобщенная фигура отважного русского человека. Писатель постепенно придает ему все новые и новые черты, пока герой не появляется человеком окончательно сформировавшимся. «Он был для своих бойцов все тем же решительным, непреклонным, отважным командиром, еще строже и суше стало его лицо, еще отчетливее звучали команды, в глазах появился жестковатый блеск. Годами он был не старше своих бойцов, но им казалось, что командира отделяет от них по крайней мере двадцатилетие. Теперь никому и в голову не могло прийти хлопнуть Никулина по плечу или в полутьме шутки ради подсунуть к чаю соль вместо сахара, как это было всего две недели назад».

Стремление к легендарности и эпичности — в самом задании вещи. Документальность (точнее — информационность изложения) не мешала Л. Соловьеву подчас использовать хитроумные приемы народной сатиры, которые его всегда привлекали. Напомним совершенно «насреддиновскую» сценку, когда партизанка Маруся пробирается в фашистский тыл, чтобы узнать, что случилось с разведчиком Захаром Фомичевым.

Оказалось, что Фомичев был схвачен и заперт в пустой бане. Сторожит его итальянский солдат, красавец и ловелас. Увидев русскую девушку, солдат немедленно начинает любезничать с ней, а запертый Фомичев, увидев все это в окно, начинает петь:

...Он товарищу
Отдавал приказ...

А дальше, на том же мотиве, шли совсем другие слова, из другой песни — из боевой песни, сочиненной самим Захаром Фомичевым:

...Их немного здесь,
Сотни три всего,
Танков нет у них,
Да и пушек нет...

Маруся слушала жадно, позабыв о солдате, который, осмелев, уже тянулся к ней губами и что-то несвязно бормотал, щекоча ее ухо своим горячим дыханием.

Такие сюжетные решения в повести не редкость, но даны они с большой осторожностью.

Цикл рассказов «Севастопольский камень» — это эпизоды, стилизованные под легенды военных лет. Такие легенды бытовали по всей стране, возникнув как своеобразный отголосок народных трагедий и народных надежд. К сожалению, лишь немногая часть их стала достоянием фольклористов. Но и те материалы, которыми мы располагаем, говорят о неистощимой вере в победу и о великолепной фантазии народа. У нас нет возможности проверить, был ли рассказ о камне, выломленном из гранитного парапета в Севастополе и передававшемся из рук в руки как некий символ моральной несокрушимости, услышан Л. Соловьевым или придуман им. (Л. Соловьев рассказывал о том, как он не раз воссоздавал восточные сказания и легенды, и они, переведенные на языки народов Востока, органично входили в фольклор.)

Цикл рассказов «Севастопольский камень» близок к повести «Иван Никулин — русский матрос». Близость эта не только в легендарной сюжетной основе и в документальности изложения. Она еще в кинематографичности, в точной «раскадровке» вещи, в прекрасно рассчитанном в каждом эпизоде действии, которое должно помочь раскрытию той или иной черты героя.

Севастопольский камень — не просто кусок гранита. Это символ грядущей победы. Легенда возникает, начиная с того момента, когда умирающий моряк отдает этот камень своим друзьям: «У меня думка была: приду в Севастополь обратно, своей рукой положу этот камень на место, крепко впаяю на цемент, и тогда отдохнет мое сердце. А до тех пор буду носить его на груди — пусть он жжет меня, и тревожит, и не дает мне покоя ни днем, ни ночью, покуда опять не увижу над родной севастопольской бухтой наши советские вымпелы! Да нет, не судьба — смерть меня раньше настигла. Возьмите вы, друзья мои, черноморские товарищи, этот камень и храните свято. Мое вам последнее слово, мое завещание такое: „Он должен

вернуться в Севастополь, этот камень, он должен быть положен на свое место, впаян на крепкий цемент и обязательно рукой моряка. А теперь — прощайте...“».

А дальше — история этого камня. Он попадает к саперу, и когда тот наводит винтовку на врагов, «камень начинает разогреваться и жечь его сердце; говорят, что тельняшка моряка даже подпалилась, пожелтела в том месте, где лежал на его груди камень». Затем камень попадает к разведчику, связисту, летчику, артиллеристу... История камня — это предлог для новелл о людях мужественных, безгранично отважных.

Повести «Иван Никулин — русский матрос» и «Севастопольский камень» заняли видное место в прозе военных лет, отразив и ее сильные и ее слабые черты. Для нас эта проза остается памятником труднейшего периода жизни страны и памятником работы писателя-патриота.

После войны имя Леонида Соловьева в течение нескольких лет не упоминалось. Но и в эти годы писатель продолжал работать. Старый друг его Ходжа Насреддин пришел к нему снова в самое тяжелое время жизни, пришел, чтобы вдохнуть надежду и веру в грядущее. Он помог сохранить ему юмор и оптимизм, которым так поражались первые слушатели этого произведения...

В 1956 году обе книги «Повести о Ходже Насреддине» были выпущены в одном томе. Ходжа Насреддин продолжил свой путь.

Последние годы писатель работал над рассказами «Книги юности» — книги, рассказывающей о становлении Советской власти в республиках Средней Азии, полной сочных описаний, ярких характеров, пронизанной теплой улыбкой. Многое в ней автобиографично, но каждый легший в основу повествования факт преобразован настолько, что говорить о конкретной связи его с жизнью писателя трудно. Что же касается атмосферы, общей картины времени, расстановки классовых сил, то и «Книга юности» и примыкающая к ней повесть «Сахбо» — великолепные документы эпохи и настоящая большая литература, поражающая свежестью восприятия и яркостью красок. Не прекращал свою работу Л. Соловьев и в кинематографии.

Однако часто говорил шутливо, но не без гордости: «Какую свинью подложил мне этот Ходжа Насреддин — сделал меня автором одной книги...»

«Повесть о Ходже Насреддине» — это книга о веселом победителе скупцов, богатеев, дураков, а также достославных

господ — властителей городов, крепостей и целых держав. При всем обилии чисто национальных черт, этот герой имеет многочисленных и близких родственников в фольклоре других народов и стран — среди них и наш шут Балакирев, и таджикский Мушфики, и туркменский Кемине, и кмерский Алеу, и польский Хлопек Растропек, и балканский Херо, и анатолийский Бу Адам, и их западный друг Тиль Уленшпигель, и прославленный Петр Обманщик, и многие, многие другие. Все они — веселые парни, лихие затейники и ярые озорники; все они подчас прикидываются простаками и дурачками. Иногда они даже встречаются — есть болгарская сказка о встрече Хитрого Петра и Ходжи Насреддина...

Леонид Соловьев превосходно знал фольклор — и русский и народов Востока, знал и по устным рассказам и по книжным источникам. С детства он был знаком с народными сказками, которые, как известно, были своеобразной реакцией народной мысли на вековой гнет, на притеснения со стороны правящих классов. Отвлеченная мечта о победе справедливости, далекая и почти нереальная, принимала в них земные, воплощенные в плоть и кровь образы.

Для нас очевидно, что Л. Соловьев знал классические сборники русского фольклора, начиная с народных сказок А. Афанасьева, пословиц и поговорок В. Даля. Он был знаком с русской повестью XVII века, где фольклор входил в письменность то почти в неприкосновенном виде, то становясь материалом для новых поэтических решений («Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Савве Грудцине», «Повесть о Фроле Скобееве» и др.). Писателю были хорошо известны произведения Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Низами, Саади, Хафиза; он также хорошо знал многочисленные сборники притч, сказок, анекдотов, многие из которых упоминаются в его повести о Ходже Насреддине.

Притчи, пословицы, афоризмы — все это вошло и в эпиграфы к отдельным главам, и в реплики действующих лиц, и в авторские описания. Вот, к примеру, идет разговор Ходжи Насреддина и его спутника:

— Я думал, эта девушка ангельской красоты. А на самом деле ничего особенного. Ей до Арзи-биби, например, далеко.

— Вспомни Саади: «Чтобы понять всю красоту Лейлы, надо смотреть на нее глазами Меджнуна», — ответил Ходжа Насреддин».

Ссылки подобного рода часты в тексте книги. И возникновение их — не попытка «пышной стилизации»: в устную речь

жителей любого таджикского и узбекского кишлака входят строки великих поэтов Востока — Саади, Джами, Бедиля.

«Повесть о Ходже Насреддине» родилась как повесть-сказка. И как всякая народная сказка, даже самая забавная, она прозвучала аллегорически. Л. Соловьев создал здравицу в честь Человека — реального, живого, думающего, чувствующего, имеющего право на радость и счастье. Мысль о Человеке и Человечности пронизывает всю повесть. И в стилизованной песне Ходжи Насреддина эта мысль приобретает законченную форму:

Арык бежит — для меня,
Пчела гудит — для меня,
Цветут сады — для меня,
Потому что я человек.

Певцы поют — для меня,
И в бубны бьют — для меня.
Горит душа у меня,
Потому что я человек.

Поля вокруг — для меня,
Ишак мой — друг для меня,
Зовет дорога меня,
Потому что я человек!

Этот мотив — все во имя человека — проходит через обе книги «Повести о Ходже Насреддине», родня и объединяя их, хотя они — «Возмутитель спокойствия» и «Очарованный принц» — несколько разнятся стилистически.

Вторая глубже и философичнее.

В первой книге сказочные источники очевиднее.

Вот Ходжа Насреддин слышит о том, что за его голову обещана большая награда: он задумывается — не продать ли ему собственную голову за такую хорошую цену.

Вот Насреддин видит: владелец харчевни требует, чтобы какой-то прохожий заплатил ему за запах шашлыка. Насреддин предлагает расплатиться звоном монеты.

Вот Насреддину приходит в голову вздорная мысль — ему кажется, что он умер. Он закрывает глаза и неподвижно ложится; приходят люди, поднимают его и несут через речку. Они ищут брод. Ходжа поднимает голову и говорит: «Когда я был жив, то всегда переходил эту речку вон у тех тополей».

Тонет ростовщик. Ему протягивают руки, крича: «Давай руку! Давай, давай!». Ростовщик начинает захлебываться, но тут появляется Насреддин, который кричит ему: «На! На!» — и тот сразу всплывает наружу. Дело в том, что купец ничего не хочет давать.

Ходжа Насреддин учит ишака грамоте...

Ходжа Насреддин исцеляет больных...

Таковы сказочные сюжеты, использованные Л. Соловьевым в первой части книги. Как и всегда в фольклоре, безудержное веселье, смех, радость вступают в стычку с горем, страданием, заботой и побеждают их. Но то, что в народном творчестве звучало как отдельные мотивы, здесь слилось в целое: перед нами произведение, пронизанное единством мысли и единством образа народного героя, который проходит сквозь враждебный ему мир богачей и себялюбцев, сохранив достоинство и великое умение помочь простому человеку в его несчастьях и в его борьбе. И все это в реальном, конкретном мире столь дорогого Л. Соловьеву Востока, хотя, конечно, не надо требовать от повести этнографической точности. Характерно, что и в написанной спустя много лет второй книге «Повести о Насреддине» сохранился все тот же неповторимый, подлинный, поданный в той же сказочной манере азиатский колорит.

Но во второй книге сказочные сюжеты, связанные с Насреддином, отходят на задний план. Конечно, и здесь мы находим тот или иной мотив, известный в народном творчестве (о неверной жене, об одноглазом плуте, о заколдованном принце и др.). Но сказочные обстоятельства зачастую уступают место почти реальному окружению героя. Произведение приобретает черты историзма, хотя они, эти черты, отнюдь не прикрепляют книгу к какой-либо определенной прошедшей эпохе. Именно эта конкретность и дает материал для полета мысли, для обобщения.

Леонид Соловьев сумел показать отвратительные черты феодального Востока — Старой Бухары и Старого Коканда. Каждый кокандец жил словно бы посреди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками: как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку, и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами.

Жители Бухары должны забыть о том, что они люди, о том, что им присущи собственные мысли и желания, что они имеют право на радость и любовь... Но в затхлом и отвратительном мире средневековых представлений и предрассудков появляется веселый, живой человек Ходжа Насреддин — воплощение энергии, остроумия, человек, несущий в себе подлинно народный гуманизм. Ему отвратительны слепое преклонение, бессмысленная вера, восторженный экстаз, даже когда они обращены к нему самому. «Я самый обычный человек на этой земле, — сколько вам раз повторять! И не хочу быть никем

иным: ни шейхом, ни дервишем, ни чудотворцем, ни звездным странником!» — кричит он.

О, конечно, ему ненавистны чудовищные нормы жизни средневековых Бухары и Коканда, палачи, шпионы, воры, бездарные правители и предатели. Он знает цену тем, кто боится «за свой жалкий грош, хотя бы вокруг погибала вселенная».

Сюжетная стремительность коротких сказок сменяется неторопливым разворотом действия. Автор с внешним спокойствием, не спеша, не меняя интонации, повествует о событиях, перемежая свой рассказ отступлениями и раздумьями. Он озабочен не просто судьбой Насреддина, он думает о народе — его создателе.

Народ не зря противопоставил своего героя скупым баям, глупым муллам, хищным вельможам. Л. Соловьев противопоставил Насреддина скупости, глупости, барству.

Но в книге есть еще один пласт — часто, очень часто герои повести упоминают положения и образы из различных философских учений средневекового Востока.

Разобраться в этом сложно. Соловьеву, несомненно, были известны догмы хариджитов, и одной из крупнейших сект шиитского направления — секты исмаилитов с их стремлением постигнуть «божественную истину», и мистицизм суфиев с их аскетизмом, фатализмом, презрением к мирским желаниям. Ходжа Насреддин сталкивается с философскими концепциями этих сект. Но всегда в книге побеждает мудрый реализм народного разума.

Когда старый дервиш говорит о «райском расцвете земли — не раньше, правда, чем тысяч через пятьсот лет», такой срок приводит реалиста Ходжу Насреддина в уныние: «Он привык считать землю своим родным домом, а не случайным караван-сараем на путях звездных странствований, и ему хотелось поскорее навести в этом доме порядок. Пятьсот тысяч лет! Умственный взор его терялся в этой необозримости...».

Земля — родной дом.

Счастье — сейчас же, на земле!

Вот то, что противопоставляет Ходжа Насреддин сектантскому догматизму своих собеседников и спутников.

Вечный круговорот природы, «великое благо слиянности с миром», убежденность в силе человека проходит через всю книгу. И не случайно в одном из своих стихотворений, обращаясь к великому Хафизу, Соловьев писал о вечности жизни: «Может, умер я где-то в море. Может, где-то на берегу. Всем ученым мужам на горе, я и сам сказать не могу...». Жизнь — вечна. Реальная. Земная. И для того чтобы помочь людям,

для того чтобы она стала лучше, живет Ходжа Насреддин. Он и сейчас продолжает свой путь. Он едет, пересекая границы стран и границы времени.

И мы, люди другой эпохи, принимаем Насреддина в друзья потому, что нам дороги и понятны лучшие его черты, как понятны и дороги все прославленные образы, рожденные народом. Мы помним, что сатирический фольклор помог созданию таких образов, как Санчо Панса Сервантеса, Тиль Уленшпигель Шарля де Костера, Кола Брюньон Ромена Роллана, солдат Швейк Ярослава Гашека, дед Щукарь Михаила Шолохова и очень, очень многих... Насреддин Леонида Соловьева — родной их брат. Как и они, он полон кипучей энергии, веры в человека, в справедливость. Он оптимистичен по самой своей природе. И в этом сила фольклорного образа, введенного в большую литературу, образа, уже прочно вошедшего в наше мышление, в наши чувства.

Умирают поэты и рассказчики. Но остается поэзия — если она заглядывает в будущее, и остаются герои книг, если они народны.

Ходжа Насреддин продолжает свой путь!

Дм. Молдавский

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Васильевич
СОЛОВЬЁВ

Избранные произведения

Редактор *В. Морозова*
Художественный редактор *А. Гасников*
Технический редактор *М. Андреева*
Корректоры *А. Артемова* и *И. Пахомова*

Сдано в набор 22/IX 1970 г. Подписано к печати 26/X 1970 г. Тип. бум. № 2. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. 22,5 печ. л. 37,80 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 40,486+1 вкл.=40,525 Тираж 150 000 экз. Заказ № 1387
Цена 1 р. 41 к.

Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

